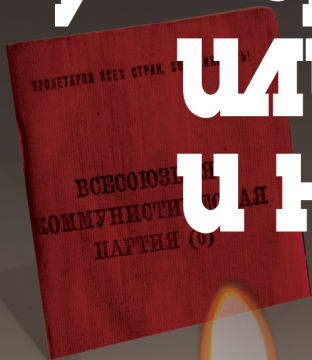


Владимир Кантор Шум Времени, или Быль и небывль

Владимир
Кантор

Шум Времени, или Быль и небывль

Книга прозы



Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Международная лаборатория исследований
русско-европейского интеллектуального диалога

Владимир
Кантор

Шум Времени, или Быль и небыль



Книга прозы



Центр гуманитарных инициатив
Москва-Санкт-Петербург
2020

УДК 130.2
ББК 83.3
К 19

Книга издана при поддержке Министерства культуры РФ
и Союза российских писателей (2020)

Серийное оформление: П.П. Ефремов

К 19 **Кантор В.К.**
Шум времени, или Быль и небыль. Философическая проза и эссе / В.К. Кантор. – М.; СПб.: ЦГУ Принт, 2020. – 548 с.

В своей новой книге Владимир Кантор, писатель, доктор философских наук, заведующий Международной лабораторией исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ) и ординарный профессор Школы философии того же университета, а также главный редактор журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог», обращается к давней своей теме – силе женщины, женщины спасительницы, будь она девочка или взрослая женщина. А также о жизни, протекающей между былью и небылью.

Многие тексты этой книги публиковались в периодике. Это своего рода избранное, автор подготовил его к своему семидесятипятилетнему юбилею.

УДК 130.2
ББК 83.3

ISBN 978-5-98712-769-8

© Кантор В.К., автор, 2020
© Центр гуманитарных инициатив, 2020

*Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?*

*Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомнением взволновал?..*

*Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.*

А.С. Пушкин

ВСТУПЛЕНИЕ

Что значит быть писателем

Когда писатель выходит к читателю, спустя десятилетия после публикации его первых текстов, можно сказать, что у писателя было время для осмысления причин и задач своего творчества.

Конечно, писать о своем творчестве, на первый взгляд, может показаться не очень скромным. Но не я первый, не я последний. О своем творчестве писали все: от великих – Достоевского и Томаса Манна – до писателей, на мой взгляд, среднего ряда. Писал уже и я, поэтому выступление перед разными слушателями меняет не суть дела, а только аудиторию. Но, тем не менее, именно изменение аудитории требует от автора предварительного рассказа о своем пути.

Мною написано довольно много. Но вот главная особенность моего творчества, это его двусоставность – моя «двудомность». Это определение первый предложил знаменитый русский историк советского времени Натан Эйдельман. Он произвел это прилагательное из названия моей первой повести «Два дома» (1975). Дело в том, что я и ученый (философ и литературовед), и писатель-прозаик. И в том, и в другом своем качестве я имею свою аудиторию. Раньше мне казалось, что те, кто знает меня как ученого, не знает меня как писателя. И наоборот: любящие мою прозу не всегда догадываются, что я автор многих научных работ.

Что толкало меня писать?

Впрочем, это как раз те два вопроса, которые мне постоянно задают: 1) что для меня первично – проза или наука? И 2) как получается, что я так много пишу? Или перефразируя второй вопрос: когда я пишу, что так много успеваю? На второй вопрос я обычно отвечаю: лучше спросите, когда я не пишу. Скорее всего, я пишу всегда. Дело в том, что я всегда хотел писать, лет с десяти.

До этого (и позже) я всегда хотел читать. Читал я очень много и очень беспорядочно. И Жюль Верн, и Фенимор Купер, и Тургенев, и Толстой, и Пушкин, и Достоевский, и Камю, и Декарт, и Спиноза, и Фейербах. Не могу здесь не сказать о любимых чешских писателях. Уже в подростковом возрасте я открыл для себя одного за другим — Гашека, Карела Чапека и чуть позже пражского гения Франца Кафку. Лет до двенадцати я читал и перечитывал «Швейка», многие сцены и фразы до сих пор помню наизусть. Чапек — это, конечно, «Война с саламандрами». Кафка — это было потрясение, которое не прошло до сих пор. О Кафке я писал потом не раз. Милана Кундеру принесла в наш дом дочка. Но это уже было много позже. Было бы неправильно, если бы я миновал великого чешского мыслителя и историка русской философии. Я говорю о книге «Россия и Европа» Томаша Гаррига Масарика. И не то поразительно, что он был первый чешский президент. Писателем был и Черчилль. Тоже государственный деятель. Но если Черчилль был страстным врагом России, то Масарик после революции пытался спасти, как мог, русских интеллектуалов.

А интеллектуал на то и интеллектуал, что он не может жить, не думая, не читая и не заноса свои мысли на бумагу. Во всяком случае, когда я не пишу и не читаю (всякое ведь бывает в жизни, занимаясь какой-либо казенной работой), я заболеваю. Заболеваю в буквальном смысле слова. И единственное лекарство — снова вернуться за письменный стол. Так я всю жизнь и делаю.

Прозу я писал, начиная лет с четырнадцати (и это ответ на первый вопрос). Но ранним писателем я не стал, может, и к счастью. Мои друзья, которых тоже не печатали, не хотели дальше учиться, сочтя, что для писания им хватит школьного образования, и уходили в дворники.

Идти в дворники и сторожа я не хотел, мне это было неинтересно. А поскольку вырос я в профессорской квартире, то жизнь учебного казалась предпочтительной. Мне было понятно, что жить на публикации своей прозы я не смогу. Таким образом, я оказался в науке. Тоже с немалым трудом, впрочем, сейчас речь о другом. Самое важное, что эта часть моей жизни стала не менее важной. Сейчас я сам себе задаю вопрос, почему мои тексты вызывали в свое время отторжение журнального руководства. Припев был один: вы не так пишете. Как не так? В советское время эта фраза была понятна: не по-советски. А после перестройки? А, кажется, дело просто. Журналы ориентированы на потребителя. А потребитель потребляет либо ту форму и содержание, что ему известны, либо откровенное пост-модернистское шоукарство.

Так что первично у меня — проза. Но если вспоминать разнообразные философские идеи на этот счет, то напомним, что литература всегда одухотворялась философией: от Шекспира и Гете до Достоевского и Томаса Манна. Просто растут они из одного корня: из любопытства к миру — своему и окружающему. Порой это любопытство очень мучительно, приходится пробиваться к пониманию. Как в литературе, так и в философии. Но просто ничего не бывает. Но здесь трудность связана с удовольствием. Когда пишешь (все равно — прозу, литературоведение, философию), то жизнь твоя полна.

Я в тридцать лет защитил кандидатскую по русской философии. Два года я читал только философские тексты, не прикасаясь к пишущей машинке, чтобы сочинять прозу. И после защиты я вдруг почувствовал, что чего-то я в жизни упускаю самое для меня главное. Вот тогда я и понял, что если я не попытаюсь осознать себя, то просто попусту проживу свою жизнь. И я принялся за повесть, которая потом получила название «Два дома».

Это первая, как мне показалось, получившаяся вещь, где я впервые осмелился писать так и то, что думал и чувствовал, ни на кого не оглядываясь. Эта повесть, строго говоря, не сочинялась, а как-то сама собой написалась. Я был в тяжелой депрессии, пытался из нее выйти, слушал (романс на слова Есенина) в сотый раз словно про меня сочиненные строчки: «жизнь моя, иль ты приснилась мне»? Мне уже тридцать лет. Все, что писал раньше, не то. Занялся наукой, защитил кандидатскую, и вдруг: а зачем? А что дальше? А какое отношение имеет это к моей сущности?

Ответ один — *nosce te ipsum* (латинская фраза, вынесенная мной с первого курса филологического) — «познай самого себя». То есть надо понять свои истоки, которые привели к той психологической сущности, которая реагирует на мир только ей одним свойственным образом. Вся моя проза писалась затем, чтоб решить мучавшие меня житейские (то есть — особенно поначалу — семейные), душевные, духовные, общественные проблемы. Безо всякого расчета, тем более безо всякой надежды на публикацию. И уж совсем я не надеялся на процветание, каким процветали официальные писатели. Такого (*публикации*) просто не может быть — вот и все. То, что я пишу, это не то, что печатается в советской и диссидентской литературе. Все старались создать «нетленку». К этой цели стремились помыслы всех мне известных пишущих. Нет, не хотел, да и не очень-то надеялся. Надеялся на что-то, быть может, более важное. Подспудная тема была — судьба мамы, генетика, ее столкновение со свекровью, верной партией. Было желание, как я сказал однажды своему другу, замечательному писателю Владимиру Кормеру, напи-

сать «объективку» — ровно то, что чувствую, думаю, понимаю, изображая ту реальность, которую я помнил, без игры в стиль, слова, и уж, конечно, без политической актуальности. Злободневности не должно быть. Позднее, уже во второй половине 80-х, Владимир Амлинский (журнал «Юность») испугался, что я перебил у него *актуальную тему* — о гонении на генетику, — и *потерял* рукопись повести. Опубликовав свою повесть о своем отце. Я в обиде не был. Воспринимал, как должное. И не должны были меня печатать. Я ж для себя писал. А такого не бывает, чтоб написанное для себя воспринималось в общем ряду того, что требуют издательства. Хотя втайне я, конечно, был уверен, что написанное для себя важно как раз всем.

Но было одно, исполненное тогда решение (а тогда это было не просто, ибо мы не знали ни Пруста, ни Томаса Вулфа), — писать о себе, себя сделать предметом исследования. *Создать свою субъективную эпопею*. Зачем? Затем, что здесь я могу не врать, я пишу только то, что знаю о человеческих переживаниях, не романизируя их, но помня, что каждый написанный писательским пером эпизод несет тяжесть — символы человеческого бытия. Научился такому подходу к литературному сочинительству, конечно же, у Толстого и Достоевского, которых читал и перечитывал, начиная класса с седьмого, а из западных — у Стендаля и Бальзака. И, кажется, у Льва Толстого вычитал, что если сумеешь открыть себя, познать себя, то тем самым это будет интересно и другим людям, ибо на самой большой глубине у всех душ общий исток. Не случайно же, я читаю про переживания дворянского мальчика Николеньки Иртеньева как будто про самого себя. Если же говорить о символике, то само заглавие говорило о *двудомности человеческого бытия*, а потому к каждому относится, да и себе напроорочил: две жены, две профессии. Причем писательство дорого мне так же, как и мое философствование по поводу русской культуры.

Прочитав повесть, отец сказал: «Ты сделал нечто более важное, чем разоблачение культа личности, обличение кошмаров сталинизма. Ты рассказал о душе, сказал тем самым, что, несмотря ни на что, личность не погибла, что росло поколение, которое сызнова хотело чувствовать, думать, ощущать свою особенность. Рассказал о душе, о чем вообще перестали писать, а тем самым показал, что душа сохранилась, или возродилась — уж кто как поймет, если поймут, ибо заглушен слух политической и этнографической злободневностью». Для меня это было важно, хотя тогда я не очень ему поверил, когда отец сказал: «Это совершенно не похоже на то, что делают у нас. Ты сумел шагнуть в другую область, которая нынешней литературой забыта. Пусть не печатают, но ты можешь гордиться, потому что

сумел в себя заглянуть и не соврать. Они пока этого не умеют. Даже певцы оттепели вроде Аксенова и Вознесенского. Только лозунги о свободе личности. А настоящая свобода — в самопознании». Мама прочитала позже и сказала, что все так оно и было, как я написал. Я возразил. И мы с ней, разбирая эпизод за эпизодом, увидели, что *фактически* все эпизоды придуманы, да и персонажи тоже. Что-то было. Однако, точным... Что же? Отец назвал это верностью изображения системы человеческих отношений, точностью передачи душевных переживаний и атмосферы эпохи. Отцу я хотел верить, но, казалось, что он просто ищет в том, что сделал сын, нечто хорошее, чтоб его поддержать. А как другие?.. Почему апеллирую к отцу? Отец был один из крупнейших наших культурфилософов. И его слово очень много для меня значило.

Душа человека в нашей общественной сумятице оказывалась без присмотра, да и не интересна. Интереснее сатирически изобразить политбюро или кошмары быта — отсюда чернушная литература, где внешняя обстановка не просто фон нашей жизни, а смысл произведения, хорошая пожива для литературно-общественной публицистики. Поэтому «Два дома» не знали, куда отнести, по какой рубрике. А это был вполне реалистический текст о душе и ее мытарствах. Ведь, несмотря ни на что, жизнь продолжалась, люди любили друг друга, рождались дети, росли и, слава Богу, читали книги, которые строили их душу. Ведь подлинный реализм рожден интуицией христианства, которое говорит нам, что рая на Земле не бывает, что «сей мир» подвластен злу, но человек все равно должен учиться сохранять спокойное достоинство, ибо награда человеку (и художнику в том числе) будет дана в мире ином.

Главное, что я вынес из своей семьи, кредо, которое там сформировалось, что стремиться к успеху и славе неприлично, что главное — это быть верным себе, пытаться точно передать, что ты чувствуешь и думаешь. Это главное, а не признание современников. Повторю, я никогда не писал с ориентацией на какой-либо слой, на некоего читателя. Я писал только для себя, понимая, что если я точен в своих словах, дошел до некоего дна, то там, как говорил Лев Толстой, находится нечто, что присуще всем думающим людям. И они рады это общее найти. А такие люди были всегда. Да и постмодернизм, ломавший эстетические и духовные ценности, пытавшийся обратить их в ничто, кажется, начинает публике надоедать. Более того, последние годы я все чаще слышу о людях, которым интересна моя проза. Не говоря уж о студентах, которые любят своего профессора (как мне кажется) и его писания, могу процитировать письмо, которое недавно получил от одной современной писательницы по

поводу своей последней книги «Наливное яблоко», где важнейшее место занимали «100 долларов» и «Смерть пенсионера». Имени называть не имею права, но за подлинность текста ручаюсь: «Я читаю, оторваться не могу, хотя поначалу раскачивалась и даже фыркала, привыкая к Вашему особенному, неторопливому ходу, к ровному голосу, но сейчас вдруг поняла, что мастерство такого уровня имеет право на неспешность, на скрытые токи и как бы упрятанный в глущину темперамент. Спасибо».

Писатель — должность независимая. Никто не назначит, никто не уволит.

Европейцы и американцы пишут, чтоб прославиться, а в результате заработать денег. Пафос Мартина Идена и, наверно, самого Джека Лондона. Мечтал ли я о славе? Честно говоря, не очень. Может, к старости заметят, определяют твой масштаб. Но хотелось так, чтоб миновать всяческие литературные кухни. Думал ли о деньгах? Тоже нет. Может, поэтому никогда мое писательство не принесло ни разу ошутимого заработка. На литературные доходы жить не пришлось ни разу.

Уважая оппонентов режима, относиться к нему всерьез я уже не мог. Более того, нормальная (то есть трудная, тяжелая, всякая) человеческая жизнь казалась более важным предметом для размышления и изображения, нежели власть имущие и их приспешники (разве что на факультативных правах). Я режима побаивался, но сущностного смысла в нем не находил. Выдохся за годы этот смысл, ничего не осталось. Гораздо важнее, мне думалось, понять сущность той нашей жизни, в которой мы жили, расплачиваясь душами за свое время. И я писал о том, что видел и чувствовал. Ведь жизнь пробивалась сквозь прогнившие прутья советской клетки. Но существовала, конечно, в ее терминах и стилистике. Эту метафизическую стилистику тех лет, вырастающую из быта, я и хотел уловить.

Столкновения моих героев-интеллектуалов с «народом» всегда почти печальны и конфликтны. Разумеется, моя простая бабушка, сельская учительница, приучившая меня читать, была самым близким мне человеком. Зато остальные люди «из низов» все больше страшные, уродливые в своей тупости люди. Такова жуткая семипудовая баба в «Мутном времени» — ужасный символ «почвы»: «Рот похабный, сальный, вечно жует что-то, глазки узкие, заплывшие, и вонючая, как протухшее мясо». Или в повести «Соседи», например. Интеллектуалы собираются на «идейную» вечеринку с «изюминкой» — «нутряным» письмом «простого русского человека», «эпосом», «святым источником». Посиделка превращается в некрасивую пьянку, где звериные инстинкты находят выход в откровенном и

нагло насилии над девушкой. Насилие не состоялось, хотя «близко к тому», как не состоялось потом и насилие над героями в более страшном варианте — в виде пьяного блатного из народа, «мстителя» с ломом. И если спасителем Даши становится рефлектирующий интеллигент Павел, то его самого спасает недолгий сосед по коммуналке Вадик: «Что, Павел? Ума прибавил? Ну, блин, скажи спасибо, что мы твою бестолковку надвое не раскололи!.. Поал? Против лома нет приема». И все споры о народе, звучавшие за столом на «интеллигентской» вечеринке, оказываются ненужным сотрясанием воздуха под визг пьяных частушечников во дворе.

Жизнь кажется затянувшимся дурным сном. Что вполне соответствует известному барочному принципу — жизнь и есть сон.

Маленькая повесть «Сто долларов» («Звезда», 2011, № 4) — о том, что кровные родственники зачастую совершенно посторонние друг другу люди. То братство, о котором мечтал Достоевский в «Братьях Карамазовых», бывает, оказывается возможным с кем угодно, но не с родным братом. Более того, здесь, как мне кажется, я опирался на архетип, классический в европейской литературе. Я говорю о «Гамлете» Шекспира, о «Разбойниках» Шиллера, где младший брат уничтожает или пытается уничтожить старшего, чтобы поменять естественный закон первородства.

Критики писали, что рассказ В. Кантора «Смерть пенсионера» весьма скупо рисует картины, зато передает и порождает мысли со степенью достоверности на грани ощущения телепатического сеанса. Такого рода эффект возникает не очень часто, но это и есть, на мой взгляд, признак искусства, художественности. Скучная детализация окружающих Галахова предметов порождается не только свойством моей стилистики, но еще и скупостью общественной реальности по отношению к главному герою, погибающему от моральной тупости окружающих его людей. Мне кажется, что доминантой рассказа становится описание процесса ухода из жизни одного из лучших представителей рода человеческого, не выдержавшего бессмысленности человеческого мира. Когда я писал рассказ, я вспоминал и «Превращение» Кафки, и определение ада, которое давал герой Достоевского: «невозможность любить». Ведь библейского и посмертного ада нет (так я полагаю), зато окружающая нас действительность — это и есть ад, местами, неплохо обставленный. Поэтому мой герой осужден на этот ад, как и любой другой человек, без вины виноватый, однако, и в этом держится достоинство его личности, сохраняет в себе способность любить. По модели, с математической точностью выявленной Яковом Беме: «ангел посреди Ада находится в Раю». Это произведение — отнюдь не только о страданиях современных

пенсионеров. Здесь фиксируется феномен, который уже давно был зафиксирован в русской и мировой литературе: чем человек сильнее чувствует потребность любви и готов сам отдавать свою любовь другим, тем меньше он ее получает со стороны окружающих.

Происходит тихое и разрешенное законом убийство ближнего с помощью отказа ему в уважении и любви, одинаково опасное и для того, кого таким образом убивают, и для человека, проявляющего душевную скупость. Скупой платит дважды — и за себя, и за другого, которому он недодал. Безответная любовь гениального человека, живущего в контексте нелюбви и бытовой пошлости, — основная тема рассказа «Смерть пенсионера». Эти условия, для себя самих и для Галахова, организовали его ближние — родные и неродные люди, все одинаково чужие ему в морально-общественном аспекте и одинаково чуждые ему онтологически. Во время его похорон один из его друзей плаксивым голосом констатирует, что, дескать, ты-то попадешь в рай, а нам, несчастным, что суждено? В свое время русский философ Николай Федоров, отвечая на вопрос, что заставило его прийти к идее «супраморализма», требующего тотального служения каждого всем и всех — каждому, говорил, что основанием тому было раннее понимание того, что не только чужие люди не стремятся к братским отношениям, но что даже родные братья оказываются не просто чужими, а враждебными друг для друга. Братство — тонкий механизм, для его существования необходима взаимность, его можно описать как взаимную и неэротическую любовь. В одиночку братство не образуется, почему жизнь человека, наделенного щедростью души и умением любить, пребывающего в обществе тех, кто любить не в состоянии, — самая сюжетно распространенная коллизия трагических текстов мировой литературы.

Русское общество с энтузиазмом трясет большой баобаб, на котором сидят все его старики, а падающих с почетом (или без оно-го) хоронит. Общество, которое вытряхивает на кладбище своих стариков, как крошки со скатерти после сытного обеда, недостойно называться сообществом людей. Лучшее из сравнений, которое приходит автору в голову в связи с этим, заставляет подумать о каннибалах центральной Африки. Правда, поедая своих стариков, каннибалы верят, что вещество тел, в виде пищи входя в их живую плоть, тем самым продолжает свое существование. Наше общество лишено столь изысканной мотивации — стариков просто вывозят на кладбище, ликвидируя материально. Интересна была реакция итальянской славистки, которая задала мне в письме вопрос: «Владимир, как вам мог прийти в голову такой сюжет, вам, успешному ученому, автору многих книг, профессору самого престижного уни-

верситета в Москве?» А ответ был простой, ответ, в который она не поверила, хотя он, собственно, раскрыл методу писательского творчества. Я вдруг вообразил, что лишился работы, что пенсионный фонд определил мне «срок дожития» (это и вправду существует такой термин в русском пенсионном законодательстве), что отныне я должен выживать на мизерную пенсию. А еще мой герой теряет любимую женщину и должен выживать один.

Но при этом, надо сказать, что главным творением моей писательской жизни был роман «Крепость», самый большой по объему, почти 40 печатных листов, который только что вышел. В нем 592 страницы. Писал я его почти 24 года, и столько же лет ушло на публикацию (промежуточные варианты – их было два – не в счет). История писания и публикация этого романа научила меня главному. Критика прошла мимо. Читали друзья и знакомые, им нравился роман. Я даже начал подсчитывать отклики. Их случилось около тридцати. Все, правда, упоенные, но это все же не то, что ожидает любой писатель. Хотя именно неуспех романа дал окончательную закалку моему, так сказать, стоицизму, если можно сюда отнести этот термин. Во всяком случае, умению *жить и писать вне успеха*.

Писатель должен понимать, что он не может быть благодетелем рода человеческого. Единственное, что он может, это увидеть через себя, как через увеличительное стекло, проходящий мимо него и через него кусочек мира. Просто писатель – это своеобразный инструмент, показывающий миру степень его здоровья (или болезни). Он даже не врач, не медик, он и вправду просто прибор, фиксирующий, насколько больно общество.

Человек, любой человек, с момента своего рождения приговорен к смерти. Люди стараются не думать об этом, иначе не было бы сил на жизнь. Но писатель обречен помнить это и думать об этом. Он, едва ли не единственный из всех людей, сознает, что живет под этим дамокловым мечом природы. Он человек, он не святой, который пытается преодолеть страх смерти верой. И его задача, по мере его сил, насколько это возможно сохранить образ окружающего мира со всеми противоречиями и ужасами, добром и злодейством, хаосом женских и мужских судеб, калейдоскопом общественных отношений, меняющимся от эпохи к эпохе. Это тоже способ преодоления смерти. Если писатель сумел хоть немного продвинуться в этом направлении, значит, он состоялся как писатель.

18 февраля 2015 г.

Часть I

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА. МАМА

НОВЕЛЛЫ

Похороны деда Антона

Новелла

Дед умер в шестьдесят семь лет. Мне он казался очень старым. Дед Антон приезжал иногда в нашу профессорскую квартиру навестить дочь и внука. Ходил, опираясь на рукоятку трости, если так можно назвать самодельную сучковатую палку с рукояткой. Трость он сделал сам из сломанной ветки лесной осины. Иногда останавливался, доставал из бокового верхнего кармана полувоенного кителя трубочку, в которой он хранил мелкие таблетки нитроглицерина, клал одну под язык. Стоял минуты три, потом шел дальше, поглядывая, не найдется ли что-то выброшенное для его мастерской. В своем сарае, своего рода мастерской – в общем длинном строении, у него был верстак, топор, молоток, пила, рубанок, ящик с отделениями для гвоздей разных размеров. Шел 1965 год. Хотя дед был старым, он продолжал игриво поглядывать на молодых женщин с детьми, гулявшими во дворе. Особенно ему нравились молодые жены наших профессорских сынков. Как-то одна милая блондинка в голубом пальтишке, с которой я всегда здоровался, улыбнулась мне, а дед приосанился, даже на палку перестал опираться, и с завистью сказал: «Ишь, какие девушки на тебя внимание обращают». Мне было лет тринадцать, а ей под тридцать, и про амур мне даже в голову не приходило.

Впрочем, и дед Антон больше хорохорился. Мужчина всегда молодеет, когда видит хорошенькую женщину.

Лежали там и струганные им доски, светлые после снятой с них стружки. Он мастерил для меня скворечники и другие поделки, которые требовала с мальчика классная руководительница. В этом смысле дед был надежный помощник. Но порой прямо дикий и нервный. Когда он злился, то хватал свой солдатский ремень и пытался перетянуть то меня, то моих двоюродных братьев — Сашку и Тошку — этим ремнем по заднице. Юркий Тошка как-то даже выскочил из окна в палисадник, благо комната находилась на первом этаже. Меня, как старшего внука, сына любимой ученой дочери, бабушка Настя прикрывала своим телом, вертясь перед дедовским ремнем, подставляя свою нижнюю часть. «Ну ты, потатчица! Убери свою хлебницу! Дай я его достану!» Но бабушка все равно продолжала потакать и прикрывать мальчика собой. «Это же Танин сын!» Дед мою маму тоже любил, она унаследовала его страсть к биологии: ведь он разводил разные сорта, скрещивал их. Лысенко тогда писал о невозможности скрещивания, ибо получаются в результате мутанты. Но у деда все получалось классно.

Коммуналка, в которой жила мама с родителями, сестрой и братом, находилась на первом этаже двухэтажного домика, в середине квартиры — выгребная яма для большой нужды, бабушка Настя меня всегда туда сопровождала и держала за руку, чтобы я не рухнул вниз. Туалетной бумаги не было, была газета, которую бабушка долго мяла, прежде чем приняться за вытирание моей задницы. Раз в месяц приезжала машина с большой гофрированной трубой, которую мальчишки называли «говновоз», трубу запускали в выгребную яму и, причмокивая, машина отсасывала дерьмо, пока не заполнялся контейнер.

Папа в подражание Данте написал «Таниаду» в стиле *Nova vita*, стихи, перемежаемые прозой, история их с мамой любви. В том числе и о мамином жилье. Мама жила в Лихоборах, неподалеку от насыпи Окружной железной дороги. Название говорящее. Папа писал: «Кроме Таниной семьи, в этой, с позволения сказать, квартире, жили еще две точно в таких же конурах. Все это были беженцы — из подмосковных деревень, середняки, которых по произволу властей могли раскулачить. Семья моей Тани состояла из пяти человек: отец-шофер, мать — учительница младших классов, две взрослых дочери — старшая на выданье за балтийца-моряка, Таня — ученица средней школы, только в 7 класс переехавшая из своего сельского рая на окраину Москвы, в лихоборскую дерьмовщину. Родители спали на одной однорядной кровати, старшая, корпулентная сестра на столе (для раскладушки не было места), Таня — на диване, куда складывался, за неимением шкафа и буфета, весь домашний

скарб, братишке стелили матрас и простыни с подушкой на полу. Как в этих условиях Таня могла заниматься, объясняется тем, что она повелевала семье замолчать, когда готовила уроки, а для своих тетрадей и учебников выкраивала край стола. Всегда скромно одетая, чаще всего в темно-синем габардиновом платье с белым воротничком, всегда чистая, аккуратная, всегда готовая отвечать на задания, ни у кого не списывая, не ожидая подсказки (что было среди учеников повально распространено), она училась отлично. С тех пор, а может быть, и раньше ее правилом стало «опираться на собственный хвост». С этим правилом она прожила всю свою жизнь до последнего дня. «Не надо мне помогать, я все это лучше сделаю сама».

Так и приходилось ей делать всю жизнь. Но что меня поражало и до сих пор поражает, что ни сестра, ни брат дальше учиться не хотели. Мама училась на кафедре генетики. Вспоминая мамину родню, удивляюсь, как в пределах одной семьи, от одних родителей, произошли такие разные дети. Но главное, почему вдруг, при прочих равных условиях, только у мамы возникло желание стать ученым, получить высшее образование. Как родилось такое целеустремленное движение деревенской по сути девочки? Конечно, баба Настя — учительница и читательница толстых книг, дед Антон — садовод по призванию, но и брат, и сестра имели тех же родителей. Тут без генетики и впрямь не разберешься.

Дядя Володя окончил семилетку, когда бабушка Настя его корила, что, мол, Таня учится, а Лена — девушка, у нее жених хороший, а парню нужно образование. Дед молча кивал головой. Но все впустую. Дождавшись восемнадцати лет, дядя Володя ушел в армию, попал на Курильские острова, но там не потерялся, сошелся с дочерью поварихи, сделал ей ребенка, женился. И жил неплохо. В середине пятидесятых вернулся в Москву с женой и дочкой. Правда, месяца через два он с курильской женщиной разошелся и отправил ее назад на Курилы. Бабушка Настя рассказывала, что Володька всегда был находчивый. Еще подростком лет шестнадцати они шли вечером домой, а Лихоборы — не место для вечерних прогулок. Их окружила шпана, но Володька умел *по-ихнему* разговаривать, отболтался, и его отпустили. А приятеля зарезали.

Еще две детали из его московской жизни, до похорон отца. Он нашел женщину с квартирой, завуча средней школы, по имени Алла Михайловна. Крупная, выше дяди на голову, очевидно истосковавшаяся без мужчины, она, как могла, заботилась о нем. Никто из родственников ее не признал, хотя она нашла ему работу завхозом в своей школе. Как-то я принес ему от мамы какие-то бумаги. Он

вышел открыть дверь, прикрываясь полотенцем, улегся снова нагишом на кровать и принялся листать бумаги. Под кроватью валялись использованные презервативы. «А девушка у тебя есть?» – спросил он, закончив перебор бумаг. Я смутился, мне было пятнадцать лет. И воспитан я был так, что о делах сердечных молчал. Тем более, что дядя хотел знать, трахаюсь я или нет.

Разбирая после смерти родителей их бумаги, я наткнулся на стопку маминых писем, засунутых в старый, уже желтый конверт. Письма были удивительные, будто новая Элоиза писала своему Абельяру, профессорскому сыну, я их приведу, но по очереди. Вот мамино воспоминание:

«После посещений твоих родителей целая полоса сомнений в своем уме, развитии. Я ведь деревенская до семнадцати лет. Что о моем детстве? Росла в деревне. Сад. Яблони. Яблони. Любила лазить по яблоням за еще зелеными и потом зрелыми яблоками.

За это часто ругал папа, т.к. лазя по яблоням, обламывала маленькие побеги. Вишни, сливы, смородина! Хотела бы я сейчас побывать в таком же саду!

Маленькое отступление от маминого письма. Сам дед, пересказывая эпизод с маминым падением с яблони, добавлял: «Она ветку сломала. Иду, смотрю – ревет, и пытается слюнями ветку назад к стволу приклеить. Я посмеялся, спрашиваю: “Что, отшибла доньшко?” Она увидела, что я не сержусь, заулыбалась, слезы высохли».

Весна! Ручьи, проталины, первая травка, цветение сада!

Осенью сбор яблок. Летом сушка сена, лес, грибы, ягоды.

Осенью любила лазить по рябинам за охваченной первыми морозами рябиной. В саду забираться на самую верхушку яблони за чудом уцелевшими яблоками. Зимой учеба у мамы и катание на салазках и ледянках.

Помню, однажды чуть не уехала куда-то, прицепившись к какому-то проезжавшим саням, а отцепиться никак не могла.

Помню, еще во 2-м классе прислал мне один мальчишка Петя Ипатов письмо, в котором объяснялся в любви. Лена меня потом дразнила этим до слез.

Когда была еще совсем маленькой, научилась, мамыны старшие ученики играли со мной, называли «золотой девочкой». Я забиралась с ними в класс и таскала мел. Спрячусь за доску и там грызу его.

Зимой около школы (она была на окраине деревни) строили крепости, лепили снежных баб.

Весной в пруду около школы ловили лягушечью икру.

Лежали в нем, купались и рвали кувшинки.

Или как хорошо ехать зимой в лесу на санях! Какая прелесть ехать по дороге, ограниченной заснеженным лесом. Мама ездила на какие-нибудь конференции, забирала меня с собой. Закутает в тулуп, сама правит лошаадьми. Ох уж эти запряжки! Сколько с ними было курьезных случаев. То кольцо соскочит, то повозка сломается, то лошадь распряжется. Лошадь у нас была серая. По кличке Ласик. А корова Новинка — белая, хорошая. Но очень своенравная. Интересно было за ней ухаживать, вернее, наблюдать, когда она была еще теленочком.

Тебе все это незнакомо, городской житель.

Я хотела бы, чтобы наши дети уезжали на лето в деревню. Но такой деревни, какая была у меня, у них не будет. Мы же жили там все время».

Деревня называлась Покоево, находилась в Истринском районе Московской области, купеческом районе центра России. Года три мы ездили туда на лето, последний раз, когда мне было тринадцать лет, а Сашке двенадцать. Младшего, Антошку-Тошку, тетя Лена отправляла в пионерлагерь. В деревенском доме, поплоче, чем был у деда (как считала мама), жила его сестра Пелагея, тетя Поля. Высокая, костистая, носившая все лето один и тот же мужской пиджак, она редко улыбалась, смеялась как-то очень резко. Из двоих сыновей старший ушел в армию и в деревню не вернулся. Сестра-погодок была красавица (рассказывала мама), тетя Лена добавляло грубо: «Завела себе любовника, забеременела, так любовник, местный мужик, ее косой в живот ударил, убил и ее, и ребенка». Второй сын Костя был нетверд разумом, и тетя Поля нашла ему молодку Олю, правил, видать, не очень твердых, она родила двойню, мальчишек, кормила их не вставая из постели. И как-то ночью одного из младенцев «заспала» (первый раз я услышал это слово), во сне придавила своим жарким телом, младенец и задохнулся. «Нам теперь легче будет», — оправдывал Костя жену Ольгу.

Деревенская сексуальность, как теперь понимаю, вполне стоила городской. Еще про деда Антона бабушка Настя рассказывала историю. Только они поженились, дед с Первой мировой вернулся, был ранен, вернулся с георгиевским крестом (который потом бабушка прятала), завидный жених и выбрал лучшую из невест, сельскую учительницу Настеньку. После свадьбы свекор выделил молодым верх избы, а на третью ночь под утро поставил лестницу и полез к ним, желая попробовать молодуху. Но дед все же бывший солдат, встал над лестницей с топором в руках и сказал: «Батя, еще шаг, я тебе голову топором развалю!». Попыхтев, батя полез вниз со сло-

вами: «Ах ты, бл... сын, все равно по-моему будет». Тогда-то дед и поставил свой собственный дом.

На фотографии дед Антон с отцом, который важно сидел рядом с женой, словно появился прямо из купеческих персонажей Островского, рядом старший брат, модник деревенский, а младшую сестру Пелагею, видимо, сочли недостойной для фотографирования. А, может, фотограф за каждую личность брал отдельную плату?



Сидят прадед и прабабка, слева стоит дед Антон, рядом его брат Сергей

Прадед был богатей, держал извоз. По деревенским понятиям очень богат. И чувствуется по фото, что он понимает себя как хозяина всему. Он показывал сыновьям накопленные им бумажные деньги, которые тогда обеспечивались золотом. Были там десятки тысяч. Сыновья просили доли, чтобы каждому по одной четвертой, а сестру Пелагею они берут на себя. Дед Антон был старший, на германской был ранен, вернулся с солдатским Георгием, и прадед его немного уважал. Но и ему он жестко ответил: «Умру, все ваше будет, а не жидовская одна четвертая. Пока тебе и Сереге могу дать по екатерининке, то есть по сотенной, а Пелагее червонец – красненькую».



Сыновья примолкли. Рассказывая эту историю, дед гладил по волосам любимую дочку Таню, мою мать, и говорил: «Эх, были бы вы с Леной богатыми невестами, если бы батя не оказался таким сквалыгой». А бабушка Настя смеялась: «Хитрец оказался отец Антона. Он в начале семнадцатого помер, дети все перерыли, ничего не нашли, в начале восемнадцатого заезжие мужики прослышали, что Бубашкины из богатеев, брата Сергея убили, избу его сожгли, потом пришли к нам, но нас никого дома не было, все перерыли, ничего не нашли и избу нашу тоже спалили. Дед начал избу отца перекладывать, и в щелях между бревен нашел забитые, завернутые в газетки бумажные купюры». В детстве я играл в эти бумажные деньги. Было много красненьких — десятирублевков, штук шесть екатерининок — сторублевков, одна купюра в десять тысяч, две по пять. До революции — это были очень большие деньги, дойная корова стоила примерно полтора рубля. Уже позже, когда я подрос, а бабушка пыталась рассовать свои мелкие драгоценности, она их все тайком отдавала маме.

Дед продолжал держать извоз, но уже понимал, что время изменилось. Редкая способность — чувствовать движение времени, его перемены. У деда эта способность была очень развита.

* * *

Но, продолжая тему деревенского секса, должен рассказать одну стыдную историю. Мы гуляли с Сашкой по деревне, вдруг к нам подплыла шайка парнишек лет тринадцати-четырнадцати. Мы стояли недалеко от дома тети Поле. И все же старший из деревенских спросил: «Кто такие? Городские?» Мелкая шестерка ответил: «Они к тете Поле. Но московские». Чубатый вожак, старший, примерно моей комплекции, сказал: «К тетке Поле? Все рано московские, надо бы их отоварить». И тут неожиданно в толпу мальчишек вошла мама. Губы были в ниточку (признак ярости). Она уже пережила войну, рытье окопов, университет, умирание от сепсиса старшего сына, то есть мое умирание, отчаянную борьбу за жизнь младенца, разгром генетики, когда три ее профессора, затравленные народным академиком Лысенко, покончили с собой, а она ушла из научных работников в чернорабочие — и ничего не боялась. Но правож понимала, заступаться не стала, предложила схватиться один на один — вожака со мной, а второго крупного с Сашкой. И тут срейфили деревенские: «Да они же к тете Поле приехали, значит свои. Приходите вечером на поле, в футбол погоняем. А сейчас можем и в веснушки, вон только коров через дерев-

ню прогнали». Коровы шли, оставляя за собой лепешки коровьего говна. Надо было подбежать и ударить пяткой так, чтобы брызги от этой лепешки полетели в физиономию противнику, который отвечал тем же. От веснушек мы отказались.

Мама ушла. А, оказывается, эту сцену наблюдала молодая жена слабоумного Кости. И в ней разыгрался аппетит. Она помахала нам, мол, подите сюда. Мы подошли, чувствуя, что нас влекут в неизведанное. Ольга зазвала нас с Сашкой в сарай на сено. «Зовите меня Оля, по-родственному», — сказала она. И почти сразу завалила нас в сухую душистую недавно скошенную траву, задрала юбку и принялась совать туда наши руки. Мы ничего не понимали, не знали, что делать. Тогда Оля, расстегнув наши брючки, ухватила, наши молодые уды, но мы так перепугались, что никакой эрекции не почувствовали. Но появилась теть Поля, видевшая, куда невестка отвела внуков ее брата: «Ах ты, пробл..., — зорала она. — Пошла вон, а то сама пришибу тебя, раз Костыка не может». Больше мы в Покоево до смерти деда не ездили.

У нас в Лихоборах были подружки, у меня — Аллочка, у Сашки Тома — девочки из дома напротив.



*В шляпке Аллочка, выше сестры Тома, Тома в капоре.
У меня лицо абсолютного недотепы. Таким всегда был подростком*

Отношения более чем целомудренные, даже не целовались, тем более не лапали своих подружек. Такое даже в голову не приходило. Как-то в школе одноклассник Толик Пэсеров, с черными жесткими волосами, зачесанными вперед, проходя мимо симпатичной мне девочки, сунул ей руку под юбку, подержал там, так что она согнулась, но ничего не сказала, даже не ойкнула. Толик спокойно вышел из класса. Он любил спросить на улице девушку в вязаной шапочке: «У тебя волосы какого цвета?» Та простодушно отвечала: «Каштановые». Он ухмылялся и продолжал допрос: «А на голове?» Девушка краснела и убегала. Так и с Клавой Мотылевой, которой он сунул под юбку руку. Сделал это на спор, а у подоконника сказал склонившимся к нему ребятам: «Ну вот и потрогал я Клавку за ...». Я был в шоке. Мне все равно казалось, что он врет, какой-то дурной розыгрыш. Но Толик, увидя мое ошарашенное лицо, ткнул кулаком в плечо: «Ты что, они сами это хотят». Лишь много позже я убедился в правоте его слов. Мне мама без конца твердила, словно я был девочкой: «Никому не давай поцелуя без любви». Так я себя и вел.

Почему-то мы говорили, когда ехали в Лихоборы, что едем к бабушке Любе, а не дедушке Антону. Все же она делала погоду в доме. А дед занимался своим палисадником, слабым подобием его огромного сада, который ему пришлось в 1929 г. оставить и переехать поближе к Москве. Вначале они жили в подмосковном Тропарево, потом, когда дед стал шофером при реввоенсовете, им дали комнату в этой страшной коммуналке в Лихоборах. В палисаднике был столик, маленький стул, лично дедовский, и скамейка, на которую он усаживал гостей.

Палисадник был любимым местом деда. Прямо в палисадник выходило окно их комнаты. Маленький прямоугольник земли, длиной в 10 метров, был обихожен, как ни один сад. Росли две яблони и две груши, на которых были разнообразные подвои, кусты крыжовника и смородины. Он умудрился поставить там и маленький навес от дождя. Вдоль заборчика он пустил малину. Конечно, мама стала биологом, генетиком, селекционером следом за своим отцом. Но не только, была еще профессорская семья, семья отца, и свекор — профессор геологии и минералогии. Биофак она выбрала сама, но кафедру генетики ей насоветовал папин отец. Как написано в «Таниаде», «посоветовал Тане предпочесть кафедру генетики мой отец, ибо, как геолог и минеролог, знал — отчасти и наблюдал — действие генетических законов в преобразовании горных пород и сложении разных по плодородию почв. Он давно уже склонялся к выводу, что законы генетики универсальны. Его другом в Академии был известный генетик Антон Романович Жебрак, не отрехшийся от генетики.

Однако для генетики наступали черные дни. Лысенко готовился к своему одобренному Сталиным докладу на сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года. А пока подбивались организационные выводы, Таня закончила МГУ и получила звание младшего научного сотрудника». Но дед Моисей умер в 1946 году, тоже 67 лет, и дальше по научной дороге мама шла сама. Надо сказать, что Жебрак жил в соседнем подъезде. Мы здоровались при встрече, а с его сыном Борисом я немножко приятельствовал. Очень часто я видел, как мама помогала деду Антону подвизывать подвой. Практическая школа у нее была настоящая. «Без садика своего я помру», — говорил дед Антон. Когда генетику разгромили, а именно в августе всех представителей биологически «вредной буржуазной науки» — генетиков разогнали кого куда, папа писал: «Сокращали с работы крупных, с мировым опытом, ученых по причине “научной несостоятельности”. Закрывали институты, кафедры, научные лаборатории. Таня ни разу не пожалела, что выбрала эту гонимую кафедру. Среди ученых разочарование было сокрушительным: профессор Собинин кончил жизнь самоубийством, проф. Голубев умер от разрыва сердца». У мамы было два профессора, которые ее вели, не отказавшиеся от генетики, — Навашин и Раппапорт. А потом, спустя лет тридцать, вывела *земклунику*, и лучший ее сорт назвала в честь Раппапорта — Рапорт. Мама была верным человеком. После погрома ей предложили отказаться от них и перейти к правоверному лысенковцу. Мама сжала в ниточку губы, как всегда делала, сердясь, и ответила, что учителей не меняют. И ее сразу перевели в лаборантки — мыть пробирки. Наступали плохие годы. Душу мама отводила в палисаднике отца, туда же привозила и меня, а тетя Лена сына Сашку.

Внуков бабушка Настя и дед Антон усаживали на скамейку, и мы на довольно-таки грязной улице дышали садом, яблоками и грушами.

Мы были в матросках, потому что моряк дядя Витя, муж тети Лены и отец Сашки, был нашим кумиром. Мама, хоть и была младшей, но характер был такой, что и брат, и сестра ее слушались. Ее старшая сестра Лена завела роман с балтийским моряком, потом дважды выходила за него замуж. Я, когда это услышал, не понял, почему дважды. А просто: у офицеров было два важных документа. По паспорту он женился на тете Лене, потом командировка во Владивосток, где застрял на несколько месяцев. У тетки заскребло на сердце, она долго добиралась туда, добралась через два месяца, накануне его новой свадьбы — по военному билету, там штампа ЗАГСа не было. При этом человек он был храбрый, подводник, которым, когда в лодку попала торпеда и она стала тонуть, им по приказу ка-

питана выстрелили из родного торпедного аппарата. Выстрелили им и еще двумя тонкими ребятами, трое суток их носило по Северному морю, потом их случайно увидели с советского катера и подобрали. Получил орден. Они с тетей Леной еще раз поженились, и год спустя после меня сына Сашку родила тетя Лена, старшая мамина сестра.



*Посередине брат Сашка и я,
по бокам бабушка Настя и дед Антон*

Но его любвеобильность стала толчком к переменам в жизни бабушки и дедушки, да и в жизни тети Лены и дяди Вити. Братья (Сашка, Тошка) пережили это спокойно. А вот организм деда получил сотрясение. Как странно вяжутся узлы жизни.

Дело в том, что мой дядя, муж тети Лены контр-адмирал Виктор Петров жил с женой и двумя сыновьями в одной комнате двухкомнатной квартиры. Другую комнату занимал его сослуживец грузин Гургенидзе с молодой женой, русской, нерожалой, как говорят в народе, и, судя по рассказам, очень податливой, как в песне про неверную жену моряка: «расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты знала, сколько губ, трижды развращенная жена». Блондинка, гибкая, пухлогубая, широкобедрая, ходившая в коротких легких халатиках, в которых ее формы смотрелись вызывающе. Даже я как-то

увидел, как дядя Витя, глядя на соседку Маргариту, облизнул сухие губы. Случилось то, что и должно было случиться. Когда муж ее был на дежурстве, жена соседа Маргарита пригласила дядю Витю в комнату чаю попить. Дети были в школе, тетя Лена уехала навестить родителей — раздолье! Так и случился их роман. Женщина оказалась страстной, да и дядя Витя уже утомился от своей располневшей жены, тети Лены со слоновьими ногами.

Романом это назвать трудно, но случки происходили по меньшей мере пару раз в неделю. При том, что коридорчик был узкий и небольшой, она, проходя мимо дяди Вити, старалась молодым своим телом прикоснуться к нему. Когда же она встречала взгляд тети Лены, то смотрела поверх ее головы, словно не видела, будто эта особа не стоила внимания. Мама, как-то посмотрев на переталкивания дяди Вити с соседкой, сказала сестре: «Ты бы эту кошку за космы бы оттакала». Но тете Лене, тяжелой от толщины, мир был важнее. А может, боялась, что муженек махнет резко на сторону. А тут вроде под присмотром. Но в конце концов их застучал сосед, капитан Гургенидзе. Дядя Витя, боевой офицер, выхватил кортик, который он всегда держал рядом с собой. «Нет! — выкрикнул знойный южанин. — Перед парткомом ответишь!» Это по тем временам было пострашнее кортика. Вариантов не было, оставалось отвечать перед партией.

На дядю Витю было наложено взыскание, с него взяли слово офицера, что больше с соседкой он не будет совокупляться. И тут для обеих семей началась мука мученическая. Маргарита не давала слово офицера, а потому поджидала дядю Витю в коридоре, куда бы он ни шел. Все впали в легкое помешательство. Тетя Лена была в растерянности, но контр-адмирала дядю Витю снова вызвало начальство и предложило думать о варианте разезда. У тебя, сказал начальник, тесть и теща имеют комнату в коммуналке. Две комнаты в разных квартирах вполне можно обменять на трехкомнатную — не большую, но все же три комнаты! И тетя Лена энергично взялась за это дело, спасая семью. И осенью 1964 г. она получила ордер на маленькую трехкомнатную квартиру от военного ведомства на улице Маршала Жукова.

Тем временем баба Маня, мать бабушки Насти, прослышав про эту историю, переменила свое решение, кому отдать семейную Библию. Она была дочерью сельского священника, так всю жизнь и прожила, как дочь священника. Так что и бабушка Настя была верующей и детей крестила. И крещеная моя мама, к тому же с высшим образованием, вошедшая в профессорскую порядочную семью, стала прямой наследницей религиозных книг. Но как полагала бабуш-

ка Маня, в доме хозяин муж, а Карл к тому же философ, ему Библия наверняка понадобится. Отец приехал, но с ним поехала и бабушка Мина, член партии с 1903 года, его мать и его партийная совесть.



Лихоборы: дед Антон, папа, баба Маня, бабушка Мина

Библию бабушка Мина папе не разрешила даже в руки взять, полистала пять минут сама и вернула бабе Мане, сказав: «Спасибо вам, моя милая! Но Карлу это не надо. Он член партии, отвечать-то ему придется. Если кто узнает, то его могут и исключить из рядов. Так что забирайте книгу туда, где она лежала». И добавила тихо папе: «Все-таки эти Лихоборы, как видишь, дикое место». Баба Маня растерянно взяла Библию и принялась засовывать в свой холщовый мешочек, где лежал еще толстый том — старинная Псалтырь. Дед Антон, отец, бабушка Мина, мама и я смотрели на ее неловкие движения, которыми она запихивала Библию, вынув для удобства Псалтырь. Баба Маня пробормотала: «Это я Тане обещала». Мама, оттолкнув отца, шагнула к своей бабушке. «Баба Маня, мне и давайте, мой Псалтырь я никому не отдам».

Бабушка Настя тем временем зажгла лампадку перед иконкой Казанской Божьей Матери, принялась креститься, чтобы мои ро-

дители не поссорились. Бабушка Мина пожалала плечами, мол, ваше дело. А мама спрятала Псалтырь в свою хозяйственную сумку. Она была уверена, что если бабушка Настя крестится перед иконкой, то все будет в порядке. Эта уверенность сложилась со времен войны, когда немец почти взял Москву.

Англичане поднимали над Лондоном аэростаты на высоту в 2000 метров. Советские аэростаты поднимались в два раза выше. Но Москву немцы обложили, Москва задыхалась, в бой бросали ополчение, то есть стариков и необученных вчерашних десятиклассников. Даже почти слепых, так погиб одноклассник отца Володя Рындин, который сослепу попал под собственный танк. Володя был дядя друга моего детства и юности Саши Косицына. Наступило 16 октября 1941 года. В Челябинске, как рассказывал отец, все верили (знали будто), что в Москву враг никогда не войдет, его не пропустят. И правда, стояли насмерть, бросались со связками гранат под танки. Брат отца, дядя Лева, лейтенант морской пехоты, закрыл своим телом взвод, не зная о Матросове. Выхода не было. Погибли трое его солдат, и тогда он пошел сам. Об этом я еще расскажу. Девятнадцатилетняя мама шила солдатское белье – кальсоны и нижние рубашки, ходила с другими женщинами на рытье окопов и противотанковых рвов.

Но при этом, если не считать работы, особенно в начале октября, женщины притаились, кругом стояли надолбы от танков и ежи, но немецкие мотоциклисты уже въезжали небольшими партиями в город, были в Сокольниках, кто-то видел шального немца, который якобы промчался на своем мотоцикле по Лихоборам. Но скорее всего это были слухи.

Но, как рассказывают историки, 16 октября Гитлеру послали телефонограмму. «Город практически взят, можем вводить войска». А фюрер ответил: «Завтра маршевым шагом с развернутыми знаменами». Кстати, знамена у фашистов тоже были красные, только вместо серпа и молота – свастика. Красный флаг – флаг войны. Я воображаю, как в маленьком домике, в маленькой комнатке, заятаилась мамина семья, две сестры, младший брат и дед с бабушкой. Пятнадцатилетнего сына Володьку засунули в подпол, таких подростков, по слухам, немцы тут же расстреливали. Короче, с жизнью почти простились. Никто не спал. Бабушка стояла на коленях перед иконкой Казанской Божьей Матери, ее любимой иконой, и нескончаемо жгла лампадку. И вдруг тетя Лена завизжала: «Вошли!» Она решила, что вошли немцы. Мама тихо, как она умела, в сложные свои моменты, подошла к окну. И шепнула: «Мамочка, ты вымолила». И выскочила на улицу. Было холодно. По широкой дороге

шли не ободранные ополченцы, а одетые в тулупы и шапки-ушанки, с автоматами, рослые ребята сибиряки. Следом выскочила сестра Лена, они обнялись и принялись рыдать от счастья. «Мы тогда поняли, что Москву не сдадут», — рассказывала мама.

Они выпустили младшего брата из подпола. И сестрички пошли снова шить кальсоны. Но у мамы подоспели документы, и выяснилось, что ее перевели на второй курс биофака, а универ из Москвы не вывезли, хотя об этом поговаривали. До сих пор не могу понять, как она, когда уже началась война, могла ходить в универ и сдавать экзамены! Верила в себя, верила в победу, наверно, хотела быть на уровне любимого — профессорского сына — Карла. Поступила в 1940-м, но не бросила учиться, несмотря на войну. Свои письма, она естественно начинала с пушкинского подарка русским девушкам — письма Татьяны, ведь и сама Татьяна. Вот начало ее письма 1940 г.: «Здравствуй, Карл! Не начать ли словами Татьяны из “Евг. Онегина”: “Я вам пишу. Чего же боле?” и т.д.? Почему о тебе ни слуху, ни духу?»



Дом в Лихоборах

Осталось ли у мамы это ощущение влюбленной девушки? Насколько я видел, такого не было. К 1965 г. осталось чувство верной жены и матери. Мама, конечно, «опиралась на собственный хвост», хотела образования, но уровень притязаний она получила все же в профессорской семье. В Лихоборах — даже как о мечте — о высшем образовании никто не думал, это было ее решение, но вход в круг биологической элиты она позднее получила от свекра. Правда, элита, как и полагалось настоящей, оказалась гонимой.

А Лихоборы? О его населении говорит название — Лихой Бор. Бора уже не было, лес давно повырубили, но лихие люди были основным населением этого микрорайона. Девочек Бубашкиных, Лену и Таню, шпана не трогала, зная, что дед Антон крут на расправу и дубинка у него всегда под рукой. Но драки с поножовщиной случались практически каждый вечер. Потом появились внуки, но и с ними был порядок. В одной из трех комнат на первом этаже, где жили бабушка и дед, жил Витек, местный пахан, с одной ходкой, он взял внуков деда Антона под защиту. И мы спокойно ходили по местным окрестностям, провожали бабушку Настю на колонку за водой. Колонка стояла одним домом ниже, путь для старухи с коромыслом, на котором висело два ведра, был неблизким и нелегким. Но бабушка привыкла, водопровода в доме никогда не было.

Но все же для деда был палисадник. Дед не участвовал в переезде. Когда пришел грузовик, за рулем сидел матросик, которого дядя Витя в приказном порядке посадил за руль. Второй матросик на легковушке увез бабушку Настю на новую квартиру. Она должна была там встречать грузовик, в который дядя Витя и дядя Володя запикивали обстановку комнаты: сундук, шкаф, ширму, стол и стулья, дед ушел в свой палисадник и попрощался с посаженными им кустами и деревьями, гладил их. Понимал, что делает это для дочки. Плакать он не плакал, но, как рассказывала мама, лицо его сразу сморщилось, углы губ опустились, а тонкие, как у мамы, губы были плотно сжаты. Словно дерево, вырванное с корнем. Ведь палисадник он начал обихаживать с 1929 года. До переезда прошло 35 лет. Сосед Витек увидел, как дед прощается с кустами и деревьями, и неожиданно вышел на улицу. Он подгреб к деду Антону, похлопал его по плечу и сказал своим хриплым блатным голосом классическое русское: «Ничего, дядя Антон, образуется». И принялся помогать ставить вещи в грузовик.

Деда посадили в кабину, и грузовик покатил. Петровым стало сразу лучше. Вместо одной они получили две комнаты, в одной родители, в другой сыновья, прихожая и небольшой холл, коридор, кухня — это все были их владения. В третьей дед и бабушка. Подо-

конники были крошечные, так что и горшка цветов не поставить. Дед тосковал и все чаще доставал свой нитроглицерин. Как-то и после нитроглицерина не отпустило. Бабушка пошла вызывать «скорую», 03. Долго не подходили, потом спросили: «А сколько лет больному? Шестьдесят семь? Давно его прихватило? Да уже, наверно, и ехать нет смысла». Телефон стоял в прихожей, бабушка села на табуретку и заплакала в голос.

Плач услышала тетя Лена, толкнула мужа в бок. Командирский голос подействовал. «Сейчас выезжаем», — сказал врач. Но, как они и ожидали, было уже поздно. Машина «скорой» приехала минут через сорок, но, как врачи и ожидали, было уже поздно. Врач констатировал смерть. А далее все завертелось. Примчалась мама, приехал, отдуваясь после похмелья, дядя Володя, привез бутылку водки. С дядей Витей они выпили, пока мама звонила в бюро похоронных услуг, а тетя Лена с соседкой обмывали тело деда. Когда приехала женщина врач из этого бюро, подтвердила смерть и выписала квитанцию — разрешение на похороны, добавив по просьбе дяди, что место захоронения оставлено на усмотрение родственников. Дядя Володя аккуратно сложил разрешение и спрятал в боковой карман. Хоронить решили в Покоево, где уже были похоронен отец и брат деда.

Стоял декабрь, уже 25-е. Дед лежал в гробу в своем кителе, черных свежеотглаженных брюках, которые никогда гладить не разрешал, в белой рубашке, бабушка повесила ему на грудь маленький крестильный крестик, дядя Витя не возражал, хотя бабушка его опасалась. Но последний год контр-адмирал Виктор Петров стал ходить в церковь на службы, разумеется, не ставя в известность свое начальство. Приехал и папа, выпивать отказался, но гроб нес вместе с другими мужчинами.

Похоронный автобус стоял у подъезда. Гроб с телом деда родственники снесли вниз. Мужчины внесли гроб и поставили его аккуратно на помост посередине салона. Вдоль стены стояли лавочки для сопровождавших. А также несколько скамеек со спинками для пожилых родственников. Входившие и заглядывавшие в автобус давали цветы бабушке Насте, а та укладывала их вдоль мертвого тела мужа. Было примерно минус двадцать пять мороза. Дядя Витя остался дома, сославшись на дела службы. На самом деле бабушка Настя винила его в смерти деда и не хотела видеть на похоронах. Набилось в автобус не так много: бабушка Настя, мама, папа, тетя Лена, дядя Володя, Сашка, соседка тетя Нюра, приехавшая из Лихобор, и я. Дорога вначале шла по шоссе, но и когда выехали на проселочную дорогу, ход автобуса не изменил-

ся, ехали ровно и гладко: вечная история – в России дороги чинит всегда Дед Мороз.

Подъехали к дому тети Поли, забрали ее с собой. В маленькой деревенской церкви быстро отпели деда. Кладбище находилось на пригорке.



За пригорком стоял густой ельничек, метров двести от кладбища. Там уже ждали с ломami и лопатами местные парни, с которыми мы когда-то чуть не подрались. Тетя Поля попросила их (а может, и наняла), чтобы они вырыли могилу. Ломы были нужны, чтобы пробиться сквозь мерзлую землю. Примерно через час гроб на веревках опустили в яму. На крышку сбросили цветы, потом каждый из родственников бросил на гроб по куску земли. А деревенские парни мигом засыпали землей могилу, создали холмик, воткнули деревянный крест с табличкой. Вокруг креста положили оставшиеся цветы. Мама несколько раз поклонилась кресту, поцеловала табличку. Шо-

фер завел мотор, дядя Володя попросил его не торопиться, подошел к деревенским: «Ребята, топора у вас с собой по случаю нет?» Те пожали плечами: «Вообще-то есть. Зачем тебе?». Дядька улыбнулся своей обаятельной улыбкой, которая одинаково действовала не только на женщин, но и на мужчин. «Да все просто, парни. На носу у нас Новый год. А какой Новый год без елки? В Москве елку не купить, а тут растут – руби, сколько хочешь! Я бы с вами пошел, но снегу навалило – в ботинках не пройдешь. А вы все же в валенках». Наши вчерашние враги сильно повзрослели, готовы были помочь, особенно, когда отдавало запретным. Проваливаясь в снегу, парни побрели к ельнику. Минут через двадцать или тридцать пушистая красавица уже лежала на том месте, где недавно стоял гроб.

Елку, обмотав шпагатом, оставили в сених. Потом сидели за большим столом в избе, где в углу висели две иконы – св. Георгия и св. Власия. На столе было скудно: три селедницы с нарезанной селедкой, покрытой кружочками репчатого лука, на большой тарелке куски вареного мяса, две миски соленых огурцов, две тарелки кружочков любительской колбасы, большой квадратный серый кирпич хлеба, который тетя Поля, прижав к груди, резала крупными ломтями. Стояла посредине стола двухлитровая банка самогона и три или четыре бутылки водки. Глупо улыбаясь, со стаканом водки в руке сидел Костя, полудурок, сын тети Поли, рядом с ним его жена Ольга, лицо которой было расцвечено синяками разной величины и давности, сели за стол, кроме родственников, и два парня, что копали могилу. «Давайте Антона помянем» – встала первой тетя Поля со стаканом самогона. Сын-полудурок потянулся к ней чокаться. Но та отвела руку в сторону: «Лучше встань и отстань от меня. На поминках не чокаются». Все молча выпили. Но потом встала мама: «Тетя Поля, обожди, я скажу. Отец делал все для своей семьи, переехал из большого дома в Покоево в коммуналку в Лихоборах, дом здесь сожгли беженцы, тетя Поля знает, дом без хозяина плохо сохраняется. А он шоферил, лишь бы семью прокормить. А я еще отцу благодарна, что он поддержал меня, когда я в университет на биофак поступила. И ни разу не попрекнул, что я учусь, вместо того, чтобы деньги зарабатывать. Да и биологию я выбрала, на папу глядя. И внукам помогал, сколько он моему старшему скворечников смастерил! Спасибо тебе, папа». Тетя Лена, дождавшись окончания маминых слов, вылила в себя стакан самогона, заела огурцом и нацепила на вилку кусок мяса. Мама одним глотком выпила стопарик водки, хотя вообще не пила, порозовела, опустила на стул, лицо закрыла руками, чтобы не видели ее слез. Папа подошел, обнял маму за плечи, а дядя Володя хмыкнул и ска-

зал: «Ну, Таня, на тебе наш род отдыхает. И отец любил выпить, вон и Лена не дура — стаканчик-другой пропустить, да и я умею и люблю». И тут разговор перешел на водочную тему. Костя-полудурокпил, пила и его распутная женушка, время от времени полузазывно взглядывая на меня. Но тетя Поля не обращала сейчас на нее внимания, а от выпивки не отставала. Соседка Петровых пила тоже, но, похоже, контролировала себя. Деревенские парни подошли ко мне со стаканами: «Не побрезгуешь с нами выпить? Ты ведь городской. Драться умеешь, а пить?..» Чтобы не оплошать, я выпил одну за другой две рюмки водки. «А самогон не уважаешь?» спросил тот, что постарше. Пришлось выпить полстакана самогона. Меня спас дядя Володя, уже изрядно раскрасневшийся: «Баста пить, вот Таня сказала, я тоже хочу сказать об отце». Он встал, оперся обеими руками о стол: «Вот что я скажу. Скажу, что отец был настоящий мужик, настоящий солдат. Об этом мало кто знает, но он в Первую Германскую воевал, получил солдатский Георгиевский крест за штыковую атаку. А солдатский Георгий — это награда, что именно за храбрость давалась. За храбрость отца и выпьем. Жаль, мать не уберегла эту награду». Бабушка Настя, сидевшая все время молча, не пившая и не евшая, будто слезы стояли у нее в горле, тут подняла голову. «Ты не понимаешь, — сказала она вдруг жестко, — я его прятала, чтобы не посадили, теперь можно, он со мной. Но я еще не решила, кому его отдать». Она снова замолчала, глядя в одну точку, на тетю Лену и Сашку, как я вдруг заметил, она не глядела. А когда полупьяная тетя Лена подошла к ней поцеловаться, подставила щеку, а потом вытерла ее платком.

Наступил вечер. Тетя Поля вдруг встала и прямо сказала: «У себя я могу на ночь только Настю оставить. Остальные пойдут на электричку, самая удобная в двадцать один тридцать. Вот только с елкой племянник мне начудил. Могли бы пешком через лес до станции пройти. Но с елкой не допрешься. Разве Васю попрошу на своем козлике ее туда добросить. А ты, Володька, пойдешь пешком со всеми. Скажи спасибо, что елку тебе довезут». И через час мы пошли пешком на станцию через лес.

Спотыкаясь и матерясь, тетя Лена и дядя Володя шли впереди. Мы плелись сзади. Вот наконец и станция. Козлик с Васей и елкой ждал рядом. Мама пошла и купила на всех билеты, понимая, что ни брат, ни сестра на это уже не способны. Дядя Володя пожал парню руку, втащил елку на платформу. Пошатываясь, он стоял у края, то ли держа елку, то ли держась за нее. Тетя Лена тоже ухватилась за елку, чтобы устоять на ногах. Сашка подпирал мать с другой стороны. Мама, папа и я стояли немного в стороне. Но когда подошла

электричка, мы очутились в одном вагоне. Соседка Петровых села в соседний вагон. Одно купе заняли тетя Лена, Сашка и дядя Володя, обтянутая шпагатом елка встала у окна. Мы обосновались в соседнем купе. Около часа ехали спокойно и молча, без происшествий.

Оставалось до Москвы станции три. И тут вошли два контролера и два милиционера. Мама сказала, что билеты на всех у нее. Контролеры отштамповали билеты, но милиционеры заинтересовались елкой. «Чья?» – спросили они. Дело в том, что вырубать елки без разрешения было тогда запрещено. Дядя Володя встрепенулся: «Моя. Но я вот с сестрами еду с похорон отца. Мы около гроба елку держали». Мент потянул елку к себе: «Доказать можешь?» Дядя Володя полез в боковой карман и достал справку от врача похоронного бюро, где стояли слова, что место захоронения гражданина Бубашкина А.Е. оставлено на усмотрение родственников. Я чувствовал, как напряглась мама. «Вот видите, – ткнул дядька пальцем в эту надпись. – А мы решили отца похоронить, где он родился, вот и сестра подтвердит», – он показал на тетю Лену. Мент посмотрел на пьяненькую тетю Лену, которая дремала на плече у сына Сашки. Ухмыльнулся, махнул рукой, сказал напарнику: «Ладно, пускай едут». И они вышли из вагона следом за контролерами.

Конечной станцией был Рижский вокзал.

Мы вышли раньше, чем дядя Володя и тетя Лена, но мама осталась на платформе, ожидая брата и сестру. Те вышли, дядя Володя тащил елку. Мама сказала, остановив брата: «Ну ты прохиндей, Володька!» Тот глупо улыбнулся: «Ты чего, Танька! Ты же мне сестра! То, что отец умер, нам повезло! Как иначе я бы елку провез!» В ответ мама развернулась и изо всей силы молча ударила брата ладонью по щеке.

Взяла отца под руку, меня за руку и мы пошли в метро.

Пицунда, 8 сентября 2018

Выживание

Новелла

*О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.*

О. Мандельштам

Очевидно, сами это мало сознавая, мы почти каждый день (если не сказать час) ходим по краю небытия. И не срываемся туда по случайности. Каждый день может оказаться последним. Либо предпоследним, когда концовка жизни уже глядит в затылок, а ты этот взгляд чувствуешь. Или твои близкие чувствуют и пытаются тебя спасти. Меня спасала всегда мама. У каждого из нас своя история. У меня своя.

На старости лет, примерно за год до смерти, папа принялся писать подражание дантовской «Vita nova». Это смесь воспоминаний в прозе, которые проложены его стихами. Не уверен, что мне удастся опубликовать это сочинение целиком, поэтому беру из него отрывки. И, забегаая вперед, приведу стихотворные строки, которыми папа закончил свой текст:

Ты всей жизни моей услада.
Как беспечен был первый акт.
Неужель неизбежен Закат
горько-радостной «Таниады»?!
Ну а теперь к новелле.

Как вспоминаю, болел я в детстве без конца. Это были «мои университеты». И выхаживала меня, разумеется, мама. Но и вкладывала в меня то, что считала должным для русского мужчины.

Воспитывала терпение, безумное, отечественное. С моими бесконечными болезнями: то парить ноги в горячей воде с разведенной там горчицей, горячей почти до кипятка. Помню, как искал в тазике ногами уголок похолоднее, как тихонько засовывал и тут же выдергивал ногу. Наконец, ноги привыкали, тогда мама укутывала мои ноги сверху теплым, как правило, шерстяным одеялом, и так я сидел минут пятнадцать. Потом вынимал ноги, которые были красные, словно вареные раки, мама вытирала их, и я забирался в постель под теплое одеяло. Но это еще было терпимо. Хуже — горчишники, которые мама делала сама (в аптеках они были редкостью). Они жгли, будто прожигали тело насквозь. Я хныкал, просил снять. А мама говорила: «А ты вспомни, как советские бойцы горели в танках. Им больнее было. А они из горящего танка вели бой. Вот ты так смог бы?» И я тогда бывал устыжен и терпел изо всех своих детских возможностей. С тех пор так и привык терпеть. Все терпел, исходя из тезиса, что другим бывало и хуже. Да и присловье бабушки, маминой мамы: «Христос терпел и нам велел» всегда помнил. Любую перемену в судьбе все-таки в результате мог перенести, правда, не всегда борясь, чаще склоняя голову перед неизбежностью. Очень въелась в меня через эту доктрину терпения идея жертвенности. Но и дикая обидчивость тоже. Не может человек просто поступаться своим Я. Требуется компенсация. Вот обидчивость и была такой компенсацией.

Моя жизнь началась практически с ухода на тот свет. Не успев появиться на этом, я судорожно начал бороться за то, чтобы здесь остаться, чтобы тот свет не втянул меня в свой страшный зев. Боролся я фактом своего существования, вот он я, не надо меня отсюда забирать, ведь рядом мама. Мама и боролась, одна, один на один со смертью, которая приняла облик общего послеродового заражения крови, сепсиса.

Как понимаю, весь организм мой был отравлен, был сплошной гнойный нарыв, кровь не справлялась. Папа был в армии, помогала маме ее мама, да и папина мама пыталась найти хороших врачей, которые бы поняли, что происходит. То есть все понимали, что ребенок умирает, но в этот месяц вымерли практически все младенцы этого роддома, явившиеся на свет в дни, когда правил миром Овен. Я родился 30 марта 1945 года, шли последние месяцы войны, очевидно, диверсии, как говорили женщины, потерявшие детей, не было, была классическая российская нечистоплотность, когда зараза схватила всех. Пришел древний бог Мор, древнеславянский бог смерти, холода, голода и болезней, и забирал одного ребенка за другим. Бабушка Настя ходила в церковь во Владыкино, недалеко

от Лихобор, приносила святой воды и, как рассказывала мама, обрызгивала мою постель, крестила маму и меня. Мама в это верила и не верила, все же она была комсомолкой и студенткой биофака, да и свекровь — член партии с 1903 года. И все же ее мама, бабушка Настя, была рядом, она выходила в свое время ее, сестру и брата. Правда, второго брата спасти не удалось — обезвоживание организма. Но и время было — без воды и отопления, лекарств не достать. Поэтому все шло в дело, святая вода тоже. Но спасла ребенка другая жидкость, которую только привезли из действующей армии и стали раздавать по больницам. Это был пенициллин, изобретенный британцем Александром Флемингом. Как писали французы, для разгрома фашизма этот британский медик сделал больше целых дивизий. Когда пенициллин попал в этот роддом, где лежали изможденные умирающие дети, врачи растерялись, их испуг передался, наверно, и молодым мамам. Все-таки что-то из зарубежной тьмы, хоть и союзники. Русские женщины, лежавшие с мамой, твердо отказались. Но была там одна докторша, которая приняла идею пенициллина и принялась уговаривать женщин. Согласилась одна мама. Все шикали на нее, что она хочет загубить сына. Но мама, приняв решение, принимала его продуманно, и уже не отступалась.



Мама с выжившим сыном

Воображаю, хоть и с трудом, как она, выпрашивая у сестер чернильницу-непроливайку, перо-вставочку и сидя на краешке стула около моей кровати, изо дня в день писала папе длинное письмо:

«Дорогой мой Карлушенька!

Вот ты и папа! Вот у тебя и Сын Володька! Все по порядку. 28-го я ушла к маме, там пробыла 29-го день, а вечером почувствовала боли и меня мама в 10 часов вечера отвезла. Хорошо то, что около дома была легковая, которая довезла нас до трамвая. Иначе было бы трудно идти: погода была прескверная: дождь, слякоть».

Я помню эту дорогу от двухэтажного домика в Лихоборах до трамвайной остановки, примерно около километра. Дорога разбитая, в выбоинах и ухабах. Думаю, что в тот год она была еще хуже, если учесть слякоть, в которой разъезжаются ноги, а мама несла не только себя, но и живот, в котором пребывал будущий младенец. Маленькая бабушка Настя как могла ее поддерживала. Но, наверно очень боялась, как бы дочка не упала. Да еще десять вечера, уже темно, фонарей около лихоборских домов не было, свет из окошек совсем слабый. А легковая, которая их подвезла, стояла недалеко от дома. На ней приехал местный пахан Витек, из соседней комнаты. Он и приказал шоферу подвезти до трамвая соседок. Машина называлась, кажется, «ЗИС» и была шиком пахана. Редкозубый шофер не просто согласился, но еще и помог маме и бабушке влезть в салон.

«Трамваем доехали до Вятского роддома, где меня мама и оставила. Сильные схватки начались часов с 12-и ночи и продолжались до 8 часов утра, когда и родился Вовка. Никогда еще не приходилось мне испытывать таких болей. Это что-то кошмарное! Тогда я тебя не ругала, а только думала в промежутках между схватками, что никогда больше не допущу до ребенка. Звала на помощь акушерку и маму. Казалось мне, что это никогда не кончится, что я никогда не разрожусь. Но все обошлось благополучно, безо всяких других последствий, без разрывов. Когда акушерка принимала, то спросила, кого мне: м. или д. Я ответила, все равно кого, только скорее. Ну а все-таки? — Мальчика. Через несколько минут она мне показывает мальчика. Черноголовый, шляпоносый, с большим ртом. Он мне сразу не понравился. Я махнула рукой, чтоб унесли. Мне было не до него. И на другой день, когда принесли кормить, то он мне опять не понравился. Сейчас он становится лучше. Но он что-то захворал, похудел очень сильно. Был такой толстенький, на 9 фунтов, а теперь одни косточки. Мне страшно за него. Мало ест,

поносит. Была врач, но ничего определенного не сказала. Может быть, и ничего, но я очень волнуюсь. Ночью как ванька-встанька то и дело вскакиваю. Устала страшно».



*Вятская улица (Москва). Роддом.
Нынешняя фотография, дом тот же*

Бандитская легковая довезла до трамвая! Ситуация почти непредставимая для обеспеченного европейца.

Но самое главное и страшное, что волнение маму не обмануло. Надвигалась смерть. А про пенициллин еще никто не говорил, доктор, которая потом всех уговаривала, была на стажировке в соседнем роддоме. Пока же надо было, не подозревая, что спасение существует, переливать поцелуями свою силу жизни в ребенка. Искала помощи в профессорском доме родителей мужа. Там было чище и теплее. Ее выпустили. Она поехала в дом свекра и свекрови.

«Только лягу, почувствую, что могу вытянуться отдохнуть, как малейшее его кряхтенье, писк, кашель — заставляют вскакивать с кровати, хотя и не хочется, ох, как не хочется вставать! У сынки волосики не совсем черные, а скорее каштановые и глазки желтые, но не черные. Нянчусь я с ним одна на Красност[уденческом]. Сразу из роддома приехала сюда, потому что должен был прийти врач, на следующий день (таков порядок: к новорожденному приходит врач на

следующий день после роддома. Роддом дает телефонограмму в консультацию, и врач обязана прийти). А потом сынка расхворался, и я застряла. Твоей мамы целыми днями нет, а если дома, то занимается, моя в Лихоборах. Топчусь я с ним одна, и нервничаю, и устаю, и пеленки, и сам он, не знаю, что делать с ним в некоторых случаях. Времени он берет уйму. Все время около него, не отходи. Условия здесь лучше и для меня, и для Вовки, но нет помощи. Как только ему будет лучше, то перееду к маме. Беспокоит меня и учеба. Боюсь, не отстать бы! В теории одно, а на практике-то получается совсем иное.

Получила поздравительную телеграмму от генетиков. Обижаясь на Риту: я к ней приходила, а она не идет. Ведь и есть с кем оставить мальчика, не то, что мне: одна, она с мамой и не идет.

Я знаю, ты сейчас ликуешь по поводу рождения сына. Я тоже очень рада. Рада, что вышло по твоему желанию. Но все-таки не рада всем заботам, которых ты не видишь. Когда я с тревогой смотрю на маленькую цепляющуюся жизнь, то думаю, что ее нужно сохранить для тебя. Не столько для себя, сколько для тебя.

Конечно, я очень хочу быть около тебя, чувствовать твою поддержку и заботу, видеть, как ты заботаешься о сыне, вместе радоваться первому лепету ребенка, вместе радоваться его улыбкам и тревожиться его недомоганиям. Все пополам и все легче. А то и тебе трудно без нас, и мне без тебя тяжело.

33.43. Дорогой Карпуша!
Я ракет. Лешу в Зелябинске
в госпитале, что возле горрады
(17-22). Здесь прием каждое
воскресенье с 12⁰⁰-14⁰⁰ по мочу
Бать и иккюгемид.
Жду тебя, родной!
твоя Грине

Об этом надо серьезно подумать. Надолго ли ты в Ч-ске? Прочно ли ты там? Каковы условия? И т.п. Получено письмо от Гриши, которое пересылаю тебе и прошлогоднее письмо Лили. Гриша устал от войны, но все так же успешен в своих подвигах. Об Иринке не пишет ни слова. Он сейчас в Венгрии.

Дядя Гриша Чухрай был, наверно, самым близким другом отца по школе и по жизни. «Иринка» — его молодая жена, с ней он прожил всю жизнь. Во время войны он был десантником. Смешно сказать, но в 1943 Чухрай попал вдруг в Челябинск. Там они неожиданно встретились. Война как разводила людей, так и сводила. У меня сохранилась открытка от Чухрая папе.

Надо сказать, что отец был очень привязан к другу. Когда он скончался, моя жена Марина сфотографировала его кабинет. На полке с томами философов стояли фотографии молодого Григория Чухрая, еще офицера. К нему папа в госпиталь ходил вместе с мамой, об этом он рассказал в письме бабушке и дедушке:

«Нельзя сказать, что в квартирном отношении жизнь наша с Танечкой была полностью налажена. До самого отъезда Танюши мы жили стесненно, не свободно, но с милым рай и в шалаше — и мы на судьбу не роптали. Делили два стула на четверых. И некуда было даже приткнуться, чтобы написать письмо. Стесняло и присутствие посторонних.

*Сегодняшнюю ночь я снова уже спал в общежитии холостячком — отвык. И не жалею об этом. Танюша должна вам рассказать подробно, до мелочей, таков мой наказ, всю историю наших мытарств, смешную и печальную — шедевр трагикомедии. Но мы были счастливы. А в этом суть! Танечке же поручено рассказать о моем положении в школе, с моей работой, об условиях жизни. Танюша познакомилась буквально со всеми местами, кроме разве класса, связанными с моим существованием. Видела и столовую, и баню, и Дом Красной Армии, и была на двух сценах, где я выступал и раньше, и в ее присутствии. Словом, побывала во всех исторических местах, связанных с именем «непризнанного гения». **Мы были вместе с Танюшей в этом самом госпитале, где лежал Гришенька.** Танюшенька вам расскажет и о самом главном — о моем переходе здесь же в училище на другую работу. С преподавателя авиасвязи — с работы тупой, в буквальном смысле, замораживающей и бесперспективной, на работу нач. клуба авиаполка, которая мне позволит заниматься самообразованием и литературной деятельностью».*

С Чухраем отец дружил всю жизнь. Они верили друг в друга, Чухрай подолгу жил у нас. Уже я помню, как одну из сцен «Сорок первого», где героиня Марютка, «черная кость», бранится с поручиком «из белогвардейцев», который не умеет чистить рыбу. Это буквально записанные слова мамы, которая ругала отца, что он не помогает ей на кухне. Но такова поразительная особенность искусства, что бытовая сцена, попав в другой, в художественный контекст, словно забывает о своем происхождении, становится частью другого образа, просто подпитанного живой жизнью.



Потом профессии их немного развели, но не сильно. Один стал полубезработным кинорежиссером, другой, отец, хотел быть всю жизнь философом, но профессионально стал им лишь в конце жизни, работать приходилось преподавателем истории партии.

* * *

Удивительное создание женщина, жена и мать. Вроде, мать прежде всего, но ощущает себя принадлежащей мужу, мужчине, хочет быть с ним. Пока это главное. И письма ее, как письма Элоизы Абельяру, много тоньше и много страстнее, чем письма философа. Она уже была у него в Челябинске, уже стала его женой:

«Москва 16.V.44. Родной мой, Карлушенька! От тебя нет писем!

Я нигде не могу найти себе места, ни за что не могу взяться. А нужно заниматься, нужно сдавать. Взяла сейчас твои старые письма и перечитывала их.

Милый мой, мужчина мой, желанный, страстный, любящий! Какую муку и сколько счастья дает любовь.

Как тяжело чувствовать твое отсутствие и как легко, отрадно, ласково становится на сердце, когда подумаю, что ты мой, мой Карлушка, мой муж!

Обнимаю, целую, люблю до безумия нежного, любимого Мишку. Целую губы твои, щеки колючие, ласкаю гордого, умного, любимого, заглядываю в черные, тоскующие глаза твои, утопаю в счастье, блаженстве, чувствуя горячие поцелуи твои, нежные ласки, сильные объятия.

Пиши мне, жди меня, люби меня.

Твоя, вся твоя Таня».

Суровый военный Челябинск для нее был после месячного отпуска маленьким раем. Это было местом расселения башкир, все же Россия была, бесспорно, многонациональной, которую объединил русский язык. По научным данным, Челябинская крепость заложена в 1736 году на месте башкирской деревни Челябы. Одной из причин строительства Челябинской крепости были нападения башкир на обозы с продовольствием. 13 сентября полковник Тевкелев «в урочище Челяби от Миясской крепости в тридцати верстах заложил город». Крепость была основана с согласия владельца земли, на которой планировалось строительство, – башкирского тархана Таймаса Шаимова, что в конечном итоге привело к освобождению его башкир от податного обложения. 20 июня 1742 года немецкий путешественник И.Г. Гмелин составил первое описание крепости: *«Эта крепость также находится на реке Миясс, на южном берегу, она похожа на Миясскую, но побольше и окружена только деревянными стенами из лежащих бревен. Каждая стена имеет примерно 60 сажень. Она заложена вскоре после Миясской крепости, а имя получила от ближайшего к ней, находящегося выше на южной стороне реки леса, по-башкирски Челябе-Карагай».*

Как вспоминал отец, «в жизни военного городка маму многое раздражало – особенно мое солдафонское выслуживание перед начальством, тогда как я хотел ей показать, что могу на строевой площадке командовать взводом не хуже других, В военном городке особенно делать было нечего после службы. Тянуло в Челябинск. Там был драматический театр имени Цвиллинга, где мы посмотрели

“Два веронца”, а потом снова город – грязный, пыльный. От театра Цвиллинга (до сих пор не знаю – кем он был) мимо центрального телеграфа пролегало асфальтовое шоссе, а рядом проложены трамвайные линии. Между театром и телеграфом располагался центр города. На нем росла трава. Много. Целый луг и паслись беспастушные рогатые козы. Большой промышленный город нес “на себе” самый громадный тогда в Союзе танковый завод, переделанный из тракторного».

Отец писал в своей «Таниаде»:

«Муж Таниной подруги по МГУ работал на нем фрезеровщиком. Мы дважды навещали эту семью. Расспрашивали о заводе, о рабочих, об их житье-бытье, о его директоре, – малорослом и белобрысом еврее с выпученными серыми глазами, с изрядным шнобелем, всегда одетым во френч песочного цвета. Он имел право напрямую говорить по телефону со Сталиным. Еще бы! Выпускал танки. Танки себя хорошо показали в сражениях, а директор – в организации их производства. Был неулыбчив и строг. Не прощал рабочим ни капли ошибки. От точности сборки зависел успех в бою и жизнь танкиста. За ошибки наказывал не сокращением (рабочих не хватало), – рублем, а их и без того было так мало, что в семье Наташи Русак не ели ничего, кроме крупной отварной, рассыпчатой картошки, посыпанной зеленым луком, выращенным под окнами, иногда картошку сдабривали нерафинированным подсолнечным маслом, на закуску – кусок черного хлеба и чай с диабетическими горошинами. Рабочие Зальцмана не любили. Весь день торчал на заводе, вникал во всякую мелочь. Мог бы больше заботиться о рабочих, а директора волновали только танки. После Сталинграда Сталин вручил ему Золотую Звезду Героя Социалистического труда. Были у директора и другие награды, но Зальцман носил только эту. Я несколько раз бывал на заводе по договоренности Зальцмана с генералом Василием Беловым. Директору нужен был лектор, умеющий поднять настроение у рабочих рассказом о положении на фронтах, о поведении Западных Союзников. Я, наверное, это умел. Лекции были короткие, читались в минуты пересменок. А я, свободный от лекции до лекции, ходил по цехам, знакомился с рабочими, а заодно и с тем, как они собирали танки, расспрашивал о семьях. Многие уже получили похоронки. Таня все это время сидела у Наташи, вспоминали мирные студенческие дни, преподавателей, друзей и гадали, что будет дальше, каким будет мир, когда победим. И что они сами собираются делать. Наташа была неизменно грустна. Возвращаться в МГУ не хотела, не могла. Молодость была в другой жизни. Мать

состарилась, сын — малолетка, муж — кормилец. Хватило бы сил и средств дать высшее образование сыну, да не в Москве, а где-нибудь поближе. В Харькове, например. *Распрощавшись с доброй семьей Наташи, ее мамой, чье лицо было похоже на рассыпчатую картошку, какой она нас угощала, с молодым, но уже лысым, худым, костистым мужем Наташи — который не чета был влюбленному в Наташу студенту — спортсмену МГУ, мы отправлялись в обратный путь, через пустое, без единого строения поле, если не считать столбов электропередачи. Шли пыльным шляхом 11 км до города, да еще 11 км до авиационного училища без всяких внешних примет. Рядом с заводом театр казался игрушечным, а завод — грозным фронтовым укреплением. В городе все ему служило. Без грязи и пыли город был немислим, как и без луга с козами на центральной площади перед единственным театром, как и без обширного пустого пространства (11 км на 11 км), по которому пролегали остатки шоссе. Таня грустнела. А я ничем не мог ее подбодрить. Мои собственные перспективы столь резко отличались от того жизненного пути, какой мне рисовался до войны, что я своей голубушке не мог сказать ничего».*

Самое грустное, что, перечитывая письма тех лет и зная дальнейшее, я невольно усмехаюсь умствованиям отца, он был серьезен и высокопарен, наверно, отчасти эта высокопарность сидит и во мне до сих пор, но уже без серьезности отца, скорее в сочетании с самоиронией, все же опыт поколений не напрасен. Отец писал родителям: *«Жизнь женщины-матери дороже, значительно жизни мужчины. И я приношу дань безмерной любви двум самым дорогим мне женщинам: той, которая мне дала жизнь — мамочке моей несравненной, и той, которая передает эстафету жизни в следующее поколение, Танюшеньке моей. И я уверен, папуша милый, что ты разделяешь мои взгляды, тем более, что таких, как мамочка, мало есть на земле. Уступить первое место женщине значит стать самому выше, уступить первое место жене — это значит уступить ей право на первоочередное внимание к ней и заботу о ней. Так рассудила природа. На такой основе я и хочу строить свои отношения с Танюшей. И поэтому, если вы меня любите, больше любите Танюшу. Родные мои! О здоровье вашем я знаю только из писем Танюши. Пишите мне чаще: о здоровье, о работе. Я вам писал уже — не знаю, получили вы мои письма? Занимаюсь упорно и диамантом, и литературой, и английским языком. Меня приняли в члены ВКП(б). В одной из рекомендаций отмечено: “имеет серьезные способности литератора-поэта”. И это — в партийной рекомендации, и автор большой начальник. Я получаю теперь “Правду”, слежу за журналами, стремлюсь гармонически развивать себя, как эллина». Сочетание ВКП(б) и эллинства шло, конечно, от по-советски*

прочитанного Маркса. Но слова высокие оставались в письмах, а здесь между Лихоборами, роддомом на Вятской и Красностуденческим проездом умирал его ребенок.

* * *

Мама смотрела на своего младенца, на меня, и тихо плакала. Сын их — вылитый отец, так она видела, так чувствовала. Но беда все ближе. И с кем поделиться, как не с мужем. Но она могла только повторять стихи, которые отец послал ей из Челябинска в 1942 г., когда окончил свою летнюю школу, дальше начиналась военная жизнь:

Война эта —
судьбораздел.
Нас вихрем она разбросала.
Мы нынче
все и везде.
Я люблю
по отрогам Урала.
И если моя — Миасс,
твоя судьба — Лихоборка,
не сольемся,
бурля и смеясь,
не родим
озерца-ребенка.

Ребенка они родили. А теперь он умирал.
Она писала ему письмо изо дня в день, но не отсылала.

«Карлушенька, Володьке очень худо. Я плачу над ним днем и ночью. У него понос и рвота. Эти врачи ничего не понимают. А сынишка стал похож на мумию, не ест, не дышит почти. Господи, почему на нас такое горе! Я не вынесу! Боже мой, лучше бы я переболела не знаю как тяжело, только б он остался жив! Такой славный, хороший был малышка и во что превратился!

Мама твоя поехала в город искать доктора. Но разве кто поедет сюда?

Бедный малышка! Неужели он не поправится?

Врач сейчас была и хочет отправить меня с ним в больницу. У него токсическая диспепсия. Я с самого начала боялась именно этой болезни, т.к. в вятском р/доме инфекция на эту болезнь. Я, по-моему, тебе

об этом писала. **Мальчик очень и очень плох. Я каждую минуту жду его конца.** Как тяжело, ты в данную минуту не знаешь, ты радуешься его рождению, а я мучаюсь за его жизнь. Она вот-вот оборвется. Это очень и очень тяжело. Во многом я сама виновата. Неумелая мамаша, плохо его кормила, а наставить было некому. Вот и получилось такое.

Карлушенька, как мне тяжело, как тяжело!! Твоя мама еще не приехала. Это была районный врач. Малышка, мой родной! Как же мне жаль тебя! Неужели, Карлушка, ты его не увидишь? Почему здоров Ритин? Почему должен погибнуть мой? Ты получишь это письмо, когда уже будет какой-нибудь результат. В хороший исход я не верю. У меня нехорошее предчувствие. Я так нервничаю, что у меня то появляется, то пропадает молоко.

Володьке все хуже. Мы с ним находимся в больнице. У него токсическое заражение. Сепсис. Это произошло от пупочка, т.к. при завязывании туда попала грязь. Карлушенька, ты себе не представляешь, как мне тяжело. Я, пока он был дома, все ночи напролет плакала над ним. Я выплакалась вся, больше, кажется, у меня слез нет. С 10-го стало много хуже, а 11-го ночью он у меня совсем умирал. Я была в таком отчаянии! Возьму его на руки и хожу по комнате, смотрю на него и не узнаю. Он так переменился! Бледный до синевы, худой, личико заострилось, нос выдается, и глазки закатывает под лобик. Бедный мальчик! Он даже совсем не кричал: у него не было сил. От горя у меня пропало молоко. То появится, то пропадет. Я не могла его перепеленывать. Как разверну, так мне чуть плохо не делается. Ручки и ножки стали как палочки. Висит одна кожица. А от тебя получаю такие радостные письма. Мне еще тяжелее от этого. Но сообщить тебе о болезни сына — не могу. У меня не хватает духу убить в тебе радостное чувство. Но для меня это тяжелее: получать восторженные письма и видеть умирающего сынка. Тем более что ты его не видел совершенно. Когда он родился, то был такой хороший, полненький, беленький, щечки розовые, а губенки красные. Как он тянулся губками к груди, когда хотел есть, и как он улыбался хорошо. Я сама невольно на него смеялась.

А теперь он ни на что не похож.

Личико осунулось до неузнаваемости, цвета землисто-синего, губки ввалились. У меня бывает такое тяжелое чувство, когда я на него смотрю. И в довершение всего, как я понервничаю, у меня пропадает совершенно молоко. Ну что же делать? Ну почему такое горе постигло нас? Ты бы видел его скорбное личико, видел бы, как он морщится от боли. Это полуживая мумия. Больно смотреть на него, все сжимается внутри от боли. Когда его не видишь, то немного успокаиваешься, а когда смотришь на него, мне невыносимо тяжело. Такая крошка и так

мучается. Ему ведь идет только 17-ый день, а он уже так болеет! Он бы сейчас должен быть толстеньким, хорошеньким, а он потерял в весе 850 грамм. От него ничего не осталось. Когда его перепеленывают, то я вижу, что ручки и ножки у него совсем-совсем синие, тощие. Что осталось от мальчика!

16.4.45 г. Кажется мне, что сыну стало немного лучше. Но он еще сам не сосет, только глотает. Я ему уже даю в среднем по 50 грамм молока, но с ложечки. Он все время спит. Это тоже плохо, т.к. никогда не просит есть.

Сейчас он немного поправился, потолстел на личико. Цвет лица стал лучше, но синева около глаз и рта осталась. Может быть, и поправится. Я целые дни сижу в больнице: с 6-и утра и до 11-и ночи. Встаю в 4-е и ложусь в первом часу. Здесь совсем негде отдохнуть. Но я на все согласна, лишь бы он поправился.

Такая крошка и уже болеет так сильно: заражение крови. Это преступление — так относиться к детям.

Володьку 4 раза колют: вводят пенициллин. Я себе не представляю, как я тебя встречу, если сына не будет в живых. Это страшно и несправедливо — но я буду чувствовать себя виноватой. Так, по-моему, чувствует себя сейчас твоя мама, потому что она не смогла устроить меня в хороший роддом.

Вот тогда и возникла идея пенициллина, от которого (по рассказу мамы) большинство женщин отказались из-за его иностранного происхождения. Впрочем, и те дети, которым кололи антибиотик, умирали один за другим, что окончательно отвратило женщин от этих уколов. Видя, что мама ей доверяет, доктор предложила маме переливание крови и введение плазмы. Иголкой надо было попасть в младенческую вену, которой и видно-то не было.

«Ни ты, ни твой папа не видели Володьку. Неужели вы так его и не увидите? Я с такой нежностью думала о том, как мы будем с тобой вместе растить сына. А тут вот такое несчастье. Но, м.б., он выздоровеет. Я от отчаяния перехожу к надежде, от надежды к отчаянию. Говорят, что эта болезнь проходит без осложнений. Но тут есть один случай с осложнениями — судороги. Уж если так, то лучше бы сейчас умер, чем быть каким-нибудь... Врач делает сейчас обход и с ней вместе студенты из техникума. Они мучают бедных крошек, учатся на них».

Своей маме, бабушке Насте, она тоже писала. Но письма к бабушке не сохранились. Сохранились только строчки о ней в пись-

мах к отцу. Беру ту, где тема родов: *«Были с мамой сегодня в бане, так я ехала в трамвае, а мне какая-то женщина говорит: “Знаете, вам очень идет быть беременной. Вы такая цветущая, розовая, полная”. Лицо у меня, правда, не испортилось, а вообще-то я бочка настоящая, по крайней мере, мне так кажется. Хотя девчонки меня уверяют, что я очень аккуратенькая. Володька наш после экзаменов тоже отдыхает. Во время экзаменов он сидел себе смирнехонько, а теперь брыкается так, что я иногда умиляюсь, а иногда сержусь, боюсь, что он мне сквозь мышцы ручонку высунет»*. Уже потом, когда я приезжал жить в Лихоборы и мы ходили с ней в районную библиотеку менять книги, бабушка пересказывала мне мамины письма. О том, как усердно мама училась, как ее любил мой отец, как однажды ее из ревности чуть не утопила одноклассница. Мы шли через шоссе, переходили железную дорогу, по которой ходили электрички, бабушка спотыкалась о рельсы, но преодолевала все препятствия. Мы влезали по откосу на станцию Петровско-Разумовскую, где бабушка переводила дух и ковыляла на своих уже скрюченных от старости ногах до библиотеки, где ее знали и даже привечали. Она до выхода на пенсию была учительницей младших классов. И осталась в ней любовь к книге, особенно к толстым романам, которые уже своей толщиной заслуживали ее уважение. Библиотекарша давала ей книги, которые, как она говорила, «пользовались читательским спросом». Помню названия: «Падение Порт-Артура», «Белая береза», «Кавалер золотой звезды», «Партизанский край», «Молодая гвардия».

Мама очень боялась директрисы роддома, она ей почему-то напоминала классную руководительницу ее класса, Евгению Львовну. Евгения Львовна держала в трепете не только учеников, но и учителей. Суровый директор Павел Васильевич к ней подлизывался. Она преподавала русскую литературу и, когда доходила до темы «Маяковский», то всегда вызывала к доске отца, чтобы он рассказывал о поэте, а не она. «Карл, ты знаешь больше, а главное, эту дурацкую лесенку умеешь читать», — говорила она. У нее хватало разума, чтобы отдать себе отчет, кто лучше знает Маяковского. Маме было приятно, что так ценят влюбленного в нее.

Девчонки ей завидовали: самый красивый и самый необычный мальчик в школе, да еще из Аргентины приехал. К маме одноклассницы ревновали.

А русская ревность стоит испанской. Но выживание от этой ревности, как и в другие моменты, случайно. В начале июня, за месяц до окончания десятого класса, девчонки из маминого класса в жаркий день поехали на Москва-реку, на станцию Левобережная. Там уже стояли лоточницы с мороженым, продавали в мелких ларьках

пиво и фруктовую газированную воду. На песке в кустах разлеглись молодежные компании. Мама не умела плавать, но Люда, первая красавица из их класса, уговорила ее вместе поплескаться. И повела ее дальше от берега. Со времен Лилит и Елены Троянской многие девушки отличались бесчестностью и сексуальной свободой. Московская Люда была той же породы. Она всех парней сводила с ума, с некоторыми и любовью позанималась. Перед отцом она держалась недотрогой и скромницей. Но он любил истинную скромницу и Люду не очень замечал. Ее это злило. *Мама ей мешала*. Так ей казалось. Доведя маму до известного ей места, она вдруг неожиданно толкнула ее вперед, зная, что там яма, а мама не умеет плавать. Мама вскрикнула и пошла на дно. Она даже и сопротивляться не смогла, даже не побарахталась. Подлость одноклассницы лишила ее сил. Она уже лежала на дне, остатками разума понимая, что пришла смерть. И вдруг вода раздвинулась, ее подхватил молодой сильный парень и вынес на берег. Он увидел, как одна девчонка притопила другую, и вдруг понял, что это всерьез. Вытащив маму, он сделал ей искусственное дыхание. Когда изо рта и носа мамы полилась вода и она стала дышать, парень вскочил и быстро ушел, не дожидаясь благодарности. Так она неожиданно выжила и поняла, что за выживание человека надо бороться.



Отец читает стихи Маяковского

А начальница роддома, заведующая, говорила очень жестко, даже жестоко. И усики у нее были на верхней губе, как у Евгении Львовны, только не черные, а редкие белесые. Мама лежала истощенная, зеленая, а та говорила: «Ну что вы, мамаша, убиваетесь? Всегда так было. Один умрет, другой родится. Знаете, сколько наших солдат погибло сейчас? И сколько продолжает погибать?! А все равно нас будет больше!»

Мама возразила, она знала, что такое война: «Здесь не война, здесь женщины рожают. У них нет оружия». Бабушка Настя обнимала маму и кивала головой. А потом вспоминала и мне рассказывала, как я выживал.

Заведующая растянула губы, будто улыбнулась: «Женщины и на войне рожают. Война, милочка, еще идет, хоть наши уже в Германии, но враги могут быть всюду. Откуда нам знать, что случилось в нашем роддоме! Почему все дети заболели одновременно? Может, это рука врага? Да перестаньте наконец реветь. Вы женщина еще молодая, нового родите». Мама сквозь слезы шептала: «Я Вовку хочу, он уже есть». А заведующая пыталась подбодрить на свой лад: «Вы должны понять, что завтра вы проснетесь, а для вашего малышки завтра уже не наступит». Мама сквозь слезы упорно твердила: «Завтра для него настанет! И до самой его старости будет наступать!». Начальница хмыкнула: «Ну-ну! Верить надо. Но понимать также, что завтра не всегда приходит. Особенно для больных младенцев!» Тут мама вдруг сорвалась, в ней вспыхнула кровь сурового отца, деда Антона, тяжелого на руку: «Подите прочь, пока я вас чем-нибудь не ударила!» Та пожала плечами, но за дверь выскочила.

Приходила добрая доктор, которая колола меня пенициллином, вводила плазму. «Тихая еврейка, и очень печальная, — как рассказывала потом мама. — Вовсе не похожая на твою руководящую бабку, которая привыкла всем указывать, мол, она старый член партии и все понимает лучше других». Мама плохо относилась теперь к бабушке Мине, матери отца, проще сказать, ненавидела ее. Писать об этом я не буду, но сказать об этом должно. После возвращения отца из армии, бабушка хотела, чтобы он делал поэтическую и научную карьеру, для этого нужно время, дети — это помеха. В те годы аборт были запрещены под угрозой тюрьмы, слишком велика оказалась убыль людей во время войны. Но бабушка Мина уговорила маму на аборт и сама его сделала на кухне, потребовав, чтобы мама не проговорила об этом отцу. Мама еле выжила после этого непрофессионального вмешательства в ее тело. Но выжила.

Пока же отец был в армии, мама отстаивала всеми силами маленькую жизнь, ею сотворенную. В конечном счете, ей сказали, что

роддом с моим заболеванием не справится, и перевезли нас с ней в больницу для грудничков. Оттуда мама продолжала писать папе свое бесконечно длинное письмо. Перечитывая его, я поражаюсь тому, как мама все это выдержала, не сошла с ума, глядя, как то умирает, то снова оживает ее младенец.

Но вернусь к письму:

«17.4.45. Мне кажется, что сегодня сыну лучше, хотя вчера вечером ему снова было хуже. Вчера приезжал Вайман. Я его не видела и не знаю, что ему сказала твоя мама. Тебе о болезни сына она говорить не велела. Если б я была дома, то попросила бы его осторожно рассказать обо всем. Ты радуешься и не знаешь, что сын тяжело болен. А нужно быть ко всему готовой. В письме не так скажешь, как может передать живой человек.

6.5.45 г. Письмо продолжаю спустя столько времени. Послеправки сына, когда осталось нам быть в больнице несколько дней, ему вдруг в одну ночь стало страшно худо. 24-го я пришла утром и не узнала его: он снова синий, худой с пеной на губах. Стала вытирать — у него полон рот слизи. Позвала сестру — едва вычистили рот, а он опять и не сосет, и не глотает. Все снова. Для меня это было страшное испытание. Дети больные в больнице и выздоравливают, и умирают. Видеть последнее [очень] тяжело, слышать рыдания матери, когда у тебя такой же плохой сын. Я вся закаменела. Лечащий врач его в этот день была выходная. На следующий день ему сделали переливание крови, через четыре дня еще. Рвота у него была страшная. Он вялый, безразличный, неподвижный. Он совершенно не реагировал на уколы шприцем. Потом начал понемногу плакать. В эту ночь он сразу потерял в весе 270 грамм — в одну ночь! Потом понемногу стал набирать. 2-го мая нас выписали. В больнице я пробыла 20 дней! Итого у меня вырвано больше месяца — это больничные дни. А теперь, будучи дома, я снова боюсь оставить его. Он сейчас очень кашляет. Нужно бы его вымыть, ведь ему уже больше месяца, а он ни разу не купался. Для детей это после еды самое необходимое, но я боюсь его купать. Он еще очень и очень слаб. Из больницы он вышел с весом 3.150. Сейчас не знаю, сколько он весит, т.к. в консультации его побоялась вернуть: холодно. Врач приходила домой, послушала и сказала, что в легких ничего нет. Это меня беспокоило, т.к. к таким детям очень легко все присоединяется. А воспаление легких ему уже не перенести. Я сейчас в Лихоборах. Я так устала, такая стала нервная, за все это время я ни одной ночи не спала спокойно с 30-го марта. Сейчас мама сменяет меня на несколько часов, и я спокойна. Мама так нянчится с ним, так беспокоится, мне это очень приятно, и я спокойна, ког-

да оставляю его, хотя еще не оставляла, т.к. в университет еще не ездила.

И мамам-то я наделала хлопот с сыном своим. Твоя мама много приложила энергии, когда я была в больнице. Она сама часто туда ходила; все знали, что здесь лежит Кантор, от няни до зава. Она доставала пенициллин, когда его не было в больнице. Моя мама ходила каждый день в р/дом и теперь в больницу регулярно через день».

9 мая мама сходила в детскую больницу, где получила выписку из истории болезни и справку, что ребенок практически здоров. Вечером был салют. День победы. И мама всегда отмечала два моих дня рождения — 30 марта и 9 мая.

А через год из армии вернулся отец.



Кропотово

Из папиной тетрадки: «Кафедру для специализации Таня по тем временам выбрала рискованную — кафедру формальной генетики (менделизм-морганизм). И другие студенты выбирали эту кафедру не в расчете приличного трудоустройства после окончания МГУ, хорошего заработка, а исключительно движимые познавательным интересом. Выводить новые сорта растений — это ли не захватывающая цель для биолога?»

Посоветовал Тане предпочесть кафедру генетики мой отец, ибо, как геолог и минеролог, знал — отчасти и наблюдал — действие гене-

тических законов в преобразовании горных пород и сложении разных по плодородию почв. Он давно уже склонялся к выводу, что законы генетики универсальны. Его другом в Академии был известный генетик Антон Романович Жебрак, не отрекшийся от генетики. Однако для генетики наступали черные дни. Лысенко готовился к своему одобренному Сталиным докладу на сессии ВАСХНИЛ. В августе 1948 года. А пока подбивались организационные выводы, Таня закончила МГУ и получила звание младшего научного сотрудника. Проф. Навашин взял ее с собой на ЭКСПЕРИМЕНТЫ в дивное место Кропотово (Каширского района) на Оке. Я и сын наш Володя с согласия проф. поехали с нею. У меня в это время были каникулы. Счастливые месяцы. Мы втроем садились в лодку, Таня проводила селекцию с тычинками и пестиками белых, широко раскрывших свои лепестки цветов, плавающих по всей поверхности медленно текущей реки, потом надевала на каждый бутон из прозрачной, дышащей непромокаемой бумаги колпачок и подвязывала их белой тесемкой, как будто капюшончик надевала на голову младенца. Так мы плавали по Оке несколько часов. Можно было бы закончить работу раньше. Но чувство ответственности, свойственное Тане, проявлялось и здесь. Моя задача сводилась лишь к тому, чтобы направлять лодку к очередному цветку. И в неподвижном состоянии удерживать ее, пока работа над очередной белоголовкой не закончится. Вовочка наш болтал ногами и ручками в воде и напевал детские песенки. Никаких поползновений перевернуться за борт у него не было». Поползновение случилось чуть позже.



«Я слушал команды Тани, а сам любовался молодой женой, ее загорелым красивым торсом, спиной и узкой талией, в которых не было ни одной лишней жиринки, прекрасным, как широкая греческая ваза вылепленным тазом, крепкими бедрами бегуньи и всей ее спирально изо-

гнутой фигурой. Я уж не говорю о рыбаках, редко проплывающих мимо и зазывающих ее к себе, ею любовались рыбы, стайками подплывающие к ее рукам, и цветы, которые она обихаживала. Но на несчастье был выдан скоростной билет. В августе всех представителей биологически “вредной буржуазной науки” — генетики разогнали кого куда. Сокращали с работы крупных, с мировым опытом, ученых по причине “научной несостоятельности”. Закрывали институты, кафедры, научные лаборатории. Таня ни разу не пожалела, что выбрала эту гонимую кафедру. Среди ученых разочарование было сокрушительным: профессор Собинин кончил жизнь самоубийством, проф. Голубев умер от разрыва сердца. Генетик академик Жуковский, боясь потерять свою молодую жену, написал обширное покаянное письмо в газету “Правда”. Раскаялся. Его простили и чуть ли не наградили. Таня ни на секунду не усомнилась в выборе специальности, убедившись в ее истине и шарлатанстве Лысенко. Именно как генетик-селекционер, она внесла после разгрома лысенковщины заметный вклад в отдаленную гибридизацию плодовых. С этих работ Таня могла бы начинать, если бы не Лысенко. Потеряны были годы».



Яблоневые деревья на территории биостанции

Но и Кропотово, где была биостанция, основанная биофаком МГУ, не сплошная лирика, не обошлось без ситуаций, почти катастрофических. Хотя красота там была почти нереальная, осталось

фото сада на территории биостанции. И время проходило в разговорах о науке и в волейбольных играх. Это все рассказы мамы и папы. У них сложилась небольшая компания образованных и нестарых людей, молодых коммунистов и фронтовиков, особо прилип к молодой семье местный красавец грузин, доктор Гоги. Ему мама нравилась. Он любил ее молча, но два раза в неделю всегда приносил букет цветов. Гоги тоже работал на биостанции терапевтом, но приходилось ему быть всем на свете, даже хирургом. Он говорил маме: «Когда Карл тебе надоест или он тебя бросит, иди к Гоги. Гоги тебя всегда примет». И принимался насвистывать «Сулико». Папа, по словам мамы, немного ревновал, но старался виду не подавать.

Мне было три года, иногда, правда, кажется, что вспоминаю, но холодный рассудок говорит, что слишком у меня живое воображение. Но этот случай вроде бы сам запомнил. Было одиннадцатое июля. Завтра – двенадцатого июля – Петров день и мамин день рождения. Но мама хотела еще сегодня на реку – поработать. У берега стоял на воде причал, куда два раза в неделю подходил маленький пароходик, по бокам колыхались на воде лодки, в одной из которых папа возил по Оке маму. Вот и в тот день он сидел в лодке, ожидая маму, а я лазил по перилам причала. Папа краем глаза наблюдал и за мной. Но на момент отвернулся и успел только увидеть, что я весь уже ушел в воду головой вниз, только две ножонки еще наружи. Реакция отца была мгновенна. Он ухватил меня за ноги и вытащил из воды, принялся встряхивать, и я задышал отплеываясь. Мама, замерев, стояла на берегу. Она видела мое падение, потому и замерла. Когда я отплевался, мама прыгнула в лодку, молча погрозила отцу кулаком и взяла меня на руки. Эти моменты отложились в зрительной памяти: закрываю глаза и вижу. Вижу и то, что папа не записал в свою «Таниаду», ему это казалось мелочью. Но я-то помню, как папа поплыл за кувшинкой, куда не проходила почему-то лодка, сорвал, принес, протянул маме и попытался нагнуть ее голову, чтобы поцеловать. Лодка едва не перевернулась, мама испугалась, вскрикнула, ведь плавать она так и не научилась. Но папа был в хорошей спортивной форме после армии, лодку он удержал и сам вскочил в нее, правда, еще больше накренив. И мы поплыли к берегу. Однако когда папа выплыл из зарослей, за ним следом метнулось черное змеиное тело. Но папа уже был в лодке. Сам не знаю, привиделась ли мне раскрытая пасть змеи, но помню, что змеей мама обзывала свою свекровь после диких абортов.

Помню рассказ мамы, как однажды ночью ей приснилось, что к ней ползет огромная черная гадина. Мама аж задохнулась от ужаса. И проснулась вдруг от удара. Любимый муж Карл со всей силы уда-

рил ее рукой по голове. Сам проснулся, схватил ее голову, принялся целовать и шептать, что ему приснилось, как к маминой голове ползет черная гадюка, страшная гадина с разинутой пастью.

Следующий день было мамин день рождения, который почему-то все называли Петров день, я в свои три года ничего не понимал, но видел, что все соседние дома как-то по-праздничному прибраны и по домам ходит местный священник отец Андрей. Папа и студент Илья из маминой экспедиции, тоже бывший фронтовик, сидя на крыльце, вдруг решили провести антирелигиозную пропаганду — спойть попа, чтобы простые люди поняли, что религия — это сивуха, хуже самогона. Правда, хозяйка дома, баба Люба, с волосатенькой бородавочкой под правым глазом, вдруг сказала отцу: «Карл, ты человек хороший, хоть и не нашей веры, не трогай отца Андрея, у него несчастье в прошлом году случилось. Сын Павел ему сказал, что Бог жестокий, что *всех младенцев разрешил Ироду убить, а своего сына Иисуса спас*. Тут отец Андрей ему и врзал. А он пошел и утопился». Отец покачал головой: «Детей нельзя бить». Кстати сказать, он ни разу меня за все мое детство не ударил. Отец добавил: «Что же он не по-христиански жил — сына бил?» Баба Люба покачала головой: «Видно, что ты другой породы. В России всегда детей били, они крепкими вырастали. А отцу Андрею нелегко, в церкви проповеди читать, о прихожанах заботиться...».



*Церковь Преображения
с. Спас-Детчин, Каширский район, Московская область*

Бывший фронтовик, студент Илья, отпустил студенческую шутку: «Ну да, на груди крестик, а в груди нолик». Отец возразил: «Не надо так, пойдем лучше в народ». Но вначале они выпили за мамино здоровье и пожелали успехов в работе. Пожелали, чтобы следующий год принес расцвет генетике. И чтобы к следующему дню рождения мама написала диссертацию. Немного спотыкаясь о кирпичи, набросанные вокруг крыльца, приготовленные, чтобы крыльцо укрепить, они ушли туда, где отец Андрей обходил прихожан, выпивая с каждым из мужиков, по рюмке, по две, приговаривая, как рассказывал маме Илья: «Еще по одной. Не воз-бра-няется!» Два бывших фронтовика решили, что они легко перепьют попа. Пили с ним вровень и даже подначивали каждый раз добавить. Отец Андрей не возражал. А офицеры радовались, что скоро народ увидит пьяного попа. Но поп даже не морщился, пил и поглядывал с интересом на отца и Илью.

Офицеры вначале хотели перегнуть отца Андрея, потом лишь старались не отставать. Как рассказывала потом мама, отец в какой-то момент вспомнил о своем челябинском кошмаре, когда его напоили однополчане. Но сейчас остановиться уже он не мог (впрочем, как и тогда), да и деревенские, и батюшка на него глядели. Однополчане устроили ему в тот день (это было начало 1943 г.) большую пьянку в армейской столовой за какой-то его летный успех. На улице было холодно и снежно. Офицеры сидели за длинными столами, пили водку из стаканов и самогон, закуски было немного: хлеб, сало, яичница на огромной сковородке. Пили стакан за стаканом: «Ну, Карл, за тебя!! Ну, будь!» Потом стали распознаться. Отец еще сидел за столом, хотел дать денег официанткам. Отдал немного, денег почти не было, но девушки и этому были рады. Отец уже подняться не мог, но крепкие челябинки вывели его на крыльцо и ткнули рукой в направлении казармы, куда, спотыкаясь меж сугробов, отец и побрел. Пока ему смотрели вслед, он держал форму и шел, хоть и пошатывался. Шел по направлению к казарме, над дверью которой висела тусклая лампочка. Не доходя метров двадцати, он поскользнулся и рухнул в сугроб. Сколько он там пролежал, отец не помнил. Но когда начало светать, он очнулся и на четвереньках добрался до казармы. Вполз в дверь, дополз до койки и влез на нее. И отрубился.

Ровно в восемь, его начали трясти за плечи, содрали одеяло и кричали: «Кантор, срочно! Генерал вызывает!» Отец выскочил из-под одеяла, его вывели на крыльцо, где уже стояла бадейка с ледяной водой, в которой он умыл лицо и шею, чтобы прийти в себя.

А дальше ужас советского времени, надел брюки, китель, влажную от валяния в снегу шинель, натянул сапоги, не думая о последовательности действий. И вдруг ощутил странную пустоту в карманах кителя. Сунул руку в один, в другой. Ни военного билета, ни партбилета не было. «Ребята, — спросил он растерянно, — никто партбилета и военного билета у меня не забирал, не прятал? Не надо так шутить!» Но никто не брал, все бросились искать, нигде этих документов не было. Вбежал вестовой: «Кантор, ты идешь? Генерал сердится!» Отец, уже более чем протрезвевший, махнул рукой и двинулся из казармы. Самый большой доброжелатель вдогонку бросил: «Штрафбат, не меньше!»

Отец шел, думаю, на дрожащих ногах, но, подойдя вначале к двухэтажному каменному домику, где находился штаб, а потом к кабинету генерала, он распрямился и вошел строевым шагом. «Товарищ генерал, по вашему приказанию старший лейтенант Кантор явился». Тот, не вставая из-за стола, сказал: «Ну, здравствуй, старший лейтенант! Хорошо, что явился. Значит, проступков за собой никаких не чувствуешь?» Отец посмотрел честно в глаза генералу и выговорил: «Чувствую, товарищ генерал!» Тот, ухмыльнувшись, с любопытством посмотрел на отца: «И что это за проступок?» Отец встал по стройке смирно: «Очень много выпил вчера, товарищ генерал». Генерал покачал головой: «Для офицера это не такой большой грех». «Спасибо, товарищ генерал!», ответил отец. Генерал покачал головой: «Ладно, Кантор. Пьянка — это ерунда. Где твой военный билет и партбилет?» Это было начало катастрофы. Отец распрямил плечи по стойке смирно. «Не могу знать, товарищ генерал; кажется, потерял. Или кто-то вытащил из кармана, пока я лежал пьяный». Генерал отодвинул стул, встал, опершись ладонями о стол. «Ты понимаешь, что это значит? Если не расстрел, то штрафбат как минимум!» Отец щелкнул сапогами и сказал: «Служу Советскому Союзу!» А что еще он мог сказать! «Вот и будешь служить, куда Родина пошлет. И не надейся, что на крыльях полетишь. Пешком пойдешь, в пехоту тебя отправлю, чтобы советскую авиацию не позорил!» Отец снова сдвинул сапоги: «Служу Советскому Союзу».

Генерал помолчал. Потом вдруг выдвинул ящик своего стола и бросил на стол военный билет и партийную книжку. Отец обмер, но руку к ним протянуть не решился: «Откуда это у вас, товарищ генерал?» Тот помотал головой: «Дурак ты, Кантор. Хотя летчик хороший. Это я у тебя документы из кителя достал. Ведь мог и чужой достать. Что бы мы тогда делали! Ладно. Забирай. Свободен. Можешь не благодарить. Иди».

Так благополучно закончилась первая грандиозная пьянка отца. Вообще-то он почти не пил. Какая муха его укусила с отцом Андреем? Скорее всего, большевистская, воспоминание комсомольской юности и читанного когда-то журнала «Безбожник». Когда Илья отпал, отец еще держался и шел из избы в избы, поддерживаемый отцом Андреем. Кончилось все это так. Отец Андрей приволок отца к избе и аккуратно сложил на траву. Постучал в стекло, вызвал маму и степенно направился к другим прихожанам, поставив на крыльцо баночку с какой-то жидкостью, сказав маме: «Ты, Татьяна, утром дай ему стакан браги, это помогает».

Ночь прошла беспокойно. Мама все время бегала и меняла отцу мокрую повязку на лбу. Он вертелся, тяжело дышал, а потом вдруг стал кричать: «Таня, Земля круглая!» Планетарное устройство он постиг без помощи Коперника и Галилея, а всего лишь с помощью пары стаканов самогона. Впрочем, я не прав. Все же отец был летчик. Просто самогон опытно подтвердил, что он и без того знал. Земля кружилась и плыла. Это он юной жене сообщал. Утро все же наступило. Отец поднял голову, перевернулся на живот и встал на четвереньки: «Таня, дай мне кружку холодной воды». Мама приказала мне не слезать с постели, налила кружку колодезной воды и наполнила из колодца ведро. И пошла к папе. Первым делом она вылила ему на голову ведро воды, папа принял это покорно, понимая, что виноват. Выпил воду, стуча зубами о железную кружку. Мама сказала, протягивая ему пол-литровую банку с брагой. «Выпей, станет легче». Отец сморщился, но выпил и отправился спать под яблоню.

Баба Люба сказала: «Не переживай, Таня. Вроде он все же непьющий. Пойди лучше делом займись. Дала похмелиться, а теперь белье хоть постирай! А Вовка вон на крыльце поиграет. Солнышко на дворе. Пусть погрееется». Мама согласилась: «Пусть». Достала корыто, залила туда ведро холодной и ведро согретой воды, пустила терку, бросила рядом белье и взялась за стирку. А я отправился на крыльцо, сходить с крыльца мама мне запретила, чтобы она могла за мной следить. Делать было нечего, и я ловил разомлевших на солнце мух. Я ползал по крыльцу, хлопая ладошкой по разнежившейся мухе, но лучше всего было хватать их, когда они сидели на перилах или ползали по столбикам, на которых перила крепились. Скоро мухи стали меня опасаться и отлетали все выше, пристраивая на столбиках. Я пытался дотянуться, вставая на цыпочки. Потом нашел в сенах ящик, в котором баба Люба хранила овощи. Подтащил его к перилам. Встал на коленки на ящик, ухватился руками за перила и поднялся. Ящик стоял прочно. До

некоторых мух я сумел дотянуться, но две нагло не давались. Я уже вел к ним согнутую ладошку, в которую намеревался ухватить их, хотя бы одну. Но ближайшая успела улететь. Я влез на перила и, балансируя, двинулся к мухам. Мама стирала в сенях, папа дремал под яблоней. Говорят (потом узнал), что, когда идешь на высоте, нельзя смотреть вниз. Я не знал, посмотрел на кирпичи, голова вдруг закружилась, и я полетел вниз головой. Наверно, вскрикнул, ударившись лбом о камни. Помню только, что лицо сразу стало мокрым от обильно потекшей крови. Потом помню потолок надо мной, лицо мамы, склоненное надо мной, и слышу ее отчаянный крик: «Карл!!! Карл!! Ты где?!!!»

Отец вбежал в комнату. Как они вспоминали, мама держала меня на коленях, а колени ходили ходуном, ко лбу она прижимала белую мокрую тряпочку, которая тут же становилась красной от крови. Баба Люба нарвала много таких чистых тряпок, мочила в ведре и давала их маме. Папа оцепенело стоял рядом. И моргал глазами: «Таня, что делать?» Похмелье его еще не отпустило. Мама молча прикладывала тряпицы к моему лбу, потом вдруг сорвалась. «Ну что стоишь, как столб, – крикнула она отцу. – Беги за Гоги!» И папа побежал, побежал на другой конец деревни, а это было километра три. Пока его не было, колени у мамы продолжали дрожать, а зубы стучали. Как уж бежал папа, трудно вообразить, но минут через двадцать они оба ввалились в сени, папа ташил Гоги за руку, но и тот не отставал.

– Давай, Таня, показывай, что с Вовкой. Ты тряпку-то убери. Я все-таки доктор.

В руках он держал большой пузырек перекиси водорода и огромней кусок ваты. Обмакнул вату в перекись и снял аккуратно с моего лба промокшую от крови тряпку, приложил вату с перекисью, которая сразу зашипела, коснувшись раны, я вскрикнул. Гоги промыл рану, приговаривая: «Терпи, сын офицера. Боль надо преодолевать».

У мамы губы шевелились с трудом, когда она спросила: «А Вовка поправится? Сумасшедшим не станет? У него же голова пробита». Гоги профессионально перебинтовывал мою голову, морщился и ухмылялся: «Таня, успокойся, до свадьбы, до нашей с тобой свадьбы заживет». Мама в испуге первый раз подняла на него глаза: «То есть никогда?» Гоги спросил: «Не хочешь да? Карла своего любишь? Да мне он тоже нравится. Ну что ж, так судьба сложилась».

Голова моя зажила, но шрам на лбу с левой стороны был весьма заметен. Уже много позже моя насмешливая вторая жена спросила: «Что за шрам? Рог пилил?»

Завтра

А когда мне исполнилось лет пять (а, может, четыре, точнее не могу вспомнить), почти сразу после моего дня рождения, на который мама позвала соседских девочек и мальчиков, я тяжелейшим образом заболел скарлатиной. Она проявилась довольно быстро: сильнейшая головная боль. Глотать было больно, а по всему телу пошла розовая сыпь. Мама сразу вызвала врача, температура перевалила за 39. Доктор, маленький, полный, молодой, по фамилии Ляпис, быстро осмотрел меня, показал маме мой в пупырышках язык, выписал полоскания, все названия не запомнил, фурацилин помню точно и уколы привычного для меня пенициллина. Но доктора больше всего интересовали лимфатические узлы у меня сзади на шее. Как потом выяснилось, не зря. Но это другая история. Я лежал в постели, на краю постели сидела мама, доктор рядом на стуле. В дверь заглядывали бабушка Мина и отец, причем бабушка не давала отцу войти в комнату. Доктор Ляпис спросил: «Другие дети есть?» Мама покачала отрицательно головой. «А взрослые все болели?» Мама не болела, но ответила твердо: «Это не важно». В комнату наполовину вдвинулась бабушка Мина: «Карл не болел. Ему нельзя с Вовочкой контактировать. А ведь больных скарлатиной детей обычно отправляют в больницу». Доктор ухмыльнулся: «Если очень тяжелая форма либо по просьбе родственников». «Так вот, мы просим», — твердо произнесла, будто впечатала слова, бабушка Мина. Мама была в растерянности. Прижалась ко мне, стала целовать лицо.

Доктор сказал: «Я еду в поликлинику, пришлю оттуда скорую. Надо договориться с шофером. А вы пока форточку откройте, душно здесь. Ему свежий воздух нужен». И ушел, пройдя сквозь бабушку и отца, как сквозь стенку. Затем бабушка вытолкала отца из комнаты: «Ты скарлатиной не болел, а у взрослых она всегда проходит в тяжелой форме». Но отец оттолкнул бабушку и решительно вошел в комнату, закрыв перед бабушкой дверь. Не мог он оставить любимую жену и сына без поддержки. Хотя какая уж тут поддержка! Я смотрел на занавески, которые, казалось, были столь тяжелы, что словно душили меня. Мама не плакала, но глаза были мокрые, словно она их только что под водой мочила. Открыв форточку, она укутывала меня одеялом, подтыкая со всех сторон, чтобы холодный воздух не проникал ко мне. Щупала все время лоб, температура не спадала. Отец сидел рядом, на краю постели. Я сам чувствовал, что лоб горит. Голова была тяжелая. Горло болело так, что даже слюну проглотить не мог. Мама спросила, смогу ли я дойти до ванной,

прополоскать горло. Я кивнул. Она быстро ушла на кухню готовить полоскание. Когда она вернулась со стаканом в руке, я уже вытащил ноги из-под одеяла, чтобы встать. В стакане плескалась желтоватая жидкость – фурацилин. Я попытался встать, но именно попытался. Меня пошатывало. Мама подхватила меня, придержала за плечи и аккуратно шаг за шагом вела меня в ванную к раковине. Там, запрокинув голову, я булькал в горле лекарством. В зеркало над раковиной я углядел непривычный мне ярко-малиновый румянец на обеих щеках. Ноги при этом подгибались. Мама увидела это и повела, почти понесла меня, обняв за плечи. Отец подхватил меня с другой стороны, подняв ноги. Они донесли меня до постели. Я туда свалился как какой-то куль. Глаза закрылись, открыть я их не мог. И забылся в беспомощности.

Так я теперь думаю. Поскольку открыл я их уже в больничной палате. Доктор Ляпис сделал то, что обещал, – прислал машину скорой. Чужой белый потолок, чужая простыня, тоненькое одеяло, а на дворе конец февраля. На мне пижама в полоску, как у заключенного, было холодно. За дверью слышал мамин голос, она спорила о чем-то со старшей медсестрой. Потом она распахнула дверь. Следом за ней шла медсестра и все повторяла: «У нас не должно быть исключений. Почему ваш сын должен лежать прикрытый еще и пледом? А как же остальные дети?» Мама резко повернулась к ней: «А остальным вы выдадите вторые одеяла, они у вас есть. Я узнавала». Так утеплена была наша палата. Мне делали уколы. По утрам на тумбочку ставили коробочку с лекарством. Там обычно лежали три таблетки – на утро, день и вечер. Очевидно, дней через десять-двенадцать я пошел на поправку. И ужасно захотел домой. И каждый раз, когда приходила мама, я спрашивал ее: «Когда ты меня заберешь?» И каждый раз она отвечала: «Завтра». Наступало «завтра», мама приходила, я вопрошающе смотрел на нее: «Ты меня забираешь?». Но она отвечала: «Я ведь обещала забрать тебя завтра, а сегодня ведь “сегодня”. Потерпи до завтра». Так повторялось несколько дней подряд. Я уже смотрел на маму как на обманщицу. Хотелось плакать, когда видел, как она входит ко мне в палату. И в голову тогда маленькому не приходило, как мама ухитряется отпрашиваться с работы, где она обязана сидеть все восемь часов. Мне было обидно, что слово «завтра» заколдованным стало, что оно все никак не наступит.

Уже много позже я прочитал в книге маркиза де Кюстина, что в России есть волшебное слово «завтра», означающее, что обещанное никогда не наступит. И все же Россия всегда держалась на русских женщинах, которые делали «завтра» реальностью. И вот в какой-то

день мама вошла в палату с большой сумкой. И я сразу все понял. Это было обещанное мамой ЗАВТРА. Это была моя одежда. Мама меня забирала домой!

А потом был день рождения. И собачка в подарок.



С игрушечной собачкой, выйдя из больницы

Не пускайте зло в свой дом

Новелла

Ходя по улицам, он выискивал, что валяется под ногами. Дед Антон был скуповат и невероятно экономен. «Хозяйственный у нас дед», — говорила бабушка Настя. Вынужденный после коллективизации перебраться в московский двор около Окружной железной дороги, в коммуналку, из своего большого двухэтажного дома, стоявшего в огромном саду, который он сам и насадил, он не сдавался. Повторял: «В хорошем хозяйстве и веревочка пригодится».

Эту скупость и надежду только на себя мама несла в себе как свою силу. Она понимала, почему ее отец подбирает булавки и пуговицы в уличной пыли. Пусть пуговичка найдена на улице, но ни у кого не прошена. У нее было присловье: «Надо в жизни опираться на свой собственный хвост». Слишком много было пережито в одиночку, безо всякой помощи. Думаю, такое самостоянье и от внутренней силы, но и от памяти прошлого — своего дома, своего сада, даже своей вредной коровы Зорьки. За год до начала войны, сразу после школы она поступила в МГУ на биологический факультет. Очень хотела сравняться с профессорским сыном, моим будущим отцом. Старшая сестра Лена язвила: «Танька, вверх лезешь? В профессорскую семью? Смотри, не сорвись. Вот у меня моряк. Он только меня хочет и ничего больше». Сестра Лена к семнадцати годам уже потеряла невинность. В начале войны мама ушла из университета и, как и ее сестра, и окопы рыла, и белье солдатское шила, и на электростанции работала. А было ей всего-то восемнадцать. Конечно, все работали, все были в ужасе. Но тут и родился странный характер опоры только на себя и одновременно полной покорности перед безличной силой государства. Мама жила за городом, на работу ездила на электричке. И вот ее рассказ: как в начале войны по шпалам шла толпа плачущих баб и девчонок (и мама среди них),

потому что электричка встала, не доехав до Москвы, а все спешили на работу, ибо закон: за опоздание на три минуты давали три года лагерей. Шли вроде на работу, а на самом деле в тюрьму. Потому и рыдали. Но в этот день *всех простили*. По всей Москве не было электричества.

Вера в свою внутреннюю силу была у нее необыкновенная. Както на излете Советской власти я попал в Самару (тогда это было другое имя – Куйбышев), где нас повели в бункер Сталина. Было глубоко и крутая лестница, полумрак, старались не упасть. Тогда я и узнал, что Куйбышев планировался как запасная столица страны на случай падения Москвы. То-то были вынуждены насмерть стоять под Сталинградом. Чтобы не открыть врагу путь к Самаре по широкой воде. Бункер этот был глубиной в тридцать семь метров. Экскурсовод пошутил: «Случайно такую глубину выбрали, не в честь тридцать седьмого года. Но люди, жившие вокруг бункера, исчезли в одну ночь неизвестно куда. Зато глубже бункера ни у кого не было – ни у Гитлера, ни у Черчилля». И там я увидел в зале, приготовленной для заседаний Политбюро, на стенке в рамочках под стеклом два документа начала войны, которые, как сказал хромой экскурсовод, нигде не опубликованы. Здесь висят, мол, подлинники. Сверхсекретные приказы Сталина. Один был о производстве самолетов. Город выпускал в неделю два самолета. В приказе чувствовалось бешенство вождя: «Это издевательство над Красной армией и лично товарищем Сталиным. Приказываю перейти на выпуск двухсот самолетов в месяц. За неисполнение по законам военного времени – расстрел всем, кто отвечает за работу». И подпись: «Иосиф Сталин». И ведь перешли. Начали работать в три смены. Старики, которые еще держались на ногах, женщины, дети с тринадцати лет, их ставили на ящики, чтобы могли справляться со станком. Другой приказ – о затоплении Москвы, смысл которого был в том, что вначале из Москвы выезжает правительство, за ним Политбюро, последним товарищ Сталин. После отъезда Сталина из Москвы город должен был быть взорван и превращен в озеро.

Приехав в Москву, я рассказал об этих приказах как об открытии родителям. Отец не поверил, мама же спокойно сказала: «Да, мы все про это знали». Она работала тогда на электростанции. Перекусывали хлебом с водой в обед, сидя на ящиках с толом. Ее напарница боялась и все время плакала. А мама ее утешала: «Садись со мной рядом. Я везучая». И девушка пересаживалась к маме на другой ящик тола и успокаивалась. В маме все чувствовали витальность, не бьющую через край, не давящую других, а устойчивость, как у крепко выросшего корнями в землю дерева. Она и моего будущего отца

как бы своим поведением, строгостью, сквозь которую светилась настоящая женственность, привязала к себе на много лет. Сестра Лена спрашивала: «А ты своему Карлу дала перед армией? Мужики это помнят и ценят». Мама ответила: «Ты что! Война ведь! Когда мы Молотова услышали в парке, он меня проводил, целовал перед дверью, а потом на следующий день уже ушел в военкомат. И просил ждать. Сказал, что во время войны солдатам разрешают вступать в брак без длительного срока очереди». Как понимаю, до брака у родителей был один эротический момент, который отец запомнил на всю жизнь. И записал. Эпизод совсем невинный: «Я шел с Таней на станцию “Петровско-Разумовская” Октябрьской железной дороги и провожал мою зазнобушку до Университета. Однажды, сидя рядом с ней на одной скамейке, я положил ей руку на колено. Я не знаю, что испытала Таня, но меня словно пронзило током. Таня не отняла моей руки, как будто так это было и надо. Но взглянула на меня только разве что мельком, когда сходили с поезда. Это осталось во мне не как воспоминание, а как сегодняшнее самое сильное *переживание* физической и духовной близости между нами».

В один осенний день соседки по Лихоборам принесли в нервном страхе сплетню (или правдивую весть?), что в Сокольниках видели немецких мотоциклистов, которые промчались вихрем, оглядывая окрестности. Уже много после узнали, что в этот день, шестнадцатого октября, немцы прорвали оборону и готовились вступить в Москву. В нашей военной литературе это называется черной неделей октября. Партийные бонзы наутек бежали из Москвы. Сталин, как и обещал в своем приказе, не покидал столицу, оставив при себе Молотова и Берия. Но начальники стремительно покидали город, начались жуткие разбои и грабежи. Остановил свою армию сам Гитлер, приказав войти в советскую столицу, подготовившись, маршевым шагом с развернутыми знаменами. И ошибся. Ночью в Москву по приказу Жукова вошла армия (что от нее оставалось), за грабежи по закону военного времени Щербаков ввел расстрелы, разгул бандитизма утих. А еще через время в Москву вступили сибирские дивизии — рослые мужики в тулупах, с автоматами. Наступление немцев было отброшено. Но никто из жителей этого пока не знал. Мама с сестрой спрятали в подпол младшего брата, мама все время выскакивала на улицу, бабушка Настя молилась перед лампадкой, дед разыскал свою далеко припрятанную винтовку 1913 года, сидел и чистил ее. На что рассчитывал — Бог знает. Тетя Лена шептала маме: «А если немцы будут нас насиловать?» Воображаю сухие глаза мамы, сжатые в ниточку губы, когда она ответила: «Меня не тронут. Не дамся!» «Дура! — воскликнула сестра. — Злу лучше уступить,

а потом подмыться как следует». Вместо ответа мама выскочила на улицу, услышав маршевый шаг неизвестно каких солдат. И влетела назад: «Наши идут! Немцам Москву не дадут!» Она увидела сибиряков. Сестры обнялись и заплакали.

Утром слышали шум боя, который вначале, казалось, приближался, но вскоре пошел на убыль. Похоже, немцы стремительно отступали. За ужином сестры принялись планировать, что будут делать дальше. «К Виктору во Владивосток буду добираться, — сказала тетя Лена. — Нельзя мужика надолго без женщины оставлять. А ты к Карлу?» — спросила она маму. «Нет, буду восстанавливаться в университете. Учиться надо. Хочу, чтобы Карл мной гордился». Тетя Лена усмехнулась: «Ты же красивая девка. Что еще мужу нужно, кроме твоих сисек и попы? Твой диплом? На хрена он ему?» Мама сердито посмотрела на сестру: «Мне нужно. Я могу, я знаю, что могу. Хочу быть равной ему». «Дело твое», — ответила сестра.

* * *

Прошло время, немалое время. Тетя Лена вовремя съездила во Владивосток, вытащив своего жениха, мичмана Виктора Петрова, из загса, где он собирался расписываться с другой женщиной. И женила на себе. Они через пару лет перебрались в Москву. Дядя Витя оказался при штабе. Мне уже исполнилось лет тринадцать, у меня был новорожденный брат, годовалый. Папа окончил университет, вел семинары по истории партии в Рыбном институте, читал лекции по эстетике в Институте кинематографии. И вдруг его пригласили на работу в журнале по искусству на должность «умного еврея», то есть заместителя главного редактора, появились деньги, небольшие, но все же. Теперь они оба подолгу не бывали дома, я стоял на балконе, смотрел на кружащееся воронье, которые кричали «Карр-р! Карр-р!», а мне слышалось: «Кар-рл! Кар-рл!» И я говорил им: «Папы нет дома!» Мама как-то услышала это и поняла, что мне нужен братик или сестренка! И мама, отбросив требование свекрови не заводить новых детей, забеременела, и теперь у меня был годовалый братик.

Об этом несколько слов. Было уже двадцать первое декабря. Так получилось, что Клавдий (это странное имя дал потом младшему сыну отец, увлекавшийся тогда историей римских императоров) был подарком отцу от матери (хотя она и спрашивала, в честь какой Клавки Карл дает сыну это имя, но все же поверила в императорскую версию) и отчасти и от меня. Потому что отца дома не было, когда начались схватки. У маминой мамы не было

телефона, а со свекровью она говорить не хотела. Пару недель назад случился дома большой скандал, собственно это и была основная причина, почему отец вдруг сорвался в дом художника «Сетунь». В тот день маме было плохо. Она несколько раз сползала с дивана, ходила в туалет, потом сказала мне: «Надо неотложку вызывать, уже воды отошли. Сумеешь?» К тому моменту и бабушки Мины дома не было. А я был мальчик, домашний, книжный, совершенно не понимал, что значит «воды отошли». И в свои тринадцать взрослым себя не чувствовал. Но надо было что-то делать, решать проблему. Я понимал одно: медлить нельзя. Снял трубку, нашел номер роддома, выдохнул и стал крутить телефонный циферблат. Звонок куда-то пробился, мне ответил милый голос, что все машины на вызовах, придется часа два подождать. Похоже, что девушка на том конце провода хотела трубку положить. Тут я нервно начал кричать, что я сын, что никого из взрослых нет, что у женщины, у мамы то есть, воды отошли и неужели они не понимают, как это опасно. Очевидно умилившись мальчишескому голосу, который испуганно произносил слова, которых сам не понимал, девушка, заведовавшая машинами, распорядилась, и через двадцать минут неотложка уже стояла у подъезда. Еще была проблема свести роженицу с третьего этажа. Это больше всего беспокоило молодую врачиху. Санитар с одной стороны, я – с другой, изо всех сил поддерживали маму почти на весу, довели до машины, там с помощью шофера санитар уложил маму на лежанку внутри перевозки. Докторша села рядом и принялась щупать мамино запястье, искать пульс.

Я остался один, что с мамой – непонятно, было жутковато с непривычки, но с маминым заданием, которое придавало решимости. Воспитан я был просто: раз надо – значит надо. Надо было дойти до бабушки Насти и рассказать ей, в какой роддом повезли маму. Карманных денег у меня не было, не было вообще ни копейки. И, чувствуя, как взрослою, я пешком дошел до Тимирязевской академии, оттуда по Лиственничной аллее до Окружной дороги, перейдя железнодорожные пути, до Лихобор, до бревенчатого домика, где в одной из коммунальных комнат, жили бабушка Настя и дед Антон – у железнодорожной насыпи. «Спасибо, сынок», – сказала бабушка, напоила чаем, и мы вышли, поехали в роддом, чтобы «ты отцу мог сказать, где мама-то лежит». Походили под окнами, новостей у дежурной не было, отправили записку, яблок у нас не взяли, бабушка дала мне мелочь на автобус и трамвай, и я вернулся домой. Папы, разумеется, дома не было, а бабушка Мина даже не поинтересовалась, где мама.

Мама родила младшего брата в день рождения отца. Тут уж ему позвонили, и он примчался, взволнованный и немного виноватый, поскольку свое тридцатипятилетие справлял вне дома и с кем-то. Но мамин подарок перебил все остальные. Это как бы родилось его второе Я, это что-то символизировало, он пока только не знал что.

В большом сером конверте, где были мамыны письма и записи, я нашел и свое письмо ей по поводу рождения брата, письмо ничего не понимающего подростка, школьника, лопоухого щенка, весело и дружелюбно виляющего хвостом:

«Здравствуй, любимейшая мамуся! Как ты ТАМ живешь? Как себя чувствуешь? Как живет мой братенец? Какой он? Стал ли покрепче? Когда ты выходишь? Я по тебе очень соскучился. Но не вылезай раньше времени. Я чувствую себя хорошо. Окончил четверть без троек. Елки еще нет. Домработница Вера еще не сбежала, хотя бабушка Мина ее все так же пилит. Живем хорошо. Напиши мне побольше, а то папке и бабушке Насте пишешь много, а мне мало. Еще раз чуть не влопался по географии, но вылез. 5! Крепко, крепко тебя целую, а также нашего малыша.

До скорого свидания. Вова.

Очень крепко, крепко тебя люблю.

Поправляйся».

Папа баловал младшего, воспитывая супермена. Это была не лучшая его идея. Папин друг, писатель, бывший фронтовик, так же воспитывал своего младшего, вырастив вообще бандюгана. Детей нужно баловать. Только тогда из них вырастают настоящие разбойники.

* * *

Бабушка Настя рассказала старшей дочери, как я вез маму в роддом, и ее муж, дядя Витя, вдруг уважительно сказал: «Мужик!» Он понимал толк в настоящих мужиках. Правда, у него младший тоже вырос абсолютным баловнем. Ничем хорошим это не закончилось. Сам он, моряк-подводник, в сущности, был героем. Их подводная лодка затонула, наткнувшись на мину. Произошло это в Северном море. Лодка легла на грунт на глубине около пятидесяти метров. Все попытки поднять ее оказались абсолютно безрезультатными. Тогда командир сказал: «Выход один — торпедный аппарат! Попробуйте, кто пролезет». Пролезли трое, среди них помощник капитана мичман Виктор Петров. Ими выстрелили как торпедами. Уже это был подвиг: с аквалангами пловцы опускались не более чем на пят-

надцать метров. А тут без акваланга, без кислородного запаса они прошли пятьдесят метров до поверхности. Как рассказывал дядя, вскорости течение их разбросало на большое расстояние. Теперь каждый выживал поодиночке. И трое суток он плавал один, вернее, держался на воде, а море, повторяю, Северное, то есть холод дикий. Но он выдержал, выжил и сумел доложить руководству, что произошло. После этого он получил чин контр-адмирала. Лодку подняли, но было поздно, все уже были мертвы.

У тети Лены было тоже два сына, Сашка младше меня на год и Антошка пяти лет. Тетя Лена сняла дачу по Рижской дороге в соседней деревне, рядом с тетей Полей. Мама поехать не могла, годовалый ребенок связывал ей руки, и тетя Лена предложила, чтобы я поехал с ними. С деньгами было плохо, о санатории и доме отдыха думать не приходилось. Мама согласилась, так я очутился в семье военного, еще продолжавшего службу. Худошавый дядя Витя установил военное расписание: с утра зарядка, пробежка, затем подтягивание на турнике, отжимание от земли по десять раз. Меня он все время хвалил, я же был не родной сын, а племянник его жены. Слова его я запомнил, очевидно, это был морская похвала: «Сила, мощь и красота!» Я и вправду старался. На завтрак очень располневшая тетя Лена кормила нас пшенной кашей, в каждую тарелку добавляя по куску вареной колбасы, еще горячей с крупинками жира. Днем дядя Витя водил в нас лес, учил ориентироваться. Но тут я показал полную тупость. «У тебя же отец летчик», – не ругался, а журил меня дядя Витя, но подзатыльников, как Сашке, мне не перепало. Антошке перепали только поцелуи и одобрительные похлопывания. После обеда мы играли в городки, я первый раз играл в эту игру, мне нравилось. Книг у них не было, я тоже не взял. Дядя Витя любил вечерами зачитывать нам поучительные истории о великих людях и делах из отрывного календаря. А еще перед сном мы играли в лото. Игра на внимание, но казавшаяся мне абсолютно бессмысленной. Вечером нас укладывали на железные пружинные кровати с тонкими матрасами. Тетя Лена, выключив свет, уводила дядю Витю в соседнюю комнату. Сашка, обождав некоторое время на цыпочках, подкрадывался к родительской двери и прислонял свое ухо к двери. Я знал, что это неприлично, хотя не понимал почему. Иногда, тихо хихикая, к нему подкрадывался Антошка и тоже что-то слушал, пока не получал подзатыльник от старшего брата. Я старался не шевелиться, притворяясь, что сплю. Как-то дядя Витя услышал Антошкино хихиканье, выскочил, Сашка уже успел лечь, но именно его дядя Витя и выдрал ремнем, приговаривая, что он учит младшего всему дурному. Антошка был баловень, а Сашке по-

падало всегда, чаще всего не по делу. На отца он постоянно смотрел испуганными глазами.

Мы в детстве носили матроски, хотели подражать героям-морьякам. Наверно, лет до восьми-деяти. Потом – на что у родителей денег хватало. Обе семьи были небогатые. К «малообеспеченным», как тогда называлась полная нищета, нас отнести было нельзя, но денег едва хватало на жизнь. Матросские костюмчики покупала нам бабушка Настя. У нее было время ходить по магазинам и искать.



Братик Сашка и маленький Вова

Так прошло лето. И еще много лет. Ну, может, немного. Примерно лет семь. Дядя Витя все же был в чинах, был контр-адмиралом, но с жильем было скверно. Он получил двухкомнатную квартиру с соседом сослуживцем, грузином, тоже контр-адмиралом. Но с молодой нерожалой женой Маргаритой. В воздухе у них, как рассказывала бабушка Настя, навешавшая старшую дочь, что-то не очень хорошее повисло. Она сама видела, как Маргарита, проходя мимо дяди Вити их узким коридорчиком, прижималась как бы случайно к нему грудью, как дядя Витя вздрагивал. Рассказывая это маме, бабушка Настя неодобрительно качала головой.

* * *

Сашку дядя Витя отдал в школу милиции, чтобы его там держали в строгости. Он оказался успешным курсантом. Я же поступил в университет и на втором курсе женился. На свою свадьбу Сашку я, конечно, позвал. Я был вполне зеленый, 20 лет. Ему 19. Свадьбу после загса мы справляли в маленькой квартире моей молодой уже супруги. Все было даже чересчур уютно, тюль везде, венгерская мебель, считавшаяся очень модной. Словно бытом, мещанским уютом они хотели заговорить неуютность бытия. Чем-то их квартира напомнила мне квартиру Петровых. Но Петровым приходилось жить с соседями. Это усложняло жизнь, но мы казались себе очень взрослыми, все понимающими, хотя Сашка выглядел опытнее. Такого Сашку я не знал и как бы заново с ним знакомился. Он с профессиональным подозрением смотрел на мою молодую суженую. «У нее, кроме тебя, кто-то был?» Он пальцем почти ткнул, указав на элегантно одетого еврея лет тридцати. Я кивнул неуверенно. Это был еще молодой мужик, старше, правда нас, но про которого мне много, слишком много, как теперь понимаю, в период моего ухаживания рассказывала Белка, невесту мою звали Белла. Она говорила, что Ян Брук был уже кандидат искусствоведения, гулял с ней долгими вечерами и рассказывал про искусство, водил в музеи и театры, даже пару раз загулявшись допоздна, оставлял ее ночевать у себя. Но, мол, тронуть ее не решался, говорила Белка. Я и вправду был лопухий щенок, слушал ее рассказы и сочувствовал ей. Для еврейских родителей Белки эта партия казалась удачной. Но увы! Ее прогулки-хождения длились с ним года полтора, но ничего не сладилось. Потом он уехал с некоей девушкой на Север, как он говорил, «выводить породу морозоустойчивых евреев». Но через несколько месяцев вернулся, оставив свою девушку на Севере. Моя теща не хотела, чтобы дочка звала его на свою свадьбу, но своенравная Белка позвала, и все время погля-

дывала на него горделиво: мол, какого парня я ухватила, а ты — меня прозевал. Но Ян подарил арбуз (была осень), на котором вырезал фразу: «ВОВА + БЕЛЛА = ЛЮБОВЬ!» И еще был сомнительный приятель с волнистыми волосами из МАДИ, Пашка, который пришел с молодой женой Аней, Белкиной однокурсницей, но все время намекал, что оставляет за собой право к Белке вернуться. Его молодая жена смущенно улыбалась, а я по-прежнему по-щенячьи вилял хвостом. И все же Белка нервничала и, чтобы скрыть свой мандраж, пила водку, рюмка за рюмкой. Упала на диван, закрыв глаза. Теща шептала громко: «Белла, возьми себя в руки». Но юная жена не в состоянии была пошевелить ни одной конечностью. Сашка смотрел на нее милицейским глазом, потом шепнул мне: «А у тебя-то с ней хоть что-то было?». «Было», — ответил я кратко. Услышав мой ответ, теща закатила глаза от стыда за происходящее и, потеряв сознание, рухнула в кресло. Тесть принялся обмахивать ее полотенцем, потом подхватил и почти на руках отнес в соседнюю маленькую комнату. Квартира была небольшая, всего две комнаты. Меж тем Белка уже завалилась на диван, даже с ногами, одна из подруг пыталась привести ее в чувство, хлопая по щекам. Моя мама ее тоже откачивала, нашла где-то у свояков нашатырный спирт, терла молодой жене виски и давала нюхать нашатырь. Постепенно общими усилиями юная женщина, недавно приехавшая из загса, пришла в себя, села за стол, выпила еще рюмку и попросила гитару. Из двери соседней маленькой комнаты показалась голова тещи с тем же припевом: «Белла, возьми себя в руки». Мой отец, одетый в рабочие брюки и подержанный пиджак, который сидел на нем как офицерский китель, сидел ни на кого не глядя, иногда принужденно улыбаясь, и пил из большой рюмки минеральную воду.

Между тем Сашка решил разобраться в этих отношениях, вышел из-за стола и поманил к себе пальцем Яна. Тот вдруг послушно поднялся, и Сашка вывел его из квартиры. Белка вздрогнула, посмотрела им вслед, немного трезвея, но не сказала ни слова. Прошло минут десять. Кто-то позвонил в дверь, открывать пошла теща. В дверях был Сашка, сквозь очки посмотревший почему-то внимательно на тещу. Она вздрогнула, в свою очередь уставилась на Сашку: «А где Ян?» Сашка сощурил свои близорукие глаза: «А кто его знает? Сбежал куда-то. Но мне показалось, что местность он неплохо знает». Теща поколебалась, но все же спросила: «На что ты намекаешь?» Сашка улыбнулся немного нагло. «Да я его совсем не знаю, вы лучше у дочери спросите». И добавил: «Я тут местных поспрашивал, ну шантрапу местную, чтобы они его поискали». Белка попыталась подняться из-за стола. Но мамин нашатырь все же оказался недостаточно

действенным, требовалось время для протрезвления. Она снова села на диван. Встал я, и мы с Сашкой вышли на лестничную площадку.

На улице перед подъездом мы остановились, Сашка огляделся и повел на площадку детского садика, находившегося как раз перед домом, дети уже все разошлись, стояла карусель, деревянный корабль, имитация шхуны, качели, песочница. Сашка заглянул в трюм деревянной шхуны, бросив: «Если его отпи...ли, вполне могли в трюм запихнуть». Я аж вздрогнул: «А за что его бить-то?» Сашка уставился на меня, уставился с удивлением: «За дело. Зачем он на твою свадьбу приперся? Ты ведь его не звал. Он что, *твой* кореш или дружок *твоей*? То-то. Я и сказал братве, что говно мужик! Просил поучить маленько». Это, конечно, по тогдашним моим понятиям было чересчур. «Слушай, — сказал я. — Надо бы его найти. Нехорошо как-то получилось», — я положил руку ему на плечо. «Ты растяпа, — сказал мой кузен. — Ну, раз ты просишь, — найду. Но скажу тебе, следи за ней, она не лучше любой лимитчицы, ищет жилье, у тебя же трехкомнатная квартира. Все бабы шалавы, выгоду ищут. Вот и будь осторожнее. Я-то все это знаю, поэтому принцессу искать не буду». И тут из недр деревянного корабля послышались звуки, человеческие, будто кто-то лез, срывался и снова лез. Потом послышался стон. Мы с Сашкой взлетели на палубу и увидели, как из трюма выбирается помятый, но целый Ян Брук.

«Цел? — спросил Сашка. — Ты чего там делал?» Сашка явно насмеялся. Но Ян доверчиво ответил: «Они меня туда скинули. Ну, я в угол забился и ждал, пока они уйдут. Услышал ваши голоса и вылез. Спасибо, что нашли меня». Я с укоризной посмотрел на Сашку: «Ладно, пойдем к гостям». Обняв Яна за плечи, я повел его вверх по лестнице. «Только Белке не рассказывай, — вдруг проснулось его мужское начало. — Мне неловко будет, что меня в трюм детского корабля малолетки бросили». «Не буду», — сказал я. Нас никто не ждал, Белка пела под гитару Высоцкого, которого не любила, но песни его пела, когда не знала, кто автор. Она пела прямо к случаю:

...А тот, кто раньше с нею был,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Что мне не светит.

«А машину молодым заказали? — вдруг офицерским голосом бывшего летчика спросил отец. Такой военной интонации я от своего интеллигентного отца, преподавателя философии, редактора журнала по искусству, не ожидал: — Кто этим занимается? — не ме-

няя интонации, продолжил отец. — У молодых же снята квартира. Я ее видел. Нормальная однокомнатная квартира, даже решетка на окнах — для безопасности. Молодые должны встречать медовый месяц отдельно». Краем глаза я увидел, что только Сашка среагировал на офицерский тон. Было очевидно, что отца эти решетки и тюлевые занавески в доме новых родственников безмерно раздражают. Мама погладила его по плечу: «Карл, все хорошо. Главное, чтобы сыну было это по сердцу. Я не позволю разрушать его семью, как твоя мать разрушала мою».

Пока все хлопотали и препирались, в дверь позвонил Сашка и сказал: «Ребята, я поймал для вас машину. Отвезет, куда скажете». Гости с подарками поползли с пятого этажа вниз. Лифта не было. Внизу все немного и даже премного ошалели. Нас ждала машина «Скорой помощи». «Ты что! — воскликнула Белка. — Я на этом не поеду!» Сашка посмотрел на нее зло, не верил он девичьим капризам. «Твое дело, — ответил он. — Иди пешком. А мы с тетей Таней и братом поедem вперед и квартиру к твоему приходу приберем». Но, конечно, поехали мы вместе, Сашка помог разгрузить «Скорую» от подарков, поцеловал мою маму и жену в щеку и уехал. Потом уехала мама, сказав, что доберется на трамвае. От Войковской до Красно студенческого проезда, где за трамвайной остановкой стоял профессорский дом с родительской квартирой, ходил трамвай № 27.

Сколько я на нем катался, любимое путешествие для медитации! Смотрел в окно на проплывающие дома, улочки и переулки и как бы о чем-то думал, на самом деле не думая ни о чем. Переживая, так сказать, *мыслительное настроение*. Было два пункта, между которыми я курсировал, — это два книжных магазина. Точнее, два киоска, один находился в красном доме райсовета, на первом этаже, там часто бывали неожиданные новинки, их первым делом направляли по начальственным местам, где «работали с народом». Там я купил неожиданно «Путешествие Гулливера» Свифта, издание для детей. Другой киоск был в другой стороне, в здании Водного института, но там интересные книги редко встречались.

Но вернусь к первой законной ночи. И вот тут самое странное с моей памятью. Я абсолютно ничего не помню из этой ночи. Хотя у нас была широкая двуспальная кровать, не могу вспомнить ни наших ласк, ни любовного шепота. Только запомнилась решетка на окне, решетку поставила хозяйка, сдавшая нам комнату: все же первый этаж! Она рассказала нам, что и это не спасение, что у нее сквозь решетку что-то удочкой украли. Знакомая Белкиных родителей, элегантная пожилая еврейка, явилась к нам неожиданно около девяти утра — поздравить «молодую даму» с приобретением

к женскому миру. Мы вместе выпили чаю, и она ушла. Больше не приходила.



Трамвайная остановка на Красностуденческом проезде

* * *

И еще прошло время. Жизнь разводила все дальше, очень разные были сферы жизни. Первым из братьев женился Сашка, тетьа Лена его жену не одобрила, была она из приезжих, по-простонародному «лимитчица», казалось, что потянула Сашку в слой пониже. Он и вправду начал выпивать. Она не претендовала на жилплощадь, от работы она получила комнату для семейных. Родила сына, которого Сашка назвал по имени отца – Виктор. Хотел, чтобы отец относился к нему лучше. Антошка женился на однокласснице. Этот вариант тете Лене понравился много больше, а моей маме напомнил ее юность, когда мой отец ухаживал за ней, начиная с седьмого класса. Приехав на свадьбу, пробыл я там недолго, надо было ехать в редакцию, где в этот день я был «свежей головой», вычитывал весь текст. Поэтому и

водку пить не мог, только минералку и сок. Поэтому и молодую жену Антошки разглядел как-то вскользь. Но она мне понравилась: очень милая синеглазая блондинка, робкая и скромная, которая будто никак не могла поверить, что вчера еще была школьницей, а сегодня уже жена, то есть взрослая, не ребенок, большая. Действительно, месяцев через шесть она родила дочку. То есть замуж она выходила уже беременной. Моя мама сказала: «Ну девчонки пошли! Из-за парты еще не вылезла, а уже беременна. Хотя Лена говорила, что Антошка давно в свою Юльку влюблен, давно женихались. Но Карл за мной с седьмого класса хвостом ходил, а женились мы, когда нам больше двадцати было, я в университете училась, а он уже офицер, летчик с боевыми вылетами. И ведь ждал меня!»

Тут случился откровенный роман у дяди Вити с соседкой, женой сослуживца. Дядю Витю вызвали к начальству и велели в течение месяца разъехаться с соседом. Он обязался словом офицера выполнить поручение высшего командования. Но Маргарита офицером не была и офицерского слова не давала. Поэтому она караулила дядю Витю по всей квартире, так что Антошка вынужден был провожать отца даже в сортир. Его молодая жена Юля, из интеллигентной семьи учителей, мама филолог, отец преподавал историю, уже сама работавшая учительницей в начальной школе, смотрела на эти сексуальные игры немного оторопело. Как-то по наивности и молодой глупости она сказала Антошке, что отец его ведет себя неприлично, и в ответ получила по полной программе, что неплохо бы про себя подумать, что она с ним трахалась едва ли не на школьной парте. Юля ударилась в слезы, но скверный поворот их жизни, похоже, начался с ее необдуманных упреков.

В результате бабушка Настя и дед Антон съехались с семьей старшей дочери, спасая ее мужа от юной захватчицы. Но все эти треволения и переезды привели деда к сердечному приступу. «Скорая» к старику в шестьдесят семь лет медлила, и в итоге дед умер. А после его похорон, будто кто заслонку открыл, полились несчастья. Поначалу не очень страшные. Правда, для кого как. Антошка завел себе другую женщину, очень худенькую, но с большой грудью, брюнетку в отличие от пухлой блондинки Юли, приехавшую в Москву из Смоленска, устроившуюся разнорабочей на завод. Родители вздохнули, но промолчали, и второй сын в жены взял лимитчицу. И Юлька вернулась к родителям, а новая, по имени Любава, уговорила Антона устроить свадьбу и собрать родственников, меня тоже вытянули. Любава с женским интересом оглядывала родственников, я ей приглянулся, она вслух даже сказала: «Красивый мужчина». Антошка сделал вид, что ничего не слышал. Напомнила она мне своей гибко-

стью, худобой и узким тазом черную змейку-гадюку. А змей я боялся с самого детства. И быстро свадьбу покинул. Вскоре она родила двух девчонок, потом умудрилась найти маленькую двухкомнатную квартиру со смутной историей ее получения. Будто Любаве, точнее ее родителям, был должен деньги какой-то уголовный парень из Смоленска. Квартирой для Любавы он как бы возвращал свой долг. История была темная, да и компания вокруг Любавы образовалась не очень приличная, Антошка начал с ними пить и играть в карты на деньги. В один ужасный день ранней осенью он шел к Любаве с большой рыбой, купленной на обед, прошел через тетю Лену, ей тоже оставил рыбу. А поздно вечером вдруг телефонный звонок, что Антошка повесился. Звонила жена. Страшная история, с жуткими непонятными деталями. Он принес рыбу, а Любава вдруг срочно уехала с младшей дочкой к врачу, оставив Антошку со старшей, спавшей в кровати. Когда она вернулась, дочка все еще спала, а муж в петле висел в своей комнате, под ногами валялась опрокинутая табуретка. Она вначале почему-то не врачам позвонила, не в милицию, а друзьям из своей компании. Они-то и вынули Антошку из петли. Дядя Витя и тетя Лена на такси помчались туда. Стало шумно, но старшая дочка почему-то не проснулась. Тетя Лена сразу закричала, что девочке дали снотворное, чтобы она ничего не видела. Потом перевезли тело сына в свою квартиру, позвонили Сашке, старшему брату, который одно время работал в милиции, но после женитьбы запил, потом его за пьянку оттуда выгнали. Конечно, приехали моя мама и отец, с ними увязался папин однокурсник, писавший иногда в его журнал, некто дядя Лева Помадов. В квартире был полный хаос. Бабушка Настя лежала на полу, почему-то от ужаса забившись под кровать, на которой спала, и, вцепившись снизу в прутья, не позволяла себя оттуда достать. Рассказывая этот кошмар моей маме, тетя Лена, сразу ослабевшая, шептала: «Он им в карты проиграл, не мог деньги отдать, они его и убили. А она из их компании, лимитчица проклятая».

Моя мама стала распоряжаться: «Сашка, звони своим приятелям в милицию. Кто-то ведь у тебя остался. Пусть начинают следствие. А ты, Виктор, подними на ноги военных». Дядя Витя, впрочем, уже звонил в военную прокуратуру. Но там отказали, сказав, что это дело граждански-уголовное и они не имеют права в него вмешиваться. Сашке тоже отказались помогать. Должно, мол, местное отделение этим заниматься. Туда мама и позвонила, жестким тоном потребовав к аппарату начальника отделения. В этот момент в квартиру вошли Любава и дядя Володя, брат тети Лены и моей мамы. Он уже успел за это время отсидеть четыре года, приняв на себя финансовую вину

своего начальника. Вроде как нынешние полковники ФСБ оказываются с миллионами под кроватью, которых до обыска и в глаза не видели. Но — субординация! Тогдашняя жена его оставила, но, когда он вернулся, мужик еще был в форме, мигом нашлась сначала одна женщина, причем доктор философских наук, но она ему не понравилась как женщина, и он женился на тридцатилетней официантке из кафе. Стал посещать церковь, а с год назад стал церковным старостой в приходе Коломенской церкви. Дядя Володя, человек с грубым сердцем, неся впереди живот, немного задыхаясь от толщины, громко сказал: «Ну, Татьяна, как всегда, раскомандовалась! Не шуми, сестричка, сейчас разберемся. Ты лучше маму в порядок приведи, из-под кровати достань. Давай, Танька, работай!» Но мама так посмотрела на него, что он мигом язык прикусил: «Ну извини. Это я привык у себя в церкви руководить». «Вот рукой и води, — отрезала мама. — А меня не тронь». Однако в комнату бабушки Насти вошла, закрыв за собой дверь. Любава тем временем бормотала: «Да не в милиции дело, все ясно. Надо уже о похоронах думать». Дядя Витя посмотрел на нее как на врага: «Тебя не спросили!» Она словно не заметила его резкости и ненависти, подошла к тете Лене, встала на колени, попыталась положить ей голову на колени: «Какое горе, мама! Потеряли мы Антошеньку.. А ведь за ним еще долг большой, он много в карты проиграл!» Тетя Лена вдруг поднялась и голосом, который, наверно, у нее был в молодости, крикнула маме: «Таня, поди сюда. Помогите мне эту блядь из квартиры выкинуть!» Любава как пружина вскочила: «А внучек своих тоже выкинете? Еще опомнитесь. А я пока пойду, там внизу меня друзья с дочками ждут». И она выскочила за дверь.

* * *

Похороны были через три дня. Я тоже приехал. Моя жена Белка не захотела ехать в мещанский дом. А меня мамин рассказ впечатлил. Но все выглядело спокойнее и как бы мирно. Собрались все: и тетя Лена, и дядя Витя с красными от слез глазами, но с плотно сжатыми челюстями, дядя Володя с выпяченным пузом церковного старосты, бабушка Настя уже ходила в своих тапках с разрезанными задниками, чтобы ногам было легче. Разумеется, Сашка, который поддерживал под руку зареванную первую жену Юльку, одноклассники Антошки, тоже помогавшие Юльке держаться на ногах. Маму держал за руку папа. С новой женой Любавой, точнее, уже вдовой, он не захотел здороваться, отвернулся. Гроб стоял посередине комнаты, посиневшее лицо Антошки было прикрыто цветами.

«Сыночка мой, не уберегла я тебя, — навзрыд сказала тетя Лена. — Теперь спи спокойно!» Дядя Витя в черном адмиральском кителе с погонами, кортиком на боку, старался держать себя в руках: «Ладно, мать, — сказал он. — Смерть никого не минует». Одноклассники подняли гроб на плечи, Любава попыталась пойти рядом с подушкой, на которой лежала голова ее мертвого мужа. Но самый крупный из школьных друзей оттеснил ее, почти оттолкнул и сказал грубо: «Повесили мужа с друзьями, с ними и гуляй, а убитого не замай». Она отошла, точнее сказать, почувствовалось, что черная змейка скользнула мимо гостей, гибкая, худая, и поползла к дверям, прихватив своих детей-девочек. Они еще были похожи на Антошку, на человеческих детенышей. Но кого она из них воспитает!.. Мы с Сашкой побежали к выходу из подъезда, на улицу, где стояла ритуальная машина, — на случай, если дружки Любавы начнут выступать.

Те и вправду скучились около машины ритуальных услуг, стояли, курили, переминались с ноги на ногу. Мы подошли ближе, прислушиваясь к разговору. Доносились слова: «Какого х...ра вы это сделали? Кому он мешал?.. Кто вас просил!» — сплюнул длинный и, видимо, главный. Мы подошли ближе, и тут вдруг я почувствовал какой-то странный холод, как будто перед нами были доисторические ящеры, от которых шел холод, вымораживающий душу. Тут к ним скользнула змейка Любава, каким-то образом державшая младшую девочку на руках, старшая шла следом, стараясь подражать движениям матери. Антошкина жена, их мать, растянув губы, улыбалась змеиной улыбкой, как ее рисуют художники.

Мы в растерянности даже шарахнулись в сторону. Открылась дверь подъезда, из нее одноклассники Антона вынесли гроб, Сашка открыл задние двери ритуальной машины и помог вдвинуть гроб на предназначенное для него место на полу. Вокруг стояли сиденья для провожающих близкого человека в последний путь. Мы расселись вокруг гроба. Поехали, конечно, тетя Лена и дядя Витя, с лицом черным, как его китель. Пузатый дядя Володя. Мои мама и папа сели рядом с Сашкой, как бы защищая племянника. Бабушку Настю тетя Лена оставила дома. Молодые ящеры с черной змейкой Любавой тоже примостились в ногах у гроба. Шофер обернулся: «Ну, все собрались? Едем?» Дядя Витя и тетя Лена молчали. Руководство перешло к маме. «Едем, — твердо сказала она. — Больше никого не ждем». Пикап тронулся, долго выезжали на шоссе, потом покатали уже быстро. Вскоре выехали за город. Ехали в деревню к тете Поле, где похоронили деда Антона. А теперь туда везли Антона младшего.

Сашка по дороге говорил мне: «Что-то с женским полом случилось. Нельзя им никому верить. Все шалавы. И моя тоже. Сына ко

мне только по воскресеньям отпускает. У тебя-то на этом фронте все в порядке?»

Я положил руку ему на плечо, успокаивая.



* * *

А через два месяца умерла бабушка Настя, не пережила убийства внука, ее похоронили в могильной ограде с мужем, с дедом Антоном. А еще через месяц позвонила тетя Лена. Умер дядя Витя, сердце не выдержало. Он с трудом отбил квартиру от вдовы младшего сына, но на этом и сгорел. Мама и я приехали на военное кладбище. Папа лежал в больнице с приступом печени. Дядя Володя, церковный староста, в тот день был чем-то очень занят. Подсчитывал церковные доходы и расходы. Так и воображал его, как в расстегнутом пиджаке, выкатив пузо и надев очки, он щелкает счетами и что-то заносит в разложенные перед ним бумаги. Понятно, что больше его не поймают на недостачах. Хоронили дядю Витю по-военному торжественно. Играли траурный марш. Взвод морских пехотинцев дал тридцать выстрелов в воздух. Мама не велела мне выходить из-за домов, окружавших кладбище. Тетя Лена стояла около могилы, потом упала на нее. Матросы подняли ее, откуда-то достали маленькое кресло и усадили в него тетю Лену. Сашка остался стоять, вытирая рукавом глаза. Когда матросы грузились в автобус уезжать, то взяли тетю Лену с собой. Сашка не поехал, остался у могилы, плечи согнулись. Он теперь был старший мужчина в семье, а сил вести дом он не

чувствовал. Так я его понимал. Неожиданно он повернулся, словно поймал мои мысли, быстро подошел к нам и сказал мне: «Я один остался. Понимаешь?» Махнул рукой и вернулся к могиле отца.

Мы вернулись домой, мама плакала. Она глядела сквозь слезы в потолок и не вытирала их. Это уходила ее молодость, ее прошлое. Понимал ли я это? Наверно, понимал. И мне было жалко дядю Витю, он и вправду был родной человек, вдруг понял я. Немного не свой, но родной. Трудно это объяснить, но так я чувствовал. Мы с ним не очень беседовали, он был человек военный, и мои гуманитарные интересы он уважал, но мои штудии были далеки от него. Сыновьям он ставил меня почему-то в пример. Но помочь я им не мог. Я был другой. А сам он, как я понимал, как мне говорил папа, был настоящий герой. Как все герои у нас с неустроенной бытовой жизнью. Как ни дико это прозвучит, эта жизнь и довела его до смерти. Впрочем, всех она туда доводит. Жизнь и вправду это путь к смерти.

* * *

Иногда этот пролог к смерти бывает очень небольшим. Хотя даже столетний пролог тоже не велик. Это чувствуешь, подходя к этому рубежу. А тогда, в мои тридцать лет, столетняя жизнь была для меня сродни вечности. Но почему-то, думал я, одни семьи быстро сгорают, другие длятся очень долго. Где причина разрушения? Мама, словно читая мои мысли и переживая мои переживания, как-то мне сказала: «Сашку жалко. Когда тетя Лена умрет, он не вытянет. Сына в Суворовское отдаст, но удержится ли он там? При такой-то матери!» Сашкин сын Витя в школе еле дотянул до восьмого класса, жил и не с матерью, и не с отцом. Ездил от отца к матери и от матери к отцу. Мать гуляла, уже не скрываясь, как и принято у лимитчиц, меняя мужиков на раз, законный брак не превратил ее в хранительницу очага. А Сашка пил от сердечной тоски. Пил жестоко. Но про сына помнил, он был наследник фамилии и носил имя деда. Когда умерла тетя Лена, Сашка обошел знакомых отца и пробил, как и предвидела мама, сына в Суворовское училище. Но и там с Витькой не справились, учился плохо, грубил старшим, потом его поймали на мелком воровстве. Сашке позвонили, что сына отчисляют. Сашка тут же перезвонил, но не мне, а маме (он не знал, что я у родителей): «Тетя Таня, что делать?» Мама что-то ему говорила, уйдя в соседнюю комнату (шнур у телефона был длинный). Повесив трубку, сказала мне: «Собирайся, надо к Сашке ехать, ты все же брат, он тебе в рот смотрел. Как бы чего не сотворил с собой!» Я спросил: «А ты папе звонила? Что он говорит?» Мама надевала дождевик, стояла мокрая осень, указала мне на

мой плащ, потом ответила: «Папа сказал, что постарается через час туда подъехать». Доехав до метро «Октябрьское поле», мы пошли двоими среди хрущевских пятиэтажек. Дождь накрапывал, будто небо плакало мелкими слезами. Подъезд не запирался, мы поднялись на третий этаж. Мама порылась в сумочке и достала ключ от входной двери, который ей дала перед смертью тетя Лена. Дверь открылась, из квартиры пахло какой-то мертвой тишиной. Такого ужаса до этого я не испытывал. Мама тоже замерла. Потом аккуратно повесила на одежный крючок дождевик и решительно шагнула в Сашкину комнату. Я следом. Он стоял на коленях, положив голову на скрещенные руки. «Ты живой?» – тихо спросила мама. Ответа не было. Мама прикоснулась к его щеке и шепнула: «Холодный».

В этот момент вошел приехавший папа. Он поднял Сашку на руки и положил на диван, мама подсунула ему под голову подушку. Лицо было бледным и осунувшимся, губы искривлены. Сына Витьки не было, и, где его искать, никто не знал – ни мама, ни папа, который произнес, глядя в мертвое лицо племянника: «Какой страшный конец семьи! Страшнее, чем у Будденброков! Будто и не было семьи». Я удивился: «Почему конец? А Витьку не считаешь?» Мама вздохнула, а папа махнул рукой. И мама объяснила: «У Витеньки мать есть. Она решает его судьбу, мы не имеем права вмешиваться в его жизнь». Потом вызывали судебного медэксперта и прочую похоронную команду. Заказали автобус. Через день забрали Сашку из морга и повезли на кладбище, где уже лежали дед Антон, бабушка Настя, Антошка и тетя Лена. Ехали через тетю Полю, я все допытывался у родителей, как так получается, что семья сходит на нет. Папа не отвечал, а мама, посмотрев искоса на отца, произнесла почти монолог (им я и закончу эту историю): «Ты женатый мужчина, считаешь себя главой семьи, но, в конечном счете, за целостность семьи отвечает жена. Даже если ее хочет выжить свекровь, она хранит мужа и детей. Твоя бабка, мать твоего отца, хотела бы, чтобы мы с Карлом разошлись. Она женщина энергичная. Она хранила отца Карла, но, как он умер, она всю свою чудовищную энергию обратила на заботу о сыне, а я ей мешала. Но Карл меня любил, и я его не оставляю. Это наша жизнь, это мой очаг, и я его буду хранить, пока жива. Мне кажется, что и он меня еще любит. Антошке и Сашке не повезло, их жены оказались не хранительницами, а разрушительницами. Тетя Лена не сумела их пересоздать в настоящих жен. Больше ничего не скажу, думай сам, как ты строишь свою жизнь».

19 мая 2018.

Деревня Афанасьевево Владимирской области

Необходимость «планки», или Преодоление современности

(слово об отце)

Писать о жизни отца сыну трудно. Человек нечто делает, это понимают и оценивают современники (редко), чаще потомки. Сын может рассказать то, что не видели и не знали другие. Такова моя задача: рассказать, как я его видел всю свою жизнь, каким он мне представлялся. Разумеется, говоря о философе, важно, даже необходимо, определить его интеллектуальные интересы, по возможности показать, как они выросли из его поведения, отношения к людям, к трудностям и удачам — из судьбы человека, которая и определяет философское высказывание.

Прошу у читателя прощения, но начну с *детского*. Каждое утро, лет с трех и до школы, отец водил меня в детский сад (у мамы работа начиналась очень рано, когда садики все были закрыты). Дорога шла через парк и занимала минут пятнадцать. И вот всю эту дорогу отец читал мне стихи. Постоянно звучали Пушкин и Маяковский. Он помнил их поэмами, «Онегина» знал наизусть всего. Мне эти поэты казались почти друзьями. И только в школе я узнал, что они жили в разные века. Но отец думал и дышал поэзией, сам писал стихи, считал долго себя поэтом, пока не стал философом, ощутив в себе другое призвание. Хотя музыка небесных сфер, на мой взгляд, и в поэзии, и в философии звучит похоже. Но недаром все же его последняя книга была о Маяковском («Тринадцатый апостол»), поэте, со стихами которого он жил, начиная с 14 лет, строками которого часто думал. Пушкин тоже был не случаен. Известно из семейного предания, что, начиная с тридцатых годов, мой дед совершенно не мог читать современной литературы, купил шеститомник Пушкина, только его и читал. Когда в середине шестидесятых

В.И. Толстых предложил отцу написать статью в сборник о моде, он это сделал, назвав ее «Мода как стиль жизни», неожиданно дав анализ проблемы на тексте пушкинского «Онегина». Как недавно написал Толстых: «Статья Карла Кантора, на мой взгляд, мудрая и здравая, стала украшением книги «Мода: за и против» .

Необычность отца для меня, для соседей, для друзей определялась не только стихами и философией (бытом он жить не умел, хотя и разбирался в моде и более 15 лет вел журнал «Декоративное искусство СССР»), но и тем, что он был, в сущности, выходцем из другого мира. Красивый, черноволосый, он родился в Аргентине, в Буэнос-Айресе, полное его имя было Карлос Оскар Сальвадор, и в Советскую Россию был привезен в возрасте четырех лет. Там оставалась его родная сестра, аргентинская поэтесса Лиля Герреро, писавшая стихи и пьесы, переведшая на испанский Пушкина, четыре тома стихов Маяковского, да и других советских поэтов и прозаиков, ей посвящена книга отца о Маяковском. Время от времени (уже в хрущевские времена) она приезжала в СССР, в Москву, всегда жила у нас, во дворе соседи смотрели на нее (на живую иностранку с Запада!) из всех окон. Она привозила странную мелкую пластику, которую расставляла по полкам, необычный русский язык, интерес окружающих и визиты молодых поэтов (запомнил Вознесенского и Евтушенко), мечтавших о переводе их стихов на испанский. Мечтали об этом и молодые философы, ходившие к отцу в гости. Скажем, Александр Зиновьев принес ей свою рукопись о «Капитале» Маркса. Сестра водила отца к разным известным поэтам, я запомнил только рассказ о Пастернаке, с удивлением говорившем: «Все же *там* (то есть за пределами его дачи в Переделкино) еще рифмуют». Потом тетка вышла из аргентинской компартии, заявив, что ее руководство лакействует перед советскими коммунистами, и больше поэтессу Лилу Герреро в СССР не пускали.

Конечно, он нравился женщинам. Хотя слухи о его романах, которые до меня доходили, насколько я знаю, весьма преувеличены (уже много позже отец был достаточно откровенен со мной). Еще в школе он влюбился в мою мать, она ждала его с войны и на всю жизнь осталась его спутницей. И поэтому два слова о маме, без которой жизнь и работа отца, мне кажется, не очень понятны. Мало того, что она, молодой генетик, попала под страшную сессию ВАСХНИЛ в 1948 г., в следующем году начальство выяснило, что она замужем за евреем. Шла страшная антисемитская компания по борьбе с «безродными космополитами». Ее вызвали в дирекцию, произнесли прочувствованные слова, что она еще молодая и красивая русская женщина вполне может найти себе другого мужа

или хотя бы развестись и вернуть себе девичью русскую фамилию. Мама вспылила: «Как вы смеете!» Но они смели! И маму перевели из научных сотрудников в чернорабочие. Отец очень много взял у своей жены, не только русского терпения и стойкости в бедах, но даже в идейном плане. Могу сказать, что мама была замечательным генетиком, создавшим новые виды растений, для садоводов многое скажет выведенная ею *земклуника*, гибрид клубники и лесной земляники, и *сморжовник*, гибрид смородины и крыжовника. Помню портрет американского селекционера Лютера Бербанка (отца культурного картофеля) на стене ее комнаты, когда правоверные биологи вешали портреты Мичурина и Лысенко. Ее дважды изгоняли с работы, несколько лет она работала и чернорабочей, и лаборанткой. Отец признавался не раз, что на идею гена истории его натолкнули мамы работы. Само название его главной книги – «Двойная спираль истории» – говорит о ее генетическом происхождении. Из последних работ: кроме книги о Маяковском, он написал нечто, по форме напоминающее «Vita Nova» Данте, под названием «Таниада», стихи, перемежающиеся прозой, – рассказ о маме и их любви.

Вообще-то, сегодня это может показаться странным, но отец мерил себя, свою любовь, жизнь своей семьи, будущих детей соотношением с судьбой страны. Из Челябинска, где находилась часть АДД (авиация дальнего действия), в которой он служил, он писал маме:

Что б ни были мы
и где б,
Но только бы
Землю России
реки наших судеб,
иссохшую, оросили.

Это была для него точка отсчета. Этим он жил. Сохранились поразительные письма его курсантов, воевавших на передовой. Позволю себе привести отрывок из одного письма: «Здравствуй-те многоуважаемый наш учитель, вернее наш “отец” тов. Кантор К.М. Конечно, извините нас, что так Вам долго не писали письма. В виду того что жизнь наша была на колесах до этих пор. <...> При благоприятной погоде мы воюем, то есть выполняем боевые задания. Спасибо вам тов. Кантор за ваши труды, приложенные в нас. <....> Сообщаем вам тов. Кантор: Журавлев и Пилипенко погибли смертью храбрых русских воинов. <...> Ваши дети Стариков П.М., Самородников».



Отец после армии

Он жил, веря в то, чем жил. Вступая во время войны в партию, верил, что так он принимает на себя всю полноту ответственности в страшное время, сохраняет свою честь. Он, рожденный в Аргентине, никогда не был внутренним эмигрантом (хотя среди его друзей было много диссидентов), никогда не стремился эмигрировать. Он думал, что верность себе можно и нужно сохранить при любых обстоятельствах. Ненавидя всяческие проявления тоталитарного мышления, он хотел сохранить идею коммунизма, которая с юности виделась ему спасением человечества. При этом сумел воспитать детей, полностью не принимавших существующий режим.

Тут я должен рассказать один сюжет: будучи марксистом и ленинцем, отец не принимал категорически Сталина. Поэтому чуть не был посажен в 1949 г. по доносу тогдашнего его друга Ивана Суханова, написавшего, что «Карл Кантор говорит против Сталина, что, мол, при Ленине такого антисемитизма быть не могло». Донос был отправлен в парторганизацию МГУ и в органы. Возникло то, что называется, *дело*. О доносе знали все, сокурсники и преподаватели перестали с ним здороваться, переходили на другую сторону тротуара. Из философов у нас дома с того момента появлялись только два человека (назову их по именам, как называли родители) — Ваня Иванов и Саша Зиновьев. Как я теперь понимаю, Ваня Иванов (позже я с ним не встречался) был просто нормальный русский

человек, не понимавший, что другая национальность — это грех, и державший себя без колебаний. Поэт Наум Коржавин, живший у нас дома в начале 50-х после Караганды, когда познакомился с этим человеком, как-то сказал отцу: «Вот такого же Ваню Иванова убил Нечаев». Саша Зиновьев, как вечный оппозиционер и ерник, произнес фразу, давно растиражированную его поклонниками. Он сказал: «Карл, а ты что, еврей?» На растерянное «да», ответил: «В другой раз будешь умнее!» Какой другой раз?.. Алогизм шутки не помешал дружбе. Из нефилоффов, двое друзей отцовской юности, писатель Николай Евдокимов и кинорежиссер Григорий Чухрай (тогда почти неизвестные, лишь один был у них чин — фронтовики), отослали в партбюро философского факультета по письму в поддержку отца, что они ручаются за него своей честью (немодное в то время слово). Но все же такие люди были!

Собрали общеуниверситетское партсобрание. Коллеги были беспощадны: «Волчий билет!», «Расстрелять Иуду!», «Пусть похлебает лагерную баланду!». Спас отца (о чем он всегда вспоминал с постоянной благодарностью) секретарь парткома Михаил Алексеевич Прокофьев, химик-органик, не философ. Подчеркиваю это. Думаю, что к крикам философской толпы отнесся с презрением. Потом он стал министром просвещения СССР.



В начале 80-х отец увидел его по телевизору и сказал: «Как он напоминает человека, который меня, в сущности, спас». Но был так далек от партийного функционерства, что даже не уследил карьерного роста своего спасителя. А дело было так. Наслушавшись инвектив со стороны философов, Прокофьев попросил слова и начал свою речь со слов, сразу изменивших тональность происходившего: «Что случилось с нашим ТОВАРИЩЕМ (товарищем! А не гражданином, не врагом!), коммунистом Карлом Кантором? Как мы могли допустить такую беду с человеком, летчиком авиации дальнего действия (АДД), вступившим в партию во время войны, отличником, заводилой, открывшим нам поэзию Маяковского! Это наша вина, товарищи! Наша недоработка! Поэтому предлагаю самое строгое наказание, которое может постигнуть коммуниста. Предлагаю объявить коммунисту Кантору строгий выговор с занесением в личное дело». Это было по тем временам суровое решение, почти волчий билет, но не сравнимое по своей мягкости с «лагерной баландой» и т.п. После собрания отца «профилактически», как потом мне объяснили понимающие люди, продержали несколько дней на Лубянке.

Его не посадили и не выгнали, но, несмотря на красный диплом, в аспирантуру отец не попал, в 1952 г. ему дали «свободное распределение», и он с трудом устроился вести семинарские занятия по истории партии в Рыбном институте. В 1953–1957 гг. преподавал истмат в Гидромелиоративном институте. С 1957 г. – заместитель главного редактора журнала «Декоративное искусство СССР», в сущности это была должность «умного еврея». Взял его на эту работу главный редактор журнала и главный художник Москвы Михаил Филиппович Ладур, который, приглашая отца на работу, сказал: «Как цыган чует лошадь, так я чувствую людей».

В 1964 г. его вытащил на защиту кандидатской А.И. Ракитов в Плехановку, где отец и защитился по теме «Теоретические проблемы технической эстетики». По сути дела, он стал одним из тех, кто пытался возродить отечественную традицию промышленного искусства, введя термин технической эстетики, понятия дизайнера и маркетинга, которые тогда казались пришедшими совсем из другого мира. В эту сторону ему удалось повернуть и «Декоративное искусство». Отец проработал в журнале более пятнадцати лет и был снят с должности (уже главного редактора) М.А. Суловым за публикацию статьи И. Эренбурга о Марке Шагале (очень советский сюжет). Рассказывали, что Сулов вызвал зав. отделом искусства ЦК КПСС и бросил на стол журнал со статьей, спросив: «Кто ему позволил?» На что получил ответ: «Уже уволен». И отца уволили «задним числом».

Куда бы я ни приходил, все знали меня как сына Карла Кантора. Наум Коржавин (для друзей Эмка, Эмка Мандель) включил меня в надпись на своей первой книге «Годы» 1963 г.: «Тане, Карлу, Иде Исааковне и Вове без лишних слов с обычным дружеским чувством. Эмма. 5.IX.63 г.». Это был некий знак приобщенности к кругу интеллектуалов. Надо сказать, что и в редакцию журнала «Вопросы философии» я попал благодаря протекции Мераба Мамардашвили, с которым отец не то чтобы дружил, но находился во взаимноуважительных отношениях. Я ходил на лекции Мераба, после лекций он приглашал меня и нескольких знакомых в «Националь» на чашку кофе. И там за чашкой кофе он из случайного разговора выяснил, что я уже несколько месяцев без работы. И Мераб отправил меня в журнал, сказав: «У нас как раз свободное место. А сына Карла Фролов должен взять». Так оно и вышло. Причем Фролов проявил немалое мужество, поскольку в этот момент в одной из центральных газет была статья секретаря по идеологии МГК КПСС В. Ягодкина против отца.

Быть сыном было хорошо, очень долго я почти без колебаний и критики воспринимал все слова отца. Годам к тридцати начались попытки самостоятельного мышления. Я даже написал повесть «Я другой». В те годы мне иногда говорили: «Ты выступаешь против идей отца». Самое поразительное, что он это понимал, но еще более поразительно, что, читая мои тексты, давал советы как бы изнутри этих текстов, показывая, как можно лучше развернуть ту или иную аргументацию. Ему очень нравилась самостоятельность, не было никакой обиды. Это сохранило нашу дружбу.

Отца любили друзья и родственники. Алексей Коробицын, знаменитый разведчик, писатель, его сводный брат, надписал свою первую книгу «Жизнь в рассрочку»: «Брату Карлу, самому младшему и самому умному». Таких надписей было немало. Скажем, Владимир Тасалов надписал свою книгу «Прометей или Орфей» так: «Карлу! Дарю книгу с восторгом, напоминающим восторг человека, радостно сдающегося в плен!». Кстати, восторг был взаимным. Восторг отца по отношению к талантливым людям и их произведениям, делам был основой его отношения к миру. Как-то он дал мне книгу Эриха Соловьева о немецком экзистенциализме и сказал, что если я хочу что-то понимать в философии, то должен прочитать эту книгу. Все имена думающих советских философов я узнавал по рассказам, где личное знакомство и приятельство играло немалую роль, многие бывали у нас дома. Помню, как у нас дома Наум Коржавин читал стихи.



Наум Коржавин

Причем такого тогда не слышал никто. 10 марта 1953 г. он читал свой стих «На смерть Сталина».

Его хоронят громко и поспешно
Соратники, на гроб кося глаза,
Как будто может он
из тьмы крошечной
Вернуться, все забрать и наказать.
Холодный траур, стиль речей –
высокий.
Он всех давил
и не имел друзей...

Надо представить время, эти безумные похороны, ставшие новой Ходынкой, рыдания многих миллионов, чтобы понять ошеломление от этих слов, тревогу мамы и неожиданную радость в глазах отца. И испуг философов из Института, но уже никто не донес. Время поменялось.

Уже много позже, читая мемуары Надежды Мандельштам и Анны Ахматовой, я вспоминал эти строки об отсутствии друзей у Сталина, и на этом фоне высказанное по телефону желание Пастернака поговорить с вождем «о жизни и смерти», то есть подружиться, выглядело обычным подхалимажем. Особенно, если учесть, что в этот

момент он должен был защитить Мандельштама, от чего увильнул. Более того, после ареста Мандельштама воспел Сталина:

А в те же дни на расстоянье
За древней каменной стеной
Живет не человек — деянье:
Поступок ростом с шар земной.

На теме Пастернака я немного задержусь.

Когда сообщили в газетах, что скончался «член Литфонда Борис Пастернак», отец отреагировал стихами. Хотя Пастернака и не очень уже принимал:

Какие-то прохожие, проезжие,
Пыль, чад и суета сует.
И называют все это поэзией
Достойной наших трагедийных лет.

Какие-то бездарные поделки —
Им красная цена в базарный день пятак...
А под Москвою, в Переделкино,
Затравлен насмерть Пастернак.

Его хоронят, где-то рядом станция...
Нет, нет, сюда никто не опоздал.
Идут как прежде мимо поезда,
У гроба не свои, а иностранцы.

Это было написано в период гонений, когда нынешние почитатели старались делать вид, что такого поэта нет. И все-таки была у отца абсолютная независимость мысли. Когда в постсоветское время *из Пастернака сделали кумира*, а вчера поносившие стали приносить славословия, превращая его в главного и независимого русского поэта советской эпохи, отец в своей книге о Маяковском написал о сервиллизме Бориса Леонидовича, о его приспособленчестве и внутренней согнутости перед властью.

Благодаря занятию дизайном, промышленным искусством, отец вышел на проблему проектирования, которую он хотел прочитать (и написать) как философскую идею. Даже проговаривал много раз, что придумал некую философическую клеточку мироздания, вроде платоновской идеи или монады Лейбница, которую он назвал ПРОЕКТОН. Но так и не написал в той полноте, какую идея за-

служивала. У него на столе долго лежала выписка из Фридриха Шлегеля из «Фрагментов»: «Проект — это субъективный зародыш становящегося объекта. Совершенный проект должен быть одновременно и всецело субъективным и всецело объективным — единым неделимым и живым индивидом».

В каком-то смысле его дети были его проектом. Я приведу стихотворение, которое отец написал к моему дню рождения в 1980 г. Мне исполнилось тогда 35 лет, я работал в «Вопросах философии», был женат, у меня был уже большой сын, я написал две повести: «Два дома», «Я другой» и десяток рассказов. Прозу мою не печатали, читали ее два-три человека; один из них, Владимир Федорович Кормер, замечательный писатель, которого тоже не печатали, говорил мне: «Это нормально. Было бы хуже, если б печатали». Можно было провести жизнь за вечерними застольями, махнув на себя рукой, как многие тогда делали. Я помню, как морщился отец, видя, как я трачу время. И в итоге я усвоил его позицию. Это была стоическая неприязнь к внешнему успеху, которую он мне привил раз и навсегда. Хотя сам любил, чтобы его слушали и восхищались. Человек противоречив. Но меня он спас, объяснив нечто важное — к тому же в стихах. Должен еще сказать, иначе не очень понятна будет первая строка стихотворения. Я назван Владимиром в честь Маяковского. А теперь отцовские строчки:

В Начале все же было Слово,
И это Слово было — «Вова!»

Потом... Слабеет память тела
Быстрее памяти души...
Потом, наверно, было «дело»...
Но ты об этом не пиши.

.....

В Начале, точно, было Слово.
В Начале, После и Всегда.
Теперь опять, как и тогда,
Его я повторяю снова:

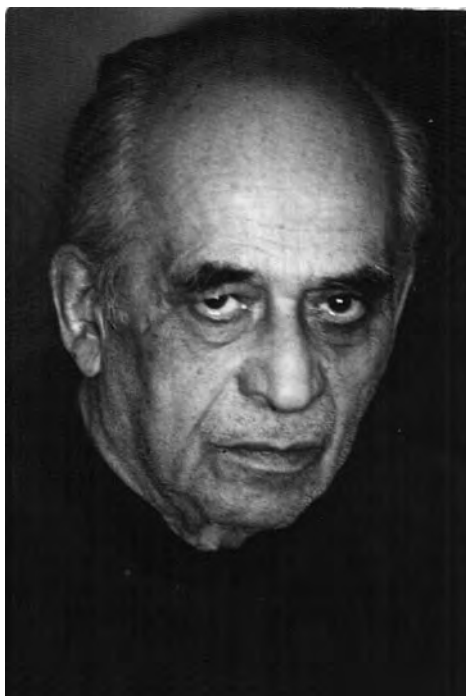
«Будь Словом, Вова! Плоть — трава,
Оставь слова, слова, слова».

28 марта 1980 г.

С тех пор я написал немало слов — повестей, романов и рассказов, много научных статей и монографий. Какие-то были замечены,

большинство нет. Но было еще самое важное, чему меня тогда сумел научить отец, что я хотел бы выделить как доминанту его духовной позиции: несмотря на внешний успех или неуспех — *отец требовал от себя и своих детей, как говорят спортсмены, «держать планку»*. Ориентироваться на высокое — наплевать, поймут сейчас или вообще не поймут, или прочтут тебя когда-либо много позже. Но необходимо говорить только то, что чувствуешь и думаешь.

Он и свои тексты писал, годами не печатая. Известная теперь «Двойная спираль истории» до 2002 г. лежала в разбросанных рукописях почти 20 лет. И еще он советовал: «когда пишешь даже о самом великом мыслителе и писателе, не бойся посмотреть на него критически — иначе никогда не скажешь своего, утонешь в чужих идеях». И вместе с тем у каждого должен быть свой проводник в мир идей — скажем, у Мераба Мамардашвили это были Декарт и Кант, у отца — Маркс и Маяковский, для меня остаются значимыми два мыслителя — Достоевский и Соловьев. Кумиров у отца не было. Были учителя и духовные водители. Это давало ему точку опоры, духовной, не внешней.



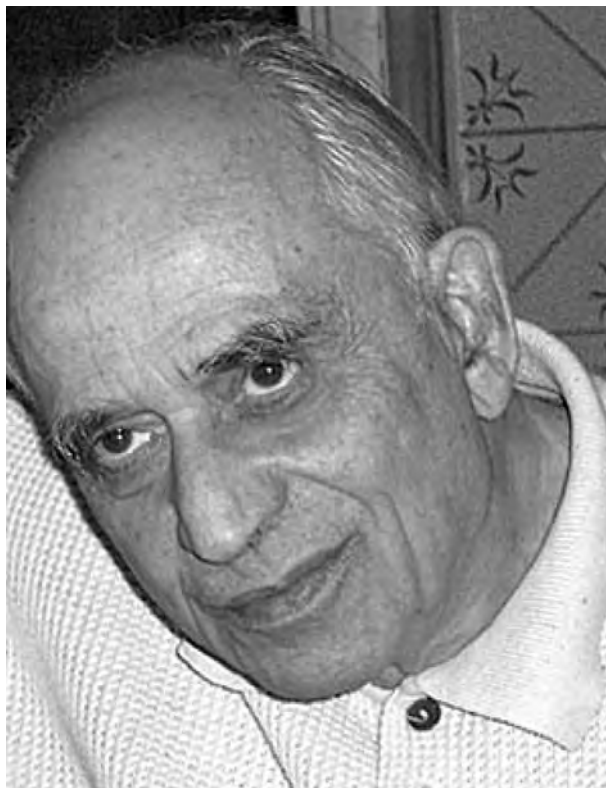
2004 г.

Последние годы отец вернулся к проблеме философии истории, которая, по сути, всегда стояла в центре его интересов, пробиваясь в его работах по эстетике и дизайну. Он ввел понятие «парадигмы всемирной истории» как парадигмы истории культуры в ее движении к свободе индивида, уточняя его другим понятием — «паттерн» то есть проекта конкретных культурно-исторических типов. Есть паттерн истории западноевропейской, российской и др. С его точки зрения, нет общества — ни русского, ни западноевропейского, ни китайского, в котором бы укоренился лишь один тип паттерна. Тип культуры связан с определенным народом и формируется в процессе жизнедеятельности определенного общества, этноса, народа. Но он обладает способностью перемещаться в другие общества, входить в них наряду с другими паттернами, которые в нем укоренены. Отец выделял три фундаментальных типа паттернальной культуры: персонцентрический, социцентрический и смешанный. В российской культуре, на его взгляд, доминирует смешанный — персон-соци-центрический. Если парадигмальность в культуре может быть понята как ее изменчивость, способность к развитию, выходу за однажды достигнутые пределы, то паттернальность культуры есть выражение ее наследственности. Развитие всемирной истории, в отличие от движения доистории, не может быть реализовано без парадигмальных проектов (как пример — иудео-христианская религия).

Внешне, бытово, он был часто зависим от тех, кто в данный момент мог о нем заботиться. Он мог капризничать. Но в трудные и плохие минуты удивительно стоически принимал судьбу. Так получилось, что в ночь на 9 февраля 2008 г. в больнице из его близких был я один. Он, видимо, понял раньше меня, что умирает. И дальше была поразительная твердость. Вспомнил маму, просил поцеловать внучку и внуков, сказать им, что они талантливы и он рад, что успел это увидеть, посожалел, что редко видел правнука, говорил о женщине, которую любил последний год. Я пытался сказать, что мы еще попируем по выходу «Тринадцатого апостола». Он закрыл глаза, произнес спокойно: «Уже без меня. Главное, чтобы том вышел».

Написано им много. Насколько помню, он писал всегда. Опубликовано гораздо меньше. О печатании его текстов чаще всего и говорить не приходилось. Сначала его тексты называли «евромарксистскими», а потому печатали с трудом. Как говорил тогда Володя Кормер: «Если бы Карл Моисеевич жил во Франции, мы бы сейчас изучали его, а не Гароди». А потом его не очень печатали за то, что он остался марксистом, когда марксизм перестал быть общеобязательным мировоззрением. Он продолжал думать и писать, что хотел. И говорил о том, чтобы оставить слова, а не утвердиться посред-

ством слов. Высшая оценка все равно приходит после смерти, дается на Божьем суде, достигая нашей Земли отголоском. Сейчас этот отголосок начинает звучать по поводу его собственного творчества.



Перед смертью, 2007

Последние папины стихи, неожиданные для меня (он был таким русофилом), совершенно библейские по интонации, были написаны примерно за месяц до смерти. Написав, он прочитал мне вслух, потом оставил их среди своих бумаг на столе. Слава Богу, что тогда же я переписал их в свой блокнот.

Скончался век, исчерпан срок,
Пройдет и время.
И вечность явится, как Бог,
С лицом еврея.
Это был экспромт.

Владимир Кантор



ДВА ДОМА

Два дома

Повесть

*Моим родителям с любовью
и признательностью*

Обеим бабкам я вышла внучка...

М.И. Цветаева

*Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризну или ропот
Мной утраченного дня?*

*Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...*

А.С. Пушкин

Глава I Размышления

Я ходил по половицам на кухне, то поперек длинных крашенных досок, аккуратно переступая с одной на другую, то вдоль, стараясь не оступиться и не сойти. Я и сейчас, спустя много лет, помню эту свою маяту: мимо трех кухонных столов с висячими шкафчиками над ними (в квартире жило три семьи), мимо газовой плиты, на которой стояли чайник с обмотанной изоляционной лентой ручкой, погнутая консервная банка с обгорелыми спичками внутри и чугунная сковорода. Лампочка без абажура, висевшая высоко под потолком, горела тускло. Впрочем, в коридоре, куда я старался не заходить и

вдоль которого располагались комнаты соседей, было темней, да и из входных дверей тянуло по ногам холодом, особенно зимой. Вечером меня на улицу не пускали (из-за темноты и мороза), но и выходя на кухню из жарко натопленной комнаты, я обязательно надевал на себя свитер и валенки — так требовала бабушка Настя. Меня отправляла к бабушке на зимние каникулы мама, и бабушка кутала меня, приговаривая: «Я Ане дала слово тебя соблюдать», как будто без этих «слов» она бы вовсе не обращала на меня внимания. Я прислонил лоб к темному кухонному окну. В окно было видно прикрепленную болтами к бревенчатой стене дома длинную и, как я знал, зеленую жестяную коробку, запертую на замок: в ней хранился огромный красный газовый баллон, — на весь дом.

«Отчего я всегда не живу у бабушки Насти? — думал я. — Отчего я здесь не родился и здесь не мой дом? Здесь так все просто, *простые люди*, хорошо и спокойно. Безо всяких там *ихних проблем*». Я даже про себя выговаривал последние слова, как бы отстраняя их от себя, отдельно и полупрезрительно, подражая бабушке Насте. «Ихние проблемы» относились к родительскому дому, точнее, — к отцу, его друзьям и к бабушке Лиде, отцовской матери. Я не любил ту свою трехкомнатную квартиру, казавшуюся мне по контрасту просторной, огромной и почти спартански пустой: три продавленных тахты, два стола, шкаф да полки с книгами во всех комнатах. Но насчет проблем я отчасти фальшивил: они очень даже занимали меня. Я не любил их за другое, хотя от обиды казалось, что вообще не люблю: просто я не допускался на вечерние разговоры и, только напряженно вслушиваясь, улавливал временами отдельные выкрики и слова: «генетика», «кибернетика», «европейская безопасность», «атлантический пакт», «Робсон», «Фаст», «Сталин», «Берия», «культ личности», «спор поколений», — для пятидесят пятого года, как я теперь понимаю, темы довольно типичные в определенных кругах.

Но здесь, у бабушки Насти, был другой «круг», здесь зато было покойно, без полуночных «историко-культурных» разговоров (без отцовских друзей, одного усатого и одноглазого, с черной повязкой через все лицо, и другого, бородатенького, черноволосенького, с нервным тиком, с головой, посыпанной перхотью), без вечных, непрекращающихся родительских ссор, когда уже глубокой ночью я просыпался и слышал, как мама выговаривала отцу: «Так всю жизнь болты и проболтаете! Если хуже чего не случится. Они тебя, дурака, заговаривают, алкоголики несчастные, а ты и рад хвост распускать. Сами они, небось, на приличной работе оба, хотя и бездетные! А у тебя уже сыну десять лет, а ты все студент, все у мамочкиной юбки держишься!» После этих слов мама начинала плакать, а отец вы-

ходил, хлопая дверью. Мама плакала, обнимала меня и шептала: «Ты не думай. У тебя отец очень хороший. Я понимаю, что он хочет учиться, что ему надо, он умный, но я не хочу, не хочу больше от нее зависеть! Да и он тоже хорош! Все разговоры разговаривает! Так все на свете проговорить можно, и учебу в том числе!» (Она — это была бабушка Лида.) «Проклятые вопросы» и этот нерв, неустановленность отношений, ощущавшиеся прорывы в бесконечность (остановить их было невозможно), — все это я тогда, конечно, сформулировать не мог, но и думать об этом без обиды, без подступавших к горлу слез тоже еще не умел.

Я подошел было к двери в нашу комнату (достаточно отчетливо было слышно, как бабушка Настя ставит там сковороду на печку), однако не вошел, чтобы не отвлечься мыслями. Но не удалось. В голове завертелось какое-то колесико, пусть на время, однако в другую сторону. Я почему-то вспомнил невольно, что мы ходили сегодня с бабушкой Настей вместе в магазин, купили шестикопеечных «микояновских» котлет, ливерную колбасу, соленое масло. Четвертинки мы, правда, не купили, и дед Антон наверняка обиделся, потому что, прежде чем я вышел из комнаты, он улегся на кровать спиной к нам и «уснул», положив голову на одну подушку, а сверху укрывшись другой. Но раз бабушка Настя не купила, так, значит, и надо, хотя мне нравилось смотреть, как дедушка *выпивает*. Предварительно бабушка чистила селедку, посыпала ее луком, заливала подсолнечным маслом и уксусом. Потом дедушка в своем углу селедницы разводил еще и ложку горчицы. Затем макал черный хлеб в получившуюся уксусно-горчичную смесь, выпивал рюмку, закусывая селедкой и пропитавшимся в этой смеси куском хлеба. И лицо его приобретало плотоядно-благодушное выражение. Все это настолько аппетитно выглядело, что я тоже размешивал горчицу в своем углу селедницы и тоже макал туда хлеб. Я как-то рассказал о том, как это вкусно, Танечке Саловой. Ее деревянный двухэтажный домик с палисадником и коммунальными квартирами, удивительно и сердечно напоминая мне дом бабушки Насти, стоял рядом с нашим пятиэтажным домом, где я жил с родителями. Но она сказала, что ей больше нравятся апельсины, которыми угощал ее Алешка с четвертого этажа.

Алешка был мой приятель, очень, как мне тогда казалось, красивый и стройный. Я же всегда был толст, неуклюж и ширококостен. Когда я гляделся в зеркало один, то выглядел неплохо, но, когда рядом вставал Алешка, я мигом понимал, что он и изящнее, и благороднее, и *аристократичнее*. Правда, мне в детстве всегда хотелось казаться проще, чем я был, — «в умственном отношении» и «в отношении *благополучия*». Стыднее чувства, чем вдруг по-

казать свое превосходство, я не знал. Но вот о внешности своей неблагородной очень переживал, и *в этом не хотел походить* на бабушкинастиных соседей и Танечкиного брата. А в умственном хотел. Хотел не выделяться. И втайне я надеялся, что моя простота будет близка Танечке, а она предпочла Алешку, «предпочла его апельсины», — трагически думал я. — «Ну что ж, я никогда не подам виду, что сердце мое разбито. И не буду сердиться на *измену*. Она никогда не узнает, как я страдаю. Она предпочла апельсины. Что ж, ей же будет хуже, такого *верного* друга, как могла бы она найти во мне, она не найдет в Алешке. Ничего, когда я буду знаменитым героем, когда моим именем назовут улицы и скверы, школы и фабрики, и бабушка Настя будет мной гордиться, вот тогда, тогда она раскается. А бабушка Настя пойдет к ней и скажет...» И я живо вообразил, *как* бабушка это скажет: «Не могла вовремя понять, девка, какое сокровище души скрывалось под его «неказистой внешностью», так теперь я тебе и скажу, по-нашему, по-простому, скажу: сама виновата, и не плачь, что счастье свое упустила». Вообразив это, я преисполнился к себе жалостью и чуть не заревел. Каким героем я буду, я не знал, но чувствовал, что, назло бабушкиным словам, буду держать себя с Танечкой очень даже благородно и прошу ее коварную измену. Что удивительно, я даже ей в любви не объяснился, но полагал, что она сама должна почувствовать мое чувство. Отчего так было? От застенчивости? От сомнения? Сейчас не могу определить.

Тут я услышал, как отворилась плотная («чтобы не напускать холоду») дверь нашей, ближайшей к кухне комнаты, чпокнув, как пробка, вылетевшая из бутылки. Я повернул голову и увидел, что из комнаты, ковыляя и немного переваливаясь с ноги на ногу при ходьбе, в своем засаленном переднике и тапочках с разрезанными задниками на распухших ногах, вышла бабушка Настя. Приложив ладонь к глазам и высматривая меня, как при большом свете, она крикнула мне:

— Борюшка! Мамы отсюда не видать? Может, она этой дорогой пошла?..

Я снова прикоснулся лбом и носом к темному стеклу, вглядываясь в постепенно проступавшие под желтым светом уличного фонаря очертания дороги с мерзлыми выбоинами, рытвинами и следами колес, соседнего дома напротив за таким же, как у нас забором, казалось, что я различаю даже брошенный у забора железный обруч, который днем я катал с соседкой Аллочкой. Но улица, вроде бы хорошо мне известная, потому что каждый день мы ходим по ней с бабушкой Настей на колонку за водой, да и гуляю я обычно имен-

но здесь, на сей раз пуста и тиха. Единственно слышался перестук электрички: бабушка Настя жила совсем рядом с окружной железной дорогой, а на той стороне, где сейчас город, гостиницы ВДНХ, тогда тянулись поля картошки.

– Ну? – прервала мои наблюдения бабушка.

– Не, не видать.

– Ты не озяб здесь? Боюсь, не простыл бы...

– Не, тепло. Я похожу еще, маму подожду.

– Смотри! Как озябнешь, сразу приходи. А я пойду тогда там смотреть... Чтой-то долго Аня сегодня задерживается. Не случилось ли чего?.. – И бабушка скрылась опять в комнату.

Мысли мои снова потекли прежним путем. «Отчего, в самом деле, мама не вышла замуж за дядю Васю Репкина из соседней комнаты? Тогда маме не пришлось бы ездить, чтоб меня забирать и отдавать, и мы бы всегда жили у бабушки Насти. А отцом у меня был бы не «профессорский сынок» (так, по словам бабушки Насти, дядя Вася называл папу), а человек, который «прочно» в жизни устроен, к тому же бывший майор. Правда, отец тоже воевал и кончил войну капитаном, но в сорок девятом демобилизовался, поступил сначала на философский, два года отучился, потом с потерей года перевелся на исторический, и теперь кончал пятый курс. А бабушка Настя говорила, осуждая, что мог бы и до *полковника* дослужиться, как дядя Коля, уж во всяком случае был бы *самостоятельнее*, а то когда еще начнет *прилично* зарабатывать и семью содержать; так бабушка и маме все время говорила, я это слушал и верил, что бабушка права, а все разговоры отца, что он чувствует *призвание изучать историю* – все это ерунда, все от того, что он не хочет о семье, и обо мне в том числе, заботиться. Вот бабушка говорит, что дядя Вася так любил маму, что долго не мог найти ей замену, и теперь вот, хоть и женился, а все равно «от жены гуляет». Смысл выражения «от жены гуляет» понимал я, разумеется, буквально, что жена дома сидит, дядю Васю ждет, а он по улице гуляет и домой идти не хочет. Но вдруг все это плавное течение мыслей остановило одно соображение: а был бы я именно я, такой, как я сейчас, с такими руками и ногами, головой и сердцем, то есть был бы вообще Я, а не кто другой, если бы мама и вправду вышла за дядю Васю Репкина? Я не успел обдумать этого обстоятельства, как снова приоткрылась с чпоканьем дверь и бабушка Настя, наполовину высунувшись, позвала меня:

– Борюшка! Хватит уже, находился!.. Иди в комнату. Чайку с тянучкой попьем!..

Словно очнувшись, я послушно двинулся в комнату.

Глава II Разговоры

— **О**сторожнее, Борюшка, ведро не опрокинь. Прямо за порогом, как помню, стояло ведро для ночных малых нужд, чтобы не бегать голышом из теплой постели в холодный туалет, построенный в середине квартиры над выгребной ямой. Из комнаты ведра не было видно, его загораживал стоявший у стенки старый платяной шкаф. Обогнув ведро, я прошел боком мимо стола к сундуку, на котором спал и в котором хранились всевозможные *старинные* вещи: пехотный мундир 1914 г. и солдатский Георгиевский крест (деда Антона), бабушкино подвенечное платье, саперные лопатки, трофейный карманный фонарик (привезенный в подарок дядей Сашей, маминым братом) и ящик со старыми книгами 10-х, 20-х и 30-х гг. (Чарская, «Айвенго», гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ромео и Джульетта» в переводе Щепкиной-Куперник с благородным героем Меркуцио, который нравился мне много больше Ромео, подборка «Нивы», комплект «Вокруг света» с романом, тянувшимся через все номера — «Продавец воздуха» А. Беляева и «Камо грядеши» Сенкевича в красном тисненном переплете). Все эти книги я перечитывал по несколько раз. Но моей настольной книгой здесь были переплетенные в один том номера «Задушевного слова» за два года; бабушке очень нравился этот журнал: в нем был опубликован «Лотерейный билет» Жюль Верна, герои которого, несмотря на все несчастья, *выигрывают* много денег, именно выигрывают, а не зарабатывают; это, по-моему, больше всего нравилось бабушке, да и мне тоже, поэтому «Задушевное слово» всегда лежало на тумбочке, а не в ящике (кстати, бабушка считала все свои книги запрещенными, особенно дореволюционные издания, за их старину, что придавало чтению этих книг неосознаваемую таинственность).

Стянув с себя свитер и валенки (бабушка растопила печку и было жарко), я взгромоздился на сундук, задев шишечку настенных ходиков с кукушкой, висевших надо мной: маятник остановился было, и я воровато-быстро качнул его снова (это были любимые дедушкины часы). Я покосился на деда, но он по-прежнему «спал» с головой между подушками, в носках и брюках с голубыми помочами, спиной к нам. Я вопросительно глянул на бабушку, она покачала головой: дескать, «не просыпался». И сказала:

— Не устраивайся, не устраивайся! Сейчас ужинать будем, только что я маслица достану с колбасой.

И хотя на углу стола на пакете стояла уже сковорода с жареными котлетами в растопленном и еще булькающем маргарине, я не возражал и против колбасы и знал, что съем. Подняв за железное кольцо половицу и перехватив ее другой рукой, бабушка перекинула ее плашмя на соседнюю, затем, когда в полу образовалась темная дыра, бабушка откинула еще одну доску, и открылся *подпол*, земляная дыра, куда вели три ступеньки, опять нечто запретно-таинственное (я тогда был твердо убежден, что подпольщики — это те, что в подполе живут), лаз как будто в черноту небытия. Но поскольку там хранились на аккуратных земляных полках продукты, то подпол скорее напоминал чрево, брюхо неведомого животного. Ничего похожего, материально-телесного, там, дома у родителей, я не видал, *там* даже воздух казался более разреженным, а здесь густой, вязкий, сытный. Бабушка достала масла и ливерной колбасы, и мы сели ужинать.

Как раз над столом висела лампа под красным абажуром с кистями, и красноватый отсвет, казалось, подогревал пищу, разложенную по столу. Лица у нас тоже красные и от печки, и от абажура, как будто вся комната — это жарко натопленная печь. Я хотел было затеять бессмысленный и бесконечный наш разговор о том, чтобы бабушка сняла иконку с лампадкой из «красного угла», а она бы, соглашаясь со мной, что, скорее всего, никакого Бога нет, а Христос был просто добрый человек, вполне реальный, все же лампадку не снимала, напротив, поправляла, приговаривая, все «проблемы» растворяя в житейском: «Знаешь, Борюшка, я-то вроде и знаю, что Бога нет, а все иконка висит — никому не мешает, вот я и думаю, что пускай висит, на всякий случай. Мало ли что. Кто все знать может... А когда вот ты болеешь, то я перед ней и помолюсь за тебя». А я бы в ответ распаялся и возражал. Но бабушка свернула на другую, столь же отработанную нами тему, которую я любил меньше, потому что здесь я не мог распустить павлиний хвост, а в основном слушал.

— Завтра пойдешь в школу, — говорила бабушка, прихлебывая с блюдца чай и закусывая крошечным кусочком «Коровки» (пока она съедала одну конфету, я успевал «умолотить», по ее словам, три или четыре, но в еде она мне не препятствовала, наоборот, поощряла), — так учись хорошенько. И Марью Ниловну слушайся; я сама была учительницей, знаю, как это трудно, когда ребята тебя не слушаются.

Бабушка преподавала в свое время в селе Архиповка, была «сельской учительницей», а потом, переехав в Москву, лет пятнадцать

вела начальные классы в школе неподалеку отсюда. Но и здесь, рядом с окружной дорогой, было почти что село, *околица* городская, окраина города: многие соседи держали гусей, кур, у всех свой садик, свои огороды с картошкой. Я и сейчас еще помню, как меня водили словно на праздник на сбор картошки: дед Антон сперва втыкал лопату с четырех сторон вокруг куста, потом брался за стебель, дергал раз, другой и вытаскивал, наконец, какой-то земляной комок, повисший на стебле, смотрел искоса на мою разочарованную физиономию и сильно встряхивал куст, земля осыпалась, иногда отскакивали и картофелины, но как только ссыпалась с куста земля, сразу как чудесное явление показывались облепленные грязью кругляши, явно не земляные комья, а — картофель! Дед торжественно смотрел на меня, а бабушка срывала картошки, обтирала их тряпкой и бросала в приготовленный мешок, словом, как бабушка Настя сама признавалась, будто из села и не уезжала. Хотя вот не чувствует себя больше деревенской; для меня же это было все равно что деревня, недаром, когда бабушка отправлялась в центр за покупками, она говорила, что едет «в город» или же что едет «в Москву», поэтому она и говорила обычно, что не знает, как учат «в городе», а вот ей тяжело было, когда ребята озорничали.

— Знаю, Борюшка, тут, наверно, еще большие озорники, в городе-то. Я вот и то скажу, что в деревне я пятые классы так и не решилась вести. Мы их «отбивными котлетами» звали.

На самом деле я не понимал этих слов, но, казалось, что они очевидны и пояснений не надо.

— Тебе, сынок, учиться надо, — говорила бабушка Настя, и это звучало убедительно, потому что говорила она со мной серьезно, как со взрослым, и все те доводы приводила, что и взрослому бы привела, — ты мужчина. Вырастешь — будешь инженером, тебе надо будет семью содержать, а вот Анюта зачем пошла в университет, не знаю, — бабушка неодобрительно поджала губы. — Ей бы надо дома сидеть, тебя воспитывать... Зачем ей эта наука?.. Все, вишь, за Гришей тянулась. Как он начал к нам тогда ходить, отец, — она кивнула на спящего деда, — сразу сказал, что добра от этого не будет. А он так с седьмого класса к Анюте и прилип. Она и в университет пошла, чтоб не отстать от Гриши-то, все-таки *из профессорской семьи* сам-то. А сколько у нее женихов было! Как псы, весь забор изгрызли. Ну и ладно, ну и преподавала бы в школе свою биологию, вот как Вера Михайловна (так, по имени-отчеству звала она свою нелюбимую невестку), а ее еще свекор смутил, уговорил заняться какой-то, прости Господи, «*гинетикой*», а сам-то был химик, что в этом понимал, сам рассуди, Борюшка! А теперь он помер, а Анюта до сих пор

в лаборантках ходит, и никуда ее больше не берут! Вот и вся наука! Нет, я *им* зла не желаю (*они* — это мой отец и бабушка Лида), но они могли все же куда-нибудь Анюту в школу пристроить. Сама Лидия Андревна «гинетику» эту ругает. А Аню тогда остановить не захотела — может, думала, что Гриша ее бросит, если у ней такая неудача с работой случится. Нехорошо это, Борюшка. А ведь влиятельный она человек, *заслуженный*, историю биологических наук преподает. И Гриша ее во всем слушается. Анечку забывает. Мы, Боря, старые люди, в жизнь молодых мешаться не должны.

— Ведьма! — накачанный разговором, выразил я кратко мамино мнение о бабушке Лиде.

— Нет, Борюшка, так говорить нехорошо. И Аня не права, что так говорит. Стариков уважать надо. Сама ведь и Аня старухой будет. Но одно я тебе все же скажу, я правды никогда не скрываю: Серафима, хоть и университета не кончала и всегда поглубже Ани была, все-то сестры эти, как кошки, ссорились, а устроилась получше Ани. Вот у меня за маму твою сердце и болит. Николай хоть и гуляет, а все Симка дома сидит, с детьми, — как Аня, к восьми утра на работу не бегаёт, и дом у них полный, два кота сиамских.

— Ты же говорила, что не любишь дядю Колю, — пытался возразить я, вообще согласный с бабушкиной речью.

— И не люблю. Я это и ему в лицо скажу. Он очень плохо себя ведет, не в пример Грише. Нинке этой, своей любовнице (слово для меня тогда малопонятное, то есть та женщина, которую любят больше?..), дал для Серафимы кофту вязать. А та спинку связала из других ниток. А у Сими шерсть-то была хорошая, рижская. Когда она утром ко мне приехала, я думала, она из сумасшедшего дома: глаза белые, вся ревет.

— Почему? — не понял я.

— Почему? А может, колдовство какое. Колдовство-то теперь в моде.

Я самодовольно улыбнулся. Пришло мое время поучить бабушку уму-разуму.

— Что значит «в моде»? Ты же сама не веришь ни в Бога, ни в колдовство, ты мне сама говорила.

— Я-то, Борюшка, не верю. Сама такого не видала. Но бабы сейчас на все способны. Особенно из-за мужика. Тебе чайку еще налить?

Я кивнул головой и, запихнув в рот очередную «Коровку», сказал столь же самодовольно:

— И тетя Сима в это верит?

— А как же ей не верить. Если Нинка у ней Николая почти что отбила? Но Серафима правильно поступила, квартиру на себя пе-

реписала. Теперь, если хочет, пусть идет на все четыре стороны. Он нам не нужен, а алименты пусть платит! Да и начальство не очень-то на это одобрительно посмотрит, чтобы полковник разводился. Не-ет, он теперь никуда от Серафимы не денется.

Что-то в этой логике меня не устраивало, но что — возражений я найти не мог.

— Да-а, — продолжала бабушка, — а Лидия Андреевна еще лет за пять до смерти Михаила Сергеевича на себя тоже квартиру записала, женщина предусмотрительная, вот Ане и не вырваться уже оттуда. — Наступила недолгая пауза. Бабушка с трудом, всем телом, повернулась к часам. — Который там час-то? Полдевятого? Задерживается твоя мама... Беспокойно мне почему-то, Борюшка.

Я сжался, затаился про себя, меня самого испугало до ледяного ужаса, что уже полдевятого, а мамы все нет, чтоб забрать меня домой: а завтра уже в школу. Чего я боялся? Да мало ли чего: машин, гололеда, злых людей, темноты. Страх был отчасти старческий, внушаемый постоянными бабушкиными рассказами: «Ты и не знаешь, Борюшка, как полно всюду жуликов». Отчасти и другими причинами мой страх объяснялся. Я много болел, все детство почти, и, как уверяла мама, много раз «был на краешке бездны». Или, как философически гораздо позже объяснял мне отец: «Человек поставлен в такие обстоятельства природой в детстве, что каждым мигом отвоевывает у нее свое право на жизнь, привыкает к ней, адаптируется, доказывает, что он может жить. В это время он на самом переднем крае конечных вопросов бытия. Ведь каждая болезнь для ребенка — это, по сути дела, смертельная схватка с могучим врагом и проблематичным исходом. Не случайно существует масса болезней, которыми только дети и страдают, которые только для них и опасны. Но в борьбе с ними человек вырабатывает иммунитет, защитную реакцию организма. И миновать этого нельзя. Более того, если в детстве не переболел, скажем, корью, то позже переносится она гораздо тяжелее. Так что проблему своего пребывания в этом мире человек должен решать с самого детства и постоянно. Понимаешь, что я хочу сказать? Или нет?» Я не очень понимал, но что-то чувствовал. Во всяком случае постоянный страх за своих близких.

— Надо идти звонить, — сказала бабушка. — Отец! Отец! — попыталась она растолкать деда, но безуспешно. Он не пошевелился даже.

Выходить на улицу в темноту, в гололед, мороз и тащиться за четырьест метров к телефону-автомату у автобусной остановки ему явно не хотелось. Стало быть, лучше продолжать спать. Бабушка покачала головой, но не осуждающе, а как-то так, даже умиленно,

дескать, «вот притвора»! И мы решили обождать еще четверть часа, а там самим пойти. Бабушка снова принялась за свои рассуждения, но я от внутреннего беспокойства слушал ее уже еле-еле, вполуха, не находя себе места, то поднимаясь, то снова садясь на табуретку.

— Нет, Борюшка, не хотела я Анюту отдавать в вашу семью. Вот сердце и болит за нее больше, чем за других. Очень холодная у вас *атмосфера* (такие слова звучали в плавной бабушкиной речи неожиданностью, она сама это чувствовала и выделяла их голосом). А моя Анюта из простых. Вот и ты такой болезненный родился и без присмотра. Как-то у вас неуютно в доме, необжито. Стены голые, масляные. Ковры, как у Симы, конечно, вещь дорогая, но, скажу я тебе, и с обоями все как-то теплее...

Стук входной двери, ведущей из сеней в общий коридор, прервал бабушкину речь в самом начале. Я облегченно вздохнул и готов уже был спокойно и расслабленно слушать ее рассуждения, но и бабушка подняла вверх палец.

— Чу! — встрепенулась она, — вот и Аня. Дождались, славу Богу...

Глава III

Соседка Анпална и сосед Ратников

Но это оказалась совсем не мама.

Минуту я ожидающе прислушивался, но хлопнула дверь в комнату дяди Васи Репкина, а в нашу никто не вошел, затем снова хлопнула та же дверь — и с кухни послышался удар чего-то тяжелого о железную решетку газовой плиты: наверняка ставилась на огонь кастрюля или сковородка. От несбывшегося ожидания стало еще тревожнее: «Что же мама не идет? Все приходят, а ее все нет».

И тут к нам постучали — мелко, дробно и часто. Дед сдвинул рукой подушку, под которой прятался от шума, приподнял голову, не поворачиваясь в нашу сторону; лысоватый его затылок с небольшими кудерьками даже покраснел от напряжения — он прислушивался. Но, догадавшись, что за визитер явился, дед снова бухнулся, укрываясь подушкой и засопел сонно.

Мы с бабушкой тоже узнали стук. Однако бабушка полагала необходимым, сохраняя достоинство, спросить:

— Кто это там? — одновременно, правда, двигаясь уже к двери.

Не успела она произнести свой ритуально-обязательный вопрос, точнее, едва произнесла первое слово, как дверь, чпокнув, отвори-

лась и порог перешагнула соседка Анна Павловна, жившая в комнате рядом, жена Васи Репкина.

— Это я, Настасья Егоровна, — ответила она, перебивая бабушку.

Анна Павловна, насколько я ее помню, была женщиной бесцеремонной, ужасно раздражала этим бабушку, но высказать ей это свое раздражение та не решалась и только наедине со мной иногда возмущалась, что на вопрос «кто там?» Анпална (так произносила она ее имя-отчество, так и мне по-прежнему привычнее ее называть) всегда говорит «я», будто ее, «барыню такую», должны по голосу узнавать. Хотя на самом-то деле, конечно, узнавали, просто манера Анпалны была несовместима с представлением бабушки, как себя надо вести с другими людьми. Но я на этот вопрос тоже отвечал «я», и на меня за это она не сердилась. «Родные должны знать друг друга, Борюшка, и по голосам». Соседям я обычно назывался полным своим именем и фамилией. Сама же бабушка Настя всегда отвечала «свои». Не «я», а «свои» — во множественном числе. Дескать, не важна моя личность, а важно, что не чужой человек к вам в дом стучится. Она словно старалась стусеваться, словно не было у нее никакого «я», словно бы нескромностью было с ее стороны само употребление этого местоимения.

Из всех соседей Анпална чаще других заглядывала к бабушке (которая вообще соседского панибратства не терпела), хотя и видела и, наверно, догадывалась, что бабушка ее недолюбливает. «Чувствует, что Анино место заняла, вот и ходит лисой вокруг меня», — на романический лад, несмотря на свою вроде бы житейскую опытность, объясняла бабушка, воспитанная на мелодраматическом «Задушевном слове». Меня Анпална привечала, я не раз и в комнате у нее бывал. Да и вообще соседи ко мне неплохо относились. Кроме разве что Ратникова, соседа со второго этажа. Но он и вообще был угрюмец, да и, как я сегодня понимаю, с несложившейся судьбой: был он вдов, а дочь его лет с пятнадцати стала, как говорили соседи, какая-то «шалавая», а год назад ушла из дому и не вернулась, а потом из милиции сообщили, что нашли ее убитой. Мы его побаивались: он был длинный, тощий, мрачный, но более всего нас пугали его пальцы — они казались вдвое длиннее обычных: дело в том, что ногти свои он, видимо, не стриг, и они твердели у него как кость или коготь и сворачивались в трубочку. Соседка Аллочка даже говорила, что он, наверно, страшный колдун вроде того, из «Страшной мести», читанной нам бабушкой Настей. Но мне почему-то казалось, что он так недоброжелательно относится именно ко мне, ведь я же был «приезжий» для него, а вовсе не «свой».

Глядя на Анпалну, вошедшую к нам в комнату и сразу усевшуюся без приглашения за стол, коренастую, черноволосую, казавшуюся много старше моей мамы, я думал вот о чем: а «свой» ли я вообще в этом доме. «Свой» я был, конечно, для бабушки Насти, тут сомнений никаких. А для деда Антона? Вроде бы и «свой», сын дочери все же, внук, которому он мастерил скворечники — школьные задания по труду. Вытаскивал из своей сараюшки за домом верстак, рубанок, доски, надевал очки на веревочках и работал, совсем не прибегая к моей помощи, будто даже и не ожидая ее от меня. Пожалуй, это было обидно. Рядом с домом — на ширину наших двух окон — он насадил садик, обнес его заборчиком, и росли там и яблони, и вишня, и кусты смородины, и крыжовник, а по забору он посадил акацию, и на этом пятачке он еще умудрился под яблоней вырыть столик с двумя скамейками, и летом бабушка Настя разрешала мне прямо через окно в этот садик лазить, и я проводил часы в этой своего рода беседке с книгой в руках. Дед не возражал, потому что так хотела бабушка Настя, но поглядывал на меня искоса. А я чувствовал, что я, наверно, не такой внук, какого бы ему хотелось, неумелый, неспортивный, болезненный книголюб. «До сих пор отец переживает, — в простоте поясняла мне бабушка, — что Аня не за того замуж вышла. Не хотел он, чтоб она в профессорскую семью шла». И я невольно чувствовал себя почему-то виноватым, что родился не там и не таким, как деду бы хотелось. Я посмотрел на Анпалну, которая вышла замуж «за того», и подумал, что, наверно, Анпална могла бы быть моей мамой, если бы дядя Вася был отцом, а «их» комната была бы тогда и «моей», и дед был бы мной доволен.

По утрам я бы пил чай с дядей Васей Репкиным, потом он и Анпална шли бы на работу, а я к бабушке Насте, и она рассуждала бы о том, что дядя Вася «хорошо получает». «Столько, сколько кое-кому и не снилось», потому что не воображает о себе «невесть что», а работает себе «просто» завгаром большой автобазы. Потом я брал бы у бабушки книгу и возвращался в «свою» комнату читать — у дяди Васи с Анпальной книг в комнате не было, я туда несколько раз заходил и знал это. Зато стоял зеркальный шкаф, на стене «картинка» — чеканка, изображающая парусник в бурном море (дядя Вася в молодости мечтал стать моряком), около шкафа кровать, затем стол и полдюжины стульев с мягкой обивкой, диван около застекленного серванта с разнообразными рюмками, графинчиками и фарфоровыми беленькими фигурками гуся, гусыни и выводка гусенят. На серванте еще одна картинка, выжженная по дереву и раскрашенная: парень и девушка во всем оранжевом шли, взявшись за руки, через мост, а над ними надпись: «ПУТИ-ДОРОГИ». Вот все,

что сейчас помнится. А тогда, вообразив вдруг эту комнату и свою возможную там жизнь, вспомнив, что дядя Вася называет меня не по имени, а только «Анин сын», и то, что именно от Анпалны он «гуляет», а стало быть, и от меня тоже «гулял» бы, то есть ходил бы на прогулки без меня, я совершенно ясно понял, что совсем для них не подхожу, что я уже другим вырос и все мне там чужое. Да и они мне не «свои»! Зато мама — «своя», моя! «Как же я смел, — почти задохнулся я от ужаса и стыда за свое предательство, — даже подумать, что Анпална может заменить мою светлую маму. Да еще когда мама почему-то опаздывает. А вдруг что случилось!...»

А Анпална тем временем говорила:

— Настась Егоровна, чайник ваш закипел.

Это означало, что нечего попусту жечь газ.

— Иду, иду, спасибо, Анпална.

— Да я уж выключила.

— Что вы беспокоились, я бы сама...

— Да ничего, не стоит благодарности. А что, у вас крыс сейчас в подполе нет?

— Вроде нет, — осторожно ответила бабушка, опасаясь какой-нибудь просьбы со стороны Анпалны, выполнить которую ей бы не хотелось.

Я до сих пор никогда не видел крыс, только разговоры о них порой слышал. Приходила в родительскую квартиру милая женщина, спрашивала: «Крысы, мыши есть? Нет? Распишитесь». И давала какую-то бумажку. Отец расписывался, и женщина уходила. Крысы представлялись мне хищными, плотоядными, назойливыми и бесцеремонными. Испытывая раздражение на Анпалну, я вдруг решил, что они чем-то на нее похожи: такие же с вытянутыми вперед физиономиями, с маленькими бегающими глазками, коренастые и увертливо-угодливые, когда им выгодно. Я даже подумал, что упоминанием о крысах Анпална хочет как-то ошеломить бабушку, заинтересовать ее, втянуть в дальнейший разговор. Так оно и было.

— А у нас они сыр погрызли. Ничто их не берет. Я бы и кота завела, да ведь ворюги все эти кошки. Говорят, еще змеи на крыс и мышей охотятся...

Бабушку аж передернуло:

— Упаси Бог! Что та гадость, что эта!

— Напрасно вы так, Настась Егоровна. Змеи в специальном зоопарке живут, — проявила свою образованность Анпална. — Вот хоть у Ани спросите, когда она придет. Она ведь у вас биолог, должна знать.

— Ну, может быть, — не стала спорить бабушка, — если ученые их в зоопарке держат, значит, так нужно. Аня, конечно, знает.

В дверь неожиданно снова постучали — резко, отрывисто, как будто стучавший дергался при каждом движении. Так во всяком случае чудилось. Конечно, это теперь пришел Ратников, сосед со второго этажа. «Что они все сегодня к нам повадились!» — думал я в тоске. А Ратников — как всегда, надолго. Своими длинными разговорами он, как мне казалось, отбирал у меня бабушку. Он не общался и даже не здоровался ни с кем из соседей, но изредка, непонятно почему, заходил к бабушке Насте. Соседи его обходили, как обходят, вероятно, заразного больного, если у него какая-нибудь страшная болезнь из доисторических болезней — чума или проказа. И мы, дети, бегали от него с брезгливой боязнью, как будто несчастья его могли передаться на расстоянии. Виной ли тому было влияние рассказов взрослых или внешний его вид? Наверно, все вместе.

После смерти жены Ратников — об этом все говорили — стал усердно посещать Владыкинскую церковь и, как рассказывала бабушка Настя, *беседовал там с попом*. Грамотей он, как и мой дед, был до той поры слабоватый, а тут принялся заходить к бабушке, как бывшей учительнице, и сначала просить какие-то книжки, потом советоваться, что брать в библиотеке, а потом и сам ей уже предлагал книги, так сказать, *религиозно-атеистического содержания*. А месяца три назад принес бабушке свою «статью», чтобы она послушала и «проверила ошибки», собираясь послать это сочинение «в журнал». Это произвело на бабушку впечатление: она даже зауважала соседа.

Войдя боком, не глядя ни на меня, ни на бабушку, ни тем более на Анпалну, Ратников полез в карман своего длинного обтрепанного пиджака и достал половинку от разрезанной ровно пополам школьной тетрадки, на обложке которой было что-то написано. Зажавши в ногтях тетрадку и уткнувшись в нее глазами, он пробурчал невнятно:

— Времени не отниму у тебя много, Настя. Послушай, как теперь стало.

Бабушка хотела было что-то сказать, но сробела, подковыляла только к стулу, обмахнула тряпкой с него пыль и подвинула стул Ратникову.

— Садитесь, Яков Георгиевич, сидя-то сподручнее...

Анпална притихла, ее коммунальная наглость и настырность вдруг на мгновение, но спрятались. На меня визит Ратникова произвел жуткое впечатление: как раз в момент моих беспокойств явился носитель несчастья. Это было так неожиданно и так скверно, что я тихо-тихо перебрался с табуретки на сундук и замер там. Душа, занятая тревожным ожиданием, не расположена была к восприя-

тию чужих бед, но, как ни странно, напряженность момента резче отпечатала в моей памяти все происходившее.

Не благодаря, Ратников уселся на стул, положил на стол свои полтетрадки, отлистнул первую страницу и начал читать глухим голосом, отстукивая ногтем окончания предложений:

— Тайна Христианской церкви. Второй вариант. Уважаемая редакция! Четвертого, одиннадцатого месяца, 1954 года я выслал вам статью «Тайна Христианской церкви». Прошу эту статью (от четвертого, одиннадцатого, 1954 года) не опубликовывать, потому что в ней кое-что сказано не так, как надлежало бы сказать. Присылаю вам второй вариант этой статьи, более продуманный, который вы, если пожелаете, можете опубликовать. Второй вариант писал, презирая фальшь...

Он сделал паузу, не поднимая глаз от тетрадки. Бабушка сидела напротив, подперев рукой подбородок, умудряясь при этом кивать головой в знак внимания. Дед стал посапывать потише, очевидно, тоже интересуясь текстом, о котором теперь можно было посудачить во дворике за партией домино. Помолчав, Ратников перевел дух и продолжил чтение:

— Тайна Христианской церкви. Это, Настя, я заглавие повторяю, — пояснил он. — В основе христианской нравственной концепции лежит заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». В Евангелии написано, что Бог помогает тому, кто живет по этой святой заповеди. И на самом деле, действительно приходит помощь и счастье в жизни тем, кто любит ближних своих, как самого себя, кто человеколюбив и делает добро людям. Помощь и счастье приходит от людей. Ибо люди сознательно или бессознательно высоко ценят любовь к себе, которая наполняет счастьем бытие, и за любовь к себе люди благодарны, а поэтому стремятся делать что-то хорошее, доброе тем, кто их любит, кто им делает добро. Люди помогают тем, кто их любит. Это во-первых. Во-вторых. Когда заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» овладевает массами, то появляется массовое стремление делать добро не только из-за благодарности, но и для того, чтобы делать добро бескорыстно и для увеличения радости своей души. И в таком случае помощь и счастье приходит к человеку, доброму человеку, любящему людей, всегда, когда люди знают, что человек нуждается в помощи. И в таком случае приходит и к незнакомому для людей человеку. И в таком случае помощь приходит и к недоброму человеку, и недобрый человек становится добрее. И в таком случае люди помогают всем или почти всем.

— Когда люди живут, — продолжал Ратников все так же монотонно, но с тем же напряжением, ударяющим по нервам, — претворяя

заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», помощь людям приходит от них же, то есть люди охотно помогают друг другу. Говоря о помощи, мы имеем в виду помощь действенную, крупную и которую оказывают охотно и считают оказание помощи необходимым явлением перед лицом своей совести.

Ратников остановился и поднял голову.

— Очень правильно, Яков Георгиевич, — сказала вдруг бабушка угодливо. Но дальше добавила, как мне показалось, совсем бестактно, потому что страшное лицо Ратникова перекошилось и сделалось жалким: — Все Зойку с Нюрой забыть не можете. Но вы-то себя не должны упрекать, судьбу не уговоришь.

— Я, Настя, на судьбу не жалуюсь, — сказал он хриплым голосом. — И не только о себе я, я обо всех людях. Ты послушай.

И, не переводя дыхания, он снова занудил, а я понял, хотя и удивился, что бабушка эту статью считает таким своеобразным комментарием к судьбе ратниковской жены и дочери. Нюрой звали его жену, а о дочери из взрослых никто не решался ему напоминать. Это удивило меня, поскольку о них он ведь не сказал ни слова, и сам я ничего ведь и не подумал и не заметил. Значит, не вообще рассуждения?.. Если бы вообще, мне было бы легче, лучше. Об ужасном слушать не хотелось.

— ...А приходит ли помощь от Бога, — говорил Ратников, — для всех живущих по заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя»? Для большинства людей это смешной вопрос. И простой вопрос, так как большинство людей считает, что Бога нет и, следовательно, нет и помощи от него. Я тоже не верю в богов: ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду и ни в каких тех богов, в которые верят те или иные народы, или отдельные группы тех или иных народов. Но я верю в то, что в безбрежных просторах Вселенной и в пространстве нашей планеты Земли и на Земле есть какое-то таинственное существо, невидимое, как электромагнитные волны и могущее проникать в здания домов через закрытые двери, через стены домов так же, как проникают электромагнитные волны. Это существо таинственное, по всей вероятности, естественное, соткано из электромагнитных волн или чего-то другого невидимого и через все проникающего. Выражаясь очень неточно, это существо — какой-то дух, временами становящийся видимым. Это существо похоже на атомный гриб. Оно, когда видимое, серое, как дым. Я его видел и ощущал раза два. Оно мне являлось всегда вестником предстоящей смертельной опасности. Один раз душило меня за горло несколько мгновений и затем отвалилось от меня. Дорогой читатель, у вас создается впечатление, что вы читаете записки сумасшедшего...

«Вот именно, — подумал я зло. — Приперся не ко времени, теперь не отвяжется. Что же он не понимает, что люди его не звали и не ждали? Или у нас своих дел нету — только его слушать?!.. Мы маму должны встречать... Что он тут несчастье кликает?» Я посмотрел на часы — без десяти девять. Это было невысказано. Мама всегда говорила, что я должен ложиться спать в девять, а нам еще полчаса ехать. И тут же, про себя, стал просить, истово, в тон ратниковских рассуждений, просить чуть ли не поскуливая, неизвестно кого: «Кто бы ты ни был, пусть с мамой ничего не случится. Кто бы ты ни был, пусть с мамой ничего не случится. Кто бы ты ни был, пусть с мамой ничего не случится! Пусть лучше со мной, что угодно, но не с мамой, а лучше со мной». Слова Ратникова звучали назойливым, но отчетливым фоном:

— ...В таком случае и Лев Толстой — сумасшедший, так как он об этом существе пишет в одном из своих военных рассказов. И не только Лев Толстой заметил это существо... Бога нет, а *все-таки что-то такое есть*. Эти слова, Настя, я подчеркнул. Потому что в них правда...

— А что это, смотрю я, Аня за Борей все не приезжает, — прервала Ратникова Анпална, устав слушать «о божественном» и *опуская разговор* к привычным житейским темам, где полно недомолвок, скрытых колкостей и самопохвальбы. — Тяжело вам, наверно. Все-то дочь на вас переваливает. Сама могла бы сыном заняться. Вот у нас с Васей детей нет, а если б были, я, кажется, расшиблась бы в лепешку, а никуда их от себя не отпустила.

— Это уж мы с Аней сами как-нибудь разберемся.

Ратников замолчал, прикрыв свою тетрадку пальцами с длинными ногтями, а я покосился на соседку, чувствуя, что бабушка не хочет с ней больше разговаривать. Но тоже заметив явное неудовольствие в бабушкиных словах и тоне, Анпална поспешила поправиться:

— Нет, конечно, к своей матери ребенка отвести — святое дело. Но все равно, думаю я, погостить, а не на шею сажать. У меня, разумеется, детей нет, и не мне судить...

— Ане заниматься нужно. У нее работа научная, — перебила ее бабушка, желая уколоть.

— Научная!.. Вон дядя Антон безо всякой науки какой садик взбодрил, — почувствовав укол, поспешила отпарировать Анпална. — А с этой науки какая польза? Одна слава, что наука! Да и слышала я, что и с такой-то наукой у Ани нелады... И чего муж ей не поможет — не пойму. Зачем и муж, как не помогать!..

— Не нашего это ума дело. Аня сама знает, что ей нужно, и сама все сделает, — но вопрос был больной. — Да и я на что? Я всегда, если надо, помогу.

— Ну, то вы, Настась Егоровна. На то вы и мать. А они-то там о человеке не думают, все о науке. Небось, Гриша — сын профессора, мог бы и за Аню что сделать: и экзамены сдать, и эту, диссертацию, написать. Наверняка это можно, если знать, как надо: раз-два — и готово. А профессорский сын-то уж должен бы знать!..

— Это наверно, — задумалась бабушка. — Конечно, мог бы, но Лидия Андревна, его мать, против...

— Ох, как жалко-то Анечку! — радостно подхватила Анпална. — Больно скверная свекровь ей попалась, разлучная да завистная. Нет хуже, когда мать сына под башмаком держит. Так женщину и со свету сжить можно. А сама от старости только небо коптит. *Плохо, когда старики молодым не уступают...*

При этих словах Ратников вздрогнул и согнулся, словно ему стало больно. Больно и обидно. Говорили же, что Зойке, дочке своей, он ни в чем воли не давал... Вот и стала она от него скрываться и перечить ему во всем...

Меня тоже слова соседки обидели. От бабушки Насти я мог слышать упреки бабушке Лиде, но уж во всяком случае не от Анпалны. Потому что это все же была *моя* бабушка. Конечно, я был «за маму», но никак не за Анпалну, которая «не имела права» *так* говорить про мою строгую, прямоспинную бабушку. Пусть мама с бабушкой ссорились, но это были *наши* ссоры, и нечего «посторонним» *лезть* в них. Я вспомнил, как болезненно реагировала мама, когда кто-либо «из посторонних» узнавал о семейных склоках. А такой для мамы безусловно и была Анпална. Я вдруг отчетливо осознал это, и снова — ожог стыда и ужаса, что я вообразил себя сыном Анпалны и дяди Васи Репкина, живущим у них: «А что, если из-за таких моих дурных мыслей и впрямь что-нибудь с мамой или папой случится?» Я почти с ненавистью посмотрел на соседку и подумал, что сто раз предпочту выслушивать самые несправедливые выговоры от бабушки Лиды, чем жить с Анпалной и слушать ее разговоры.

— Уж, казалось бы, — продолжала тем не менее Анпална, не обращая внимания на мои мысли, — мог бы Гриша и побольше о жене заботиться, зарабатывать побольше и от работы освободить. Вот мой Вася старается, столько получает, что я на полставки ушла, и он доволен, и у меня время есть домом заняться. Зато мой Вася прибран, накормлен. Вот бы и вашей Анечке так.

Бабушка поджала губы, колеблясь, соглашаться ли с ней, но поскольку она на самом деле жалела маму, а слова Анпалны, несмотря на плохо скрытые уколы, казались ей справедливыми, она все же кивнула головой, соглашаясь вроде бы, но вслух этого не сказала. А я чуть было не выкрикнул, что не в том вовсе дело, что мама сама очень хочет работать, для того она и училась, но тут снова открылась — на сей раз без стука — дверь, из коридора дыхнуло холодом, и на пороге встал, чуть покачиваясь, Витька Сизов, по прозвищу Витюнчик, местный восемнадцатилетний хулиган с прыщавым круглым лицом. Он жил в комнате, следующей за комнатой дяди Васи Репкина и Анпалны.

Дверь в его комнату теперь стояла распахнутой, и глухой шум, доносившийся оттуда невнятным гудением во время ратниковского чтения, приобрел отчетливость. Я ясно различал надрывный голос дяди Васи Репкина:

В сугробе том, братцы, лежала она!

Закрылися карие очи!..

Вина мне, налейте скорей мне вина,

Рассказывать больше нет мочи!..

Если наша комната была ближайшая к кухне, то его — к входной двери. Он и сам был «уличник». Уже в который раз он устраивался на работу, но отовсюду за прогулы его выпирали. Витюнчик для меня был, что тогда называлось, *большим парнем* и даже своего рода защитой, потому что меня как соседа первейшего в районе хулигана никто не обижал. Достаточно было ему один раз сказать окружившей меня кодле: «Не лезь к нему, это Настасья Егоровны внук, соседки моей», — и меня оставили в покое. Я помню, что испытывал к нему не только признательность, но что-то даже похожее на дружбу младшего к старшему, когда от старшего ждешь одобрения и признания. Так, увлекшись лепкой из пластилина и наклепив каких-то животных, для подтверждения их похожести я отправился к Витюнчику, который недоуменно-ошарашенно смотрел на пластилиновых лошадь и козу и хрипел: «Ну? Похоже даешь... А чо?»

Витюнчик не очень твердо перешагнул порог, пошатнулся, едва не свалил ведро у шкафа, но в комнату далеко не пошел, прислонился к шкафу и обратился к Анпалне:

— Теть Ань, там дядя Вася тебя требует, разоряется мужик. Не могу, говорит, без Ани.

— Иду, иду. Жареной колбаски вам сейчас принесу, — подхватила Анпална, выскочила из-за стола и, не прощаясь, покинула комнату.

А Витюнчик все оставался. Он стоял, покачиваясь, в дверях нашей комнаты с двумя рюмками в руке. И вдруг в пояс поклонился бабушке (Ратникова для него словно вовсе не существовало):

– Баба Насть!.. Дядя Антон с нами не выпьет? А? Повод, эта, у меня законный... Ей-ей!..

Ратников сидел молча, но вдруг встал, спрятал свою тетрадочку в карман и пробормотал, ни на кого не глядя:

– Я тоже пойду, Настя. Быть может, завтра или послезавтра зайду, и тогда дочитаем.

– Спасибо, Яков Георгиевич, – невпопад ответила бабушка, ее внимание было сосредоточено на Витюнчике и дедушке, который закричал и зашевелился. Ратников двинулся к двери, но Витюнчик стоял, загораживая дорогу, улыбаясь ему в лицо и с неизъяснимой наглостью делая при этом вид, что не замечает Якова Георгиевича. И тот, стусевавшись, униженно обошел, почти прокрался с робостью мимо Витюнчика и – быстро-быстро застучал каблуками по коридору, через секунду хлопнув входной дверью.

– Дочку свою прошляпил, ур-род?.. – как-то в воздух, пока Ратников бежал по коридору, но так, чтобы он мог слышать, промолвил Витюнчик – с улыбочкой и некоторой издевкой в вопросительной интонации голоса.

– Господь с тобой, ты что это говоришь?! – вскинулась бабушка.

– Да это я так, шую, баба Насть!.. Ну как, разве дядя Антон со мной не посидит? А? Меня дядя Вася к себе в гараж пристроил. Я, точняк, больше прогуливать не буду. И матери обещал. А сегодня первая зарплата... А? Мы, конечно, все путем. Вот еще с дядей Антоном бы, чтоб дальше гладко все пошло.

Дед засопел, выпростал голову из подушек и полез с кровати, ища ногами шлепанцы и вопросительно глядя на бабушку. Но, обычно сговорчивая, бабушка на сей раз отнеслась к этому отрицательно:

– Ему нужно еще Ане пойти позвонить. Нам что ли с Борисом в такую поздноту одним тащиться? Так что ты иди, Витя, иди к себе.

– Ну пусть хоть чокнется со мной, – не уступал тот. – Ладно, а, ну, баба Настя, а? Он только одну – и пойдет. Там и батяня мой, и Анпална, и дядя Вася Репкин. На минутку, а?

Дед молча натянул рубаху, пиджак, и они ушли. Бабушка, вздохнув, сняла фартук, вытащила из шкафа кофту, я принялся надевать валенки.

И тут снова по коридору – каблуки, чпокнув открылась дверь, и в комнату с разлету быстрыми шагами, раскрасневшаяся от холода, вошла мама.

Глава IV

Ссора

Брови ее сузились в ниточку. И я сразу понял, *что* случилось. Поссорились. С отцом или с бабушкой Лидой. И бабушка Настя тоже поняла. Я это сразу увидел по тому, как она засуетилась и забормотала, что пойдет «чайку согреет, а то остыл». Лицо у мамы стало резким, твердым, губы сжались, стулья на своем пути к столу она переставляла, как будто то были берестяные туесочки и ничего не весили. Я замер в страхе. Мама заговорила, но, как всегда в гневе, говорила отрывисто, пере-скакивая с предмета на предмет (это я даже тогда понимал) и как-то зло. Я думаю, что если бы не раздражение, то многие фразы не были бы произнесены (да в нормальном состоянии духа и не произносились), они были скорее в стиле квартиры коммунальной, а не того милого мне у мамы *ученого* тона.

— Я не хочу чаю, — мама вдруг зловеще так рассмеялась. — Ратников к тебе заходил? В сенях встретила. Опять о Боге читал?.. Все-таки он немного свихнулся *после того*... Божий ратник!.. В старину он бы в странники ушел. Однако как и не свихнуться! Я и от простой жизни с ума, кажется, скоро совсем сойду!

Мама заплакала, а бабушка принялась тихонько поглаживать ее по спине и плечам рукой.

— Не плачь, не надо. Борюшка тут. Может, отца от Сизовых позвать? Гуляет он там.

— Не надо, не смей ходить! — мама вытерла слезы. — Не хочу, чтоб эти пьяницы сюда притащились. Сиди спокойно, мы с Борей сейчас уедем.

— Не гневи сердца, — подлащивалась бабушка, но так, казалось мне, что гнев в маме только разгорался. — Лучше расскажи, облегчи душу, и все пройдет.

— А что рассказывать?! — сорвалась мама, хотя до этого и сдерживалась, это было ясно. — Все то же самое. Со *змеюкою* поругалась! Она часов с пяти еще завела: «Боре надо в школу. Поезжай заberi». — «Я, говорю, знаю». Через час снова: «Боре надо в школу. Поезжай заberi». — «Пожалуйста, не командуйте мной, говорю, я сама знаю, что мне делать». Тут она руки в бока уперла, уставилась своими холодными глазами в меня и молчит. Я не смотрю, одеваюсь. А она стоит и смотрит. Тут ведь никакие нервы не выдержат. Я и сорвалась, даже закричала, кажется: «Что вы на меня смотрите? Я ничем особенно от других женщин не отличаюсь, нигде ничего

не подкладываю!» — «Глупая, говорит, ты все же, очень мне надо на тебя смотреть». И стоит не уходит. Но я-то знаю, чего она пришла, жду, что скажет, и дождалась. «Ты, говорит, я слышала, в кино собралась с Гришей». — «А что, говорю, Боря ведь не с вами, а с моей мамой». — «Мальчику надо в девять уже спать, а начало сеанса — в семь». — «Да ведь билеты же, говорю, пропадут. Фильм “Секретная миссия” (это — пояснение бабушке Насте). Ничего страшного, если один раз Боря на полчаса позже ляжет. Что же, Грише одному идти?» — «Гриша, говорит, со мной пойдет, и билеты не пропадут, и мальчик вовремя дома будет. Могу ли я со своим сыном в кино сходить?» Я и не выдержала, обидно стало, вот я и разревелась. Мама, но что же она себя как ревнивая жена ведет, а я не поймешь кто! Как будто приживалка. Да и Гришу тоже жалко, то он ко мне, то к ней. Что же вы, кричу, мою жизнь заедаете! Это вам еще помянется. Я ведь тоже биолог, тоже с высшим образованием!» А она шипит: «Я что-то такой биологии — генетической — и не слыхала. Что-то тебя, ценного такого работника, с такой редкой профессией, еле на работу лаборанткой взяли». А какой она биолог?! Только и читала, что Мичурина с Лысенко! (Хочу здесь заметить в скобках, что бабушка Лида вовсе не была ретроградной гонительницей генетики, выслуживавшейся по начальству; она действительно верила, что генетика — это заблуждение, досадный просчет в ясной дарвиновской картине эволюционного развития). Я взяла и выскочила, — продолжала жаловаться мама. — Гриша за мной: «Анечка, Анечка, пойдем в кино. Не обижайся на маму, у нее тяжелый характер, она пожилой человек». Она-то как раз чересчур молода, это я скоро старухой буду от такой жизни. А в старости и вспомнить нечего будет, кроме ссор и скандалов. Так и проживу всю жизнь, не живя, ничего, кроме обид, не повидав. Для чего и жила?! Пошли в кино. А на картине поругались. Я сюда побежала, а он домой к своей мамочке поехал! Мама, что ж я такая невезучая?! Не вернусь я туда!

Бабушка сидела напротив мамы, осуждающе поджав губы и покачивая головой. Мама говорила быстро, с трудом переводя дыхание между фразами; от раскаленной печки было жарко, а казалось, что жар и духота идут от красного абажура над столом, допуская свет только в середину комнаты. Уже в углах скапливалась темнота, не говоря уж о холодной зимней тьме за окнами. В моей голове закрутились вполне реальные мечты. Как мы живем отныне здесь, я хожу в здешнюю школу, мама на работу, и ничего нам *от них* не надо, пусть себе там живут, а мы и сами проживем, а потом я вырасту, стану знаменитым, помогу маме с работой и, конечно, буду делеять ее старость, а *они* пусть себе там локти кусают, что не смогли

оценить таких замечательных людей, как я и мама. И пусть тогда отец гордится и горюет, что это такой у него замечательный великий сын, но он к этому отношения не имеет, не он меня вырастил. Особенно мучительно, больно и все же самоистязательно-сладко было мне воображать, до слез жалости к себе, возможную реакцию отца. Это уже потом я понял, что чем больше любишь человека, тем больше хочешь, чтоб он только на тебя и дышал, забрать его целиком, и потому срываешься и причиняешь именно ему больше боль, чем человеку постороннему, тем самым доказывая свои права на него. Всего этого я тогда не понимал и даже так не думал, это теперешние мои сентенции, а тогда я чувствовал только обиду за себя, за маму и хотел навсегда остаться у бабушки Насти.

Мама закончила свой рассказ. Что могла ответить бабушка Настя на такой *поток слов*, ею самую, по существу, спровоцированный? Зачем она вызвала его?.. Быть может, и вправду пыталась помочь выговориться?.. Но был тут отчасти и запрограммированный некий упрек: «дескать, не послушалась в свое время, теперь кого уж винить, терпи теперь». Этот произнесенный упрек я очень тогда почувствовал, хотя и понимал, что бабушка искренне переживала за маму и все такое... Соображение это, однако, промелькнуло и погасло. Я с сундука подлез к матери, головой прижался к ее рукам.

— Мама! Давай *к ним* не поедем. Давай тут останемся.

Но сам же ясно вдруг понял (мамиными или бабушкиными глазами на минуту вокруг себя взглянув), что негде тут оставаться. Да и незачем. Да и дальше что? И еще мне вдруг ясно стало, что не хочет мама с папой совсем расставаться, вовсе нет. И что между словами и чувствами есть разница.

Да и бабушка встряла.

— Раз уж выбрала, должна мужа слушаться. Сама выбирала, никто тебя, Аня, не приневоливал. Мы с отцом, ты знаешь, против были. Ведь судьбу себе выбирала, не что-нибудь! Следовало бы поосмотрительнее быть. Теперь терпи. Христос терпел и нам велел. А ты, Борюшка, маму не сбивай, ей свою жизнь надо налаживать.

Мама вяло сопротивлялась, без энтузиазма:

— Потатчица ты! Соглашательница. Всем потакаешь, как бы, не дай Бог, не обидеть кого. Скоро ты и *змеюку* мою начнешь выраживать.

— Если надо будет, то и буду. К старшим людям с уважением относиться следует. Это я всегда говорила. Мы, старшие люди, много пережили. Годы-то какие тяжелые и смутные были.

— Эк тебя занесло, — прервала ее мама. — Не о том же речь.

— А и о том, — заторопилась бабушка. Ей явно не хотелось чувствовать себя виноватой в могущей развернуться ссоре, и она была отбой, насытив свое любопытство. — Вы с Борюшкой попали в *ученую* семью (говорилось это так, как будто я *не там* вовсе и родился). И ты ради Борюшки должна терпеть, чтобы он инженером или даже *профессором* стал. Серафима-то вон и похуже терпит. Григорий Михалыч (это отец) куда уважительнее Николая.

— Мне Серафима не пример и не указ, — отвечала мама. — У меня своя голова на плечах.

Однако мы начали собираться домой.

* * *

Помню, что мы ехали двумя автобусами, с пересадкой (не очень удобной: надо было перебегать железнодорожные пути), и я всю дорогу уговаривал маму не расстраиваться, а вернуться нам обоим к бабушке Насте и там жить. Мама плакала и смеялась и обнимала меня. В этом нервном, вздернутом состоянии духа мы вернулись домой, где с «неумолимостью греческого рока» разразился скандал.

Но не сразу.

Мама открыла дверь своим ключом, мы вошли, и дверь без особого шума закрылась. В прихожей никого не было и горел свет. Нашего прихода никто не заметил, поскольку (я сразу это понял) в комнате налево была плотно прикрыта дверь и оттуда доносились голоса: шел спор. Голоса я узнал: папин, бабушкин и дяди Левин, того отцовского приятеля с нервным тиком и посыпанными перхотью волосами. Говорил дядя Лева:

— Извини, дружище, но, когда ты выходил, я случайно сунул нос в твои записки, ты их прямо на столе бросил. Эти все твои рассуждения о вечности, ты прости, конечно, — тоска атеиста, зафиксированная еще Достоевским. Но с его-то времен прошло уже Бог знает сколько времени, а по событиям — так и не измерить! Я бы уточнил поэтому: тоска атеиста, но атеиста-бездельника, не желающего работать. Еще лет пять назад эта восточная, ламаитская даже тоска о вечных проблемах была бы, быть может, оправдана. Но сейчас, когда разворачиваются скованные силы, наступает оттепель, только и работать, осуществлять себя в делах. Мы же все-таки европейцы, а не индусы, не Восток, тысячелетиями не знавший социальной и практической деятельности. Европейцы потому мало думают о бесплодных этих проблемах, вечных лишь по названию, что делом заняты. Вот и нам пора к делу приступать. Ты же умеешь писать, ты — историк, а у меня, брат, появились связи в журналах. Пора уже

нашему поколению выходить на сцену. Вначале рецензии, затем статьи, а там, глядишь, и книги.

— Я не могу ничего делать, — прервал его отец, — пока не пойму, чего добиваюсь в жизни.

Мама приложила палец к губам, очевидно, и она прислушивалась. Чтобы я по неуклюжести чего-нибудь не опрокинул и не шумел, она сама тихо и быстро помогала мне снять пальто, рейтузы, валенки. А я думал, что, оказывается, мама зря осуждала папиных друзей и что дядя Лева, как и мама, хочет, чтобы папа «занялся делом».

— Ты так и не поймешь, пока делом не займешься, — в свою очередь перебил отца дядя Лева. — Это же математический закон. Почему бы тебе, вместо того, чтобы крутиться между семейными склоками, не бросить все это, не переехать ко мне. Должна же у тебя быть ответственность перед самим собой, а не только перед семьей. Так и для твоих будет лучше. А если и нет, то, старик, в конце концов еще Энгельс писал, что семья — это преходящий и отживающий институт. А у вас, я прошу у Лидии Андревны прощения за дерзость, вообще не семья, а какие-то Монтекки с Капулетти.

Прежде, чем отец успел вымолвить хоть слово, вместо него заговорила бабушка Лида, как всегда не допускающим возражений тоном:

— Что ж, я, Гриша, тоже хочу сказать тебе, как твой самый верный друг и старший товарищ, что Лева совершенно прав. Тебе надо уехать от семьи, чтобы приносить пользу обществу своим пером. Мне это будет тяжело, ведь я твоя мать, но так надо. За Бориса можешь не беспокоиться — нянек у него достаточно. И я еще помогу твоей жене деньгами. Ты должен, наконец, осознать, что человек, имеющий большие способности, ответствен перед обществом за их реализацию.

— А я полагаю... — начал было отец тихим и как бы виноватым голосом, но остановился и приоткрыл дверь. Дело в том, что при словах бабушки Лиды мама с такой силой хлопнула моими валенками, стряхивая с них снег, что папа это услышал и вышел в коридор, улыбаясь встревоженно и облегченно: — Ну, наконец. А я уже начал беспокоиться.

— Неужели? — звонким от раздражения голосом буркнула мама. — Что же тебя твоя мамочка не успокоила?

Отец покраснел, но сдержался. А мама наклонилась ко мне и проговорила быстро:

— Беги скорее в комнату. Ты ведь не будешь огорчать маму, сразу себе постелешь и ляжешь, ладно?

Я побежал, но, заходя в нашу комнату (расположенную как раз напротив кухни), приостановился. Из папиного кабинета, где только что спорили, появилась бабушка Лида. Она прошла, не заметив меня и не сказав маме ни слова, будто не слышала ничего, гордо так, не прошла, а *прошествовала*, высоко подняв голову, в свою комнату. Но дверь оставила приоткрытой.

Тут-то все и началось. Отстранив одной рукой отца, мама прошла следом за мной, по пути с грохотом хлопнув полуотворенной дверью в бабушкину комнату, столь плотно прикрыв ее, что бабушка, как было слышно, не сразу сумела и открыть дверь. Я уже стоял перед разобранной постелью и стаскивал с себя одежду. Моя постель, как и мамина, были расположены напротив двери, и их разделял только письменный стол. Одежный шкаф стоял в углу, и больше в комнате, если не считать двух стульев, ничего не было. Но комната была много больше бабушкинастиной, и потому казалась совсем пустой и оттого холодной. Я торопился скорее очутиться под одеялом, как вошел отец.

— Аня, ты что? Возьми себя в руки. Передлевой неудобно. Что он о нас подумает, сама посуди...

— Вот как? Забеспокоился!.. Это же только подтверждает его слова... Так что куда уж лучше? И нечего, нечего ему *о нас* думать, пусть лучше *о вас с мамочкой* думает!

Когда мама в ярости и демократическом раздражении объединила отца и бабушку Лиду словом «они», отделяя «нас», то есть ее и меня, я верил ей и не понимал, что все это от большой тоски, что с большей радостью она бы держала на своей стороне отца.

— Аня, не надо так!

— Почему это не надо? Ах, слишком грубо, слишком неделикатно! Ваши барские ушки к этому не привыкли!.. А я и есть мужичка, твоя мать разве тебе этого еще не объяснила? Вот и отправляйся к ней! А ко мне не смей заходить! Имею я в конце концов право на свою комнату или нет? И так живу между небом и землей... По закону имею. И никто не посмеет отобрать! Завтра же подаю на размен, — не могла себя остановить мама. — И ничего эта старая ведьма мне не сделает!

— Я требую, — почти фальцетом закричал вдруг отец, — чтобы ты не смела так говорить о моей матери и Бориной бабушке!

— Не ори! Выйди и закрой дверь с той стороны, — чужим и спокойным-демонстративным тоном сказала мама. — Мне надо Борю укладывать.

А я пробурчал, но совсем тихо, чтобы отец не расслышал:

— Никакая она мне не бабушка, — и исподлобья поглядел на отца из своего угла как раз напротив двери.

Для большей суровости взгляда я быстро перебрался в пижаму и залез под зеленое теплое байковое одеяло, как защитился, сразу и взгляд (это я почувствовал) стал увереннее. Про это одеяло я в стихотворческий — года через три — период сочинял стихи:

Зеленое одеяло байковое
Лежит на кровати мозаикой.
А я свирепым зверем пумою
Хожу по комнате и думаю.

Дальше не помню. Но ясно одно мне из этих строк, что и в дальнейшем настроения хандры и так называемых *размышлений* посещали меня.

Отец пригладил волосы, гладкие, черные, делавшие его похожим на индейца, обхватил рукой свой большой породистый нос (уже после я узнал это: знакомые говорили — «какое у твоего отца породистое лицо, нос, губы особенно»), тем самым как бы прикрыв лицо, и, махнув рукой, сказал:

— Ладно.

Но так просто все, разумеется, закончиться не могло.

Мама повернулась резко, с мужицкой ухваткой дернув отца за плечо, встряхнула своими светлыми кудерьками и, протянув руку, указала на эмалевую фотографию бабушки Лиды («под Ермолову», в строгом черном платье до пят, с гордо поднятой головой и идеально прямой спиной), стоявшую на столе:

— И это тоже с собой захвати. Довольно с меня такого мазохизма! Хватит того, что я и так ее живьем каждый день вижу! Хватит, нагляделась!

У отца даже лоб покраснел от внезапной ярости; я испугался, что сейчас что-нибудь произойдет.

— Фотография тут стоит и будет стоять, — тяжело дыша, звенящим голосом, с силой, но *спокойно* произнес он.

— Ну это мы еще посмотрим! — криво усмехнулась мама и шагнула к столу.

— Не смей, я тебе говорю! — крикнул отец.

Но мама продолжала идти, и время потянулось, как всегда в мучительных ситуациях бывает, удивительно медленно. Мне вдруг показалось, и так ясно — я до сих пор очень отчетливо помню это ощущение — что надо кому-то просто остановиться (улыбнуться или нет — это все равно), и все пройдет, весь этот дурной сон. Но было также до жути ясно, что никто не остановится. Я, может быть, что-то мог сделать, отрезвить их, но какое-то извращенное упрям-

ство удержало меня. Никто не сумел опомниться. Но — зазвенел телефон.

Отец, как бы обрадовавшись помехе, хотя и подозрительно глянув на мать, повернулся и, тяжело ступая, вышел на кухню.

— Да? Да, Алеша, здравствуй. Да. Боря дома. Нет, не спит, но уже в постели. Наверно, может. Борис, — крикнул он. — тебя Алеша к телефону. Только тапочки надень, а то пол холодный.

Он вернулся в комнату, а я поплелся на кухню, где на тумбочке у стены стоял телефон, валялись справочники, телефонные алфавиты, какие-то оторванные бумажки с телефонными номерами. Я подо двинул к тумбочке табуретку и уселся на нее, поджавши ноги. Из бабушкиной комнаты послышалась отрывистая неясная фраза, произнесенная дядей Лево́й, но ответа не последовало. Я поднес трубку к уху. Казалось бы, я должен был быть благодарен этому звонку, но почему-то — хорошо помню — Алешка заранее раздражал меня, я был настроен против него. Уже хотя бы потому, что звонил он в такую пору. Я так поздно еще никогда не ложился: было уже начало одиннадцатого.

— Я тебе уже третий раз звоню, — таинственно, срываясь на повизгивание, зашептал он.

— Я слушаю тебя, — сухим, «взрослым» голосом ответил я.

Что-то тревожило меня, что-то я предчувствовал, не говоря уж о том, что я прислушивался напряженно к тому, что делается в комнате, и хотел поскорее кончить разговор, чтобы туда вернуться. Но ему явно хотелось чем-то поделиться необычным, и он не обратил внимания на мой отваживающий его тон.

— У меня сегодня Танька Салова целых два часа была, а дед был на лекциях, и матери с бабкой тоже не было. И мы с Танькой все это время *целовались*, — шептал он пораженно и срываясь, хотя и старался казаться бесстыдно-молодецким.

Мне *такое* и в голову не приходило делать. А ему пришло. То есть, хоть он и удивлен, что Танька согласилась, он решил говорить с ней об этом. Как? Какими словами? Очевидно, какими-то немыслимыми. Я как будто и не чувствовал обиды, но я знал, что все кончилось и что к Таньке даже в воображении я никогда не пойду с нежными признаниями. И Алешка с его тонкими чертами, прозрачными голубыми глазами и несимпатичной мне нелюбовью к книгам вдруг тоже как-то стал чужим. Хоть мы и не поссорились вовсе. И когда я повесил трубку, мне было грустно, и эта грусть словно поднимала меня над родительскими сварам.

Я хотел подняться с табуретки, чтобы двинуться назад в комнату, но остался сидеть: в дверях кухни, лицом ко мне, прямая, с руками, упертыми в бока, загораживая мне вход, стояла бабушка Лида.

Глава V

Бабушка Лида

Сказать по правде, я испугался. Мимо бабушки мне была видна наша комната, точнее, некая часть ее: кушетка, на которой лежала, отвернувшись к стене, мама, и спина стоящего перед ней отца. Я оставался с бабушкой Лидой один на один. И знал, что сейчас начнется выматывающий душу и совесть разговор. Под ее взглядом я словно оцепенел, мне даже диким казалось предположение, что можно подняться и независимо пройти в свою комнату. Бабушка загородила мне выход, а она всегда знала, как и что *надо*, как и что *правильно*, и это ощущение собственной непогрешимости не только не позволяло ей увидеть чужую точку зрения, но как бы вовсе устраняло таковую, будто ее и не было. К тому же, что было особенно мучительно, — я предчувствовал, что сейчас пойдет разговор о моем и, главное, маминем *поведении*. А то, что мама вела себя «неправильно», «ругалась на взрослого» (на бабушку Лиду), а сама была младше, — это мне было ясно. И, следовательно, по моим детским представлениям, она заслуживала наказания.

Уже когда мне было лет четырнадцать, отец пытался мне объяснить: «Мама с бабушкой ссорятся по вековечному российскому архетипу, ну, образцу, что ли, своего рода. В России никогда свекровь с невесткой дружно не жили. Об этом и русские песни, сказки — то невестка жалуется на свекровь, то свекровь бранит невестку. Ты же сам это знаешь, читал. Вот и в школе вы «Грозу» проходили. Разумеется, там не только об этом, но есть и об этом. Кабаниха и Катерина — ведь это свекровь и невестка. Это, понимаешь ли, пока неустраимо. Вообрази сам. Мать воспитывает, лелеет своего сына, отдает ему всю себя, и вдруг появляется какая-то чужая ей женщина, и оказывается, что для этой чужой, *пришелицы*, обожаемый сын в свою очередь готов на все. И что же каждой матери чудится? Что лучшие силы ее души ушли попусту, подарены кому-то — *неизвестной, незнакомке*. Вот отсюда и подозрительность, попытка напомнить сыну о его особом пути, о необходимости «быть мужчиной». А на самом деле за этим скрывается ощущение, что сын по-прежнему еще ребенок и что перед ним необходимо убирать житейские тяготы, чтобы он мог реализовать себя. Хотя возможность такой реализации есть не что иное как иллюзия, ибо только через преодоление действительности укрепляется человек. Понимаешь? Какая бы ни была мать — умная, интеллигентная, высоко-

духовная — эта зоологическая почти и одновременно святая привязанность к сыну лежит проклятием на ее взаимоотношениях с женой сына. Одно то, что мать уже избрала про себя для сына путь величия (в старину мечтали, что генералом будет, теперь диапазон ценностей расширился — не только генералом, еще и директором завода, знаменитым ученым, великим писателем, художником), а тут сын весь свой действительный или воображаемый талант и способности «приносит в жертву» *постороннему* человеку, — все это удручает и расстраивает мать. Я уверен, что матери, сумевшие стать друзьями сына, оказывают на него больше влияния, нежели друзья, жены, дети, поскольку безусловно верят и сына поддерживают в вере в его высокое предназначение, снимая житейские заботы и создавая вокруг атмосферу высокой духовности. И дети несут свое предназначение как крест, они нервны, самолюбивы: я тебе назову хотя бы имена таких, как Писарев и Блок, самыми близкими друзьями и поверенными которых были их матери. Да ты и сам можешь припомнить кого-нибудь из своих приятелей, «маменькиных сынков» так называемых, из которых их матери делают вундеркиндов. Уровень пониже, но принцип тот же самый. Ты большой, я думаю, ты можешь уже это понять. Бабушка Лида была и остается для меня именно матерью-другом. Отсюда такое ее неприятие твоей мамы, женщины, как ты знаешь, с характером сильным. Другое дело, что между бабушкой и мной вдруг пролегло временной, или, даже я бы сказал, историко-культурный, водораздел. Бабушка Лида тоже живет запросами духовными, важнее идей, концепций, проблем для нее ничего нет. Но, несмотря на все свои нынешние поправки, она осталась жить во времени до пятидесяти третьего года. То есть она все понимает, но вместе и не все, мы просто стали разные люди. И это для нее лишнее подтверждение *зловредного* влияния твоей мамы. Она и сейчас любит принять гостей, беседовать с ними, и моим друзьям с нею интересно, но не близко. Зато мама гостей не любит, она ведь, если не в гневе, довольно молчалива. И вообще-то, мой друг, Россией частенько правили женщины», — невпопад вдруг закончил он.

«Но ведь это все не объясняет *специфики* наших семейных отношений», — краснея от удовольствия вести столь серьезный и на равных разговор, где мое мнение имеет не только ценность вообще, но и серьезный вес, отвечал я.

«Разумеется, — довольно-таки охотно соглашался отец. — В твоей судьбе, именно в твоей, а не в моей, со мной причудливее, но однозначнее, так вот, в твоей судьбе сплелись две линии, я бы сказал, российской культуры, русской истории, которые и противо-

стоят одна другой, и взаимообогащаются — все вместе. Я говорю *о взаимоотношении интеллигенции и народа*. Обычно под народом понимают крестьянство. Но в двадцатом веке ситуация изменилась. Понимаешь ли, городской народ — это тоже народ. Об этой проблеме написано полно, но толком она так и не разрешена до сих пор. Главное, житейски не разрешена. А ведь контакт стал реальнее, плотнее. Бабушка Лида считает всех маминых родственников, включая и бабушку Настю, и деда Антона, всех скопом, короче, — *мещанами*. Я бы так не сказал. Но там и вправду совсем иной образ жизни, я бы назвал его *телесным*, и характерно, что бабушка Лида его не приемлет.

«Почему?» — требовал я пояснения и уточнения.

«Да потому, что сама она всю свою жизнь жила книгами, газетами, постановлениями, то есть подчиняя свою жизнь чему-то нематериальному, духу, иными словами. Она еще кончала гимназию, читает, как ты знаешь, на нескольких языках, а на испанском и французском говорит свободно, в отличие от меня, да и от тебя, которые языков вовсе не знают; она, на мой взгляд, если рассматривать каждого человека как историческое явление, оказалась среди тех юных гимназистов, которые, усвоив азы старой классической культуры, отказались от нее, но при помощи этих «азов» приступили к постройке новой культуры, поражая иностранцев своими знаниями. Ибо иностранцы резонно ожидали встретить в новой России только малограмотных мужиков, а их встречали люди, говорящие на всех европейских языках. Это, наверно, как римляне времен упадка отказывались от язычества, устремляясь к не очень изощренным в диалектических тонкостях первым христианам. Бабушка, если нам с тобой быть честными друг с другом, так и не стала настоящим биологом-исследователем, как твоя мама. Слишком много общественных функций ей пришлось выполнять, вот она и стала в итоге *историком* науки, занятие благородное и не менее значительное, но... в иных ситуациях занятие это ни к чему хорошему не приводило — вот как у бабушки с генетикой вышло. Тут оказалась права твоя мама со своим упрямством эмпирика, практика. Но я чего-то все отвлекаюсь, ты же меня просил о специфике... Впрочем, все это и есть специфика. Если раньше русская интеллигенция призвала учиться у народа, то новая интеллигенция сочла, что она и без того знает, что народ из себя представляет и чего он хочет. А кто под определение не подходил, оказывался мещанством. Бабушка никогда не видела правды другого человека. Что делать, так исторически характер сложился, это надо понять и простить».

«Понять все можно, простить, видимо, тоже, но вот ты ни слова почти не сказал о властности бабушки Лиды, — бурчал я, напыжившись, подражая аналитической стилистике отцовской речи, — о ее вмешательстве во все дела, мама ведь злится и злилась не только от разногласий, а от того, что бабушка даже обед ей не давала по-своему приготовить, и все знала лучше всех, и все ей нужно, чтоб исполнялось в ту минуту, как она сказала, и никто ослушаться не мог — вот что. А мне и особенно тяжело, и как *мне* быть, я не знаю. Ведь ты-то все же *сын одной из* моих бабушек, а я *внук сразу обеих*», — говорил я в принятом мной для большей независимости в разговорах с отцом условно-ироническом тоне.

Здесь отец мрачнел, но затем снова принимался рассуждать: «Ты прав, разумеется. Выносить такое раздвоение никому не бывает легко. В душе образуется своего рода *двумирье*, а это тяжело. Но скажу тебе и другое. Стоять на рубеже двух стихий, понимая и неся в себе правду их обеих, понимая эту правду не умом только, а чем-то высшим, всем своим существом, правду и тела, и духа, — это в дальнейшем, может быть, как раз и обогатит тебя, именно духовно обогатит, хотя сам ты, может, и понимать не будешь, откуда твоя глубина. *Двумирье* — это великое и тайное преимущество немногих избранных. Можно завидовать цельному духовному порыву Шиллера, его отрешению от житейского, но трезвая глубина Гете все равно значительнее. Он был и глубже и реальнее Шиллера, ибо нес в себе две стихии: духовную, высококультурную и мещански-бюргерскую, обыденно-житейскую. Мир сложнее, чем мы его представляем в юности, и потому, не вдаваясь даже в метафизические тонкости, с детства знать хотя бы две его ипостаси весьма благотворно. Не усмехайся, не усмехайся! Я не хочу, разумеется, равнять тебя с Гете, хотя в качестве самого обычного и пошлого родителя я, конечно, мечтаю, чтобы мой сын стал чем-то. Но в принципе мое рассуждение справедливо».

«Ах, так мне еще повезло?!» — восклицал я.

«Ну, разумеется», — смеялся отец.

Что меня в детстве еще поражало — это то, что бабушку слушались люди, вроде бы не обязанные ей подчинением, такая непрерываемая властность и уверенность в своей силе звучали в ее голосе. Поэтому все внешние приметы ее облика (общественница, доктор наук, деятельница и т.п.) я в детстве не воспринимал отчетливо. Я переживал *характер*, так сильно ощущавшийся, что, когда в дурном настроении она молчала, это ее настроение, словно через воздух, влияло на всех нас.

Поэтому-то я и остался в тот вечер сидеть на табуретке, испуганно уставившись в пол, ожидая, пронесет — не пронесет; в глаза же бабушке Лиде глянуть не было сил. Прямо — казалось дерзостью, да и слезы наворачивались от напряжения; трусливо — как будто недостойно. Дело в том, что отношения мои с бабушкой Лидой всегда были каким-то противостоянием (она — одно, я — совсем другое) и строились по принципу долженствования (я *должен* уважать ее, любить и т.д.), европейской формализации, которая в Европе, может, и благотворна, но здесь не работает, превращаясь в казенщину. Россия, думал я спустя годы, рассуждая о своих семейных неурядицах, выработала свой способ преодоления противоречий, *неформальный*, а иного тут и быть не может. Вот как с бабушкой Настей: даже в ссорах сохранялось ощущение единства. Бабушка Лида словно не имела нужды в таком единстве.

И еще разница существовала, быть может, мелкая, но очень мной тогда почувствованная: запах духов. От бабушки Лиды всегда пахло духами, как будто она не была старой, а от бабушки Насти никогда. «Старые люди» не должны пользоваться духами, это для молодежи, говорила она, и я понимал, что она осуждает тех «старух», которые все же ими пользуются. Но бабушка Лида и не считала себя старой. Я знал, что духи она употребляла одни и те же, их ей всегда дарил отец на Восьмое марта, назывались они «Красная Москва». Не «Фиалки», не «Ландыш», не «Кармен», а — «Красная Москва». И название это тоже подходило к прямоспинной, стройной и строгой бабушке. Разумеется, она тоже любила меня. Но словно бы не как бабушка, всепрощающе и всепонимающе, а с какой-то античной суровостью, менторски вбивая мне в голову *принципы* поведения; мне все ее слова казались «нотациями», и я старался поскорее пропустить их мимо слуха. Бабушка Лида как будто и не пыталась найти контакт со мной, полагая, что ее образ жизни, ее биография сами по себе должны быть притягательной силой. Сложность ее судьбы, необычность ее биографии я понял гораздо позже и когда-нибудь, если получится, расскажу об этом. Позже я понял и то, что, как бы ни ссорилась она с моей мамой и как бы я ни старался в детстве отмахнуться от ее *придилок*, находясь в семейных скандалах на противоположной стороне, ее неистовое стремление жить прежде всего во имя высших, надличных и сверхличных идеалов передалось не только отцу, но даже маме, а в меня впечаталось невытравляемо. Если это хорошо, то за *такое наследство* я должен благодарить именно ее.

Она стояла, пристально и молча глядя на меня, так что я кожей чувствовал ее взгляд, даже хотелось потерять то место, куда были направлены ее глаза. Она ожидала, что я все же не выдержу и погляжу на нее. Но я выдержал.

— Почему ты до сих пор не в постели? — спросила она наконец. Спросила обычным голосом, негромко, даже тихо, но все равно я отчетливо слышал все ее слова, в которых почувствовал упрек, обращенный к матери, и тут же блокировал его.

— Меня *papa* к телефону позвал, — не поднимая глаз, *громко* отвечал я. (Дескать, мама тут ни при чем, да и громкость при таком ответе позволительная. Но родители не услышали.)

И бабушка тему не продолжала, как-то ловко переведя ее на мой «вызывающий» ответ. Так я во всяком случае понял.

— Тебе стыдно? — покачала она головой (краешком глаза я это движение зафиксировал). — Почему ты смотришь в сторону?

Я молчал, потому что не знал, что надо отвечать.

— Ты вошел и с бабушкой даже не поздоровался, — все тем же ровным голосом сказала она.

— Здравствуй, бабушка, — робко вымолвил я.

И поднял глаза. Бабушка по-прежнему стояла, уперев руки в бока, в длинном блестящем платье, ровная, прямая, словно молодая, только морщинистые щеки и мешки под глазами, кожа, обвисшая на горле, как у молодых не бывает. Она как бы с интересом смотрела на меня, дескать, вон, оказывается, ты какой скверный, надо бы тебя повнимательнее изучить. Я совсем сжался, глянул снова мимо, через коридор, но из комнаты помощь не приходила. Там отец, вплотную подойдя к кушетке и слегка принагнувшись, что-то глухо говорил маме, которая лежала, отвернувшись к стене и зажав уши.

— Ты уже взрослый, Борис, — сказала бабушка, а я даже испугался этой просквозившей неожиданно в ее голосе дружескости. — Ты многое должен понимать. Я хотела бы с тобой поговорить как с разумным человеком. Я уверена, что мой внук — *разумный* человек. И я надеюсь, что ты уже можешь самостоятельно, без *посторонних* внушений и с должной критичностью подойти ко многим вопросам. Я хотела бы обсудить с тобой поведение твоей матери.

— Не собираюсь, — затравленно буркнул я.

— Ты можешь не собираться, но это надо сделать. Ты должен выбрать определенную позицию в жизни. Ты ведь человек, а не бессловесное, неразумное животное. Определить, на чьей стороне ты находишься, — это так важно в жизни, это дает силу действовать! — обычно надменная, она выглядела сейчас даже несколько неуверен-

но, напором слов преодолевая свои колебания. — Ты ведь не возражаешь против этого?

— Нет, — отвечал я, совершенно сбитый с толку.

— Ну, так давай рассуждать, — бабушка стояла все так же спокойно и величаво, но в глубине где-то, казалось мне, была взволнована. Все-таки тема эта задевала ее лично. — Как ты полагаешь, правильно ли поступает твоя мама, когда грубит мне? Подожди, не спеши с ответом. Я уж не говорю о том, что я — человек заслуженный, да и по возрасту старше твоей мамы, не так ли? Люди ведь могут объясниться, если между ними возникают недоразумения, человеческим языком, не прибегая к грубостям. А у твоей мамы на языке ничего, кроме грубостей, по отношению ко мне нет. Она считает, что со мной только так и можно разговаривать: грубить мне, хлопать дверью, обрывать на полуслове. Ты тоже считаешь, что с бабушкой *именно так* надо разговаривать? Как по-твоему?

— Нет, конечно, нет, — снова отвечал я, чувствуя, что все мои карты биты: бабушка вроде бы во всем была права. Более того, я испытал вдруг неожиданно для себя щемящую к ней жалость. «Однако, как же это я смел *так* думать про бабушку! Какой же я все-таки нехороший человек! Мало ли, что мама с ней ругается, но ведь она мне бабушка, и я обязан ее любить. Она так одинока! Ведь папа ее единственный сын, а я единственный внук... Не то что у бабушки Насти — несколько внуков!..»

Но требования далее предъявлены были непомерные, да и не вовремя.

— Я рада, что ты согласен со мной, — произнесла бабушка, помолчав минуту и глядя мне прямо в глаза. — Значит, ты это понимаешь? *Отчего же ты защищаешь свою мать* и даже подражаешь ей: отвечаешь на мои вопросы отрывисто, грубо, а то и вовсе не отвечаешь, стараешься поскорее проскочить мимо моей комнаты, не делиться своими планами и интересами?

Пытка была нестерпимая. Я задохнулся, смешался, почувствовал жар во всю щеку.

— Ты краснеешь, оттого что тебе стыдно, — констатировала бабушка Лида, продолжая «стоять над душой». — Однако не отвечаешь... Боишься матери? Ты уже взрослый, Боря, — добавила она, на сей раз даже имя мое уменьшив почти до ласковости: не Борис, а Боря. — И ты можешь как разумный человек вмешаться в этот конфликт, который всем тяжел, особенно твоему папе.

И, несмотря на то, что был-то все равно я на стороне мамы, спокойный и отчасти грустный тон бабушки Лиды спутал все мои представления о том, как мне *надо* себя вести, пригасив мой пыл

и пафос. Тем не менее, стыду и раскаянию, охватившим меня, развиться не удалось. Из комнаты, ведомая каким-то неизъяснимым, непонятным чутьем на кухню вдруг ворвалась мама. Она уже успела переодеться в шерстяной с начесом красный халат, походивший — в моем тогдашнем книжном воображении — на кардинальскую мантию. Подарила ей этот халат бабушка Лида, а той в свою очередь этот халат был подарен французской биологинею, приехавшей на какой-то конгресс. Зная два европейских языка, бабушка Лида общалась с иностранцами, что по тем временам было редкостью. Я был в таком растерянном состоянии духа, что отметил и халат, и то, что он подарен бабушкой Лидой, а мама все равно бабушку не любит.

Довольно решительно отодвинув в сторону бабушку Лиду *руками* (по ощущению: в гневе все сойдет и на гнев спишется), поскольку сама бабушка двигалась чересчур, на мамин взгляд, медлительно и величаво (чтобы сохранить достоинство — казалось мне), мама схватила меня за плечо и крикнула:

— Что здесь происходит? Почему вы ребенка здесь держите? Ему пора спать! Ну-ка, позвольте пройти!

Мое настроение мигом изменилось, я почувствовал облегчение и привычно тут же перешел на мамину сторону.

— Ты ненормальная грубиянка, — отстраняясь от мамы и прижимаясь спиной к стене в коридорном проходе, по которому меня влекла за собой мама, надменно произнесла бабушка Лида.

— А вы?! — взорвалась мама, затолкнув меня в комнату и стоя на пороге. — Везде сеете свой яд? Мало вам своего сына? Отобрали? А ведь он мне стихи писал! Вы еще и моего зацапать хотите? Вам всем нужно жизнь испортить? Все должно быть по-вашему!.. А вот я хочу собственным глупым умом жить!.. Ясно? — и она «перед носом у бабушки» захлопнула дверь.

Движения у мамы стали размашистые. Еще секунда, и полетят предметы. Я это очень хорошо знал. Мама толкнула меня по направлению к постели.

— Живо в кровать! Тебе завтра в школу!

Я моментально улежся. Подоткнув мне одеяло, мама резко развернулась к папе, который уже сидел на ее двуспальной кушетке, покрытой деревенской пестрядью, сшитой бабушкой Настей. Голова у отца была опущена, глаза плотно прикрыты, руками он сжимал виски. Сцена была немножко театральной, хотя все происходящее и переживалось всерьез. Я это понимал, напрасно думают, что дети мало понимают, понимал и то даже, что иначе, чем через некоторую театральность, своих чувств тут и не передать.

— Ну что сидишь? — бросила она отцу. — Борису спать надо. Иди, иди! Тебя твоя мамочка ждет уже не дождется, наверное. Как же! Мое поведение обсудите! Давай, иди!

Мама отскочила к стене, где за шкафом приделан был выключатель, и быстро повернула его. Свет погас. Стало темно, черными непрозрачными тенями виднелись в разных углах комнаты фигуры родителей. Красный мамин халат был особенно черен. Мама, не выпуская руки от выключателя, смотрела, тяжело дыша, в сторону отца.

Затем снова зажгла свет:

— Ну же, я жду! Давай поторапливайся! — и ко мне. — Борис, включи-ка настольную лампу!

Я повиновался, ожидая глядя на отца. Пружина продавленного дивана больно толкнула меня в бок. Осторожно я опустился назад, в удобно вылежанную за несколько лет ямку.

Отец встал, но ничего не ответил. На пороге возникла бабушка Лида в своем черном шерстяном длинном до полу платье, удивительно похожая на свой фотопортрет «под Ермолову», стоявший на маминим столе. На груди у бабушки — я заметил, потому что на портрете она отсутствовала, — была в тот день пришпилена орденская планка. У бабушки было несколько орденов за научные заслуги, а один — Красной Звезды — за Испанию, где она *как знающая испанский* работала переводчицей. Но как-то так из-за всех этих отношений получалось, что я совсем ничего не знал о бабушкином боевом прошлом. «Как глупо, — подумал я, — что мама с бабушкой ссорятся». Корыстные мысли вдруг на секунду захватили меня, как я мог бы хвастаться бабушкиными подвигами перед приятелями и даже перед нашей учительницей Марьей Ниловой. *Порассуждать*, однако, обстоятельно и расплывчато, как я любил, мне в эту секунду не удалось.

— Я бы на твоём месте прекратила эту безобразную сцену, — обратилась бабушка Лида к маме. — Во всяком случае, мальчик не должен этого слушать. Он не должен расти в атмосфере мещанских скандалов, на которые ты такая мастерица. И было бы из-за чего!..

Снова на какую-то секунду я подумал, что, быть может, бабушка права, ведь ссора нарастала на моих глазах, и слово цеплялось за слово. Это и было *мещанством*, как я его понимал: ссоры не по *принципиальным* вопросам. Из-за пустяков.

— Вот об этом я тебе и говорила, — обернулась вдруг бабушка Лида к отцу. — Я тебя предупреждала, что женщина из мещанской среды всегда останется мещанкой. А это очень вредно для Бори. Я не говорю уж о том, что он постоянно ездит к этой «бабе Насте»

и ее мужу, этому неграмотному типу, да к тому же, кажется, пьянице-шоферу. Есть все-таки разные уровни жизни, путать их не надо. Твой сын должен расти в культурной среде, а не слушать постоянно эти чудовищные базарные крики.

Я думал, что сейчас грянет гром, так переменялось лицо мамы. Но у нее словно сил не хватило.

— «Ее муж» — это Борин дедушка, — с трудом выталкивая слова, прошептала она побелевшими губами.

А я совершенно забился в угол постели. Мама села рядом со мной на кушетку, оцепенело глядя на бабушку Лиду и не проронив на протяжении бабушкиного с папой спора ни слова. Спор, впрочем, был недолог.

Отец шагнул было к бабушке, но замер и сказал только:

— Мамочка, я все понимаю, но ведь и я, и Аня, и ты работаем, и Борю не с кем оставить... Вот он и ездит к Аниной маме.

«Ах так! — подумал я мамиными словами. — Вы бабушку Настю за слугу считаете!..» И глянул на маму. Но мама молчала.

— Можно было бы взять *человека* сидеть с Борей, если это так необходимо. Хотя Боря уже большой мальчик, мог бы и сам дома оставаться. Во всяком случае, вреда от этого было бы меньше, и он рос бы человеком с *духовными* запросами.

Они спорили, будто нас и не было, хотя с оглядкой. Отец пытался, как мне казалось, защитить *нас*.

— Мама, я тебе хочу сказать, что твой разговор о «разных слоях» все-таки несправедлив. Конечно, есть такое понятие, как культурные традиции, но ведь культура как раз выпускает любого культурного человека. Да и можем ли мы говорить, что в нашей семье есть древние культурные традиции, устоявшиеся поколениями ученых. Это скорее можно о Кротовых или Всесвятских сказать (Всесвятский — это был Алешкин дед, который и сам тоже был родом из профессорской дореволюционной семьи).

— Меня не интересуют Кротовы, Всесвятские и их культура, — прервала его бабушка. — Я говорю о том общественном горении, которое должен испытывать каждый настоящий человек и которого я не вижу в семье твоей жены. Когда Аня все время квохчет над Бориными болячками и боится, чтобы он сделал лишний шаг, я ее не осуждаю: у нее совершенно животное, зоологическое чувство к своему ребенку, на другое она не способна. Но ты-то мужчина! Ты должен растить Человека с большой буквы. Надо, чтоб Борис рос с сознанием своей *ответственности* перед обществом, а это сознание не возникнет в той среде, где заняты только проблемой еды, пия и, прости, пьянства, да, да, пьянства!

Тут у меня в голове словно щелкнул какой-то рычажок. Так со мной уже бывало в минуты напряжения: появлялась способность как будто что-то сделать со своим восприятием. Все сразу после этого щелчка начинало видеться словно со стороны, отдалялось, приобретало некую условность, отстраненность, как театр, видимый очень издали, по меньшей мере с галерки. Ярко сияла стеклянная люстра, крашенные темно-синей масляной краской стены образовывали с серо-синими занавесками на окнах и даже с видневшейся сквозь них темно-синей ночью единый «театральный задник». Белая дверь была для «выхода» актеров. И вот в этом не очень реальном, замкнутом и потому не кончавшемся времени и пространстве стояли друг против друга две фигуры: бабушки, прямая, твердая, властная (на расстоянии — просто символ твердости и властности), и отца, возражающая, но видно, что растерянная. Они что-то говорили, говорили, спорили, возражали друг другу, говорили, горячо, страстно, вздымая руки. Однако звуки не долетали до меня. Я только видел где-то вдали маленькие жестикулирующие фигурки. Это было как игра, потому что, я чувствовал, стоило мне захотеть, и все бы поменялось: театр пропал, а я бы все слышал. Это я знал наверное. Все так же издали я видел, как подошла мама, жестикулировала тоже, что-то говорила, а скорее, и кричала. Бабушка отстранялась, говорила что-то в ответ. Отец обернулся к матери, внушая, кричал. Мама, не обращая на него внимания, наступала на бабушку. На этом месте щелкнул рычажок, изображение снова стало нормальным, и я услышал голоса. Точнее, мамин голос.

— Вы, вы, вы подлая женщина! — кричала мама, сцепив пальцы рук и прижав руки к груди (сбоку я все видел). — Вы и то, вы и се. Просто вы умеете все себе захватать! Где вы были во время войны? Ваш сын воевал, я работала в Москве, рыла окопы, шила подштанники солдатам!.. А вы были в Ташкенте. А медаль «За оборону Москвы» и «За победу над Германией» получили вы, а не я! Если уж говорить о заслугах, то моя мать не менее заслуженная, чем вы. Вы и революцию в эмиграции провели, а моя мать устанавливала советскую власть в деревне, в нее из обрезка стреляли, однако у нее пенсия двести пятнадцать рублей, и никаких орденов...

Эти счета показались мне вдруг унижительными, а мамины возражения недостоверными: мама доказывала *общественность* бабушки Насти и свою. Но ведь бабушка Лида говорила, как я понял, не только об общественных *поступках*, а и об общественном *горении*, то есть о жизни, проходящей под постоянным знаком *служения*, а этого, разумеется, ни у мамы, ни у бабушки Насти не было. Между тем мама продолжала:

— Вы много говорите о нуждах и потребностях народа, а где же ваше единство с народом, а ведь вы партийный человек! Как только реально столкнулись в личной жизни с *простыми* людьми — сразу вам плохо запахло!.. Эх, вы!.. И сынка оберегаете, как же — мезальянс! Невестка — шоферская дочь!..

— Гриша, пойдем отсюда, твоя жена — сумасшедшая хулиганка, — твердо сказала бабушка.

— Что-о?! — взревела мама, окончательно разъярившись. — Как вам не стыдно так говорить?! Вы ж пожилой человек!.. Зачем молодым жизнь портить? Зачем? Зачем вы разбиваете семью своего сына? Зачем вы его — не меня — мучаете? У нас ведь и своих неурядиц хватило бы!.. Зачем же еще? Хотите нас развести? Спустя десять лет? Да пропадите вы пропадом! *Выставляйтесь*, что вы — ученый?! А я — лаборантка? Да какой вы ученый! Вот Михаил Сергеевич — ученый настоящий был! Он бы такого не допустил! А вы?.. Да вы с вашим Лысенко хлорофилла от дрозодилы отличить не можете! Погодите, не вечно Лысенко будет царствовать! А пока — вон! Вон, говорю! Это *моя* комната!..

Бабушка Лида повернулась и, подрагивая от напряжения задом, но сохраняя полную достоинства прямую спину, вышла. Следом за ней, резким и злым движением повернув выключатель, вышел отец. Мама, как сомнамбула, дошла до моей постели и уселась рядом, положив на меня руку. Уютно горела настольная лампа. Я попытался приласкаться, но мама оттолкнула меня.

— Помолчи минутку, — ее тонкие губы были стиснуты, и дышала она тяжело и с трудом. Я замолчал.

Глава VI

Что я чувствовал

Мама сидела молча, уставившись в стенку неподвижным взглядом. Я не шевелился, лежа навзничь на подушке и смотря до боли в глазах вверх, в потолок. «Ну и пусть, — думал я. — Пусть себе ищет другого сына. Если меня не любит. Мама называется... Почему она не обращает на меня внимания? Не хочет? И не надо. Небось, о своем слюнявом дяде Васе Репкине думает, — я вспомнил, как дядя Вася Репкин однажды на Первое мая, *пьяный*, зайдя к деду Антону, сел около дедовой кровати, положил на нее голову и заснул тут же, а изо рта на белое покрывало стекали слюни. — Может, мама

думает, что я тогда был бы другой, если бы у меня был отец дядя Вася Репкин, и я бы сумел ее защитить от бабушки Лиды... Во всяком случае, так не колебался бы, что ей отвечать, не трусил так... Ну и пусть, пусть!.. А я такой уже есть, какой есть. Я, наверно, такой же скверный, как мой папа. Но ведь другим я быть не могу. И не буду. И не надо».

Я закрыл глаза. Голова немного закружилась, и я испытал наяву ощущения, которые испытывал до тех пор только во сне. А может, я немного и начал задремывать?.. Я увидел себя, но стоявшего при этом как бы от самого себя в стороне; очевидно, что это и есть я, но вместе с тем я же и наблюдаю сам за собой. Где стою, неясно, кажется, что где-то в углу, словно меня туда кто-то загнал. И вдруг я уменьшаюсь, делаюсь все меньше и меньше, да так неостановимо, что ничего не могу поделывать, не могу, как ни тужусь, остаться нормального размера. И тут я вижу, что кто-то большой и страшный надвигается на меня, наклоняется ко мне, и кажется, что сейчас возьмет меня в кулак и раздавит. Я попытался сопротивляться, отогнать это видение, не открывая глаз, переключить мозг на другие образы, но грудь теснило от жутки, и ничего не получалось. В страхе открыв глаза, я даже присел на постели. Никакого огромного чудовища не было. Только мама все также неподвижно сидела рядом со мной, не обращая на меня внимания, Я перевел дух, и страх холодом ушел из меня. «Нет, глаза закрывать я не буду», — решил я.

Я решил лучше думать о бабушке Насте, у нее спокойнее, уютнее. Даже суровый, раздражительный дед Антон, усики которого вечно топорщились, а ноздри почернели от нюхательного табака, который, чуть что, хватался за свой старый солдатский ремень, тоже был ничего себе, к тому же там была ведь и бабушка Настя, которая в таких случаях заслоняла меня, прижимая к себе и вертясь от деда, норовившего заскочить с другой стороны и добраться до моей задницы. Впрочем, такое случалось не часто, дед был просто «нравным», как его называла бабушка Настя, и обычно в домашние дела не вмешивался. Поэтому все там казалось милым и домашним. Даже в бабушкиных разговорах с угрюмым Ратниковым о Христе встречались добрые и правильные слова, во всяком случае, знакомые. Но странно, вспомнив речи Ратникова, я тут же представил себе его копьеподобный нос, длинные ногтистые пальцы, которыми он постукивал по столу или по своей тетрадке, и понял, что слушать-то его можно, но все равно с ним жутко, как с опасно больным, заразным человеком, который и тебе может передать какой-то свой тяжкий груз.

Одной страничкой из первого варианта его сочинения я долго пользовался как закладкой, и на этой страничке многое было верно написано. Я вообразил себе эту страничку и смог как бы даже читать, что там написано: «Несмотря на то, что Христианская церковь проповедует любовь между людьми (в этом она полезна для народа), Христианская церковь в другом, как учит нас марксизм-ленинизм и великий Сталин, вредна для народа, так как она, проповедуя смирение и обещая рай в загробной жизни, уводит народ от перестройки общества, в котором есть эксплуатация человека человеком. Проявлять смирение трудовому народу перед эксплуататорскими классами — это обрекать себя на вечную эксплуатацию. Верить в рай в загробной жизни — это так же глупо и вредно, как курение опиума. Но В.И. Ленин писал, что хорошее можно взять и у капиталистов. Полагаю, что хорошее можно взять и у Христианской церкви. Давно мы уже взяли такие христианские заповеди, как “не убей”, “не укради”, “не лжесвидетельствуй”. Они давно по существу вошли в наш уголовный кодекс. Предлагаю взять для блага всех народов в арсенал нашей социалистической нравственности заповедь “Возлюби ближнего, как самого...”» На этом фраза обрывалась, но смысл был понятен. То есть смысл фразы, но не всего отрывка, а вывод и вообще меня смущал. Разве буржуев и всяких других «классовых врагов» тоже надо возлюбить?.. Это было дико, непривычно, непонятно. Но уют бабушкинастиной комнаты все вбирал в себя, сводил на нет все чуждое мне, все непонятное и враждебное, примиряя с окружающим миром, делая его частью меня самого. И вообще *там* бабушка Настя была главной, основной, она все определяла.

Даже и ездили мы не к деду Антону, а к бабушке Насте. Так мама и говорила: «Поедем в гости к бабушке». Про деда в таких случаях мама просто не упоминала, потому что не от него зависело, принять нас или нет, а от бабушки. Он был *при ней*, и я ясно чувствовал, что, несмотря на всю мягкость, хозяйкой была она. А в молодости, судя по отрывочным маминим рассказам (в отличие от отца, любившего порассуждать о семейных традициях, мама была скупа на воспоминания), дед изрядно побуянил, держал семью в трепете, особенно когда — до революции еще — «в ямщиках ходил», ревновал бабушку, даже как-то, «сдуру», с топором за ней гонялся, «она все же образованнее его была, — поясняла мама, — и его это злило». Бабушка работала сельской учительницей, казалась, очевидно, деду недоступной, но дед был на селе гармонистом, «гармонью ее и улестил». Гармонь и вправду у деда хранилась, но, как он играет на ней, я почти ни разу не слышал. Видимо, не хотел волновать себя. Хотя песни петь любил, но без гармошки и в компании. Чаще всего

он пел: «Когда я на почте служил ямщиком, // Был молод, имел я силенку, // И крепко же, братцы, в селенье одном // Любил я в те поры девчонку». Я всегда думал, слушая эту песню, что он имеет в виду молодую бабушку Настю и себя. Только бабушка, слава Богу, осталась жива, а не замерзла в сугробе.

«В самом деле, — вдруг сказал я себе, — ведь о таком только в книжках пишут, а, оказывается, и взаправду бывает: ямщик и сельская учительница, своего рода неравный брак, а потом, постепенно, муж подчиняется облагораживающему влиянию жены. Вот у бабушки Лиды и папиного отца (которого я ни разу не видел: он умер, когда мне года еще не было, — и потому называл его про себя, как мама, Михаилом Сергеевичем, а не дедом) брак был равный, наверное. Оба ученые, профессора...» Хотя я знал, что разница и между ними была — в характере, мама об этом говорила: «Михаил Сергеевич был человек беспомощный в быту — ни гвоздя вбить, ни пуговицы пришить». И этим сильно отличался от умельца деда Антона. Мама считала, что бабушка Лида «нарочно» так делала, «культуривовала» его беспомощность, от всех забот освобождала, «едва ли не с ложки кормила», чтоб «над ним власть забрать». «И твоего отца так воспитала», — обычно прибавляла мама. «К тому же был Михаил Сергеевич ужасно доверчивый». Существовал семейный рассказ, почти предание, что однажды мама, уставшая от работы, учебы и пеленок, вытащила меня из коляски, гуляя со мной по берегу маленького пруда, и сказала сопровождавшему ее свекру: «Вот возьму и выкину Борьку в пруд, надоел он мне!» А Михаил Сергеевич испугался: «Дай, говорит, лучше мне Боречку». Пришел домой: «Ты знаешь, Лида, Анечка хотела Борю в пруд выбросить».

«Свекровь мне до это сих пор поминает, — иронически усмехалась в этом месте рассказа мама. — Уверяет, что я и в самом деле хотела это сделать. Это чтоб Гришу расстроить. Она меня, видно, чем-то вроде Анпалны считает. И Грише это пытается внушить».

Заметив, что воспоминания снова невольно привели меня к сегодняшней ссоре, я зажмурил глаза. И постарался вообразить себе Таньку Салову, которая мне нравилась и которая часто заступалась за меня в приятельских сварах. Но тут же припомнилось, что она «изменила» мне с Алешкой. Нет, уж лучше думать про Аллочку, смешливую Аллочку, из дома, соседнего с бабушкой Настей. Уж она была куда лучше Таньки Саловой. Она более достойна любви, чем Танька. Я постарался вызвать в воображении ее веснушчатое лицо и косички и почувствовать к ним симпатию. Как будто мне это удалось, но ненадолго, потому что мысли мои перескочили на Алешку, и я стал думать о нем.

Алешка всегда все умел, никогда ни в чем не колебался, в копилке у него было триста шестнадцать рублей, и он всегда поступал так, как ему хотелось. Отца у него не было, и мать, занятая своими надеждами снова выйти замуж, почти не обращала на сына внимания. Дед весь день проводил в институте, а на бабушку Алешка еще и сам покрикивал, что, я помню, приводило меня в состояние полного удивления. Я тогда был рад, что Алешка со мной дружит, хотя подражать ему не пытался, знал, что все равно не получится. Он был гораздо смелее меня и никогда поэтому не боялся показаться трусом. На нас часто нападали хулиганы из бараков, расположенных вокруг нашего «профессорского» дома, избивали, хотя чаще просто запугивали, налетая с криками: «Убьем! Профессора заср...е!» Обычно мы удирали, потому что они умели ударить без пощады, без опасения нанести увечье, ударить кастетом, кирпичом, палкой. Мы так не умели и убегали, но старались даже друг другу не признаваться в этом. Алешка никогда не стеснялся рассказать, как он удирал, но при случае он тоже мог бить без пощады. При этом он как бы ближе соприкасался с «бараками», везде в общем-то чувствуя себя естественно. Так, для него не было ничего особенного играть, скажем, в футбол с ребятами из бараков: мне это казалось изменой, да и побаивался я их, да и как же можно — сегодня играть, а завтра бить. Алешку это не смущало, жизнь он принимал достаточно легко. Зато он видел мое чересчур серьезное отношение к жизни и с удовольствием попугивал меня, рассказывая страшные истории, как в нашем парке «амнистированные» убили третьеклассника и как они его перед этим мучили, как в соседнем доме муж убил утюгом жену, тело разрезал на куски, положил в мешок и бросил в водопровод, а из кранов потекла вместо воды кровь, и так его нашли. Я знал, что он меня попугивает, *но все это происходило рядом*, и потому все равно было страшно, и я верил. Он мог, играя перед этим со мной, вдруг с кем-то против меня объединиться, нападать с обидными словами. Зашедшись от обиды, я клялся не говорить больше с ним, строил планы мести, а он через пару дней заходил ко мне как ни в чем не бывало, будто ничего и не было. И я примирялся с ним, даже радовался, что мы снова дружим. Его растворенность в жизни всегда была выше моей позиции соглядатая, человека со стороны. Он не был «королем», хозяином жизни, но он был всегда «свой».

Я себя хорошо и уверенно чувствовал только с книгами, там я становился самим собой и мог мечтать о всяких подвигах, о Танечке, как я ее поцелую, но сам-то знал, что никогда этого не сделаю и что поцелуй Алешке достался по праву. Но все равно я знал, что вот завтра я все-таки не смогу, увидев его, говорить нормально, что

морда у меня будет искривленная и фальшивая, и он это почувствует и наверняка с кем-нибудь объединится, чтобы дразнить меня: и я заранее ощутил то бессилие обиды, когда обижает тебя друг, которому ты не можешь ответить тем же. Я стиснул изо всех сил челюсти, припомнив, что в школе я увижу завтра и Хрычка, *главаря* «ребят из барак». Здесь Витюнчика не было, чтоб меня защитить, а приспособиться, как Алешка, и делать вид, что все в порядке, я не умел; настороженность в общении с Хрычком выдавали мою опаску и чуждость, и я тем самым нарывался на постоянные угрозы и побои. Никогда не забуду, как я раз опаздывал в школу и бежал, но вдруг увидел впереди себя лениво плетущегося в школу Хрычка с приятелем — и вот я замедлил шаг и пошел столь же медленно, как они. Это было стыдно, унижительно, но я ничего не мог с собой поделать. И когда Хрычок на меня оглядывался, я тоже оглядывался в свою очередь, делая вид, будто я кого-то жду, потому и иду так медленно, останавливаясь по временам. А вы, де, идите, идите, мне до вас дела никакого нет, я просто так... Тут меня догнал Алешка, и я обрадовался, да и он тоже. Но и Хрычок, повернув свою волчью физиономию, узнал Алешку и крикнул: «Здорово, Алексей!» А Алешка к моему изумлению тоже так, по-приятельски, ответил: «Привет, Толик!» И мы, подчиняясь жесту Хрычка, догнали их. Алешка догнал с готовностью. Я шел сбоку и молча слушал разговор; тогда-то я, кажется, и понял, что вне нашего двора *они* Алешку не трогают, а также и то вдруг тогда впервые понял, что Алешка вовсе не считает *меня* своим лучшим другом, как его считаю я: он не заметил или не захотел даже обратить внимания на мое нежелание догонять Хрычка. Нет, я никому не нужен и иду, одинокий, по жизни, горестно подумал я, вспомнив все это. Да и какое дело мог я ему предложить, чтобы ему было со мной интересно? Никакого дела, только чтение книжек, а чтение — процесс, как известно, весьма индивидуальный. Так что обижаться не на кого, только на самого себя, что я какой-то не такой.

Ведь и в школе, подумал я, отношение ко мне как к *не такому*. Не случайно Марья Ниловна с девочкой из седьмого класса, председателем совета дружины, перед Новым годом прорабатывали меня за то, что я, вроде бы *начитанный* мальчик, не вношу ничего нового в жизнь пионерской дружины, *не становлюсь пионерским заводилой*, и, хотя не уклоняюсь от поручений, но и не напрашиваюсь на них. «Ты можешь стать настоящим человеком, только обретя самодисциплину, — говорила Марья Ниловна. — А пока ты тряпка, симпатичная тряпка. Ты никому не грубишь, но ты и никого не уважаешь. Ты беспокоишься только о себе. Но ты ошибаешься, если думаешь,

что этого никто не замечает. Мы все молчали и наблюдали за тобой. Считали: одумается парень. А сейчас разговор серьезный. Кто ты? Ведь у тебя во всех классных делах нет собственной точки зрения. Ты во всем предпочитаешь отмалчиваться. Но если ты хочешь иметь верных друзей среди пионеров своего класса, *ты должен занять собственную точку зрения и вступить в общие ряды*. Ведь ты наплевательски относишься ко всем. Свое мнение ты считаешь выше всего. Нет, ты не обливаешь никого грязью, но ты и не обращаешь ни на кого внимания. Ты, видимо, любишь на диване лежать и книжки читать. Все для своего удовольствия. У тебя совсем нет привычки к работе для других. Ты должен понять, что это последний раз мы с тобой так мягко разговариваем». А девочка из седьмого класса подтверждающе и сурово кивала головой.

«Все правильно», — подумал я. Во всяком случае, несмотря на обиду, я был убежден, что все правильно: этот первый экскурс в мою психику от сознания вины казался мне удивительно пронизательным, и я снова и снова думал с самоуничижением о том, какой я гадкий и эгоист и какая в этом правда, раз я со всех сторон неправ. «Все правильно. Вот никто со мной и не дружит, и я никого не люблю, и меня никто не любит. Ну и пусть! Пусть! Я и еще сквернее могу быть. Мама вот не знает, какой я плохой в школе, а в школе не знают, до какой степени я не могу выбрать определенной позиции, это бабушка Лида правильно сказала. А я вот возьму и соединю: дома скажу, какой я в школе и как у меня нет и не может быть друзей, а Марье Ниловне или даже на совете отряда расскажу, какой я дома слабовольный, пусть знают. А тогда, когда все узнают, я возьму и уйду из дома! Или лучше умру! Заболею и долго буду чахнуть, а на все вопросы, что, мол, с тобой, буду отворачиваться к стенке, и лекарств из их рук принимать не буду, буду гордо молчать. Пусть тогда они все терзаются, и мама, и папа, и Марья Ниловна... А я так и умру, ничего им не сказав, почему я умер... И они тоже будут плакать и никогда, никогда меня не забудут. Вот, например, как... как... как... Зойку Ратникову...»

Зойкой звали убитую дочку Ратникова. Я разговаривал с ней раз или два. Один-то раз точно. Она мне показалась очень грудастой и очень бледной, развившиеся кудряшки шестимесячной завивки делали ее словно еще бледней, чем она была на самом деле. Я выходил из коридора в сени, а она как раз спустилась в те же сени по лестнице второго этажа. «Ой, какой хорошенький, — запричитала она, увидев меня. — Ой, к тебе не подходи. Ты чей такой? Ты к бабе Насте приехал?» Очевидно все же, что я видел ее и раньше, потому что сразу узнал в ней Зойку Ратникову. «Дай-ка я на тебя

посмотрю поближе», — она схватила меня руками за плечи. Я отворачивался, вывертывался, криво усмехаясь: я знал, что Зойка — «дурная девица», хотя и не понимал, что это значит, но думал, что, во всяком случае, бабушка Настя меня похвалит, когда я ей расскажу осуждающим тоном о Зойкиных «приставаниях». С крыльца в сени тем временем вошел Витюнчик. Увидев сцену, он развязным таким тоном прикрикнул: «Отцепись от него, шалава! К малолеткам уже пристаешь?» — «Без тебя разберусь», — отвечала Зойка, но отстранилась от меня. «Как же! Разберешься! Жди-пожди! Я те, суку, научу свободу любить», — Витюнчик крепко схватил Зойку за руку. Она безнадежно попыталась вырваться: «А ты не сучься, не на такую напал. Пусти, тебе говорю!» — «А ты не боись! Я тебя пока не трогаю... И буферами не при... Но в другой раз с Васькой Сопатым увижу, смотри тогда у меня, бля!» — «Не очень-то и испугалась», — Зойка дернула руку, вырвалась и быстро ушла на улицу. Я никогда раньше не мог взаправду представить ее мертвой, что ее уже нет, не мог представить небытие. Это было непостижимо. Ведь я же с ней разговаривал. Куда она могла деться? Как будто и не было. Как трава. Родилась, потом скосили, и все. Новая ведь вырастет. Сколько много скашивается, и все равно растет. Целые поколения, а кто их через сто лет помнит? И я понял, что Зойку все забыли, и вспоминают лишь, чтобы по ошибке, случайно, Ратникову не напомнить: потому таким ужасом прозвучала хамская фраза Витюнчика сегодня вечером, когда он пьяный ввалился звать к себе деда Антона.

Я почувствовал, что у меня застучали зубы, но мама не услышала. Мне совсем расхотелось умирать. Неужели и мне придется так же?... Очевидно, пытался я деловым, объективным тоном успокоить себя. Но стало только хуже. Как? Я, вот такой, как я есть, с этими знакомыми мне руками, ногами, лицом, мыслями, вдруг бесследно исчезну? И меня больше не будет? Зачем же тогда я появлялся? Как же это несправедливо! Мысль эта вдруг показалась так мне страшна, что я забыл и родительские ссоры, и Алешку, и Танечку Салову, и тем более Хрычка. Видимо, именно тогда в первый раз заняли меня эти вопросы о *смысле* жизни.

Жить так, чтоб тебя помнили? А надо ли мне, чтоб меня помнили, раз меня не будет? Надо! Надо! Но зачем? Кому это надо? Мне? Утешение слабое. Все равно ведь *меня* не будет. С такими бабушками, дедушками, родителями, с таким одним и совсем другим, но тоже моим домом, с такими испугами, страхами, книгами, размышлениями, с таким никому не передаваемым опытом жизни... Неужели это все уйдет? Немыслимо. И то, что я всех так люблю и, кажется, понимаю... И моя обидчивость...

«Неужели же им меня не жалко?» — непонятно о ком подумал я. Стало ужасно грустно, горько. Я начал было всхлипывать, но тут же прервал это занятие и толкнул маму, потому что после легкого стука дверь в нашу комнату тихо приоткрылась. Затем в комнату вошел дядя Лева.

Глава VII

Фотопортрет

Бабушкин фотопортрет на эмали («под Ермолову»), насколько я могу судить по сохранившимся обломкам, был коричневатого тона, в деревянной рамочке, обшитый зеленым бархатом. Я отчетливо помню, что на портрете сразу бросались в глаза прямая фигура, чуть откинута назад голова, длинное темное платье и набрякшие веки без ресниц. Затем уже замечались нос с легкой горбинкой, большой властный рот и сцепленные, переплетенные пальцы рук без колец. Я так себе по этому портрету и представлял в детстве бывших курсисток, которые оказались, повзрослев, общественными деятельницами. Останки этого фотопортрета до сих пор хранятся в семейном архиве среди старых писем и фотографий. На старом, пожелтевшем уже бумажном пакете крупным, почти детским, бабушкиным почерком, красным карандашом (она любила не простые, а именно красные толстые карандаши, 4 ММ, фабрики им. Сакко и Ванцетти) написано: «Портрет на эмали Лидии Андреевны Обручевой, разбитый в порыве злобы и ревности А.А. Кузьминой, урожденной Рябушихиной». Это, стало быть, мамой. Но я-то знаю, что если бы не дядя Лева, то ничего подобного в тот вечер бы не случилось.

* * *

Свет верхний был уже выключен, горела только настольная лампа у моего изголовья. Поэтому, когда дядя Лева вошел, тут же закрыв плотно за собой дверь, его темная фигура слилась на момент с густой тенью в углу двери. Но он не остался там, а зашагал прямо на освещенную часть комнаты. Колени его, как всегда, слегка подрагивали и подгибались, перхотные волосы распадались на две стороны длинными прядями. Он и тогда уже носил свой излюбленный красно-коричневый вязаный свитер (в свитерах мало кто в те годы ходил) и очки с толстыми стеклами. Под мышкой он зажимал

какие-то бумажные листочки, свернутые в трубочку. Неуклюжий, потряхивая толстым уже животиком и поводя толстыми боками, он, тем не менее, попытался подойти грациозно, чтобы ловко и, как ему представлялось, светски поцеловать маме руку.

– Здравствуй, Анечка, – согнулся было он, – мы с тобой еще сегодня не здоровались.

Но мама, не вставая, отдернула руку за спину.

– Парламентера прислали?

– Ну что ты, что ты, Анечка! – забормотал дядя Лева. – Я так, сам зашел. Надо поговорить. Это очень важно и для Гриши, и для тебя.

– Это о чем? О том, что ему со мной развестись надо? – хрипло засмеялась мама.

– Да, и об этом, если хочешь. И об этом.

Дядя Лева с самого детства поражал меня своей бесцеремонной прямоотой в иных случаях. Как будто ему при рождении не додали каких-то человеческих чувств, просто даже чутья, что ли. И не то чтобы он «резал правду-матку», был, скажем, суровым ригористом. Нет, он весь извивался, мягкое, расплывающееся тело его колебалось, но все, что он говорил в такие моменты, было как-то чудовищно бесцеремонно. Словно другой человек выступал, неумный и злой.

– Вон оно как, – сказала мама. – Что ж, Гриша сам не мог мне этого сказать?

– Что ты, что ты, Анечка, он и не знает, что я такое на самом деле скажу. Он думает, что я мирить вас пришел, а я совсем с другими целями.

Его откровенная, отчасти даже детски, наивно-хамская бестактность, похоже, вроде и маму обезоружила поначалу.

– Ну что ж, говори. Ну? Что же ты хотел сказать?

– Анечка, ну нельзя же так сразу. Человек ведь не машина. Мотор включил – и поехала. Человек существо тонкое. Я вначале хотел с тобой *вообще* поговорить, по существу проблемы.

Мама снова засмеялась.

– Ну, конечно, сразу так в лоб – это ведь неинтеллигентно.

Дядя Лева приходил к нам домой много раз спустя и после этого случая, дружба его с отцом была долготелая, и формально даже не прерывалась еще много лет, хотя, когда лет через десять дядя Лева начал выпивать уже «по-черному», он практически перестал у нас бывать, но все равно еще считался другом семьи. А когда я начал с отцом *говорить* (мы вели обычно длинные нескончаемые разговоры о высоких проблемах, о людях, о судьбах и направлении развития истории), я самоуверенным тоном юнца, которому ясно мерещи-

лось его высокое *предназначение*, грубо так цедил: «Твой Лева совершенно спившийся человек. Он никогда ничего не создаст».

Отец старался приучить меня к объективности и доброжелательности: «Нельзя, Борис, так говорить о людях. Никому не известен скрытый смысл его деятельности. Дядя Лева вовсе не плохой человек. Во всяком случае, он как раз всегда хотел быть полезным людям и был среди прогрессивных людей не последним человеком. Быть может, из самых талантливых даже. Он очень много и сейчас знает, и в общем-то просто случилось так, что он *растратил* себя. Но, видишь ли, это как-то из лучших побуждений получилось. Он удивительно верил всегда в прогресс, в то, что постепенным накоплением в мире разумных слов и разумных малых дел можно создать разумную атмосферу, без катастрофических порывов и прорывов. Но правильно ли он к этому шел? Это и вправду вопрос. Ведь он раскидывал свои идеи налево и направо, и сколько на его идеях докторских было защищено всеми этими сидорчуками, вараксиными и гамнюковыми. А сам, заметь, даже не кандидат. Ему важно было, чтоб разумная, на его взгляд, идея была высказана, а кем — это и не столь важно. Писал статьи и за свое начальство, не брезгуя черной работой. Потому что те отдельные здравые мысли, которые начальство принимало, ему казалось, в начальственных устах могли прозвучать весомей и «принести больше пользы». Это для него оправдывало многое. Он хотел объединить всех умных людей и ради этого готов был унижаться, оскорблять, просиживать с казавшимся ему умным человеком дни и ночи. Оставил двух жен и до сих пор не женат. Ты, может, и не знаешь, но он и меня хотел с твоей мамой развести. Он считал, что так я смогу отдавать больше сил и времени работе. В этом, я думаю, он ошибался». «И не только в этом», — бурчал я, но ничего больше не говорил, потому что, во-первых, был не очень уверен, что тот случай имеет отношение к разговору, а во-вторых, боялся, рассказывая, разрушить легенду, что бабушкин портрет в тот вечер *сам упал* со стола и разбился. Бабушка Лида в легенду не верила, но папу, кажется, нам с мамой удалось убедить.

Тогда, после маминых слов об интеллигентности, дядя Лева нахмурился, сморщился:

— Вот видишь, как ты, однако, нехорошо говоришь. Но я могу, могу тебе все сказать, даже хочу, с этим собственно и шел. Ты вот не понимаешь, что Гриша себя в жизни попусту тратит, а ведь ему уже больше тридцати. Самый творческий возраст. Он целыми днями проводит с тобой, с Борисом, вместо того, чтобы заниматься, читать, писать. Даже с Ратниковым каким-то разговаривает из твоей «вороньей слободки». Это он мне сам рассказывал, я не выду-

мываю. Что за Ратников? Какой-нибудь недорезанный церковник, небось, хотя Гриша и говорит, что он ему напоминает начетчика-старообрядца. А что в этом хорошего?.. Впрочем, в сторону это, я отвлекся. И хоть бы вы жили нормально, хоть бы ты ему условия для работы могла создать, а то ведь и этого нет. Живете, как кошка с собакой. Как сказал Шекспир, «нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Если уж такие вы разные по своим истокам, то разойдитесь. Ведь Грише работать надо.

– А мне?.. – оборвала его мама.

– Что тебе? – переспросил дядя Лева.

– А мне работать не надо?

– Конечно, надо, Ты и работаешь. Но, Анечка, ты должна понимать, что есть разные *уровни* работы. Грише дано быть пролагателем новых путей. И не только в науке. Ему же дан дар пророческий и умение схватывать сразу суть проблемы. Это редкое сочетание. Ты же помнишь, какой он был в школе. Поэт, оратор, комсомольский вождь. Он же людей увлекать за собой может. Мы тут сидели летом у Кости (так звали усатого с черной повязкой через левый глаз), ну *после того, как к Эренбургу беседовать ездили*, и говорили, говорили обо всем, а главное, о том, как жить стране дальше, ведь Эренбург нас все уговаривал, что *посмотреть* надо, и мы в большой растерянности вернулись. Сидим, молчим понуро... А Гриша, Гриша встал вдруг и запел «Интернационал», вот как! Понимаешь? И мы стояли и пели, с вдохновением, у меня даже холодок по спине пошел. Он же *этим все* сказал. Саму суть. Без лишних слов заставил нас суть прочувствовать. Видишь ли, наступает наша эпоха. Наше поколение выходит на авансцену истории. Потом будут спрашивать, а что они такого сделали, создали. И мы должны быть ответственны перед историей.

Дядя Лева перевел дыхание и присел на краешек стула, отодвинув его предварительно к противоположной стенке. Мама молчала. Тогда он снизил тон и заговорил доверительно.

– Я тебе, Анечка, одно хочу сказать. Мы все можем что-то делать, и потому каждый человек важен, но Гриша, пожалуй, единственный из нас, который *может многое*, если себя не растратит и пойдет с друзьями. А ты его этими бесконечными ссорами с Лидией Андреевной до коммуналки низводишь.

– Почему это я? Это ты с мамочкой его поговори.

– Нет, нет, Анечка. Лидия Андреевна понимает Гришино предназначенье, она всегда в него верила.

Дядя Лева потянулся и снял со стола одностомник Маяковского, сорокового года издания, всегда лежавший перед или рядом с бабушкиным портретом; книгу эту отец всегда хотел иметь под рукой.

— Не случайно она здесь лежит, — дядя Лева погладил обложку. — Грише всегда важно было жить в духовном, высоком мире. Это его кумир. Но ведь ты знаешь, что на титуле тут написано, я недавно ненароком глянул и поразился.

И хотя мама кивнула, дядя Лева открыл обложку и с вдохновением таким прочитал:

— «Дорогой Гриша! Это том избранных произведений твоего учителя в поэзии. Но самый великий учитель — это страна Советов, созданная самоотверженной борьбой трудящегося народа, под гениальным руководством Ленина и Сталина. Пусть этот светильник человечества вдохновляет тебя на великие, героические дела. Твоя мать. Двадцать второго августа сорок первого года». Это ведь поразительно, — он положил книжку на стол. — Если убрать отсюда *одно имя* — я про усатого говорю, — я и сейчас под этими словами вместе с Лидией Андреевной подпишусь. Здесь, в этих словах, ни грама фальши! Сам дух чист! А о духе я и говорю, его-то и надо нам сохранить. И Лидия Андреевна в себе этот дух несет, пусть не все она теперь понимает. Ведь как другие матери посылали своих детей на войну? Бельшишко, табачок, водочки, если можно, а главное — береги себя, сохрани себя... А здесь — на фронт Маяковского! Конечно, Сталин — это, повторяю, ошибка, но принцип, принцип! Ты вот, когда тебе придется Бориса в армию провожать, так себя вести не будешь, уверяю тебя!

— Еще бы, у меня все-таки сердце есть, — неуверенно пробормотала мама.

— Сердце!.. Сердце и у курицы есть. И у любой деревенской бабы тоже сердце есть. Разве я об этом говорю сейчас?! Я о другом совсем. Я о том, что Лидия Андреевна понимает Гришу, а ты нет. И никогда, я думаю, не понимала и не поймешь. Тебе просто это не дано. Тебя волнует дом, семья, ребенок. И, скажи по правде, ведь работа для тебя не *дело жизни*, а просто способ существования? А? Как, впрочем, и для большинства женщин. В конце концов ведь и с твоей генетикой разберемся. Но согласись, что ты могла бы и зоологией, и эмбриологией, и еще не знаю, что там у вас есть, заниматься. Ты все же *не живешь* этими проблемами, как живет Гриша своими, а Лидия Андреевна своими.

— Да уж, — с каким-то робким и неуверенным отрицанием в голосе прошептала мама.

— Точно, точно! — увлекаясь, заговорил дядя Лева. Он поднялся и, говоря, заходил по комнате. — Ты бы хотя бы должна была заботиться о Грише как следует. Не хочу себя приводить в пример, но, когда я на Инге женился, то моя первая жена, Ленка (ты ее пом-

нишь? Она за Степаном сейчас замужем), специально ездила ей объяснять, как надо за мной ухаживать. Понимаешь? А ты знаешь ли, чем Гриша живет?

— Носки я ему во всяком случае стираю, — съязвила мама.

— Да разве в носках суть, Анечка! Как у Маяковского: «Любовь заменяете чаем, а также штопкой носков». Заботиться, ухаживать — вовсе не значит носки стирать! Главное — это духовное соперничество. А Грише сейчас тяжело, у него кризис, и это в такое время, когда так нужны все думающие головы.

— Какой еще там кризис?

— Вот видишь! — словно бы обрадовался дядя Лева. — А ведь я с этого начал, с этим и шел к тебе. А ты, мало того, что не знаешь, ты даже и с моих слов не заметила. А между тем так нелюбимая тобой Лидия Андреевна это видит, замечает, тревожится, и меня даже попросила помочь Грише, и даже листочки эти дала почитать...

И тут он достал из подмышки свернутые в трубочку листочки, которые прижимал все это время плотно локтем. Но мама не потянулась за ними, как он ожидал. Она сидела и смотрела на дядю Леву, и непонятно было даже, думает она о чем-нибудь или нет, во всяком случае по лицу это не было видно. Это, видимо, отчасти озадачило дядю Леву.

— Ты чего? — спросил он. — Даже пугаешь. Сидишь как такой славянский сфинкс. Тебя все это не интересует? Ну, разумеется, это все интеллигентские бредни! Вот о том-то я и говорю!

— В семье кризис. Везде кризис, вот и в семье у нас, — вдруг бухнула неожиданно мама. — Ведь мы в сорок третьем поженились. Двенадцать лет жили, и ничего. И годы какие трудные прожили.

— Всюду и везде оттепель, Анечка! А у вас вот — черт знает что. Поверь — с Гришей и вправду что-то неладное творится. Он положительно на грани безумия находится. Вместо того чтобы делом, понимаешь, делом заниматься, писать статьи, читать нужные книги, он в самокопание ударился. Нет, нет, Лидия Андреевна права: его спасать нужно. Ты прочти эти листочки, он их уже месяц как таит от матери и друзей, и тогда поймешь, почему я от тебя жертвы хочу, и ты эту жертву должна принести, если мужа хоть чуть-чуть, хоть каплю любишь еще. На, возьми, — и он почти насильно вложил листочки маме в руки.

— Да вы с Лидией твоей Андреевной меня вполне замещаете. Зачем мне еще его любить? — сказала мама, но листочки взяла и положила под лампу.

Я встал на колени и склонился через мамино плечо над столом. Листочки были исписаны мелким малоразборчивым папиным по-

черком, но в тот раз я почему-то все смог прочесть. Как будто само читалось. Увидев, что я тоже читаю, дядя Лева заволновался:

— Борису не стоило бы этого читать, не для него это все же.

Мама подняла голову:

— Ах ты, Господи, какая деликатность!.. Кто бы мог подумать! А то, что он сейчас слушал, для него?!

Дядя Лева так сразу и отступил, расплылся в полутьме комнаты. Похоже, слова мамы неожиданно подействовали на него.

— Аня, прости, я был не прав: конечно, при мальчишке не стоило бы всего говорить. Но не усугубляй моей оплошности, не надо!

— Ах, оплошности!.. Знаешь, шел бы ты отсюда, — несмотря на смысл слов, тон их был как-то спокоен, ровен.

— Но...

— Никаких «но». Я не хочу больше с тобой говорить.

— Но я хотел бы листочки назад получить...

— Для отчета? Не волнуйся, я их не съем. Как-нибудь уж найду способ вернуть их. Тебе или твоему другу.

Кого мама имела в виду, отца или бабушку Лиду, я не понял, не понял, думаю, и дядя Лева, однако он начал отступать спиной к двери, толкнул ее задом, выскочил и тут же проворно притворил дверь за собой.

* * *

Листочки эти тоже так и остались в семейном архиве, и я могу привести здесь написанный на них текст полностью.

«Дорогая мамочка!

Я обращаюсь к тебе, хотя, очевидно, листков этих тебе не покажу. Но я всегда со всеми вопросами обращался к тебе, даже не к папе, и привык к этому. Ты ведь знаешь это, и не будешь поэтому сердиться, что я от тебя утаиваю это мое письмо. Я тебе писал из армии и делился всеми трудностями и радостями нелегкой военной жизни, твердо веря, что ты — настоящий ученый, преданная большевичка, негибаемая, любимая моя мамочка — все понимаешь и всегда мне поможешь. И ты помогала. Когда я думаю о тебе, то всегда представляю тебя либо стоящей на трибуне и выступающей с бескомпромиссной речью (как я тобой в таких случаях гордился!), либо сидящей за столом — уже ночь, все спят, только горит твоя зеленая лампа и ты подбираешь конспекты, что-то выписываешь, готовишься к завтрашней лекции, а я притворяюсь, что сплю, но сам потихоньку из-за подушки гляжу на твою слегка наклоненную над

столом голову. И вдруг ты оставляешь дела и подходишь поправлять одеяло на своем дитяти, сколько бы лет ему ни было: десять, пятнадцать, двадцать. Да и сейчас я для тебя по-прежнему дитя. Поэтому я и начинаю письмо обращением к тебе. То, с чем я могу обратиться к тебе, не всегда скажешь Ане. История и философия ее не очень-то интересуют. Во всяком случае, рассуждать о метафизических проблемах она не любит. А ты, моя милая мамочка, и биолог, и историк науки, и философией науки занималась; и с тобой я могу говорить о многом, хотя по многим вопросам и думаю уже иначе.

И все же я себя спрашиваю, почему я тебе не покажу этого письма? Во-первых, я *для себя* пишу, *сам* хочу во всем разобраться. А потом, это во-вторых и очень важное во-вторых, я чувствую, Аня воспримет это как предательство по отношению к себе. Если бы ты знала, до какой степени мне тяжело, что отношения у вас так разладились. Я очень ссорюсь с Аней из-за этого, но ничего не могу поделать!.. Я помню, как Аня когда-то, когда еще в армию ко мне приезжала и я ей о тебе рассказывал, хотела походить на тебя, стать таким же нестигаемым человеком, сталинцем и настоящим ученым. Как, когда, почему все изменилось – не понимаю! Ужасно, просто ужасно! Но именно поэтому я и не хочу, чтобы кто-нибудь читал мои записки: это будет снова выглядеть предпочтением. Но ты меня знаешь лучше, поэтому, обращаясь к тебе, я могу многого не объяснять, что мне самому про себя и без того ясно.

Ты знаешь, что я всегда мечтал о славе, думал стать поэтом и в историки пошел, чтобы лучше понимать жизнь, меня окружающую. Без солидного научного базиса настоящим поэтом не стать – так мне казалось, и ты мне всегда это говорила. Теперь я думаю, что просто поэтический талант был у меня неглубок, что не случайно наука полностью почти что вытеснила мои поэтические занятия. Но, мечтая о славе, я, как ни странно, никогда не думал о бессмертии, бессмертии в буквальном смысле слова, личном бессмертии. Жил, по существу, как муравей. А теперь эта мысль точит меня неотвязно. Что я есть? В школе – первый поэт, оратор, секретарь комсомольской организации, горлан, агитатор. В армии – всегда на отличном счету. В университете то же самое. И всегда-то жизнь за меня знала, что мне делать, куда идти, а я в тех местах, куда меня бросало, просто старался быть первым. И, похоже, был. Может, так лучше всего жить: с чувством, что жизнь тебя ведет, что ты ее избранник. Помню, даже в детском саду я был всегда уверен, что я на особом счету, что ради меня во время мертвого часа (выражение-то какое чудовищное!) приходят сидеть именно в нашу группу нянечки и воспитательницы. Потом санаторий в Форосе. За что? За какие

заслуги? За мать, за отца. Но, казалось, что и мной это тоже заслужено, что избран я кем-то. А теперь произошел сдвиг, вывернулись суставы у времени, и по-другому невольно все стало видеться. Знаешь, я вдруг ощутил себя один на один с мирозданием. И это тяжело, тяжело для самого существования. Человек один не может быть. Не почему-либо. Просто не может. И вместе с тем, оставаясь человеком, он не должен растворяться в толпе, это я нутром тоже ощутил, ощутил уникальность единственного, уникальность человека, любого человека. Ведь сколько погибло людей на войне, да и просто так. А каждый – огромный мир! Неповторимый. Как это чудовищно, что я только сейчас это осознал.

У Аниных родителей есть сосед – некто Ратников. У него дочка была, ее убили какие-то хулиганы. Я ее несколько раз всего и видел, думал про нее, что шалава, мусор, накипь городской окраины: со временем переделаем всех таких. Да и Ратников, и Анина родня – обыватели, воронья слободка, мешане, стало быть. Я и сейчас думаю, что я живу и буду жить по-другому, чем они, иначе. Но теперь я эту Зойку, дочь Ратникова, все вспоминаю, так и вижу ее лицо с выпирающими вперед верхними зубами, кудряшки шестимесячной завивки, ее зеленую кофточку с вышитой вульгарной розочкой. Зачем она жила? Красилась, пудрилась, бегала на танцуйки, хороводилась с местной шпаной – и вот убита, нет ее больше. Зачем же все это было?

Когда я так думаю, мне очень тревожно становится – за себя, за Аню, а главное – за Бориса. Я ощущаю тогда каждого из нас, как человека, вдруг попавшего в роскошный (хорошо, если роскошный) дом с бассейном, прекрасной библиотекой, богатой оранжереей, добрыми друзьями и т.п. И всего на полчаса. Этот дом, собственно и есть жизнь. Что делать? Броситься читать книги, но зачем? Всего прочесть не успеешь, да и как-то глупо тратить недолгое время пребывания в прекрасном доме на чтение. Плескаться в бассейне? Посещать оранжерею? Беседовать с друзьями? Поглощать вкусные яства?.. Хватаешься за все сразу и ничего не успеваешь. Но, быть может, это и хорошо: по крайней мере, останутся воспоминания. Однако это если ты спустя полчаса еще будешь существовать, а если нет? *Мыслимы ли подобные воспоминания, коли нет личного бессмертия?* Ведь если даже воспоминаний не останется, то самому неясно, был ты, не был. Сколько таких, как я, побывали на Земле – а кто их помнит? Какая-то величайшая несправедливость – поманить радостью жизни и тут же все забыть! Что я, растение, что ли?! Чем-то я все же выделен из растительно-животного мира... ну, разумеется, человек – существо общественное... но это родовый человек! Но и

род переходяш, как, впрочем, и само человечество. А я, лично я, чем из бесформенного мира выделен?

Знаешь, например, что писал Кант? “Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И то и другое мне нет надобности искать как нечто окутанное мраком или лежащее за пределами моего кругозора; я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования. Первое начинается с того места, которое я занимаю во внешнем, чувственно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет связь, в которой я нахожусь, с мирами над мирами и системами систем, в безграничном времени их периодического движения, их начала и продолжительности. Второй начинается с моего Я, с моей личности, и представляет меня в мире, который поистине бесконечен, но который ощущается только рассудком и с которым (а через него и со всеми видимыми мирами) я познаю себя не только в случайной связи, как там, а во всеобщей и необходимой связи. Первый взгляд на бесчисленное множество миров как бы уничтожает мое значение как животной твари, которая снова должна отдать планете (только точке во вселенной) ту материю, из которой она возникла, после того, как эта материя короткое время неизвестно каким образом была наделена жизненной силой. Второй, напротив, бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа, через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от чувственно воспринимаемого мира, по крайней мере поскольку это можно видеть из целесообразного назначения моего существования через этот закон, которое не ограничено условиями и границами этой жизни”. И меня поразило, что Кант, рассматривая человека как личность, как мыслящее существо, тоже не может смириться с кратковременностью существования Я, с его естественным появлением и таким же естественным исчезновением и апеллирует к моральному закону, который может открыть человеку жизнь, не зависящую от чувственно воспринимаемого, то есть материального мира, придавая человеческому существованию смысл и тем самым как бы снимая все пространственно-временные границы материального, земного существования. Но из всех этих моральных построений следует вера в Высшее существо, так называемое “шестое доказательство” бытия Бога. Ты успокойся, однако: я в Бога все же не верю. Не могу поверить. Видимо, воспитание не то.

Во всем этом мне чудится гигантский самообман человека и человечества, которое само по себе существовать словно не может, и

потому как бы негласно договаривается о правилах игры (то есть о вере в Бога), позволяющих оставаться людьми и чувствовать себя на особом положении в природе. Это все оттого, что человек есть загадка. Плоть, имеющая неизвестно откуда взявшийся дух. Но и не это главное, я ведь не о мире и не о времени, даже не о себе. Очевидно, если сказать точнее, меня мучает не проблема личного бессмертия, а моя человеческая несостоятельность. Что я передам сыну? Вот от этого чувства ответственности я не могу избавиться. *Если бы я верил*, мне было бы за него спокойнее.

Я не капиталист и не могу передать ему дела, дома, банковского счета, я не мастеровой и не могу передать ему мастерства, которое могло бы ему помочь, когда перед ним откроется необъятный и неучитываемый мир жизни, и судьба будет поворачиваться разными сторонами, и нужна будет точка опоры. Научить стихам? Чтению книжек, вернее, любви к чтению? Возможно ли это? Очевидно, такое должно передаваться естественно, органично... По наследству... Да нужно ли это? Какая от этого польза? Могу ли я сказать и предположить, что мои книги, книги, на которых выросал я, станут книгами моего сына? Это значит, что я могу – в лучшем случае! – передать ему только свой душевный настрой и направленность. Не задаюсь вопросом, хорошо ли это!.. Меня смущает, что нет у меня в руках того мастерства, которое могло бы послужить ему в жизни опорой. Я ведь даже языков иностранных не знаю – ни одного. Разумеется, и он тоже. А ты и папа знали несколько. Но вы всегда говорили друг с другом по-французски или по-испански, когда желали что-то скрыть от меня. Я к этому привык и даже не прислушивался к вашим «языковым» разговорам. Так прервалась возможная традиция семейного полилингвизма. И теперь и я, и мой сын сидим у разбитого корыта. А ведь еще Маркс писал, что язык – это оружие в жизненной борьбе. Получается, что я оставляю сына безоружным. Потому что язык – это единственное мастерство гуманитария, которое он может передать по наследству.

Я в тревоге и сердце у меня не на месте, когда я думаю о Борисе. С мальчишкой что-то случилось, мне не совсем понятное. Быть может, конечно, возраст такой. Каждое слово – наперекор. Каждый жест – обида. Он обижается постоянно по всякому поводу и без повода, на самый пустяк. Я кричу на него, ругаюсь, Аня тоже. Ему кажется, что все против него. И я, и Аня, и ребята с улицы, и школа. Ты вот не знаешь, а он ночами плачет, что-то говорит – только что не бредит. На днях плакал: “Не кусайте, не обижайте меня”. Аня его будит: “Боречку, что с тобой! Проснись, кто тебя обижает?!” “Все, все”, – плачет. А вчера того хуже. Слышу ворох

с его кровати, подхожу — одеяло сброшено, глаза закрыты, лицо напряжено, а сам бормочет, почти не разжимая губ и таким нераскаянным, но испуганным тоном, какой у него днем иногда бывает: “Извините меня, я больше так не буду”. Какие же сны ему, оказывается, снятся! Даже во сне он оправдывается непонятно перед кем. А ведь это я, его любящий отец, ругаю, браню и шлепаю его!.. Мне кажется, у него чувство затравленного зверька. А мне нечего ему дать, нечем увлечь его! Что я могу делать! Разве что всегда честно говорить во всех случаях, что думаю. Но не только с нами — он и со сверстниками никак контакт не найдет. Я даже с его Алешкой пытаюсь заигрывать, да и с другими ребятами его возраста — чтобы как-то сделать ему друзей, настолько он все время один. И — ничего не получается. Он все равно один. И на своих приятелей обижается, как на нас. Они, естественно, не прощают ему, как мы. И не играют с ним, чувят слабинку и дразнят. И от этого его духовная зависимость в результате от всех этих дворовых мальчишек и девчонок. Я ничему не могу его толком научить, спортом я не занимаюсь, и он меня повторяет в этом: вот и с детьми в спортивные игры не играет — боится опозориться.

Говорить ли о причинах? О тех, которые на поверхности и в глаза бросаются? При нем ссоры, мы его часто одергиваем, он хамит, потому что мы хамим друг другу — пример заразителен. Что делать? Как от всего этого избавиться, всего этого избежать? Я понимаю только одно, что мне не нужна никакая самореализация, о которой твердит Левка, говоришь ты, пока я вижу такое. Время человеческое бежит так дико и поспешно. Так неужели на такой короткий, дьявольски насмешливый по своей малости промежуток, мы приходим на Землю, чтобы ссориться и ненавидеть друг друга?! Вот что ужасно. Ведь речь идет о моем сыне. Но что всего ужаснее — я не могу ничего придумать, как все это исправить. И получается, что я опять ничего не могу решить сам, как упрекает Аня меня все время, а обращаюсь за помощью к тебе, прошу у тебя совета.

Но я решил и решения не изменю: обращаясь к тебе, я писал для себя, и письма этого я никому показывать не буду. Постараюсь разобраться сам.

Любящий тебя твой сын Гриша».

* * *

Сейчас, перепечатывая на машинке это письмо, я невольно вспоминаю и сызнова переживаю свое тогдашнее ощущение, по-

сле того как мы с мамой кончили читать. На меня прочитанное вдруг очень подействовало. Мне даже захотелось плакать, так себя стало жалко. Да и отца тоже. Значит, не я один такой!.. Значит, отец тоже об этом же думает. О жизни и смерти. Но, может, это оттого, что мы с ним оба какие-нибудь не такие. И значит, эта похожесть — очень плохая. У меня заболела правая сторона головы, и к горлу подступила дурнотная тошнота. Я прилег на подушку, но тут же снова сел. Хотел сказать маме, но остановился. Мама, не произнося ни слова и не вставая с моей постели, протянула руку, рывком открыла ящик стола, сунула туда листочки и с силой его захлопнула. Минуту помедлила, потом повернула ключ, проверила, крепко ли ящик заперт, достала из замочной скважины ключ и опустила его в карман халата. Лицо ее было бледнее, в полумраке казалось — темнее, серее сейчас, чем за весь тот день. Губы совсем почти в одну линию превратились.

— Ма, ты чего? — едва осмелился спросить я.

— Это надо же, — прошептала неожиданно мама свистящим шепотом. — Что же это получается? Я одного не могу, нет, не могу понять — как же он все-таки дал ей письмо? Или она выкрала, или вокруг пальца обвела, глаза отвела, так наколдовала, что сам принес? Она может. Это совершенно бесчестный человек. Это не человек даже, это демон, Люцифер, ведьма гоголевская. Я не удивлюсь, если она оборачиваться умеет. Не случайно, когда мы с Гришей поженились, мне сон приснился, что меня змея укусить хочет. Помнишь, я тебе рассказывала? И вдруг Гриша меня по голове как стукнет! Тоже во сне. Оказывается, ему тоже приснилось, что к моей голове змея подползает, и он хотел ее кулаком убить. Это она была. Она уже тогда не хотела нашего брака. И тебя не хотела, чтобы ты родился. Нет, она оборотень. Да что я тебе рассказываю! Ты и сам знаешь. Сколько раз тебе по ночам змеи снились? Вот она к нему змеей и проползла и все выманила.

— Но ведь это же его мама... — попытался я внести в этот мистико-коммунальный кошмар рационалистическую нотку.

Но не очень уверенно. Змеи мне снились часто, и, хотя я себя уговаривал, что в городе они водиться не могут, что им неоткуда взяться в нашей квартире, каждый почти раз, ложась в постель, я прежде заглядывал под стол, под свою и мамину тахту, за шкаф, ругая и стыдя себя и все равно заглядывая. Засыпая, закрывая глаза, я усилием воли старался отвлечься на какой-нибудь образ, который увел бы мою фантазию от до жути отчетливого представления, как из-под стола, извиваясь, скользит к моему изголовью черная гадюка. Поэтому стало мне не по себе, когда мама о змеях напомнила.

Но вместе с тем именно это упоминание придавало ее словам для меня какую-то полубезумную достоверность. Которую я и попытался возражением своим разрушить.

– Мама?! Да она и не знала, пока он не вырос, что у нее сын есть! Он же мне сам рассказывал, что он из пионерлагерей не вылезал, а зимой – лесная школа. Как же она его околдовала, однако! Откуда он эти сценки про одеяло взял – ума не приложу! Один раз, небось, поправила, вот ему и запомнилось. Один-то раз он дороже тысячи, потому что заметнее. А тебя укрывай не укрывай – вспомнишь ли? (Пауза и минутное молчание. Я не возражал, понимая, что всплыл в этой речи неповинно, а как вопрос к Будущему.) Она ведь деятельница, ей не до сына было. А теперь сын подросток, так надо его заграбастать, своим верным рабом сделать, от семьи оторвать. Чтобы ей служили все, она хочет, ухаживали, как за царицей! Она на любую подлость ради этого готова! Ух, как я ее ненавижу!!

Я никак не ожидал, что письмо и вся эта ситуация так взбудоражат маму. Но того, что произошло далее, я ожидал еще меньше, потому что привык, что в ссорах много злого говорится, но никогда не делается все же. А тут мама вдруг вгляделась в бабушкин портрет и воскликнула:

– Вот она! Уставилась, смотрит, следит своими змеиными глазками! Спрятаться от нее некуда!

И вдруг вскочила, схватила его и с силой бросила на пол. Полетели осколки. Я зажмурился, а потом свесился с кровати. Портрет был разбит, на полу куски коричневатой эмали, в целости осталась только деревянная рамочка, обшитая зеленым бархатом. Все это увидела и мама, в испуге прикрыла рот рукой, потом отвела руку и прошептала замирающим голосом:

– Все. Гриша меня убьет. Если он узнает, что это я разбила, он никогда не простит. Он убьет.

Маме аж воздуху не хватало. Она принялась поспешно и лихорадочно подбирать осколки и приставлять их друг к другу. Но ничего не получалось. Руки у нее тряслись. Тогда мне как-то впервые стало ясно, что папа действительно любил бабушку и что мама это понимала, и что поэтому ей и показалось, что она натворила нечто ужасное. Открылась дверь бабушкиной комнаты, и послышались шаги идущего по коридору отца. Я стал искать глазами тяжелые предметы, которые сгодились бы для защиты мамы.

Резко дернув дверь, вошел отец и тут же плотно притворил ее за собой. Лицо у него, однако, было не злое, а виноватое, пиджак как-то криво свисал с правого плеча.

– Что тебе говорил Лева? – заискивающе-испуганным голосом спросил папа. – Надеюсь, ты понимаешь, что я тут ни при чем.

– Понимаю, – неожиданно покорно согласилась мама, не зная, как и чем загладить, искупить, сделать так, чтобы отец ничего не заметил, а и заметив, простил.

Ни слова еще не было сказано об исповедальной записке, от внутренней неловкости и смущения говорить вслух о чувствах достаточно тонких. Быть может, околицей речь бы и зашла об этом («когда писал?», «почему не показал?», «как к матери твоей попала?» и т.п.), но тут отец заметил лежавшие на столе осколки эмали и деревянный остов фотопортрета и, похоже, сразу обо всем догадавшись, начал меняться в лице.

– Что это?.. Как это?.. Кто это?.. Кем это?.. – не договаривая фраз, фальцетом забормотал он.

– Упала со стола, вот и все... Стол качнулся, фотография и упала... Я же не виновата, что она эмалевая... – сбивчиво и пространно заторопилась мама. – Что же, портрет твоей матери заколдован или привинчен?.. Никто его и не думал трогать...

Чем больше мама говорила, тем меньше отец ей верил, но – это я могу теперь предположить – он был в растерянности, как ему поступить.

– Это *ты* разбила. *Нарочно!* Тебе фотография эта покоя не давала!.. Ты хотела ее выкинуть, вот и разбила!

– Мало ли что я в гневе могу крикнуть?! Ты в раздражении и сам бываешь несдержан, – юлила и *врала* мама, и я, видя это, понял еще раз, как она напугана. И еще я видел, что отец сдерживается, *желая* ей поверить, иначе все, конец, *разводиться* надо. О разводе родители в ссорах твердили часто, но сейчас возник реальный и грозный повод. Для папы это было, как для верующего – икону разбить. Не совсем так, конечно, но по первому приближению похоже.

Почти интуитивно и одновременно вполне сознательно я подумал, что только я, именно я могу вывести ситуацию из состояния сверхнапряженности, которое ничем не могло разрешиться, кроме глубокой ссоры. Я очень хорошо помню, что сознательно решил заплакать, зная: отец всегда тревожится, когда я плачу.

Так и было сделано.

– Ты чего, Боречка?.. – сразу присел ко мне отец. А я плакал, плакал взхлеб, надрываясь, всхлипывая, что-то выкрикивая и снова заходясь в плаче. Меня словно прорвало, и почему-то плакалось совсем без натуги, но при этом в голове сидела и цель плача, которую я не забывал ни на момент.

– Что же, фотографии и упасть нельзя? – выкрикивал я сквозь всхлипы мамины слова. – Мы и не думали ее трогать!.. Почему, почему, почему вы все время ссоритесь?! Из-за каждого пустяка!.. Уж и уронить нельзя! Бабушка что, Бог, что ли?.. Ничего нельзя, ничего не скажи!.. Я не хочу так жить! Не хочу, не хочу, не хочу!..

– Ну, успокойся, Боренька, успокойся, милый мой, сынок мой любимый! Конечно, пустяки, все это пустяки. Не плачь так!

Но, выговорив нужное, я разрыдался всерьез.

– Ну успокойся, успокойся... Издергали тебя совсем! Можно я тебя поцелую, милый ты мой, – целуя, он попробовал губами мой лоб – так родители проверяли, не заболел ли я.

– Аня, тебе не кажется, что у Бориса температура? – тон уже спокойный, даже ищущий примирения. – Может, поставить ему градусник?

Сквозь слезы я видел, как мама, стоявшая со сжатыми от напряжения в кулаки пальцами, словно распрямилась и послушно кинулась к аптечному ящику, висевшему на боковой стенке шкафа.

– Не хочу, не хочу, не надо, – отпихивал я отцовскую руку с градусником, испытывая сладкое чувство обиды, оттого что все вокруг заботятся и волнуются. «Значит, сами понимают, что *дове-ли*». Слезы стояли у меня в горле, и плач то вспыхивал, то затихал, но никак не мог прекратиться. Забыв почему-то первоначальную причину слез, я теперь на все лады переворачивал и лелеял ощущение всехней вины передо мной, понимая вместе с тем в глубине себя, что стоит отцу перестать меня успокаивать, как плач пройдет, хотя, быть может, горечь на сердце еще на время останется. Однако, растрavляясь, думать заставлял себя следующим образом: «Не хочется отцу, небось, с плачущим сыном сидеть. Сейчас, конечно, вид сделает, что дает мне время и возможность успокоиться. Вот и встает уже, будто и вправду поверил моему «не надо». Ну и пусть!»

– Ну не надо так, не надо. Спи спокойно, – папа еще раз поцеловал меня, поднялся, поглядел на маму и сказал:

– Собери, пожалуйста, в пакет все осколки. Я завтра пойду к мастеру – может, удастся починить. Склеить или как еще.

Мама согласно кивнула головой, и отец вышел. Но мама ничего не стала делать, она легла на свою тахту и закрыла лицо. И лежала молча долго. А я вдруг с удивлением и стыдом, сквозь обиду и невыплаканные слезы, подумал, что расплакался вполне искренне и всерьез, как маленький ребенок, хотя сначала решил просто притвориться и разжалобить папу. «Неужели сфальшивил?» Эта мысль не оставляла и мучала меня, пока я засыпал.

Глава VIII

Ночной кошмар

Затем я не то спал, не то бредил. Это было то состояние полудремы, когда мысли набегают, налезают одна на другую, суетятся, спешат, мешаются, путаются, один образ сменяется другим, и, как во сне, невозможно ни один ухватить и поразмыслить над ним. Размышления поэтому случайны, непоследовательны, их то и дело теряешь, огорчаешься, неожиданно что-то формулируется и оформляется в устойчивый некий образ, но через мгновение снова размывается и сменяется другим.

То мне чудилось, что я спорю с отцом о смысле жизни и нахожу верные, убедительные слова и отец одобрительно улыбается и кивает головой, и мне это приятно. Я даже сценку запомнил, пригрезившуюся тогда, как я прибегаю с улицы после игры в снежки и лазания по снежной крепости, весь насквозь промокший: и шуба, и рейтузы, и чулки — сплошь мокрые, вытряхиваю снег из валенок, так что в коридоре образуются лужи из тающего быстро снега, но, не обращая внимания на мамины упреки, я стремлюсь в папину комнату, где с порога начинаю с пафосом излагать идею, зачем живет человек, и, судя по его реакции, говорю нечто очень умное, поскольку он восклицает: «Молодец! Хорошо, интересно думаешь! Сам дошел?» И улыбается моим возмущенным криком. «Сам дошел?» — означает, что хорошо придумал, такая своеобразная похвала, и я на самом деле не обижаюсь. Но вдруг я вижу, что лежу в постели, что беседа пригрезилась, что соображения и идеи какие-то о смысле жизни и вправду были, а вот какие — не помню. Мучительно напрягаюсь — и безуспешно. Все ускользает.

То казалось мне, что я сижу на диване рядом с мамой, и мама говорит мне о бабушке Насте, какая она добрая и безропотная, и что если бы не бабушка Настя, ездившая почти каждый день *сидеть со мной* (хотя бабушка Лида и бывала дома, но мной не занималась), то мама вряд ли бы сумела закончить университет. И, представив себе идеализированный образ бабушки Насти, пучок с заколками, ее черный головной платок, бородавку на щеке, переваливающуюся «утиную» походку, я, привалившись к маминой руке, засыпаю — и во сне мне кажется, что мама переносит меня, как маленького, в мою постель, и в душе становится покойно и хорошо.

Но ненадолго. Потому что приснилось мне, что все до сей поры было сном, а теперь я не сплю и вижу, как из-под шкафа, перекрывающая дорогу к отступлению — к двери, выползает, тихо шипя, подняв

голову с длинным раздвоенным язычком, *черная гадюка* и, извиваясь, ползет на середину комнаты. В ужасе я повернул слегка голову, но так, чтоб змея не заметила моего движения, и стал с замиранием тела, с ощущением его беззащитности следить за черной гадюкой. Ощущение у меня было приблизительно такое же, как и при чтении гоголевской «Майской ночи», когда ведьма черной кошкой, стуча когтями по полу, пробирается к панночке. Но усиленное раз в десять. Я и в самом деле был почему-то уверен, что змея — это ведьма или ее орудие, по ее повелению действующее, и кто она, эта ведьма? «Быть может, бабушка Лидя?» — подумал я маминими словами. Но змея в ее ужасной реальности и телесности отстранила всякие мысли, кроме непосредственного страха.

Змея, покачиваясь, смотрела на меня, на маму, как выбирала. Настольная лампа уже не горела. Но, несмотря на темноту, видел я все вполне отчетливо. Я хотел крикнуть, но не смог. Во-первых, непонятно кому, во-вторых, только внимание на себя обратишь гадючье. Змея вздрогнула, словно вздохнула, и заструилась к маминей постели (шанс из комнаты выскочить — папу позвать, а как же мама пока, она же спит, змеи не видит, та ведь ее укусит!...). И я дико закричал, с надрывом: «Мама!» От этого крика мне показалось, что я, наконец, проснулся: поначалу с чувством облегчения, но вдруг увидел, что все так и есть, как было во сне, значит, я и не спал вовсе. Почему же мама никак не проснется и не заметит, какой кошмар творится?! А змея на мой крик повернулась и ко мне заскользила неостановимо, с пастью, щелочкой приоткрытой. И вот уже она совсем рядом, — я сначала вжался в подушку, потом эту подушку в нее кинул, кинул, понимая всю призрачность подобной защиты, понимая, что только еще больше раздражил змею, что теперь она мне не только за предупреждающий крик мстить будет, но и за подушку. Тогда я вскочил с диким воем, как был в пижаме и с голыми пятками, которые, казалось, так змее доступны, и сердце у меня замирало, колотилось и выскакивало вверх через горло... Я хотел выскочить в дверь и одновременно был уверен, что гадюка нагонит меня. Смерть приближалась, у меня перехватило дыхание... И тут я и вправду проснулся, весь в поту, сердце колотилось, голова буквально плюснулась в подушку, влажную не то от слез, не то от слюны, зубы плотно вцепились в наволочку; не разжимая зубов, я быстро открыл глаза, и страх отступил.

Горела настольная лампа, мама тихо спала, даже пледом не укрывшись, стол, стул, шкаф — все было на месте, подушка под головой, а на полу — пусто, никакой змеи и в помине нет. Я встал на четвереньки, свесил голову под диван — никого, заглянул под шкаф — никого,

под стол, под мамину тахту — никого. Тогда я спустил ноги на пол, подошел и укутал маму пледом. Затем вернулся, перевернул у себя подушку, лег, укрылся одеялом. На будильнике — только еще начало двенадцатого. «Главное — не спать! Только не спать!» Но мысли путались, глаза тяжелели, и только они закрывались, как из-под стола выползла змея, и я вновь в ужасе открывал глаза и изо всех сил тарачил их и тер, чтобы не уснуть.

Однако в какой-то из моментов сонные мысли потекли и поплыли к новому бреду, хотя я и уговаривал себя, прижавшись щекой к подушке: «Хорошо бы оказаться сейчас у бабушки Насти. Вот уж где *покойно*», — употребляя любимое бабушкино словечко, подумал я. Мне тогда почему-то казалось, что покой этот происходит от тесноты и малости ее комнатки, оттого, что бабушка поэтотому поневоле все время рядом со мной, близко, и там нет места страху. Только одно там бывает неприятно, когда много гостей, даже странно, как они умудряются уместиться на этих четырнадцати метрах. Так что о тамошних гуленых гостеваньях мне вспоминать не хотелось. Но, как назло, когда не хочешь о чем-нибудь думать, именно это и лезет тебе в голову. Я попытался вообразить себе тихий и уютный вечер с бабушкой Настей, но раздраженное и растревоженное состояние души мешало мне. И в мозгу закружились образы, назойливо и непрошено пролезшие не на свое место: представилось что-то вроде застолья у бабушки Насти, причем так ярко и отчетливо, словно сейчас происходило. Я не мог понять, сплю или нет. Если это и был сон, то более яркий и отчетливый, чем сама действительность.

Как будто удалось мне непонятно-волшебным образом, спасаясь от змеи, пронестись, не очень замерзнув, над снежным пространством, отделявшим меня от дома бабушки Насти. То ли сапоги-скороходы, то ли еще что... Пролетая, узнавал я дорогу, которую видел обычно из окна автобуса: шоссе, аллею лиственниц с присыпанными снегом черными грачиными гнездами на верхушках, железнодорожный переезд, продовольственный магазин из красного кирпича... И, наконец, знакомый двухэтажный домик. Опрометью проскочил я по коридору, и дверь, чпокнув, впустила меня в жаркую, распаренную комнату. Змея осталась где-то далеко позади, хотя и не прекратила погони — это я знал — но здесь много народу и кажется безопасней, да и дверь к тому же плотно прикрыта — ни щелочки, чтоб проползти.

У бабушки Насти почти все родственники собрались: и дядя Коля с тетей Симой, и сестра бабушки Насти со своим сизоносым мужем, и еще из деревни приехала длинная и плоская сестра деда Антона, которая притулилась у шкафа, не снимая своей жакетки из

черного плюша. Друг напротив друга оказались тут почему-то Ратников с Витюнчиком. Лицом ко мне помещались папа с мамой, в дальнем углу стола Анпална и дядя Вася Репкин, а во главе стола восседал дед Антон. Бабушка Настя подавала к столу крупную вареную картошку, обходя с большим чугуном гостей, каждому сама кладя на тарелку по две или три картофелины. Закуска стояла на столе зимняя: нарезанные дольками соленые огурцы, селедка с колечками репчатого лука, залитая подсолнечным маслом и уксусом, и квашеная капуста. Колбасу и сыр уже почти доели. Пахло водкой и пивом. Пять или шесть бутылок водки, уже открытых и початых, бутылок шесть пива и среди них бутылка рислинга «для женщин» занимали середину стола. Бутылки три пустых — на полу около сундука. Дед Антон макал черный хлеб в селедницу, где предварительно размешал в масле и уксусе горчицу; его глаза, под очками на веревочках, блестели, лицо лоснилось.

Пройти было некуда, и я остался стоять спиной к стенке рядом с дверью. Меня никто не замечал, и я не знал, как обратить на себя внимание, а потому молчал и слушал разговоры.

Дядя Коля, в расстегнутой в вороте белой рубашке, склонился над столом и, протянув руку, с бесцеремонностью и поучающей снисходительностью *полковника*, тыкал пальцем чуть ли не в лицо отцу, с трудом выговаривая слова:

— Чего же это ты, Гриша, не пьешь? Брезгуешь нами? А зря. Здесь есть люди и образованные... Вот ты *ду ю спик англиш*? А я *ай ду*. Я на тебя не обижаюсь, ты с профессорами рос, твоя мать и сейчас профессорша. Но у нас, Гриша, все равны, и из простых людей мы выросли, а родителями своими тоже не гнушаемся. Мы ведь здесь все свои, родная кровь, и ты тоже в нашу семью вошел. Не обижай нас. И бабу Настю не обижай. Давай за бабу Настю *водочки* выпьем.

Папа накрыл ладонью свою рюмку:

— У меня еще вино не допито.

Эта мягкая твердость вдруг выделила его резко из пьющих, и я ощутил неприязнь к дяде Коле, который пытался заставить *моего* папу что-то сделать, чего он не хочет.

Поднялся дядя Вася Репкин, с рассыпающимися соломенными волосами и покрасневшими крыльями носа, и вызывающе (так мне показалось) решил подчеркнуть перед мамой (хотя обращался к бабушке Насте) чуждость отца ее родителям и свою к ним близость.

— Нет уж, Настасья Егоровна, пусть он за тебя *водочки* выпьет!

Анпална закивала головой, как бы подтверждая требование мужа. Отец, молча и примиряюще улыбаясь, поднял свою наполовину налитую светлым вином рюмку. Дядя Вася махнул рукой, про-

глотил содержимое своего лафитничка, подхватил огурец вилкой, жевал его и сел. Затем громко сказал:

– Э-эх! И пить-то с тобой неинтересно! А ты, Аня, куда смотришь? Неправедно своего мужика воспитываешь. Он у тебя прямо как нерусский!

Он еще налил себе водки и повернулся к дяде Коле:

– Давай с дядей Антоном по-нашему, по-простому!.. И ты, Витюнчик?.. Давай, давай. Вон и Иван Михалыч (это сизоносый родственник) сказать что-то хочет. Ну, вали, говори.

Сизоносый шурин бабушки Насти, отталкивая пытавшуюся задержать его жену, хотел приподняться, но не сумел. И, сидя, вдруг дисканточком заголосил:

Средь высоких хлебов затеря-алоя
Небогатое наше с-село!..
Гор-ре гор-рькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.

Все засмеялись. Для песен время еще не пришло.

– Ты, Иван Михалыч, еще выпей и помолчи, – перебил его дядя Коля. – У нас ведь тут только Анин муж не пьет. Ты вот поешь, а он вдруг тебя за это возьмет и осудит!..

– У каждого свой обычай, – поджав губы, сказала бабушка Настя, как будто и желая защитить отца, и все же с досадой и осуждением в голосе.

Все казалось, как в плоском черно-белом кино. Темные галстуки, белые рубашки, расстегнутые пиджаки черных костюмов, серые платья, белая водка, бледные добела лица, и только красный отсвет абажура угрожающе мерцал в комнате. Отец неловко улыбался и, видимо, не чувствовал той обиды и унижения, которые за него явно испытывала мама, о чем, как я понимал, еще предстоял дома разговор. Расплескивая из рюмки водку, снова полез сизоносый Иван Михалыч продолжить песню:

Ой, беда приключилась страшная!
Мы такой не видали вове-ек!
Как у нас, голова бесшабашная,
Застрелился чужо-ой челове-ек!

– Душевная песня, – перебивая его, рычал дядя Вася Репкин и тянулся чокаться и целоваться.

Толстые женщины тоже захмелели, и их говор потек громче, хотя все так же неразборчиво. Сестра деда Антона в черной плюшевой жакетке и платке вытирала рукой слезы, почему-то катившиеся у нее из глаз, и вскрикивала время от времени:

– Мужики, не надо ссориться!

– Аня! Иди сюда, – призывно махал рукой маме дядя Вася Репкин. – Муж-то, поди, надоел, а старая любовь не ржавеет! А ты, Гриша, это знать должен, ты же ученый! – Выглядел дядя Вася таким уверенным в себе и залихватским добрым молодцем.

К моему удивлению, мама не обиделась, а рассмеялась вполне дружелюбно, более того, встала и подошла к дяде Васе. И Анпална как-то поощрительно хихикнула. А он уже обнимал маму за плечи, заставляя жену сдвинуться, усаживал на стул рядом с собой. «Конечно, он когда-нибудь нравился маме, и они дружили в детстве», – думал я. Но все равно взрослая вольность поведения была мне непонятна, я вдруг почувствовал себя оскорбленным непонятно почему.

– Сколько вместе за водой ходили! А? Помнишь, Аня? – кричал дядя Вася на весь стол, привлекая к себе внимание. – Ведра на коромысле носили. Нам есть что вспомнить, ты в этом не сомневайся, Григорий Михалыч! У нас, извиняюсь, совместно детство-юность прошли. В одном доме жили, в одном дворе росли! – Он прижимал к себе маму за плечи, весь красный и самодовольный. Волосы у него были редкие, от пота слиплись, лицо лоснилось.

Анпална сидела теперь сумрачная, но молчала. А мама, увидев недовольное и помрачневшее лицо отца, неожиданно резко встала, сбросив с плеч руку дяди Васи.

– Не пушу! – заорал было тот, но мама уже сидела рядом с отцом, и, снова махнув рукой, ее бывший «ухажер» вернулся к песне.

И тут я заметил, что сидевший спиной ко мне (невидимому никем) Ратников, как и отец, тоже не пьет. Я видел только его левое ухо и очертания длинного носа, но ясно понимал, что он не пьет. А заметив это, я углядел сразу и то, как он дергает головой, словно вглядываясь в своего визави, Витюнчика, и услышал шепот его:

– Сколько раз прощать брату моему?.. До семи ли раз? А убивцу дочери моей? Укрепи мя, Господи! Без Тебя правды никому не найти! И мне грешному тоже. Без Тебя остается самому сыроядцем стать. Как узнать душу живую среди сего сонмища смрадного, где малолетний убивец нераскаянный, аки взрослый тать, водку хлещет?..

Заглушая Ратникова, прорезался снова голос Ивана Михайловича; ему уже вторили – надрывно-слезный бас дяди Васи Репкина и компанейский тенор дяди Коли:

Суд наехал, допросы, тошнехонько...
Догадались деньжонок собрать...
А-асма — трел его лекарь скорехонько
И велел где-нибудь за-копать!

Мама положила папе руку на локоть, он ей улыбнулся.

Засмотревшись на певцов и на то, как дед Антон ломтем черного хлеба промокает после водки рот, затем кладет его на стол, снимает нетвердым движением свои очки на веревочках и протирает их вытянутым из бокового кармана большим синим носовым платком — значительно и отчасти даже с патриархальной величавостью, я перестал следить за Ратниковым и опомнился, лишь услышав его спор с отцом.

— Хрю — хрю-хрю! — кричал пьяный Витюнчик, икая и почему-то страшно веселясь, и указывал пальцем на Ратникова.

А Ратников мрачно и сосредоточенно, но не очень громко говорил, обращаясь к отцу и словно никого больше не замечая:

— Вы, Григорий Михайлович, человек грамотный и потому должны согласиться, что представлять себе Бога, способного жарить бесконечно грешников на огне, — это религиозная неумянность. Никакой разум не согласится быть на роли Сатаны и злых духов, это специально придумано Богом для нравственного смысла. Я верую в Высшее Существо. Вы человек неверующий. Но полностью отвергать Бога и Библию нельзя; моральный облик человека и прощение — это истинно. Многое в Библии кажется непонятным. Но это все истинно, Богу понятно все, и все будет понятно нам после смерти, и поэтому критика священных писаний не умна.

— Яков Георгиевич, а если все-таки бога нет? — вступила вдруг мама, произнося слово Бог с маленькой буквы. Для нее эта беседа была разрядкой долгого нервного напряжения. Ратников насупился, но ответил, торжественнее и поучительнее, чем когда говорил с отцом, уже почти не ввертывая ученых словечек:

— Как же так нет? Ты вникни. Как бы мы могли искать Его, если бы у нас Его не было? А? Откуда бы могло взяться в духе нашем такое искание, если бы сам дух наш был мирского и плотского происхождения? Не-ет, Бог есть, и он в духе нашем, или, говоря по-научному, в нашем сознании. Через Бога происходит личное спасение и совершенствование души.

Отец положил руку маме на локоть, удерживая ее от возражений, и слушал тихо, как бы говоря маме, что пусть ты и я и не согласны, но каждому человеку надо дать высказаться, выговориться. Ратников, это почувствовав, глядел уже не на маму, а снова на отца, ему втолковывая:

— Совершенствование есть здесь великое личное счастье, которое стыдливо прячется от людей в тайниках души. Совершенствование несет дух любви, как самого существа жизни и спасения. Поэтому я пришел к заключению сути, Григорий Михайлович, что нарастание добра есть не механический результат истребления зла и тем менее — злых людей, а плод внутреннего взращивания самого добра в себе и в других. Ибо зло есть небытие, пустота, выдающая себя за полноту; оно исчезнет, лишь вытесненное полнотой, которую я называю добром и человеколюбием.

Ратников замолк, только длинными пальцами своими постукивая по столу, и уставился в свою нетронутую тарелку.

— Яков Георгиевич, — осторожно начал отец, — ведь вы же сами раньше говорили и писали, насколько я помню, что не верите в богов, ни во Христа, ни в Будду, ни в Магомета. Вы говорили, что существует только какое-то высшее существо. Почему же вы теперь называете это существо Богом?

— Для удобства и для краткости обозначения, — незамедлительно отвечал Ратников. — Чтобы другим было понятно, что я изобрел то, к чему все люди всегда стремились. Привычное название облегчает и объясняет новое, но им можно и пренебречь.

— Видите ли, — снова приступил отец, постепенно увлекаясь, как всегда, — то, что вы говорите, это и вправду вопрос веры. Вы верите, я не верю... Наверняка здесь доказать ничего нельзя. В свое время необходимость веры имела историческое обоснование, вера в бога была необходима. Маркс писал, что религия претворяет в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью. Не лучше ли сейчас, когда это ясно, заниматься перестройкой мира, чтобы вернуть человеку его подлинную сущность. Упразднение религии, как иллюзорного счастья людей, есть требование его действительного счастья. Вы полагаете, что без Бога — или высшего существа, как хотите, — люди не сумеют образиться, стать добрыми, и что после смерти мы поймем истину религии, которая заключается в человеколюбии. А нельзя ли вообразить, что человек, осознавший кратковременность своего существования, увидевший впереди себя лишь *черное ничто*, поймет необходимость добра скорее, ибо почувствует свою слабость и одинокость и зависимость от добра других людей, он поймет также, что никогда не исправить ему содеянного на земле зла в другой — будущей — жизни, поскольку ни бога, ни бессмертия не существует. Впрочем, разумеется, сложность в том, что для такого осознания необходимо вначале пожелать бессмертия и смысла жизни, понять пределы и некие высшие цели и задачи человека.

— Стало быть, нужен Бог, — проскрипел Ратников.

— Что-о? Ты это что антисоветчину разводишь, Яков Георгиевич? — шуточно грозил пальцем через стол дядя Коля, лицо у него приобрело неестественно-добродушное выражение. — Бога проповедуешь? А мы на тебя сейчас ученого напустим! Ну-ка, Григорий Михалыч, поработай, дай ему по-нашему, по-марксистски.

Ратников, однако, опередив отца, возразил новому оппоненту:

— Ты, Николай, не вдумываешься и напрасно поддерживаешь мнение, что Бог и советская власть не совместимы. Бог сам придумал варианты власти, и народу именно решать, при какой власти ему жить; здесь нет никакого греха. Конечно, с исторической точки зрения Григорий Михалыч прав. Бог был нужен для объяснения добра неграмотным и диким людям. Поэтому тайна христианской церкви в том, что ее основная заповедь — «Возлюби ближнего, как самого себя» — есть закон человеческой природы, открытый во времена далекой древности мифическим Христом, или почти неизвестными добрыми и гениальными людьми, как и мифический Христос. А Высшее Существо просто подсказало древним людям форму религии для утверждения этого закона. А знаешь ли ты, что порождают заповеди любви к человеку, когда они овладевают массами? У нас почти нигде не сказано, а если сказано, то мало сказано, о том, что человеколюбие — это неиссякаемый источник жизни, что в атмосфере человеколюбия есть радость, здоровье, более мощный расцвет талантов, увеличивается производительность труда, улучшается качество продукции труда, уменьшается преступность. У нас почти нигде не сказано о том, что человеколюбие увеличивает уважение других народов к народу, который человеколюбие проявляет в своих деяниях. В христианских заповедях любви к человеку много прекрасного, мудрого, благородного. Поэтому они нужны для советской власти и укрепления мира между народами. В грандиозную борьбу за мир, проводимую нашей партией и правительством, мы все должны включиться, укрепляя мир в своей семье, в своем трудовом коллективе, с соседями по месту жительства. И это поможет нам лучше жить и трудиться на благо мира.

Ратников нахмурился и угрюмо вдруг огляделся. Он явно был раздосадован, что заговорил в большой пьяной компании, злился на себя и все более и более мрачнел, возвращаясь, видимо, к постоянным неотвязным своим воспоминаниям. Было видно, что больше ничего говорить Ратников не хочет и не будет: он весь подобрался, вслушиваясь в *нечто иное*. Но отец этого не заметил:

— Вот то, что вы сейчас о человеколюбии сказали, Яков Георгиевич, это очень интересно. Однако лучше поискать санкции добра

не у высшего существа, а посмотреть на земные механизмы установления этого добра. Это ведь возможно. Человек ведь, как известно, возник не божьим соизволением, а создавая культуру. Приобщаясь к ней, человек подавлял в себе инстинкты дикаря, эгоизм и своеволие, боролся с животным началом в себе. Быть человеком трудно, требуется и самоотречение и известная самоотверженность, борьба со своими злыми инстинктами. Строго говоря, добро противостоит естественности, потому что естество наше — животное. Конечно, на первоначальном уровне сознания необходим идеальный образ, следуя которому человек выходит из первобытной дикости...

Но слова отца шли попусту, Ратников и впрямь вдруг потерял интерес к разговору. Приоткрыв рот, он слушал песню, которую вот уже второй или третий раз пытались допеть до конца. Иван Михайлович блевал у шкафа, стоя на четвереньках перед ведром для малых нужд. Теперь запевал Витюнчик. Прочувствованным тоном он выводил куплет:

И пришлось нам нежданно-нега-адано
Хоронить молодого стр-релка
Без церковного пенья, без ла-адана,
Без всего, чем могила кр-репка...

Ратников отпихнул стул, бормоча что-то непонятное, вроде: «убивец нераскаянный», и полез к двери.

— Куда? Куда? Куда? Держите его! Яков Георгиевич, без посошка на дорожку не уйдешь! Эй, дверь приприте!.. — зашумел дружный хор.

Тут почему-то я стал видимый, и все наперебой закричали:

— Э, да тут Борис! Как, однако, вырос! Тебе сколько лет? В какой класс ходишь? Папу-маму слушаешься? Дай я на тебя погляжу! Да ты прямо орел! Налейте Борису сухого! Чай, в нас пошел, не в отца! Остановись, ребенку еще рано! Немножко никому не повредит! Учиться любишь? В футбол играешь? Ты за какую команду болеешь? Да-а, растут дети! Наша смена! Дайте ему стул! Пусть сядет! Давай, садись, Борис! Ты с кем рядом хочешь сидеть?

Но я уже, торопясь и запинаясь за стулья, пробирався на другую сторону стола, к родителям. Пройдя за спинами гостей сначала по сундуку, а потом по кровати, на которой обычно дремал дед Антон, я опустился на стул Витюнчика, который тем временем, как и Ратников, куда-то неожиданно исчез. Мне нужна была преграда стола между мной и дверью. Пока все кричали, мне вдруг отчетливо и с ужасом представилось, как медленно на крыльцо, по всем пяти сту-

пенькам, вползает откуда-то узнавшая мое местопребывание змея. И снова вернулось ощущение кошмара.

Поэтому, сидя рядом с родителями, я ничего почти не слышал и не видел — только то, как змея вползла уже черной лентой на крыльцо, вот уже извивается по сеним, минует лестницу, ведущую на второй этаж, и вползает в шелку входной двери, так и не прикрытую убежавшим Ратниковым. Можно бы броситься туда и припереть, раздавить гадину дверью, но понимаю, что у меня не хватит сил ни самому это сделать, ни даже вслух произнести об этом. Тем более, что оставалась еще надежда — в эту дверь, плотно прикрытую, она не вползет. Лишь бы не открыл ее кто по случайности! Вот змея уже в общем коридоре, вот уже застыла перед дверью, просительно шипя.

— Мама, открой дверь, там кто-то скребется, — повелительным таким тоном воскликнула тетя Сима.

Бабушка Настя открыла дверь, отступила в сторону, и змея, проскользнув мимо нее, по спинкам стульев бросилась к печке — погреться.

— Ишь ты, намерзлась животная, тоже тепла хочется, — благодушно, ни капельки не удивляясь, проворчал дядя Коля.

Анпална замахала было на змею рукой, чтоб она ползла прочь, но, взглянув на мужа, осеклась и села смирно.

А змея уже устроилась на высоком столике возле печки, свернувшись кольцом, отогреваясь и посматривая на всех холодными глазами. Я затаился, почувствовав вдруг, что защиты мне ни от кого из родственников не будет. Только отец и мать сидели застылые от недоумения и ужаса.

— Может, дать ей чего поесть? — обратился пьяный дядя Вася Репкин к бабушке Насте. — Голодная, небось... Ну-ка, Анечка, подвинь-ка сюда картошечки, а то у твоего мужа руки с перепугу к столу приклеились! Не бойсь, Гриша, животная не тронет, с ней надо только обращаться умеючи!.. Как думаешь, баба Настя, картошку она жрать будет?

Бабушка Настя пожала плечами и поставила перед змеей тарелку с холодной картошкой; видно было, что она терзается, не зная, чем накормить змею.

— Змея — это к разлуке, — с трудом выговорил Иван Михайлович, карабкаясь назад, на свой стул. А его жена, не вставая с места, громко заголосила:

Разлука ты, разлука! Родная сторона!..

— Отец, надо позвать кого-нибудь, — тронула бабушка Настя за плечо деда Антона, — чтобы ее забрали. В зоопарк, может. Чем ее кормить — только черт знает. Помрет еще, греха потом не оберешься.

Деда Антона змея, однако, чем-то не устраивала. Он протянул руку за сундук и, покопавшись там, вытащил свою клюку, взялся было за нее поудобнее, поухватистее, но его дернул за рукав зять, дядя Коля то есть.

– Пусть ее, Антон Гаврилыч. Оставь. Чего она тебе в самом деле, мешает, что ли? Лежит себе тихо...

Дед Антон начал было палку опускать, как змея соскользнула со столика возле печки и прямо по палке, по рукаву деда вползла на обеденный стол. И, осторожно протянувшись меж рюмок, бутылок, селедницы, холодного чугунок с картошкой, легко и свободно извиваясь всем телом по столу, двинулась ко мне. Раздвоенный ее язычок высовывался из полуразинутой пасти и свистящий шип наполнил комнату.

– Глянь! Как соловей на свой лад поет! Это ж песня ее, – обрадовалась чему-то тетя Сима.

А я почувствовал, что сейчас умру со страху, пусть она даже не укусит меня, а только коснется. Я не видел мамы, но видел, как отец вдруг вскочил и изо всех сил ударил кулаком по змее, но промахнулся, попал по блюдцу, которое разбилось, и отдернул на момент от стола залитую кровью руку. Воспользовавшись моментом, змея кинулась ко мне. И я ощутил, как вокруг шеи обвилось ее холодное, скользкое тело. Умирая со страху, я застонал и проснулся. Сердце у меня колотилось, волосы были мокрые, а лицо все горело.

Глава IX Болезнь

Я присел, опираясь спиной о подушку, а затылком о холодную, покрытую масляной краской стену. Стена была наружная, выходила на улицу, и в морозы это очень чувствовалось. Голова стала быстро остужаться. Горел ночник, и мама крепко спала, свернувшись под пледом. Никого, никого, никого! Ни на полу, ни в кресле, ни на столе... И я был дома. «Все это был сон, сон», – с облегчением выдыхая остатки страха, думал я. Но тут же невольно вообразив все, что пережил в этом сне, снова вздрогнул и подумал, что ехать к бабушке Насте мне расхотелось.

Я сидел и знал уже, что мне больше не заснуть, хотя на толстом зеленом будильнике всего двадцать минут первого. Из комнаты бабушки Лиды еще доносились голоса, хотя и неразборчиво. От оби-

ды и раздражения на свою невезучесть я даже дернул ногой, но это движение отозвалось в голове, словно быстро-быстро застучали по какой-то натянутой у виска жилке. «Мне же завтра в школу, в школу! Я должен уснуть!» — я съехал вниз, положил голову на подушку, но меня непонятно отчего замутило, и я был вынужден вернуться в прежнее положение. Стало совсем обидно — ну прямо все против меня... «Быть может, отменят завтра занятия, если ниже тридцати градусов будет», — с надеждой, что тогда отосплюсь, думал я.

Я протянул руку за стол, нащупал батарею, и по контрасту ощутил головой и плечами, какой жуткий мороз завернул на улице. Стена была очень холодной. Волосы уже высохли, внутренний жар страха и кошмара прошел, и, напротив, стало зябко. «Вот и хорошо!.. Заболею и в школу тогда не пойду...» В школу мне не хотелось — и даже не из-за Марьи Ниловны, а скорее из-за Хрычка. Мне не хотелось встречать его и снова бояться. И видеть, как предает меня Алешка. «А Алешке я скажу... Я должен ему сказать...» И в голову мне полезла и стала сама собой с очень удачными доводами сочиняться речь о дружбе, которую я ему произнесу, отозвав на переменке на лестницу или во дворе один на один. Я скажу ему, что настоящая дружба должна быть не такой, что за друга нужно стоять, как за самого себя. Вот Меркуцио — настоящий друг. Когда Ромео не мог драться — как он выступил на защиту его *чести*: «О низкое, презренное смирение! — декламировал я про себя с упоением, представляя, как буду это читать Алешке. — Его загладит лишь алла стоката. (Обнажает шпагу.) Тибальт, ты, крысолов, — что ж, выходи!» Но вот Тибальт сразил его шпагой из-под руки Ромео: «Я ранен! Чума на оба ваши дома! Я пропал. А он! Ужель остался цел?» Я попытался гордо приподняться, произнося эти слова, — голова снова сильно закружилась, и я откинулся назад, чувствуя ужасную дурноту. Но слова, вызубренные в свое время наизусть, цепляясь одно за другое, продолжали возникать в моем мозгу. Я не противился механическому этому повторению, тем самым надеясь преодолеть неожиданно возникшую слабость, дурноту, тошноту. «*Меркуцио*: Царапина, царапина пустая, но и ее довольно. Где мой паж? Скорей беги, негодный, за врачом! — *Ромео*: Друг, ободрись. Ведь рана не опасна». А дальше шла кульминация — самые грустные и трагические слова. «*Меркуцио*: Да, она не так глубока, как колодезь, и не так широка, как церковные ворота. Но и этого хватит: она свое дело сделает. Приходи завтра, и ты найдешь меня спокойным человеком. Из этого мира я получил отставку, ручаюсь. Чума на оба ваши дома! Черт возьми! Собака, крыса, мышь, кошка исцарапала человека насмерть!»

От этих слов, однако, мне стало совсем плохо. В висках застучало еще сильнее, в животе засосало и заныло, словно там образовалась вакуумная пустота. Комната перед глазами закачалась, стены словно сходились и расходились, соприкасаясь то углами, то плоскостями, как декорации в театре. Голова так кружилась, что казалось, нельзя пошевелиться, иначе вырвет прямо на пол. Я с трудом сглотнул слюну. Какие-то фигуры в белых одеяниях, танцую и кружась в хороводе, поплыли по комнате. Я узнал бледное Зойкино лицо с выпяченными вперед верхними зубами, долгоголовый череп Ратникова, мясистую ряшку Витюнчика, но тоже страшно бледную... Остальных я не различал, хотя хоровод кружил прямо перед моим лицом. От мелькания белых быстрых фигур заболели глаза, заложило почему-то уши. Вдруг одно из одеяний хлестнуло меня по щеке — я невольно поднес руку и дотронулся до кожи. Это прикосновение разбудило меня. В комнате было пусто. Я понял, что опять задремал.

Однако глаза болели, лицо горело. Я попытался снова на чем-нибудь сосредоточиться, чтобы прошла боль, — на каких-нибудь *размышлениях*. «Почему мне не хочется ехать сейчас к бабушке Насте? Почему? Там спокойно, сытно, никаких тревог... Ведь про змею мне приснилось... Мой любимый сундук, печка, длинные доски половиц на кухне, лампа с большим абажуром над столом в комнате, молчаливый дед Антон в своих неизменных подтяжках... Почему папа не очень-то любит бывать там?.. Хотя и ездит каждый раз, как мама зовет его... Ему скучно, скучно... Ему, видите ли, скучно... Зачем же он ездит? Почему беседует с Ратниковым и внимательно выслушивает его, хотя сам — уж я-то это знаю! — думает по-другому? Может, потому, что *там* это тот единственный человек, с которым ему любопытно? Ведь о еде и о выпивке папе говорить неинтересно... В таких случаях он только вежливо улыбается... А надо прямо сказать: ненавижу, не хочу, не буду! Ведь он же умнее их всех! И не хвалится, как дядя Вася Репкин, что был летчиком, что воевал... И потом, дяде Васе Репкину на *меня* плевать... Но ведь бабушке Насте не плевать?.. Конечно. Но все равно мне сейчас *туда* не хочется. Вот и все. Не хочется. А *здесь* хочется?..»

Меня знобило, трясло, хотелось стать маленьким и жалким, чтобы все меня любили и никогда не бранились. Но я подумал, что этого все равно не будет, завтра все равно кто-нибудь да найдет повод меня в чем-нибудь упрекнуть. И еще я подумал, что это не зря, это заслуженно. Я чувствовал себя виноватым перед всеми. И перед мамой, что чуть не «предал» ее в разговоре с бабушкой Лидой; и перед бабушкой Настей, что мало помогаю ей, как справедливо говорит мама; и перед бабушкой Лидой, что грублю ей (один случай я осо-

бенно припомнил: я дерзко ей что-то ответил, повернулся и ушел в нашу с мамой комнату, минут через пять я отправился на улицу и, проходя мимо открытой двери в бабушкину комнату, невольно заглянул туда и даже испугался, что я, оказывается, наделал, — бабушка Лида сидела за своим столом, прямая, строгая, как обычно, руки ее лежали на столе, а по морщинистому лицу текли слезы, и она их не вытирала; меня она не заметила, и я, испуганный, убежал скорее, но забыть этого случая так и не смог, потому что видеть бабушку Лиду плачущей мне ни до, ни после не доводилось); а главное — перед отцом, что смел даже в мыслях предпочесть ему какого-то дядю Васю Репкина. От стыда я закрыл лицо руками, затем отнял их, влез поглубже под одеяло, укутался и уткнулся лицом в подушку.

«Надо уйти, надо уйти из дома, — думал я, — навсегда уйти. Ведь я же никому не имею права в глаза смотреть». Я представил себе, как буду бродяжничать, все будут меня искать и жалеть, а я буду, рваный и обтрепанный, грязный, весь в морщинах и шрамах от плохой жизни, бродить где-нибудь поблизости, рыться в помойках, питаться чем придется, и никто меня не узнает, а злые дети будут мне вслед кричать: «Нищий дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует, спит под забором, зовут его вором!» И когда меня найдут или сам я найдусь, тогда все меня простят и поймут, что все мои дурные поступки были не потому, что я плохой, а просто так получалось по стечению обстоятельств. Но это будет только после того, как я искуплю трудной жизнью все свои грехи и тем самым получу прощение.

Я угрелся в тепле, тошнота почти прошла, да и принятое решение отчасти успокоило меня. Показалось даже, что сейчас засну. Немного еще, правда, стучало в висках. И вдруг мне ужасно захотелось в туалет — по малой нужде. Я поднялся, влез в тапочки, но встать сразу не смог — снова охватила слабость, так что я принужден был сесть и некоторое время не двигаться. Будить маму я не решался, хотя на какой-то момент такая мысль у меня и мелькнула: напугала испарина, проступившая по всему телу. Посидев на постели минуты три, я все же встал, опираясь рукой об стол. Задернутые шторы в полутемной комнате создавали ощущение почти замкнутого пространства с единственным выходом — дверью! Надо выйти!.. Я влез в тапочки и, дрожа от холода, потащился, еле передвигая ноги. Испарина прошла, но в голове стало жарко и гудело.

В коридоре горел свет. Стоя над унитазом, я думал только, как бы не упасть. Но все обошлось, я благополучно, хотя и тяжело дыша от слабости, выбрался из туалета. Из комнаты бабушки Лиды слышны были голоса. «Еще не спят», — подивился я, догадываясь, что там идет обсуждение происшествия сегодняшнего вечера. «Совещают-

ся, как *им* вести себя против *нас с мамой*», — сызнаво проснулось во мне раздражение и чувство семейной разделенности. «Надо бы послушать, *какие каверзы затеваются* против мамы!» В коридоре было еще холоднее, чем в комнате: видимо, тянуло из входной двери, с лестницы. Вообще квартира наша была построена так, что и зимой, и летом в ней стоял холод. К тому же бабушка Лида любила держать во всех комнатах открытые форточки, отчего по квартире вечно гулял сквозняк, который мама и считала первопричиной моих постоянных болезней. То ли дело теплая, даже жаркая комнатка бабушки Насти! «Скорее в постель, а то так и окоченеть недолго!..» Я потянул к себе нашу дверь, решив ничего не узнавать, не слушать. «Пусть сами разбираются!» Затем, оставив дверь в нашу с мамой комнату полуоткрытой, я неожиданно для себя развернулся и подкрался на цыпочках к плотно захлопнутой двери в комнату бабушки Лиды. И сразу показалось, что не зря, потому что услышал пронзительный выкрик дяди Левы:

— А я тебе говорю — ты должен!.. Должен, должен! Должен уйти! В этом твое спасение!

— Лева! Ты уже это говорил, — вмешалась бабушка Лида. — Я считаю, что в таком важном разговоре повторения неуместны.

— Хорошо! Вы совершенно правы, Лидия Андреевна! Я буду говорить откровенно. Надеюсь, что Гриша на меня не обидится... Ты не возражаешь против откровенности, а?

Очевидно, он спрашивал отца, поскольку тот ответил глуховатым и напряженным голосом:

— Нет, отчего же! Говори, что думаешь.

— Ну ладно, тогда уж извини — все напрямому.. Я не буду тебе снова и снова твердить про *оттепель* и про необходимость творчески работать. В этом мы, несмотря на все твои эсхатологические настроения, как будто согласны. Подожди, не перебивай меня, изволь дослушать. Я ведь только начал. Что значит нынешняя ситуация? Она значит, что возник тот благоприятный для творческой личности исторический промежуток, который эта творческая личность *обязана* использовать. А ты словно не понимаешь этого!.. Ведь уходит твое *золотое время*. Уходит непонятно на что, на изобретение велосипедов, по сути дела. Зачем снова впадать в детство и решать нелепые вопросы, что будет, когда нас не будет?! И беседовать, навещая тещу с тестем, с малограмотным психопатом из их «вороньей слободки» о Боге, о бренности мира, о смерти... Темы высокие, конечно!..

— Ты напрасно иронизируешь, — перебил его вдруг отец. — Я понимаю, к чему ты ведешь, но позволь я тебе прежде хотя бы о «психопате», как ты его называешь, кое-что все же скажу.

– Нет, не позволю, пока не договорю. Ратников – это так, случайно с языка сорвалось, заход в сторону. Я о твоей жене, Гриша, хочу поговорить.

Я ужасно мерз и слушать разговор на высокие темы вряд ли бы выдержал, но разговор о маме – другое дело! Я тихо переступил с ноги на ногу, пожегил и остался стоять.

– Говори.

Я так и представил, как отец приложил ладони к лицу, так что виден стал только его большой лоб и глухо, из-под рук, произнес свое «говори».

– И скажу. – Пауза. Звуки шагов. – Впрочем, возражай пока, если хочешь. А то ты меня сбил немного с мысли. Ты будешь говорить, а я тем временем сосредоточусь.

– Пожалуйста. Глядишь, ты заодно и меня выслушаешь. Видишь ли, Лева, некоторые люди считают, что очень трудно жить на свете, не веря, что после смерти хоть что-то от человека останется. Да-да, душа. Они даже не «считают», это их внутреннее убеждение, точнее, та точка, на которой держится их жизнь. Неудачное выражение: «точка, на которой держится жизнь», не правда ли? Но ведь дело не в выражении, а в том, что иначе для них все обесмысливается. Никогда ни с детьми, ни с любимым человеком не встретишься... Это страшно. Да и детям как жить?.. Когда они верят, что после смерти увидятся с родителями в раю, они стараются и не грешить. Я вовсе не в защиту религии веду речь, только напоминаю тебе, что самое важное – решить проблему отношения человека к смерти. Что, дескать, останется после. Когда понимаешь, что через века придут совсем другие люди, а тебя совсем не будет и о тебе даже отдаленно не вспомнят – это потрясает. Это необходимо осмыслить. Вот я и смотрю, как кто осмысляет. Это помогает и мне самому в этом вопросе разобраться.

– Я не понимаю, зачем все эти слова, – снова вставила реплику бабушка Лида. – Если Гришу так заинтересовала проблема бессмертия, я бы на месте Левы напомнила слова, которые Гриша почему-то забыл, слова его любимого поэта: «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм»!

То, что бабушка называла папу в третьем лице, страшно поразило меня. Но додумать я не успел.

– Напрасный упрек, мамочка, милая! Ты же знаешь, что если я во что до конца и верю, так это в построение социализма! Ты раздражена немножко, но поверь, что напрасно! Я ведь твой сын! И могу твердо сказать, что трудности и препятствия не могут меня охладить и угасить веры в светлые идеалы коммунизма!.. Даже если

наши знамена порой несли не совсем чистые люди, я убежден, цвет их от этого не померк... Мы, мамочка, выстоим!.. Что бы ни было! Какие бы трудности на пути ни стояли! У человечества хватит сил их преодолеть — я уверен! А потом — наш народ и не такое выносил... Я только одно хотел сказать. Что суровый опыт обратил нас к идее ценности человеческой личности, одной, отдельно взятой личности! Мы поняли, что каждая — это целый мир. Ведь мы *для человека* строим новый мир. Мамочка, ну согласись! Разве не так?.. Вот я понял свою особость, а это означает — пересмотреть все свои связи с основными определениями человеческого бытия заново. Не принимать больше данной картины мира на веру. Я, мамочка, не хочу больше быть «маленьким винтиком» в общем «механизме»...

— Да, Лидия Андреевна! В этом Гриша прав. Эпоха винтиков кончилась. И вы тоже должны признать, что это — великое благо для высокой идеи. Но именно поэтому ты, Гришенька, и не должен становиться винтиком на сей раз в семейном механизме!.. стань, наконец, самим собой! Ведь, если говорить честно, в ожидающей тебя научной и общественной деятельности Аня тебе не подмога. Тут нужна жена — спутница, товарищ, соратник...

— Не понимаю, чем тебя не устраивает Аня?..

— Меня? Не меня, а тебя она не устраивает... Ну вот, кажется, и дошли, кажется, теперь-то я сформулирую...

Во рту у меня появился от холода привкус оскомины, словно лизнул на морозе заледеневшее железо. Я присел на корточки, привалившись боком к книжной полке, стоявшей вдоль коридорной стены, обхватил руками плечи, а кончики пальцев, грея их, засунул под мышки. Вообще-то я знал, что подслушивать нехорошо, но в тот момент мне это даже и в голову не пришло.

— Ты был у нас оратор, поэт, чтец. Маяковского читал, комсомольский вождь, — яростным полусшепотом говорил дядя Лева. — А твоя Анюта всегда была такой серенькой, извини уж, курочкой! Стройнейшей, аппетитной для несмышленишки, но ведь, признайся, по сути дела абсолютно без малейших общественных интересов. Такой она и осталась: эгоистичной, ограниченной женщиной, которая тянет тебя в свой маленький квартирно-семейный мирок! Посмотри на своих друзей — мы свободны, хотя и женаты, а ты даже не можешь вечером остаться посидеть с нами, пойти в компанию, в гости к интересным людям. Нет, бывает, конечно, отрицать не буду, что ты и заходишь куда, но ведь крайне редко для свободного, развитого и интересующегося жизнью человека! Ты не можешь этого отрицать. Как это получилось, что ты ей подчинился — не понимаю!

Поехали ко мне, хотя бы на время, ты вспомнишь, что такое – свободная жизнь, почувствуешь себя самым собой! Не навсегда – на месяц, хотя бы!..

«Мама назад не пустит», – с тревогой подумал я. Голова у меня снова закружилась, и к горлу подступила дурнота.

– Ну, а потом что? – спросил отец.

– Потом? Потом, если уж честно, я надеюсь, что ты не захочешь возвращаться. Потому что, конечно, месяц – это не решение вопроса, если ты вернешься. Я помню, как у вас начиналось. Аня ходила, тоненькая, большеглазая, и все молчала, и на тебя испуганно глядела. Ты, я помню, в этом молчании глубину натуры увидел, да и вообще влюбился. Но молчала-то она не от глубины, а оттого, что ей нечего было сказать, а ты изумлял ее своим красноречием... Ты хоть сейчас это понял, наконец?.. Что ваш брак был ошибкой?.. У тебя есть твоя наука. Не погибать же тебе, как Ромео, из-за глупости, из-за бабы? К тому же достаточно мелкой и злой. Она ведь наверняка нарочно разбила портрет Лидии Андреевны!.. По мне тут мудрее наш русский Стенька Разин... Тем более, что наверняка уже период, который я бы назвал «периодом Ромео», у тебя прошел. Если вы и были Ромео и Джульеттой, то не просто из двух враждующих домов, или родов, а из коренным образом различных, противоположных и враждующих по сути своей слоев. Слоя «изобретателей» и слоя «приобретателей». Слоя людей творческого горения, общественной жизни, с жадной духовной пищи и слоя обывателей, мещан, интересы которых не поднимаются выше устройства на хорошую работу, то есть легкую и высокооплачиваемую, а также разговоров о жратве и выпивке. И два слоя эти навеки непримиримы!

Слушая эту речь, я, несмотря на ледяной воздух, из-под входной двери катившийся по ногам, обливался потом. Слова дяди Лева казались убедительными и неопровержимыми; мне стало страшно, а в груди как-то холодно и пусто. Все, видимо, сказано правильно, возразить нечего... Я себя чувствовал так, наверно, как должен себя ощущать человек, единственный среди человечества вдруг узнавший, что завтра – конец света.

– Из омота, в который ты попал, надо выбираться, пока не поздно, – продолжал дядя Лева. – Бросай, бросай свои колебания, и едем ко мне. Ты через месяц сам будешь вспоминать свои мучения, как дурной сон...

– Любая ошибка может и должна быть исправлена, – перебила его резко бабушка Лида. – Тем не менее, Лева, надо подумать и о каком-нибудь другом варианте, если Гриша не примет этот, в чем я теперь, пожалуй, даже и поддержу его. Гриша любит своего сына, и

уехать, как видно, ему будет тяжело... А в таком состоянии много не работаешь!..

Наступило молчание. От дурноты и слабости я принужден был с короточек окончательно опуститься на пол. Ноги затекли и дрожали от усталости и больше не поддерживали меня. Пол был холодный, но лицо горело, и в голове снова стало жарко. Я напряженно вслушивался, что скажет отец.

— Если бы и вправду не Борис, — наконец, виновато произнес он, — я бы, быть может, и ушел...

«Ну и уходи! Уходи!» — насмерть вдруг перепугавшись и ощутив сразу ничем не заполнимую пустоту, почти закричал я про себя. «Пусть! Пусть! Пусть!»

— Быть может, — повторил отец. — Но все же я не сделаю этого, сейчас-то это исключается. Лева! Мамочка! Вы поймите! Вы должны понять!.. Вот, Лева, вообрази, что Ромео и Джульетта не убили себя, а повзрослели, любовь их поутихла, но у них появились дети. Ведь если теперь они поддадутся уговорам своих семей, погибнут не они — дети... Вот ты, Лева, говоришь, что семья — отживающий институт, а ведь в России семьи-то толком и не было, настоящей, с традициями, с культурой духовной и внешней, которая не одно поколение создается... Я тебе назову такие: Аксаковых, Вернадских, Ульяновых, Маяковских... Такая семья — *это крепость*, в которой может развиваться личность...

Не помню, как я выдал себя: то ли чихнул, то ли раскашлялся — кашель у меня всегда был ужасный, неостановимый. Короче, получилось так, что отец, оборвав себя на полупhrase, распахнул вдруг дверь и увидел меня, сидящего на полу с подогнутой под себя одной ногой и кашляющего.

— Ты что здесь делаешь? Так поздно ночью? — бросился он ко мне.

Я молчал, кашля только.

— Подслушивал? — пришла ему догадка.

Я молчал и кашлять перестал тоже.

Отец схватил меня за плечи, начал приподнимать:

— Да что с тобой?! Ты весь горишь! Иди-ка сюда!..

Я молча выкручивался. Слезы, застряв в горле, мешали говорить. В глазах стоял туман, все в нем кружилось. Сквозь какую-то завесу я видел стоявшую в коридоре бабушку: уперев руки в бока, она с недоумением и растерянностью наблюдала сцену. Выглянул и скрылся куда-то дядя Лева: выражения его лица я не разобрал — в глазах отпечаталось только темно-красное пятно его вязаного свитера. Потом появилась мама, подбежала, наклонившись ко мне, и

я отчетливо увидел след подушки — помятую складку на лице, но странно: я опять перестал слышать слова, хотя и не играл в немой театр марионеток. Это произошло помимо моего сознания и воли. Вместо слов (а ведь мама явно прибежала на папин возглас!) до меня доходил только глухой шум, от которого стучало в голове и болели уши. Хотя я вдруг лишился способности понимать слова, я мог видеть перепуганные и встревоженные лица. Папа все поддерживал меня за плечи. Лицо у него было белое, глаза с тревогой, вопросом, надеждой смотрели то на меня, то на маму. Видимо, я здорово скверно выглядел, раз все так заволновались. Папа взял меня на руки, подчиняясь маминому жесту, и понес в постель. Почувствовав холод подушки, я облегченно закрыл глаза и больше уже ничего не слышал и не видел.

Как потом рассказывали, всю ночь я бредил, стонал, кричал что-то невнятное, чтобы отодвинули какие-то доски от лица, потому что я задыхаюсь, спрашивал почему-то про Ратникова с Витюнчиком: и, как наутро выяснилось, не случайно. В ту ночь Ратников подстерег Витюнчика и задушил его, затащив в свою комнату, и повесился сам. Записки он никакой не оставил. Правда, тогда это от меня скрыли. Да я бы все равно не воспринял. Больше всего во время болезни мне мерещились дядя Вася Репкин и Анпална, я уверял всех, что на самом деле они — мои родители, чем окончательно напугал маму с папой, потом я радостно сообщал, что превращаюсь в кого-то другого и что это очень здорово, что у меня другие родители, и вдруг начинал плакать, рыдать, вопить: «Не хочу! Не хочу! Хочу моих маму с папой!» Надо полагать, в позднейших пересказах мой болезненный бред был романтически приукрашен, но ясно, что всех моих родных болезнь эта напугала изрядно.

Ночью температура у меня росла, к утру натянуло 41 и 9 десятых градуса. Вызвали неотложку, утром приехал врач из районной поликлиники. Заболевание, однако, долго не могли определить — не только районные врачи, но и полдюжины платных докторов, которых вызванивала и оплачивала бабушка Лида; к концу болезни ее назвали тяжелой формой гриппа.

Трое суток я лежал без сознания. Бабушка Настя ездила ко мне каждый день. На четвертые наступило пробуждение: вначале ощущение своего слабого, потного, лежащего на несвежих от болезни простынях тела, запах камфоры и скипидара, яркий свет, от которого слезились глаза. Пересиливая резь в глазах, я увидел пожелтевшие и худые лица родителей, на которых медленно проступала недоверчивая улыбка. Температура у меня упала до 38 градусов, и, разомлевший от несильного жара и радости выздоровления, я с чув-

ством своего рода удовлетворения и душевного успокоения наблюдал, как дружно все суетятся вокруг меня, беспрекословно выполняют все мои прихоти, бегут, только слышат мой зов, заботятся, меняют простыни, подтыкают одеяло, читают вслух, либо приносят те книжки, какие я прошу, а главное, главное, похоже, что наступило примирение. В своем роде восстановленное единство мира.

Разумеется, были еще врачи, дважды в день уколы пенициллина, полоскания, но уже через три или четыре недели, крепко закутанный, в огромных валенках, я выходил на улицу. Об этой ссоре больше никто никогда не поминал, словно и не было такой. Фото-портрет куда-то исчез, и только спустя много лет я обнаружил его обломки в бабушкином архиве.

1975 г.

РАССКАЗЫ

Наливное яблоко

Рассказ

Я запишу эту историю так, как увидел ее в детстве. То есть не совсем в детстве. Мне было уже лет двенадцать-тринадцать. Но, будучи ребенком в достаточной степени домашним, более погруженным в книги и семейные переживания, нежели во внешнюю жизнь, я не замечал многого, что другие мои сверстники знали как бы на ощупь. Разумеется, я знал многое и про многое читал и слышал, но все это слышимое и знаемое я как бы не видел. По нашему двору ходили вежливые, благообразные люди, при встрече они раскланивались, приподнимая или даже совсем снимая шляпы. И со мной тоже раскланивались, и я отвечал весьма вежливо, хотя почти никого не знал по имени-отчеству, разве что в лицо. И мне до того случая и в голову не приходило, что среди этих, даже каких-то бесполых от вежливости людей могут быть страсти, борьба, противостояния, «подсидки» и вообще *подлости* (о чем я читал в книгах, но в жизни не сталкивался) и здесь, в нашем, зеленью отгороженном от улицы (и, казалось, тем самым от низменных страстей) дворе, можно увидеть «провал в адскую темноту». Но так я, во всяком случае, тогда увидел и подумал.

Был, наверно, август, конец месяца, последние дни до школы. Я вернулся из деревни, где на лето родители снимали дачу, и, одуревший от дачного бездумья и бесчтения, взялся сразу читать «толстые» и «серьезные» книги, с удовольствием чувствуя, как наполняются ум и душа, примерно так же, как после тренировки укрепляются мышцы и приходит в результате хорошее самочувствие. Во

дворе никого из ребят еще не было, значит, не вернулись с каникул, и, стало быть, до начала занятий оставалось не меньше недели.

Несмотря на предчувствие осени (появившиеся кое-где желтые листья, темно-красные продолговатые ягодки барбариса на колючих кустах с редкими маленькими листочками, выгоревшая, темная и старая трава на газоне, а также сумки и авоськи, набитые фруктами), дни были еще вполне летние, жаркие, и я торчал на улице, читая и с приятностью одновременно ощущая, как сквозь листву липы падает на меня свет и жар солнца. Обычно до обеда я сидел на скамье в липовой аллейке, разделявшей два больших газона с кустами сирени по углам и крестообразными дорожками, обсаженными кустами барбариса. А когда надоедало читать и хотелось просто бесцельно думать ни о чем, я складывал книгу, зажимал палец между страницами и медленно ходил вокруг клумбы по барбарисовым дорожкам, срывая, жуя и сплевывая продолговатые красные, тощие и кисловатые ягодки. И состояние духа было спокойное, вдумчивое, исполненное серьезности и самоуверенности. Я очень нравился себе в такие минуты, мне казалось, что все в жизни понимаю, а если и не все, то непременно через время пойму. В тринадцать лет ведь думаешь, что год, ну от силы два — и в восьмом, а то и в седьмом уже классе ты будешь взрослый и всезнающий.

Так я гулял по дорожкам газона, что расположен был как раз перед моим подъездом, когда с балкона второго этажа меня окликнул высокий, толстый человек, одетый в теплый байковый халат и шерстяные лыжные брюки с начесом (видные сквозь прутья балкона).

— Скажи мне, мальчик, ты — Боря Кузьмин?

Он стоял, опершись толстой грудью и ладонями о перила балкона. На голове у него была феска с кисточкой, а его большой горбатый нос был заметен даже на расстоянии и напоминал клюв коршуна, как его рисуют на картинках. Кто он, я знал: Сипов Георгий Самвелович, профессор института, где работали раньше дедушка Миша и бабушка Лида. Я с ним ни разу не разговаривал, как, впрочем, со многими другими также, хотя Сипов жил прямо под нами и я каждый день видел его во дворе. Он ходил, выпятив живот и грудь, держа в кулаке ручку огромного, но плоского ледеринового портфеля, глядя перед собой и немного вверх, и на робкое «здрасьте» когда отвечал, а когда и нет. Важность Сипова передавалась не только его злой, тощей и старой жене, передвигавшейся мелкой, быстрой, переваливающейся походкой и раздраженно стучавшей по асфальту палкой, но даже его домработнице, без зазрения совести вытряхивавшей половики прямо на лестничной площадке. Она даже не

очень-то спешила спрятаться за дверь, когда кто-нибудь поднимался по лестнице, и пыль летела вам прямо в физиономию.

Вопрос, Боря ли я Кузьмин, насторожил меня. Уж не сделал ли я что-то не то? Может, где газон помял?.. Но вроде бы я по дорожке шел... Хотя кто знает, что ему могло показаться. Я помнил, как в наш двор вдруг приехали рабочие и стали обрезать и опиливать нижние ветви с тополей, на которые так удобно было залезать. И рабочими этими, властно покрикивая, распорядился Сипов, а не Юрий Николаевич Кротов, который, в сущности, и озеленил наш двор. Потом мы узнали, Сипов вызвал рабочих обрезать ветки как раз из-за того, что мы на них лазали и орали, играя у него под окнами. Поэтому я довольно робко задрал вверх голову и подтвердил, что я и вправду Боря Кузьмин. Но он не ругался, а с каким-то любопытством и даже добродушием осмотрел меня и сказал:

– Ты, я вижу, хороший мальчик! Любишь книжки читать!

– Да,- сказал я, успокаиваясь и с самодовольством.

Он медленно моргнул обоими глазами, как это могла бы сделать птица от яркого света.

– А что ты читаешь?

Читал я, надо сказать, книги «не по возрасту», иногда гордясь (когда с «понимающим» собеседником говорил), иногда стесняясь этого. Сейчас ответил с важностью:

– «Ад» Данте, песнь тридцать вторая.

– Анданте? Что – анданте? Не понял.

Мне стало стыдно громко кричать про Данте, и я упростил:

– Стихи.

– А-а... молодец. Я помню, твой отец тоже стихи любил читать. Маяковского. А твой дед – Пушкина. А ты кого?

И я снова застеснялся выкрикнуть имя Данте, когда он уже в первый раз не то что не услышал, а не понял, о ком речь.

– Да разных... – насупился я, – были бы поэтами...

– С большой буквы поэтами, – поправил он меня и вдруг зябко поежился и обнял себя за плечи. Губы его посинели и задрожали, словно от холода. Язык не слушался, когда он с трудом выговорил:

– Тебе не холодно?

И пояснил:

– У нашего балкона пол совсем ледяной в любое время года. Строительный брак. Это у нас еще бытует. Но в данную минуту, мне кажется, везде похолодало.

Ноги его – было видно сквозь прутья решетки – подергивались и приплясывали. А солнце светило ровно и жарко, ни тучки, стояла спокойная позднеавгустовская теплынь. Да и время самое солнеч-

ное — предобеденное. Я был в ковбойке с коротким рукавом и прямо на голое тело, в бумазейных синих штанах и сандалетах на босу ногу.

— Мне не холодно, — сказал я, — на улице сейчас, пожалуй, градусов двадцать пять, не меньше. А вас, наверное, просто знобит.

— Да, знобит, — он глянул тревожно, и эта тревожность как-то не шла к нему, к его толщине, властности, коршуноликому образу. — То месяцами ничего, ничего, а то вдруг налетает. — Он криво улыбнулся. — Ноги как во льду стоят. Хотя я не простужен.

— Это у вас, видимо, нервное, — заметил я, и, надо сказать, в тот момент безо всякой задней мысли.

— Ты умный мальчик. Как и твой дед. Ты на него похож. Умом.

Я и раньше слышал, что называется, краем уха, значения этому не придав, что дедушка работал с Сиповым, который был поначалу его учеником, а потом вскоре стал вместо него заведующим кафедрой. Говорилось это словно бы вскользь и с каким-то неодобрением, особенно в голосе бабушки Лиды слышалось раздражение. Но причиной тому я, не особенно вдумываясь, считал бабушкину уверенность, что никто не может сравниться с дедушкой и заместить его. А поскольку после его смерти, думал я, с кафедрой, где он работал, отношений больше не было, вот и с Сиповым мы не общались. Да и важный он был чересчур.

Поэтому на слова Сипова я никак не среагировал, а только улыбнулся вежливо и немного смущенно (так я считал должным в этой ситуации поступить) и ответил:

— Мне трудно судить. Вы ведь знаете, что дедушка умер в сорок шестом году, спустя год после моего рождения. Так что я его совсем не помню.

— Совсем? — снова по-птичьему встрепенулся он, плотнее закутался в свой байковый халат и переступил с ноги на ногу. — Ты милый мальчик. Хочешь яблоко?

— Нет, спасибо, — отказался я. Мне и вправду не хотелось, к тому же не любил я никуда заходить. Почему-то в детстве родители старались не пускать меня в гости по чужим квартирам.

— Ну, тогда у меня к тебе просьба. Отломи веточку барбариса и принеси ее мне. Она мне нужна для коллекции минералов, туда положить для красоты. Прошу тебя, Боря. Только не уколись.

Его неожиданно добрая и заботливая предупредительность была мне приятна. Ничего не оставалось, как выполнить просьбу. Я обломил ветку с красными ягодами и с зелеными, но уже как бы с прожельтью листочками.

— Подходит?

Сипов кивнул:

– Подходит. Поднимайся.

– Я только родителей предупрежу. А то они рассердятся.

И снова в лице его мелькнула некая напряженность. И даже испуг и растерянность.

– Да зачем? На минутку всего лишь зайдешь...

Дверь мне открыла его злобная тощая жена с коротко обрезанными седыми волосами, выглядывавшими из-под черного пухового платка. Она была в черной меховой накидке и даже по квартире ходила с палкой.

– Тебе чего? – сказала она вместо «здравствуй».

Я сделал шаг назад. Но из глубины квартиры уже донесся резкий и повелительный окрик:

– Зоя! Впусти! Это я пригласил. – И, выйдя из дальней – с балконом – комнаты, сделав приглашающий жест рукой, Сипов пояснил жене: – Это Боря, внук Михаила Сергеевича Кузьмина.

Но приветливости его слова жене не добавили. Прихрамывая в своих войлочных полусапожках, она развернулась и, мелко семеня и опираясь на палку, пошла впереди меня по направлению к мужу, который уже снова скрылся в комнате. Я двинулся следом, мимо высокого зеркала, едва не задев плечом гардероб, стоявший в коридоре при входе. Стекла в нем были, правда, завешены зелеными занавесками, но сквозь них все-таки проглядывали черные пальто и шубы с меховыми воротниками. «Значит, шубы они летом держат не в диване, как мы», – подумал я и, свернув направо, вошел в профессорский кабинет-приемную. То есть на кабинет это не очень-то было похоже, во всяком случае, как я его себе представлял. Не было письменного стола с лампой, разбросанных бумаг, папок, книг с закладками, около стены я заметил всего один книжный шкаф. Зато по углам стояли две застекленные горки с весьма старинной по виду посудой, платяной полированный шкаф, а посередине – круглый стол, тоже полированный, с тремя салфетками из соломки на нем и хрустальной вазой со светящимися румяными яблоками. Вокруг стола – четыре крепких круглоспинных стула, два мягких кресла друг против друга.

В одном из них уже сидел, кутаясь в плед, накинутый поверх байкового халата, Георгий Самвелович. Его горбоносое лицо, казалось, отдавало в синеву от пронизывающего его холода. Он выглядел таким замерзшим, что даже натертый паркетный пол заблестел в моих глазах ровной гладью, как зимой лед расчищенного под каток пруда. «Словно озеро Коцит, – подумал я, потому что как раз про это начал читать в тридцать второй песне. – Может, Сипов тоже какой-нибудь

грешник. Ведь пол у него как “озеро, от стужи подобное стеклу, а не волнам”». Но тут же устыдился глупых мыслей. Ноги профессора были обуты в теплые войлочные туфли. Горел рефлектор.

Вроде бы от всего этого должно бы быть тепло, но нет, тепла не было. И хотя минуту назад, на улице, я чувствовал себя разомлевшим от жары, да и здесь спервоначалу я холода не ощутил, но при взгляде на съездившегося Сипова и его колченогую супругу, тоже под пледом сидевшую в другом кресле и уставившуюся на меня напряженным взглядом, меня вдруг зазнобило и затрясло. Я даже плечами передернул от холода (мамин жест, который она, как она сама говорила, переняла у свекра, то есть моего деда, отцовского отца).

— У нас всегда в квартире очень холодно. Вот мы и греем старые кости. — Сипов помолчал, всматриваясь в меня, как бы оценивая мой подерг плечами. — Ты не похож на отца, ты все же на деда похож. Что скажешь, Зоя?

Она сидела в кресле, поставив перед собой палку и держась за ее рукоять обеими руками с таким выражением, словно готова была пустить ее в дело. На вопрос мужа она ничего не ответила, только моргнула, по-прежнему глядя на меня, словно чтоб ни жеста не пропустить моего (так мне показалось). Я стоял не шевелясь, барбарисовую веточку у меня никто не брал, и я держал ее немного за спиной, чтобы не выставлять подчеркнуто, что она мне мешает. Зато холод вдруг как пришел, так и ушел.

— А почему ты ничего не скажешь?

Я понял, что Сипов обращается ко мне, но не мог понять, чего он ждет услышать и почему он и жена с таким вниманием следят за каждым моим движением и за выражением лица. Какое, в конце концов, ему дело до меня, зачем он придумал эту историю с барбарисовой веточкой, чтобы заманить меня к себе, и чего он от меня, в сущности, ждет? Поэтому с детским хитроумием я ответил просто-вато и бестолково:

— А чего говорить-то!

И даже, кажется, носом для правдоподобия шмыгнул. Но этим еще больше смутил и почему-то насторожил его — своим превращением из интеллигентного мальчика в простоватого дурачка.

— Ты не хочешь говорить? Ты боишься, тебе от родителей попадет, что ты ко мне зашел? Да? Я вижу, ты послушный мальчик. Это хорошо.

Он замолчал, сидя в кресле, обнимая себя за плечи и все больше нахохливаясь. Надо сказать, что феску свою шерстяную он и в комнате не снимал. Я сглотнул слюну и как бы случайно выдвинул из-за

спины барбарисовую веточку. Пусть видит, что я давно уже держу в руке то, из-за чего к нему зашел. Но он смотрел мимо.

– Мы с твоим дедушкой вместе работали.

– Это я знаю, – обрадовался я возможности хоть что-то сказать.

– А еще что знаешь? Ты говори, не стесняйся.

– Ничего, – пожал я плечами.

– А почему же тогда твои родители запрещают тебе ко мне заходить? Скажи!

– Никто мне этого не запрещал. Просто родители могут беспокоиться, когда позовут обедать, а меня во дворе не будет.

Разговор стал совсем непонятным и нелепым, а главное, мне сделалось не по себе от пристального, молчаливо-цепкого взгляда его сухой, сморщенной, маленькой, почти утонувшей в своем кресле жены.

Он, видимо, это или еще что-то почувствовал.

– Ну, тогда иди, конечно. Только дай мне барбарис, который ты сорвал.

Он не добавил «пожалуйста», а просто протянул руку. Я сделал было шаг к нему, держа веточку двумя пальцами, чтобы не уколоться, но Сипов предостерегающе поднял ладонь, очевидно вспомнив про колючки.

– Положи на стол. Вот так. Спасибо. Теперь возьми из вазы яблоко. Не бойся, возьми. Я же тебя угощаю. Можешь здесь не есть, если сейчас не хочешь. Съешь дома. До свидания. Зоя, проводи.

Держа яблоко за хвостик, чтобы не испачкать грязными руками (а со стороны, как мне потом стало понятно, это могло выглядеть, что брезгую), я пошел к входной двери. Постукивая палкой по полу, Сипова провожала меня, все так же молча и подозрительно и чуть-чуть исподлобья заглядывая мне в лицо. Открыла дверь, выпустила меня и сразу ее захлопнула, и было слышно, как она запирает дверь на цепочку и засов.

Я поднялся этажом выше и оказался дома. Мама велела мне идти на кухню, потому что первое уже разлито по тарелкам, и она не понимает, где я болтался, ведь она мне минут пять с балкона кричала – звала обедать. Действительно, и папа, и бабушка сидели за столом и, может быть, даже съели уже к моему приходу по паре ложек супа. Чтобы оправдаться в опоздании, я сказал, поднимая за хвостик на всеобщее обозрение яблоко:

– Меня Сипов – знаете, внизу под нами живет – в гости зазвал зачем-то и вот яблоко подарил. Ничего яблочко, а?

И как вещественное доказательство своей правдивости я положил яблоко прямо на стол меж солонкой и хлебницей.

Наверно, так они были бы ошеломлены, если бы я вдруг положил на стол что-нибудь небывало-невиданное или ужасно страшное, а не какое-то обыкновенное вполне яблоко. Папа опустил, почти уронил ложку в тарелку и сумрачно-недоуменно ступил над переносицей брови. Даже надменно прямоспинная и прямосидящая бабушка как-то принагнулась от удивления, уставившись испытующе на меня: уж не дурацкая ли это шутка. А вошедшая вслед за мной на кухню мама не спросила, а выдохнула:

– Кто? Кто назвал?..

Папа же взял яблоко за хвостик и почему-то стал рассматривать его на свет. «Яблоко как яблоко, молодое, наливное, румяное. Со всем, – вдруг подумал я, – как в “Сказке о мертвой царевне и семи богатырях”, которое принесла, подпираясь клюкой, злая колдунья. Ведь и вправду яблоко это “соку спелого полно” и при этом “будто медом налилось”!» Я подумал даже, что папа ищет, видны ли «сечки насквозь», как в том яблоке.

– Что он тебе говорил? – не давая мне ответить на первый вопрос, перебил папа.

– Ничего особенного. Попросил ему веточку барбариса принести, – я почувствовал, что меня снова охватил озноб. – Говорил, что с дедушкой вместе работал.

– Это он правильно говорил, – отвела бабушка рукою негодующий жест отца. – А больше ничего он не сказал?

Ее надменно-прямая спина распрямилась снова, а выпуклые безресничные глаза за очками потемнели. Но видел я в них не гнев, а скорее беззащитно-презрительное недоумение.

– Ничего, – снова повторил я. – Я, может, что-нибудь не так сказал?

– Откуда мальчик мог знать, – оборвала мама напрягшегося было что-то сказать отца. – И хорошо, что он ничего не знает.

– Не уверен, что это хорошо...

– Именно, – поддержал я отца, – я хочу знать. У него с дедушкой разве была научная полемика?

– Если бы! – не выдержал отец. – Но то, что этот коршун проделал, называется не полемикой, а другим словом. И в те времена, и во все времена это называлось...

– Гриша!! – воскликнула в тревоге мама.

– Аня права, – подтвердила неожиданно бабушка, хотя они редко с мамой в чем-нибудь сходились. – Боре не надо об этом знать.

– Да, но хочу знать я! Он что-нибудь про дедушку тебе говорил? – папа осторожно опустил яблоко на стол.

— Посмел бы он что-нибудь сказать! — выкрикнула мама, хотя только что собиралась молчать и отцу не дать говорить.- После всего, что он сделал, как у него еще совести-то хватило Боря к себе звать!

Я упрямо посмотрел на маму и сказал:

— А что, собственно, произошло? Я не понимаю. Что такого, что я к нему зашел? Он говорил, дедушка был очень умный человек и хороший ученый.

— От него особенно приятно это слышать!.. — начал было снова отец.

Но твердокаменная бабушка снова оборвала его:

— Твоему сыну не надо знать о таком прошлом. Он должен жить обращенный в будущее, а не в прошлое. Достаточно того, что у Сипова ничего не получилось, и Миша отделался только инфарктом. Я ведь обошла тогда всех и отстояла твоего отца. Так что я имею больше права об этом говорить. Но я молчу. Вот и ты будь благодарным. Не растравляй ребенка.

Все замолчали. Но отец все же еще раз сорвался:

— И что, он сам угостил тебя яблоком? Или *ты* попросил?

— Конечно, он сам, — отвечал я, решив при этом про себя, что я этого яблока есть не буду.

— Не понимаю, — сказал отец.

Я тоже ничего не понимал, точнее сказать, до конца не понимал, хотя и догадывался кое о чем. Но спрашивать подробности все же почему-то не стал. Не по себе становилось, что я, такой мирный, должен буду начать кого-то ненавидеть. И я тоже ничего не сказал и не спросил. А яблоко потихоньку, после обеда, когда все ушли с кухни, выбросил в помойное ведро и сверху прикрыл газетой, чтоб не заметили.

Сипов, надо сказать, меня больше к себе не приглашал. А когда спустя время я в разговоре с отцом случайно помянул Сипова, сказав, что и он и его жена все время у себя в квартире мерзнут, даже летом, отец все равно ничего не стал рассказывать, а только пробормотал, что это у них, скорее всего, что-то нервное.

Няня

Рассказ

Я готовился пойти в душ. Халат, чистое белье, махровое полотенце из шкафа — все отнес в ванную. Домашние брюки, драные, но любимые и, главное, уютные и рубашку снял, бросил в «грязное». Из душа всегда выходил внутренне подтянутый, довольный собой, а волосы, просохнув, становились шелковыми и даже немного вились. Зато нянька наша, не наша, конечно, а с трудом раздобытая для сына, о мытье отзывалась неодобрительно. «В Европе, — говорила мне обычно моя первая жена, иронически усмехаясь в такие минуты, — душ каждый день принимают. А то и два раза в день». Я с ней соглашался, но добавлял, что для этого и быт иначе устроен, и квартира чистая, и посуда всегда вымытая, и в гости на всю ночь играть в преферанс не закатываются. А ведут более размеренный образ жизни, за книгами, за письменным столом. Но это была эпоха «застойного» и самого веселого времени в советской истории. Был бесконечный маскарад и карнавал. Под песни Окуджавы, мы воображали себя благородными дамами и кавалерами, чувствовали себя как бы в светлом пушкинском времени. На эту свободу нужно было время. Денег не было, но няньку для сына мы хотели. Ибо и в пушкинское время родители тоже не занимались детьми, по малолетству с детьми сидели няни, а потом начинались гувернеры. Моя нынешняя жена как-то сказала: «Богат русский язык. Что делают няни и бабушки с детьми? Не воспитывают, не образуют, а *сидят*. Генерально. Как заключенные».

В этот застойный период институт нянек был своеобразным. Вывешивали на заборах объявления, а потом к тебе приходили наниматься разные сомнительные особы. Помню одну, широкоплечую, в пиджаке, которая объявила, что ехала к нам из загорода, будет жить у нас, и уже сегодня останется, поскольку приехала издалека, из Александрова, что мы можем больше ни о чем не беспокоиться, работать, ходить в гости, она все берет на себя. Глаза

были серые и очень решительные. И жене, и мне она сразу стала говорить «ты». Мы спросили, наконец, ее паспорт. «Вы что, человека по лицу различить не можете? Я же не в милицию пришла, а к приличным людям. И прописка мне у вас не нужна. Нужно, чтобы ваш сынок вырос здоровым». Но сверкавшая во рту фикса меня тоже смущала. И, пересилив интеллигентскую робость, которая всегда возникала, когда я чего-то должен был требовать от незнакомых людей, я все же настойчиво попросил показать паспорт. «Боишься, что ли?» — спросила она, употребив слово более грубое. «Знаете, вы нам не подходите», — сказал я, ненавидя свой интеллигентский извиняющийся тон. «Ладно, покажу, — возразила она, неохота ей было никуда на ночь глядя ехать, тем более в такую даль, в Александров, — только паспорта у меня нет. Есть только бумага об освобождении». И она вытащила мятую-перемятую бумагу из черной дамской сумочки. Мы с женой остолбенели и бумагу смотреть не стали. Женщины всегда решительнее. «Ну-ка, подымайся и топай отсюда, — резко сказала жена, — пока милицию не вызвала!». Тетка встала, но с места не сдвинулась, только подбоченилась: «А ты мне дорогу туда-обратно оплати. Я ведь по твоему объявлению ехала, деньги на проезд занимала!» Жена вспыхнула, а в гневе она была не подарок, я, во всяком случае, ее в такие минуты побаивался. Где и силы у Лильки против такой бабищи нашлись: она схватила ее за воротник пиджака и, подталкивая коленом, поволокла к двери. Но у двери та уперлась: «Под дверью сяду, всю ночь сидеть буду. Не на что мне ехать! Понятно?». Я спросил: «Сколько?» Услышав ответ, сунул ей в карман пиджака трешку, и мы с трудом выставили ее за дверь. Больше объявлений давать не решались. Да и жена еще вспомнила, что Александров — это тот самый город, куда ссылались за сто первый километр те, кому после тюрьмы не разрешена была Москва.

Поэтому когда моя бабушка, жившая на улице маршала Конева, сидя на лавочке перед пятиэтажкой, услышала трогательную историю про деревенскую тетку, которую невестка выгнала из квартиры, и та ночевала по соседям, она нам сразу позвонила. Приехала эта тетка из белорусской деревни к сыну, работавшему уже год в Москве милиционером. Он ее сам из деревни и выписал, дом ее продал, а деньги — как бы взнос невестке за житье в московской квартире. Но невестка все равно ее, особенно спяну, на улицу выгоняла, и вот Домна Антоновна сидела на лавочке, плакала и жаловалась соседкам на жизнь: «И жена Генина пьет, и теща. Напьются, так жена Геню (так она сокращала имя сына — Геннадий) к себе в постель не пускает». Бабушка Настя осторожно спросила, пойдет ли она сидеть с трехлетним мальчиком и что за это возьмет. Она сразу сказа-

ла: «Надо у Гени спросить, если разрешит, то пойду. Да ночевать бы дали, да исты что-нибудь, вот и скажу спасибо». Старухи на лавочке накнулись на Домну, чего, мол, у сына спрашивать, раз он позволяет ее на улицу выгонять. Но она твердо стояла на том, что сын не виноват. Заступиться за нее он не может, потому что жена ему самому прописки не дает, и он никаких прав на жилплощадь не имеет. Хотя когда три года в милиции отработает и за это московскую прописку получит, он бросит свою жену-пьяницу, уйдет от них, дочку по суду заберет и в интернат определит, а сам комнату получит, и мать к себе возьмет, чтоб за порядком приглядывала и обед готовила.

Вернувшись от Гени, она долго, по рассказу бабушки, сморкалась в свой коричневый платок, потом спросила: «Геня велел узнать, чи они очень богатые?» Бабушка ей сказала, что внук живет в одном из профессорских домов в Тимирязевском районе, что там два профессорских дома друг напротив друга и двор хороший, тихий. Дед внука был профессором, но дед давно умер, а жена внука работает экскурсоводом, а сам он аспирант, получает маленькую стипендию, так что вот за стол и постель могут пустить. Домна снова ушла, потом вернулась, сказав, что без денег Геня не велит идти. После чего бабушка позвонила нам, передала все разговоры и добавила, что и без денег пойдет, потому что деваться Домне некуда. Но нет, та чувствовала свою полную зависимость от сына, и без денег не шла. Тогда, посоветовавшись, мы решили, что если от ничего (от нашей зарплаты) отрезать чего-то, то меньше у нас не станет. И предложили ей тридцать рублей. Никакой символики мы в эту цифру не вкладывали. Не тот был сюжет.

Когда она появилась у нас, мы были поражены ее худобой и странными привычками. Платье на ней было плоское и длинное, висело, как на вешалке-манекене. Вначале мы думали, что вот, будет у сына своя Арина Родионовна, будет рассказывать народные сказки, прибаутки и песенки, услышим мы своеобразный народный язык с примесью белорусских словечек. Сказок и песен она, правда, не знала, но язык точно был своеобразный. Снимая сына с горшка, она брала лист газеты и говорила, при этом заглядывая нам в глаза и надеясь на наше одобрение: «Сейчас ср...ку-то досуха вытрем». И терла, почти втирала газету в попку сына, так что тот корчился. Впрочем, чего было и ждать: жизнь ее была столь тяжела и ужасна, что ей было не до сказок. Муж сгорел еще в начале войны, почки не выдержали той водки, что мужики пили в деревне. И она осталась вдовой с четырьмя детьми — двумя дочерьми и двумя сыновьями, но из сыновей выжил младший — Геня. Хотя про себя иногда она говорила, поглаживая рукой по плоской груди и плоскому животу,

раздвигая узкие губы: «Хороша не была, а молода была». Так намекала она, очевидно, на некие свои любовные приключения. Надо сказать, трудно было вообразить, что какой бы то ни было мужик, если только не с дикого перепою, польстился бы на эту вешалку для платья. Вспомнив это приятное, она затыгивала тоненьким голоском какую-то мелодию без слов.

Была она высокая, худая, плоскогрудая, платье носила без пояса, длинное и обтягивающее, скорее похожее на длинную рубашку. И когда она слезла с голодной диеты, на которой существовала у сына и невестки, она стала немного толстеть — но лицо не округлилось, не потолстели ни плечи, ни руки, а просто появился на худом теле выпирающий животик, словно на остальных местах и мяса не было, где бы можно было жиру отложиться. Ела она много и жадно, зачерпывая все ложкой, полную подносила ко рту и словно опрокидывала в горло. Но в какой-то момент отодвигала резко от себя тарелку или переворачивала вверх дном чашку и ставила ее на блюдце, отрывала и произносила: «До!» или «Досыть!». Это означало высшую степень насыщения. Отрывки своей она нисколько не стеснялась, напротив, даже как будто гордилась: вот, мол, как она сытно ест, что может даже отрыгнуть. Но кроме еды и связанных с нею столовых приборов, самых простых: глубокой тарелки, столовой ложки, чашки и блюда, — другими благами цивилизации пользоваться она не желала. Я видел однажды, как на даче, построенной тестем и тещей, куда на лето мы вывозили сына, она сидела на траве, вытянув свои жилистые ноги, перегнувшись в поясе, склонившись над стопами, кухонным ножом обрезала ногти, так что кусочки летели в разные стороны. Теща, увидев эту сцену, сказала дочери, то есть моей жене: «Меня сейчас вырвет». Потом крикнула в окно Домне: «Домна Антоновна, да вы бы ножницы взяли». Но та, кряхтя, отрицательно мотнула головой: «Да уж, поди, все покончила и так!» Жена выскочила на крыльцо и резко сказала: «Еще раз увижу, как столовым ножом ногти режете, уволю. Вы еще и Тимку этому научите! Я требую в своем доме гигиены!» Домна съежилась, словно над ней взметнулась рука ее ударить, и захныкала: «Не буду я вашего Тимку этому учить. А с бабой Доней ему хорошо, она его жалеет». «Бабой Доней» называла она сама себя. Да и понятно было, что мы без нее уже не обойдемся. У нас появились не только дни для библиотеки и работы, но и свободные вечера, даже свободные ночи, которые мы могли просиживать у друзей за выпивкой, анекдотами, разговорными, играми в буриме и т.д.

Но с гигиеной и мытьем дело по-прежнему обстояло не самым лучшим образом. Мыться она ужасно не любила. Не говорю о ван-

не, даже душ вызывал ее устойчивую неприязнь. По ее понятиям достаточно было раз в месяц, а то и в два, сходить в баню. Как-то, когда я вылез из душа, раскрасневшийся от жара, чистый, с чувством свежести в теле и одежде, и как бы в воздух бросил, что хорошо бы так каждый день, словно заново рождаешься. Домна посмотрела на меня с испугом, как на слегка тронутого умом, и ойкнула: «Каждый день мыться! Да ведь так сдохнешь!»

Не собираюсь говорить об органическом неприятии русским народом чистоты, — это было бы неправдой. Но, будучи и сам наполовину деревенским, я бывал в той деревне, откуда была родом мама, — и прекрасно помню редкое мытье, раз в неделю банька по-черному, откуда вылезаетесь весь в саже. Неслучайно ходил в конце семидесятых анекдот об известной нашей певице народных песен, приехавшей в Париж на гастроли. И на вопрос горничной, когда-де русская дама принимает ванну, ответила, что по субботам. Но сколько было людей, совершенно не воспринимавших этого анекдота. «А что, разве кто по пятницам моется?» Но бывает жизнь так построена, что тема мытья тела даже в голову не придет. Жизнь Домны Антоновны, нашей воображаемой Арины Родионовны, складывалась так, что ненормальность стала нормой.

И при ее жизни о каждодневном мытье и думать не приходилось. Страшная все же была жизнь. Во время войны в Белоруссии она жила в землянке. Немцы искали партизан, деревню сожгли, пятнадцатилетнего сына ее застрелили, почему-то решив, что он партизанский связной. Осталось трое. Сама выкопала землянку, старшая дочка Наташка немного помогала. Глотала слезы, рыла, устраивалась, делала из земли полки и лежанки, ставила кое-какие чашки и плошки, лежанки покрывала тряпьем и ругалась матом. Погодки Геня и Маша лежали в грязи и ревели. Геня уже ходил, а Машка была еще пятимесячным младенцем. Потом начали болеть, больше всего дизентерией маялись. Питались картофельными очистками, подгнившей ботвой да корой. Воду из болота брали. Стирать было негде, да и нечего. Все, что было, было на них. Да и какой туалет — ближайšie кусты. И в холод, и в дождь. Гене как-то совсем стало плохо. И вот на санках, местами по глубокому снегу, двадцать километров тащила до немецкого госпиталя. Дали им там лекарства, помыли, покормили, на три дня оставили. Вылечили, короче. А младшая, уже годовалая, тем временем на старшую девятилетнюю оставалась. Подхожу к землянке, рассказывала Домна, хихикая, санки еле волоку, тиф у меня тогда начинался, а в землянке старшая младшую укачивает: «Спи, бл...шша, спи! А то матка придет — пи... тебе надеет!» Мы удивлялись ее хихиканью, пока не поняли, что матерщину

она воспринимала как юмор. И о своей жуткой судьбе рассказывала просто, эпически спокойно, даже о том, как немецкий офицер вывел их всех из землянки, целился в них из пистолета, говорил: «Пиф-паф!». Жестами показывал, как сбрасывает их трупы в землянку и заваливает землей. И хохотал, довольный собой. Она именно повествовала, как будто все так в жизни и должно было быть.

А я ничего подобного не знал, не испытал, всегда в квартире вана была и душ, всю жизнь в городской квартире, исключая детские годы. Почему-то стыдно становилось от рассказов Домны, будто я виноват в такой ее жизни. А может, при высшем, мировом мистическом раскладе и виноват, ибо говорится: у неимущего отнимется, имущему дастся.

Старшая дочь Домны в начале пятидесятых вышла замуж и осталась в деревне, а младшая Маша уже в шестидесятые раньше даже своего брата приехала в Москву и стала работать официанткой в ресторане, обеспечив себе жизнь. Тогда я почему-то впервые понял, что работа при пище, в тепле, при возможных чаевых, считается у «простого народа» жизненной удачей. Она-то и посоветовала брату Гене милицейскую карьеру в Москве. Мать она навещала нечасто, но очень запомнилась мне: хорошей мордочкой, черными вьющимися волосами, веселым глазом, умением поиграть с сыном. Один раз она шумно восхищалась Тимкой, и Домна вдруг вполне серьезно сказала ей, почти посоветовала, указывая на меня: «А ты Глебу дай, и у тебя такой же будет». Дочка блеснула глазками и засмеялась. Смутился только я.

Зато сын приходил к нам два раза в месяц, долго стоял в коридоре, потом долго вытирал башмаки о коврик в прихожей, проходил в комнату, где мать жила с нашим сыном. Там долго молчал, потом спрашивал: «Ну как?» И мать торопливо отвечала: «Да ничего, Геня. Не обижают. И малец послушный». Первый раз он как бы навещал, заботился, все ли с матерью в порядке. Второй раз приходил забрать зарплату матери. Объяснял, что все ее деньги на сберкнижку на ее имя кладет. Был он степенный, всегда гладко выбритый, видно, что чисто вымытый, всегда в форме и непременно в свежей рубашке. Сыну моему он подарил кокарду, и Домна, когда мы приходили с работы, всегда подсовывала сыну кокарду как игрушку. И нам поясняла: «Геня мальцу подарил. А уж он как об этой кокарде обмирает. Вырастет, тоже, наверно, милиционером станет. А что — хлебное место...» Хотела нам показать, какой Геня добрый и заботливый, ибо чувствовала наше к нему нерасположение. Жена так просто считала, что он обирает мать и деньги кладет на свою сберкнижку. И старшая дочь Домне о том же писала (она нам ее письма показывала), сер-

дилась, что мать не ей, в нищую деревню, посылает деньги, а отдает брату в «богатой Москве». Надо сказать, что Геня старшую сестру во многом обошел. Скажем, получил от матери доверенность и раз в полгода ездил в деревенский сельсовет, где копили к его приезду пенсию матери, и получал ее, естественно, тоже забирал себе.

Но мать он как-то по-своему жалел. Я даже видел, как один раз, глядя в сторону, он гладил ее по плечу. Нежнее этой ласки немислимо и вообразить для такого, как он, подумал я тогда. На мои слова, сказанные мною Домне после его ухода, что негоже ему так мать обирать, нянька отвечала, что его собственные деньги, его милицейскую зарплату его жена, невестка то есть, отбирает, а сама пропивает все с полубовником: «Как Геня на дежурство, к ней мужики сразу, у них вся семья такая. И мать ее пьет, и отец пил, а сестру Гениной жены всех родительских прав лишили, так она дите свое бросила и с ними теперь живет, и каждый день нового мужика водит, с того и кормится. Да холодильник у них все равно всегда пустой, сколько бы Геня еды ни приносил, у них в милиции заказы дешевые бывают, — все сжирают. А деньги все на водку тратят. А мой Геня у меня никогда не пил и теперь не пьет. Он ждет, пока его пропишут, потому и терпит, — говорила Домна Антоновна, — а когда у него право будет, он через суд с ними квартиру поделит и уйдет от них. Да они его все не прописывают, боятся. Но в милиции ему уже обещали комнату дать с пропиской. А их он и засудить тогда сможет, и всю квартиру себе забрать. Нигде не работают, а каждый день пьют, нажрутся своей водки, наблюют, так в блевотине и спят, ей-ей! А потом даже и душа не примут, и сами не подмоются, и срач свой за собой не уберут. Геня там все чистит и моет». Это было единственный раз, когда Домна положительно упомянула душ. Как рассказывали бабушкины соседки, невестка Домне мыться в ванне не разрешала и не кормила. Прежнее отсутствие еды она у нас наверстала, а равнодушные к ванне сохранила, хотя руки мыла несколько раз в день. Но ванну принимала не чаще раза в месяц. Зато уж тогда лежала и, казалось, просто отмокала, чтобы струпья грязи сошли с нее. Увы, это случалось весьма не часто. Но и зрелище было, когда она вдруг за обеденным столом хватала обеденную ложку, запускала ручкой вниз под свое мешком висевшее платье и, кривя лицо от наслаждения, принималась чесать спину! Жена уже молчала, отводила глаза. Ссориться не хотелось, поскольку Домна и впрямь дала нам свободу.

Она спала в комнате сына, где кроме детской кровати стояла широкая тахта. Тахту на ночь она застилала своей собственной коричневой простыней и огромным одеялом с пестрым пододеяльником, пошитым на деревенский манер из разных кусочков ткани. Постель

стояла поначалу сутками небубранная, но как-то после замечания жены Домна среди дня поверх одеяла начала стелить наш шотландский плед. Когда мы уходили в поздние гости, она брала Тимку себе в постель, чтобы ночью к нему не вставать. Правда, Лилька следила, чтобы туда же были перенесены Тимкины простыня, подушка и одеяло. Он укладывался, грустно смотрел на уходящих родителей, а Домна махала на нас рукой: «Идите! Мы с Тимочкой спать будем». И укрывала поверх его одеяла своим пестрым. А мы мчались в гости и проводили время, будто и забот у нас семейных никаких не было, словно молодые и бездетные.

Днем она одевала сына, ходила с ним гулять. Любила знакомиться с прохожими. Подводила сына к кому-то и говорила: «Дай дяде здрасьте». Она была очень высокая, поэтому ходила сутулясь. Все окрестные домработницы и няньки Домну знали и рассказывали нам, как Тимка любит бабу Доню. Одна история была такова, что мы растерянно даже не знали, как ее воспринять. Няньки и домработницы часто водили выпасаемых ими хозяйских детей в парк «Дубки». Там они сидели на лавочках и болтали, а дети резвились перед их глазами в песочнице и на площадке с качелями. Чтобы дети не разбегались, няньки запугивали их, что в парке между деревьев бродит волк, да, может, и не один, а с голодной волчицей, поэтому далеко от нянек уходить нельзя. Площадка — как охраняемый загон. Именно там как-то Домна Антоновна и устроила спектакль для товарок. Она вдруг спряталась за дерево. Но Тимка был увлечен игрой и не замечал ее попыток напугать его. Какая-то из нянек пришла Домне на помощь: «Тимочка, а где баба Доня? Ты не видел?» Тимка поднял голову и огляделся. Домны нигде не было. «Баба Доня», — позвал он тихо. В ответ молчание. А она не раз говорила ему: «Вот будешь плохо себя вести, уйду к другому мальчику». И Тимка решил, что он чего-то нашалил, не заметив этого, и пришла расплата: баба Доня бросила его. А где-то за кустами уже наверняка притаился волк. Открыл рот и заревел во весь голос, точнее даже, зарыдал, закричал с всхлипами, с каким-то странным подвыванием. И тут-то и произошла история. Через «Дубки» шла домой с работы Лилька. Бросив на землю сумку с продуктами, она понеслась на рев сына. Но Домна соображала быстро. Не успела жена добежать к ревушему сыну, как Домна молнией метнулась из-за дерева и уже сидела рядом с сыном, прижав его голову к своей груди, так что тот и пикнуть не мог. И приговаривала: «Ну вот, малец, вот твоя баба Доня! Не пугайся, она тебя никому в обиду не даст. Ух ты, как бабу Доню любит! А уж как она тебя жалеет!» Такой мужик Марей в юбке! Тимка успокоился и, не видя еще мать, обвинил руками шею бабы Дони.

Но лицо няньки, как потом рассказывала Лилька, было оскалено прямо как волчье.

В этот раз Домна обвела жену, сказав, что решила поиграть немного с мальцом в прятки. Лилька не нашла, что ответить, только резко сказала: «Пожалуйста, впредь без таких игр!» Домна обратилась к Тимке, будто это была их общая затея: «Слышь, Тимочка, что мама говорит? Не будем больше так играть». И впрямь, Домна стала замкнутее, хотя с товарками болтала по-прежнему, но в «Дубки» ходить перестала. Они теперь больше гуляли во дворе, тем более что зелени здесь тоже было немало. Два газона с кустами сирени по бокам, два ряда лип меж двух профессорских домов, аллея между ними, скамейки, где Домна сидела либо, сутулясь, ходила за Тимкой, когда он катался на своем трехколесном велосипеде. Машины во дворе почти не ездили.

Геня продолжал навещать мать по-прежнему два раза в месяц. Но начал с ней больше разговаривать. И как-то Домна, очень гордясь, сказала, что Геня нашел себе справную женщину и скоро от этой своей жены-пьянчужки уйдет. Может, и дочку заберет. В интернат он ее отдавать раздумал. Наверно, ей с внучкой придется сидеть. И жена, и я немного занервничали, привыкнув к вольной жизни. Но, как и обычно, понадеялись, что невыгодно Гене снимать свою родительницу с места, где ей платят деньги, которые идут ему в карман. И все-таки жизнь вдруг изменилась. Никого себе Геня не нашел, но слух этот он потихоньку внедрял в сознание своей жены, и та вдруг испугалась остаться без мужа с ребенком на руках. Дальше произошло невероятное. Она бросила пить, выгнала сестру в ее квартиру, туда же отправила и мать. А сама устроилась работать. И тут-то и впрямь понадобилась им Домна — сидеть с дочкой.

Мы просили хотя бы пару месяцев повременить, поскольку у меня как раз должна была быть защита кандидатской. Но она ни в какую: «Геня велел». Мы еще боялись, как перенесет ее уход Тимка, за два года, казалось, сроднившийся со своей нянькой. «А вы ему скажите, мол, баба Доня поехала к внучке погостить, а скоро вернется», — учила нас Домна. Быстро собрала свои пожитки, и уже через час за ней зашел Геня, сказав, что милицейский газик уже ждет внизу. Тимка, словно чуя беду, затих в своем углу, расставляя зверей и играя в важного директора зоопарка. Только когда хлопнула входная дверь, он поднял голову. Мы робко подошли к нему. «Она ушла?» — как-то настороженно спросил сын, почему-то назвав няньку не «баба Доня», а отчужденно «она». Наперебой мы стали его утешать, что баба Доня уехала только погостить, что через неделю она вернется. Он недоверчиво смотрел на нас, чуя неправду. По-

том так и спросил: «Вы неправду мне говорите?» Я сказал: «Что ты. Конечно, правду». Но он покачал головой и вдруг сказал уверенно: «Нет, неправду». Мы растерянно замолчали.

И вдруг Тимка вскочил с пола и закружился по комнате, приплясывая и отбрасывая ногами игрушки. И закричал громко: «Она ушла. Она ушла навсегда! Она никогда сюда не вернется! Ура! И никогда больше не будет меня пугать! Ура!» Оказывается, тот случай в парке был не единственным, но она запрещала сыну даже заикнуться кому-нибудь об этом, страшая, что баба Доня уйдет, а родителям не до него. А мы, занятые нашим самоощущением духовного возврата в прошлое русской дворянской культуры, даже не замечали вопросительных глаз сына, его нежелания нас отпускать надолго из дома. Презирая себя, я все же позвонил бабушке, рассказав про ее протезе. Бабушка рассказала соседкам. Все решили осудить Домну. Но Домна и не думала стесняться, говоря, что без нее родители Тимочки совсем бы пропали, *сидеть* с сыном не умели и ухаживать тоже. А она всем нужна. Вот и сыну пригодилась. На том все и успокоились.

2008

Святочный рассказ

На каждого, даже очень хорошего человека хотя бы раз в жизни нисходит демон благополучия. Вы ошибетесь, если решите, что демон этот откровенно пошел и вызывает к так называемым низменным инстинктам человека. Он коварен, но мудр и все наши затаенные мечтания, самые вроде бы светлые и человеческие, казавшиеся ранее неосуществимыми, представляет как возможные. Он совсем не плох поначалу, пока не начинает подчинять себе нашу жизнь и жизнь наших близких, заставляя держаться привычной, наезженной, проверенной дороги, стремясь убрать всякую неожиданность из нашего будущего и заставить нас поверить, что стоит только следовать его советам, как мы избавимся от всех окружающих нас случайностей. И повезло тому, кто вовремя распознал коварство этого демона. Ведь будущее все равно приходит, и оно всегда неожиданно. Но как трудно не поддаться тихой сказке, которую человек нашептывает сам себе, сказке, говорящей о предвидимости человеческой судьбы и обещающей ее благоустроенность!

Григорий Михайлович Кузьмин шел домой легкой походкой, которая невольно возникает у человека в удачные периоды его жизни, когда все складывается один к одному, когда удача сама бежит навстречу и предлагает свои услуги, когда вдруг сильные мира сего, о которых ты и не думал, сами находят тебя и ты получаешь то, на что никогда и не собирался претендовать. Тогда человек начинает ощущать всем своим нутром, что он перевалил какой-то бугорок и теперь очутился в таком положении, когда подъем наверх легче, чем спуск вниз. Защитив кандидатскую диссертацию, тему которой долго не хотели утверждать, потом не допускали к обсуждению на секторе, защиту которой дважды под разными предложениями откладывали, отрицательные и положительные отзывы на которую составили в конечном счете целую папку, Григорий Михайлович, продравшись сквозь все препоны, неожиданно оказался не только кандидатом (а по тем временам это значило, что по нынешним доктор наук), но и заведующим тем самым сектором, куда

он несколько лет назад хотел поступить в аспирантуру, но куда его не приняли из-за спорности его реферата. От зарплаты младшего (или, как говорили, мэнэеса) без степени до зарплаты кандидата да еще заведующего сектором взлет был настолько велик и крут, что, вчера еще урезывавший во всем себя и свое семейство, Григорий Михайлович чувствовал себя Гаруном аль-Рашидом, способным осчастливить весь Багдад. И уж во всяком случае свою семью: свою мать, свою еще молодую и любимую жену и, конечно и прежде всего, своего сына, на которого возлагал надежды еще большие, чем на себя самого.

Когда он сошел с трамвая, пропахшего елочным духом, и двинулся под желтым светом фонарей по поскрипывавшему от мороза плотно слежавшемуся на асфальте снегу, утоптанному многими сотнями башмаков, мимо наметенных за декабрь снежных сугробов по краям дороги, но тоже уже улежавшихся, чувствуя в руке приятную тяжесть оттягивавшего ее книзу портфеля с покупками, он испытывал то предвкушение радости, которое дано испытать только доброму человеку. Он предвкушал то радостное сияние глаз, которым встретят его приход жена и сын. Жалко, что мать была еще в санатории, но и она должна была к Новому году вернуться, и тогда все будут в сборе! Его новое положение и сопутствовавшая ему удача на какой-то момент словно примирили любивших его. И потому он не очень боялся совместных празднеств. Напряженность семейных ссор покинула как будто его дом.

Он вспомнил бедолаг, мимо которых проезжал сегодня, толпившихся около елочных базаров, окруженных выкрашенными в зеленое заборами с нарисованным на воротах Морозом с белой бородой и в красной шапке, с мешком подарков за спиной,— бедолаг, переступающих с ноги на ногу и даже подпрыгивающих от мороза в ожидании «нового завоза» елок, и почувствовал себя вот таким же рождественским дедом, несущим в свой дом веселье, и поразился, с какой непринужденной легкостью ему удалось в этом году достать елку. Вчера, только он вышел из дому, как увидел у подъезда подвыпившего мужичка с роскошной, зеленой, отливавшей в серебро елкой, с такими при этом пушистыми и свежими иголочками, такой ровненькой и стройненькой, что смотреть на нее было приятно, а мужик просил всего лишь «на бутылку». Григорий Михайлович вынул просимую тридцатку, тут же поднялся и отнес елку домой, и вот она стояла и ждала его, еще не наряженная, потому что наряжать ее они решили перед самым Новым годом, тридцатого числа, но совершенно преобразившая комнату. Она стояла в ведре, раскинув и распушив свои ветки, стояла около открытого книжного стел-

лажа, который пришлось завесить какой-то серебристой тканью от иголок, стояла, занимая треть комнаты и наполняя воздух хвойным запахом, который молодит тело и настраивает душу на празднично-волшебный лад святочных гаданий, предсказаний и предчувствий Будущего.

Он оглянулся. Трамвай, погромыхивая и сверкая электрическими огнями, укатил в темную даль пробега, высвечивая на своем пути то фонарный столб с потухшей лампой, то куст у дороги, а Григорий Михайлович, прибавив шагу, спешил к дому с освещенными окнами, в которых кое-где тоже виднелись елки. И демон благополучия нес его, словно подталкивая, вдоль их пятиэтажного дома, к крайнему подъезду, а потом мигом вознес его на третий этаж, к обитой коричневой кожей двери.

Дома, как он и ожидал, его встретили улыбкой и сиянием глаз, как будто он отсутствовал очень долго и вот наконец пришел, принеся с собой удачу и хорошее настроение. Его недавно возникшие упоение и уверенность в жизни, как ему казалось, исходили из него ровной волной и охватывали, омывали всех его домашних. Вышел навстречу из своей комнаты сын, стриженный колючим ежиком, еще пухлощекий, еще по-подростковому невысокого роста, но в котором уже чувствовалась, по чернеющей верхней губе и по другим, совершенно неуловимым признакам, скрытая биологическая сила, накопленная организмом перед рывком, и что еще год, максимум два, и к четырнадцати или пятнадцати годам он из подростка превратится в юношу. Сын улыбался ему, и было видно, что рад его приходу. Жена еще не слышала, что он пришел, и, пока он раздевался, они перебросились в коридоре несколькими фразами.

– Привет, папа, – сказал сын. – Это ты пришел?

– Ну, конечно, не я. Разве ты не видишь?

– Теперь вижу. Ты пешком пришел? Или тебя, как большого начальника, прямо к подъезду доставили на машине?

– Увы, увы. Машина мне по штату не положена. Но ты лучше, чем над отцом посмеиваться и насмешничать, скажи, что у тебя сегодня в школе?

– Все нормально.

– Правда, нормально?

– Точно.

– Никаких новостей?

– Никаких.

Но по его пухлощекой физиономии Григорий Михайлович сразу заметил, что чего-то сын утаивал, что-то удерживал, не говорил ему

и, как он догадывался, не сказал и матери. Сын никогда ничего сразу не рассказывал, а Григорий Михайлович и не настаивал на немедленном рассказе. Он снял шапку, шубу, размотал шарф, наклонился в поисках домашних тапочек, надел их.

— Ну ладно. А где мама?

Но и жена уже тоже стояла в коридоре и шла ему навстречу:

— Гришенька пришел. А я и не слышала.— Она положила ему руку на плечо, он наклонился и поцеловал ее, а она, радуясь его непозднему приходу, говорила: — Очень вовремя. Мы с Борей как раз собирались ужинать.

Она подхватила его портфель:

— Ого, какой тяжелый! Что это там?

Он засмеялся, перехватил портфель у нее из рук и вошел на кухню. Он чувствовал себя все в той же роли счастливого отца семейства, почти патриарха, которого обожают домочадцы, как своего единственного властелина и повелителя, за его любовь и удачливость в охоте и пастушеском деле. И как некогда охотник притаскивал в пещеру тушу убитого им зверя, сопровождаемый восторгом женщин и детей, так и он нес портфель на кухню, а за ним следовал эскорт из жены и сына. Свет на кухне не горел, и в окно он увидел четкие переплетения голых ветвей, какие бывают на японских гравюрах, с вороньим одиноким гнездом в развилке ствола. Вспыхнул неожиданно свет, очевидно, шедшая сзади жена повернула выключатель, и дерево с гнездом пропали, а в комнате стало уютно и даже от света словно бы и теплее. Зато улица сразу как-то грозно потемнела. Жена подошла к окну и задернула кисейные занавески. И черная темнота, просачивавшаяся все же сквозь отверстие, прорубленное в стене и называемое окном, окончательно исчезла.

— Тебе звонили сегодня. Редактор из издательства. Пришла положительная рецензия на твою рукопись.

— Я уже знаю. Он мне дозвонился на работу.

Самодовольное чувство человека, владеющего будущим, снова охватило его, и он сжал жену за плечи:

— Все у нас будет хорошо, Анюта. Вот увидишь. Мы направим жизнь туда, куда захотим.

Он раскрыл свой вместительный портфель и достал оттуда бутылку шампанского и бутылку «Киндзмараули», из другого отделения вынул коробку с пирожными, куриный паштет, сырное масло, банку шпрот, две банки крабов, банку майонеза и банку черной икры. Вывалив все это на стол, он закрыл портфель, снова полюбил жену за плечи и сказал:

– Народу перед праздниками в магазинах прорва. Вот все, что удалось на скоростях купить. Но давай это не к Новому году, а устроим сегодня рождественский ужин.

Оказывается, это было так просто и так приятно – делать радостными других людей! И жена снова засветилась, словами подтвердив его ощущения:

– Я так рада...

– И, конечно, погадаем, какое новое повышение ждет нашего папу в Новом, пятьдесят девятом году,— съязвил сын, стоявший у другого края стола и с плотоядным удовольствием рассматривавший вываленные на стол деликатесы.

– Ты, Борис, все-таки, нахал, засмеялся отец. Он смеялся, потому что думал, что сын язвит от смущения, а на самом деле доволен предстоящим пиршеством. – Я тебе отвечу за столом. Пока же скажу только, что человек должен не угадывать, а предопределять будущее, строить его.

– И мы постараемся устроить его, разумеется, как нельзя лучше! – снова сказал сын, но тут же добавил: – Шучу, шучу!

Григорий Михайлович ушел переодеться к столу, вымыть руки, а тем временем ужин был сервирован, и все сидели за столом, ожидая его. Как «хозяин дома», он разлил в бокалы шампанское, они выпили «за все хорошее», отхлебнув по глоточку, немножко поели, а потом Григорий Михайлович поднял свой бокал и держал речь.

– Я сейчас, наверно, скажу сентиментальную ерунду, – начал он с ходу, полуизвиняясь, полуоправдываясь. – А быть может, если подойти серьезнее, то и не ерунду, и вовсе не сентиментальную, – он посмотрел на жену, в синих глазах которой он видел спокойствие и доверие – самое лучшее выражение, какое только и должно быть в женских глазах, на сына, продолжавшего готовить себе бутерброд с черной икрой, но наклоном пухлощеклой головы показывавшего, что слушает, и продолжал, упиваясь отчасти собственной речью (ибо демон благополучия требует обязательно от человека, подпавшего под его власть, и прекраснотушия): – Я люблю свою семью. И не только потому, что считаю семью вообще, семью как общественный институт – крепостью, защищающей человека и способствующей его развитию, но и потому, что у меня очень хорошая и талантливая семья, и, уверен, такой останется. Я жалею, что был не очень близок со своим отцом, но он был старше меня больше чем на сорок лет, а потом началась война, и прежде чем я вернулся домой, мой папа, а твой дедушка, Борис, умер. Тебе был тогда ровно год. А дедушка был очень добрый и очень умный. Но мне не повезло. Получилось, что я был лишен общения, лишен дружеской поддержки отца, ру-

ководства, совета, того, что называют отцовской помощью. И в каком-то смысле был предоставлен сам себе. И если бы не помощь моей мамы, а твоей бабушки, то мне было бы очень трудно что-то написать и сделать. — При этих словах жена моргнула, но ничего не сказала, не желая прерывать педагогической речи. — И я надеюсь, что у Бориса все будет по-другому. Во всяком случае, я приложу все силы, чтобы мои знания и опыт не пропали для Бориса даром...

— Папочка, ты уже это не раз говорил, — перебил его сын.

— Не перебивай отца, — стукнула пальцем по столу жена. — Ты должен слушать и стараться понять, что он говорит.

— Нет-нет, Борис, наверно, прав. Мы часто повторяемся, не замечая этого. Но просто я про все это все время думаю, потому и говорю так часто, что начинаю повторяться. И Боре, конечно, все это надоело. — Григорий Михайлович был очень добрый человек и, несмотря на временное благодушие, внушенное демоном благополучия и преуспеяния, не считал себя всегда и во всех случаях правым и непогрешимым. — Поэтому я скажу короче. Я хочу, чтоб и спустя двадцать и тридцать лет мы так же мирно и дружно сидели за этим столом или за большим столом в соседней комнате. И чтобы так же по всей квартире пахло елкой. А быть может, и запахом оплывающего воска — у новогодних свечек такой чудесный аромат! А Борис был бы к тому времени доктором исторических или биологических наук, профессором, и здесь сидела бы его жена и их дети, а наши внуки. Может, конечно, и не профессором, и не историком, но, главное, достойным человеком, нашедшим свое место в жизни, которым мы сможем гордиться. А я уверен, что так оно и будет. Потому что в этом смысл истории, в преемственности духа от отца к сыну, в преемственности культурного наследия. Во взаимоотношениях отца и сына и осуществляет себя история, происходит ее развитие. Давайте за это и выпьем — за семью, за дружбу родителей и детей!

Они чокнулись приятно зазвеневшими бокалами и еще немножко отпили шампанского и, наконец, принялись за ужин. Ужин был обильный: винегрет, овощное рагу с мясом, шпроты, ветчина, а затем пили чай с бутербродами с икрой и с пирожными. А потом Борис вдруг — как он это всегда делал — сказал:

— У меня рассказ взяли в альманах. Сказочку, — сказал как бы между прочим, но Григорий Михайлович сразу догадался, что в этих словах и проявилась та тайна, тот секрет, о котором он умолчал при встрече в прихожей.

— Что за альманах? — подозрительно спросила мать.

— Лиалюн.

— Как-как? Что это такое? Очень странное название, — продолжала с сомнением она. — Кто это выдумал?

— Да не беспокойся ты! — засмеялся сын. — Так наша учительница назвала, литераторша. Так что никакого хулиганства и никакой крамолы. Всего-навсего Литературный альманах «Юность», а сокращенно Лиалюн. Она даже сама стишки на обложку выдумала.

— Какие стишки? — спросил отец.

— Ну, девиз альманаха. Могу прочесть.

— Давай.

Сын кивнул головой и прочел немного неуверенным голосом:

Пусть автор твой пока еще юн,

Но мы безусловно верим в это,

Что тот, кто сегодня писал в Лиалюн,

Когда-нибудь станет великим поэтом.

Он сидел, развалившись на стуле, и смотрел на родителей слегка исподлобья, стараясь придать своему пухлощекому лицу суровый вид, как он всегда делал, не зная, как они отнесутся к тем или иным его выходкам. Отец с матерью ответили почти одновременно.

— Это какая учительница? Татьяна Ивановна? Которая на костылях? — спросила мать.

— Она и не подозревает, — подмигнул отец, — что на сей раз она попала в точку. По крайней мере, в отношении одного из участников. — И более серьезным тоном: — Что ж, я рад, Борис, это хорошее дело, если только заниматься им серьезно. Писательство, как и всякое дело, требует труда и культуры.

Григорию Михайловичу всегда хотелось подбодрить сына, который, особенно в последние год-два, казался ему неуверенным, сомневающимся в себе, в своих силах, слишком погруженным в себя и в свои переживания, недеятельным. И хотя он видел, что сын замечает его подбадривания и порой не очень доверяет им, ему тем менее представлялось, что постепенно таким образом удастся разбудить в мальчике честолюбие и веру в себя, добиться того, чтобы он ставил себе не мелкие, а крупные, настоящие жизненные цели, чтобы его не волокло по жизни абы как, а чтобы он шел уверенно, зная, куда идет. Но вместе с тем он боялся и отпустить его, что называется, по воле волн. Он был уверен, что долго еще будет лучше сына понимать его интересы. Но для этого необходимо, чтобы сын доверял ему. Чтобы его воля не была навязана, а была принята сыном, чтобы сын именно с ним связывал свои честолюбивые мечтания. Григорий Михайлович мечтал, чтоб в будущем было достаточно одного его слова, чтобы направить сына в ту или иную область — для его же блага. Поэтому он никогда не требовал, не приказывал, а просил.

– Покажешь? – спросил он, имея в виду рассказ, спросил тоном просьбы, которая, однако, предполагала согласие.

– Ладно. Но только не сейчас. А когда я лягу спать, – отвечал, слегка набычившись и смущенно, глядя исподлобья, сын.

«Смешной и трогательный подросток», – умиленно подумал Григорий Михайлович и согласно кивнул головой.

Они кончили пить чай, жена принялась мыть посуду, а Борис отправился в свою комнату стелить постель. Наконец он лег, жена помыла посуду, зашла поцеловать Бориса на ночь, вернулась на кухню, где Григорий Михайлович смотрел газету.

– Спит? – спросил он.

– Засыпает.

– Пойдем в твою комнату, к елке.

Он пошел первый, прихватив с собой бутылку «Киндзмараули» и пару рюмок. Войдя, зажег свет, и елка его встретила вдруг как живое существо, всей своей зеленой пышностью и оглушающим запахом, снова направляя его мысли на празднично-рождественский лад. Она словно перестроила не только комнату, но весь мир. Хотя бы на время, но наполняя его добротой и спокойствием, ощущением вечности и мира. Поставив на письменный стол бутылку и рюмки и вдыхая хвойный дух, он повернулся к вошедшей следом жене со словами:

– Прямо хочется при свечах посидеть. И погадать, как в старину, гадали. Чего там они делали? Только из Пушкина да из Жуковского и помнишь это... «Настали святки. То-то радость! Гадает ветреная младость, перед которой жизни даль, которой ничего не жаль»... И как-то там дальше... Что они делали? Не помнишь? Чего-то с кольцами, чаши с водой, свечи с зеркалами...

– Мы, я помню, топили воск и лили в холодную воду, – сказала жена. – Так должно было нагадаться будущее. Но все это глупости и суеверие. Молодые были, глупые.

– А, вспомнил! – воскликнул Григорий Михайлович. – Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали... А вы башмачок за ворота не бросали? А? Ха-ха!.. Давай с тобой в этот вечер просто посидим, выпьем хорошего вина, поболтаем. Пусть это будет наш вечер. Почитаем Борин рассказ... Жалко только, что мамы нет, правда? – немного непоследовательно добавил он.

– Конечно, – помедлив и видно, что с трудом и неохотно, согласилась жена. Но он не стал обращать внимания на проскользнувшую в ее тоне напряженность, потому что рождественский вечер должен быть тихим и милым. Потому что хорошо не ссориться, а мечтать в рождественскую ночь, когда, быть может, приткнется

щель в будущее, и очень хочется, чтобы это будущее было беспечальным и без бесконечных проблем.

– Ну давай посмотрим, что мальчик написал. Он, должно быть, уже заснул, – как можно мягче и нежнее казал он.

Жена прошла в комнату к сыну и через минуту уже вернулась, держа в руках несколько напечатанных на машинке листочков. Они сели вместе около стола, выпили по рюмке вина, подержав рюмки в руке и глядя с улыбкой в глаза друг другу, а потом, по очереди читая страничку за страничкой, они прочли следующее.

Самостоятельный

Сказочка

В большом лесу жила стая волков. У этой стаи был вожак, громадный, сильный и жестокий волк. У него была жена. У них обоих был сын. Сына звали Фрикки Вольф. Отца Фрикки звали Горри. Случилась эта история, когда люди только начали истреблять волков и волки еще жили в относительном спокойствии.

Фрикки Вольф был очень упрямый волчонок. Характером, как и силой, он походил на отца. Но Фрикки не слушался ни отца, ни мать, ни окружающих. На их слова он отвечал равнодушным молчанием или презрительным фырканьем, а если и произносил что, то ответ был один: «Нет!» Вполне понятно, почему Фрикки был так строптив с другими волками: он видел, как они подчиняются его отцу, а Фрикки считал себя не ниже отца, и, будучи тверд и властен характером, он не переносил волков, которые подчинялись кому бы то ни было. Отцу он не подчинялся потому, что отец пытался властвовать над ним, не учитывая, что Фрикки той же породы и характера, что и он сам. Фрикки был первым среди волчат своего возраста, а отец среди взрослых волков, и Фрикки считал, что они равны с отцом. Отец, однако, не считал так. И между ними была вражда. Матери же Фрикки не слушался потому, что она была заодно с отцом.

Но Фрикки был одинок. Его слабые духом сверстники боялись его, но они боялись и своих отцов. И отцы передали им по наследству, внушили им рабское послушание и преданность Горри Вольфу. А Фрикки не любил отца. Он знал, что со временем будет вожаком стаи, если будет притворяться перед всеми, что он любит отца. Но, во-первых, он видел, как к подобным ухищрениям и притворству прибегал отец, когда хотел кого-нибудь задобрить. Следовательно, Фрикки только поэтому не стал бы так делать. А во-вторых, он вообще ненавидел низкую игру.

Ранняя самостоятельность приучила Фрикки решать все самому, самому принимать решения. Она развила его ум и, конечно, силу. В противоположность отцу Фрикки не был жесток с волками, напротив, был даже мягок с ними. Но он всегда был тверд в своих решениях. Сказано — сделано.

Как-то, когда был голод, отец Фрикки убил оленя и хотел его съесть один, втихомолку. Фрикки узнал это и вытащил оленя к стае. Хотя волки и боялись Горри, но они были слишком голодны, и они съели оленя. Появился Горри. Он был в наисквернейшем состоянии духа. «Кто зачинщик?» — прорычал он. Волки, жутко испуганные, трусливо молчали, пряча хвосты между задних ног. Горри оглядел их. И один из волков просипел тогда: «Фрикки». Горри тихо, медленно подошел к Фрикки. И вот картина. В лесу тишина. Вечер. Два друг против друга на белом снегу. В одной стороне — сбившаяся стая, в другой — обглоданные кости оленя. «Так это ты украл, собачий выродок? Я тебя...» — страшным голосом начал Горри. «Попробуй тронь», — слегка обнажив клыки, усмехнулся Фрикки. Это был фактически уже взрослый волк, хотя во всех его сверстниках сохранялось еще нечто щенячье. Фрикки уже исполнился один год. И Горри, чтобы скрыть свое поражение, сказал: «Поговорим в пещере, в семейной обстановке». Схватки не было. Волки разошлись. Таков был Фрикки.

Прошло еще полгода. Теперь все волки считали, что Фрикки не уступит по физической силе своему отцу. Но подчинялись волки Горри. Фрикки был мягок с ними, и они считали, что это признак душевной слабости, несмотря на его многочисленные победы в схватках с ними. Но Фрикки после победы всегда их щадил. А слабые духом волки уважают только сильных, а сильными им кажутся жестокие, те, кто притесняет их, потому что сила притеснителей испытана на собственной шкуре. И Фрикки стал глубоко презирать свою стаю.

Однажды он бежал вместе со стаей и вдруг увидел громадного, жирного быка. Фрикки позвал стаю. Бык был жирен, но и силен, и Горри сказал: «Нет». Но Фрикки сказал: «Да». В первый раз Фрикки призвал волков к неповиновению. Бык был жирен, но Горри был вожак. И волки не двинулись с места. Фрикки убеждал их напрасно. «Ты просто трусишь один схватиться с быком», — сказал Горри. И было решено, что, если Фрикки один победит быка, он станет вожаком. И Фрикки побежал за быком. Схватка была ужасной. Фрикки чуть не погиб. Усталый, раненый, он лег и думал: «Зачем я дрался? Бык вкусный, но я один бы никогда не напал на него. Что-бы быть вожаком стаи? Но она ведь мне глубоко противна. Большое

удовольствие править слабодушными рабами! Они слушаются отца так, будто они собаки, а не волки. Править трусами? Нет. Не хочу. Они мне противны». Фрикки приволок быка. И прежде чем он сказал хоть слово, Горри крикнул: «Так вы против меня?! Все? Ну что ж, кто первый? Никого? Отвечайте: кто ваш вожак?» Волки стояли в нерешительности. «О презренные, трусливые, трусливые собаки! Вы нарушили договор. Вы не похожи на Фрикки. — Я не хочу быть вашим вожаком». И Фрикки скрылся в лесу.

Фрикки жил один. Он знал теперь больше, чем его отец, так как старался думать, что он делает, а отец правил. А власть опьяняет. Редко думаешь, когда правишь.

Но вот в лес пришли люди. Они стали устраивать облавы на волков. Они огораживали часть леса красными флажками, волки пугались их и бежали прямо на охотников. Фрикки попал в одну из таких облав, но чудом уцелел. И он понял, что нужно не бояться красных флажков.

Облава добралась и до его стаи. И в Фрикки заговорили старые привязанности. Он вернулся в стаю. «Я знаю, как уйти», — сказал он. «Мы тоже знаем, — сказал Горри, — мы побежим к выходу из красных флажков». — «Неправильно, — сказал Фрикки, — я один раз попал в облаву. Нужно прыгать через флажки, а у выхода ждут охотники». — «Ты еще мал мне указывать!» — промолвил Горри. Волки одобрительным ворчанием встретили слова вожака. «Ну подумайте! — убеждал Фрикки. — Зачем охотникам стоять за красными флажками?! Они же знают, что мы боимся красного цвета. И ждут у выхода. Ну подумайте сами!» Чудак! Он призывал их думать. Они даже забыли, что это такое — думать. И волки послушно побежали за вожаком. А Фрикки, горестно ослабившись, перепрыгнул через флажки и исчез. Стая погибла».

Этими словами рассказ заканчивался.

— Страшный сон, — пробормотал Григорий Михайлович, вытирая рукой лоб.

— Я не понимаю, — беспомощно сказала жена. — Что он всем этим хотел сказать?

А Григорий Михайлович как будто бы понял. О, это был страшный удар по демону самодовольного благополучия! Опустив голову и вертя в руках рюмку, постукивая по столу то ее ножкой, то краем, он коротко рассмеялся:

— Здесь несчастье — страшный сон, счастье — пробуждение...

— Не понимаю, — повторила жена и вырвала у него из рук рюмку, поставив ее твердо на стол, чтобы она не разбилась.

..... Было слышно, как наверху у соседей часы пробили двенадцать ударов. Зеленая темная масса елки казалась напоминанием о вечных проблемах, которые всегда останутся с человеком, и отец это увидел.

– Ты думаешь, он и вправду станет писателем? – снова спросила жена.

– Не знаю. Написано не бог весть как. Хотя имя Фрикки – это неплохо. Это от фырканья, ведь он на всех фыркает, Боря просто забыл или не сумел, что скорее, это имя обыграть.

– Откуда ты это знаешь? Он тебе говорил?

– Догадался. Да и не в том дело, как написано. Написано, конечно, смешно и не очень грамотно. Но вот что написано – это интересно. Это целое мироощущение. И оно из него вдруг выплеснулось. Я думаю, что Боря сам до конца не понимает, что у него написалось. И понять должны мы.

Ожидание его слов и тревога ясно читались на лице жены. А сам Григорий Михайлович вдруг с облегчением, почти физическим, почувствовал, что из него выходит какая-то болезнь, улетает, улетучивается, и глаза становятся яснее, и дурман выходит из головы, как тяжелое похмельное сновиденье. Это улетал демон, рисовавший ему картинки, закрывавшие живую жизнь. И выздоровевший Григорий Михайлович понял то, чего не понимал прежде. И об этом он начал говорить.

– Эта сказочка – урок нам с тобой. И предупреждение...

– Ты хочешь сказать, – перебила его жена, – что он к нам относится, как этот волчонок к своим родителям?

– Ни в коем случае. У искусства свои внутренние законы (а рассказ этот хоть отчасти, да построен именно по этим законам), и путать их с жизнью не надо. Он имеет отношение к нам, но не буквальное. Говорю же, что это мироощущение. Вернее, попытка заявить свою самостоятельность. И урок в том, что нельзя за сына решать, какой дорогой ему идти, нельзя ничего навязывать, – говоря это, он невольно вспомнил, что как только сын начинал чем-нибудь увлекаться и они сразу заваливали его подарками, советами, пособиями, книгами по заинтересовавшей его области деятельности, увлечение тотчас кончалось, и теперь ему был ясен в этом не осознаваемый самим сыном внутренний отпор их экспансии в его дела, и он повторил: – Нельзя предписывать своему ребенку свой путь. И хорошо, что он пойдет сам, как бы трудно ему ни было! Иначе не было бы развития, не было бы истории. И нам с тобой надо смиренно понять, что у него своя судьба, свой путь, который не угадаешь и не

предпишешь. И давай выпьем с тобой за то, чтоб наш сын остался верным себе, остался самостоятельным и когда он станет старше.

Григорий Михайлович медленно наполнил две рюмки красным сухим вином, и они выпили.

— А ты уверен, что ты прав? И что с мальчиком не надо поговорить по поводу его мыслей из рассказа? — путаясь в словах и волнуясь, спросила жена.

— Уверен ли я? Не знаю. Но мне кажется, что уверен. И еще уверен в том, что нам самим надо жить самостоятельнее, чтобы наш сын нас мог уважать.

И, глядя на елку, он думал, что им еще повезло, что они так за-просто и без особых усилий получили такой урок. И что такое могло случиться, конечно, только в рождественскую ночь. А сквозь серебристо-зеленую хвою он теперь видел жизнь, наполненную не фанфарами, блеском, благополучием и славой, а трудами, которые чередуются с кратким отдыхом, удачами и длительными неудачами, болезнями и выздоровлениями, срывами и взлетами — словом, видел то, что мы обычно и называем Жизнью.

Немецкий язык

Мы собирались в гости. Был уже вечер, темный, ранний, зимний. Но от снега, отражавшего электрический свет окон, на улице казалось светлее, чем в бесснежные зимние вечера. Снег был сухой, рассыпчатый, недавно выпавший и напоминал елочные новогодние блестяшки. Его праздничная искристость создавала невольно приподнятое настроение. И с этим приподнятым, праздничным настроением я явился домой: меня позвали с улицы переодеться. Дома, однако, было нервно, хотя нервность эта мне показалась тоже хорошей, будоражащей, празднично-гостевой.

Мама нервничала, красила перед зеркалом губы, что делала крайне редко, доставала из шкафа то одно, то другое платье (и каждое такое уютное, такое знакомое), говоря время от времени, что ей совсем нечего надеть, потому что она редко ходит в гости и не имеет ничего приличного, что лучше уж ей совсем не ехать, чем ехать к этим людям бог знает в чем, особенно к этой женщине, и чувствовать там себя стесненно.

— Иди переоденься! — прикрикнула она на меня, и я вышел в коридор, заглянул в ванную, где отец, намылив щеки и уперев изнутри язык для опоры, соскребал, как мне казалось, мыльную пену безопасной бритвой. В такие минуты он бывал сосредоточен и не разговаривал, и я отправился в свою комнату. Там я снял мокрые шерстяные рейтузы и мокрые шерстяные носки, натянул приятные, теплые, прямо с батареи, сухие носки и стал дожидаться, завернувшись в плед, когда кончит свои приготовления мама, чтобы спросить у нее совета, как мне одеться.

Мне было не совсем понятно, хочет она ехать в эти гости или же нет. То есть я видел, что вообще-то ей ужасно любопытно посетить их городскую квартиру, посмотреть, как живут люди совсем другого круга, и, конечно, удовлетворить самолюбие, ибо после летнего знакомства получено приглашение от людей знаменитых и, что называется, *известных*. Сам хозяин дома, куда мы были приглашены, Лука Петрович Звонский, был шумевший в те годы по Мо-

скве театральный режиссер, его жена, Лариса Ивановна, младше его двенадцатью годами, занималась графикой, но в основном, как думал я, начитавшись классической литературы, была занята тем, что «держала салон». Она мне очень понравилась, как только я ее увидел: стройная блондинка, с распущенными золотистыми волосами, ласковая, мягкая, но с каким-то твердым стержнем власти и победоносности внутри, смеявшаяся очень открыто и заразительно, раскованно и свободно. Хотя ей было уже весьма за сорок, в мои тринадцать она вовсе не казалась мне старухой, потому что вела себя спортивно, бегала наперегонки, плавала и была со мной так приветлива, проста и мила, что не хотелось думать о ней плохо, как о старухе. Да и не производила она такого впечатления, как я сейчас вспоминаю, нет, не производила.

Ну, конечно, и обаяние известности на меня действовало. Дед мой, которого я не помнил, был профессором, но, кроме двух-трех учеников, о нем никто не вспоминал, отец с трудом после университета устроился младшим научным в институт, что-то писал, но пока ничего не печатал, а фамилия Звонский — звенела. Его, казалось, знали все. И жили мы гораздо строже, суше, проще, чем наши новые летние знакомые. Мама порой бывала резка, хотя и добра ко мне, но не умела быть любезной — с крестьянской утилитарностью и научной деловитостью отрицая «пустое любезничанье», поскольку — если делаешь дело, то делай, а любезничать попусту нечего. А Лариса Ивановна, напротив, была сама любезность, разговорчивая, обаятельная.

Лука Петрович держал себя как бы в стороне от разговоров, был как бы погружен в свои художественные прозрения, но слушал внимательно, изредка вставляя нарочито грубые, бурсацкого толка шутки. Как я довольно быстро догадался, молчание его объяснялось тем, что говорить он не умел, не умел рассуждать, знал мало из жизни идей, читал тоже не очень много, поэтому с таким интересом прислушивался к рассуждениям отца. Когда я рассказал о своем наблюдении отцу, он возразил, что зато у Луки Петровича огромный природный талант, который вполне заменяет ему многознание. Но было ясно, что Лука Петрович прекрасно знает себе цену и ощущает себя своего рода солнцем, без которого жизнь в его семействе, да и в округе, может, и не текла бы вовсе. Он был чуть пониже ростом своей жены, потому казался маленьким, порывистым, с наполеоновским ежиком на голове, дескать, мал да удал, позволял себе смеяться в самых неподходящих ситуациях, как бы подчеркивая этим свою художественную нескованность приличиями, и вообще старался походить на такого грубоватого парня, простецкого, но ге-

ниального, этакое Мартина Идена, которого за его талант полюбила женщина «из образованных».

На самом деле в этой внешней противоречивости чувствовалась внутренняя гармония. Когда мы вдвоем с отцом отдыхали на Рижском взморье, получилось так, что у нас с этой семьей оказались общие знакомые, которые и притащили отца (и меня за компанию) к Звонским, рекомендовав отца как «интеллектуала». А поскольку среди их гостей и приятелей всегда бывали именно «интересные люди», независимо от чинов: поэты, художники, артисты, то и отец попал в их число. Я-то сам считал отца ужасно умным, даже самым умным на свете. Но всегда приятно получить подтверждение со стороны, видеть, с каким уважением выслушивают твоего отца люди посторонние и тоже неглупые, к тому же знаменитые; даже когда, как мне казалось, он говорил вещи обычные и банальные и я смущался и стеснялся этих «недостойных его» речей, Звонские слушали его все равно со вниманием и интересом. Короче, мы стали общаться. Встречались на пляже, а потом шли к ним в номер люкс дома отдыха пить чай. Лука Петрович говорил только о себе, рассказывая случаи из жизни, но не те, в которых он проявлял себя как художник, а те, в которых он выступал «настоящим мужчиной», и нисколько не мешал своей жене Ларисе вести то интеллектуальные, то кокетливые разговоры с гостями.

На излете месяца приехала мама, и ей сразу показалось что-то вроде романа между отцом и Ларисой Ивановной. Было ли что там? Спустя четверть века все кажется милой ерундой, да и в самом деле ничего, кроме легкого кокетства, и не было. А тогда меня сие и вовсе не волновало; этот дом, нет, прежде всего его хозяйка влекла меня: своей приветливостью, выказываемой заинтересованностью в моих делах, умением весьма мило притворяться со мной запанибрата и умением выслушивать; она советовала заняться как следует языком (узнав, что я учу немецкий с учительницей), запоминать наизусть стихи (обещала, когда в Москве будем, подарить мне томик Гейне на немецком языке), она была ласкова со мной, и я был словно очарован, не влюблен, а именно очарован. Завидя издали ее золотистые волосы, я радостно вздрагивал: было приятно, что она сейчас подойдет ко мне, что они с мужем не заняты никаким делом, а только друг другом и другими окружающими людьми, разумеется, включая меня.

После приезда мамы я к Звонским стал ходить реже, потому что и она ходила туда с неохотой.

— Я неинтересный для них человек, — поджав губы, как она всегда делала, когда сердилась, говорила мама, — чего я туда пойду? Чего

я там не видела? Чай пить в номере люкс? Вы, гуманитарии, привыкли время в разговоры переводить. Я уж, видимо, так никогда не научусь. А ты иди, — говорила она отцу, — покрутись перед Ларисой, хвост-то свой павлиний распусти, ты это любишь. А мне с микроскопом привычнее. Не пойдю.

Хотя познакомиться с ними маме пришлось, по сути дела знакомством дело и ограничилось. Через неделю Звонские уехали, а напряжение между родителями постепенно исчезло.

Прошло почти пять месяцев, и вот мы получили официальное приглашение посетить их. На сей раз мама согласилась, а я обрадовался, потому что с удовольствием вспоминал их огромный двухкомнатный номер люкс, с большим холодильником, застекленным сервантом с гостиничными рюмками, бокалами и графинчиками, вазы с фруктами на столе, когда к ним ни зайдешь, шоколадные конфеты и непременная минеральная вода. Отец продолжал с ними общаться и осенью — Звонский иногда приглашал его прочитать лекцию по истории искусства актерам в своем театре; судя по папиным рассказам, сам тоже слушал со вниманием, а потом они за полночь сидели уже дома у Звонских. Отец говорил, что Звонские пригрели того несчастного актера из бывшего театра Михоэлса, с которым мы познакомились на взморье, кормят, одевают его, иногда дают мелкие поручения. Отец рассказывал это, говоря о доброте Звонских, и я был с ним согласен, да к тому же и я помнил этого человека. Марк Самойлович был невысокий, ростом с Луку Петровича, совершенно лысый, толстый, с каким-то бугорчатым носом... Глаза беспокойные, заискивающие, хотя он все время пытался хохмить, поглаживая свои маленькие усики и веселя Звонских и нас, потому что в тот месяц мы оказались как бы друзьями дома, а он в поисках работы все же зависел от Луки Петровича, обещавшего пристроить его в театр.

— Где Бóра? — однообразно шутил он, закатывая глаза к небу. — Ужас! Вы забыли мальчика на пляже. Надо пойти поискать мальчика в пивной...

Почему-то именно однообразием и повторением эта шутка очень веселила Луку Петровича. Все смеялись, смеялся и я, чувствуя в душе непонятное превосходство над этим старым актером, потому что тот был зависим, а я как бы на равных, да еще меня тетешкала хозяйка. Звонский давал актеру деньги, и тот шел на пляж за пивом. Потом взрослые пили пиво, разговаривали, смеялись невеселым шуткам Марка Самойловича, а я с большим удовольствием ел и сосал шейки и клешни вареных раков. «А Бóра слушает, но ест!» — повторял из раза в раз, нарочито перевирая фразу басни, Марк Самой-

лович, и снова все смеялись. И еще всех почему-то умиляло, что я ровесник Победы: по этому поводу бежалось еще за дюжиной пива.

Я забрался на тахту в ожидании, что сейчас войдет мама и скажет наконец, как мне одеваться. Жили мы, конечно, не бедно, но и нельзя сказать, что богато, хотя мне самому всегда в детстве казалось, что наш достаток выше среднего. Тахта, шкаф, письменный стол — вот что стояло в каждой из трех комнат. Но три комнаты — это всегда мне казалось (да так оно и было) знаком обеспеченности. Кресел никаких, стулья старые, с твердым сиденьем и прямыми спинками, этажерки да полки с книгами. В родительской комнате на стене висел круглый репродуктор, с военных еще времен, я думаю. Когда я болел и мама перетаскивала меня в свою комнату на раскладушку, я часами слушал передачи по радио, особенно мне почему-то запомнилась радиопостановка «Седая девушка» — о какой-то китайской героине, которая поседела от пыток, но никого не выдала. Эта передача повторялась в моем детстве много раз, и каждый раз я слушал ее с увлечением, но сейчас все забыл. Помню только неизъяснимое чувство благородства и социальной гордости, ненависти к богатеям и захватчикам — все это чрезвычайно мне импонировало. Но, несмотря на демократизм, который взращивали и культивировали во мне, в школьной форме — брюки и гимнастерка с ремнем — я ехать в гости не хотел, отказывался. Универсальных джинсов тогда не было. Но и костюма я не имел. Все же нашлись брюки, на которых на скорую руку мама залатала дырку, совсем стало незаметно, и свитер с высоким воротом.

Не помню, что мы везли с собой: скорее всего, бутылку шампанского и коробку конфет, самое доступное по тем временам. Я надеялся, что ради такого случая поедем на такси, но до самой улицы Горького мы тряслись в трамвае, а трамвай дребезжал всеми своими разболтанными железными частями. Я сидел у окна и смотрел на сумеречную улицу: фонари, забор с лампочкой на углу (значит, шла стройка), дома с темными и освещенными окнами. Прижимаясь носом к стеклу, выдувал на холодном, заледеневшем стекле, белом от намерзшего льда, глазок для осмотра, а потом дыханием, а иногда, сняв варежку, тайком от родителей, жаром руки расширял этот глазок. Родители стояли надо мной, ухватившись за висячие поручни, которые болтались из стороны в сторону на длинных ременных шлеях, а когда трамвай встряхивало, то дергали за собой и державшихся за них. Мы неслись в перепутанице трамвайных и железнодорожных линий Савеловского вокзала, мимо кинотеатра «Салют», потом пошли высокие каменные дома, вдоль которых передвигались маленькие людишки. Узкие тротуары, казалось, прижимали их

к самым стенам. У поворота на столбе висели под фонарем огромные круглые часы с массивными стрелками, наручные часы для великанов. Вообще центр города, да еще вечером, в электрическом свете, казался мне не то что другой страной, а подводным таинственным царством, где все не как у нас на окраине – волшебнее, богаче, запутаннее, утонченнее, изощреннее; то есть слов этих я тогда, разумеется, не употреблял, но если вспомнить свои впечатления, то обозначить их можно только так. А когда зажегся в нашем полупустом (было воскресенье) трамвае, сразу в обоих вагонах, электрический свет – за окнами еще сильней потемнело, и огоньки фонарей и окон домов, бежавшие мимо трамвая, стали напоминать театральную иллюминацию, красивую и таинственную. И вообще весь этот путь в трамвае, путь длинный, через весь почти город, точнее, полгорода, от окраины до центра, до знаменитой центральной улицы Горького, самой нарядной и лучшей в мире, как я был уверен, мимо затемненного спортивного магазина «Пионер», – плавание по городу в светлом ярком корабле на колесах по рельсам, проложенным прямо по дну морскому, мимо этой бедности пятидесятых годов, которая мне казалась богатством, весь этот путь, повторяю, чудился мне как бы подготовкой к лицезрению ожидающего нас не то дворца, не то замка. А может, морского грота, куда вплывает потихоньку наш «Наутилус», а там раковины, огромные, перламутровые, раскрывают свои завитки навстречу, лес разноцветных кораллов, жемчуга и блеск чешуи всевозможных рыбок, мелькающих в царевом дворце. Все при деле: кто на посылках, кто вестником, кто в охране, кто прислугой...

Потом мы вышли, долго, как всегда кажется при незнакомом маршруте, шли улицей, потом свернули в переулок между высокими домами с тяжелыми углами, у которых цоколь, словно мхом или морским лишайником, оброс мрамором, затем еще свернули, идя уже дворами; вел, разумеется, отец.

– Однако, как ты дорогу-то вызубрил! – сказала вдруг холодно мама. – Не раз, видно, сюда захаживал.

Отец ничего не ответил. И тут я сообразил, что в трамвае они ни разу словом не обменялись. Это означало только одно: родители или уже в ссоре, или накануне ссоры. Я не очень понимал, почему мама злится; ну и что, что отец сюда ходит! Ведь ему интересно поговорить, послушать, а вовсе не ради Ларисы Ивановны – к тому же тут всегда и Лука Петрович присутствует. Наверно, и мама это понимала. Но я тогда не знал, что ревновать можно не только к женщине и подозревать не просто измену, так сказать, мужскую, ревновать можно и к образу жизни и видеть измену в предпочтении иного образа и стиля существования.

Но, наконец, мы добрались... Я и не обратил внимания, как выглядит этот дом, потому что не знал, к какому мы идем, какой *наш*. Все они были большие и устойчивые, как скалы, уверенно стоящие поперек омывающей и обтекающей их воды людского движения. Помню только, что вся нижняя часть дома была облицована чем-то гладким, а снег не только перед подъездами, но и на проезжей части весь счищен до асфальта, никакой снежной корки, которая всегда застывала на асфальте у нас во дворе. Дверь подъезда тоже не такая, как у нас — крашеная, фанерная, со стеклом вверху, а тяжелая, массивная, темного дерева, с огромной дверной ручкой, с тугой пружиной, открывалась с трудом. В прихожей подъезда была дверка с окошечком, и сквозь стекло виднелась комнатка-клетушка со столом и топчаном в углу. За столом перед телефоном сидела пожилая женщина в сером жакете с отворотами. Она подняла голову, приоткрыла стеклянное окошко и спросила громко, останавливая нас вопросом:

— Вы к кому? В какую квартиру?

Я из-под руки отца увидел, что на столе лежат какие-то растрепанные книжки, а под стеклом — бумаги со списком фамилий, как в школьном журнале, и номерами телефонов. Отец ответил, к кому мы идем, но консьержка (по французским романам я догадался, как должна называться эта женщина) не успокоилась.

— Какой этаж? — подозрительно спросила она.

— Пятый, — сказал отец, и тогда она указала нам рукой в сторону лифта, тут же, по выполнении своего служебного долга, забыв о нас и нашем существовании вообще:

— Проходите.

Мы вошли в лифт, закрыли за собой решетчатую железную дверь, затем две деревянные дверки с окошками, которые закрепила поперек откинувшаяся сверху планка. Я нажал кнопку пятого этажа, лифт дернулся и поехал вверх. После трехминутного плавного подъема лифт остановился, папа открыл дверцы, затем дверь, пропустил нас, вышел сам и с шумом захлопнул за собой дверь лифта. Тот вздрогнул и поехал вниз: очевидно, внизу уже кто-то давил кнопку вызова.

Мы свернули направо, в темный холл с перегоревшей электрической лампочкой, где в глубине чернели две квартирные двери, номеров на них видно не было. Посередине этого, следовавшего за лестничной площадкой холла почему-то стоял квадратный стол и несколько стульев. Но папа предупредил нас, и мы на него не наткнулись. Все так же уверенно отец провел нас мимо стола к черневшей слева двери и позвонил. Звонок зазвенел где-то очень далеко.

Дверь нам открыла немолодая, тощая, в голубом переднике домработница (как сейчас вспоминаю, присутствие домработницы меня не удивило, тогда у многих, временами и у нас, были постоянные или проходящие домработницы), вскоре она ушла и запомнилась мне только своим резким, неприятным голосом, которым крикнула, обращаясь вглубь квартиры:

— К вам это!

Повернулась задом и тут же скрылась куда-то в боковое ответвление выходящего из прихожей коридора. Описывать ли их квартиру? Воспоминание у меня смутное, но все же что-то я, как мне кажется, помню, хотя, быть может, их интерьер спутался в моем сознании с интерьером подобных же квартир, где мне приходилось бывать уже взрослым. Помню большую прихожую с встроенными шкафами, маленькое оконце в толстой стене, под ним большое овальное зеркало в деревянной оправе на резной подставке с куриными ножками. Прямо из прихожей дверь в гостиную, налево — детская (правда, дочь их уже выросла, вышла замуж, дома не жила, но комната, как рассказывала Лариса Ивановна, называлась по-прежнему детской). Направо из прихожей коридор вел в кухню, перед которой располагались по одну руку еще комната, а по другую — ванная и туалет. Кухню от коридора отделяла не дверь, а свисающая бамбуковая занавесь. Такое я видел до тех пор только на картинках, изображавших Китай или Японию. Перед гостиной, еще в прихожей, стоял невысокий секретер из дерева с красноватым отливом, а на нем телефон, звонивший за вечер довольно часто, и Лариса Ивановна всегда оживленным голосом восклицала: «А, это ты! Привет! Кисочка, ты не могла бы (или: ты не мог бы) позвонить мне завтра поутру? Я сейчас занята, у нас гости. Да. Потом расскажу. Летние наши знакомые. Ну, пока!»

На стене в прихожей, в простенке между детской и гостиной, висела писанная масляными красками картина в деревянной рамке. На картине изображался морской берег в зимнюю погоду, редкие кусты и перевернутая, занесенная снегом рыбацкая лодка. Ощущение было такое, что в квартире живописи столько, что малоценное из этого избытка выставлено в прихожую. И вправду: в гостиной над столом, стоявшим наискось к окну, столом, крытым зеленым сукном, с высокой бронзовой лампой на нем, висела огромная, но явно выбивающаяся из общего стиля дома картина: квадраты, кубы, трепещущие бесформенные цветочные пятна и мазки, все это соединялось вместе и перечеркивалось ровными черными линиями, как бы бравшими всю эту цветопись за решетку. Вся эта смесь из Миро и Кандинского, как определил бы я теперь по воспоминаниям, пе-

речеркнутая прямыми линиями, означала, что искусство, нам показанное,— гонимо. Вот, пожалуй, и все, что можно было извлечь из созерцания этого произведения. Но так я сейчас думаю, а тогда с остротой маленького человека, попавшего в незнакомое, но влекущее место, просто впитывал все, старался запомнить, хотя, повторяю, за точность воспоминания не ручаюсь; возможны наложения типических ситуаций других лет. «Эта картина — подарок нашего друга, — объяснила тут же Лариса Ивановна. — Он очень интересный художник». А Лука Петрович, сидя в кресле с подлокотниками в виде воткнутого в дерево топора, сказал: «Выкрутасничает, ха-ха, молодой... Пусть себе побесится». Но было ясно, что художник «в кругах» считается модным и что хозяева, в сущности, гордятся, что им перепала его картина: не случайно ей отвели самое главное место. На другой стене висели зато портреты сановных людей в мундирах и партикулярной одежде прошлого века. Живопись была хорошая, но какая-то несвободная. Лука Петрович, указав на них, опять хехекнул добродушно-подкалывающе: «Это предки Ларис Ивановны. Народную кровь, хе-хе, сосали...» А Лариса Ивановна спокойно и как само собой разумеющееся пояснила: «Это и в самом деле наши крепостные писали». Я помню, как была ошарашена этим ответом мама, гордившаяся своим происхождением из крепостных, и как смутился отец, даже покраснел и отвел глаза в сторону.

Впрочем, мама была, как я видел, шокирована, обижена, уязвлена с того самого момента, как мы переступили порог квартиры Звонских. Домработница скрылась, а из гостиной вышла Лариса Ивановна в бледно-голубом кимоно, одежде дотопле нами не виданной, волосы ее были уложены в простой пучок, на левой руке были надеты маленькие часики с бриллиантом, на правой зеленого цвета браслет, свободно скользивший по руке до локтя, рукава кимоно легко упали почти до плеч, когда она вскидывала руки поправить волосы. Губы ее были не намазаны, а шея открыта и без украшений. Мамин наряд: накрашенные губы, напудренное по обычаю того времени лицо, ее единственное гранатовое ожерелье, довольно тесное, вокруг шеи, и цветастое платье с поясом — сразу показался жалким, нищим, неуклюжим. Лариса же, заметив впечатление, как умная женщина, постаралась сгладить неловкость, подбежала к маме, взяла ее за плечи, поцеловала в обе щеки (мама, не привыкшая к подобному обращению, с трудом заставила себя ответить тем же: это напряжение было написано на ней), затем, не отпуская рук, отклонила, как бы издали разглядывая маму, и обратилась к отцу:

— Каждый раз я твоей женой люблюсь? То-то, сиднем дома сидишь. Какая она у тебя красавица и нарядная сегодня!

Эти «сегодня», «твоей» и «у тебя» уязвили, я думаю, маму до чрезвычайности. Значит, обычно она не нарядна (а ясно, что ее самый большой наряд ничто перед этой якобы простой одеждой Ларисы Ивановны), и, значит, хозяйка дома с отцом на «ты», чего он не сообщал. Но мама ничего не ответила, и тогда мы прошли в гостиную. И минут пять нам было дано на осмотр. У стен, под картинами, стояли старинные, темные, застекленные шкафы, за стеклами — хрустальные рюмки и кувшинчики, графинчики, красивые обеденные и чайные сервизы, которые, разумеется же, должны были быть фарфоровыми. Во всяком случае, всюду: и в шкафах, и на сервантах, даже на светло-коричневом пианино — стояли всевозможные фарфоровые и бронзовые статуэтки и фигурки — целующиеся пастушки и пастухи, охотники с собаками, обнаженные женские торсы. В металлических рамочках висели меж картин небольшие фотографии Луки Петровича, самого по себе, и со знаменитостями театрального мира, и две или три — в ролях. Про одну роль я догадался, это был шекспировский Ричард III. На массивной деревянной подставке, которую я принял было за тумбочку, стояла большая беломраморная голова Луки Петровича.

Затем нас из гостиной провели в другую комнату, с большим окном, книжными полками во всю стену слева (как потом я увидел, там стояли дорогие и массивные книги по театру и живописи на русском и немецком языках), а на другой стене висели три или четыре картины, изображавшие голых женщин в различных позах. Увидев эти картины, я покраснел, отвел глаза, снова посмотрел, снова отвел.

Лука Петрович, все заметив, хлопнул меня по плечу и сказал дурашливо:

— Что, мужичок, никогда голых баб не видел? Смотри, изучай, если мама не заругает, хе-хе...

На выручку пришла Лариса Ивановна, поправляя своего грубоватого мужа, чувствуя пуританство мамы:

— А я считаю, что в лицезрении подобных картин ничего особенного нет, все нормально, — Лариса Ивановна, прохладная, душистая, светловолосая (даже при пучке было понятно, что у нее очень длинные волосы, как у гейневской Лорелеи), легкая, теребила рукой мои волосы, отчего мне было приятно и краска с лица постепенно исчезала, — произведения искусства не должны восприниматься дурно. Да и, в конце концов, вид прекрасного женского тела должен только способствовать развитию эстетического вкуса у мальчика.

Это было смело сказано. Мама после этих слов напряглась так, что вздрогнула, но ничего не сказала, только невольно сделала от

нас шаг в сторону, оказавшись в одиночестве посередине комнаты. Мне было неловко за мамино пуританство, одновременно обидно за нее (наверняка ее точка зрения, не высказанная, но выявленная, казалась хозяевам ограниченной) и вместе с тем боязно, что мама скажет сейчас что-нибудь резкое и нам придется уйти из этого необычного дома. Все это тоже почувствовали и застыли, словно бронзовые или фарфоровые статуэтки. Папа с Лукой Петровичем у книжных полок, я, разинув рот, перед картинами (благо, получил санкцию смотреть!), около меня, в своем голубоватом кимоно, Лариса Ивановна, а мама одна, по-прежнему посередине комнаты.

На сей раз ситуацию спас Лука Петрович.

— Ну, осмотр, можно считать, закончили, хе-хе. Соловьев баснями да картинками не кормят. Да и я проголодался. Давай, солнышко, зови нас к ужину! Вы позволите быть вашим кавалером сегодняшней вечер? Гриша, я надеюсь, не ревнив, — протараторив все это в одну секунду, Лука Петрович подлетел к матери и предложил ей опереться о его локоть. Мама слегка покраснела от удовольствия слушать куртуазную речь и принимать ухаживание знаменитого человека, оперлась о его руку и мы двинулись через гостиную, потом по коридору в сторону кухни, свернув прямо перед ней налево в комнату, где уже стоял накрытый белой скатертью и уставленный тарелками и закусками стол.

Прислугу Лариса Ивановна отпустила и подавала на стол сама, не позволив маме помочь ей.

— Сидите, голубушка. Уж я как-нибудь сама.

Это «голубушка», как я снова почувствовал, снова покорило маму. По ее представлениям, слова «моя милая», «голубушка» и тому подобные употреблялись «вышестоящими» по отношению к «нижестоящим». Но ее снова отвлек Лука Петрович, и ужин прошел спокойно, оживленно, весело.

Что за отношения связывали отца со Звонскими? Как я видел, было безусловное уважение к его уму и знаниям. Я тогда так понимал, что им за занятиями искусством и светскими делами думать некогда, хотя их многое интересует, а от отца они получали, не прилагая усилий к чтению и размышлению, идеи, интеллектуальную информацию, а главное — объяснение окружающего мира, событий и того, что сами делали. Понять самих себя, да еще в ряду и на фоне мировых явлений и событий, неожиданно соотносить себя с мирозданием, — да важнее этого для человека ничего нет. Как им было не обхаживать отца!..

После ужина мужчины, закулив папиросы, вернулись в кабинет Луки Петровича, женщины последовали за ними, а я попал в чулан

или что-то вроде того. Это была маленькая, метров пять квадратных, комнатка без окна, с яркой лампочкой без абажура, свисавшей с потолка. Чулан этот располагался между кухней и комнатой, где мы ужинали. Там стоял небольшой покоробленный письменный стол со сломанными ножками под одной из тумбочек, в углу на полу картонный ящик с высокими бортами и импортными наклейками, и вот в этом ящике, а что не поместилось, то на столе или просто грудой на полу — всевозможные игрушки, каких я раньше никогда и не видал. Японские, французские, канадские, немецкие, бразильские, игрушки всех стран света, где побывал Лука Петрович: фаянсовые и фарфоровые куклы, закрывающие глаза и наигрывающие мелодии, стоит их повертеть, японский борец с разинутым в крике ртом, индеец в перьях и на коне с копьем, причем был он сделан из какого-то материала наподобие пластика, что позволяло гнуть его в разные стороны, придавая ему самые разные позы, из такого же материала — Микки Маус со смешной мышачьей мордой, лопухий заяц, олененок Бэмби, семь так же мнущихся уморительных гномов, которым можно было придавать любое выражение; такие же гнущиеся монстры, ковбои и гангстеры. А еще, еще там было оружие, игрушечное, разумеется, но какое!.. Автоматы, ружья, пистолеты самых разных марок и систем, до того похожие на настоящие, что оторопь брала. Стреляющие, трещащие, с вспышкой, с загорающейся электрической лампочкой, с вылетающими искрами. Словно какой-то великан, затащил к себе в пещеру на утес все это богатство и, отдыхая от набегов, играл, как ребенок, во все эти чудеса. Но на самом-то деле это были, как объяснила Лариса Ивановна, подарки Луке Петровичу от восхищенных его талантом режиссеров и актеров во время его зарубежных поездок.

Попал я туда, в чулан, следующим образом. После празднично-гостевого ужина — с красной и белой рыбой, черной икрой, шампанским и коньяком для взрослых, чаем с шоколадными конфетами и кексом — Лариса Ивановна вдруг спросила, довольно бесцеремонно, на мой взгляд, но все равно очень мило и ловко, как и все, что она делала:

— А сколько тебе лет, Борис? Я что-то забыла. Судя по тому, как ты у Луки Петровича в кабинете покраснел, думаю, шестнадцати тебе еще нет.

— Скоро четырнадцать, — ответил я.

Я вовсе не желал казаться старше, чем я есть, но поскольку у взрослых существовала легенда, что каждый подросток хочет выглядеть старше своих лет, о чем читал и в книгах, и по радио слышал, то я из вежливости ответил таким тоном, будто бы и я хочу выгля-

деть старше. А на самом деле мне и в своем возрасте было хорошо. Но все умиленно улыбнулись и засмеялись на мою интонацию.

— Ну, тогда ты еще развлечешься, — сказала Лариса Ивановна, единственная сохранившая серьезное выражение лица, — тем, что Луке Петровичу надарили: у него есть игрушки и оружие игрушечное, как раз для мальчишки. А мой Лука Петрович, он же, как всякий художник, совершенный ребенок и совсем непрактичный человек, ему бы все в игрушки играть.

Лука Петрович сидел важный, но сквозь его важность и значительность после слов жены сразу проступило этакое простодушно-детское и упрямо-мальчишеское выражение на лице: «Конечно, она права, я большой ребенок». А Лариса Ивановна взяла меня за руку и отвела в чулан. И там я, беря в руки то ковбоя, то гномов, то японский автомат, то американский кольт, думал с завистью, что вот бы это все во двор, всю эту роскошь, к нашим играм в казаки-разбойники, в индейцев, тогда бы мы с ребятами поиграли, и это наверняка повысило бы мой авторитет, по крайней мере у Кешки Горбунова и Алешки Всесвятского, которые вечно вытаскивали во двор всякие импортные игрушки и забавы. «А ему зачем? — думал я. — Все попусту пропадает. Не заходит же он сюда по вечерам и не воображает себя то индейцем, то ковбоем, то храбрым партизаном или подпольщиком, скрывающимся от гестапо» (как это было в книге Левенцова «Партизанский край», любимой книге моего детства).

В чулане я, как вспоминаю, пробыл не особенно долго. Не помню уж, сам ли я оттуда вышел, пресыщенный зрелищем богатств и уязвленный их недоступностью, так что и играть не хотелось (мелькнула было мысль выскочить с кольтом в гостиную, но так поступать в гостях, я это знал, было неприлично), или меня зачем-то позвала мама, но я опять очутился в комнате с голыми женщинами на картинах и книжными полками во всю стену. Взрослые сидели в креслах вокруг журнального столика и вели разговоры.

Увидев меня, Лука Петрович сделал приглашающий жест рукой, чтобы я подошел к нему поближе:

— Ну что, мужичок, наигрался? Понравились игрушки? Ничего, а? Должны понравиться. Понравились?

У меня вдруг мелькнула невероятная мысль, которая и в голову-то до того не приходила, почти невзаправдашняя надежда, и вместе с тем я тут же уверился, что ничего невероятного и несбыточного в этом нет — в том, что Лука Петрович сейчас возьмет и предложит мне на выбор игрушку в подарок.

— Да, — сказал я.

И добавил:

— Очень!

Я ждал, что Лука Петрович скажет: «Выбери себе автомат, какой понравится, любой, или если хочешь, то кольт». Но он ничего подобного не сказал, а захохотал, показывая, что рад был доставить мне удовольствие. И я тогда подумал, что ему просто жалко, что он жадничает, а теперь думаю, что ему, может, и впрямь просто в голову не пришло удовлетворить мое корыстное желание.

— Вот и хорошо, что понравилось.— Лука Петрович мотнул головой в мою сторону, предлагая остальным взглянуть на меня: — У малого есть вкус. Эх, мне бы эти игрушки лет на сорок раньше — по поселку с ребятами побегать!.. А теперь все это, как говорят ученые люди, — реализация несыгранного... Ну, садись с нами, мужичок, раз тебе надоело игрушками забавляться. Послушай, как взрослые люди пустяки врут, а Лариса тебе сейчас соку даст. Лариса, поднеси, радость моя, стакан соку нашему старому другу.

Лариса Ивановна легко встала, ее широкое, чистое, курносое лицо светилось довольством и радостью гостеприимства, любезностью. И ко мне она обращалась, словно мы и в самом деле были с ней старыми близкими друзьями:

— Как тебе нравится, Борис, этот держиморда? Что-то он чересчур раскомандовался, тебе не кажется? Помнишь, как на взморье он был тише воды, ниже травы. Он, видите ли, тогда отдыхал и расслаблялся, а теперь новый спектакль готовит, актеров гоняет, вот и мне достается.

Говоря так, она улыбалась, и мне, и всем сразу, налила стакан сока, поставила передо мной, и было ясно, что все легко и хорошо и вовсе ей ни капельки не достается. Поблагодарив, я взял стакан, пригубил его и, перестав наконец привлекать всеобщее внимание, смог глядеть по сторонам. Мама сидела в углу, спиной к картинам, с казенной улыбочкой на губах, откинувшись на спинку кресла, но слушала все внимательно, хотя реплик почти, не подавала. Отец тоже сидел в кресле, рядом с книжной полкой, весь напрягшись, вцепившись в подлокотники, и нервничал, почти не говорил, только отвечал, да к тому же односложно. Он чувствовал себя несвободно, потому что видел, как многое тут раздражает маму, и вести непринужденный разговор было словно бы неким предательством мамы; во всяком случае, так могло ей показаться, особенно потому, что Звонские принадлежали к столь далекой от нашего привычного круга *элите*. Не просто были художниками, артистами, то есть людьми иной профессии, а именно «высшим светом», где жизнь и профессия, род деятельности и образ жизни странным образом слиты.

Впрочем, и сами Звонские считали себя элитой и настоящими светскими людьми. Я слышал, как на взморье приятельница Ларисы Ивановны, тоже жена, правда, не режиссерская, а одного из видных актеров, говорила: «Конечно, именно мы сейчас представители света, светского общества. Даже чиновники к нам тянутся, они чувствуют, что духовная элита, да и вообще элита — это мы, а не они». Сказано это было с апломбом, но было видно, что произносит она не свои слова, а высказывает точку зрения, кем-то уже не раз формулированную, может быть и скорее всего ее мужем. Но мне тогда показалось, что она права. «Раньше актеры и постановщики, — подумал я, припомнив разнообразные книжки, — были богемой, общаться с которой представителю “порядочного” общества было зазорно, зато теперь почетно. Знакомством с ними все гордятся». И я пил сок и, забыв вскоре обиду из-за игрушек, с интересом и упоением слушал рассказы Звонских, впитывая их тон, саму манеру разговора, легкую и живую.

— Вот так он и лютует, помыкает мной, как сатрап, — ласково-ироническим тоном говорила Лариса Ивановна. — А как когда-то ухаживал! Что только не вытворял! Я ведь о принце мечтала, как и каждая молодая дурочка, — но слово «каждая» она так выделила, что нетрудно было догадаться, что к себе его она не относит. — Ко мне мно-огие сватались. Я ведь была дочь командарма, да еще и из хорошей семьи: отец мой из тех царских офицеров, что приняли революцию и быстро дослужились до самых верхов. Только в тридцать четвертом он разбился на самолете. Ну, зато в чистки не попал. И была я, молодая барышня, вся в денщиках, ординарцы отца каждое утро цветы мне дарили, на машине катали; у отца и в опере свой абонемент был... Поверите ли, Анечка, — обратилась она к моей матери, — что в юности я принимала ванны из молока, для кожи, — кожа у меня тогда была не очень хороша, вот врачи и велели за собой следить... Во всяком случае, чувствовала себя принцессой. И тут в театральной студии встречаю этого, тогда еще молодого грубияна. А он кто? Да никто. Бывший боксер, пока что трюкач в цирке, в студии на вторых ролях. И вдруг начинает за мной ухаживать!.. Я ему говорю: я выйду замуж только за знаменитого режиссера или актера. «Значит, за меня, — он мне отвечает, — а то нынешние все старики, какой от них прок! Они же ж ничего уже не могут, даже не расшевелият, не то чтобы удовлетворить!» Представляете? Так прямо невинной девушке все и ляпнул! — она захохотала, запрокинув голову. Ей было приятно делиться своей биографией, ей было интересно рассказывать про себя, и этот искренний интерес невольно передавался и слушателям.

— Ну ладно, ладно, — прервал ее Лука Петрович, — ты лучше расскажи, как я тебе меж пальцев из пистолета стрелял. Я ведь молодой лихой был, — пояснил Лука Петрович, — а пистолет у меня от брата после гражданки оставался. Она мне все хвасталась, что вокруг нее военные, храбрые и ловкие, с пистолетами, а ты только, мол, кулаками махать умеешь. А я говорю: а могут ли они из пистолета у тебя между пальцев руки с двенадцати шагов попасть пуля за пулей? Лариса гордая была девочка, мне под стать, храбрая была. К стене сразу подошла — мы у нее в саду были, — пятерню растопырила, к стене прижала: «Давай, говорит, стреляй».

— И вы?.. — перебил я его, острее взрослых переживая историю с оружием.

— А что мне оставалось делать? — усмехнулся он. — Пришлось стрелять. Так пулю за пулей все четыре штуки и всадил.

— Не ранили? — снова встрял я.

— Нет. Тут первый раз ее немного проняло. А потом пришлось мне, в свою очередь, обещание выполнять — становиться знаменитым режиссером. Вот и стал. Все, чтоб ей угодить. — Они оба ласково переглянулись. — Так уж больше двадцати лет лямку и тянем. Двадцать лет бессрочных каторжных работ! — теперь уж рассмеялся он. — Ну, честно признаюсь, Ларисе, конечно, больше достается. У меня работа, театр, а на ней весь дом, да еще и собственное творчество. Но раз уж впряглась в эту лямку, согласилась ее тянуть, — так уж тянет, и без сбоев, — сказал он, а я подумал, вспомнив, что говорила мама о Звонских, что не так уж тяжела эта лямка при домработнице и «хорошо зарабатывающем» муже. Достаточно посмотреть на фарфор и хрусталь, да еще и в молоке в молодости купалась. Зная крестьянское уважение и даже некоторое скопидомство мамы по отношению к продуктам (даже сухой корки хлеба выбрасывать нельзя, сюда труд вложен!), я просто боялся взглянуть на нее после рассказа о молочной ванне.

— Да уж, — подхватила тем временем свою партию в дуэте Лариса Ивановна, с ласковым укором и одновременно озорной усмешкой посмотрев на мужа. — У него там актриски, то да се, ему легко эту лямку тянуть. Но я понимаю, мы, Анечка, это понимаем, что мужчинам нужна разрядка, такая уж у них физиология. Женской выдержки и терпения у них нет и никогда не будет. Это только мы, женщины, — обратилась она к маме, — способны хранить постоянную верность и преданность. У нас на это силы побольше, чем у любого мужчины.

— Среди мужчин тоже не редкость встретить порядочного человека, если он все время помнит, что у него есть семья, дом, жена,

дети и обязанности перед ними, особенно если он твердо знает, что его жена не изменяет ему с каждым встречным и поперечным, — сказала резко мама.

Резкость ее была откровенной, вызывающей.

— Вот и не обязательно, голубушка, — спокойно, без обиды отреагировала Лариса Ивановна. — Вы ведь должны знать, что перед хорошенькой юбкой никакой мужчина устоять не сможет. Это проверено. И нечего его за это винить. Главное, надо следить, чтоб он не влюбился. Тогда это и в самом деле опасно. Я один раз так чуть своего Луку не прошляпила, чуть не потеряла. Думала, так все просто, в игрушки играет, покрутится, повертится, а потом все же в родовой замок вернется, за гранитные-то стены. Вдруг, приглядываюсь, задумываться он стал, на меня грустно так посматривает, на квартиру, будто прощается. Ну, думаю, уведят моего Лукашку, прямо из стойла уведят.

Я невольно посмотрел на Луку Петровича, не смутился ли, но он сидел прямо, крепко, слегка подводя зрачки под веки, с самодовольным выражением, которое я теперь могу определить как самодовольное выражение петуха, которого нахваливает его курица, ссорившаяся из-за него с другой курицей. Он попивал маленькими глоточками коньяк и с удовольствием слушал рассказ жены. Его маленькие глазки жмурились, и он все валяжнее и барственнее раскидывался в кресле, а пальцы его отбивали на ручке кресла такт легкомысленной песенки «Блю, блю, блю э́нери», доносившейся из магнитофона... Да, я забыл упомянуть об этом предмете, а он произвел на меня, быть может, самое сильное впечатление, как предмет невероятной — по моим тогдашним понятиям — роскоши. Машина с двумя крутящимися катушками с пленкой, в полированном деревянном корпусе, — нет, это даже не роскошь, а знак приобщенности к *той* жизни, зарубежной, европейский, «высшей». К тому же, как объяснял Лука Петрович, приобретался магнитофон не только для развлечения, а для профессиональных надобностей прежде всего, чтобы в работе быть на уровне современных технических средств. Лука Петрович формулировал это так: пишет он плохо, память у него слабая, забывает, что актерам хотел сказать, а наговорить, когда в голову приходят идеи, может много. А тут — раз, включил магнитофон и говори... И все важное сохраняется. Вот зачем он ему нужен.

А Лариса Ивановна продолжала свой рассказ, и под ритмы этой вполне легкомысленной песенки о любви все рассказываемое звучало как милая история:

— ...Уведят моего Лукашку. В глаза он мне не глядит, морда все время виновато на сторону скошена. Ну, думаю, так дело не пой-

дет. А мне ее показали: ничего, хорошенькая такая, рыжеватенькая. Вкус у Луки, надо отдать ему должное, в этих делах, всегда был неплохой, — Лариса Ивановна хрипло, точнее хриловато рассмеялась, и было в этой хриловатости нечто интимное и незлое, прощающее, уже простившее, но и властное, уверенное. — И все равно, я же знаю, что я для него лучше и нужнее. Конечно, теперь, когда у него такая слава, за него всякая не только пойдет с охотой, а еще и стремиться будет. Это я в свое время беспортошного трюкача приняла... И куда он от меня и без меня денется!.. Он этого может не понимать, зато я понимаю. Ну, я к ней в фойе после спектакля подошла, горжетку, которую он ей купил, сорвала; она побледнела, в сторону, как кошка блудливая, дернулась, я ее за волосы, да об пол и при всех, кто там был, за волосы по полу оттаскала. Она визжит, а сопротивляться не смеет, знает кошка, чье мясо съела. Меня оттащили, а Лука стоял и смотрел. Та визжит, ругается, слюной брызгает, а он ко мне подошел, под руку взял и домой увел. И все, больше с той ни разу не встречался. Оценил! — Она снова рассмеялась, подошла и поцеловала Луку Петровича в голову.

Мама перестала совсем улыбаться, отец улыбнулся какой-то тревожной улыбкой, явно ему эта история была не совсем понятна, в нашем доме совсем другой стиль отношений был заведен, серьезнее и надрывнее, а Лука Петрович сидел и ухмылялся, и что-то мягкое и довольное было в его улыбке.

После рассказа Ларисы Ивановны (я почему-то и про себя называл ее по имени-отчеству, хотя сейчас так и тянет назвать просто по имени) слово взял, не давая перерыва, Лука Петрович:

— Теперь, хе-хе-хе, я опять при ней. Глядишь, так и до конца вместе эту лямку дотянем. Сколько нам там осталось? Двадцать лет? Тридцать?.. Как по-твоему, Гриша, это много или мало — двадцать лет?

Отец пожал плечами, но не поспешил с ответом, видно мне было, что он переживал за маму, за ее дискомфортное состояние, винил в этом себя, а потому и не сразу включился в разговор, а включившись, ответил неожиданно сухо и с раздражением:

- Все зависит от меры отсчета и от наполненности человеческой жизни. Сумеет человек наполнить жизнь делом, вдохновением, настоящей любовью, трудом, реализацией себя — он вложит в эти годы много, спрессует их, а проживет, как свинья, для своего удовольствия, то будто этих лет и не было, во всяком случае для будущего времени их не будет, останется пустое пространство, будто в нем никого и не существовало. Впрочем, все эти банальности вы и сами знаете, без меня.

Он говорил, будто выговор Звонским делал, и снова, тем не менее, они не обиделись.

— Люблю Гришу, он всегда как-то все на свои места умеет поставить! — Лариса Ивановна отошла от мужа, приблизилась в своем шуршащем кимоно к отцу, обняла его одной рукой за плечи, прижала не то к своему боку, не то к бедру и поцеловала в щеку. Отец невольно дернулся, кинул быстрый взгляд на маму, не привыкшую к таким артистическим вольностям, и покраснел.

А Лука Петрович, потирая свои маленькие глазки, хехекал и повторял:

— Много или мало, все от человека зависит, именно, все от человека зависит, много или мало он прожил, все от человека.

Лариса Ивановна погладила отца по волосам. Свет в комнате был полупритушен, из пяти ламп на люстре горело только две, да еще торшер в дальнем углу, вполне все было видно, и все же атмосфера уюта, изолированности от окружающего мира, предполагающая беспредметную и игровую велеречивость, этим освещением создавалась. Но мама, глядя на глядящую отца руку, выпрямилась со сжатыми губами и сидела, ничего не говоря, как оцепеневшая, как застывшая. Отец старался делать вид, что ничего не замечает.

Молчать, как мама, мне почему-то стало неловко, хотя никто и не ждал от меня особых речей, и, чтобы сделать вид, что я занят и слушаю «взрослые разговоры» как бы вполуха, я тихо подошел к книжной полке и принялся доставать по очереди массивные тома книг по искусству, то на русском, то на немецком языках, листал их и рассматривал картинки, прислушиваясь к разговору. Но иногда отвлекался, читая аннотации. Немецкий я знал тогда настолько, что был в состоянии разбирать подписи под картинками.

— И вот вызывает меня этот Шпанделевский, кхе-хе, я так его прозвал, Гриша знает, о ком я говорю, из министерства один там, и спрашивает, — рассказывал тем временем Лука Петрович, — «Ты иностранные языки знаешь?» Я тут же сообразил, что к чему, и отвечаю: «Конечно, два языка». «В Англию поедешь, — говорит. — Нам нужен там в делегацию грамотный и хорошо образованный театральный деятель, художник, одним словом, да». Я киваю важно. А сам ни бум-бум, ни в одном языке... Сколько меня Лариса немецкому ни пробовала учить — она ведь у меня еще и немка наполовину, знали ли вы это, Анечка? — ничего так и не усвоил. Приезжаем, а я без переводчика ни шагу. Говорят: «Ты что же? А два языка?» Я им: «Два и есть. Армянский и грузинский». Фиг вы, думаю, мне тут проверку устроите. Махнули рукой. С тех пор и езжу. Вот так вот, понял? Языки знать надо!

Вдруг Лариса Ивановна, отсмеявшись, повернулась ко мне:

— А кстати, каковы твои успехи в немецком, а, Боря? Wie geht es Dir? Помнишь, я тебе обещала, если ты выучишь хоть одно стихотворение на языке, подарить хорошую книжку. Ну, и как у тебя успехи?

Я был рад сделать ей приятное, выполнить ее любую просьбу. Тем более прочесть по-немецки стихотворение — такой пустяк. Я повернулся к взрослым и сказал:

— Хайнрих Хайне. Ди Лорелай, — я нарочно сказал «Хайне», а не «Гейне», чтобы показать, что я знаю, как правильно произносить фамилию поэта, и прочитал:

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn...

Я прочитал стих до конца, а Лариса Ивановна спросила:

— Перевод, я надеюсь, ты знаешь?...

С самодовольным торжеством я ответил:

— Разумеется. Перевод Александра Блока.

И прочитал:

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущен:
Давно не дает покоя
Мне сказка старых времен.
Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор,
В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор.
Над страшной высотой
Девушка дивной красоты
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы,
Златым убирает гребнем
И песню поет она:
В ее чудесном пенье
Тревога затаена.
Пловца на лодочке малой
Дикой тоской полонит;
Забывая подводные скалы,

Он только наверх глядит.
Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей;
И всякий так погибает
От песен Лорелей.

— Ну что ж, роль Лорелей нам подойдет, правда, Анечка? — сказала Лариса Ивановна. — Только не похожи они что-то на погубленных!

— Эта роль не для меня, — сухо отрезала мама. Да и в самом деле, на Лорелей скорее походила Лариса Ивановна, живущая в своем доме-утесе на пятом этаже, и ласковые речи ее — ее песни, а пловцом в лодочке был, конечно, я. Возможно все же, что, сам того не подозревая, я был, наверно, влюблен в Ларису Ивановну, в Ларису. И ее образ был для меня окружен золотым сиянием. Она встала, подошла к полкам, достала том избранных стихотворений Heine (я-то помнил, что он ее любимый поэт и что именно этот том и был мне обещан!) и протянула его мне со словами:

— Держи, учи наизусть. Лучший способ выучить язык — это учить наизусть стихи.

Мне вдруг показалось, что если я буду изъявлять благодарность, как положено, то нельзя не упомянуть и то, что я ждал этого подарка, и тогда получилось бы, что я напомнил об этом чтением стихов, напросился, так сказать. Я взял в руки книжку и, в растерянности пробормотав еле слышно «спасибо» и «пойду положу», выскочил черед гостиную, чувствуя себя неуклюжим и топорным под взглядами взрослых, в холл-прихожую, засунул книжку в мамину сумочку и с трудом заставил себя вернуться обратно.

— Ты куда ходил? — спросила мама. — Даже «спасибо» не сказал.

— Я сказал, — покраснел я. — А ходил положить. В твою сумку.

— Хорош! — смутился и папа. — Настоящий бурундук.

Его слова вогнали меня в краску окончательно, до слез, до неловких жестов, когда нарочито не обращаешь ни на кого внимания. Я подошел к окну и мрачно уставился в темное стекло, пытаюсь разглядеть за ним слабо освещенный двор, казалось расположенный на дне пропасти, настолько высоки были окружавшие его дома. Но виднелся только каток за деревянными щитами с тоненькими деревцами и четырьмя фонарями. Он напоминал арену, куда можно было выпустить и гладиаторов, и диких зверей, а из окон сверху, как с усовершенствованных зрительских мест, можно наблюдать за схваткой. Я замечтался, отвлёкся, но сзади захохотал Лука Петрович, и я в отчаянии прижался лбом к стеклу с такой силой, словно пытался выдавить его. Женские руки нежно взяли меня за плечи и,

несмотря на мое не слишком упорное сопротивление, развернули. Это была Лариса Ивановна.

— Да ты что, Борис?! Да фу на твоих родителей! Что за мещанская чопорность! Все правильно. Ты получил в подарок книжку и спрятал ее в сумку. Все нормально. Ну, улыбнись, не переживай!

От нее исходил манящий, влекущий запах духов, запах, которого я никогда не слышал раньше. И я был ей благодарен, она, в сущности, вытащила меня из пропасти, в которую я с отчаяния ринулся от стыда, не одернула, не засмеялась и вдруг прояснила, что ничего страшного не случилось. И после самообвинений и ясного понимания, что я поступил «неприлично», наступило столь же ясное понимание, что все в порядке, что я имею право смотреть на белый свет, но все же ее слова о родителях были мне неприятны, хотя за ее доброту я и готов уже был стать ее верным рыцарем, расплыться в обожании ее. Полуобнимая меня за плечи, она подвела меня к креслу, усадила и присела рядом на широкую и плоскую его ручку.

— Ну, — повторила она, — не переживай, мы же друзья. Верно?

— Слушайся Ларису Ивановну, с ней не пропадешь, — сказал, щурясь, Лука Петрович. — Уж если она меня, хе-хе, удержать сумеет, ума у нее побольше, чем у всех других женщин, вместе взятых.

— А что, Борис, — в порыве вдохновения произнесла Лариса Ивановна, — давай приезжай ко мне, я с тобой буду немецким заниматься. Все же это мой второй родной язык.

Я молча кивнул, а сам вспомнил свою «немку», Эльзу Христиановну, которая «давала уроки» мне и моему дворовому приятелю Алешке Всесвятскому. Когда она приходила к Алешке (мы занимались у него на квартире), его бабка приносила ей на стол чай и конфеты с печеньем в вазочке. Сначала она пила чай и просматривала наши домашние задания, потом Алешкина бабка приносила ей вторую чашку, и Эльза Христиановна начинала спрашивать нас перевод, чтение, слова, продолжая между делом прихлебывать из чашки чай. Когда она как-то раз оказалась в нашей квартире, где суровая мама поставила на стол только будильник и сказала «немке», что, если в течение положенного часа мы будем баловаться, а не работать, чтоб она не стеснялась на нас прикрикнуть, а если надо, то позвать и ее, потому что работа есть работа. «Mach die Tür zu», — досадливо сказала «немка» привычную фразу, кивнув мне. Я встал и закрыл дверь комнаты. На квартире у Алешки обычно это делал он. Эльза Христиановна морщила к переносице брови и с неудовольствием раскладывала книги. Она напоминала мне всей своей повадкой, своим длинным коричневым платьем с белым воротничком и белыми манжетами рукавов, своей длинной костлявой фи-

гурой, любезностью, умением и любовью «побеседовать» с Алешкиной бабушкой «немку» из прошлого века, не то учительницу, не то гувернантку. С нами она всегда была мила, изредка дарила нам немецкие книжки про индейцев, которые (так предполагалось) мы с интересом должны были читать, но которые мы не читали, разве только на занятиях. Она что-то бормотала чуть слышно, ее длинные худые губы шевелились, наконец она произнесла: «Setzen sie sich». Мы уселись, и занятия начались. Очевидно, что ее природный, врожденный немецкий педантизм, почти пропавший среди российской бестолковости и безалаберности, проснулся от маминого крестьянского напора и деловитости, и она целый час гоняла нас по склонениям, заставляла читать, пересказывать, вести между собой беседу, умаяв нас и сама умаявшись. Но больше она у нас в квартире не занималась, предпочитая Алешкину, нахваливая Алешку бабушке, чтоб та снова и снова приглашала ее заниматься к ним домой. Было в ней что-то от приживалки, эксплуатирующей свою национальность и язык, раз уж больше нечего и ничего-то другого она делать не умеет, и родина далеко и вряд ли она уже туда вернется, да и есть ли к кому. Очень жалею сейчас о нашем детском равнодушии, что мы даже не поинтересовались ее судьбой. Кто она, откуда, как жизнь прожила и как сейчас живет. Для нас она была хорошей теткой, доброй, не очень нас загружавшей (чем весьма нам нравилась) и, по сути дела, не пытавшейся учить нас языку. И до сих пор я так и не знаю немецкого. Хотя мечты родителей, чтобы их сын непременно знал иностранный язык, потихоньку вколотились мне в голову, и я хотел язык знать, но не представлял, что это требует постоянных усилий, как и все на свете. О последнем я тоже тогда не догадывался.

Выслушав предложение Ларисы Ивановны, я с радостью молча кивнул ей, но при этом вопросительно посмотрел на родителей. Как *они* к этому отнесутся? Без их разрешения я не представлял себе поездки сюда. Отец пожал плечами, и я поглядел на маму: от нее теперь все зависело.

— Спасибо за предложение, но, Лариса Иванна, — сказала мама, — у Бориса уже есть учительница, да к тому же регулярно сюда ездить у него не получится, а заниматься от случая к случаю — толку не будет, — с прямым и нескрываемым осуждением этой затеи сказала решительно мама.

Я видел, что Лариса Ивановна несколько растерялась: она и не собиралась давать постоянные уроки, как показалось маме.

— Но никто и не говорит, чтоб он бросал регулярные занятия с учительницей, — попытался поправить положение отец. — Сюда он может ездить для шлифовки языка, произношение улучшать.

— Пусть с Эльзой Христианной занимается. За что-то она деньги получает, пусть и произношение ставит. Главное, чтоб он сам не лентяйничал, — уперлась мама.

— А ты считаешь, Гриша, что учить язык полезно? — бесцеремонно встрял Лука Петрович. — Не знать, а именно учить?..

Отец повернул к нему голову, радуясь — по всему было заметно, — что разговор хоть слегка меняет русло.

— Конечно, полезно. Открываешь новый мир, даже заучивая простые грамматические правила чужого языка. Надо только помнить, что слов и грамматических правил здесь недостаточно, — заговорил отец «рассуждающим» тоном, привлекая всех вслушаться в то, что он будет говорить, и забыть о «напрягухе». — Мы не овладеем языком, пока не научимся мыслить на нем, а это задача из задач. Обычно удивляются, почему взрослому труднее выучить язык, чем ребенку. Но у ребенка происходит первая встреча с миром, и эта ситуация уже не повторяется. Поэтому второй язык учить сложнее, тут реальная трудность состоит не столько в изучении нового языка, сколько в забвении старого. Что вы так на меня смотрите? Это звучит парадоксом, но это так. Наши восприятия уже сложились в соответствии со словами и речевыми формами материнского языка, именно материнского, связь тут столь же тонкая и прочная, как у ребенка с матерью, потому и разрыв связей между вещами и словами, чтобы назвать вещи новым словом, требует больших усилий. Но ради языка можно пожертвовать усилиями и временем. Проникновение в другой язык есть всегда проникновение в новый мир, обладающий своей собственной интеллектуальной структурой, и самое большое достижение здесь состоит в том, что свой родной язык мы начинаем видеть в новом свете. Как сказал Гете, — отец взмахнул рукой, словно подчеркивая цитату, — «*wer fremde Sprachen nicht kant, weiss nichts von seiner eigenen*». Борис, можешь перевести?

Я отказался. Лариса Ивановна переспросила, но перевела:

— Кто не знает иностранных языков, тот не знает ничего и о своем собственном. Так? Что скажет ученый мудрец?

Уже в который раз опять зазвонил телефон. Разведя руками, что, мол, не может выслушать ответ отца, Лариса Ивановна вышла в прихожую. Оттуда, как и предыдущие разы, был ясно слышен ее сильный веселый голос: «Да. А, здравствуй, Мáричка. Достал? Молодец. Ну, конечно, возьми. Договорились. Наши общие знакомые. Помнишь Гришу Кузьмина? Вот он с семьей. Непременно передам. Ну, разумеется. Сказала тебе — передам, значит, передам. До скорого». Она звонко засмеялась, как обычно смеются шутке.

Вернулась она в комнату, продолжая смеяться.

– Помните такого забавника, Марка Самойловича? На взморье все юлил вокруг нас, надеялся, что Лука Петрович его в театр пристроит. Передавал горячий привет и спрашивал, здесь ли Боря или его, как всегда, забыли в пивной? – Она снова засмеялась. – Услужливый такой человечек! Я его посылала очередь отстоять (за одним предметом дамского туалета, – пояснила она, склонившись к маме, интимно). И представь себе, Лука, он достоялся. Завтра привезет. Просто прелесть!

– Да, человечек он услужливый, хе-хе, этакий Шпанделевский, – подтвердил и Лука Петрович, – а куда ему деться? Все ждет, что я его на работу пристрою, а у меня пока не получается.

– Несчастный человек, а не человечек, – сказала вдруг мама громко и в сердцах.

А я посмотрел на Ларису Ивановну, такую естественную в своем аристократизме, и подумал, что она, конечно, не гейневская Лорелей, а, скорее, прекрасная дама из шиллеровской «Перчатки». Надо сказать, что «Перчатка» своим демоническим и гордым трагизмом нравилась мне куда больше «Лорелей», потому что воображать себя отважным рыцарем, не побоявшимся с высокого балкона спрыгнуть за перчаткой надменной дамы на площадку зверинца, где бродили лев, тигр и барсы, было куда интереснее и приятнее, чем непонятным пловцом в утлой лодчонке: стихотворение это было напечатано в учебнике готическим шрифтом, что придавало ему средневековую убедительность, и когда я произносил слова: «Den Dank, Dame, begehrt ich nicht!», – мне казалось, что и я бы с таким же презрением отверг лицемерную и надменную красавицу. Но тут же увидел, что вовсе и не похожа Лариса Ивановна на надменную, тем более лицемерную красавицу, потому что и она ужасно смутилась, да и Лука Петрович смешался после маминых слов.

– Он такой забавник, то есть шутник, то есть я вовсе, мы вовсе не хотели его обидеть, говоря, что он услужливый... что вы, Анечка, «человечек» вовсе не унижительное слово, он ведь и в самом деле невысокенький такой, да и духом невелик, – оправдывался в растерянности Лука Петрович, а Лариса Ивановна подтверждающе кивала головой.

– Да нет, это я так, – спохватилась и мама в смущении.

А Лариса Ивановна бросилась ко мне как к спасательному кругу, как к человеку в лодке среди волн, как к спасателю, как к рыцарю Делоржу, который поднимал перчатку дамы, но не из гордости, а за помощью:

– Ну, так что, Борис?.. Как ты решил? Будешь ко мне ездить языком заниматься?..

Конечно же, я хотел ездить. Мне не так хотелось заниматься немецким языком, как заниматься именно с ней, ездить к ней в дом, общаться с ними, это льстило моему самолюбию, сам не знаю почему. У нас дом был, что называется, интеллигентный, но простой. В нем была *прямота*, доходившая даже до обидного, поскольку меня не облизывали, а, скорее, побранивали, гораздо чаще, чем мне хотелось бы. И никогда у нас дома не было избытка: только то, что нужно. Уже позднее я определял этот стиль жизни как характерный для российской демократической интеллигенции. Не голоден, обут, одет, в тепле, здоров, книги есть — читай, развивайся: для занятий — книгами, деньгами, учителями — ты будешь обеспечен, только трудись, работай. Меня не тянули, мне помогали. Но желание приобщиться к миру, где меня не бранили, не поучали, где отношения чудились легкими и простыми, где со мной разговаривали, не ставя одновременно, пользуясь каждым поводом, высокоморальных целей, — короче, желание стать «своим» в этом мире охватило меня.

— Я с удовольствием, — отозвался я на ее слова, но, пытаясь выглядеть куртуазно вежливым, добавил: — Если только у вас будет время для меня.

— Конечно, будет, — сразу сказала она. — Как решишь приехать, так и звони, только лучше звони за день, чтоб я других дел не назначала. Хочешь, прямо с послезавтра и начнем? Все же мать у меня немка, должна же я в ее честь хоть одного человека выучить ее родному языку, Итак, решено, послезавтра. Приезжай к обеду. Будем обедать и беседовать по-немецки... Gut?

Лука Петрович сморщился:

— Ларочка! Зачем ты обманываешь нашего юного друга! Ведь послезавтра у нас Елисеевы, и тебе не удастся поговорить с Борисом на твоём втором родном языке, солнышко ты мое! Елисеевы, хе-хе, в языках, вроде меня, люди свободные от знаний... Хе-хе! То есть пусть Борис приходит, когда хочет, мы всегда рады его видеть, только в этот день занятий не получится...

— Да вы что, — сказала мама, — зачем ему *попусту* ездить, у него все же школа, уроки, да и вообще я считаю, что нечего попусту людей беспокоить. Пусть хорошо делает хотя бы то, что ему по программе положено, да что Эльза Христиановна ему задает... — мамино лицо от внутреннего напряжения пошло красно-белыми пятнами, смотрела она при этом на бахромку своего накинутого на плечи посадского платка.

Но и Ларисе Ивановне, хозяйке волшебного замка, вознесшегося на утесе над морем человеческой обыденности, отступить было нельзя.

— Ну и что. Мы увидимся в другой раз. Анечка, дорогая деточка, я вовсе не съем вашего сына. Он такой милый и славный мальчик, с красивыми глазами, как у отца, и очень мне нравится. Просто Боря должен сам мне позвонить, ну, скажем, через неделю. И мы с ним непременно выберем время для встречи. А с этими Елисеевыми я действительно должна буду заниматься, развлекать их разговорами, и они нам с Борей будут мешать. Лучше через неделю.

— Лариса, — робко сказал отец, — я думаю, Аня права, зачем вам себя утруждать! У Бориса есть учительница. Так что все в порядке, он нормально занимается.

— Тебе, Гриша, стыдно так говорить, — прищурилась златовласая красавица с курносом носиком, и тут я впервые осознал, что отец говорит им «вы», а они ему «ты». — Ты бы должен был понимать, что значит работа по обязанности и что значит работа от души. Ты же мудрец, мыслитель.

При этих словах мама посмотрела на отца проницательным долгим взглядом.

— Быть может, тебе и в самом деле, Гриша, лучше знать это, раз так говорит Лариса Ивановна.

— Аня! Ну что ты, право! — сказал отец, уже не обращая внимания на Звонских.

А я вдруг подумал, что понимаю отца, что как Эльза Христиановна приходила к нам не ради уроков, а чтоб погреться, отогреться при цивилизованных детях, в профессорских семьях, за чашкой чая, где к ней относились как к человеку, а не просто как к училке, так и папа стремился сюда, чтобы побыть в атмосфере изящества, свободы, где ему *внимали*, причем слушали не как специалиста, а по любому вопросу он мог говорить, как много знающий и умный человек.

— Я ничего, — отозвалась мама, неловко, скованно и принужденно улыбаясь Звонским.

Эта улыбка, ее, так сказать, тональность, показала (мне, во всяком случае), что визит не удался, что мама это сознает и сама сюда ни ногой, даже если и пригласят.

По-видимому, и Звонские это почувствовали. Вечер сходил на нет. Лариса Ивановна плюхнулась на диван, закинула ногу на ногу. Потом закурила, затянулась, положила горящую сигарету в пепельницу и, закидывая высоко руки, принялась поправлять прическу. Широкие рукава ее кимоно упали на плечи, браслет съехал к локтю. Браслет был темно-зеленоватого цвета с золотыми точечками, похожий на свернувшуюся змейку. Я посмотрел на него и вспомнил, как летом, показывая этот браслет, Лариса Ивановна раза три раз-

ным людям рассказывала, что, когда она была молоденькой совсем, ее родители привезли из Индии маленькую змейку, совершенно такого же цвета, вроде той, что укусила Клеопатру, ужасно красивую, только с удаленными ядовитыми зубами. И как она эту змейку носила на руке вместо браслета. И одна старушка на улице все восхищалась этим браслетом, а змейка вдруг подняла головку, раскрыла пасть и зашипела, и старушка упала в обморок. Очень мило она это рассказывала и добавляла, что с тех пор носит браслет, похожий на эту змейку. Почему-то мне нравилась эта сомнительная история. Я готов был еще раз выслушать ее, эту историю, придававшую столько экзотики златовласой хозяйке, но Лариса Ивановна не стала на сей раз ее рассказывать, только улыбнулась и подмигнула мне, указывая глазами на браслет: мол, помнишь? А я радостно закивал ей в ответ, тоже улыбаясь. Но, посмотрев на родителей, невольно посуровел — такие они сидели молчаливые, напряженные и неулыбчивые. Мама явно хотела уйти, поглядывала на часы, так, чтобы отец это заметил. Но, видимо, уйти, чтобы было *прилично*, в такой ситуации было весьма трудно. И отец сидел, тщетно пытаюсь, как я думаю, найти повод для ухода.

Разговор тек вяло, Лука Петрович что-то рассказывал довольно скучно, о своей поездке в ГДР, как он притворялся знающим немецкий язык и как его пригласили ставить Шиллера, а он отказывался, говоря, что ему чужд этот драматург. Сопровождавший его немец из вежливости говорил по-русски и его надувательства так и не раскрыл, а может, и раскрыл, поправила его Лариса Ивановна, но виду не подал. Вставить хоть слово об уходе в этот его рассказ было трудно.

Все же мама встала и сказала, что она извиняется, но для мальчика уже поздно, ему завтра в школу, что мы должны идти и что вечер был такой чудный, и что теперь наша очередь звать их в гости. О моих занятиях немецким с Ларисой Ивановной не было сказано ни слова.

— Что за счеты, — говорила Лариса Ивановна, — кто у кого больше был в гостях. Лучше уж вы звоните и приезжайте. Или вот с Борисом передайте, когда захотите прийти. Мы с ним теперь часто будем видеться по поводу немецкого. А сами мы редко ходим в гости. — Этим ее словам я не поверил.

И вот мы снова в прихожей-холле, натягиваем шубы, прощаемся и на лифте, словно в замедленном, мягком прыжке, спускаемся на первый этаж с их вершины, проходим мимо консьержки, внимательно оглядевшей нас, и выходим в темный двор-колодец. Только светились окна дома-утеса где-то наверху. Мы вышли на улицу,

трамвая не было, и поэтому, хотя мама была принципиальной противницей такси, как ненужной роскоши, домой на этот раз мы поехали на такси. Когда папа остановил машину, выскочив почти на середину шоссе, и мы сели — папа на переднее, а мы с мамой на заднее сиденье — и машина тронулась, мама сказала:

— Слава Богу, хоть это сумел сделать! Уйти от Звонских сил у тебя не было, конечно! Разумеется, там тебя ласкают, тобой восхищаются... Но вы натуры художественные, вольные, можете и до часу дня спать, а нам с Борей завтра рано вставать, хотя бы об этом надо помнить и пожалеть нас. Ему в школу, да и мне, ты должен знать, на работу к восьми, а путь не близкий.

— Да еще не поздно, — донесся из темноты несмелый и растерянный голос отца.

— Какое «не поздно»! — воскликнула мама. — Уже двенадцатый час!

Папа не отвечал, и разговор затих. Я сидел тоже молча, уставившись в окно, вспоминая вечер и наслаждаясь скоростью и удобством индивидуального транспорта. Дома мама сразу мне сказала:

— Разбирай постель и — спать.

Я вошел в свою комнату и остановился в раздумье у дивана с деревянной спинкой, включил настольную лампочку, стоящую на тумбочке, отпер шкаф и достал из нижнего отделения постельное белье — отдельного бельевика у нас тогда не было. Расстелил простыни, положил подушку, сверху верхней простыни пристроил зеленое байковое одеяло без пододеяльника, потом пошел в туалет. И вправду было поздно, почти уже двенадцать показывал будильник.

Сидя в клозете, я слышал, как родители вышли на кухню и что там-таки все же затеялся разговор, почти ссора.

— Мы для них черная кость! — негодовала мама.

Отцовского ответа я не слышал. Только мамины слова снова:

— А я не позволю ему к ней ездить! Я не хочу, чтобы мой сын унижался перед кем бы то ни было! Будь они хоть самые что ни на есть раззнаменитости!

— Аня! О чем ты говоришь? Какое унижение? — долетел теперь и ответ отца.

Опасаясь пропустить самое интересное, потому что тема Звонских и меня волновала (я чувствовал себя равноправным участником этого обсуждения), я поспешил выйти и, помыв с мылом руки, явиться на кухню. Родители сидели за столом друг против друга. Перед мамой лежала на бумаге горка гречневой крупы и стояла кастрюлька. Очевидно, она перебирала гречку, чтоб варить нам на за-

втрак кашу. Папа сидел, опершись локтями о стол и взявшись обеими руками за волосы; выглядел он растерянным, но раздраженным.

— Ты почему еще не в кровати? — воскликнула мама.

— Действительно, иди ложись, — сказал мне и отец, а маме: — Он еще не успел. Что ты на него накидываешься?

— Ну, конечно, я накидываюсь! Я такая злая! А они добрые! Пусть и Борис так же думает. Ты этого хочешь? Тогда давай.

— Аня! Ну зачем ты так?

— Как *так*? Не изящно, как тебе хотелось бы? Как твои лицемерные Звонские? Да они тебя в грош не ставят, раз боятся принять тебя с семьей одновременно с другими гостями, выделяют отдельное время, ставят на другую доску! Конечно, мы не светские люди. Или тебя они считают светским, только жену твою отделяют? И сына переманивают!..

— Но, Аня!.. Лариса Иванна же знает немецкий и просто хотела оказать любезность — позаниматься с Борей, только и всего. Уверяю тебя, что ничего другого... А эти занятия для него будут полезны.

— Все равно, — упрямо сказала мама. — Нечего ему туда ездить. Это не тот немецкий, какой ему нужен.

— Что значит «не тот»? — встрял я. — Язык один и тот же, двух немецких языков не бывает.

— Ты еще мал, чтоб судить, — сказала мама, — сколько и какие языки бывают. У нее другой язык. У них и русский другой. Я бы никогда такого, что говорили, не смогла бы сказать. Я не хочу, чтобы мой сын ходил куда-то из милости и вел себя, как приживал. Ты понял?

— Понял, — угрюмо ответил я, вышел из кухни и встал на пороге.

Мне было обидно и за себя, и одновременно за маму тоже, потому что я вдруг почувствовал, что ее чем-то обидели во время нашего визита. Руки мамы, пока она говорила, безостановочно двигались, перебирая крупу, ссыпая очищенные зерна в кастрюлю, а бракованные сдвигая в одну кучку. Отец встал и ходил вдоль плиты. Он, может быть, даже и вышел бы из кухни, если бы я не стоял у двери на его пути. Я ждал, непонятно почему, что он сейчас скажет, что все это ерунда, что мама не права, что я все равно, должен ездить, раз меня пригласили, но, к моему удивлению, он ничего не сказал, наоборот, помрачнел и вовсе смолк, вместо того чтобы продолжать спорить. Мне только сказал:

— Иди спать, если постелил. Мама тебе что сказала?

Я и пошел. Уходя, еще слышал мамины слова:

— Мне неприятно, что они выставляют передо мной свою жизнь. Это неоправданно... Или они считают, что перед нами, как перед при-

слугой, нечего стесняться?.. Я не хочу, чтоб мой сын рос и жил, как несчастный Марк Самойлович, униженный и оскорбленный.

— Ты не права, Аня, — сказал отец усталым голосом, — при чем здесь прислуга, при чем здесь Марк Самойлович? А рассказывают они о себе потому, что для художника его жизнь и есть материал для искусства, говоря о себе, они как бы все время в творческом процессе находятся. Такой у них стиль жизни.

— Все равно мне все это не нравится и противно. Да и ты там со всеми своими умными разговорами нужен лишь как развлечение для этих бар. Мы другого круга!.. Впрочем, если тебя подобная роль шута устраивает, что я могу сказать!..

Я пошел в свою комнату и закрыл за собой дверь, чтобы больше ничего не слышать. Разделся и лег, уткнувшись лицом в подушку. Дверь отворилась, и вошел отец, присел ко мне на постель (я от непонятного чувства обиды даже не подвинулся). Он положил мне руку на спину, но я, не поворачиваясь, передернул плечами, показывая тем самым, чтоб он снял руку, хотя на самом-то деле мне было приятно прикосновение его руки.

— Не обижайся на маму, — сказал отец. — Быть может, она не права по форме, но, наверно, права по существу. Лариса Ивановна, конечно, добрая женщина, но добрая по-светски. Она может легко подарить тебе книжку, но занятия — это ведь постоянный труд. Мне кажется, что, если ты позвонишь, она опять не сможет с тобой увидеться и опять перенесет твой визит, и так будет переносить, пока ты не поймешь, что с этим делом, по этому поводу звонить не надо. И это не потому вовсе, что она плохо к тебе или к нам относится. Просто у нее есть круг людей, с которыми она должна общаться, есть круг светских и театральных обязательных знакомств, обязанностей, которые она должна выполнять, и все это требует времени. Ей кажется, потому что она хороший и добрый человек, что она сможет с тобой заниматься, но она не сможет, поверь мне. Мама права, мы для них из другого круга.

Я невольно повернулся на бок, лицом к нему, чтобы удобнее было слушать. Я и сам знал, понимал, чувствовал, что мы другие, но все казалось, что это не препятствует возможности общения. Я думал, отец так и скажет. А он сказал:

— Мама права, мы принадлежим к другому кругу, — он снова повторил эти неприятные мне слова, словно других не было или он не мог их найти, — но он ничуть не хуже. У нас есть свои ценности, которыми можно гордиться: труд, знание, чтение, наука, а также принципы каждодневной жизни, которым стоит следовать: не путать дело и удовольствие и помнить, что сначала работа, а потом

развлечения. Твой дед, человек науки, профессор, в ученом мире был человек известный, но известность эта другого рода, чем у Луки Петровича, — у специалистов, у студентов, вот и все; это жизнь не на виду, не на публике, а в одиночестве кабинета, в спокойствии библиотеки и лаборатории. Мы и в самом деле говорим со Звонскими на разных языках. И это никому не в осуждение. Просто образ жизни у нас разный, разный во всем. Даже у меня иной, тем более у мамы, которая шесть дней в неделю, каждый день из этих шести дней, по восемь-девять часов проводит в лаборатории за опытами, а летом в поле, с утра до темноты в земле копается — ботанику иначе и нельзя, а еще и готовка, стирка, хозяйство. Мама так устает, как Ларисе Иванне и не снилось. Ты не должен обижаться на маму. И нечего жалеть, что не будешь больше ездить к Звонским!..

Я не очень верил, что отец до конца говорит, что думает (особенно последняя его фраза вызывала у меня сомнения), потому что ему самому ведь нравилось бывать у Звонских, но я понимал, что он утешает меня, успокаивает, и был ему за это благодарен. Я и в самом деле немного успокоился, заслушавшись его, и затих. Решив, что я уснул под его говор, он тихо вышел из комнаты, но я еще долго не спал. Погасил свет, но все равно не засыпал, раз десять переворачивая подушку. «А что, если я ей все же позвоню? Просто вот возьму и позвоню. Для нее это было светское обещание, сказанное просто так, из любезности. А я его возьму и приму всерьез. Интересно, что будет? Папа говорит, что такие светские предложения нельзя принимать всерьез, как нельзя этим людям на их вопрос “Как дела?” и в самом деле рассказывать о своих делах. Это просто формула вежливости. Ну, а я сделаю вид, что не понял этого. Раз они такие. Раз мы не их круга». Мне было обидно. И, засыпая, я думал одно: «Не хочу быть ничьего круга. Ничьего. Сам по себе».



Maxim Svetlanov

Портрет Владимира Кантора. Художник Максим Светланов

Часть II

СКАЗКИ



Чур

Роман-сказка

Сказка для дочери Маши

К сведению читателя: в сказке использованы русские народные присловья, поговорки и духовные стихи, а также стихи Г. Галиной (Г. А. Эйнерлиг), В. В. Лунина, О.Э. Мандельштама, Л.А. Мея, И.П. Мятлева, Н.М. Олейникова, Б.Ш. Окуджавы, К.И. Чуковского, вирши самого автора, повести, а также стихи, рассуждения, сказки и истории его дочери Маши

*Жил на свете таракан,
Таракан от детства...*

Федор Достоевский

*Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.*

Корней Чуковский

Обложка сказки. Рис. Наталья Григорян

Глава первая

В детской

Время приближалось к обеду. Мама на кухне уже поставила в духовку пирог и принялась резать салат. Сегодня на воскресный обед ждали гостя — бывшего их соседа, Эрнеста Яковлевича Чура. Маша обещала маме помочь по хозяйству, как только управится в своей комнате. Но разве могла она предположить, что не сможет выполнить свое обещание, что ее задержат **непредвиденные обстоятельства!**

Вначале Маша не хотела наводить в комнате порядок.

— Давай лучше я тебе буду помогать. Я же, мамочка, своих детей укладываю по постелям только вечером, — сказала она, — а сейчас еще день.

— А ты и не укладывай, — возразила мама. — Посади их в кружок, почитай что-нибудь, расскажи. Ведь плохо, что они у тебя валяются как беспризорные. Пусть тебе сестренка Ирочка поможет.

Если остальных кукол Маша называла **детьми**, иногда — **подружками**, то Ирочку — только **сестренкой**. И без этой Ирочки, самой некрасивой куклы, со светло-рыжими короткими волосами, круглой физиономией, с набитым тряпками туловищем, с глазом, заклеенным пластырем (на пластыре был, правда, нарисован новый глаз), запросто обходившейся без нарядов, а порой и вообще без всяких платьев, Маша не представляла своей жизни.

Ирочка не сразу стала «сестренкой». Некоторое время она была просто куклой. Маша давно, сколько себя помнила, просила у родителей сестренку. Ведь одной совсем невесело, а с бессловесными игрушками непросто: и самой говорить, и за них ответы придумывать. Но родители все откладывали это важное дело на потом. Однажды, когда дочка шалила и не слушалась, папа сказал: «Вот, Маша, ты у нас просишь сестренку. А какой пример ты ей будешь подавать? Боюсь, что не очень хороший». «Эх, папа, — с грустью тогда ответила Маша. — Откуда она возьмется?! Ты рожать не умеешь, а мама все время занята». Родители переглянулись, и мама предложила: «Пусть твоя любимая Ирочка будет пока твоей сестренкой. Покажи, как должна себя вести старшая сестра».

И вот вместе с Ирочкой Маша принялась усаживать **детей** в кружок около дивана.

— Дети, — объясняла своим куклам Маша, — я вас собираю всех вместе, потому что сегодня у моей сестренки Ирочки день рождения. Ей исполнилось семь лет, и этой осенью она пойдет в школу. И вы пойдете, когда станете старше. А я уже большая, школьница, мне девять, в следующем году десять исполнится.

Маша поглядела на Ежика Карла. Он стоял на комодe в своих синих бархатных штанах, темных сапожках и зеленой курточке с красной перевязью. Через плечо у него висели лук и колчан со стрелами, а на боку — шпага в ножнах. Сзади него — картина, изображавшая старинный дом с колоннами на берегу реки. Перед домом был парк с подстриженными кустами и деревьями. Вдали виднелись такие же дома. Ежик смотрел, как всегда, мрачновато, но все же какое-то беспокойство углядела Маша в выражении его лица. А она доверила Ежику Карлу.

Весной, когда она тяжело болела, Маша слышала и, кажется, даже видела, как Ежик сражался с ее болезнью — скрюченной страшной каргой. Он пускал в нее стрелы, потом за занавеской коллол шпагой — и прогнал-таки. И, совершив свой подвиг, ночью у ее постели читал ей стихи, будто влюбленный принц:

Нету иного пути,
Как через руку твою —
Как же иначе найти
Милую землю мою?
Плыть к дорогим берегам,
Если захочешь помочь:
Руку приблизив к устам,
Не отнимай ее прочь.

И дальше — про лодку, скользящую над тихой бездною вод. И Маша поняла, что болезнь испугалась, отступила и убежала. Было так странно, волшебнo, будто в сказке. И будто сказка эта стала самой что ни на есть настоящей жизнью. А Ежик стал — и теперь навсегда! — ее нежным и заботливым другом и защитником.

Но утром был он снова сам по себе, мрачноватый, одинокий и нелюдимый. Даже виду не подал, что он — герой, рыцарь и любит стихи. И все же Маша с того момента поняла, что Эрнест Яковлевич правду сказал, когда принес ей Ежика в подарок:

— Охранять тебя будет, как я раньше. Я на новую квартиру переезжаю, вы здесь одни хозяйствовать остаетесь. Вот я и раздобыл для тебя защитника.

— А вы разве охраняли?

– А как же! Ты мою фамилию помнишь? Так вот знай, что Чур – **очень древнее слово**. Когда-то давным-давно человек вышел из дикого леса и принялся землю обрабатывать, он стал делать чурки-кубики и ставить их по краям своей пашни и своего дома. Эти чурки-чуры оберегали границы земельных владений, чтобы их не захватил чужой. Но силой эти чуры наделял сам Чур – мудрый волшебник и верный защитник. Как верный пес, Чур всегда охранял доброе человеческое жилище.

– Так вы родня волшебнику?!

– Ох, не знаю, что тебе и ответить. Лучше послушай, как писал об этом один старый поэт:

Не спрашиваю я: на то ответ у Бога...

А дальше добавлял:

Но, Чур, от моего не отходи порога
И береги покой моей родной семьи!
Ты твердо знаешь, кто чужие и свои,
Остерегай же нас от недруга лихого,
От друга ложного и ябедника злого,
От переносчика усердного вестей,
От вора тайного и незваных гостей;
Ворчи на них, рычи и лай на них, не труся,
А я на голос твой в глухой ночи проснуся...
И будь, как был всегда, доверия достоин...
Дай лапу мне... Вот так... Теперь я успокоен.

И, как Чуру, Маша доверяла теперь Ежику Карлу, считала его своим защитником, пусть немного сказочным, вроде бы и не совсем взаправдашним, зато верным. Вот он почему-то сейчас кажется встревоженным. Может, какое-нибудь Зло пытается проникнуть к ним? Не получится у него! Дома и мама, и папа, и Ежик Карл, а скоро и дедушка Чур придет! Но если дети это почувствуют, они могут испугаться... Надо их чем-то успокоить.

– Милые мои дети, – повернулась она к куклам, – сегодня, в Ирин день рождения, я расскажу вам сказку. Как ты думаешь, Ирочка, о чем мне лучше рассказать? Думаешь, про Ниночку? Как она победила хулигана Тыковкина? Но это папина придумка, не моя. А я могу про то, как надо делать, чтоб не ссориться и всем быть добрыми. Ведь на свете живет Злость, она нападает на людей, и люди становятся злыми. Как же справиться с нею? Я считаю, что по

злости Злость победить нельзя. Надо ее по доброте победить. А как Доброте это сделать?.. Ей, наверно, следует потихоньку пробраться в дом к Злости, когда та по своим злодейским делам улетит. И там пройтись по всему дому и подышать во все кастрюльки и сковородки. Нет, это плохо, так она сама может заразиться злостью. Придумала! Надо купить новые горшки, кастрюльки и сковородки, старую посуду у Злости выкинуть или вообще уничтожить, а в новую подышать добротой. Чтобы эти вещи лекарственными стали. Злость придет, станет пользоваться посудой, в которую Доброта добротой подышала, и сама после еды из этой посуды подобреет. Но интересно, кто они – Злость и Доброта? Сестренки? Наверно. Только они про это не знали: в детстве одна сестренка потерялась, попала к плохим людям и выросла Злостью... – Она примолкла на минутку, потом добавила: – Вот нам с Ирочкой повезло, что у нас такие хорошие мама с папой. И вы все тоже хорошие и должны дружить друг с другом.

– Мы-то и рады бы, но только Ежик ни с кем дружить не хочет, – раздался внезапно чей-то немного капризный, но нежный голосок. – С тобой он мягкий и ласковый, а с нами колючий и сердитый.

От удивления и неожиданности Маша вздрогнула. Слова эти произнесла ее кукла по имени Элиза – с длинными вьющимися локонами, голубыми глазками, румяными щечками, одетая в розовое платьице с фестончиками и кружавчиками. Очень красивая была кукла и чистюля большая.

И вдруг заговорил стоявший на комодке Ежик, да сердито так:

– Неправда, вовсе не со всеми я колючий!

– Значит, только со мной, – согласилась Элиза и посмотрела на Ежика широко открытыми глазами. – А почему? Разве я не красива? Я ведь заслуживаю любви... А он колется!

– Не за красоту любят, – сумрачно, но отчетливо возразил Ежик, – а когда сердце сердцу весть подает.

– Вот глупости! – воскликнула красавица-кукла. – Всякий сам себе загляденье. Если сам себя любишь, то и другие полюбят. А я могу на себя в зеркало о-очень долго любоваться. А ты что там увидишь? Одни колючки, и ничего больше.

– Не надо ссориться! – машинально сказала девочка, чувствуя, что она ничего не понимает, словно спит, словно ее заколдовал кто-то.

Ведь такого по правде не может быть, чтобы игрушки разговаривали. Но невольно, как советовала Элиза, глянула в зеркальце, висевшее у постели. Но не себя, не отражение своей комнаты, а какую-то серую стену с портретом **таракана** в деревянной рамке уви-

дела она. Не успела Маша удивиться — кому понадобилось **таракана рисовать?** — как в зеркале возникло другое изображение: длинной комнаты с длинным столом, перед которым стояли три девочки — она сама, Ирочка и Элиза. Кто находится по другую сторону стола, разглядеть она не могла, но почувствовала, как отчаяние девочки Маши из зеркала перетекает в нее. Она вздрогнула, и **чужая комната** исчезла, появилось отражение ее растерянной физиономии, сзади книжная полка и угол постели — отразилось то, что и всегда отражало зеркало.



Маша у зеркала. Художник Наталья Григорян

И снова, как сквозь сон, услышала успокаивающий голос:

— Не бойся, не печалься. Зеркало никогда всей правды не показывает, — утешал Ежик Карл. — Но будь осторожна!

Куклы молчали, молчала и Элиза, будто ни слова не произносила никогда, будто весь разговор девочке померещился. Она взгляделась в Элизу: перед ней сидела красивая, но обыкновенная кукла со слегка капризным личиком и, разумеется, немая и неживая. А из кухни раздался мамин голос:

— Маша, я тебя уже второй раз зову! Ты там не уснула? Мне кто-то помогать собирался...

— Сейчас, мамочка! — отозвалась Маша, но на всякий случай еще раз посмотрела внимательно на свои игрушки. Потом перевела взгляд на **сестренку Ирочку**: сестренка тоже молчала.

И вообще все выглядело так, будто никто и не оживал. И девочка подумала: «Раз Ирочка по-прежнему кукла, то остальные тем более. Это мне только почудилось...»

И, держа Ирочку под мышкой, она вышла в коридор, плотно прикрыв за собой дверь.

— Ну, мои девочки, наконец-то! — воскликнула мама. — Пойдите, пожалуйста, к папе и скажите ему, что пора расставлять стол в гостиной. А потом вы мне поможете его накрыть.

Глава вторая

Гость

И сестренки отправились к папе в кабинет.

Кабинет (бывший раньше комнатой Эрнеста Яковлевича — до его отъезда) находился рядом с входной дверью. Папин письменный стол был огромный, он стоял перед окном и занимал самое важное место в комнате. Такими же важными были и книжные полки вдоль стен. Но Маше больше нравился большой диван перед журнальным столиком. Папа частенько сидел на нем и что-то читал или писал. Потом шел к большому столу печатать. А Маша тем временем забиралась с ногами на диван и ждала. И когда папа возвращался и садился рядом с дочкой, то диван оказывался кораблем. А письменный стол — рулевой рубкой. И они отправлялись в путешествие, воображая себя в неведомом море или таинственном царстве-государстве,

где живут какие-нибудь необычные существа или, наоборот, очень обычные — вроде мышей, котов, муравьев или даже тараканов. Существа эти, хоть и не были людьми, как правило, вели себя как люди. Часто бывало Маше жутковато, зато интересно.

В школе на вопрос, чем занимаются ее родители, Маша отвечала: «Книги читают». Такая уж выпала ей судьба — быть дочерью книголюбца. Но у папы была еще особенная Книга, которую он не только читал, но в которую еще и писал. Огромная, в коричневом кожаном переплете, с серебряными застежками и маленьким серебряным замочком — она очень нравилась Маше. Этот замочек папа каждый раз отмыкал ключиком, когда принимался что-то в Книгу записывать, а после работы непременно запирали. На ее обложке была надпись чудными буквами, состоящими из разных зверей. Маша как-то с трудом разобрала заглавное слово. Оно оказалось простым: «Книга». Только и всего. Другие слова ей прочитал папа: «Пиши каждый день. Пиши, что видишь. Пиши, что думаешь. Пиши правду».

Папа рассказывал, что если он угадывал или правильно понимал то, что записывал, буквы превращались в печатные. Когда же была неточность или неполная правда, буквы не держались, сами исчезали, будто их кто невидимый стирал. Зато другие оставались навсегда и выглядели так, будто их в лучшей типографии набирали. «Наверно, люди и раньше знали про эту Книгу, — как маленькой объяснял ей папа, — раз придумали поговорку: **что написано пером — не вырубить топором**. Из нее точно не вырубить».

Ну, конечно же, знали! Маша сама про это слышала. Она сидела в комнате, когда Эрнест Яковлевич перед отъездом зашел к папе и подарил Книгу. «Я ее давно храню, — сказал он тогда. — Но тебе она больше пригодится: ты не только читать, ты писать умеешь. А Книга не простая, **голубиная**. Она из рук в руки переходит. Пока только в хороших руках побывала. И каждый, кому она попадет, может описать свой кусочек жизни. Так и составляется потихоньку История. Одни люди Книгу быстро теряют, и она нового хозяина ищет. Другие хранят, но не пишут. Третьи пишут мало, четвертые ее теряют, а пятые хотят Книгу для своих целей использовать. Эти самые опасные. Им в руки она ни за что не должна попасть. В этой Книге все премудрости собраны».

И он заговорил вдруг нараспев:

От чего у нас начался белый вольный свет?
От чего у нас солнце красное?
От чего у нас млад-светел месяц?
От чего у нас звезды частые?

От чего у нас ночи темные?
От чего у нас зори утренние?
От чего у нас ветры буйные?
От чего у нас дробен дождик?
От чего у нас ум-разум?
От чего наши помыслы?..

Потом серьезно так добавил: «Но повторять уже сказанное нельзя. Твоя задача — новые вопросы ставить, чтобы знать, как мир устроен. Тогда людям легче будет по Правде жить, а не по Кривде. Старайся в Книгу каждый день писать все, что видишь и думаешь. И храни ее!»

Маша часто просила папу из этой Книги ей что-нибудь почитать. Но он отнекивался, объясняя, что она непременно ее прочтет, но сама и когда станет постарше. При этом писал регулярно. Вот и сейчас папа сидел за столом и запирал Книгу на серебряный замочек. Видно, что только закончил работать.

— Папа, нас мама за тобой позвала стол расставлять, — невесело сказала Маша, не зная, рассказывать ли про **разговоры игрушек**, правда ли это и можно ли предложить папе записать ее историю в Книгу. — Много написал сегодня? — осторожно спросила она.

— Не очень-то... — Папа подхватил дочку на руки и посадил к себе на колени, поцеловал.

Маша прижала ухо к папиной рубашке:

— Сердце колотится, и работал плохо. Значит, нервничаешь, — сказала она, чувствуя себя такой же заботливой, как мама. — Почему нервничаешь?

— Почему? Трудно сказать. Никак не получалось мысль свою словами передать. Пишу, пишу, а буквы исчезают. Все казалось, что кто-то подглядывает. Но никого не углядел, кроме толстого таракана под потолком. Сидел, на меня уставясь, и усами шевелил. А потом смылся, пропал. Я и удивился: откуда он? Ведь у нас чисто, за этим мама следит, а тараканам без грязи и отбросов не житье. Может, это тараканий шпион был?

— Ага, может быть, — согласилась быстро Маша, решив, что папа предлагает ей новую игру. — Он явился из **Тараканской земли** и шпионил за тобой. А зачем? Надо бы это разузнать. Зачем это жители **Тараканска тараканят** за нами? Пусть **втараканят** себе, что у нас им делать нечего, у нас мамой чистота наведена!

Папа рассмеялся:

— Ты моя выдумщица! Смешные слова придумала.

Маша приняла важный вид:

– А я вовсе и не придумала. Там в самом деле так говорят. Ты сам вообрази, как им еще говорить!

– Я попробую, – согласился папа, – но потом, сегодня у меня что-то голова болит, ничего не пишется. Станный какой-то день...

– А про что ты писал? Только честно!

– Видишь ли, Машенька...

– И Ирочка, – поправила его Маша. – У тебя две дочки.

– Видите ли, мои дорогие доченьки, Ирочка и Машенька. Я пытаюсь понять: кто таков, что из себя представляет и откуда взялся некто Толик Тыковкин? – Папа вздохнул, нахмурился и тщательно запер ящик письменного стола, куда прежде положил Книгу.

– А разве не ты его придумал? – удивилась Маша.

Она была уверена, что **Тыковкина**, хулигана мальчишку, и храброю девочку **Ниночку** папа **выдумал**, чтобы дочке интереснее жилось и она могла бы воображать себя **Ниночкой**, побеждающей злодеев своей волшебной палочкой. Особенно Маше нравилась следующая история: Тыковкин однажды приказал друзьям намазать воском асфальт перед подъездом, чтобы все скользили и спотыкались. А потом спрятался с ними за кустами у дороги, время от времени выскакивая оттуда и хохоча во все горло. Его очень веселило, если кто-нибудь падал и ронял сумку с продуктами, которые разлетались по земле. Храбрая девочка Ниночка смело подошла к хулиганам. «Толик Тыковкин, – строго сказала она, – немедленно очисти асфальт, иначе тебя придется наказать!» Но Тыковкин был наглым и, конечно же, не испугался девочки. Он крикнул ей: «А мой папахен самый важный здесь! И ни один, даже взрослый, мне замечания не смеет делать! Я всегда папахену могу пожаловаться! А сейчас мы тебя крапивой отхлещем!» Ниночка побледнела, однако ответила твердо: «Попробуй тронь – тебе не поздоровится! Но если не вымоешь асфальт, то берегись: как дам в лоб – сразу уши отклеятся!» – «А ты откуда знаешь, что они приклеенные?» – зло твякнул Тыковкин, надул угрожающе щеки и принялся наступать на девочку, размахивая пучком крапивы.

Тем временем его приятели подбирались сзади. Тогда Ниночка ударила его прямо в середину лба своей волшебной палочкой. Толик шлепнулся на землю, а рядом упали два его уха. Мальчишки замерли, а Тыковкин уставился на свои отлетевшие уши и взвыл: «О-е-ей! Я больше не буду! Я все вымою и вычищу! Верни назад мои уши!» Мальчишки начали хихикать, и это испугало его еще больше. Он боялся, что они перестанут ему подчиняться. Но все же сумел заставить их взяться за дело – привести в порядок асфальт. После

чего Ниночка снова коснулась его лба своей палочкой и уши вернулись на место. А Тыковкин, сопровождаемый друзьями, бросился наутек.

Сейчас папа пытался объяснить:

— Это так мне казалось, что я придумываю. Но, похоже, я угадал правду. И такой Тыковкин существует на самом деле. Только возраст у него другой. Постарше девочки Ниночки он будет. И очень мной интересуется, дружбу предлагает, письма пишет, хотя и без обратного адреса. Но вот, **кто он**, я не знаю. Потому и хочу понять.

— Папа, папа! — воскликнула Маша. — А может, он и есть Главный Таракан? Ты Эрнеста Яковлевича спроси. Уж он-то все знает.

— Маша! Ира! — донесся сквозь прикрытую дверь мамин голос. — Вы передали папе мою просьбу? Вот-вот Эрнест Яковлевич в дверь позвонит.

Папа снял Машу с колен, спрятал ключ от серебряного замочка в плетеную корзиночку за стеклом книжной полки и сказал:

— Ой, как плохо! Заболтались мы с тобой. То есть **с вами**, с двумя моими дочками. Пойдемте, девочки, надо маме помочь.

Они отправились в **гостиную**, которая днем была маминой рабочей комнатой, а ночью превращалась в родительскую спальню. Ведь в их квартире было только три комнаты. Папа установил складной стол вдоль шедшей по стене книжной полки, укрепил столешницу и принялся расставлять стулья. А Маша накрыла стол скатертью и побежала к маме — носить с кухни блюда и приборы: тарелки, ножи, вилки и бокалы.

Пришла мама, поглядела на их работу:

— Ну, молодцы! Я иду переодеваться, а вы пока — руки мыть.

— Я уже мыл, — сообщил папа.

— Я тоже, — сказала Маша, — перед тем, как посуду носить. Это же нельзя делать грязными руками. Ох, — спохватилась она, — а Ирочка! Ирочка не мыла. Ну, ничего, я помогу младшей. Мы, сестренки, быстро справимся.

И отправилась с Ирой в ванную.

Вернувшись, Маша разгребла на мамином письменном столе местечко и усадила Ирочку, прислонив ее к маминой пишущей машинке. Поставила перед сестренкой игрушечную тарелку, чашку, положила пластмассовые ножик и вилку.

— Вижу, Ирочка готова к обеду, — заметил папа. — А мы? Где же наш гость? Раздался долгожданный звонок, и Маша бросилась открывать. Эрнест Яковлевич — в сером костюме, клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, в руке авоська, набитая пакетами, — стоял на пороге и улыбался:

– Здравствуй, Машенька! А Ирочка уже за столом? Как ты, Машенька, вытянулась! И всего за пару месяцев. Уж и не скажешь, что тебе девять. Ты выглядишь прямо на девять с половиной. Это хорошо. А я вам с сестренкой гостинца принес – ягодок, чтоб вы и дальше росли.



«Чур». Художник Наталья Григорян

– Зато Эрнест Яковлевич совсем не меняется. Все такой же бодрый и улыбчивый, – сказала мама.

– Зачем же мне меняться, Клариночка? (Так звали Машину маму.) Мне еще, может, много лет жить предстоит, – разъяснил вошедший. – Стареть никак нельзя!

– Вот и замечательно! – согласилась мама. – Пойдемте тогда к столу. Обед нас ждет.

Но сначала Эрнест Яковлевич отнес авоську на кухню, мама пересыпала ягоды в дуршлаг, помыла их и отправила на обеденный стол.

– Пишется книга, Борис? – спросил Чур.

– Та, что вы подарили? Стараюсь. Иногда получается, а иногда буквы не держатся, пропадают, будто и не писал их.

– Значит, не угадал, недодумал. Главное дело – что пишешь. Я этому рад. – Эрнест Яковлевич откинулся на спинку стула, оглядел комнату. – Хорошо у вас. Уютно и чисто. Клариночка заботится. Защитница ваша от пыли и грязи. Машенька-то помогает маме?

– Помогает, помогает, – сказали быстро родители.

Взрослые чокнулись рюмками с вином, а Маша стаканом сока – за здоровье хозяйки дома. Потом они поели салат. А затем дедушка Чур поднял бокал за благополучие их дома и поинтересовался:

– Никто вам не досаждал, не тревожил, пока меня не было?

– Да вроде не особенно, – ответил папа. – Только письмами меня какой-то Тыковкин завалил.

– Эрнест Яковлевич! – обратилась Маша к гостю. – А может ли этот Тыковкин на самом деле оказаться **Главным Тараканом**? Расскажите, пожалуйста, сказку, как это бывает, чтоб человек в таракана превращался. А вдруг и наоборот тоже случается?

– Ну ты, Мария, придумала! – недовольно пожала плечами мама. – О тараканах за обедом! Ничего другого тебе в голову не пришло?

– А что, – заступился за дочку папа, – про тараканов тоже интересно. Может, они самые сказочные существа и есть.

– Да ну вас!

Мама составила грязные тарелки и понесла их на кухню. Вернулась, держа на подносе глубокую миску с супом. На первое был вкусный свекольник со сметаной.

Некоторое время ели молча. Потом Эрнест Яковлевич отодвинул от себя тарелку и сказал:

– Не волнуйся, Клариночка, очень вкусно, но добавки мне не надо. Я вот ел и думал, что Борис, муж твой, ученый человек, а кое-чего все же не знает. Не знает, к примеру, что тараканы не просто

сказочные, **но самые древние существа на Земле**. Люди порой боятся, что вдруг возьмут и оживут динозавры или ящеры, а то и еще какие-нибудь доисторические существа. А того не понимают, что юркие таракашки уже тогда жили, когда и динозавров не было. Пережили и катастрофы, и наводнения, и землетрясения, и ледниковый период. Ящеров, мамонтов и саблезубых тигров тоже пережили. И остались такими же дикими, как и миллионы лет назад. Поэтому, пока человек грязен и нечистоплотен, тараканы им довольны.

Внезапно за окном гроыхнуло что-то вроде выстрела. Но это был совсем не выстрел. Просто наискосок от Машиного дома стояло общежитие, а под ним находился сарай с зеленоватой жестяной крышей.

И вот жильцы этого общежития, лентясь выносить мусор в уличные контейнеры, вываливали его прямо из окон и, наверно, с удовольствием слушали, как грохочет железная крыша сарая. И валялись там бутылки, коробки, банки, рваные кульки и пакеты, из которых высыпалось грязное и склизкое содержимое – всяческие отходы и отбросы. Что-то смывали дожди, но многое оставалось. Со своего восьмого этажа Маша и ее родители видели крышу, но лучше было не смотреть: слишком противно. Вот и сейчас мама, встав из-за стола, произнесла:

– Противно!

И ушла на кухню.

Все замолчали. И Маша тоже не знала, что сказать или что спросить. «Дурацкие неряхи! Взяли и прервали наш разговор, – с досадой подумала девочка. – Как только он стал интересным. Обидно». Но тут в дверях появилась мама с пирогом на блюде. Она улыбалась:

– Давайте не будем думать о плохом! Я надеюсь, что пирог получился вкусный.

Разрезав, она разложила его по тарелкам.

– Ах, Клариночка, – произнес Эрнест Яковлевич, прожевав кусок пирога, – конечно, вкусный! Но, – и тут он поднял кверху палец, – едой от забот не спасешься. Дело в том, друзья мои, – тут Чур понизил голос до еле слышного, а морщинки на его лице затвердели, – что снова **Карачун** объявился. Слыхала про такого, Машенька? И узнал я, что именно он взрастил Толика Тыковкина и главным над тараканами сделал. Как уж об этом Машенька догадалась – ума не приложу! Но верно догадалась...

Эрнест Яковлевич с любопытством посмотрел на нее, покачал задумчиво головой, а потом вдруг даже слегка подмигнул.

– Ничего не понимаю, – призналась Маша. – Получается, что Тыковкина не папа выдумал... И злой колдун Карачун тоже на са-

мом деле существует... А не папина фантазия... Хотя я помню, как в детстве, чтоб я не шалила, он меня пятилапым Карачуном пугал. Ну ладно, пусть они и в самом деле есть. Но как же они могут вместе сойтись?.. Ведь Тыковкин — современный, а Карачун, скорее всего, древний, как Эрнест Яковлевич.

— Придется рассказать. Только зря ты меня, Машенька, **древним** назвала. Не такой уж я и древний. Я не тараканьего, я человеческого возраста. Люди живут, и я живу. Карачун постарше меня будет. Хотя давно уж нигде не появлялся. В своей избушке на болоте спал. А проснувшись, тыквенное поле сторожить нанялся — неподалеку от Москвы. Он и вправду злой чародей и колдун, хотя слова у него медовые. Карачун пятилап — твой папа правильно угадал. На своих пяти лапах он быстро бегал по тыквенному полю, а также по своей избушке — мог и по стене, и по потолку, дружил с тараканами, любил сырость и тепло. Спал он на печи, но еду готовил в очаге, прямо посреди избы. Человеческий род злой колдун всегда ненавидел. И давно искал такого врага, чтобы поначалу опасным не казался. Наконец, решил он натравить на людей тараканов. Ведь у тараканов души нет, сердца тоже, а бесчисленны они, как песок в пустыне. И не бояться их люди: любого таракана легко можно ногой раздавить, газетой пришибить. Но мало кто догадывается о карачуньей колдовской мудрости. А тот отобрал несколько тыкв побольше, благо поле тыквенное под рукой. Потом положил их в тепло да в сырость, чтоб тыквы те подгнили. А уж тогда заложил Карачун в эти гнилые тыквы несколько коконов, в которых хранятся тараканьи яйца. Обычно в каждой до сорока штук бывает. И вот в гнили тыквенной да с помощью чародейства карачуньего вывелись огромные толстые тараканы. Их-то и сапогом не раздавить! К тому же не простые они были, а — **оборотни**. Карачун обучил этих тараканов в людей превращаться. Не отличить!.. А самой толстой семейке и фамилию родовую придумал — **Тыковкины**. С тех пор все Тыковкины среди людей трутся и в начальники лезут, ну и «тыкают» всем. Хотят, чтоб не только тараканы, но и люди им подчинились. И Толик сейчас среди этой семейки главным стал. Вот ведь какая история...

Эрнест Яковлевич отрезал себе еще кусок пирога и съел его, но, видно было, что безо всякого аппетита. Он как бы в шутку насупил брови, когда мама попыталась перебить его, и продолжил:

— Одного эти оборотни боятся: острого да колющего, что прокалывает их, спесь выпускает, сдувает их и съедивает, назад в тараканьий образ возвращая. И знают они, что явится со временем рыцарь или принц откуда-нибудь, сладить с которым в открытом бою они

не сумеют — страшны будут его колючие стрелы и острая шпага. Разве что хитростью да подлостью постараются...

— А разве принцы и рыцари на самом деле бывают? — спросила Маша. — Или, как волшебники, — только в сказках?

— Конечно, бывают, — усмехнулся Эрнест Яковлевич. — Как и волшебники. Только распознать их трудно. Распознать и не ошибиться. Все девочки ждут своих принцев, но мало кто умеет их узнать.

Званный воскресный обед закончился.

Дедушка Эрнест Яковлевич встал из-за стола, поблагодарил за угощение, обещал еще раз наведаться. После чего попрощался с мамой и папой, пожелал им всяческих удач, а Машу погладил по волосам и вдруг сказал:

— Если у тебя неожиданно — а такое всегда может случиться! — будут какие-нибудь трудности или возникнут вопросы, ты, Машенька, обо мне вспомни и молви так: «Чур меня. Чур за меня. Чур со мной». Глядишь, я и смогу тебе чем-то помочь.

Родители улыбнулись и посоветовали дочке не забывать слова дедушки-соседа и всегда звать его на помощь, когда ей надо посуду мыть или пыль вытирать. Но Маше показалось, что шутовности в словах Эрнеста Яковлевича совсем мало было, что Чур произнес их вполне серьезно.

Однако это заметила только Маша.

Глава третья

Пропажа

Забрав Ирочку, Маша вернулась в детскую. Среди кукол увидела она какие-то странные перемены, что-то даже подозрительно-неприятное чувствовалось в комнате. Будто кто-то кого-то обидел. Быть может, ее куклы снова поссорились? Ах, как это плохо! Она ведь учила их не ссориться, а помогать друг дружке. А тут явные следы слез виднелись на щечках обычно румяной куклы Насти с беленькими волосами, заплетенными в косички. Стоял в углу лицом к стене зеленый пластмассовый Чиполлино. Глядел на всех исподлобья Ослик Филя. Поросянок Хрюша забрался под большой платяной шкаф — оттуда торчал его хвостик. А Ежик Карл и вообще куда-то спрятался. Во всяком слу-

чае, среди других игрушек его не было. Только красивая Элиза вроде бы ни на кого не обиделась. Она сидела в креслице за столом с указкой в руке, и лицо ее выражало удовлетворение.

Маша посмотрела на нее вопросительно.

И снова, как и до обеда, девочка почувствовала, что у нее закружилась голова. Потому что кукла снова заговорила.

— Это я их воспитывала, — важно произнесла Элиза, строго глядя на остальных кукол. — Кое-кого пришлось наказать. Ведь я здесь оставалась за главную. Я ведь Машина подружка! А они не хотели меня слушаться. Тогда я запретила им играть.

Маше это не понравилось. Она всплеснула руками, не найдя сразу слов. Ирочка выпала из ее объятий и шлепнулась прямо на ковер. И заговорила вместо Маши. Да как! Затараторила! Вскочив на ноги, младшая сестренка напустилась на Элизу:

— Что-то мне это не по душе. Как и моей старшей сестренке. Какое нахальство!.. Маша никогда-никогда не запрещала нам играть! Даже когда бывала недовольна нами. Вот!

Элиза брезгливо наморщила хорошенький носик:

— Ты зачем вмешиваешься в наш с Машей разговор, девочка Ира? Мы с Машей не любим непорядка и непослушания.

Не успела девочка объяснить говорящим своим куклам, что ссориться нехорошо, как широкое лицо ее сестренки расплылось в улыбке:

— А я, между прочим, и не Ира вовсе!

— А кто же? — удивилась Элиза.

— Меня Ниночкой зовут, вот!..

— Ты все врешь! — крикнула, растерявшись, Элиза. — Правда, она врет?..

— Я не вру. Я просто хочу стать такой же храброй, как Ниночка. И стану. Честное слово! Вы увидите!

Маша от неожиданности рассмеялась:

— Вот это да! Ты сегодня сама на себя не похожа. Или не похожа на ту, какой ты мне казалась, — робкой и застенчивой. А выходит, что ты озорница! И смелая! Я к тебе такой не привыкла...

— А ты и не привыкай, — вклинилась в разговор Элиза. — Девочка Ира стала настоящей хулиганкой, совсем невоспитанной. И нам такие подружки не нужны. Правда, Маша?

Тут Маша вспомнила, что она уже школьница, уже взрослая, и попыталась решить дело миром:

— Дорогие мои Ирочка и Элиза! Вы ссоритесь, а не понимаете, что произошло чудо: вы ожили и заговорили. Я тоже не понимаю, как это случилось. Но я этому очень рада. И вы порадитесь и по-

мириться, возьмите друг друга за мизинец и повторяйте: «Мир, мир навсегда, ну а ссора никогда! А если будешь драться, то я буду кусаться. А кусаться ни при чем — буду драться кирпичом. А кирпич сломается — дружба начинается!» Вот так! Теперь у меня настоящая сестренка и настоящая подружка. Еще бы мне принца найти, живого и настоящего!..

— Какого принца? — спросила Элиза и сразу же на всякий случай стала прихорашиваться перед маленьким кукольным зеркалом — поправлять кудряшки и разглаживать руками платице.

— Я сама не знаю, — грустно призналась Маша. — К каждой девочке рано или поздно, но является чудесный принц, а она должна его узнать и, может быть, даже помочь ему. Помните, как в той песне? В «Сладкой грезе». Музыку написал Чайковский, а слова — папин знакомый дядя Витя Лунин...

— А давайте ее снова послушаем, — умильно улыбаясь, вдруг предложила Элиза.

Маша обрадовалась возможности окончательно затушить ссору, нашла кассету и занялась магнитофоном. И тут ей почудилось — на секунду, однако очень ощутимо! — что из-под подоконника потянуло ветерком, словно у их квартиры не было внешней стены. Она даже глянула в ту сторону, но стена была на месте. И она нажала на кнопку «play».

И в комнате зазвучала сладкая песня:

Мне не играетя

С куклой любимую —

Что-то неясное,

Неуловимое в сердце.

Что-то неясное,

Что-то прекрасное...

И вдруг предстал передо мной

Принц юный и живой.

Мы по реке плывем,

Нам хорошо вдвоем.

В этот час

Все для нас:

Свет луны,

Вздых волны.

Нежны его слова...

Кружится голова...

Этот сон,

Светлый сон —

Сон ли он?
Явь ли он?
Но тут растаял принц.
Нет никого вокруг.
Снова сижу одна.
Может, позвать подруг?
Только
Мне звать не хочется.
Сердце стучит в груди.
Что же случилось со мной?
Ах, принц, не уходи...

– Ну и куда же этот твой принц делся? – спросила Элиза.

Она уже забралась на диван и теперь сидела там, о чем-то задумавшись и закручивая свои кудерьки.

– Не знаю. Куда-то... – Маше внезапно стало жалко себя, что принц растаял, а не остался с ней.

Увидев Машино потерянное и печальное лицо, Ирочка пообещала отгаскать Элизу за ее кудрявые локоны, но отворилась дверь и вошел папа. Ирочка и даже Элиза замерли, а Маша, чтоб не разрыдаться, бросилась к папе и повисла у него на шее, бормоча прерывающимся голосом:

– Где же мой принц? Куда он пропал? Почему не появляется?

– Малышка, что с тобой? Успокойся! – Папа принялся гладить ее одной рукой по волосам, а другой подхватил ее поудобнее, чтоб она не упала.

– Может, я плохая, раз ко мне принц не приходит?

– Ну не Василиса Премудрая Ивану Царевичу. Пока пусть твоим принцем будет Ежик Карл. Он колючий и мужественный, но добрый. К тому же тебе его дедушка Эрнест Яковлевич подарил, а он плохого в дом не приведет. Ну что, договорились?..

– Ага, – шепнула Маша, смутившись, и уткнулась в папино плечо. – Его даже можно назвать Ежик Смел. Потому что он очень смелый.

– Разумеется, – согласился папа. – А теперь ты мне скажи: не заметила ли ты, куда я спрятал ключ от ящика? Того, в котором я Книгу держу...

– Конечно, заметила. Куда всегда: в плетеную корзиночку – на книжной полке за стеклом. Ты, папа, опять нервничаешь, наверно, по поводу своего Тыковкина, а потому все забываешь... Ты успокойся. Если надо, мы с Ежиком этого Тыковкина победим.

– Спасибо, моя хорошая, – сказал папа. – Ты у меня замечательная дочка! Все замечаешь.

Он поцеловал Машу, осторожно опустил ее на пол и вышел из комнаты.

А Маша принялась звать Ежика. Но он не отзывался. Тогда она заглянула под кровать – там его не было. Затем под диванчик у шкафа – и там не было. Под шкаф – тоже нет. За шкаф – опять неудача. Следом за ней ползала Ирочка, проверяя, не проглядела ли Маша Ежика. Девочка влезла на стул, чтоб посмотреть, не притаился ли он где-нибудь на полках или на шкафу. Но и там было пусто.

– Что же случилось? Куда он исчез? – испуганно обратилась она к Ирочке и Элизе.

Ирочка растерянно шмыгнула носом, а Элиза подняла головку, потряхнула кудряшками и, поколебавшись минуту, вдруг призналась:

– Это я его уснула. Вас все не было. Он и бросился тебя искать. Сказал, что пойдет **туда – не знаю куда**, там тебя найдет и спасет.

– Храбрый мой Ежик! – прошептала Маша. – А ты, Элиза, плохая. Зачем тебе это надо было? Я с тобой больше не дружу.

– Нет, Маша, нет, – запричитала перепуганная Элиза. – Дружи со мной, пожалуйста! Я не виновата! Я просто хотела стать у тебя самой главной любимицей. Потому и с Ирочкой ссорилась. Для того и Ежика спровадила. Да мне еще и таракан нашептал, что с ежом даже медведь в берлоге не уживется. А уж мы, нежные девочки, тем более.

– Какой таракан?

– Да здесь сидел. Не то Андрей, не то Евсей. Так он назвался. Усатый такой.

– Но этого не может быть! – уверенно возразила Маша. – Мама у нас такую чистоту навела, что ни один таракан не проникнет.

– Я его тоже спросила, как он сюда попал, – Элиза старалась правдивым рассказом заслужить прощение. – А он ответил, что у **всякого таракана своя щель найдется**. Он мне и сказал, что если Ежик исчезнет, то твоя любовь от него ко мне перейдет. А я поверила... – И Элиза расплакалась.

– Поплакать – это легче всего, – произнесла Ирочка. – Ты лучше припомни, в какую сторону Ежик Карл двинулся. Ведь не растворился же он в воздухе.

– Нет-нет, не растворился, – закивала торопливо Элиза. – Совсем нет. Он по дороге ушел.

– По какой еще дороге? – разом спросили Маша и Ирочка.

– По самой обыкновенной. Под подоконником. Да вы что на меня оставились так? Лучше под подоконник загляните... Сами все и увидите.

Маша с Ирочкой переглянулись и бросились к подоконнику. И точно: они увидели выход прямо на улицу. И хотя Маша жила на восьмом этаже, тем не менее прямо из ее квартиры из-под подоконника начиналась дорога, ведущая куда-то в лес. Одна беда: лаз был слишком мал для большой девочки.

— Вот по этой дороге он и ушел, — сказала подошедшая к ним Элиза. — Мы с Ирочкой пойдем искать. А ты подожди нас. Но я все равно его первая отыщу.

— Я должна сама идти, — сказала Маша. — Ему и вправду может угрожать какая-нибудь опасность.

Она встала на четвереньки, сжалась в комочек и — неожиданно проскользнула в эту дыру!

Вылезла на дорогу, распрямилась. И... очутилась в лесу. Ее дом исчез. А рядом стояли две девочки — сестренка Ирочка и подружка Элиза. И трудно было понять: Маша ли уменьшилась или куклы подросли? Но стали они все трое примерно одного роста. Маша по-прежнему немножко повыше, но ненамного.

Глава четвертая

Заколдованное место

В лесу стояла густая тишина. Густая, как застывший кисель, она заполняла все пространство. Девочкам стало не по себе. Маша растерянно перевела взгляд с асфальтовой в трещинках дорожки на окружавшие их деревья. Надо было разобраться, где они находятся. В лесу? В парке? Вдоль дорожки стояли пустые деревянные лавочки. Скорее, похоже на парк. Но ни гуляющих стариков и старушек, ни мам с малышами, ни лихих велосипедистов — никого. Прохлада, тишина и пустота. Повсюду стоял аромат свежей зелени, но откуда-то слегка пробивался запах гнили.

— Где мы? Куда это мы попали? И зачем я с вами пошла?! Мы здесь тоже пропадем, как ваш Ежик! — захныкала Элиза.

В густой тишине ее жалобный вскрик прозвучал так резко и пронзительно, что все три вздрогнули.

— А ты не бойся и не трусь! — прошептала решительно Ирочка. — Я вот стараюсь быть храброй. И ты старайся. С нами ведь Маша. Она знает, что делать.

Но Маша не знала. И, чтобы самой не испугаться и успокоить сестренку и подружку, она принялась рассуждать вслух:

— Парк мне кажется знакомым. Это или Сокольники, или Лосиный остров. Карлуша, правда, ни там, ни там не бывал, поэтому мог заблудиться. Но мы его непременно найдем, если я сумею определить наше **местонахождение**, — произнесла она ученое слово и сразу почувствовала себя увереннее. — В Сокольниках — пруды, а вдоль Лосиного острова течет речка Яуза. Смотрите: асфальтовая дорожка за теми кустами изгибается. Если мы сейчас выйдем к реке, значит, мы на Лосином острове. А мне кажется, что так оно и есть.

Девочки пошли по дорожке, уходившей в глубину леса. И перед ними возникла развилка. Маша подумала, что если она права, то путь налево ведет к гаражам, какому-то одноэтажному зданию за забором и пятиэтажным серопанельным домам. Но лучше повернуть направо.

Они так и сделали. Еще несколько шагов, и — о, счастье! — они увидели глинистый спуск с пригорка, небольшое поле с высокой травой, за ним утоптанную дорогу, а за дорогой — быстро текущую грязную речку. В ней, конечно, никто не купался, даже мальчишки ее избегали — слишком много всякой дряни спускали в нее стоявшие выше по течению завод и фабрика. Вода, лишь временами прозрачная, казалась обычно бурой и несла на себе нефтяные и масляные пятна и разводы. Только утки осмеливались жить в нынешней Яузе: плавали, ныряли, находили там корм. Но все равно девочки обрадовались, что добрались до реки и знают теперь, где они находятся.

— Ура! — крикнула Ирочка, но... рановато.

Они вроде бы бежали **вниз**, с пригорка, но ноги несли их назад, **вверх**, на прежнюю асфальтовую дорожку. Они снова попытались преодолеть неведомую силу, мешавшую им выбраться из леса. Но чем энергичнее они стремились к реке, тем сильнее их отбрасывало назад. Пока не очутились девочки на том же самом месте, с которого двинулись в путь.

Запахавшиеся, усталые, стояли они, тревожно глядя друг на друга. И тут вдруг Маша сообразила, что иначе и быть не могло. Ведь не случайно кто-то им лаз под подоконником открыл и дорогу проложил. Причем дорогу в лес, а не к реке. Если это друзья, то они хотят, чтобы девочки нашли Ежика. Если это плохие и злые их куда-то заманивают, а Ежик — приманка, то все равно остается та же задача — искать пропавшего друга. И лаз, и дорога были чудом. Значит, и место, куда они попали, должно быть заколдованным. Раз уж они отважились сюда пойти, то нечего бояться! Девочка почувствовала, как к ней вернулась решительность, и сказала спокойно:

– Мы пошли, чтобы найти и спасти Ежика Карла. А сами зачем-то к реке побежали. Достаточно того, что мы ее увидели и знаем теперь, где мы. Нас кто-то правильно остановил. Искать надо. На дорожке Ежика нет. Значит, он где-то в лесу. Сначала мы пойдем направо от дорожки. Если там не найдем, то вернемся и будем искать по левую сторону. Только, чур, друг дружке помогать!

– А как же иначе! – ответила Ирочка, преданно глядя на Машу своими круглыми черными глазами.

– А вдруг так сложится, что мне понадобится перескочить через чур? – пробормотала, не удержавшись, Элиза, хотя и жалась поближе к остальным двум.

– Тогда, – твердо возразила Маша, – жди нас здесь или сама ищи дорогу домой. Мы без тебя пойдем.

– Ну уж нет! Я с вами, я с вами! – запротестовала Элиза. – Не бросайте меня. Я одна боюсь. Вы не имеете права меня одну оставлять, раз сами сюда заманили.

– Во-первых, тебя никто сюда не заманивал, а во-вторых, не вредничай и иди следом за нами!

Сказав это, Ира шагнула с дорожки в траву, где уже стояла ее **старшая сестренка**.

Девочки двинулись довольно-таки приметной тропкой в самую чашу кустов и деревьев. Шагов через двадцать, за кустами орешника, наткнулись они на маленькую полянку, а на ней!.. Боже, чего там только не было! Валялись обломки белого унитаза, половинки красного кирпича (и откуда это тут взялось!), пластмассовые бутылочные пробки, сами бутылки, раздавленные жестяные банки из-под пива и пепси, смятые сигаретные пачки и окурки...

– Давайте свернем с этой тропы, – решила Маша, – здесь, наверно, какие-нибудь **тараканьи люди** живут, все грязнят и безобразничают. А может, свои праздники празднуют..

И девочки зашагали прямо по траве, спотыкаясь о корни деревьев, заглядывая под кусты, поднимая руками пласты прелых листьев, спускаясь в овражки и ямины, исследуя палками норки кротов и другие непонятные земляные ходы и отверстия – вдруг где-нибудь там обнаружится Ежик Карл.

Не так уж и далеко отошли они от захлавленной полянки, как Маша неожиданно увидела и узнала знакомый дуб, который весной они с папой лечили: отдирали гниль, высохшую кору и обмазывали больные места глиной. Папа тогда сказал, что это не простой дуб, а **сказочный**, быть может, даже **дерево жизни**, которое соединяет влюбленных, дает приют усталым и гонимым, помогает

добрым и храбрым. Наверно, сказал он, дубу этому уже тысяча лет, он всякое повидал, но остался хранителем добра и правды в наших окрестностях. Маше в это трудно было поверить, но дуб она лечила охотно. Теперь лесной великан стоял такой могучий, будто и не болел никогда. В дубе они в тот день нашли дупло. И папа поднимал ее на руки, чтобы она могла заглянуть в его темную глубину — дупло располагалось выше Машиного роста. Девочке стало интересно, сохранилось ли дупло... Она даже захотела позвать своих спутниц — показать им, что они с папой открыли. Но тут одна из веток дуба опустилась совсем низко, ее сучья словно обняли девочку за плечи, а листья прикрыли ей рот. И хотя деревья не говорят, Маше показалось, что шелестом листьев дуб ласково просит ее сохранить **тайну его дупла**. И она промолчала. Вздохнув, она пошла дальше, пытаясь увидеть в траве и переплетениях кустов колючего друга.

— Ежик!.. Карлуша!.. — время от времени выкрикивала она.

Но никто не отзывался. А от тишины даже звенело в ушах.

Вдруг она заметила, что ноги сами вывели ее на ту самую асфальтовую дорожку, к тому самому месту, с которого двинулись они в лес, но с **другой стороны**. То есть ушли они направо, а вернулись слева, как будто обогнули по этому парку круглый земной шар. И Маша подумала: «Мы все время возвращаемся на эту дорожку не случайно. Значит, это и есть наш путь. Но тут все обманно, а потому надо сделать вид, что мы **не** ищем Ежика, мы просто гуляем. Тогда, может, и нападём на его след». И еще она вспомнила, как говорил ей как-то Эрнест Яковлевич: «Иногда девы-полудницы насылают тишину, чтоб одна душа услышала другую, ее зовущую. **Когда сердце сердцу весть подает**». По спине у девочки пробежал холодок: «Вдруг Ежик меня зовет, а я не слышу. Надо идти на голос его души. Куда ноги сами ведут».

— Я думаю, мы устали искать! — громко, очень громко сказала она, чтоб расслышали **чужие**. — Давайте просто погуляем. Пойдем себе по дорожке **туда — не знаю куда**. Куда ноги выведут.

— А я хочу есть и хочу домой! — закапризничала Элиза. — Где взрослые дяди и тети? Кто вообще здесь живет? Кто нас покормит?

— Успокойся! — Маша взяла ее за руку, Ирочку тоже, и опять пошла с девочками по лесной дорожке.

Элиза хныкала, ее ладонь была вялой и слабой. Зато Ирочка весело вертела головой, ладошка ее была твердой, а шаги уверенными. Они дошагали до развилки, но тут их ждало удивление. Поворот к Язуе исчез, остался лишь путь, который вел к серо-кирпичным пятиэтажкам. И Маша без колебаний свернула к серым домам.

Однако вышли они поначалу не к домам, а к большой прямоугольной асфальтовой площадке с газоном посередине, окруженным каменным бордюриком. И там ходили люди, человек десять-двенадцать. Правда, не просто ходили, а **маршировали** строем и молча, сжав кулаки, со злыми, даже остервенелыми лицами. Возглавляли марширующих две женщины в коричневых платьях, катившие перед собой коричневые детские коляски. Еще несколько человек писали на широких кусках материи какие-то большие печатные буквы. Руководил ими человек в черном балахоне, но руководил без слов, жестами. Глядя на шагающих людей, Маша подумала, что заколдованы они ходить по кругу как заведенные механизмы.

– Наверно, они чего-то ждут, – прошептала Ирочка.

– А вдруг нас?! – И Элиза спряталась на всякий случай за спины Маши и Ирочки.

Ничего другого не оставалось Маше, как шагнуть на площадку и, принаравливаясь к темпу марширующих людей, обратиться к одному из них, шедшему последним:

– Здравствуйте. Вы не могли бы нам помочь?.. Или хотя бы ответить на один вопрос?..

Она еще и сама не знала, что хочет спросить у него. Но мужчина, не отвечая, скользнул в сторону. Обогнав своих сотоварищей, он оказался во главе колонны, подальше от девочки. Она попыталась обратиться ко второму, третьему, но все они с невероятной, нечеловеческой скоростью увиливали, улепетывали, ускользали, убежали, увертывались, улетучивались, улизывали, уносились, убыстряя свой ход и оставляя ее каждый раз одну. Они так ловко разбегались, что Маша даже дотронуться ни до кого не смогла. Это стало напоминать игру, и девочка вошла в азарт.

– Мы должны кого-нибудь из них задержать!

Она поставила своих спутниц с обеих сторон от себя и показала глазами на женщину, вырвавшуюся вперед. Лево́й рукой женщина толкала коляску, а правую со сжатым кулаком подняла вверх, будто грозила небесам или несла невидимое знамя. Увидев загородивших ей путь девочек, женщина вздрогнула, попыталась их объехать, но колеса соскочили с асфальта и забуксовали на травяной обочине. Маша взялась за край коляски.

– Можно маленького посмотреть? – вежливо спросила она.

Женщина замерла, втянув голову в плечи. Не отвечая, она выткнула коляску с обочины на асфальт, направляя ее на Элизу. Но та, защищаясь, вытянула руки и остановила коляску. Маша заглянула внутрь и отшатнулась, увидев не запеленатого младенчика, а двадцать или тридцать крошечных существ, шевеливших

усами и тарасивших глазки. Воспользовавшись Машиным замешательством, женщина сильно толкнула коляску, и колеса наконец выкарабкались на асфальт. Обогнув Элизу, женщина быстро-быстро побежала прочь и через минуту вклинилась в ряды маршировавших.

А те люди, что писали плакаты, теперь играли в странную игру. Одетый в черный балахон держал в руках стопку газет. Остальные подходили к нему по очереди, а он каждому вручал газету. Когда стопка кончалась, он делал знак рукой, и тогда ему возвращали взятые у него экземпляры. Снова получалась стопка, и он снова принимался раздавать – «по штуке в одни руки». Разумеется, заметив подходивших девочек, игравшие брызнули врассыпную, побросав газеты и плакаты. А первым бежал их предводитель, поглубже натянув на свою физиономию черный капюшон.

Маша решила посмотреть, что писали эти черно-коричневые. Газета называлась «**Тараканий порядок**». Маша не стала ее читать: слишком много там было статей, да еще мелким шрифтом. А вот плакаты она прочитала вслух: ведь Ирочка и Элиза не умели складывать буквы в слова.

Первое полотнище сообщало:

ПРОЙДЕТ ЛЮБОВЬ, ОБМАНЕТ СТРАСТЬ,
НО ЛИШЕНА ОБМАНА
ВОЛШЕБНАЯ СТРУКТУРА ТАРАКАНА.

Маша не поняла и отшвырнула его прочь. Взяла второе. Надпись там была короче, но еще более непонятной:

ДА, В ТАРАКАНЕ ЧТО-ТО ЕСТЬ...

Маша наугад вытащила из брошенной груды еще один плакат:

ТЕСНЕЕ РЯДЫ ТАРАКАНЬЕГО ФРОНТА!

Звучало это угрожающе. И тогда девочка решила прочитать тот, на котором было больше всего слов:

МОЛЧАЛЬНИКИ ТАРАКАНЫ!

РАЗМНОЖАЙТЕСЬ! ВНЕДРЯЙТЕСЬ В КАЖДЫЙ ДОМ,
В КАЖДУЮ ЩЕЛЬ, В КАЖДОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ!
ВЕЛИКАЯ ПОМОЙКА – ВЕНЕЦ НАШИХ УСИЛИЙ!

Маша закончила читать и перевела дух. Девочки переглянулись. По-прежнему было не очень понятно, но жутковато. Это был какой-то **другой мир**. Но не отступать же! И тут Маша углядела новую тропинку, начинавшуюся прямо от края площадки.

— Пойдемте скорее в лес, — сказала она, — подальше от **этих**. Наверно, они и есть **тараканьи люди**. И мы уже на территории **Тараканского государства**. Выходит, оно и в самом деле существует!

Девочки двинулись по новой тропинке, которая виляла между кустов и деревьев мимо ограды. Внезапно заметили они узкую щель между палками — пролезть нельзя, но поглядеть можно.

И Маша увидела за забором продолговатую одноэтажную серокирпичную постройку с синими железными дверями. Двери наискось перекрещены металлическими полосами с тяжелыми висячими замками. Небольшой участок перед зданием был заасфальтирован вплоть до больших решетчатых ворот. Там под жестяным навесом стояли грузовые фургоны. Очень неприятное впечатление они производили. А поодаль виднелось большое болото с пустынным островком посередине. Только несколько мелких кустиков да избушка из обросших мхом бревен находились на этом островке. Ну и, конечно, вдоль берегов — болотная осока да камыши. Со стороны болота забора не было. Девочки все брели вдоль болота, продираясь теперь сквозь репейник. Его колючки царапали им ноги, руки, рвали платица. Миновав заросли репейника, они очутились перед решетчатыми воротами. На них тоже висел замок. Но ячейки решетки были крупные, и, прикинув к ним, девочки разглядели даже надпись на табличке, прикрепленной к стене здания рядом с дверью.

— «Виварий», — прочитала вслух Маша.

— Что значит — **виварий**? — спросила Ира.

— Ну, это такое помещение, — попыталась вспомнить школьница, — где животные и всякие звери содержатся в неволе. Но не просто в неволе, а над ними там опыты делают. Ой, — перебила она вдруг сама себя, — а вдруг **там** Ежик Карл?

Она побледнела от страха за своего друга.

— Надо найти сторожа этого вивария, — сразу же предложила Ирочка, заметившая ее испуг, — и уговорить его...

— Погоди-ка, — остановила ее Маша, — может быть, ты права. Но дай мне сообразить. Здесь людей не видать. Мы, однако, неподалеку от серых домов. Там, наверно, надо и сторожа искать.

И Маша, словно вдруг озябнув, передернула плечами. Не хотелось ей идти к этим домам. Вроде бы на их месте раньше стояли самодельные бараки, сотворенные из разного хлама: кузова гру-

зовиков и проржавевшие остовы старых автобусов, разделенные на комнатки фанерными перегородками; конуры, сколоченные из выброшенных на свалку старых дверей; шалаши, собранные из гнутых рельс и покрытые старыми дождевиками... Каждое такое жилище имело клочок земли под огород, а вместо заборов между ними торчали отломанные спинки кроватей, натянутая между столбиками ржавая проволока или какие-то резиновые жгуты. И жили здесь подозрительные существа: нигде не работали, пьянствовали, дрались друг с другом и били своих женщин и детей. Из посторонних не всякий решался даже мимо ходить. Потом в один день бараки снесли. На их месте построили серопанельные пятиэтажки. Но все равно места этого опасались. «Может, и не зря опасались, — подумала Маша, — раз оно, как оказалось, **в другом мире** находится, **в Тараканском каком-то государстве**».

Идти туда страшновато. Но и не идти нельзя. И, взяв девочек за руки, она пошла через поляну прочь от ворот снова в лес. На сей раз путь их был не очень долог. Как-то вдруг сквозь путаницу веток и листьев они увидели невдалеке три серых пятиэтажных дома. Выйдя из леса, девочки очутились на асфальтовом шоссе. За ним и начинались дома. А дальше опять виднелся лес.

Подружки перебежали шоссе. Около домов стояли две телефонные будки, посередине двора находились песочница, качели, турник и деревянная горка. Перед подъездами на лавочках сидели старушки. Пошатываясь, брели неопрятно одетые мужчины. Зазвучавшие вдруг голоса испугали их не меньше, чем прежняя сплошная тишина. Были эти голоса хриплые и противные. Лучше бы их и не слышать. На двери первого подъезда первого дома была приклеена афиша:

«Смотрите сегодня вечером в нашем киноклубе «Инсект» новый художественный фильм **«Судьба таракана»**.

Из подъезда вышла женщина, закутанная в платок темного цвета, и крикнула:

— Агафон! Поди ко мне!

За песочницей росли три рябинки. Под ними за столиком четверо парней (трое в черных кожаных куртках и повязанных по-пиратски платках, а один — намного старше — просто в черном тренировочном костюме) играли в карты. Долговязый взрослый дяденька в тренировочном лишь слегка поворотил свою мутную физиономию в сторону кричавшей и прогундосил в ответ:

— Ты чего, мать? Чего мне-то идтить? Тебе надо — сама сюда поди! Не маленький я, чтобы слушаться! У самого уже дочь замужем. И ты знаешь, за кем!

Женщина обиделась:

– Мог бы и уважить! Тебе годков-то поменьше будет...

Элиза, словно припоминая что-то, посмотрела на Агафона. Но, так и не вспомнив, пошла следом за девочками к игровой площадке около песочницы. Там все выглядело необычным. Во-первых, большой плакат от столба до столба, на котором крупными коричневыми буквами было написано: **БОЕВАЯ ИГРА**. А пониже следовало пояснение: **Подготовка к осенней тараканиаде**. Во-вторых, за плакатом толпились какие-то странные подростки – с шестью конечностями. Играли мальчишки так: в песочнице стоял большой, в рост двух взрослых, стакан; они опускали туда на веревке одного из своих приятелей, потом веревку вытаскивали, а оставшийся в стакане пытался сам вылезти по гладким и скользким стенкам. Он пыхтел, старался, полз вверх, скатывался назад, падал, ушибался и снова лез, прилепляясь к стеклу всеми шестью конечностями.

Однако кое-кто из опущенных в стакан вылезал, оставляя на дне пару боковых отростков. И выглядел теперь как самый обыкновенный мальчик. И тогда остальные громко кричали: «Ура!» – и хлопали в ладоши. А затем опускали следующего. Маша хотела кого-нибудь спросить, что означает эта игра, но не могла решить, к кому обратиться. На девочек никто не обращал внимания:

В этот момент из окна пятого этажа раздался голос:

– Вася! Обедать!

Один из малышей, ковырявшихся в песочнице, встал, отряхнулся (причем у него хорошо были развиты все шесть конечностей), подковылял к дому на двух ногах и вдруг, пустив в ход остальные четыре, – на шести ногах **взбежал по стене** к окну пятого этажа и юркнул в это окно.

Девочки обомлели.

– Интересно, – сказала Маша, – есть ли у них в подъездах лестницы? Или нам тоже, чтобы найти сторожа, придется по стенке влезать? Боюсь, у нас это не получится. Давайте зайдем внутрь и посмотрим.

И они пошли к подъезду.

– Только осторожнее! – предупредила Маша. – Вдоль дома идти не надо. Могут что-нибудь из окна выбросить и попасть в тебя. Нас с мамой один раз чуть стеклянной банкой не убило. Прямо у ног на сотни осколков разлетелась.

Глава пятая

Попались!..

Пока Маша предупреждала своих спутниц (они ведь раньше были куклами и этого не знали) об опасностях, грозящих всякому городскому жителю, из-за угла серого дома выехала светло-коричневая легковая машина. Рядом с ней на тарыхтящем мотоцикле катил долговязый Агафон в черном тренировочном костюме. Но неподалеку от девочек он свернул и помчался к своим дружкам в кожаных куртках, все еще сидевшим за столиком под рябинами. А машина, мягко чиркнув шинами, остановилась.

– Ой, какой гадкий! – вскрикнула Элиза. – Напугал меня!

Сидевший за рулем мужчина отворил дверь и высунул пухлощекую, гладковыбритую физиономию.

На водителе был свежий коричневый «с искрой» костюм, свежая белая рубашка и галстук в крапинку, скрепленный золотой заколкой, походившей на насекомого с шестью лапками. На секунду Маша насторожилась, но глаза незнакомца были голубые, взгляд добродушный, и она успокоилась. И улыбался мужчина доверительно, как хороший человек, и на Элизины слова не обиделся, и ускользнуть не пытался, напротив, сам в разговор вступил.



«Таракан на мотоцикле». Художник Наталья Григорян

– Здравствуйте, мои милые, – вежливо обратился он к девочкам. – Вы здесь кого-нибудь ищете? Не могу ли я вам помочь?

Речь его звучала мягко и приветливо – как тут было не обрадоваться ему! Только Элиза спросила:

– А вы нас не сможете обидеть?

– Ты что? – урезонила ее Ирочка. – Нас же трое! А он один.

– Ну да! Ну да! Вас же трое, – подхватил ее слова пухлощекий дядя, хмыкнув, словно чему-то обрадовался. – Да и зачем мне вас обижать? Нам лучше подружиться!

Эти разумные слова, тихий, без хриплости голос окончательно успокоили Машу. И она доверчиво ответила:

– Конечно, дружить всегда лучше. И вы угадали: нам в самом деле нужна помощь. Мы ищем сторожа вивария.

– А зачем он вам? – удивился сидевший в машине.

– Мы думаем, что в этом виварии может сидеть наш Ежик...

– Ах вон оно что! – воскликнул незнакомец. – Это дело серьезное. Я вас понимаю. – Лицо его выразило сочувствие. – А кто этот Ежик, из-за которого волнуются юные девы?

– Наш друг, – ответила уклончиво Маша.

– Маша считает, что он принц и ее жених! – ляпнула Элиза. Она хотела теперь понравиться взрослому дядечке, чтобы забыл он ее первые грубые слова.

– Это не так! – вспыхнула, смутившись, Маша.

– Что ж, бывает. Не смущайся, девочка, жених так жених. Ничего особенного. Может, и найдешь его. Пока же самое для вас приятное, что сторож вивария некоторым образом мне обязан. Впрочем, как и я ему. А потому – водой нас не разлить, и он всегда к моему слову прислушается. Так что садитесь в машину, я вас к нему мигом подброшу. И там чем смогу – помогу, – любезно предложил мужчина. – А по дороге вы мне про принца вашего расскажете. В нашей глухомани о принцах-то редко услышишь.

Маша опять смутилась, вспомнив, что принцем Ежика назвал папа, а так ли это на самом деле, она не знает. Как-то иначе истолковав ее колебания, пухлощекий быстро добавил:

– А можно и пешком. Смотрите: солнышко светит, листья зеленеют, воздух теплый, дождя не ожидается. Славно сегодня дед Ворчун расстарался!

– Какой такой дед?! – обрадовалась Маша возможности сменить тему разговора.

– Дед-то? Очень интересный дед. Всем дедам дед! Он по совместительству здесь и погодой заведует, а в виварии сторожем служит.

Да забирайтесь вы в машину, на заднее сиденье, там места вам троим запросто хватит. На колесах все быстрее, чем пешком.

— А у вас печенье в машине есть? Или хотя бы конфеты? А то мы очень проголодались, — продолжала подлизываться Элиза, заискивающе глянув на пухлощекого водителя.

— Найдется, что-нибудь непременно найдется! — улыбка появилась на губах незнакомца. — Давай запрыгивай!

Он вылез из машины и распахнул перед девочками заднюю дверь своего авто. Был он среднего роста, толстый, пухлый и улыбчивый. И похоже, что добрый. Потому Маша и приняла его предложение. Хотя нет бы ей одернуть попрошайку Элизу, быстренько прыгнувшую на мягкое плюшевое сиденье, и Ирочку задержать, нет бы вспомнить самое простое, много раз говоренное ей мамой и папой: нельзя детям доверяться чужим дядям и тетям, куда-нибудь с ними идти, тем более в их машину садиться. Но из-под рябинок все так же звучали хриплые голоса, пугавшие Машу. А проходивший мимо мутноглазый дядечка уж очень грубо ругал свою маленькую дочку, дергая ее за руку:

— Еще раз оглянись — так и врежу тебе! Надоело уже! Сто раз тебе повторяю: когда ходишь, не верти головой, смотри только перед собой и под ноги!

Маше стало одно понятно: оставаться здесь нельзя, здесь прямо в воздухе носятся злоба и ненависть. Надо ехать, скорее отыскать Ежика Карла и выбираться из этого **Тараканска**. Она забралась на сиденье рядом с Ирочкой, водитель захлопнул за ней дверцы, сел на свое шоферское место, мотор заурчал, и машина тихо покатила.

Они выехали на шоссе, бежавшее вдоль леса, и направились в сторону вивария. Вот уже показалось одноэтажное здание с синими воротами, за ним домик на болоте... Но неожиданно они очутились... на том же самом месте, откуда машина начала свой путь. Будто и не ехали никуда.

— Чудеса! — повернулся к девочкам пухлощекий. — Ничего не понимаю...

Он хотел изобразить удивление и недоумение, но его плохо скрытая ухмылочка показалась Маше подозрительной. Она незаметно дернула ручку двери, но... дверь машины не открывалась. Девочка побледнела. И вдруг **догадалась**:

— Вы же, как и остальные, — житель **другого мира!**

— Какого это — **другого?** — усмехнулся тот.

— Такого! Колдовского и, может даже, тараканского!

— А ты очень умная? Да? — насмешливо скривился и не скрывал уже своего победительного торжества толстяк за рулем.

Теперь Маша не сомневалась, что они **попались**, что, как самые настоящие растяпы, оказались в **ловушке**. Но надо было сохранять спокойствие и не показывать, что она испугана. «Я буду говорить с ним как ни в чем не бывало, — решила девочка. — Чтобы Ирочка и Элиза не сомневались в моих силах. Они должны быть уверены, что я справлюсь с этим **чужим**».

— Нет, не очень умная, — ответила она. — Например, я не поняла, почему вначале нас встретила полная тишина, а потом мы стали и чужие голоса различать, а не только себя слышать?

— Хм, это весьма просто, — скучающим тоном объяснил водитель. — Там, где вас настигла тишина, началась **карантинная зона**. Ваши уши привыкали к другой акустике, то есть к другой способности воспроизведения звука. Ведь вообще-то тараканьи звуки обычно человеческому уху малодоступны.

— А разве тишину создают не девы-полудницы, чтоб помочь одной душе услышать зов другой души? — перебила Маша, чтобы показать себя образованнее водителя.

— Что такое душа? Не понимаю. Это все поэты выдумали, — пренебрежительно отмахнулся незнакомец. — Колдовство, чародейство — вот что действует. Это реальность. Чародеев можно даже поставить на административный учет. Мне это еще мой папахен говорил, а он большим начальником был. Чародей может, скажем, карантинную зону создать, чтобы такие, как вы, могли в **другой мир** вступить и его голоса услышать. А потом в мою машину попасть...

Тут и другие две девочки сообразили, что **попались** они. Ирочка принялась дергать ручку двери со своей стороны. Но без успеха. Попробовала еще раз навалиться на ручку и Маша. А дядечка за рулем захихикал уже вполне откровенно:

— Не получится, Машенька, даже не пытайся! Лучше угадай, что мне от тебя надо.

— Откуда вы знаете мое имя? — растерянно спросила девочка.

— Я много чего знаю про то, что мне выгодно.

— Маша, догадайся, пожалуйста, что он от тебя хочет? Тогда всем хорошо будет, — захныкала красивая Элиза. — А мне пока пусть он печенье даст. Я очень кушать хочу.

Громко и довольно рассмеялся незнакомец, достал из ящичка пачку печенья, развернул ее и, похрумкивая, принялся жевать, чтобы девочкам обидно и завидно стало. Затем включил радио.

Зазвучала песенка, в ритм которой он начал подергивать плечами и подпевать:

*Он сказал, что кукарача —
Это значит та-ра-кан!
А я не плачу,
А я не плачу,
Но обиды не прощу —
За кукарачу,
За кукарачу
Я, конечно, отомщу!*

— Послушайте, — вежливо, не желая с ним ссориться, сказала Маша, — если вы хотите от нас какой-то помощи, то скажите это прямо. И, пожалуйста, назовите себя, кто вы такой и почему нас в ловушку заманили.

— Почему? Почему? — выключив радио, хитрый толстяк снова засмеялся. — Почему? А по кочану да по капусте. А еще лучше — по тыкве! Вот почему! Потому что вы в моей полной власти. И спасти вас некому. Да и Ежик ваш за решеткой. В виварии, в виварии — это вы правильно угадали. А при этом вы мне нужны. И хочу я, Машенька, с тобой кое о чем договориться. — Физиономия его вдруг изобразила сладкую и даже дружескую гримасу. — Но для начала позвольте представиться: **Нолик Тыковкин**. И запомните, что здесь я самый главный, мне все подчиняются, все тут друзья мои заплечные, тараканы запечные. Много их у меня.

— Но пока-то ты один! — вскочила примолкшая до поры до времени Ирочка. — А мы храбрые, и нас трое!

— Да и я не один! — возразил Тыковкин. — Со мной Советник мой — Евсейка Мерзин. Его, правда, поначалу Андреем Мерзеро прозывали. Отец-то у него из итальянской земли. Зато мать местная, наша, тараканиха. Вот мы его и переименовали, как на службу ко мне пошел. И как вы думаете, где он прятался? Не угадаете! Он все это время у меня под сидением лежал и наш разговор на ус наматывал. Вы его опасайтесь. Он очень злой. Евсейка и меня укусить может.

Говоривший приподнялся, и из-под сидения его и вправду вылез взъерошенный человек, в пиджаке, синей рубашке и галстук. Он быстро пригладил волосы, приосанился, поправил галстук, подкрутил усики и, сжав кулачок, посмотрел на девочек сурово-укоризненным взглядом, будто провинились они в чем-то:

– Стыдно слушать, как вы перечите Нолику! Я уверен, что справедливее Нолика нет на свете правителя. Я ему не лыщу, я вообще льстить не умею.

Расплывшийся от удовольствия Тыковкин поощряюще ткнул спутника большим пальцем в бок. Человечек аж сморщился от этого тычка, а **правитель** хохотнул:

– Молодец! Бойкий язык. И сам юркий. Не зря он у меня газетчиком работает. Газету «Тараканий порядок» издает. Ловко он от вас на площадке ускользнул, а?

Девочки всмотрелись – и точно: рядом с человечком лежал черный балахон. А Тыковкин все нахваливал своего Советника:

– Я Евсейку ценю. Для него нет большей радости, чем кому-нибудь нагадить или оклеветать кого! **Подтараканивает** нам изо всех силенок. Любую подлость может сделать. Старается! А с виду такой порядочный и совестливый, что людишки ему все и всегда доверяют. Ну а мне это выгодно, конечно. И хотя таракан он только наполовину, по поведению своему Евсейка совсем **отараканился!** Впрочем, я с самого начала понял, что Мер-зеро мне подойдет, нашим станет. Ведь **зеро** – по-ихнему, по-итальянски – означает **ноль, нолик**. Значит, будет мне служить. Так и вышло. Служит. На Мотьке-тараканихе, дочери долговязого оборотня Агафона, женился. Теперь деток плодит. И они тоже совсем как люди выглядят. Так что прижился **бывший Андрей, а ныне Евсей** на нашей почве!

Пока Тыковкин говорил, бывший Мерзеро (а теперь просто Мерзин) скромно потуплял свои глазки. Но нет-нет, да и поглядывал на девочек, чтобы понять, осознают ли они его великое значение. Те, однако, не осознавали. А Маша и вовсе сломала тараканью похвальбу.

– Почему вы нас так боитесь? – вдруг спросила она.

– Как это так – боимся? – возмутился Тыковкин, и его толстые щеки опали. А Советник Евсейка от неожиданности вопроса поперхнулся и раскашлялся.

– Конечно, боитесь! – подтвердила Маша. – Всякие глупости про Мерзина рассказываете, из машины не выпускаете...

– Да я, – завопил, неожиданно побагровев, правитель, – могу вас в настоящую клетку посадить, могу тараканам на растерзанье отдать!.. Я все могу!

– Ой, не надо! Что вы! Мы вам понравимся. Я, например, хорошая девочка, – залебезила Элиза.

– Нам хорошие без надобности, – возразил усатый Советник, – нам сговорчивые нужны. Чтобы вначале могли, скажем, **так**, потом

сразу и **эдак**. Вроде как я. Чтобы любую гадость, любую подлость в любой момент готовы были сотворить.

– Какую?! – воскликнула, привскочив, Элиза.

Но Ирочка дернула ее за платье и снова усадила на сиденье.

– Замолчи немедленно, трусиха! – крикнула она и обернулась к Маше: – От меня они ничего не дождутся. Я всегда вместе с тобой. Скажи, что делать...

– Пока молчи. Пока не знаю...

Тогда Маша решила молчать, удивившись, правда, про себя, что **тараканьи слова**, которые она в разговоре с папой придумала, на самом деле существуют. Напрасно Тыковкин несколько раз спрашивал, как поживает ее папа, знает ли дочка, где он хранит свои записи, как здоровье мамы, помогает ли ей Маша по дому, стирает ли пыль с папиных книг, любит ли сама читать или родители читают ей вслух, а если читают, то **что** – не из папиных ли записей?..

Маша молчала, глядя перед собой. Она была уверена, что рано или поздно Тыковкин проговорится. Скажет, что ему от нее надо. Так прошло минут десять.

– Ладно, так и быть, **Таракан с тобой**... – сдался в конце концов Тыковкин. – Придется тебе кое-что объяснить. Ты **втаракань** в свою черепушку, что я сейчас очень важный вопрос решаю, для всех на свете людишек важный! – Он говорил приветливо, почти сладко, но в его сладком голоске чудилось все же что-то бесцеремонное, наглое и одновременно опасливое, как у таракана, гуляющего по столу, но готового в любую секунду исчезнуть. – Знаете ли вы что-нибудь про тараканье могущество? Нет, не только количеством берут эти существа. Я хочу рассказать вам о мужестве одиночного тараканьего бойца. Его мужество признают и люди. И даже слагают об этом стихи. Может, вы их и знаете. Но я все равно прочту:

Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую!»
Звери задрожали,
В обморок упали.

Волки от испуга
Скушали друг друга.
Бедный крокодил
Жабу проглотил.
А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа.

«До ежа это он нарочно дочитал», — подумала Маша, а маленькая Ирочка перебила чтеца:

— Конечно, мы знаем эти стихи. Давно знаем. Их Корней Чур... нет, не Чур... Ах да, вспомнила: Корней Чуковский написал. Там простой воробышек тараканище это склюнул!

— Ну, насчет птиц мы все продумали. Это нами учтено, — важно надул щеки Тыковкин. — Ни одной птицы не осталось, все гнезда мы разорили. Так что с этой стороны опасность нам не грозит, нет.

— А вдруг, как и в стихах, воробышек возьмет и прилетит «из-за кусточка, из-за синего лесочка»? — не унималась Ирочка.

— Ты всегда была глупой куклой, Ира! — оборвала ее сердито Элиза. — Слушай лучше, что дядя Тыковкин говорит. А то у тебя как были кукольные мозги, так кукольными и остались!

— Замолчи сейчас же, Элиза! Ты от страха совсем разум потеряла, и тут же с твоего языка всякое плохое полезло, — укорила Маша красавицу-подружку.

— Нет, она правильная девочка! — похвалил Элизу Советник. — Она мне мою жену Мотьку, Агафонову дочь, напоминает. Та такая же бессовестная. На любое добро всегда подлостью ответит. А к Элизе я, стало быть, угадчиво тогда явился, когда Агафон меня на своем мотоцикле в Машкин двор подбросил. Интуиция!..

— Ладно, — кивнул, помедлив, Тыковкин, — за это и зарплату высокую получаешь. Но не забегай вперед, не думай, что умнее меня. Не забывайся!

Мерзин побледнел, задрожал и шепнул:

— Я и сейчас как лучше хотел. Только интуиция подвела...

— Уже не сержусь, — смиловился Нолик, — и буду краток. Люди не зря говорят, что краткость — сестра таланта. А я не просто талант, я, пожалуй, гений. И потому хочу быть везде главным. Как вы все знаете, тараканы давно и упорно воюют с людьми за свое существование. Кто кого победит? Пока неясно. Вы спросите, на чьей я стороне? Здесь я атаман тараканьего войска, их господин и повелитель. Но, разумеется, не случайно мое семейство так упорно **выбивалось в люди**. И я хотел бы и среди людей стать самым важным. Возможно, королем или императором. Тогда все закончится миром.

Вот для этого и нужна мне, Маша, твоя помощь. Пустяковая, но все же... Надо кое-что **стараканить**. А чтобы ты поняла, что я не шучу, я покажу тебе мощь тараканьего войска.

— Да видала я ее, эту вашу мощь, — презрительно сморщилась Маша. — И плакаты, и игры в стакан, и деток **руконогих**, у которых руки как ноги, а ноги как руки. Все разглядела.

— Что ж, почти верно заметила. Но почти. Даже про этих **руконогих**, как ты их назвала, ты не все знаешь! — важно возразил тараканий атаман Тыковкин. — Это ведь оборотни, из которых и получаются настоящие **тараканьи люди** — по виду люди, а на деле, конечно, тараканы. У них со временем две лишние **руконоги** отмирают, передние становятся руками, а задние — ногами. Ты когда-нибудь видела головастиков? Рождаются они рыбками, а потом, взрослея, превращаются в лягушек. Так и эти: рождаются тараканами, но с возрастом обретают человеческий облик. Но у меня не только они. Я вас главное войско смотреть повезу. Правда, без машины там не проберешься: потоки грязи, завалы мусора...

— Где **там**? — не поняла Маша.

— Как **где**? — удивился ее непонятливости Нолик. — Где тараканы живут. В щелях, на чердаках, под плитусами, под обоями, в мусоропроводе. **Была бы изба, а тараканы найдутся**. Но для моей машины везде дорога есть.

Тыковкин опять надул щеки, стал совсем круглым и произнес дурацкие стишки, которые оказались на самом деле чародейным заклинанием:

Надо сделать очень просто —
Всем уменьшиться раз во сто!
Ну, машина атамана,
Стань не больше таракана!
Превращенье начинай!
В щель любую заезжай!

И тут Маша увидела, как на нее стремительно опускается крыша тыковкиного авто. Она захотела сжаться в комок и вдруг почувствовала, что сама становится меньше, меньше, еще меньше, просто до невозможности маленькой, наверно, меньше горошинки или даже бусинки. Нет, горошинкой стала машина, а все внутри нее оказались совсем крохотулечками. За окном все моментально изменилось, вдруг с Машиной стороны, закрывая свет. С трудом догадалась девочка, что это просто-напросто травинка, раньше росшая рядом с колесом. Узкая, еле заметная трещинка в стене дома теперь выгля-

дела огромной и глубокой расщелиной, в которую не только легко-
вушка, но и грузовик мог заехать.

Сестренка Ирочка и красавица Элиза сидели, ухватив друг дружку за руки. Обе испуганно и вопросительно смотрели на Машу. Ирочка не храбрилась, а Элиза не скандалила и не подличала. И вот машина зафырчала и нырнула в асфальтовую щель, по извивам этой щели покатила и въехала в трещину, начинавшуюся от самого фундамента дома. Стало темно.

– Сейчас еще темнее будет, – прозвучал довольный голос Тыковкина. – А фары включать нельзя, а то всех распугаем. Тараканы предпочитают мрак и темноту. Под покровом тьмы им безопаснее. Не случайно их главное военное стойбище называется **Тьмутаракань**. Если победят, то повсюду мрак настанет. Уж они постараются. Хочешь ли ты этого, Машенька?

– Нет, ни за что!

– Тогда думай своей тыквой, **обтаракань** как следует мои слова. И сообрази, как мне, Нолику Тыковкину, среди людей Главным сделаться. Впрочем, я сам знаю, как. Ты только должна мне помочь мой заказ выполнить. А теперь вперед! Чем дальше проедем, тем больше увидишь и поймешь!

– Как же я увижу в темноте-то?..

– Вот именно, – слабым голоском поддакнула Ирочка.

– А я глазки свои закрою, и мне все равно – есть темнота или нет! Славно господин Тыковкин придумал! Я буду красивые сны видеть, как мне все дарят подарки! – воскликнула Элиза.

– Гм, – хмыкнул Нолик. – Стоп машина! И вправду, как же они тараканий парад смотреть-то будут?! Все ты, Евсейка, виноват! Со всем у тебя не тыква, а бестолковка на плечах. Еще Советником называешься! Недодумал, что у людишек по-другому зрение устроено. Привык на все тараканьими глазами смотреть!..

– Как-то недотумкал, **недотараканил**, – виноватился усатенький Мерзин. – Но им ведь и рассказать можно.

– Рассказ – не показ, – досадливо ответил Тыковкин. – Попробуй, однако, что же делать!



Глава шестая

Контора таракана

Но Маше уже надоели эти страшилки. И сидеть в темноте тоже было не очень-то приятно. Да к тому же она окончательно поняла, кто этот **Нолик Тыковкин**. Похоже, именно о нем говорили папа и Эрнест Яковлевич. Только немного иначе его называли.

— Хорошо, хорошо, вы расскажете, а мы послушаем. Хотя я уже поняла, что вы нас просто застрашать хотите. Пожалуйста. Считайте, что мы ужас как напуганы! — быстро проговорила она, не давая Мерзину и слова вставить. — Но мы хотели бы понять, почему Тыковкин себя сам называет **Нолик**, а папа говорил, что его **Толиком** зовут?

— Это в людском мире я Толик, — буркнул раздраженно в ответ Тыковкин, — а настоящее, родовое мое имя — Нолик.

– А, понимаю, – засмеялась оскорбительно Маша. – Это потому, что вы надутый и круглый, как тыква. И ничего не значите, как ноль.

– Что ты, что ты! – забормотал испуганно Советник. – Наоборот, ноль – это самая важная цифра. Она сразу любое число в десять раз увеличивает.

– Но все равно без других цифр **ноль есть ноль, и ничего больше!** – упрямо настаивала Маша. – А если поставить его **перед** цифрой, то он ее в десять раз **уменьшит**. Но ведь Тыковкин и хочет **вперед** **всех** стоять. Наверно, чтобы всех уменьшить.

– Нет, девочка, нет, ты не права. Ты слишком плохо знаешь нашего Нолика, – отстаивал своего атамана и правителя Мерзин. – Он, к примеру, тонкий ценитель искусства. И когда победит, будет художникам и поэтам покровительствовать. Про него уже и сейчас стихи сочиняют.

И, закатив глаза кверху, Евсейка провыл стишок:

О вы, нули мои и нолики, Я вас любил, я вас люблю!

Скорей лечитесь, меланхолики, Прикосновением к нулю!

Когда умру, то не кладите, Не покупайте мне венки,

А лучше нолик положите На мой печальный бугорок.

– Ну и что? – спросила Маша. – Стишок-то насмешливый. И потом позвольте поинтересоваться: не рассказ ли это о том, как Нолик или его отец поэта до смерти довели?..

– Как смеешь ты так говорить?! – возопил Тыковкин. – Я заслужил право на любовь людей! Ведь я собираюсь быть для них как добрый и справедливый родитель. Конечно, когда власть получу. Но многие уже теперь это мое желание ценят. И даже теперь рады мне служить.

– Не могу представить себе нормального человека, который был бы на стороне тараканов, – брезгливо поджала губы Маша.

Советник Евсей и Тыковкин переглянулись и самодовольно заулыбались, потирая руки.

– Вот тут твоя ошибочка, моя дорогая! – радостно, слегка гундосым голосом откликнулся Мерзин. – Есть такие люди! И было бы странно, если бы их не было. Их очень даже немало! Всякий грязнуля, пачкун, ябедник и подлец всегда на нашей стороне.

– Дело в том, девочка, что тараканы человека по-особому победят. Они его вытеснят. Займут его место. Человеку противно станет среди тараканьего сброда существовать, он и сбежит. На другую планету. Или вымрет. А те из людей, которые захотят с тараканами ужиться, те, конечно, начнут приспосабливаться. Ну и пусть их! Какая разница! Будут жить, как и тараканы, в грязи, в отбросах, в помойке: им же все равно.

– А у моей, то есть у нашей с Ирой мамы везде чисто, и...

В этот момент четыре огромных таракана, грозно и хищно шевеля усами, остановились у окон машины и уставились на девочек. Они щелкали громадными клыками. Маша и не подозревала, что тараканы могут быть такими жуткими. Но сразу невольно вспомнила слова из сказки Чуковского:

...А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!..»

Она посмотрела на дрожащих девочек, как смотрели матери на своих деток, не желая, чтобы «несытое чучело бедную крошку замучило!». Ведь она же старшая и, значит, вместо мамы!

– А ну, поехали отсюда! – крикнула она Тыковкину.

– Что, страшно стало тебе, девица, страшно тебе, милая? – обрадовался **атаман тараканьего войска**.

– Не ваше дело! Но это очень плохой поступок – пугать детей. Если вы хотите быть хорошим, то отдайте приказ вашим тараканам убраться или уводите отсюда машину! – настаивала Маша.

– В темноте, да в щели асфальта, да став меньше таракана, да когда тараканы-разбойники в окна заглядывают – невесело сидеть, а? – продолжал издеваться Тыковкин. – Мне, например, интересно, что вы дальше делать будете, как меня о пощаде запросите. А я вот возьму и вас из машины выгоню, чтобы посмотреть, какую из вас первой тараканы на клочки разорвут... Забавно! И родители вас даже не хватятся. Ты на это, Маша, даже не надейся. В тараканском мире могут недели и месяцы пройти, а в человеческом все та же минута длится. Поняла?

– Поняла, – растерялась Маша.

– Стало быть, поймешь, что я не злой, а просто весельчак. И пришла пора пошутить. Сейчас я нажму кнопку, дверь откроется, и вы пойдете на все четыре стороны. Пока вас мои таракашки клыкастые не сожрут. Что, не хотите? Бойтесь?

– Я слышала про одну девочку, – выкрикнула в ответ Ира, – ее Ниночкой звали. Так она ничего не боялась. А мы ее подружки! Она даже какого-то Тыковкина побила. Может, тебя? Давай открывай дверь! Я первая пойду.

Пухлощекий правитель аж побагровел от злости, нажал какую-то кнопку, и дверь со стороны Маши распахнулась. Заглядывавший в окно таракан отскочил и спрятался в темную дыру-пещеру в стене

дома. Ирочка, отпихнув вцепившуюся в нее Элизу, полезла через Машу к выходу. Но та остановила ее:

– Нет-нет, первая я пойду.

Маша повернулась и стала спускать из машины ноги, чтобы встать на землю. Делала она это медленно, зорко поглядывая по сторонам, опасаясь тараканьего нападения. И вдруг почувствовала, что ноги ее растут, уже упираются ей в подбородок. Но только она сообразила, что надо ей выскочить из машины и тогда колдовство кончится и она станет обычного роста, как Тыковкин это тоже понял и рывкнул:

– А ну, назад в машину! Живо!

Маша от неожиданности подчинилась этому приказу, и сейчас же дверь захлопнулась, а ноги девочки стали снова крошечными, как и вся она. Тыковкин облегченно вздохнул.

– А ты, оказывается, отчаянная! Не удалось тебя на испуг взять, – удивился он. – И секрет разгадала. Да-да, только внутри машины и вместе с машиной можно уменьшиться. А снаружи все опять большими делаются.

– Вы опять будете заклинание произносить? – спросила Маша.

– Некогда. У меня все на автоматике, зарубежная техника, папахи в свое время из-за границы понавез. В тот раз стишки читал, чтобы ты мое могущество почувствовала.

Тыковкин дернул какой-то рычажок, и машина, и все сидевшие в ней приобрели свой обычный вид. Автомобиль, урча, покотился мимо первой серой пятиэтажки, мимо детской площадки, где подростки продолжали свои упражнения, а Агафон с дружкой все так же пил пиво, и свернул за угол. Перед ними оказался торец второго серого дома, а в торце дома лесенка с перилами, маленькая площадка на верху лестницы и дверь. На двери табличка: КОНТОРА ТАРАКАНА.

– Сейчас мы выйдем и сюда зайдем, – остановив машину, сказал жестким голосом Нолик. – Только зря вы по сторонам оглядываетесь! Куда вы денетесь?! Маша ведь помнит, что Ежик у меня в плену, в моей, так сказать, полной власти. И Маша не захочет ему хуже сделать. Поэтому она даст мне сейчас честное слово, что даже не попытается бежать.

– Даю мое Машино честное слово.

– Вот и хорошо. Ты уже становишься послушной, – криво усмехнулся **правитель** и открыл дверь.

– А я бы честного слова не давала, – шепнула Ирочка, вылезая следом за Машей, а за ней, поскуливая от страха, Элиза.

Тыковкин, не оборачиваясь, принялся подниматься по ступенькам. Девочки тоже двинулись наверх, к конторе. Советник Евсей

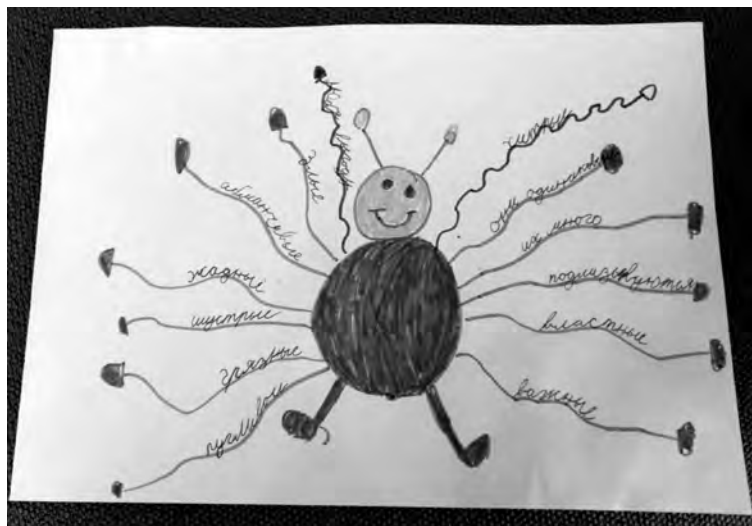
следовал за ними. «Все же не доверяют, — подумала Маша. — Бояться, что повернемся мы и сбежим».

Они вошли в небольшую прихожую. Ее стены были выкрашены в белый цвет. В углу стояло знамя, на его черном полотнище красовался растопыривший шесть лапок золотой таракан, над ним — корона. Вдоль стен девочки увидели длинные деревянные лавки без спинок. На лавках сидели люди, похожие на тех, кого они встретили на лесной площадке. «Наверно, тоже руконогие, — решила Маша. — Сколько же этих тараканьих людей!..» — удивилась она. По стенам и по потолку прогуливалось несколько очень крупных тараканов. Заметив вошедших, они остановились и вопросительно на них уставились. Помещение напоминало закуток перед кабинетом врача, где больные ждут своей очереди. Однако, в отличие от говорливой врачебной очереди, здесь молчали, ни слова не произносили, словно боялись, что их кто-то услышит. «Тараканов опасаются, — вдруг догадалась Маша. — Тараканы за ними следить приставлены». Увидев Тыковкина, посетители бросились к нему, размахивая какими-то бумажками, но молча. Нолик досадливо махнул рукой, улыбку при этом изобразив приветливую.

— Рад вас всех видеть. Только я сейчас занят. Вот Советник в три минуты все ваши проблемы решит, а потом мне доложит.

Он распахнул обшитую коричневой кожей дверь в свой кабинет и на сей раз пропустил девочек вперед себя. Дверь прикрыл плотно. Длинный узкий коридор, похожий на щель в стене, привел их в просторную комнату. Вдоль одной стены стоял широкий диван с мягкими подушками, вдоль другой — три стеклянных шкафа с папками и книгами. Перед ними несколько стульев. На стульях притулились три человека с большими оттопыренными ушами. Но, похоже — так Маша почувствовала — это были не руконогие, а обыкновенные люди. Увидев девочек, они почему-то прикрыли свои лица: двое — газетой «ТАРАКАНИЙ ПОРЯДОК», а один — просто руками. Над шкафами висел в золоченой раме портрет Нолика Тыковкина с **орденом Таракана** на груди и с книгой в руке. Причем книга очень походила на ту, что папа прятал в запертый ящик стола.

На другой стене — напротив портрета Тыковкина — была картина в простой деревянной раме. Картина изображала таракана с черным знаменем в лапках. Знамя он водружал на горе мусора, а у подножия этой горы копошились в отбросах и объедках мелкие человечки. Картина называлась «ТРИУМФ ТАРАКАНА».



Таракан в изображении внука Тилля

И вдруг Маша припомнила, что совсем недавно дома, перед обедом, увидела она в зеркальце над своей постелью как будто бы похожую картину, изображавшую таракана. И еще что-то... Точно! Под картиной находился письменный стол, а от него перпендикулярно отходил другой, очень длинный и устроенный так, что ближний край выглядел выше, чем тот, у которого стояли девочки. Поэтому должны они были – по хитрому замыслу Тыковкина – чувствовать себя растерянными, ниже его. Да, именно эта комната показалась ей в зеркале. А что сказал ей тогда Ежик? Он сказал, чтобы она не боялась. «Где он сейчас, мой принц? Увы! Он не защитит меня. Теперь его самого спасать надо!»

Направо от широкого дивана находилась стеклянная дверь, из-за которой вдруг донеслось громкое хрюканье. Девочкам стало любопытно, и они подошли посмотреть. Сквозь стекло увидели они хлев с грязной и мокрой соломенной подстилкой, посередине него большое корыто с налитой в него примерно на треть какой-то мутной похлебкой. Около корыта – пять свиней: две блаженно отвалились и потягивались на соломе, а три еще продолжали чавкать, пожирая содержимое.

– Свинарник мой рассматриваете? – услышали они сзади голос Тыковкина. – Дед Ворчун расстарался, наш сторож вивария. Из самых толстых тараканов замечательную породу свиней вывел. Знает, что люблю я свининкой побаловаться.

При звуке его голоса девочки повернулись, а трое сидевших встали, по-прежнему прикрывая свои физиономии.

— Сидите, — разрешил **начальник конторы**. — И морды свои можете открыть. Никому они здесь не интересны. А девицы эти либо будут за нас, либо вообще не выйдут отсюда. Поэтому — **во имя Таракана** — я сейчас с ними побеседую.

И Тыковкин, усевшись в кресло, стал рыться в каких-то бумагах у себя на столе. Затем, отложив несколько бумажек в сторону, раздраженно сказал:

— А ну-ка, пройдите к тому краю стола, чтобы я мог на вас сверху вниз посмотреть. Вот так. Теперь можете взять стулья и сесть. Я про вас многое знаю. Знаете, кто с вами в одной комнате находится? Шпиончики мои, великие **слухачи!** Они все, что видят и слышат, мне рассказывают. Верят в мою победу. Мы, Тыковкины, испокон века начальниками были. Но я хочу стать властителем всего мира. Я буду великим королем... — Он приостановился, будто задумался, а потом вдруг воскликнул: — А тебя, Маша, если ты мне поможешь, я со временем сделаю королевой, женюсь на тебе. Пока же, в знак нашего будущего супружества, подарю я тебе золотое кольцо.

— Мне не надо! — отвернулась презрительно девочка.

— Ой, какое красивое! — оживилась Элиза. — Подарите его мне.

— Это кольцо заслужить надо! — важно произнес Тыковкин. — И я уверен, что Маша его заслужит. Я по ее глазам вижу, что она — разумная девочка.

В дверях раздались чьи-то поспешные шаги. Вошел, почти вбежал улыбающийся Советник.

— Всех прогнал! — сообщил он Тыковкину.

— Поработал, значит, — иронически усмехнулся тот. — Просителей разогнал. И доволен собой. А хорошо ли это? Ладно, не пугайся. Все правильно сделал. Теперь прочь поди. Хотя нет, останься. Может, пригодиться. Вон с ними рядом посиди. Да не с девчонками! А с теми тремя, со слухачами нашими. Ты там лучше смотришься.

И Советник Евсейка уселся, куда ему было приказано. Очень он был похож на слухачей: с такими же усиками под носом и таким же преданным взглядом. Хотя выглядел все же посмышленее.

А Тыковкин снова обратился к Маше:

— Ты подумай получше. Как следует подумай. О встрече с таким принцем, вернее, с таким королем, как я, мечтает каждая девочка, — говоря это, он погладил себя сам по волосам и пухлым щечкам.

Маша закрыла глаза. И в голове у нее зазвучали слова:

Мы по реке плывем,
Нам хорошо вдвоем...

— У меня уже есть принц! — твердо сказала она.

— У Маши все есть! — подхватила Ирочка. — Ей от тебя ничего не надо! Это и ежу понятно.

— Ты, кукла, помолчи! Про этого сомнительного принца я уже слышал. Но непонятно даже, уцелеет ли он. Впрочем, конечно, уцелеет, если Маша мне поможет. Тем более что и просьба моя очень понятная. И несложная. Да и лучше королевой стать, чем служанкой у сторожа вивария. Спать на золе, в грязи, пишу ему варить, ловить для него жаб да лягушек. Уж про любимых его змеек и не говорю. Да ты, Машенька, не пугайся...

Он похрустел пальцами. А потом произнес, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Мне всего-навсего нужна та Книга, в которую твой папаша свои наблюдения записывает. Что в этой Книге написано, то и правда, то и сбывается. Я знаю. Я бы туда биографию своих предков внес и свои бы намерения и желания зафиксировал. Чтобы они исполнились. Ты **растаракань** мозгами хорошенько. Неужели ты не сможешь принести мне эту Книгу, которая у твоего папаши в запертом ящике стола хранится? Видишь, я и это знаю, мне и об этом донесли. Но ни я, ни слуги мои выкрасть ее сами не могут. Заклятие на ней. Ее мне может только кто-нибудь из домашних по доброй воле передать. — Тыковкин в задумчивости потер переносицу. — Кстати, не откажусь ее и из рук самого твоего папаши принять. Я его тогда **Великим Таракантором** назначу. Хотя не отдаст, не захочет. Воображает, что великое дело делает. Что видит, то и пишет. Никакой фантазии! Сочинять не умеет. А я напишу, **что должно быть**. Как я устрою свое королевство и как буду им управлять.

— И у вас ничего не получится! — быстро и радостно возразила Маша. — Папа говорит, что в нее можно только правду записывать.

— А это и будет правда! — заулыбался Тыковкин. — То, что я хочу, — это и есть правда. Я напишу, и мои слова обернутся правдой, станут действительностью. Поняла? И у тебя есть выбор. Или ты приносишь Книгу, или я объявляю тараканье наступление, а уж Ежику твоему скорее всех конец придет...

В комнате все притихли. Что она ответит? Ясно, что Тыковкин уже не шутит. Маша наморщила лоб, делая вид, что размышляет над его словами. Она знала, что не должен **тараканий атаман** эту Книгу получить. Но как сделать, чтоб Ежика при этом спасти и тараканьего нашествия не допустить?

И Маша придумала.

– Значит, – спросила она, – вы получите Книгу и напишете в ней: **чур**, я буду главный, **чур**, все будет по-моему. Так?

Тыковкин вздрогнул.

– Ты что! Ты что! – вжал он голову в плечи. – Не произноси этого слова. Впрочем, ладно. Все равно тебя отсюда Чур не услышит. А вообще-то он очень страшный! У-у! Лохматый, мхом зарос и корявый, как дерево. Что, хорош портрет? Или неточный? Тогда добавлю: он старый и никого не любит. Опять не так?.. А все же поверь, что Чур – это весьма скверное существо. Правда, давно еще Карачун его одолел. Двенадцать лет Чур твой в сталинских лагерях протрубил. Потом под амнистию попал. На свободу вышел. И на время след его пропал. Затерялся он среди простых людишек. Угадал? Я тебя не расспрашиваю, ибо для меня не тайна, что он твой знакомец. Но скажу честно: зря на него рассчитываешь. Он может и в гости ходить, и сласти носить, даже самую важную Книгу подарить, но... Что толку вашей семейке от дружбы с Чуром? Богаче вы не стали, знатнее тоже. Он своему другу-человечку никогда не поможет. Пусть тот, дескать, сам старается. Слишком этот Чур серьезный и добродетельный. Не то что мы с Карачуном – веселые ребята! Все делаем с усмешкой да с ужимкой. И всегда вместе, артельно, коллективно. А он всегда сам по себе. Да к тому же раз он тебя не остерег по колдовской дороге не ходить, значит, силу потерял! Но все равно даже вспоминать о нем мне противно! Нет, его имени я в Книгу вписывать не буду. На всякий случай. Ну его! Не надейся даже.

– А вы не надейтесь, что я вам папину Книгу принесу. Я это не смогу сделать.

– Да это же пустяк! Подольстишься, в щеку поцелуешь – он и размякнет. А ты ключ у него из кармана-то – цоп! А потом уже дело техники. Уйдет он из дома, ты Книгу вытащишь – и ко мне! – И Нолик в предвкушении удачи потер руки.

– Вы меня неправильно поняли. Я это потому не сумею, что не люблю и не хочу поступать по-подлому. А то, что вы мне советуете, – это обман и подлость. И, чур, я никогда не буду так делать! А уж если «чур» говорят, то слову этому ни за что не изменяют.

– Опять ты про Чура! Я же просил тебя! А что касается подлости, то это такая ерунда! Ее все делают. Стоит себе только один раз разрешить, дальше это в привычку войдет – подличать-то...

Тыковкина перебил Советник:

– Позволь, Нолик, мне ей объяснить... Подлость совершить, дорогая моя Машенька, всегда легко и приятно. Это как-то освежает. Сделаешь подлость и чувствуешь тут же, что ты всех остальных луч-

ше и сильнее. Потому что не они тебе, а ты им подлость учинил, а значит — опередил.

— Вы глупости нарочно говорите? — спросила Маша. — Человек не должен быть плохим, плохим быть стыдно.

— И вовсе не стыдно! — горделиво возразил Мерзин.

— Вот мы тебя и проверим, — усмехнулся вдруг Нолик. — Ты собственным примером все и докажешь. А то все перебиваешь меня, умнее Тыковкина хочешь казаться. Вот и будешь у нас сейчас умницей. Да я и Маше обещал тебя наказать.

— Что ты, Нолик, разве я умный! Это ты...

— Умный! Умный! Вот и лезь под диван. А оттуда кричи, из-под дивана: «Я — умница-разумница!» Да громко кричи! Не вздумай шептать. Ну!

— Но ведь я — Советник! — зашебуршился тот. — Не надо так со мной при посторонних! Прошу тебя! Давай лучше потом, наедине. Я тогда что хочешь крикну.

— Вот и хорошо, что Советник. Пример покажешь. У людишек есть неплохая поговорка: **бей своих, чтобы чужие боялись**. Ее и не грех перенять. И свое место тоже знай! — был насмешливо-неумолим Нолик. — Ну! По-тараканьи — шмыг, и готово. Недаром говорят, что **подлость на тараканьих ножках ходит**.

Улыбнувшись тогда добродушно, будто все, что говорил Тыковкин, это милая шутка, будто так и надо, будто по своей воле он туда лезет, Мерзин встал на четвереньки, потом распластался и ползком удивительно быстро скользнул под диван и прокричал трижды:

— Я умница-разумница! Я умница-разумница! Я умница-разумница! Ну как, Нолик? Хорошо получилось?

Почти все рассмеялись. Элиза даже в ладоши захлопала, так это забавно выглядело. Но Маша нахмурилась:

— Зачем вы его унижаете?

— Фу-ты ну-ты! Какая ты у нас серьезная! Это же шутка. Да все ваши цари над своими подданными шутки шутили, на кол сажали, в кипятке варили, а те смеялись и царей прославляли. Я знаю, я читал об этом, — возразил Тыковкин. — А я чем хуже! Ну-ка, Евсей-прохиндей, еще раз крикни! Да хрюкни.

— Я умница-разумница! — послушно выкрикнул Советник. А потом и захрюкал.

— И вы, видя это, должны наконец понять, что и вам от меня пощады не дожидаться. Вы мою натуру теперь знаете. Мне никого не жалко. Последний раз, Маша, тебе предлагаю свою руку и звание королевы, пока я тебя девкой Чернавкой, Золушкой, прислужницей к самому Карачуну не определил!

Ирочка открыла рот, чтобы наперекор что-то сказать, но ее опередила Элиза. Похоже, что бояться она перестала. Ее глазки сверкали, личико разругалось. Она с восторгом смотрела на вставшего из-за стола и еще больше возвысившегося над девочками Тыковкина.

И Элиза решилась. Она широко раскрыла свои большие голубые глазки, поправила рукой кудряшки и сказала:

— А давайте я вам помогу. Я ведь тоже девочка и хочу стать королевой... Книгу Машкиного папы я, конечно, сумею стащить и вам принести. Он мне доверяет. Я ведь бывшая кукла и, стало быть, из его **домашних**. А вы за это на мне женитесь. И я буду всеми повелевать. Только пусть Машка будет у меня служанкой, девкой Чернавкой, как вы ее назвали. А Ирку мы руконогим отдадим. Потому что она нам вред какой-нибудь причинить может.

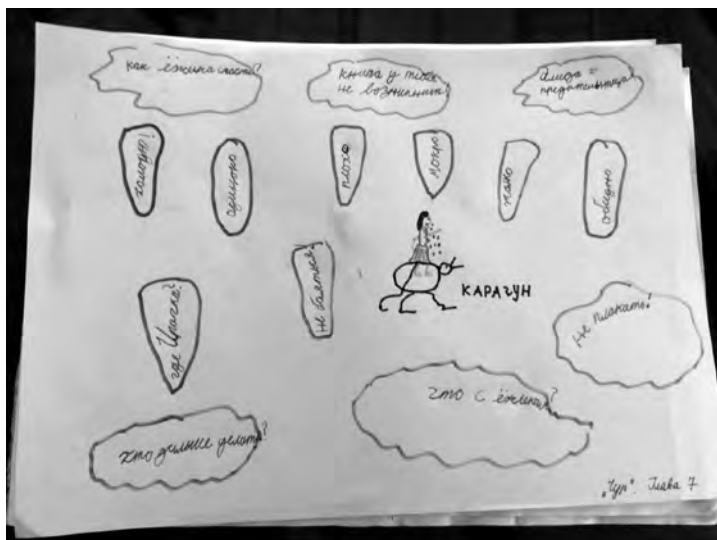
Глава седьмая

Дед Ворчун, старик Карачун

— **В**от такие девочки мне нравятся! Ты, Машутка, у Элизы-то поучись, как себя вести! — возник внезапно голос, тонкий, пронзительный, как у звонкого болотного комара. — Bravo, bravo, Элизочка! Дедушке Ворчуну твои речи по нраву да по сердцу. Ты еще до того, как куклой стала, подавала надежды. Но и в куклах не потерялась, к Маше в дом попала, в подружки выбилась. Я знаю, знаю, что ты о прошлом-то своем ничего не помнишь. Не помнишь — и не надо. Тебя твоя судьба сама сквозь все превращения ведет. И за твои заслуги — вот тебе бутерброд со свининкой, сладкого чаю да шоколадок парочку.

Маша и Ира резко повернулись, чтобы увидеть говорившего.

И вздрогнули невольно. Это был какой-то страшный старик: череп бритый налысо, но на макушке болталась жидкая длинная кисточка волос, такая же кисточка свисала из середины подбородка, а глазки синие-синие, как вода в обманном болоте. Несмотря на тепло, одет он был в ватную куртку, ватные штаны и резиновые охотничьи сапоги с застежками выше колен. Элизе он протянул свои подношения сразу тремя руками, причем третья рука росла из спины и казалась длиннее двух других.



Карачун в изображении внука Тилля

– Ты погляди только, – обратился он к Маше, причмокнув от удовольствия, – как подружка ваша Элиза бутерброды ест и чай пьет! И на вас никакого внимания не обращает. Будто и не знакома с вами. Да, такую никаким воспитанием, никакими хорошими словами, тем более никакими упреками не проймешь. Наш человек!..

– Она подлая предательница! – крикнула Ирочка. – Мы еще до нее доберемся и накажем. А уж дружить с такой – теперь ни за что!

«Как странно! – удивленно сказала себе Маша. – Неужели предательство совершается так просто? Еще сегодня утром друзья, а всего через несколько часов Элиза готова нас погубить, лишь бы подлизаться к тому, кто кажется ей самым значительным здесь. Так она и Ежика предала, обманула и отправила в неизвестность. А я тогда ее простила. Подумала, что она совершила это из любви ко мне. А на самом деле **не из любви, а из выгоды. И сейчас из выгоды. Кем же она была раньше?..** И возможно ли такое? Или это Карачун нарочно врет, чтобы нас запутать?..»

– Никакая она не предательница, – добродушно пояснил девочкам страшный Карачун. – Я-то про нее хорошо слышан. Она сыздавна привыкла служить и всегда была на стороне сильных. И сейчас она просто сменила начальника. А перед начальством надо уметь послушно и навтыжку стоять. Она вот и старается. Сама ест, а Нолику преданно в глаза заглядывает.

– Да ты-то, дед, садись. Не тебе передо мной стоять, – спохватился Тыковкин.

– Я и постоять могу, господин начальник, сила-то еще в ногах есть, – тонко-пронзительно хихикнул старик. – А не зря все-таки говорят, что **таракан есть одно из наиболее назойливых насекомых**. Ну чего они на дедушку уставились? Давно не видели? Я на них мигом управу найду! Пусть не радуются, что старичок присесть не решается.

– Ну что ты, что ты! Ты передо мной всегда сидеть можешь, – замахал рукой Нолик. И – тараканам: – А ну кыш! Тараканы заматались и через секунду исчезли.

– Кто это? – одновременно спросили Маша и Ира.

– Испугались наконец? – расцвел Тыковкин. – Это и есть наш сторож вивария, заведующий погодой, главный вивисектор, тараканий благодетель и тараканий палач, великий чародей – дед Ворчун, он же – старик Карачун.

– Вон оно что! – охнули девочки.

– Ну что, старик, к делу? – спросил Нолик Тыковкин. – Все как будто понятно. Отправляем за книгой Элизу. Так? Элизу, гм, – в королевы, а Машу – в Золушки! От послушной-то пользы больше будет... Одобряешь?

– На совет у тебя Советник есть. Он и из-под дивана твякнет, что надо. А я хочу послушать, что скажет папина дочка, Ежикова невеста... Она ведь, кажется, еще не ответила окончательно? – Голос старика стал ядовито-нежным.

– Я ответила! – гордо сказала Маша. – Могу повторить: нет. Ни за что! Никогда. Я уже сказала: **чур**, я буду смелая и, **чур**, Тыковкину помогать не буду.

– Маша никогда от своих слов не отказывается! – выкрикнула, захопав в ладоши, Ирочка.

– Значит, Машу – в Золушки?

– Правильно, так ей и надо! – подтвердила Элиза, облизывая измазанные в шоколаде пальцы. – У меня-то все получится, если Ирка мешать не будет. Ирку больше, чем Машу, надо изолировать. Или превратить во что-нибудь. Ваш этот Мерзоро прав. А то она все меня ругала и не давала подличать.

– Моя фамилия Мерзин, девочка, – недовольно поправил ее Советник Евсейка.

– Ой, извините, дяденька! – спохватилась Элиза, испугавшись, что она раньше времени заважничала, как королева.

А старик с пронзительным хохотом сказал:

– Да успокойся ты, Евсейка. Нашел на кого обижаться! А вот Ирка – это серьезно! Эта может помешать, может. Она и для Но-

лика опасна, не только для Элизы. Потому что, если не ошибаюсь, очень ей хочется на **Ниночку** из рассказов Машиного папаши походить — ту, что всегда хулигана Тыковкина побеждала. Помнишь, Нолик, такую? Ну, конечно, помнишь. Ты тогда мальчишкой был, все шкродничал, а она тебя укрощала. Откуда, правда, папаша Машин про нее разузнал, не могу в толк взять. Но не в том дело. Опасаюсь я, что, может, она и есть Ниночка, только, как и Элиза, прошлое свое забыла с тех пор, как куклой стала. А узнать про это точно не могу. Добрые души, увы, для меня закрыты, в них читать не умею. Но тем более... тем более надо ее приструнить как следует.

— А папа и про тебя рассказывал! — воскликнула громко Маша, чтобы отвлечь Карачуна от Ирочки. — Только я думала, что ты в горах живешь, а не здесь... А Ворчуном ты обманно назвался!

— Да ну тебя, девочка! Уморишь старичка со смеху. Какие уж у нас горы! В болотце перебиваться приходится. Вот Ежик твой — он точно из горной и лесистой страны сюда по глупости забрел. А мы его и поймали. Что же касается имени моего, то оно у меня разное: кому — дед Ворчун, а кому и старик Карачун. Для Элизы я Ворчун, а для Ежика твоего уж непременно Карачун. А кем с тобой быть — не решил пока.

Он пристально посмотрел своими ядовитыми голубыми маленькими глазками в Машины честные, ясные глаза, но Маша выдержала его взгляд. А про себя подумала, что, хоть и случайно она Карачуна на «ты» назвала, извиняться не будет.

Тыковкин, наморщив лоб, обратился к старику:

— Говорил же я, что папаша ее для нас опасен. Ведь все им записанное в Книгу — навсегда остается. Не хватало еще, чтобы он о моем происхождении и о связи с тараканством туда вставил! У меня среди людей солидное имя заработано. И пока есть шанс эту Книгу нам заполучить, я хотел бы в людском мнении быть примером и образцом **настоящего человека**. Хоть бы — **помогай нам Таракан** — не успел он ничего про меня в эту Книгу записать. Потом оттуда не вытравишь. А проклятый Чур мог ему о нас рассказать!.. А вдруг, старик, он туда и то, как тебя победить, написал? Вот ужас-то был бы!

— Ну уж, Нолик, ты загнул! Этого, кроме тебя, никто не ведает! — скривил губы в полуулыбке Карачун.

— Но я-то **молчу, как таракан!** Я ж с тобой одной веревочкой повязан. Ладно, не будем о грустном. Давай о приятном. В кого мы эту бывшую куклу Ирочку обратим?

— В жабу, полагаю я. В болоте ей самое место, пусть там сидит и квакает, раздувается, храбрость свою показывает, пока ее кто-нибудь не слопают.

И Карачун неспешно принялся наматывать на палец свою длинную бородавку.

— Вот уж лучше не придумашь! Молодец, дедушка Ворчун! — Элиза даже руками всплеснула от удовольствия.

— Что скажешь, Советник? — спросил Тыковкин. — Ты ж у нас умница-разумница!

Усатенький Мерзин на итальянский манер завел вверх глаза, сжал колени руками, потом голову вбок наклонил, глаза полуприкрыл, изображая задумчивость, и сказал:

— В принципе, я согласен. Но в этом варианте видится мне теперь и некая опасность. Не возмутит ли она болота?.. Ведь она очень вздорное существо. Может, лучше эту Ирочку обратить во что-то неодушевленное... Например, в метелку, которой Маша будет в жилище Карачуна пыль да золу разбрасывать. Мне кажется, и для Маши это будет дополнительным наказанием: знать, что грязная метелка в ее руках — бывшая, так сказать, сестренка.

— Соображаешь, когда хочешь! — похвалил его Тыковкин и обратился к колдуну: — Тебе, старик, решать.

— Вы не посмеете! — крикнула Маша и загородила собой сестренку. — Я сама... я сама вас заколдую!.. И превращу в этих... в противных тараканов! Чтоб все видели, кто вы!

Тыковкин рассмеялся:

— Ой, как испугала!

— Она не умеет колдовать, — успокоила его Элиза.

— А ты, предательница, не лезь! — снова крикнула Маша, чувствуя, что больше всех ей противна здесь Элиза.

И тогда неожиданно Ирочка вскочила на стул, со стула на стол, пробежала мимо Карачуна, прыгнула на подоконник, и оттуда последний раз в этот день зазвенел ее голосок:

— Маша, не бойся! Я еще вернусь! Мы их победим! — И ловко прыгнула с подоконника во двор.

— Эй, держите ее, хватайте ее! — растерянно залепетал Тыковкин, беспомощно размахивая руками.

— Да-да, — подхватил Советник. — Окно надо закрыть!

Маша тоже вскочила на стул и увидела, как Ирочка бегом, не оборачиваясь, скрылась в лесу, в темноте кустов и деревьев. Советник торопливо закрыл окно. Тыковкин мрачно смотрел в пол. Элиза хныкала.

— Ну, ничего, ничего, — сказал Карачун, — далеко не убежит. Все равно отсюда выхода нет. Утром по ее следам руконогих пустим.

Обозлившийся Тыковкин исподлобья оглядел всех, словно искал виноватого, потом постучал кулаком по столу:

— Что ж, что ж, пусть побегает! Пошады ей не будет, **клянусь Тараканом!** Такие шутки над ней пошучу, что наплачется.

Он подошел к стеклянной двери свинарника, открыл ее.

— Эй вы! Начавкались? Будет с вас. Выходите, дело есть.

Длинноухие слухачи, грязные, с повисшей на костюмах размокшей соломой, вошли в комнату.

— Отправьте ее в темную! — приказал Нолик, указывая на Машу. — Пусть посидит. А мы пока с нашей, так сказать, будущей королевой кое о чем поговорим.

И усатенькие, с мутными глазками слухачи послушно схватили девочку за плечи и потащили к одному из стеклянных шкафов с книгами. Шкаф и книги оказались не взаправдашными. Не то что у Маши дома! Один из тащивших нажал на блестящий гвоздь на верхней полке, и шкаф отъехал в сторону. За ним открылась темная крохотная комнатуха размером чуть больше гардероба. Машу втолкнули туда, шкаф встал на прежнее место, и девочка осталась в полной темноте. Да к этому еще беда — не одна! Вокруг кто-то ползал, шуршал, шелестел. Кто-то быстро пробежал по ее ноге, кто-то свалился ей на голову. Маша смахнула рукой свалившегося и догадалась, что окружена тараканами. Вначале ей стало страшно, но она затопала ногами и услышала разбежавшийся в разные стороны шорох. Это убегали тараканы. Они ее тоже боялись. Тогда Маша немножко успокоилась и принялась ждать, что же будет дальше. Тем более что стало ей интересно и любопытно. До нее доносился происходивший в комнате разговор. Говорил Тыковкин:

— Ну-с, будущая, гм, королева, ты поняла, что должна сделать? Повторяю: вернешься в Машин дом, снова куклой прикинешься, в комнату к ее папаше проникнешь... А когда он Книгу достанет и начнет в нее писать, ты ее прямо из рук у него выхватишь — и сюда! Я научу, как это сделать. Но не вздумай со мной шутки шутить и меня обманывать — например, **не ту книгу принести**. Здесь только я шучу! Поняла?

— А я сразу стану королевой, когда принесу то, что ты просишь? — настырничала Элиза.

— Ты не должна сомневаться в моих словах, кроха. Донеси только! Все тебе будет — и кофе, и какао, и чай с конфетами. И я, придет время, женюсь на тебе, — обещал **правитель**.

— Но миленький мой Нолик! — капризно и настойчиво, уже почти как королева, требовала Элиза. — Ты должен мне дать что-нибудь заранее. Хотя бы то золотое колечко, которое ты Машке обещал.

— Ишь ты, цепкая девчушка! — одобрил Карачун.

— Колечко-то ты получишь, без него никак не обойтись, — кивнул Тыковкин.

— И ты мне, — ободрилась похвалой и обещанием Элиза, — еще к нашей свадьбе должен подарить красивое белое платье, ожерелье, сережки, браслетики и колечки с красивыми камушками. Чтоб я их всегда носила. Ведь я своими ручками грязной работы делать не буду, на это у нас Золушка есть. И еще я хочу хрустальные туфельки. Мой принц станет самым богатым, он не какой-то там Ежик, у которого, кроме иголок, ничего нет. Я желаю самой красивенькой стать, чтобы ты мог мной гордиться!

Внезапно Маша услышала, как вдали, на улице, ударились о землю тяжелая капля, потом другая, потом капли застучали по оконному стеклу, а потом дробный стук сменился глухим обвальным грохотом. Маша поняла, что хлынул ливень. Сквозь шум дождя слышались, правда, по-прежнему частые удары в стекло, как бывает, когда идет не просто дождь, а с градом. «Бедная Ирочка, — подумала она, — ее до костей этот ливень проберет. Зато, — тут же утешила себя Маша, — он все следы смоеет, и никакие руконогие ее не найдут. И Элиза **воровать** не отправится».

Тыковкин, похоже, забеспокоился, насторожился, забурчал подозрительно:

— Зачем, дед, ты дождь напустил? Погодой ведь ты у нас распоряжаешься. Некстати это.

— Не я творил, — отрекся Карачун. — Еще кто-то...

— Чур? — дрогнул испугом голос Нолика.

— Вряд ли, — успокоил его старик. — Он давно уже в наши дела не вмешивается. Остыл. Успокоился. Никуда не лезет. Так что не нервничай. Бывает, что и сам по себе дождик пойдет. Зато грязи больше будет. Глядишь, и беглянку куклу водой к нам принесет. И искать не надо. Х-хе. Вот и ладно все выйдет!

Когда начался ливень, Элиза было притихла, но потом опять запричитала:

— Только под дождиком, тем более под таким, я никуда не пойду! Под таким дождем пускай девки Чернавки ходят, всякие Ирки да Машки. А я могу промокнуть!

— Тебе и не придется **идти**, — одернул ее Тыковкин. — Вот, держи золотое колечко. Наденешь его на мизинец и очутишься там, где пожелаешь. А когда Книгу схватишь, перебрось кольцо на безымянный — и снова здесь окажешься.

В этот момент, напуганные дождем, с потолка на Машу посыпались тараканы. Она отмахивалась, стряхивала их с себя. Постепенно тараканий дождь прекратился, противные насекомые по-

прятались в свои щели. И она снова смогла слышать, о чем говорят в комнате.

– Ну что ж, отправили нашу, так сказать, будущую королеву, **слава Таракану!** – сказал с надеждой в голосе Тыковкин. – Сумеет ли?..

– **Дай Таракан ей удачи,** – поддакнул Мерзин.

– А я полагаю, справится – шустрая девчущка! Всегда надежду подавала. Что теперь делать? Делать теперь нечего – отправили. **А от нечего делать и таракан на полати лезет.** Пора и нам расходиться... – донесся продолжительный зевок Карачуна.

«Неужели я здесь навсегда останусь? В этом чулане, в темноте, с тараканами, без еды и питья? – вдруг с ужасом подумала Маша. – Они ведь нарочно про меня забудут. Но я все равно не буду плакать и просить пощады. Потому что стыдно перед такими злыми унижаться. Ничего, потерплю. Мой Ежик тоже, наверно, терпит».

А Тыковкин тем временем подсчитывал:

– Если наша, так сказать, доблестная Элиза справится **там** со своей задачей, скажем, в течение часа, **здесь** все одно не меньше суток пройдет. Значит, раньше завтрашнего дня ее ждать не приходится. Так что старик прав. Можно вам и отдохнуть немного. Мне-то еще все равно работать придется. За всех вас думаю.

– А я, Нолик, пока под диваном сидел (кстати, спасибо тебе за это!), не без пользы там время провел, – прошуршал с хрипотцой Советник Евсейка. – Тоже кое-что придумал.

– Говори. Только короче, – оборвал его Тыковкин, – если сможешь, конечно.

– Ничего-ничего, пусть поговорит, – тоненьким своим голоском возразил Карачун.

– Так вот, – заторопился Мерзин, – я под диваном новый лозунг придумал. Очень действенный, мне кажется. И тараканьим массам доступный... Его тоже можно запустить. Послушай, Нолик, как звучит: **ИЗ ГРЯЗИ – В КНЯЗИ!** Ловко, а?

– Это ты про себя, что ли, в грязи валяясь, придумал? Или про слухачей наших, шпиончиков разлюбезных? – охлаждающе хмыкнул Тыковкин. – Всех, значит, в князья, а меня куда?.. Вам прислуживать?

– Что ты, Нолик, что ты!..

– Смотри у меня! А то слишком много прыти. Боюсь, как бы меня не обскакал. Ладно, не вешай нос. Я подумаю. Однако не самая это твоя большая удача, Советник. Сочиняй еще, работай, работай. Тебе за работу платят, а не за то, чтоб ты под диванами отлеживался. Давай, **таракань мозгами.** А теперь идите все прочь! Я сосредоточиться должен. Не волнуйтесь, Нолик за всех за вас постарается.

Такова уж у меня, у атамана вашего, обязанность — за всех решения принимать. Ну, вон отсюда! Некогда мне!

— Да ведь ливень какой!.. — осмелился было Евсейка.

— Ничего, не сахарные. Мокрые да грязные вы лучше смотрите! Сам же говоришь: ИЗ ГРЯЗИ — В КНЯЗИ. Вот и давайте в дождь да в грязь. До завтра. Может, Ирку где углядите... А ты, старик Карачун, останься. Нам еще с Машей надо разобраться.

Маша замерла, даже постаралась не дышать.

Когда за ушедшими хлопнула дверь, Тыковкин предложил:

— Думаю, тебе ее надо забрать. Не кричит она там, не плачет. Значит, тараканов не испугалась. Попробуй ее помуштровать, Золушкой сделать. **Надо ее нам подчинить.** Да не только угрозами и работой непосильной, а, знаешь, как в народе говорят, — **таской да лаской.** То ты добрый дедушка Ворчун, то грозный старик Карачун. Пусть в грязи поживет, к грязи привыкнет. Чтоб запачкалась вся до самого нутра. Да Ежика ей покажи, да вели ей мимо окна его зарешеченного с водой и едой ходить, а ему не давать. Приучай ее к гнусности да подлости! Как следует приучай! Вдруг у Элизы не получится, мы тогда Машку-замарашку пустим. Уж она лучше **скрадет-стараканит,** чем какая-то там Элиза.

«Ни за что в грязи ходить не буду! Ничего у вас не получится! — думала Маша. — Меня мама к чистоте приучила. А Ежика мне бы только увидеть! Уж мы бы придумали, как от вас убежать».

Но когда Карачун выдернул ее за руку из темницы в светлую комнату конторы, она ужаснулась: какой грязнулей и замарахой она стала всего за один час! Вся в пыли, в паутине, платьице запачкано известкой, сыпавшейся с потолка...

Тыковкин радостно рассмеялся:

— Ну и чушка! Вот начало и положено.

Вместо ответа, вырвавшись из лап Карачуна, Маша принялась усердно отчищать одежду, стряхивая с себя паутину и пристроившихся в складках платья тараканов. Но старик решительно сгреб ее двумя руками и перекинул через плечо, придерживая третьей. От него противно пахло болотом. Она попыталась отбиваться, лягаться, колотить кулачками по спине, но старик только пронзительно хихикал. И зашагал к двери — с Машей, висевшей у него через плечо. Пройдя прихожую, вышел на крыльцо. Дождь еще лил.

Карачун скинул девочку с плеч, поставил на ноги и приказал держаться за перила. Огляделся, подергал себя за бороденку.

— Эж разбушевалось! Где теперь слухачи-шпиончики и Евсейка-Советник — **один Таракан ведает!** — с удовольствием, тоненьким голоском пронзая шум дождя, протянул злой старик. — Надо пола-

гать, **карачун им пришел**. Хотя нет, эти не утонут — они легче воды. Вот Ирке твоей точно хана. Зря убегала. Старших надо слушать.

— Не всех! — сердито ответила Маша. — Только маму, только папу! А плохих не надо.

— А чего плохого я ей желал? — удивился Карачун. — Стала бы лягушкой да квакала в свое удовольствие. Никакой дождь не страшен. Потом ее, голубушку, кто-нибудь непременно бы слопал, может быть даже, я. Но пока бы пожила, в болоте побултыхалась. Тебя вот в воду бросить — небось, сразу потонешь!

Маша в испуге крепче вцепилась в перила, но возразила:

— Я плавать немного умею...

— Х-хе! Из такой стремнины не выплывешь. Ладно, не дрожи, это я шучу. Насчет тебя мне другое задание дадено. Пока я для тебя не злой старик Карачун, а дедушка Ворчун, **если слушаться меня будешь**. А теперь подумаем, как нам до хатки моей добраться. Один бы я и по воде пробежался... Ну да ничего, ничего. Сядешь мне на спину. И держись. Упадешь — пропадешь! Тогда уж я тебя не вытащу. Потому как, когда по воде идешь, о себе думать надо.

Он снял сапоги, размотал и стащил с ног длинные грязные портянки, сунул их в карман ватника. Сапоги связал и прицепил к поясу. Ступни у него оказались удивительно плоскими, как кухонные доски, на которых мама резала хлеб, овощи или мясо. Старик нагнулся, почти распластался, и Маша принуждена была влезть к нему на спину. Третьей рукой он подвинул ее так, чтобы ему было удобнее. Девочка ухватилась за воротник его набухшей от дождя ватной куртки.

Карачун перестал ее поддерживать. Он оперся одной рукой о воду, затем шагнул другой, потом ногой... И так, попеременно выкидывая вперед то руку, то ногу, зашагал по воде на своих пяти конечностях, как громадный жук-плавунец.

Под дождем Машино платьице сразу промокло, ноги ее болтались в воде, сандалики тут же размокли, потяжелели и еще через несколько карачуных шагов соскочили и мигом пошли на дно. Маша вскрикнула, но старик, конечно же, не остановился. Почему-то ей ужасно жалко стало своей обуви. И только теперь она до конца почувствовала, в какую беду попала. Всем здесь она чужая, все хотят причинить ей зло. Она храбро держала себя с Тыковкиным, не ныла. Но тогда надо было сопротивляться, чтобы противный Нолик не получил папину Книгу. А теперь, сидя на спине Карачуна, она горько заплакала, словно потеря сандаликов оказалась самой горькой неприятностью за этот день. Она плакала, слезы смешивались с дождем, а она все не могла остановиться. Карачун тем временем миновал потемневшие от влаги серые пятиэтажные дома,

потом водной гладью пересек то место, где располагалась игровая площадка для руконогих детей и подростков, и двинулся к виварию. Виварий стоял полузатопленный.

«Бедный мой Ежик Карлуша! Что с ним?» Маша сразу перестала плакать. Теперь после разговора с Тыковкиным она была уверена, что Ежика заточили именно сюда.

Вода поднялась примерно до середины железного забора, окружавшего это здание с синими железными дверями. Карачун уверенно подошел по воде к воротам, отомкнул и снял замок. Маша вдруг почувствовала, что Карачун стоит на чем-то твердом и своей третьей рукой стаскивает ее со спины.

Она оказалась на глиняной крыше той самой избушки посреди болота, которую раньше видела издали, из-за забора.

– Добрались, – сказал Карачун. – Часа через два все схлынет. Тогда тебе работа найдется. А пока обсохнуть надо и поесть что-нибудь. Дедушка Ворчун похлебочку сейчас сготовит. Вкусенькую! У меня здесь самый уютный домишко, со всеми припасами. Весь день по болоту-то намаешься, вечером в тепле у огонька посидеть хочется. Чего удивляешься?.. Как, дескать, в дом попадем?.. Попадем, в этом уж не сомневайся! У дедушки всюду ходы и выходы, но постороннему глазу их не видать. Волшебное слово для того имеется.

Он поднял вверх указательный палец и важно произнес:

– Сим-сим, откройся!

И точно, в крыше, неподалеку от трубы, отворилась дверка.

Но Маша не пошла к ней, даже в сторону отступила и воскликнула:

– Это же мое слово! Мы с папой так играли, когда я маленькой была! Он меня научил, если лифт долго не шел, сказать «сим-сим», и тот сразу приходил. Как будто я колдую. А ты наше слово подслушал и утащил!

– Это еще неизвестно, кто у кого. Прав Нолик: слишком много твой папаша про нас знает, даже слова волшебные, которыми я пользуюсь.

Он цепко ухватил Машу за руку, так что не вырваться, и повлек за собой к лазу в свой дом, в свое **логовище**. Едва они вступили на лестницу, спускающуюся вниз, как дверь за ними захлопнулась, стало темно. Но тут же загорелись свечи в подсвечниках, стоявших вдоль стен. И при этом дрожащем свете девочка смогла рассмотреть обиталище страшного старика.

Это была большая квадратная комната, совсем без окон, замусоренная и захламленная до безобразия. В дальнем углу стояла широкая русская печь с лежанкой, покрытой серым тряпьем. В центре комнаты – выложенный камнем очаг. Над ним на железном крюке висел большой медный котел, под котлом куча мокрых дров. Спу-

стившись к очагу, старик дунул, подняв облако золы и пыли, потом дыхнул пламенем, и дрова вспыхнули. Машины босые ноги утонули сразу в грязи и отбросах, покрывавших пол. По всей комнате были разбросаны куски угля, доски, ветки с пожухлыми листьями. А на нитках с потолка свисали сушеные змеиные головы.

— А вот я за похлебочку примусь, — бормотал Карачун, приплясывая перед огнем. — Водичка в котле запасена, а в бидончике еще и несколько жабочек осталось с головастиками, так мы их туда, туда. И десяток слизнячков в коробочке под камушком припрятано, и их туда же, в котел. А вот и гадючки болотные под ногами вертятся, как раз две штучки, для остроты, тоже в похлебку пойдут. И картошечки гнилой для сытости да для смаку. Из зелени я только лебеду признаю, вот охапку с утра нарвал. И ее в супчик. Славно-то все как получится! Налупимся до сытого брюха, и я спать лягу. А ты остатки-то на пол выльешь да золой сверху присыплешь, чтоб погрязнее было. А дело сделаешь — у очага в золе прикорнуть можешь. Утром Нолик к нам придет, пойдем твоего Ежика смотреть да дразнить. Что нос-то воро-тишь? Что тебе не по нраву, душечка? Или похлебка моя противна?

— Противна! — твердо сказала Маша. — И ты тоже.

— Ну вот! Не угодил! А ведь хотел угодить-то, — сделал изумлен-ный вид Карачун. — Что же, лягушачьей икрой тебя прикажешь кормить? Так это редкость, самому не всегда полакомиться удается. Ну, хочешь, погрызи свиную голову — свинку-то Нолик сожрал. Я ее для него из наитолстейшего таракана смастерил. Не хочешь — голо-дай тогда! Авось, сговорчивее станешь. Не случайно Нолик прика-зал тебя в черном теле да в грязи держать, если мне не подчинишься.

— А что ты так **Тыквочкина** боишься? — съязвила тогда Маша. — Ведь это ты его в тыкве вырастил, а потом из таракана в человека превратил.

— А тебе откуда известно? — охнул Карачун.

— Нам с папой и мамой **один человек** рассказал. По имени **Чур**.

— А папаша все это в **ту Книгу** записал?

— Наверно.

— Ах ты, **Таракан его побери!** — Карачун сцепил перед собой две руки, а третьей почесал в затылке. — Ну и что! Да, превратил! А те-перь, да, боюсь!.. Допустил ошибочку!.. Хотел какого-нибудь ред-костного подлеца сотворить, чтоб людишкам насолить да дурачку Чуру доказать, что Зло сильнее Добра. Ровесники мы с твоим Чу-ром, **вместе в школе Волшебства и Тайнознания учились**. Я ему на многих примерах не раз пытался показать, что Добро бессильно, что оно может только помогать и советы давать, а силой навязывать ни-чего не вправе. Вот и проигрывает всегда, ведь Зло активно. Добрый

никогда не нападет исподтишка, а злой по-другому не умеет — только тайком, только подло! Вот я такого и создал — без стыда и совести, да не одного, а целую семейку! Теперь ему служить приходится. Ну и что?! Ну и служу. Хочу и служу. И не хочу — все равно служу. Нолик умеет всех себе на службу поставить. И меня в том числе. Он, может, **тайну моей погибели знает**. Знает, где **та утка скрывается, в которой яйцо, а в яйце иголка с моей смертью**. Вернее, скрывалась. Теперь ее Нолик в своем сейфе держит.

— Это же у Кашея **иголка в яйце**, — вспомнила Маша.

— Кашей-то — старшенький мой братик был. Пропал голубчик. Все красавиц воровал да с витязями сражался — такой приткий! И золотишком баловался, в сундуках копил. А я — укромный, болотный, красавиц мне не надо. Если и попадется случайно какая-нибудь царевна, я ее в лягушку мигом — пусть в болоте бултыхается. Иной девице повезет — найдет своего принца, своего королевича, он ее и расколдует. А иную так за ужином и скушаю или в похлебочку пушу. И никто не узнает, никто со мной сражаться не полезет, а мне и хорошо, втихомолку-то. Да, а с Ноликом промашка вышла. Я его создал, а он меня превзошел. В подлости ему равных нет. Ну, это понятно: власти хочет. А до власти только подлец и добирается.

Его пронзительный голосок был такой же едкий и гадкий, как и кушанье, которое он готовил. Запах карачуньего супчика вызывал на глазах слезы. А старик, почесываясь попеременно тремя руками, продолжал болтать, длинной клюкой помешивать свое варево, изредка на пробу отхлебывая прямо из котла. Наконец, решив, что пища готова, дунул в очаг, гася огонь.

— Значит, не хочешь моей похлебочки отведать? А жаль. Она как лекарство. Съешь — и никакая грязь тебе не страшна. Она как бы частью тебя самой становится. Ты еще глупая и не понимаешь, что грязь да болото — основа жизни. Болото — оно вроде бы стоячее, но одновременно изменчивое и непостоянное. Совсем как я. Ну, например, сколько я раз кому слово ни даю, сколько ни обещаю — ни разу не сдержал и не выполнил. Скажем, пригласил я как-то дурачка Чура к себе — посидеть, молодость вспомнить, поговорить о том о сем, а сам его предал, сдал прямо в лапы папахена Нолика Тыковкина, а тот его в тюрьму засадил. Я и Ежика твоего сюда заманил, нашептал ему, что Нолик против тебя здесь козни строит, что я помогу ему их разрушить, он и прибежал. К тому же у него с Тыковкиными давние счеты. Он один раз Ноликового папахена **чуть не сдул**.

Опасаясь перебить его, чтобы не сменил старик тему и продолжил рассказ о Ежике, Маша все же не удержалась, спросила:

— Что значит «чуть не сдул?»

– Ну-у, это просто. Все эти оборотни руконогие гордятся, что они **как люди** стали, пыжатыся, раздуваются от важности. Но если их ежиной иголкой ткнуть, они мигом съежатыся и снова тараканами обратятся. А Тыковкины из руконогих самые важные. Вот твой Ежик в давние времена своей иголкой едва в старшего Тыковкина не попал! Но промахнулся, к счастью. Его тогда тыковкинская команда сумела скрутить. Хотели иголки из него повывергивать. Он, однако, из тюрьмы сбежал. Незадача вышла. А иголки ежиные нам и сейчас на всякий случай нужны. **Но не от всякого ежа они годятся. Только от принца.** Вдруг тараканам снова в щель надо будет забиться... Тогда без иголок никак! Вот я и ухитрился Ежа Карлушу под замок посадить, а следом за ним и ты прибежала своего принца искать. Вот я какой, деточка!.. Ладно, теперь на лежанку – и поспать чуток, пару-другую часиков. А ты – за дело!

Быстро перебирая пятью конечностями, Карачун взобрался на печь и через минуту пронзительно засвистел носом сонную мелодию. А Маша стояла и думала: «Вот я почти все знаю и про Тыковкина, и про Ежика, и как нас сюда заманили, а что толку! Ведь главного-то не знаю: как папе помочь и как Ежика выручить... И Ирочка неизвестно где. А Элиза, наверно, как раз сейчас Книгу ворует... Но чтобы папе помочь, надо Ежика освободить, тогда он всех руконогих назад в тараканов сдует... А как его освободить?.. Кажется, я поняла, что мне сначала надо сделать!..»



ЧУР, народная поделка

Глава восьмая

В муравейнике

Осторожно переступая по грязному, захламленному полу, чтобы не наколоться на что-нибудь, Маша подошла к двери. Сначала потянула на себя — ничего, потом толкнула — дверь и открылась. Вода уже схлынула. Маша вышла. Домишко Карачуна стоял на маленьком островке, окруженном болотом.

Маша обошла вокруг дома. Ничего и никого. Неподалеку от дома она обнаружила глубокую яму, на дне ее булькала вода. Обойдя яму, девочка приблизилась к кустам и наломала веточек, у которых листья росли погуще. Затем, вынув из волос ленточку, связала их вместе. Получился веник. С этим веником она вернулась в дом.

И принялась за уборку. Для начала она собрала и вынесла из карачуньего убежища все сгнившие доски, змеиную кожу и грязные ветки с пожухлыми листьями. Подумав немного, подтащила их к яме и бросила вниз. Затем стала усердно подметать пол в избушке. Скоро у двери образовалась огромная куча сора. Около печи Маша подобрала совковую лопату, которую заметила раньше, и изловчилась носить на этой лопате мусор к яме. Туда — обратно, туда — обратно, и снова туда — обратно. Ходить ей пришлось много раз, долго. Потом она сгребла весь хлам, который нанесла к порогу домика вода, и тоже сбросила в яму. Однако на этом не успокоилась. Вернувшись в избушку, сняла с крюка котел. С трудом, но все же сняла. Доволокла до болота и тщательно выполоскала и вымыла его. Набрав в него воды, казавшейся почище, она волоком дотянула котел до дверей дома. Оставила там и пошла к лежанке, на которой похрапывал Карачун. Приглядевшись повнимательнее, она нашла то, что искала: лежавшую в изножье у старика довольно еще прочную тряпку. Намочив ее в котле, Маша взялась мыть пол и очаг. Три раза ей пришлось менять воду, но все же она добилась своего: обиталище старика стало таким чистым, каким, наверно, никогда не бывало. Заодно постирала она свой белый фартучек-передничек и положила на печку сушиться. Тараканы, глядевшие со стен на ее работу, попрыгали в щели.

У Маши еще хватило сил снять с лавки тыквы и тыквочки, сгрудить их в одном из углов и уж после этого лечь на лавку. Руки и ноги девочка сполоснула прежде, а мыть лицо болотной водой ей не захо-

телось. Она очень устала, но была довольна, представляя утреннее недовольство Карачуна.

«Но, может быть, — успела подумать, засыпая, девочка, — ему понравится жить в чистоте и он исправится, станет хорошим. Во всяком случае меня им в грязнулю не превратит! А завтра посмотрим. Утро вечера мудренее».

И она заснула. Ей снилось, что она снова у себя дома, заходит в папину комнату, подбегает к его письменному столу, дергает ящик — ящик не заперт. Открывает его и видит, что он пуст. Во сне Маша понимает, что Элиза утщила Книгу. И папа про это еще не знает — он на работе. И мама на работе. А Тыковкин, конечно, уже в Книгу пишет про свое величие. Маша хорошо знала, что в Книгу можно только правду писать. Но вдруг это правда, что Тыковкин станет главным среди людей и примется над всеми издеваться и шутки шутить? От такого предположения Маше во сне сделалось страшно и захотелось сбежать в соседний дом, к дедушке Эрнесту Яковлевичу.. Он что-нибудь посоветовал бы, во всяком случае, слово бы ласковое сказал. Она выскакивает в коридор, но кто-то хватает ее за плечо. Обернувшись, она видит Тыковкина. Он кричит: «Думаешь, Чур тебе поможет? А вот и нет! Не справиться ему со мной!» Маша попыталась вырваться, дернула плечом, извернулась, чуть не упала, открыла глаза и поняла, что лежит на лавке в домишке Карачуна, а Тыковкин трясет ее за плечо и вопит:

— Ты что наделала, проклятая девчонка! Разве тебе это было приказано? Ведь в такой чистоте Карачун работать не сможет. Какое уж тут колдовство! Совсем старик заболел из-за тебя. Лежит на печи и только охает. Лет он преклонных, к чистоте не привык. А привычки стариков уважать надо! Ты что, не знаешь этого?

Маша, конечно, знала. Но чувствовала, что эти вообще-то правильные слова в устах Тыковкина звучат совершенно лживо. И она сказала, садясь:

— Отпустите, пожалуйста, мое плечо. Ничего плохого я не делала. В чистоте все должны жить. Потому что в чистоте и мысли добрые и хорошие приходят.

— Кому нужны твои добрые мысли? Мне они не нужны! — выкрикнул Тыковкин, но плечо Машино все же отпустил. — Карачун работать должен, колдовать, а не на печи отлеживаться. Эй! — позвал он, и в дом поспешно вошли Советник и три слухача-шпиона. — Берите старика да в болото его, где погрязнее, окуните. Авось, в себя придет. Да жаб для него наловите, лягушек, головастика, гадючек разных. Пусть пожует, полечится. Давайте шевелитесь!

Тыковкинские прислужники сняли с печи охающего и стонущего Карачуна и понесли на улицу. А он жаловался тоненьким голосом:

– Просыпаюсь – в глазах темно от этой чистоты стало. А я ведь с ней как дедушка Ворчун, не как старик Карачун обошелся...

– Слышишь, неблагодарная девчонка? Ну скажи, какого наказания ты за это заслуживаешь?! – бесновался Нолик. – И как ты смела тыквы мои трогать! Не тобой положено, не тобой возьмется! Ясно? Тыква – не какой-нибудь заморский плод! Мой родовой знак! Круглая, как ноль! Желтая, как солнце!

– Да я ничего против тыквы не имею, – возразила Маша. – Если она спелая и не гнилая, то из нее мама вкусную кашу готовит...

– Ты... ты... ты... – задохнулся от обиды тараканий атаман. – Кашу! Я тебя!.. Кашу!.. Ты фамилию мою унижить хочешь!

И он заорал в открытую на улицу дверь:

– Эй вы! Схватите эту негодную девчонку – и в муравейник ее! Может, там опомнится и поймет, как со мной себя вести должна. Уж муравьи-то ищусают – не помилуют!

– Почему вы такой злой? – не удержалась от вопроса девочка, хотя ее уже волокли из карачуньего домишка. – Неужели вас никто Добру не учил?

– Учили всякие, ничего про меня не зная, – заулыбался вдруг Тыковкин. – Да я-то с самого детства понял, что Зло посильнее Добра будет. Тебе разве Элиза не говорила этого? Смышленная девчушка, такая нигде не пропадет! Вернется с победой – пойду Книгу писать. Тогда ты мне не нужна будешь. Глядишь, я тебя и до утра в муравейнике оставлю. Посмотрим, как тебе доброта поможет с кусачими муравьями общаться.

...Конечно же, была тропочка через болото, только еле приметная. Этой тропочкой и побежали, держа Машу за руки и за ноги, Мерзин и шпионы-слухачи. Около знакомого Машиного дуба они свернули в лес и долго шли, пока не добрались до того самого муравейника. Как раз именно этих мурашей и топтала вчера Элиза. «Ох, отомстят они мне за нее! – с испугом подумала Маша. – Ведь наверняка они в девочках не разбираются и одну от другой отличить не смогут».

Куча прелых листьев и земли – муравьиное жилище – словно ожила. Мураши забегали, предчувствуя недоброе. Слухачи на минуту как бы зависли над муравейником. И сверху увидела Маша, что в самой середине его есть глубокое отверстие.

– Ну вот, – облегченно вздохнул Советник Евсейка, – добрались, дотащили тебя. Это славно, что ты босая. Ух, как тебе ноги ис-

кусают! Распухнут – стоять не сможешь. Думаю, Нолик применил правильный воспитательный прием. Теперь послушнее станешь. Ну, раз-два, взяли!..

И длинноухие, повинуясь его приказу, забросили девочку на самую вершину муравейника. И она провалилась в то самое отверстие, которое увидела сверху.

– Счастливо оставаться! – радостно захихикал Мерзин, увидев, как она ухнула внутрь муравьиной кучи.

Маша услышала, что враги уходят. А сама она осталась стоять в глубокой узкой яме, скрывавшей ее с головой, со всех сторон окруженная растревоженными муравьями.

– Здравствуйте, – сказала девочка поспешно, но вежливо. – Меня зовут Маша. Сюда меня запихнули плохие. Я не хотела вас беспокоить. Поэтому, чур, не кусаться.

Она с опаской смотрела на муравьев, на мгновение, пока она говорила, замерших, будто слушающих, а потом побежавших снова по своим делам. От тесноты и невозможности пошевелиться тело ее цепенело и деревенело. Ее голые ножки мало того, что затекли, еще дрожали, ожидая муравьиных укусов. Но то ли подействовало значительное слово «чур», то ли мураши догадались, что не она топтала их накануне, во всяком случае никто ее не кусал. Хотя муравьиная суeta вокруг нее усилилась. Каждый из местных обитателей тащил при этом на себе какой-нибудь груз.

Вдруг Маша ощутила, что может шевелиться. Двинула рукой, переступила с ноги на ногу и поняла, что муравьи незаметно расширили для нее свободное пространство, утащив куда-то свои постройки. Теперь она могла даже сесть.

– Спасибо вам, мурашки, – сказала она и села на землю, скрестив ноги по-турецки.

«Неужели Золушка тоже так мучилась?» – думала Маша. До этих своих приключений она почему-то помнила из сказки только то, что у Золушки были хрустальные башмачки, что ей помогала добрая фея и что в нее влюбился прекрасный принц... А сколько приходилось ей работать: прибираться в доме, готовить еду, шить и гладить наряды мачехе и злым сестрам, как болели ее ноги, исколотые об уголь, которым она топила очаг, как уставали руки и спина, оттого что она все время мыла пол, отжимала тяжелую тряпку, стирала и полоскала белье, как жила она впроголодь, как неудобно и обидно было спать в золе и выглядеть замарашкой – об этом девочка раньше не задумывалась. Она вспомнила, как мама однажды играла на пианино и пела песенку Золушки, но тогда Маша не захотела даже слушать – слишком грустной она ей показалась. Но

сейчас эта мелодия и эти слова сами приходили в голову, и она тихонько запела:

Меркнет в печке огонек...
Все одна я да одна...
Догорает мой денек —
Ночь угрюма и длинна.
Если б фея вдруг пришла
(Так, как в сказках говорят),
Чтобы сбросить я могла
Свой запачканный наряд.
И в карете золотой
Понеслась бы к замку я,
Где давно уж ждет меня
Королевич молодой...
Где веселье, свет и смех,
Зала чудная в цветах...
Где была бы лучше всех
Я в нарядных башмачках.
Гаснет в печке огонек,
Смотрит в окна лунный свет.
Королевич мой далек,
Доброй феи нет как нет!

Допев, она совсем загрустила и подумала: «Все правда, все про меня. Феи нет, а мой принц, мой Ежик далеко. И не в королевском замке, а в тюрьме, в темнице. Добраться до него невозможно. Волшебник Чур даже не знает, где я. Только злой Карачун здесь всю расколдовался. Сестренка Ирочка где-то прячется. А мама и папа даже не подозревают, что их дочка... их две дочки, — поправила она себя, — в опасности. Мы в Тараканске уже второй день, а ведь в нашей квартире, может, и минуты еще не прошло. И все думают, что мы в своей комнате играем... А я, усталая и голодная, сижу в муравьиной куче. И хотя муравьи добрые, но от их запаха все время чихать хочется. А я боюсь их обидеть и напугать своим чиханьем. Приходится терпеть и ждать. А чего ждать?»

Девочка посмотрела вверх. Прямо над ней свешивало свои ветки хорошее, прочное, такое сучковатое лазательное дерево. Если бы хоть до одной из веток можно было дотянуться, тогда Маша наверняка бы выбралась из муравейника. Но она видела, что это невозможно, даже если встать на цыпочки. Она задумалась и вдруг вспомнила вчерашний совет Эрнеста Яковлевича. И прошептала:

«Чур меня. Чур за меня. Чур со мной». Но ничего не произошло. Никто к ней на помощь не пришел. И тогда она склонила головку к плечу и уснула.

Этот сон был добрее, чем в домике Карачуна. Ей снилось, что она в квартире Эрнеста Яковлевича сидит на диване, ест пряник, смотрит в дедушкино морщинистое, похожее на печеное яблоко лицо и слушает его рассказ. На душе у нее тишина и покой. А сосед дедушка Чур рассуждает:

— Вот, к примеру, знаешь ли ты, что разлюбил я колдовать. Когда я, Машенька, молодым был, думал я колдовством людей осчастливить. В школу Волшебства и Тайнознания поступил. Экзамены там строгие были. Но я все выдержал, все на «отлично» сдал. И приняли. Хотя мы, волхвы, не очень-то знатными считались. А туда обычно аристократов брали — детей и внуков Змея Горыныча, Бабы Яги, Лиха Одноглазого... Теорию они плохо понимали, да и колдовали не очень. Но семейные, видишь ли, традиции... Одного такого я даже приятелем своим посчитал, почти другом. Тоже в родне у него знаменитые колдуны водились. Про царя Кашея слыхала? То-то. Старший братец моего приятеля...

— Дедушка, ты ведь о Карачуне говоришь, — догадалась Маша.

— Ох, конечно, о нем... Да уж, много мне этот Карачун потом бед принес. Все завидовал, что я в науках больше успеваю. На всякие пакости сманивал, а я не поддавался. Тогда он меня перед начальством оклеветал. Пришлось мне из школы раньше времени уйти. Так что Карачун смолоду завистливый и злопамятный был. Все не мог людям простить, что Кашея они погубили. И мечтал, как бы ему повелителя людям создать, чтоб через него управлять всеми. Вот и создал Тыковкиных, себе на беду. Хотя как-то раз с их помощью умудрился меня в тюрьму засадить...

— Эрнест Яковлевич, а как с плохими бороться?

— Главное — не поддаваться им. Это и будет победой. Злые себя сами погубят. Они ведь друг друга ненавидят. Каждый старается над всеми другими властвовать. Для того чародейные силы себе на помощь призывают. А я понял, что хороший человек для себя все сам может сделать. Пусть ошибается, пусть не сразу получается... Рано или поздно получится! Вот я и говорю, что колдовством счастья не добудешь. Хотя доброму помочь немножко — не грех, а для того и поволховать, и почудесить... А еще лучше — подсказать, посоветовать, когда человек своей силы не сознает и кажется ему, что он пропал. Волшебные предметы, конечно, есть: палочки, кольца, зеркала... Их самые древние волшебники создали. Но ты помнишь, как добрая фея наколдовала Золушке красивое платье, карету, лошадей,

кучера и отправила на бал. А к полуночи все пропало. И бедняжка снова превратилась в плохо одетую, замаранную в золе девочку. А принц все равно полюбил Золушку — не за красивое платье, которое ей наколдовали, а за ум, миловидность, доброту и приветливость. За ее собственные достоинства.

— Дедушка, — прервала его рассуждения Маша, — ты бы все же помог папе Книгу сохранить, а мне моего Ежика спасти. А то я не знаю, как.

Чур задумался, голову опустил, потом сказал:

— Чем же помочь? Ты пока сама все правильно делаешь. Сама и дальше справишься. К примеру, ты за муравьев заступилась, и они тебе добром отплатили. Думаешь, они не понимают, что ты для них сделала? Все понимают! А совет тебе я дам. Ты ведь хочешь есть? Сними свой любимый фартучек-передничек, который ты даже у Карачуна ухитрилась выстирать, расстели перед собой и скажи: «Чур-чур, только не чересчур». Увидишь тогда, чем голод утолить. Но про то, где я живу, никто знать не должен.

— Не бойся, я никому не скажу, — пообещала Маша. И проснулась.

Она по-прежнему сидела поджав ноги в середине муравейника. Только муравьи еще больше расчистили для нее пространство, чтобы ей было удобнее и чтобы она случайно не раздавила какого-нибудь любопытного или зазевавшегося мураша. Солнце уже стояло высоко, но в тени дерева ей не было жарко. Она, как научил ее дедушка-сосед, сняла свой фартучек, аккуратно расстелила его перед собой и молвила:

— Чур-чур, только не чересчур!

И сейчас же на фартучке-передничке появилась тарелка с теплой овсяной кашей, бутерброд с сыром и стакан чая. Маша поела и попила. Почувствовала, что голод пропал, а сил у нее прибавилось. Фартучек опустел, будто ничего на нем и не стояло. И девочка, стряхнув с него крошки, опять его надела.

Немного подкрепившись, она принялась вспоминать, как хорошо ей жилось дома. И она сказала:

— Послушайте, мурашки. У вас наверняка есть детки. Вы их соберите. Пусть они сядут в рядок, а я что-нибудь им расскажу. Ну, сели? Тогда слушайте. Понимаете ли, мурашки, бывают такие случаи, когда человек сам уже ничего не может сделать, чтобы спастись. И тогда ему помогают хорошие и добрые друзья или сестренки. Вот я сижу с вами, и, хотя вы хорошие, мне, конечно, надо бы отсюда выбраться, пока плохие не пришли. Во сне дедушка-сосед мне посоветовал, как можно поесть, но про то, как вылезти, он сказать не мог. Потому что здесь совета мало, здесь надо делом помочь.

Эх, если бы сестренка моя Ирочка была рядом, у нас бы мигом все получилось. Но я не знаю, где она, а она не знает, где я...

— Отчего же это не знаю? Уже знаю. Ты говори, говори, продолжай говорить. Я на твой голос иду! — раздались совсем близко бодрые, с ликованием произнесенные слова.

— Ира! — чуть не вскочила Маша от радости, но вовремя вспомнила, что надо быть осторожнее и не раздавить мурашей.

Она ловко встала на ноги и распрямилась, никого не потревожив.

— Ага! — все таким же ликующе-счастливым голосом отозвалась Ирочка. — Это я. Я тебя давно уже ищу. Ты это здорово придумала рассказывать, чтоб я тебя услышала.

— Это я не для того, — честно призналась Маша. — Мне одиноко было и грустно. А теперь помоги мне. А то скоро могут за мной слухачи или руконогие прийти. Хоть еще и не вечер, но вдруг!.. Вот если б ты могла с дерева спустить мне веревку потолще, я бы мигом вылезла...

— Сейчас что-нибудь придумаю. Веревки-то у меня нет. Но ты не беспокойся, они не скоро придут. Время у нас еще есть. Они все у тыковкинской конторы чего-то ждут... Так что я успею и на дерево взобраться, и тебя вытащить. Это хорошее дерево, родственник того дуба, который ты с нашим папой лечила...

— Только осторожнее! — предупредила Маша.

И тут же увидела, что дерево — молодой, но уже высокий и крепкий дуб — успокаивающе машет своими густыми ветвями.

— Не бойся, — отвечала Ирочка, — лучше полюбуйся, как я умею.

И правда, Маше приятно было смотреть, как ловко и сноровисто цепляется ее сестренка за сучки и ветки дерева. И скоро она уже сидела в удобной развилке прямо над муравейником.

— Готово! — сказала Ирочка. — Теперь я с себя платье сниму, вниз опущу, ты за него уцепишься, а я тебя тащить буду.

Так она и сделала. Но сколько она ни тянула, сколько ни напрягалась, силенок у нее все же было маловато, чтобы вытащить Машу. А Маша боялась ногами упираться в стенки ямы, чтобы ненароком не разрушить муравейник и не погубить его обитателей. Она в отчаянии выпустила из рук Ирочкино платье.

— Не получается, — тоскливо проговорила она.

— Сама вижу, — мрачно отвечала Ирочка.

Девочки были в растерянности. Но вдруг услышали доносящийся издали шуршаще-хрипловатый голос Советника, что-то приказывающего руконогим.

— Машка, давай! Давай еще раз цепляйся и — ногами по стенке ямы...

Ну что делать? Другого выхода нет!

— Не могу! Ты же сама знаешь, что так нельзя! — почти плача возразила Маша. — Так я муравьев подавлю!

Внезапно две толстые нижние ветки молодого дуба безо всякого ветерка согнулись, словно приглашая девочку ухватиться за них. Не понимая еще, что последует дальше, она все же крепко уцепилась за ветки ладошками. А они вдруг резко распрямились, выдернув Машу из ямы. И через секунду она уселась в развилке рядом с Ирочкой. Голос Советника звучал уже совсем рядом.

— Лезем наверх, — шепотом сказала Маша.

И они принялись, насколько могли тихо и насколько могли быстро, карабкаться вверх по стволу. Конечно, они понимали, что враги, заметив Машино исчезновение, примутся ее искать и могут обнаружить обеих на дереве. Но тут им на плечи опустились ветки и листья, покрыв девочек с головы до ног, словно плащом-невидимкой. И вовремя! Около муравейника появились шесть руконогих во главе с Советником.

— Ну, живо проявите свою спортивную и боевую подготовку!.. Взбе-жа-ли на муравьиную кучу! Дев-чон-ку, как репку, выдер-нули! И на-азад! — командовал своим хрипловатым тенорком Мерзин. — Что там? Почему медлите?

В ответ руконогие молча принялись пожимать плечами.

— Нет? Девчонки нет?

Руконогие закивали подтверждающе.

— Ну и дела! — охнул Советник. — И эту упустили! Причем самую нужную, клянусь Тараканом! Нолик мне за нее, пожалуй, тыкву разобьет... Спрашивается, куда делась, куда могла деться? Муравьи ее вряд ли так быстро съели... А вдруг съели?.. Нет, не может быть... Надо искать, искать надо! Эй вы, бескопытные мои оборотни руконогие, дружки заплечные — тараканы запечные, давайте-ка за работу! По кустам надо пошарить, под коряги заглянуть. А времени мало. Даю на все про все вам десять минут. Ну, вперед!

Руконогие оборотни поспешно ринулись вниз и разбежались по кустам, выполняя приказ. А Советник стоял, вращая головой, и глазки его шныряли в разные стороны. Потом он вдруг как-то уж очень пристально стал вглядываться в дерево. И даже двинулся по направлению к нему. Девочки задрожали. Но тут несколько самых больших муравьев вскарабкались по его башмакам и нырнули ему в штанины. Взвыв от неожиданной боли, Мерзин отскочил от дерева и принялся подворачивать брюки в поисках кусавших. Но муравьи скрылись среди опавших листьев и хвойных игл. На вопль Евсейки сбежались руконогие, ожидая новых приказов. А он яростно расчесывал покусанные места и бормотал:

– Нет и не надо! Не больно-то и хотелось. Все равно Элиза уже, наверно, вернулась и Книгу принесла. Нолик пока доволен. Небось, сидит и пишет сейчас. И ругаться не будет. Он же нам только проверить приказал, как там Машка в муравейнике. Мы и проверили. А если Элиза не принесла?.. Ведь он Машку затребует, Таракан сохрани меня и помилуй. Ну, тогда и будем искать, шпиончиков пошлем. Пусть где хочет прячется. Если Нолику надо будет, найдем!

Он повелительно махнул руконогим, и все они отправились прочь.

А Маша и Ира перевели дыхание. Пока что опасность миновала.

Глава девятая

Освобождение друга

Посидев еще некоторое время на дереве – на всякий случай: вдруг вернутся враги! – девочки осторожно спустились вниз – с той стороны, где не было муравейника. Но к муравейнику подошли.

– Спасибо, мурашки, – поблагодарила Маша.

Муравьи слышали ее слова, но, разумеется, не ответили. Они суетились, приводя в порядок свое жилище.

Девочки посмотрели друг на друга, и Ирочка воскликнула:

– Наконец-то мы вместе, две сестренки! – Она уткнулась лицом в Машино плечо. – Я ведь твоя сестренка, да? Ты всегда так говорила.

– Еще бы! Самая лучшая на свете!

– Но пойдем, пойдем отсюда. Я покажу тебе ореховый куст. Там полно спелых орехов. Ты ведь, наверно, голодная...

Маша отрицательно помотала головой, таинственно улыбнулась, огляделась по сторонам и ответила шепотом:

– Сыта. Думаю, ты голоднее меня. Давай и вправду пойдем куда-нибудь и под куст спрячемся. Я тебе кое-что покажу.

Они уселись под ореховым кустом. Ирочка нарвала спелых орехов.

А Маша расстелила на траве свой фартучек-передничек и произнесла:

– Чур-чур, только не чересчур.

И сей же час на фартучке, как на скатерти, появились две тарелки с жареной картошкой и котлетами, вилки, хлеб с маслом и две чашки сладкого чая.

– Откуда это? Как это?.. – пролепетала изумленно Ирочка.

– Давай поедим, а потом нам надо рассказать друг дружке, что мы по отдельности делали, – рассудительно сказала Маша. – Я старшая, я первая начну.

Маша была уже не голодна, поэтому ела не торопясь, рассказывая про свои приключения.

– Меня Карачун к себе утащил. В свой страшный, грязный и противный дом. Он хотел, чтоб я туда еще больше грязи и мусора натащила. Потому что плохие в чистоте жить не могут. А пока он спал, я все в доме прибрала и пол вымыла, как мама обычно делает. И Карачун наутро от этого заболел. А меня Тыковкин велел в муравьиную яму засунуть. Там мурашки меня пожалели, место мне освободили, чтоб я сесть могла. И я уснула. А во сне мне Эрнест Яковлевич мой фартучек-передничек заколдовал. Он, конечно, не просто дедушка-сосед. Но об этом пока надо молчать. Теперь рассказывай о своих приключениях, и поспешим спасти принца.

– Какого принца? Взаправдашнего? Не Ежика?

– Именно его. Мне Карачун проболтался, что Ежик Карлуша – не просто Ежик, а принц. И в давней вражде с Тыковкиным. Но не то важно, что он принц. Важно, что он наш друг. Друзей в беде не бросают. Мы же искали его, не зная, что он королевский сын... Ладно, теперь рассказывай ты.

Ирочка сделала последний глоток чаю и ответила, довольно и хитро посмотрев на раскрасневшуюся и разнервничавшуюся Машу:

– Хорошо, конечно, быть бесстрашной и отчаянной Ниночкой, но быть Машиной младшей сестренкой тоже неплохо. Но все же вот что я тебе скажу. Хоть и жалко мне Карлушу, но прежде нужно идти с Тыковкиным воевать. У нас замечательные союзники появились. Просто удивительные! Я сама спасалась, а вдруг нашла, что и не ожидала. Когда я от Тыковкина из окна выскочила, долговязый Агафон заметил, что я убегаю. И послал за мной в погоню своих приятелей в черных куртках. А сам к своему мотоциклу бросился. Он бы меня на нем и по лесным тропинкам догнал. Ему дождь помешал. Мотоцикл заглох, а руконогие его сразу от дождя куда-то попрятались. Ты знаешь, я думаю, Чур не только тебе, но и мне помог. Это, конечно, он дождь устроил. А дождь спас меня от агафоновских руконогих в черных куртках. Меня, правда, вода закрутила, я чуть не утонула, но потом меня потоком вынесло к тому дубу... Помнишь?..

К тому самому, который ты, то есть мы вместе с папой лечили. Я за ветки уцепилась, вскарабкалась... И знаешь, что обнаружила?

— Дупло, — невольно ответила Маша, захваченная рассказом сестреники, забыв просьбу дуба никому об этом не говорить.

Она спохватилась. Прижала палец к губам. Ирочка понимающе кивнула.

— Так ты знала? — спросила она. — Ну, конечно, знала. Просто при Элизе не хотела рассказывать, да? Ты ее уже тогда подозревала? Ну да ладно, об этом после. Ты все равно не можешь знать, кого я там встретила. Настоящую курицу Хохлатку! Наш дуб ее в том самом дупле от руконогих утаил. А она там шесть воробышков высидела. Они уже летать учатся по ночам. Тараканы о них даже не подозревают. Ведь Карачун обещал всех птиц истребить. И ему это почти удалось. А эти — уцелели! И вот с ними-то мы неожиданно на тараканов и нападём!

— Не получится, — покачала головой Маша. — Во-первых, всегда нужно сначала друга спасти. А во-вторых, без Ежика победы не будет. Только он может руконогих слуть.

— Что-что? — не поняла Ирочка.

— Слуть, ну, превратить опять в тараканов. Только ежиной иголкой и можно лишить их человеческого облика и вернуть снова их тараканий. Все эти руконогие, когда людьми становятся, то есть тараканьими людьми, начинают ужасно важничать и в начальники лезть. Вот и надо из них спесь выдувать, сдувать их. Они перед Тыковкиным, Евсейкой и Карачуном унижаются, а перед остальными важничают. Ускользают от всех как тараканы...

— Но они же и есть тараканы, — рассмеялась Ирочка. — И людей боятся...

— Это обычные тараканы. А руконогие в начальники лезут, хотят людьми управлять. И это им удается. Поэтому они нас презирают. Взрослые же рассказывали, что к начальнику нельзя прийти с просьбой или вопросом — сразу ускользнет. Им на человеческие проблемы наплевать. А Ежика они боятся. Ведь против их надутости не всякая ежиная иголка годится — только от настоящего принца. Теперь поняла? Ведь если воробьи даже всех тараканов поклюют, с руконогими-то они не справятся. А уж кто Тыковкина и Карачуна одолеет? Уж не знаю, сумеет ли это даже принц?.. Но, кроме него, некому.

— Поняла, — согласилась Ирочка. — Только как мы к Ежику прорвемся, чтобы его освободить?

— Утром, — пояснила Маша, — ворота в виварий были не заперты. Я думаю, так и осталось. Ведь если Карачун болеет, то запереть их некому.

– Идем! – поднялась на ноги сестренка.

Девочки добрались до ворот. Они вправду были открыты. Огляделись: кругом никого. И рядом с избушкой Карачуна тоже никого. Тогда, пригнувшись, он подбежали к кирпичному мрачному виварию. Там они упали плашмя около его стены, чтобы их никто не заметил.

– Ну, и что дальше делать? – шепотом спросила Ирочка. – Ключей у нас нет, да еще надо узнать, в какой камере этой тюрьмы наш друг...

– Поползем потихоньку вдоль стены, – предложила старшая сестренка. – И будем прислушиваться. Карлуша всегда стихи любил. Если он там один, то наверняка стихи читает.

И девочки поползли. Но до них доносились только отдаленные глухие и жалобные стоны, вздохи и плач. Казалось, стонам этим не будет конца, и понять, чьи они, было невозможно. Внезапно они замерли, услышав знакомый голос, читавший стихи. Голос был чистый, ясный, но грустный...

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред, –
Башни стрельчатый рост!
Кружевом, камень, будь
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.
Будет и мой черед –
Чую размах крыла.
Так – но куда уйдет
Мысли живой стрела?
Или, свой путь и срок
Я, исчерпав, вернусь:
Там – я любить не мог,
Здесь – я любить боюсь.

«Он ли это? – когда голос умолк, подумала с недавних пор осторожная Маша. – Или кто-то другой?..» Ира вопросительно посмотрела на нее. Она не знала, что сказать. Помедлив минуту, голос продолжал все так же грустно:

Я блуждал в игрушечной чаше
И открыл лазоревый грот...

Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

– Принц! Мой принц! – не удержавшись, крикнула девочка. – Это я, Маша! Я нашла тебя! Я слышу, я чувствую, что это ты... Это должен быть ты! Ответь, пожалуйста...

После небольшой паузы раздался вежливый, но недоверчивый, невеселый и осторожный ответ:

– Какой я принц? Я бедный узник, которого ждет нечто худшее, чем гибель...

– Что такое? – испугалась за него Маша. – А, ты узнал, что у тебя хотят похитить твои иголки!.. – вспомнила она угрозы Карачуна. – У них ничего не получится! Я тебя спасу!

– Если ты та самая Маша, – послышался тихий вздох узника, – то скажи, в каком обличье ты меня знала...

– Что значит – в обличье? – не поняла сначала Маша. – А, ясно. Ты – Еж, колючий Ежик, ты мой замечательный и любимый Ежик Карлуша! И иголки, которые у тебя хочет похитить Карачун, ежиные. А сюда тебя Карачун заманил. Нашептал, что я в беду попала. Я и попала. Пошла тебя искать и... попалась. Меня Тыковкин в плен захватил, потом Карачуну отдал в служанки. Но я в доме прибрала, и колдун от чистоты чуть не умер. Тогда Тыковкин приказал меня в муравейник посадить, а муравьи меня пожалели, не стали кусать. Тут пришла Ирочка и вытащила меня оттуда с помощью дерева. Ты помнишь мою сестренку?

– Помнить-то я помню, – прервал ее строго принц. – Но говори потише! Тебя и враги могут услышать.

– Ты сердишься? – расстроилась Маша. – Я это случайно...

– Нет, не сержусь. Просто боюсь за тебя. Я так рад тебя слышать. Здравствуй, Машенька! И Ирочка пусть здравствует, если она с тобой.

– А где же мне еще быть, как не с сестренкой! – решительно вмешалась Ирочка. – Привет! Ты прав, нам не надо разговоры разговаривать – мы спасти тебя пришли. Вот и скажи нам, как это сделать. А уж мы сделаем!

– Думаю, это невозможно, – ответил узник. – Стены крепкие, решетка в моей камере прочная, а где ключи от тюрьмы, никому неизвестно. – Он помолчал, затем сказал решительно: – Самое лучшее для вас – это вернуться домой. Постарайтесь добыть у Тыковкина золотое кольцо. С его помощью вы...

– Нет, у Тыковкина это кольцо ни за что украсть не удастся. Он его прячет и следит. Он даже у меня его отнял, когда я верну-

лась... Хотя я ему Книгу принесла. Не удалось его притараканить. А у меня это колечко так красиво на пальчике сидело и очень мою нежную ручку украшало.

Вздروгнув, они обернулись. Потряхивая нерасчесанными кудряшками, поблескивая синими глазами, в розовом с оборочками платьице, стояла перед ними Элиза и глядела на них как ни в чем не бывало. Она словно не замечала враждебного к ней отношения ее бывших подружек.

— Я за вами давно крадусь, — весело и победоносно пискнула она. — Еще когда вы под кустом сидели и на Машином фартучке ели то, что из ниоткуда появилось, я вас заметила. Правда, ничего не слышала, ну, Машиных волшебных слов. А уж как вы с Ежиком разговаривали — это уж я подслушала, будьте спокойны!

— Ты нас предашь? — напрямую спросила Маша.

— Чего зря спрашивать! — прошептала яростно Ирочка, дернув Машу за рукав и шагнув навстречу Элизе. — Надо ее просто связать и рот ей кляпом заткнуть, предательнице этой!

— Что вы! — замахала на них ладошкой Элиза. — Я вас больше не предам и никому не выдам. Даже Тыковкину. Давайте я опять буду вашей подружкой, а вы мне за это что-нибудь подарите.

— За что — за это?! — аж поперхнулась от возмущения Ирочка.

— За то, что я снова с вами играть буду, — объяснила Элиза, — и никому не скажу, как вы тут с Ежиком о побеге сговаривались. Ведь меня Нолик послал Карлушу постеречь, пока Карачун нездоров. И тут же ему сообщить, если что замечу подозрительное. А я не сообщу. Смешно получается. Когда-то этот Еж был со мной колючий-колючий. А теперь от моей милости зависит. Хи-хи! Я теперь за вас. Ведь Нолик очень сейчас сердится и нервничает, жениться на мне больше не хочет. И говорит, что королевы из меня не выйдет. Приказал дать мне титул княжны Таракановой. Пусть я пока с этим титулом поживу, а там он посмотрит. Неприятности у него. Все, что он в Книгу записывает, сейчас же пропадает. И он злится, что Машу упустил. Думает, что она знает тайну, как в Книгу писать надо, чтобы написанное сохранялось. Говорит, что у него отныне один выход — возглавить тараканью войну против людей, раз его имя не заносится так, как ему хочется, в Книгу человеческих судеб. Даже меня чуть не побил! И не покормил. Я теперь голодная хожу. Ты, Маша, расстели свой фартучек-передничек, а я поем.

Добрая Маша заколебалась. Как не накормить голодного! Ирочка молчала. Ежик тоже. Но жадная Элиза сама себе все испортила.

— А еще лучше — подари мне его насовсем, — пожелала она.

— Ну уж нет! — воскликнула Маша и отодвинулась невольно.

– Ты самая бессовестная! Таких бессовестных свет не видывал! – возмутилась Ирочка.

– Ну и что? – возразила Элиза. – Какая есть. Все равно вам полезнее меня подружки не найти!

Ежик даже охнул от такой наглости.

– А потому я вам полезна, – продолжала, не смущаясь, Элиза, – что знаю, где ключи от вивария хранятся. Вот! И могу поменяться. Маша – мне свой фартучек-передничек, а я за это ключи потом принесу. И еще никому про вас не скажу.

– Тогда ладно, – растерявшись, согласилась Маша. – Ради спасения друга я согласна. – И принялась снимать фартучек.

Но ее ухватила за руку Ирочка:

– Остановись! Пусть сначала ключи принесет, тогда отдашь. А то она хапнет, точнее сказать, утараканит – и поминай как звали! Ей нельзя верить. Сколько раз она нас предавала – помнишь?

– Помню, – сказала Маша и перестала расстегивать пуговички на своем фартучке-передничке.

– Как хочешь! – фыркнула Элиза, потом передернула плечами. – Кому что нужнее. Тебе – твой Еж колючий или мне – фартучек. Я-то без фартучка могу запросто обойтись. Хотя мне, конечно, хочется его иметь. И я бы, наверно, честно принесла вам ключи. Подумаешь – ценность!.. Я к Нолику Ежика охранять не нанималась. Вот! Зачем он мне? Не зря говорят, что из ежиной кожи шубы не сошьешь. Так что ключей мне для вас не жалко. Но я боюсь, что, как только их принесу, вы их у меня отнимете – вы же вдвоем сильнее, – а взамен ничего. Нет, я сначала фартучек-передничек от вас получу, а уж когда его надену – пойду за ключами. Мне Нолик доверился, показал, где они хранятся.

Ирочка насупилась. А Маша снова согласилась:

– Ничего не поделаешь. Ведь освободить Ежика – сейчас важнее всего на свете! А фартучек мне, конечно, жалко. И все же я его отдам.

– Ох, Машка, – не верила Ирочка, – обманет она!

Но та уже сняла свой фартучек-передничек и протянула Элизе. Та быстро схватила его и надела на себя.

– Пускай, – махнула рукой Маша, – все равно другого варианта у нас нет. Значит, надо верить и Элизе.

– А я возьму и не обману. Вот! – И Элиза показала Ирочке язык. – Что тогда? Извиняться тебе передо мной придется, девочка Ира. Только пусть Маша мне еще расскажет, как этим передничком пользоваться. А иначе зачем он мне... Не такой уж он и красивый.

— Очень просто, — объяснила девочка, стараясь не обращать внимания на обидные слова о своем фартучке. — Надо расстелить его на чистом месте и сказать: «Чур-чур, только не чересчур». И появится еда...

— Так тебе Чур помогает?! Вот Нолик рассердится, если узнает! — радостно хихикнула Элиза. — Но ты не бойся, я ему не скажу. — Она помотала нечесаными кудряшками. — Ты мне только шепни, чтоб я поняла, на чьей стороне мне выгоднее быть.

Маша плотно сжала губы и сердито посмотрела на бывшую куклу-подружку. Потом произнесла:

— Слишком долго мы болтаем. Либо ты нам помогаешь, либо отдавай назад фартучек.

— Да иду я, уже иду. Жаль, что ты не захотела мне правды сказать. Вот как! Выходит, я сама должна догадаться, за кого мне стоять. Хм! Я попробую. Но уж тогда пеняй на себя... И почему это — не чересчур? А я всегда хочу чересчур! Через чур прыгать всегда интереснее! Через деревянный этот столбик. Да не бойся ты, принесу я ключи! Вы только никуда отсюда не уходите. Ждите меня. Я мигом!

— Ты будь осторожнее, не испачкай фартучек: здесь всюду такая грязь! А грязный он не будет действовать, — предупредила напоследок Маша. Элиза остановилась в нерешительности.

— А я нарочно уже второй день не умываюсь, — с некоторым беспокойством в голосе сказала она. — Нолик не любит чистюль. Ладно, я тогда фартучек отдельно от других своих вещей буду держать.

И тут девочки обратили внимание, что выглядят они много чище всегда холившей себя Элизы. А ведь им туго пришлось: и на дереве скрываться, и в кустах прятаться, и от руконогих убежать, вдоль вивария по непросохшему асфальту ползти... Ирочка еще и тонула, а Маша избу Карачуна прибирала, в муравьиной яме сидела... Да, сильно Элиза переменялась. Кудряшки ее были спутаны и не мыты, на личике около губ — остатки засохшей еды, розовое платице в пятнах, руки грязные и под ногтями чернота.

— Думается мне, — не удержался Ежик, молчавший во все время разговора трех подружек, — что для Тыковкина дело не в том, чтоб руки и одежду запачкать. Для него важно, чтоб душа была грязная.

— Тебя не спрашивают! — отрезала Элиза. — Ты сиди и жди, как твоя судьба решится. Пока я, может быть, ключи принесу. А души, как Нолик говорит, на самом деле не существует.

— А, извини... — сказал Ежик. — С тобой, я думаю, уже все в полном порядке. Дополнительной грязи не требуется.

– Будешь насмеяться – так и останешься здесь сидеть!

– Элиза, это нечестно! – хором воскликнули девочки.

– Честно – нечестно! – возмутилась Элиза. – Ко мне эти слова никак не относятся. Ведь он от меня зависит, от моей милости, а я от него – нет. Пускай терпит! Да принесу я, принесу. Сказала же, что знаю, где ключи лежат. Я ведь за них уже фартучек получила. Только зря вы хотите чистенькими остаться. В этом мире придется вам запачкаться! Нолик совсем недавно перед руконогими и тараканами с балкона выступал, призывал их завалить людей грязью и отбросами, чтобы тараканам было вольготнее. Это наше оружие, он говорил, и потому мы победим. Так что не очень-то заноситесь со своей чистотой! Ладно, пошла...

Она отдалилась на несколько шагов, потом остановилась и захихикала, будто вспомнила что смешное.

– Кстати, первый военный удар, Машка, будет против твоего папаша. Вот! Нолик хочет заставить его самого в эту Книгу вписать то, что ему, Нолику, нужно. Ну, пока. До скорого. Ждите. Только жаль мне вас, если фартучек у меня работать не будет. Обмана не прошу!

– Да ты... – крикнула было ей вслед Маша.

Но не договорила. Элиза уже вприпрыжку выскочила через открытые ворота. И скоро скрылась за поворотом дороги, ведущей к серым домам.

– А теперь, девочки, будьте внимательны и осторожны! – с тревогой произнес Ежик. – Я ей не верю. Скоро начнет смеркаться. Самое тараканье время. В темноте они чувствуют себя храбрее.

– Я тоже ей не верю. Но у нас нет другого выбора, – твердо сказала Маша. – Мы должны ждать. Ирочка, а ты спрячься, – добавила она.

– Нет-нет, я с тобой. Как моя старшая сестренка, так и я, – сжала ее руку Ирочка. – И вообще, знаешь, я в дозор к воротам пойду. Если увижу, что Элиза не одна возвращается, я тебе крикну.

– Угу, – согласилась Маша, но, когда Ирочка отошла подальше, прошептала: – А если и не одна, все равно я никуда отсюда не пойду и не побегу. Потому что друзей в опасности не бросают.

– Да, конечно, – услышал ее слова принц. – Ты права. Но и я не могу позволить своим друзьям подвергать себя опасности из-за меня...

Маша огляделась по сторонам: на черневший вдаль лес, на пустынное пространство перед виварием, на одинокую фигурку Ирочки у ворот, потихоньку окутываемую наступающими сумерками... Да, было неуютно и немного жутковато. Чтобы не испу-

гаться, Маша перевела разговор на другую тему. Да и как не спросить об этом, пока они остались наедине.

– Скажи, – спросила она, смущаясь, – а почему ты говорил, ну, в стихах, что где-то там ты любить не мог, а здесь ты любить боишься?

– История невеселая. Я должен тогда немножко о своей жизни тебе рассказать. Я расскажу, мне давно хотелось это сделать. Но обещай, что, если Ира предупредит о приближении врагов, вы тут же скроетесь...

– Обещаю.

Любопытство было сильнее Машиной честности. Да и решила она сразу после ухода Элизы ни за что не покидать своего поста и встретить с принцем жизнь или смерть.

– Ладно, тогда слушай. Я и в самом деле принц, но из почти сказочной страны, где всегда чисто, нет грязи, мух и тараканов, где все люди – друзья, все верят и помогают друг другу. Такой могла бы быть и ваша страна, если б не Тыковкины, не Карачун, не Мерзин и другие злые. Я жил в замке над озером, плавал, читал, стрелял из лука. В нашей стране самый главный спорт – это стрельба из лука. На ежегодном соревновании я всегда был первый. Наконец я вырос, и пришла пора мне обзаводиться принцессой.

Но у нас существует обычай, что принц должен спасти какую-нибудь красавицу, добрую душой, от злых чудищ. И только в нее он может влюбиться, а потом жениться на ней. И я отправился странствовать по свету..

– И нашел меня? – шепотом спросила Маша.

В наплывавшей темноте слова Ежика звучали как самая настоящая сказка.

– Нет, моя дорогая, не сразу.. – Помолчав, Ежик вздохнул, но все же продолжил рассказ: – Однажды я попал в ваше царство-государство. И сразу заметил, что многие тыковкины уже добрались до кое-какой власти. Они хамили и «тыкали» своим подчиненным, в зоопарках тыкали палками в животных, потому что те были в клетках и не могли растерзать обидчиков. Я увидел много грязи на улицах, неотремонтированные дома, не вывезенные с дворов помойки. И показалось мне тогда, что тут не обошлось без карачуньего колдовства и тараканьей напасти. Но еще одно случилось. Я встретил девушку, и меня увлекла ее необычная судьба. Она называла себя Прекрасной Еленой. И я решил, что встретил свою любовь. Красавица рассказала мне, что до меня она любила не одного храброго героя, все они боролись против тыковкиных, но все они погибли в неравной борьбе. Это выглядело так романтич-

но: подруга погибших героев! И я поклялся, что посвящу ей свою жизнь. И предложил увезти ее к себе — в мою страну, в мой замок над озером. Она отказалась. Сначала я не мог понять, почему. А потом — но слишком поздно! — понял. Она предпочла тыковкинские деньги. Ведь на самом деле она служила ему. Как-то, когда я доверчиво слушал ее усыпляющий голосок, ворвались враги и попытались схватить меня. А она, Прекрасная Елена, кричала: «Убейте его, чтобы он никому не смог даже намекнуть, что это я его выдала!» В общем, вела она себя вроде как Элиза. Ох, очень они даже похожи. Хоть и не внешне. У зла много обличей. Но суть его одна и та же: подлость и предательство. Хорошо, что я своего сердца этой Елене-Элизе не отдал.

— Правда не отдал? — тревожно спросила Маша, вся замерев в ожидании ответа.

— Сердце отдается вместе с душой. Но как отдать сердце и душу тому, у кого нет души? А может, и сердца тоже. Предала она меня известному Тыковкину, отцу Нолика. Кто там ему служил, оборотни или подлые люди, вроде моей Прекрасной Елены, не знаю. Но меня арестовывать во главе целого отряда он сам пришел. Как же, принц чужеземный попался! Я пустил свою иглу-стрелу в Тыковкина-отца, но так был расслаблен и фальшивой любовью моей красавицы, и ее предательством, что рука моя дрогнула, и — я промахнулся. После чего Тыковкин-старший велел своим слугам выбросить меня в окно с десятого этажа, где как раз жила Прекрасная Елена. А та — по его, конечно, приказу — принялась изображать из себя неутешную вдову, которая знать не знает, почему ее друг прыгнул с такой высоты и разбился. Зарыдала, стала бить себя в грудь кулаками и причитать: «На кого ж ты меня покинул, сокол мой ясный?!» А враги схватили меня, отворили окно и бросили вниз. Но я успел прошептать старинные волшебные слова (в моей стране ими давно уже не пользуются, нет надобности, но все их знают) — и на землю упал игрушкой, плюшевым ежиком. А твой сосед Эрнест Яковлевич, он же давний друг нашей семьи, очень мудрый и добрый Чур, пришел мне на помощь, как я и просил его в волшебном слове. Он незаметно для тыковкинских слуг подхватил меня и унес к себе домой. И подарил знакомой девочке. Это была ты.

— Да, — прошептала Маша, — подарил. И сказал, что отныне у меня будет верный друг и защитник.

— И я ему обещал беречь тебя. Но сам хотел только одного: поскорее покинуть вашу страну и вернуться домой к своему развесистому дубу над озером, где я сидел в развилке ветвей, читал

книги и мечтал о встрече с прекрасной незнакомкой, которой я окажусь полезен. Хотя теперь, после предательства моей красавицы, я не верил больше ни одной девушке. Но смотрел на тебя, слушал твои добрые сказки, которые ты рассказывала своим куклам, и постепенно чувство, не сравнимое с прежним, посетило мое сердце. Я снова полюбил. Я боялся любить, но ничего не мог поделать со своим чувством. И так и жил у тебя дома в обличье ежика, все откладывая свое возвращение на родину. А вчера вдруг донесся до меня слух, что ты в лапы Карачуна и Нолика угодила. И бросился сюда. И сам в ловушку попал. Думал, что они сразу со мной расправятся. Но, оказывается, я им еще для другого понадобился: чтоб тебя сюда заманить. Как же ты не испугалась неизведанного, когда шагнула в открывшееся перед тобой необычное пространство? Как сумела Тыковкину и Карачуну противостоять? Откуда взялось такое чудо, как ты?

— Никакое я не чудо, — ответила Маша. — Меня мама с папой воспитали. Но я тоже тебя люблю, мой принц. И хочу, чтобы моя любовь не ослабила тебя, а дала больше сил. Чтобы ты стал сильнее и Тыковкина, и Карачуна, и Советника Евсейки, и всех руконогих, вместе взятых!

И в этот момент крикнула Ирочка:

— Маша! Скорее сюда! Я что-то ничего не понимаю!

В сгустившихся сумерках бросилась девочка на помощь сестренке, с трудом различая ее фигурку у ворот. Ира напряженно смотрела в направлении серых домов. И точно: было на что посмотреть! Все пространство перед воротами и между деревьями в лесу стало буро-коричневым. В слабом свете автомобильных фар это нечто буро-коричневое шевелилось, колыхалось, шетинилось усами, хотя и не двигалось с места. По краям и сзади стояли, светя фарами, три грузовика с огромными контейнерами для перевозки отходов. А почти вплотную к воротам — два самосвала, доверху набитые мусором. В кабинах сидели руконогие. Над кабинами самосвалов были прикреплены плакаты, на которых черным по белому были слова: ТАРАКАНЬЕ ЗНАМЯ — ЗНАМЯ ПОБЕД!

— Это они собрались в атаку против нас! — воскликнула Маша. — Хотят, чтобы мы от отвращения погибли. А потом они и с принцем расправятся. Элиза нас обманула, рассказала, где мы.

И точно, Элизы нигде не было видно. Похоже, что она и не собиралась возвращаться. Впрочем, ни Тыковкина, ни Карачуна, ни Советника тоже нигде не наблюдалось.

— Они нас мусором засыпят, если мы не сбежим, — шепнула Ирочка.

А бежать-то некуда. Кругом забор железный да враги.

— Возвращаемся к принцу, — тихо ответила Маша. — Попробуем решетку выломать.

— Вряд ли это получится, — возразила Ирочка, но поспешила за спокойно шагавшей к виварию сестренкой.

— Эй, принц! — окликнула его Маша. — Враги у ворот. Элиза нас обманула.

— Это следовало ожидать, — все так же невозмутимо ответил Ежик.

— Да проснись ты! — прикрикнула Ирочка. — Машу спасти надо. И меня тоже. И о себе заодно подумай.

Маша перебила младшую сестренку:

— Ты не волнуйся только. Главных плохих пока нет. Но решетку мы должны выломать — ведь ключа у нас нет. Давай, ты изнутри, а я встану Ире на плечи и попробую снаружи. Ты не думай, я сейчас сильная!

— Это в тебе сила любви. Но она и во мне, — оживился узник. — Ты обожди, я вначале сам попробую.

Послышалось его напряженное дыхание, и вдруг затрещала выламываемая из каменных пазов решетка. Секунда — и она упала к ногам девочек. Затем в темном проеме окна показалась фигура. Не раздумывая, принц спрыгнул на асфальт, поскользнулся в лужице, оставшейся после вчерашнего дождя, но устоял на ногах и распрямился. Был он невысок, но теперь все же повыше Маши. Полосатая арестантская одежда, исхудавшее лицо, но иголки на голове топорщились длинные, острые, боевые, а не плюшевые, как раньше. Он с силой вдохнул воздух носом и сморщился:

— Замечтался я. А не время. Чую, что грузовики с мусором приехали. В воротах все вывалят, чтобы нам не выйти, а потом руконых выпустят. Надо другой путь искать.

— Но какой?.. — удивилась Маша. — Через железный забор нам не перелезть.

— Ну, Тыковкин, наверно, вам говорил, что он хочет у людей полную разруху устроить. Не может, однако, такого быть, чтобы в одном месте разруха, а в другом — полный порядок. Где-нибудь непременно и у него окажутся неполадки.

Запахнув от вечерней прохлады свой арестантский халат, принц в обличье ежика пошел вдоль забора, постукивая по железным прутьям, иногда толкая и дергая их. Девочки следовали за ним. И вдруг один из прутьев при толчке отъехал в сторону. И образовалась довольно широкая щель, в которую можно было пролезть — и сразу же очутиться в парке среди кустов.

Глава десятая

Совет в старом дубе и начало битвы

Так они и сделали. Лес притих, даже листик не шевелился, небо казалось черно-серым, низким. Солнце исчезло, а тополиный пух, слабо различаемый в темноте, вяло катился по земле. На асфальтовой площадке, где еще пару часов назад суетились руконогие, было пусто. Беглецы чувствовали, что надвигается опасность.

— Эй! — окликнула Маша спутников. — А может, атака не на нас готовилась. Тыковкин ведь на папу хочет напасть, на наш дом. Элиза об этом говорила!.. Бедные мама с папой!

— Тогда поспешим, — повернулась к ней шедшая первой Ирочка. — Я здесь, пока среди деревьев и кустов Машу искала, все тропинки изучила. Поэтому самой короткой дорогой вас веду.

— Можно ли, однако, полюбопытствовать, куда? — вежливо обратился к ней Ежик.

— Куда? — переспросила Ирочка. — Да туда, где куд-куда, — хмыкнула она. — Я же сестренке своей старшей все рассказала. Но она так своего принца спешила спасать, что ничего не расслышала. Ладно, еще раз повторю, тем более что мой друг Карлуша этого не слышал. Надеюсь, принц, я могу называть вас своим другом?

— Почту за честь, — серьезно ответил Ежик.

— Что ж, слушайте. Но не отставайте от меня. А то скоро совсем стемнеет, тогда и я дороги не разберу. Да и вы о корень какой-нибудь споткнетесь и нос расквасите. Жалко носа-то.

И, не замедляя шага, ловко уворачиваясь от хлестких веток, она снова поведала о своем бегстве, о погоне за ней, о дожде и наводнении, о потоке воды, вынесшем ее к древнему дубу, вершина которого, как ей почудилось в грозу, касалась середины неба, и о глубоком, очень глубоком дупле, укрывшем ее от врагов. А также о радостном своем открытии — о курице Хохлатке и шести воробышках.

— Понимаете, — возбужденно говорила Ирочка, — когда по совету Карачуна Тыковкин приказал руконогим уничтожить в Тараканске всех птиц, поначалу кур пощадили. Сам Нолик очень куриные яйца любит, ну, яичницу, всмятку и тому подобное. Но Хохлатка оказалась умнее других несущек. Те решили, что их уже никто не тронет. Продолжали яйца нести и зернышки поклевывать, хотя при случае могли и таракашку склюнуть. До поры до времени Тыковкин

им это прощал. И все же Хохлатка решила скрыться. Убежище нашла в дупле дуба. Как оказалось — на свое счастье и на счастье воробышков. Одна воробьишка погибла, ее руконогие из рогатки подбили, а в дупле воробьиные яйца остались. Шесть штук. Хохлатка и принялась их высидывать. И высидела шестерых бойцов. Самых грозных и страшных для тараканчиков. А всех остальных кур казнили — по просьбе тараканьей общественности. Нолик смекнул: хоть курица и не птица, как он сам не раз говорил, но всю его тараканью нечисть поклевать тоже может. Вот Хохлатка и говорит, что, когда к власти приходят существа вроде Нолика Тыковкина, главное — вовремя удрать подальше...

Так незаметно — под Ирочкин рассказ — добрались они до старого дуба. Он стоял мощный, высокий, с густой лиственной кроной, почти короной. Маша, кстати, раньше так и считала, что крона — это на самом деле корона. Увидев подходивших к нему беглецов, дуб, хотя ветра совсем не было, приветливо помахал своими ветками. На его коре видны были зажившие раны и рубцы. Когда-то Маша с папой срезали гниющую кору, очищали ствол от вредных букашек и насекомых, замазывали больные места лечебной глиной, и дуб выздоровел. А теперь помогал добрым от злых прятаться.

Подойдя к дереву, они остановились, и Ирочка спросила:

— Кто первый в дупло полезет? Могу и я.

— погоди, — остановил ее принц, оценивая взглядом длину ствола без веток. — А мы залезем? До веток ведь высоко.

— Еще как залезем! — обнадежила его она и, цепляясь за сучки и наросты коры, быстро вскарабкалась и остановилась у края дупла.

За ней последовала Маша, время от времени останавливаясь и помогая Ежику, не привыкшему к лазанию по деревьям.

— Только учтите, — предупредила Ирочка, — придется вниз, на самое дно дупла прыгать. Не бойтесь: хоть и высоко, но не страшно. Я-то сиганула, не разбирая, потому что мне погоня все мерещилась. Я бы еще и не туда скакнула. Но я верила, что дуб мне плохого не сделает. Так и вышло. Ну, приготовились?.. Все вместе! Раз, два, три!

И они прыгнули. Прыжок был затяжной, почти полет. Казалось, что они всю жизнь будут вниз падать. Однако всему бывает конец. Они мягко приземлились на кучу дубовых листьев. Встали и невольно наверх посмотрели. Своды потолка из толстых, огромных корней образовывали купол, как в церкви, только с отверстием посередине, которое чернело далеким пятном. Стало понятно, что они уже глубоко под землей. Но, к их удивлению, здесь совсем не было темно. Они ясно видели друг друга. Огромная зала, в которой они

очутились, вся светилась изнутри. Маша пригляделась и поняла, что свечение шло от полированных дубовых стен из корней.

– Понравилось? – гордо спросила Ирочка.

Но, ошеломленная полетом и открывшимся пространством, ее сестренка пропустила вопрос мимо ушей и сама спросила:

– А почему тут лестницы нет, хотя бы веревочной?..

Слегка надувшись, что на ее слова Маша не обратила внимания, Ирочка все же ответила:

– Чтобы никто не мог даже предположить, что здесь – убежище и тайное жильё.

И подняла кверху палец, призывая прислушаться. Из стен сочился глухой шорох, то усиливаясь, то замирая.

– Слышишь? Он подтверждает, – шепнула она.

Маша, как ни напрягалась, никаких слов не разобрала, но все же почувствовала, что стены и впрямь излучают доброту и готовность защищать попавших в беду.

– А как нам отсюда выйти? – не отставала она от Ирочки.

Она не могла забыть, что тараканы шли войной на ее родителей. Понимала, что нельзя в дупле отсиживаться... Но люди не птицы. Вылететь отсюда не смогут. И тут вдруг из шорохов, шуршаний, тихого скрежетанья сложились слова, твердые и ясные:

– Я помогу.

– Слышала теперь?! – воскликнула Ирочка. – Он, то есть сам дуб, нам поможет.

Пока девочки говорили, Ежик внимательно прислушивался, приглядывался и приняхивался. Потом подошел к стене и потрогал ее. Шорох усилился, усилилось и свечение.

– Это светляки! – догадался он. – Они здесь живут и с дубом дружат. И из этой залы должны быть ходы, я чувствую!

– Конечно, есть, – сказала Ирочка. – Тут вы еще много комнат увидите! У него, то есть у дуба, всего много. Он такой древний, что его корни на весь лес разрослись. Через корни мы потом и выйдем, когда надо будет. Дуб корень отодвинет – образуется ход, мы и выберемся. А теперь я вас со здешними жильцами познакомлю. Идите за мной.

Она подошла к той части стены, которая казалась темнее других. Шагнула в темноту и исчезла. Потом снова выглянула:

– Проход открыт. Можно идти. Смелее!

Маша и Ежик двинулись к ней и очутились в длинном коридоре. Впереди маячило светлое пятно выхода. Они шли, задевая руками и плечами за корявые выступы корней. Но вот еще несколько шагов – и они выбрались в такую же просторную залу.

— Здесь что-то вроде вольера, — объяснила Ирочка. — Тут воробышки летать учились.

Они нырнули в следующий темный коридор, который вывел их в комнату поменьше. Там от стены к стене были установлены на разной высоте жердочки. В одном углу притулился шкафчик с посудой, в другом — ведерки с водой, в третьем — ящички с зерном; стоял стол, а на столе, нахохлившись и грозно устремив на входящих клюв, — курица Хохлатка. Она топорщила перья и выглядела очень грозной птицей. За ней толпились взъерошенные воробы, то и дело норовившие выскочить вперед курицы и первыми встретить незнакомцев. Но курица крыльями отпихивала их назад.

— Хохлатка, это я, и с друзьями, — успокоила ее Ирочка.

Курица тут же пригладила свои перышки, а воробы радостно полетели навстречу Ежику и девочкам. Они садились им на плечи, на руки, на головы и приветливо чирикали.

— Вы так здороваетесь? Конечно, здравствуйте, — сказала вежливая Маша. — Вы можете нас не бояться. Мы не злые, как Тыковкин и Карачун. Мы тоже против них. Я старшая Ирочкина сестренка...

— Да они все про вас знают, — перебила ее Ирочка. — Я им все-все рассказала. — И, обратившись к курице и воробышкам, добавила: — Ведь правда рассказывала? Это — наша Маша, а это — принц Карл, хоть по виду он и Ежик. Он был в плену у Тыковкина, сбежал. А теперь мы хотим с Тыковкиным и тараканами бороться. И вы нам поможете!

— погоди, Ирочка, не торопись, — остановил ее Ежик, — надо сначала сесть всем вместе и побеседовать, обсудить. А Хохлатка нас чем-нибудь покормит. Я ведь в тюрьме ничего не ел. А немного подкрепиться нам бы всем не мешало.

Вот тут девочки пожалели, что отдали Элизе Машин фартучек-передничек. Но сделанного не воротишь. И они посмотрели ожидающе на курицу. Та снова насторожилась, но, помешкав немного, проворчала:

— Я, конечно, вас покормлю. Но это все, на что вы можете рассчитывать. Ни с кем я воевать не собираюсь и воробышков своих тоже никуда-куда не пушу. Мы здесь спрятались, и нам хорошо. Садитесь куд-куда-нибудь, а я покуд-куда на кухню пойду.

И она скрылась в соседнем помещении, откуда сразу раздался недовольный звяк и стук кастрюль и тарелок. Тем временем гости уселись на лавки вокруг стола. Воробы покружились по комнате и, посоветовавшись друг с другом, устроились на ближайшей к столу жердочке. И самый крупный из них, бывший в их компании, наверно, вожаком, прочирикал:

– Ирочка вас представила. А мы хотим сами представиться. Мое имя – Чирик. Я здесь самый старший. Тот, что со мной рядом, зовется Чик. Дальше по порядку – Чирик-чик и Чик-чирик. И две воробьихи – Рики-чика и Чикирика. И, пожалуйста, не обижайтесь на нашу мать – курицу Хохлатку. Она просто боится за нас. А нам надоело прятаться. На воздушном просторе так хорошо! Мы ведь, чирик-чик, иногда потихоньку вылетаем. Мы, конечно, можем поклевать всех тараканов. Но, если честно, мы опасаемся тех, кого Маша назвала руконогими. Хохлатка нам рассказала про них, они могут любую птицу подбить из рогатки. Если бы не они, мы бы давно уже...

– Мы бы, мы бы... – прервала его, входя в комнату с подносом, Хохлатка. – А что – мы бы?.. Сколько я учила вас поменьше кудахтать – куд-куда там! Не можете куд-держаться!..

Она ворчала, но при этом расставляла по столу тарелки и накладывала в них горячую пшеничную кашу. Разложив еду, взлетела на насест поближе к своим питомцам. Уставшим и проголодавшимся беглецам каша пришлась по вкусу. Наконец, насытившись, Ежик отодвинул тарелку и произнес:

– Спасибо, уважаемая Хохлатка, за угощение. Ты замечательная хозяйка и вообще очень умная и хорошая. По дороге сюда Ирочка рассказала о твоём предусмотрительном бегстве от Тыковкина и как ты спасла – высидела и воспитала – воробышков. Если мы победим, то Машин папа наверняка запишет твою историю в Книгу судеб.

– Вижу, куд-куда ты клонишь, но курицу на мякине не проведешь, какой бы ты куд-кудесник ни был! – рассердилась Хохлатка. – Какая еще там победа! Возможна только беда, куд-куда ты моих воробышков и заманиваешь. Не позволю я им никуда-куда с тобой идти. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка – воробьенка, утенка, куренка, – чтобы несытое чучело бедную крошку замучило! Я эти слова от людей еще раньше слышала. И они правы, потому что несытое чучело по имени Нолик Тыковкин у нас всех курят и утят перевел. Поел их. Он же хуже таракана!

– А он и есть таракан, только превращенный, как руконогие! – вскричала Маша и выскочила из-за стола. – А таракан – это совсем не страшно! Ты от людей слова слыхала не простые, а из стихотворения. И оно очень хорошо кончается. Я тебе его прочту..

И она, торопясь, чтоб ее не перебили, начала прямо с середины:

Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,

Закричала сгоряча:
«Разве это великан?
(Ха-ха-ха!)
Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)
Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы – зубастые,
Вы – клыкастые,
А малявочке
Поклонились,
А козявочке
Покорилися!»
Испугались бегемоты,
Зашептали: «Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худо!»

– Но вот тут и начинается самое главное, самое-самое, – прервалась на минутку Маша. – Вы теперь внимательно слушайте.

Но воробышки и без того затаили дыхание, даже Хохлатка притихла и не кудахтала. И девочка продолжила:

Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг,
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана –
Вот и нету великана.
Поделом великану досталось,
И усов от него не осталось.
То-то рада, то-то рада
Вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!
Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бороδοю дорогу метут,

Бараны, бараны
Стучат в барабаны!
Сычи-трубачи
Трубят!
Грачи с каланчи
Кричат!..

– Мама! – завопил вдруг самый большой воробышек Чирик. – Ты слышала? Даже грачи! Я тоже хочу, чтобы меня грачи прославляли.

– И я! И я! И я! – зашумели остальные воробы. А Чирик сделал круг под потолком и досказал:

– И вообще, таракан – лишь жидконогая козявочка-букашечка! Мы давно это подозревали! И мы их можем поклевать! А от руконогих мы увернемся! Честное слово!

– Молодец, Машенька, вовремя вспомнила! – Ежик одобрительно кивнул ей.

– Точно, – согласилась Ирочка, – я знала сообразительных девочек, но такую умницу встречаю в первый раз. И поэт этот хорошие стихи написал, ну, тот, у которого фамилия на Чур начинается. Чур-ковский, кажется. Ладно, нечего улыбаться. Конечно, Чу-ковский!..

Впрочем, улыбки быстро пропали. Курица сидела на жердочке, нахохлившись и глядя на пришельцев исподлобья. Потом сказала:

– Я этих тараканов не хуже моих воробышков могу склевывать. Не тараканы для нас страшны – руконогие. Детишки еще глупые, я им об этом столько раз куд-кудахтала. Но они все равно не понимают, что от камня из рогатки вернуться почти невозможно.

Тут встал Ежик, оперся левой рукой о стол, правую сжал в кулак: вид боевой и мужественный. Маша с трудом могла представить, что совсем недавно он был обыкновенным плюшевым ежиком.

– Руконогих я беру на себя, – произнес он. – Риск, разумеется, есть. Но я обещаю тебе сразить всех руконогих. А когда моя иголка попадает в руконогого оборотня, он сразу съезживается и возвращается в свое тараканье обличье. И это уж твое дело, Хохлатка, твое и твоих деток. Клюйте их без пощады!

– А что мы будем делать? – спросили девочки.

– Ваша задача, быть может, самая трудная. Надо как-то Карачуна отвлечь. Если он вмешается в битву, то с ним я не совладаю. Хорошо бы, конечно, здесь Чуру появиться, но чудеса случаются редко. – Ежик задумчиво провел ладонью по топорщившимся на голове иголкам. – Мы сами должны справиться.

— А как ты сладишь с советником и слухачами? Ведь они же не оборотни, а, хм-м, вроде как человеки, — хмыкнула недоверчиво и с беспокойством Ирочка. — Разве для них твои иголки опасны?

— У меня найдется и против них оружие, — уверил ее принц. — Я пока вдоль стен ходил, пошептал дубу свою просьбу. Думаю, он мне поможет. А когда эти негодяи увидят, что мы побеждаем, они наверняка струсят и сбегут. С Карачуном сложнее всего. Он, может, чистоты и не переносит, даже болеет от нее, но вообще-то его ничем не возьмешь. Никто не знает, где его смерть.

— Я, кажется, знаю, — неуверенно сказала Маша. — Карачун сам проговорился. Она у Тыковкина хранится.

— Это вряд ли. Хотя... — Ежик пожал плечами. — Хотя все может быть. Нолик хитер, хитрее всех. Но во всяком случае мы-то все равно не представляем даже, где он ее прячет.

Хохлатка молча слушала их разговор, а потом раскудахталась:

— Эж, куд-куда как размахнулся! Будто мы куд-куда-то согласились идти. А если мы никуда-куда не пойдем?

— Конечно, пойдете, — мягко возразил Ежик. — Неужели тебе не надоело в дупле прятаться, вместо того, чтобы на солнышке гулять, в земле червячков искать, с петухом кудахтать, а воробышков отпустить на вольную жизнь?

— Ур-ра! Да здравствует принц! — возликовал Чирик и принялся носиться под потолком.

— Ур-ра! — поддержали его и другие воробьи.

И вся стайка закружилась в радостном воздушном танце.

— Куд-куда, куд-куда какой речистый! Уговорил. Это уж я ворчу так, для порядку-да... — Курица перестала хохлиться, ее перышки распрямились, и стала она похожа на грозную боевую птицу. — Куд-куда мы денемся! Надо сражаться!

— Тогда план таков. Мы выходим на поверхность там, где всего ближе к тараканьим военным тропам. Они уже в походе, и мы должны их перехватить. Хохлатка и я прячемся в кустах. Воробышки начинают атаку. Но не увлекаются, а постепенно отступают в нашу сторону, заманивая руконогих. А затем быстро скрываются в ветвях и листьях. Пока оборотни опомнятся, я успею своими иголками многих поразить и отараканить. Это будут крупные тараканы, и расправиться с ними сможет только Хохлатка. Тут и воробышки снова появляются, клюют всякую мелочь и тараканий сброд. А я тем временем должен к Тыковкину пробиться. Для него у меня самая острая игла припасена. И все получится, как задумано, если Карачун не поспевает к этой битве. Поэтому, мои дорогие девочки, найдите

всякие слова и хитрости, чтобы его задержать. Говорите, например, что поняли свою вину и хотите ему служить. Может, он и поверит.

— А если нет? — вздохнула Ирочка и, состроив печальную физиономию, добавила: — Тогда нам карачун будет, наверное.

Принц не сразу ответил.

— Должен поверить, — наконец жестко выговорил он, — должен! Иначе... Иначе вам нелегко придется, тяжелее, чем нам... Я уже говорил, что ваша задача не только самая трудная, но, быть может, и самая опасная. Вам надо Карачуна продержать, и долго, пока я с Тыковкиным справлюсь. Тогда колдун отсюда сам уйдет, без Тыковкина ему здесь нечего будет делать. Вот и все, что я могу вам сказать.

— Вперед! — засвиристел Чирик.

— За мной! — приказал Ежик.

Их движение сопровождали шорох и треск светлячков, освещавших им путь. Тяжелые переплетения корней сдерживали сыпавшуюся под ноги землю. И вскоре они очутились в небольшой комнате вроде прихожей перед выходом на улицу. Там стоял в углу только один стол, и на нем что-то лежало. Светлячки поспешили осветить помещение. И все увидели на столе дубовый лук с тетивой из гибкого и длинного дубового корня, а рядом колчан, полный стрел с оперением из дубовых листьев. Ежик подбежал к столу, поднял лук, натянул и отпустил тетиву, слушая раздавшуюся музыкальную ноту боя. Потом достал одну стрелу, попробовал острие и, довольный, засунул ее назад в колчан. Обернувшись к спутникам, пояснил:

— Это против Советника и слухачей-шпионов. — И воскликнул:

— Спасибо тебе, старый дуб! Я изгоню из твоего леса тараканье колдовство. А теперь выпусти нас наружу.

Медленно, раздирая пласт земли, двинулось вбок и вверх одно из корневищ, посыпались комья земли, и девочки увидели белый утренний свет. Оказывается, пока они сидели в дупле, прошла ночь. Но спать совсем не хотелось. Когда все выбрались на зеленую траву, корень словно всосало назад и он встал на прежнее место, скрыв тайный ход. Они огляделись. Как будто неподалеку находилась площадка руконогих. Их, однако, видно не было. И — тишина. Как в тот момент, когда девочки впервые вступили на заколдованное место. Хотя какое-то движение, почти незаметное и непонятное, чувствовалось в воздухе.

— Ну-ка, ребята-воробьята, в воздух, на разведку, без разведки дальше опасно идти, — попросил принц. — Только не дайте себя заметить. Вверх, осмотритесь по сторонам — и немедленно назад.

Воробьи, конечно, и сами стремились в небо — чистое, свежее, синее. Они взмыли к верхушкам деревьев, но почти сразу же вернулись к своим спутникам.

— Что, непривычно на воле? — улыбнулся Ежик.

— На воле — чудесно, — пискнул храбрый Чирик, — но тараканье войско уже близко. Поэтому скорее прячьтесь!

И точно: поспешить стоило. Едва друзья укрылись в кустах, как мимо них пробежали, проскакали и пролетели удиравшие наутек жуки, кузнечики, мошки и мурашки. А следом по асфальтовой дорожке и траве надвигалась чернота — бесчисленные ряды черных, черно-коричневых и буро-черных тараканов.

Впереди бежали легкой рысцой мелкие таракашки — вроде как легкая кавалерия. Серьезного боя они бы не выдержали, но напугать неожиданным налетом, мгновенным захватом большой территории, ошеломить противника — да, это они могли. За ними — тараканы-битюги тащили стенобитные машины для пробивания тараканьих ходов и щелей в домах. И лишь потом катилось основное воинство — тараканья гвардия: огромные, твердоусые, клыкастые, крепкопанцирные великаны. Но страшнее всего выглядели руконогие: тараканьи люди. Одеты в полувоенную — черную и коричневую — форму, они не сустились (как тогда на асфальтовой площадке), а шли, воинственно чеканя шаг, самодовольные, важные, уверенные в себе. Их было на удивление много. Старый Карачун постарался, создавая руконогих оборотней. Некоторые из них несли плакаты.

**ПЕРЕТАРАКАНИМ МИР ЗАНОВО!
И
ВЫШЕ ЗНАМЯ ТАРАКАНЬИХ ПОБЕД!**

И еще в том же духе. Посередине войска трепетало огромное полотнище, на котором было написано больше всего слов. Ежик и девочки вчитались. Это была тыковкинская программа жизни людей.

ПРИКАЗ № 1

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ, А ТАКЖЕ ИЗ КВАРТИРЫ
МЫТЬ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
ПРИНИМАТЬ ДУШ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЫЛЕСОСОМ**

ПРОЧИЩАТЬ МУСОРОПРОВОД
ПОДМЕТАТЬ КОМНАТЫ
СТИРАТЬ БЕЛЬЕ
ВЫТИРАТЬ НОГИ ПРИ ВХОДЕ В ДОМ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ТРАВИТЬ КЛОПОВ И ТАРАКАНОВ

ИМПЕРАТОР НОЛИК ПЕРВЫЙ

За руконогими ехала тележка, запряженная четверкой толстых свиней. В ней сидели Советник Евсейка и три слухача-шпиона.

— Из этих свинок Нолику торжественный пир устроят, если они победят, — буркнул Ежик. — Но мы постараемся ему попортить аппетит. А ну, воробышки, начинайте! Да сразу по гвардии ударьте, чтоб вас скорее заметили. Это самые крепкие, они как раз перед руконогими идут. Но как только руконогие возьмутся за рогатки, отступайте к кустам.

И стайка воробьев, возглавляемая Чириком, внезапно выпорхнула из лесной листвы, взмыла в воздух и с высоты спикировала на тараканью гвардию.

Гвардейские тараканы с перепугу бросились было врассыпную, но воробьи атаковали их с краев, отжимая к центру, где тут же образовалась тараканья куча-мала, ошетилившаяся усами. Усы, однако, мало помогли против крепких птичьих клювов. Мерзин вскочил в своей тележке и заорал на весь лес:

— Рогатки — на изготовку! Пли!

Оборотни побросали плакаты и выхватили из карманов рогатки, камешки и гнутые железки. Полетели смертельные пули. Воробьи, увертываясь от них, заманивали врагов к кустам, где затаился принц. Руконогие, уверенные в победе, наступали. Но птицы вдруг скрылись меж ветвей. Только Чирик, самый отчаянный, продолжал кружиться перед врагами. И внезапно упал прямо на руки Ирочке, сраженный камнем. У него было перебито крыло. Ирочка, склонившись над ним, принялась за перевязку. Из кустов стремительно вскочил Ежик. И, со свистом разрезая воздух, в руконогих полетели его иголки. В кого они попадали, тот моментально сдувался, опал, сокращался в размерах. И вот вместо тараканьих людей среди травы засновали крупные раскормленные тараканы. Но за них взялась Хохлатка, неутомимо склеывая одного за другим. Уцелевшие оборотни дрогнули и начали отступать.

С тележки соскочили здоровенные длинноухие слухачи и бросились к невысокому, хрупкому, хоть и колючему Ежику. Но он мигом

сорвал с себя лук, наладил стрелу — одну за другой — и пригвоздил оттопыренные уши шпионов к деревьям.

— Отходим! — охрипшим голосом трусовато покричал Советник. — Надо Нолику сообщить и Карачуна на помощь звать.

Он хлестнул кнутом по свиньям, тележка развернулась и понеслась прочь. За ней побежали тараканьи полчища. Маша от радости захлопала в ладоши. Ежик на хлопки обернулся, нахмурился:

— Ты почему еще здесь? Это только начало битвы. Торопись!

Маша покраснела от стыда, что не выполнила свое задание, и со всех ног побежала к домику Карачуна, погладив на прощанье по голове Ирочку и Чирика.

Глава одиннадцатая

Появление Чура

Маша не заметила, как выскочила из леса, как миновала ворота, как пронеслась мимо вивария, как по еле заметной тропочке среди болота добежала до карачуньего жилища — так она торопилась сделать то, что должна была сделать. Опомнилась она на пороге перед словно бы нарочно для нее распахнутой дверью. Маша насторожилась, оглянулась — ничего и никого опасного не увидела, помедлила и шагнула внутрь. Там снова было грязно и пакостно, будто и не убирала она это помещение совсем недавно, не мыла его, не чистила. Котел, снова весь перепачканный, висел над очагом, в котором медленно догорал огонь. Значит, Карачун еще дома? Успела!

— Ну что, голубушка, — раздался над самой ее головой пронзительный, как у комара, и одновременно по-тараканьи скрипучий голосок, — не удалось тебе старичка до смерти уходить? А поди, очень хотелось!

Маша вздрогнула, увидев вдруг перед собой свесившегося с печи Карачуна с двумя болтающимися кисточками волос — на подбородке и на темени. Не успела она отскочить, как из-за головы старика взметнулась его третья рука, ухватила девочку за воротник платища и подтянула поближе к злоехидной физиономии колдуна.

— Да это я, дед Ворчун, случайно сделала. Хотела как лучше. И не подумала, что тебе от этого плохо будет. Да если б я знала, что так

получится, ни в жизнь бы так не поступила. Я ж еще вчера поняла, что сильнее тебя никого в мире нет.

— Это так, — самодовольно поддакнул страшный старик, — даже Чур со мной совладать не мог. Это да. Ну, а теперь расскажи мне, зачем ты снова явилась? Я ведь уж совсем на выход собрался. Хотел заключенных своих поглядеть, попугать их, потешиться, потом к Нолику заглянуть, узнать, что новенького... А тут ты вдруг... Ну ничего, негодяйку за воротник покрутить да помучить маленько тоже приятно.

— Ой, — вскрикнула девочка, немного испугавшись, но больше делая вид, что испугана. На самом деле она была рада, что все же удалось ей застать Карачуна дома и теперь она его сможет задержать.

— Ой, — повторила она виноватым голосом, — я прощения просить пришла. За то, что по ошибке неправильно поступила — пол вымыла и все вычистила. Я больше так не буду!

— Неужели? — старик пристально всматривался в нее своими маленькими голубенькими глазками, крутя и сдавливая воротником ее шею.

У девочки перехватывало дыхание и было больно горлу. Но она, насколько хватало сил, держала карачуний взгляд, будто говорила на самом деле правду.

— Ну конечно! — как можно искреннее выговорила она. — Я, пока в муравейнике сидела, решила к тебе в ученицы пойти. И, как только выбралась, сразу к тебе прибежала. Приказывай — все исполню. Только своей мудрости научи.

— Ладно, поверю... — Старик отпустил воротник. — Но проверю.

Маша перевела дыхание, облегченно вдохнула и выдохнула:

— Проверяй. Я хоть сейчас у тебя такую грязь разведу, что в ней утонуть можно будет.

— Да ну? — старик покрутил волосики на подбородке.

— Ага, — подтвердила она.

— Ну чего уж, это хорошо. Постарайся, — ухмыльнулся колдун. — А я посмотрю, кто из вас лучше постарается. Кто больше грязи нанесет, ту и награжу.

— А кто еще здесь? — удивленно и с тревогой воскликнула девочка. — Разве ты не один живешь?

— Кто же, как не я!

На пороге стояла чумазая, вся в саже и золе, сопливая, в Машинном, теперь уже грязном, фартучке-передничке предательница Элиза. Правда, ее розовое платьице стало еще замызганнее. В руках она держала помойное ведро, полное болотной жижи. И выплеснула его прямо Маше под ноги, забрызгав ее всю снизу доверху.

– Правильно, девчушка! – одобрил Элизу Карачун. – Надо, чтоб вы обе обязательно одинаково грязными стали. Для сравнения это важно.

– А зачем же сравнивать?! – взвизгнула Элиза. – Я стараюсь, стараюсь, все делаю, что мне велят: предаю, пачкаю везде. А она сразу на готовенькую грязь пришла! А до этого чистенькой хотела быть! Да и вообще, зачем она здесь? Зачем пришла? Ты, дед, спросонья все забыл и всякую осторожность потерял. Ведь ее и Ирку еще вчера вечером должны были перед виварием мусором засыпать и тараканами затравить. Я ж тогда Нолику донесла, что они с этим преступным Ежиком переговариваются и думают, как его освободить. Я их обманула, что скоро ключ от вивария принесу. Чтoб они ждали и не уходили. Но она, наверно, удрать успела...

– А ну цыц! – прикрикнул старик. – Ничего я не спросонья. Карачун все знает, все понимает. Сюда она явилась, чтоб вроде бы прощения попросить, а самой, небось, хочется у меня что-нибудь выведать. Пусть ее!.. Мне важнее, чтоб она у меня перед глазами вертелась. Так оно спокойнее и надежнее.

– А Ирка? – не унималась Элиза.

– Ну, эта мне и даром не нужна. Где-нибудь в парке прячется. С ней мы в рабочем порядке разберемся. Мимоходом прихлопнем. У меня все учтено! – Колдун устремил на Машу свои пронзительные глазки, словно ожидая, что она вот-вот в чем-то признается или хотя бы проболтается. – Думаешь, ей кто-нибудь поможет? Хотя... Тебе-то ведь кто-то помог в муравейнике уцелеть. И с голоду ты не околела...

Маша молчала. В эти дни она научилась молчать, когда надо. И почти ничего не бояться.

– Видишь, она молчит! Конечно, молчит! – вдруг сообразила Элиза. – Хочешь, я тебе все расскажу, Карачун? Ей Чур помогает! Как же я об этом забыла? Он ей фартучек-передничек заколдовал, чтоб она не голодала. Я подглядела. Она пошепчет: «Чур-чур, только не чересчур» – и сразу на передничке еда появляется. Я у нее этот фартучек-передничек выманила, но мне еду Чур не дал, потому что я за вас! Понял? Ты уж лучше заодно и Машку прихлопни, пока она сюда Чура не подманила!

От этих слов старик свалился с печки прямо в грязь. Но быстро вскочил на четвереньки, глаза вытарачил, на Машу уставился и, подвывая тоненько, залопотал:

– Про все знал. И что муравьи ее пожалели. И что Ирка с ней была. И что иглоносного злодея они освободили. И что в старом дубе отсиживались. Про дуб вообще-то недавно догадался, но ни-

чего, теперь его спилим... А вот что Чур опять в мои дела вмешивается — это опасно... Думал, пусть порезвятся, птичек на волю выпустят, все равно им ходу отсюда нет и от меня не скроются. Пусть, думал, руконогих пощелкают, Нолика попугают, чтобы, от страха икая, ко мне за помощью прибежал. Тут бы я всех победил, и снова бы Нолик передо мной заискивать стал, вспомнил бы, что без меня он и взаправду нолик! Но Чур!.. Про него не знал, его не учел, не входил он в мои планы! А ты, дурацкая девчонка, значит, перехитрить меня хотела?

Маша гордо вскинула голову и ничего не ответила.

Колдун пробежался вокруг нее, перебирая по полу своими пятью конечностями, как паук. Затем поднялся на ноги, встряхнулся, протянул к девочке правую руку и прозудел пронзительно, как болотный комар:

— Так-так, хватит мне из себя доброго деда Ворчуна корчить! Обещал я тебя наградить по заслугам — и награжу. Получишь ты от Карачуна подарочек, который навечно тебе рот заткнет, чтобы ты до Чура отныне докричаться не могла. Хотела принца полюбить — так сократись в размерах, съежься и будь ежу подходящей принцессой. Квакай же всю свою оставшуюся жизнь! Пусть будет мое заклятие нерушимо до самой моей смерти, которую никто никогда не отыщет. И пушу я тебя, принцесса-лягушка, в болото к другим лягушкам и жабам, чтоб нельзя тебя было от других квакушек отличить.

И девочка почувствовала вдруг, как ее кожа становится скользкой, пупырчатой и холодной, провисает складками, а руки, ноги и все тело неотвратимо съеживаются. И вот уже вместо слов у нее изо рта вырывается неразборчивое кваканье. Да, все так и произошло, как наколдовал Карачун. Лягушка Маша сидела в жидкой, ледящей ее кровь грязи, высунув нос, чтобы не захлебнуться, и квакала.

— Брось ее в болото! — велел Карачун Элизе.

Элиза заулыбалась и, совершив танцевальное па, послала колдуну воздушный поцелуй, как всегда делала, когда ликовала. Но только она хотела двинуться к Маше и схватить ее, как, оттолкнув предательницу, в домишко вбежал Советник. Он был бледен и испуган.

— Беда, старик! — завопил он, потный от быстрого бега. — Кончай здесь свои штучки! Твоя помощь ох как нужна! Еж наступает! Воробьи тараканов почем зря клюют. А Еж своими иголками руконогих бьет и сдувает, превращает их в тараканов, не дает им за рогатки взяться. А проклятая курица их доклевывает! Тесть мой Агафон так погиб. А жену мою Мотьку-тараканиху гадкая Ирка ногой размазала. Нолик в своем кабинете заперся! Полный развал! Вся твоя работа, старик, все твои старания насмарку могут пойти!

Он вопил, а словно бы и не очень переживал гибель своих тараканьих родственников и разгром армии Нолика, будто и иная какая мысль таилась в его глазах. Лягушка Маша это ясно видела. Карачуна он звал, а сам ведь сбежал, битву покинул, не послал кого-нибудь из руконогих или тараканов, не остался Нолика защищать... Почему? То же и колдун почувствовал. Он с подозрением поглядел на Мерзина и проговорил не слишком дружелюбно:

— Другого слушай, а своему глазу доверяй. Не может хуже быть, чем я ожидал. Но откладывать и вправду неча, пойдём себе потихоньку. А ты, девка-чернавка, — прикрикнул он на Элизу, — передничек-то чужой сыми да мне отдай. Я в него нашу новую лягушку заверну и на страх врагам нашим с собой прихвачу.

Но, не дожидаясь, пока Элиза выполнит его указание, он поймал ее за руку, подтащил к себе поближе и грубо сдернул с нее фартучек-передничек. А затем, быстро нагнувшись, ловко схватил лягушку Машу за ее холодную скользкую спинку. Напрасно она дрыгалась и отбивалась всеми четырьмя лапками: старик держал ее крепко. Завернув ее в передник, сунул в карман и вышел из дома. За ним суетливо и юрко, виляя всем телом, поспешил Евсейка. Последней тащилась поскучевшая Элиза, которая все никак не получала ожидаемой ею богатой платы, а лишь тычки и обиды.

— Послушай, старик, — хрипловато-доверительно заговорил Мерзин, догнав колдуна, идя след в след за ним узенькой тропочкой через болото и дыша горячо в спину, — если этот колючий-игольчатый нашего Нолика Тыковкина, пока я сюда бегал, того... сдует, пронзит и сдует, то ты меня сделай главным... Ладно? Мне ежиные иглы нипочем, и ты знаешь, я полезнее Нолика буду, потому что из твоей воли никогда, никогда-никогда не выйду.

Старик, не отвечая, широкими шагами брел через болото. Вдруг резко остановился и обернулся к растерявшемуся Советнику:

— А если Нолик уцелеет? А если я ему о твоих словах расскажу? А если мне с ним дело иметь выгоднее?

— А могу и я рассказать! — подхватила, приблизившись, Элиза.

— Да вы что, вы что, друзья! — перепугался Мерзин. — Я же предположил только! Да мне Нолик дороже отца родного! Хоть сейчас скажут: «Выбирай: отец или Нолик?» — я Нолика выберу. Он самый могучий и великий! Я просто подумал, что если...

— Вот если это «если» произойдет, тогда и разговаривать будем, — сердито прозвенел комариным своим голоском Карачун и зашагал дальше.

Советник и Элиза поплелись за ним. А Маша повторила тихо: «Плохие сами себя погубят. Правильно мне кто-то говорил. Может, папа...»

Карачун шел быстро, и еще через несколько минут они добрались до места сражения. Оно переместилось во двор серых пятиэтажных домов. Все пространство было завалено кучами мусора. В щелях и пустотах этих нагромождений таились тараканы. Их выклевали оттуда бесстрашные воробьи. Руконогие вели огонь из рогаток, прячась за мокрыми картонными коробками, выброшенными трухлявыми шкапами, столами и стульями. Ирочка, вся в синяках и ссадинах, разбрасывала руками мусор, стараясь обнаружить и открыть таившихся руконогих. Как только кто-нибудь из них мелькал в образовавшемся просвете, в него летела иголка Ежика. В колчане у него оставалась лишь одна стрела. Руконогие защищали крыльцо **КОНТОРЫ ТАРАКАНА**, которое вело в кабинет, где заперся перепуганный Нолик. Но штурмующие явно побеждали.

Все это Маша разглядела, когда Карачун взобрался на кучу мусора и поднял принцессу-лягушку над головой. Держа ее за заднюю лапку и глядя, как она беспомощно дергается в воздухе всем телом, колдун так пронзительно засмеялся, что все сражающиеся замерли и уставились на него. А он крикнул громко:

— Полюбуйся-ка, отважный принц, на свою невесту-красавицу! Полюбовался? А теперь посмотри, как я ее сжую и слопаю, прежде чем с тобой расправлюсь!

Но пока Карачун кричал свои злодейски-хвастливые слова и пасть разевал, чтоб заглотнуть лягушку Машу, последняя стрела принца была уже на тетиве и, пронзив воздух, впиалась в его руку.

— Ой-ой-ой! — взвыл злой старик и от боли разжал пальцы.

Лягушка шлепнулась на какую-то кипу рваных тряпок, соскочила с нее и быстренько спряталась за перевернутый мусорный бак.

— Ах ты, чучело чужеземное игольчатое! В наши дела вздумал соваться! — прошипел колдун, выдирая из раны стрелу и отбрасывая ее в сторону (но Маша увидела, куда стрела упала, подобрала и опять скрылась за тот же бак). — Ну берегись уж! Быть тебе сызнова и во веки вечные плюшевой игрушкой, но теперь по моему, а не по твоему хотению! Ни отмены, ни запрета моему заговору нет, пока я не захочу, а я никогда этого не захочу!

И сразу после его заклятья вместо бесстрашного бойца, метко разившего врагов, оказался среди разного хлама маленький плюшевый ежик. Будто его по ошибке выбросил вместе с мусором какой-то ребенок. Воробьи вспорхнули высоко вверх, недоступные для рогаток руконогих, но не улетали, не желая бросать в опасности свою мать-курицу и друзей. Хохлатка же тем временем мигом зарылась в большую кучу помойных отбросов в углу двора. Она помни-

ла, что со злобными руконогими шутки плохи. И Ирочка куда-то скрылась.

– Найди-ка мне нашу принцессу-лягушку! – приказал Карачун Элизе.

Встав на четвереньки, приглядываясь, поползла Элиза среди мусорных и помойных куч в поисках Маши. И добралась почти до перевернутого бака, за которым, вся сжавшись, сидела бедная лягушка. Вот уже и ее зеленую спинку заметила негодяйка. Но не успела она рта раскрыть и руки протянуть, как сбоку метнулась чья-то фигурка и вскочила Элизе на плечи и чьи-то исцарапанные ручки зажали рот предательнице. Однако не удержалась Ирочка (это была, конечно, она) и сама воскликнула:

– Никогда вам Машу не схватить, пока я цела!

– Ну, это легко исправить! – услышал ее слова Карачун и щелкнул пальцами. – И на тебя, глупую девчонку, бывшую куклу, кладу то же заклятье, что и на сестру твою по несчастью. Будь же ты, как и Маша, лягушкой-квакушкой до самой моей смерти, которую никто никогда не отыщет. Скажите две квакушки, а вас Элиза ловить будет.

И поймала бы их Элиза, хотя и поскакали лягушки торопливо прочь, прячась за размокшими картонными коробками. Но вышел в этот момент на крыльцо Тыковкин. И Советник заорал восторженно:

– Все – смир-рна! Равняйся на крыльцо! Да здравствует великий и победоносный император Нолик Первый! В этот величественный и печальный час, глядя на поверженного лютого врага, мы должны оплакать павших в неравной борьбе и воздать должное героям, благодаря которым наше дело увенчалось блистательной победой. И прежде всего я хотел бы, чтобы мы прокричали троекратное «ура» в честь нашего покровителя, самого могучего колдуна в мире – Карачуна Бессмертного. Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!

Разумеется, уцелевшие руконогие подхватили эту здравицу. А колдун улыбался, довольный собой, почесывал третьей рукой свою лысую голову и бормотал еле слышно:

– Говорил же я, что подлизываться будет. Но пусть, пусть. Все равно приятно, когда тебя перевозносят.

Нолик поднял правую руку, призывая слушателей к тишине, а левой достал из-за спины портфель, в котором что-то трепыхалось.

– В знак твоих неоценимых заслуг, о мой могучий друг, – начал Тыковкин, – я собираюсь вернуть тебе твою...

Он не договорил. Послышался вдруг не то свист ветра, не то звук работающего пылесоса. Потом ненадолго тишина. И в этой тишине тем отчетливее прозвучали далекие, но тяжелые приближающие-

ся шаги. И через минуту или две над лесом возник силуэт старика, будто даже знакомого двум притаившимся лягушкам. Был он, как всегда, гладко выбрит, лоб в морщинах, только уж очень непривычно огромен. В руках он держал великолепный пылесос. Не обращая ни на кого внимания, поставил он пылесос на землю и, прежде чем включить, пояснил:

– Грязно тут у вас. Уборку проводить надо. Сами не хотите – чур, мне придется. Я так всю жизнь поступал.

И нажал кнопку. Пылесос загудел, всасывая в себя горы мусора, помойные кучи, всякий хлам, дохлых тараканов. Хохлатку со всех сторон почистил. Но ни она, ни руконогие, ни Советник, ни Тыковкин, ни даже Карачун, ни, конечно же, плюшевый Ежик и две сестренки-лягушки в этот вихрь не попали. И во дворе стало чисто.

Карачун, задрав вверх голову, с ужасом смотрел на огромного старика и дрожал мелкой дрожью. А когда тот выключил пылесос, со страхом и злобой колдун выкрикнул:

– Это Чур! Чур меня, чур! Ты же меньше раньше был! Зачем явился? Меня наказать? Не выйдет! Смерть моя тебе неподвластна.

– А мне она и не нужна, – сурово ответил Эрнест Яковлевич Чур. – Все, что ты плохого делал, сегодня против тебя обернется. Зато хорошие и чистые победят. Ты же от чистоты корчишься и болеешь... Каково же тебе покажется, когда весь мир от грязи избавится! Совсем худо тебе станет. А теперь приказываю: чур, немедленно оживи принца по собственному хотению – не то я тебя навсегда в жука-плавунца обращу. И будешь, бессмертный, бесконечно по болоту бегать, никому не нужный. И поверь мне: мое волшебство сильнее твоего колдовства. Пока ты злодействовал и пакости строил, я учился и книги читал.

Огромной рукой он поднял за шиворот Карачуна, поднес к своему лицу и посмотрел ему пристально в глаза. Не выдержав его взгляда, злой колдун дунул в ту сторону, где лежал на земле плюшевый ежик, и, кривясь, проговорил:

– Так и быть. Снимаю мой заговор по моему собственному хотению. Будь, кем ты должен быть. Все равно от Нолика проку уже никакого.

И принц Ежик, смелый, быстрый и, главное, живой, вскочил на ноги и воскликнул:

– Спасибо тебе, добрый волшебник Чур! А вы, руконогое племя, выходите на последнюю битву! Это и к тебе относится, Ноль!

Его иголки били оборотней без промаха, а отараканившихся доклевывали воробы и опомнившаяся от страха Хохлатка. Нолик,

присев на корточки, выглядывал из-за перил, прикрываясь коричневым портфелем. Чур опустил Карачуна на землю и сказал:

– А ты стой и смотри на конец своего злодейского предприятия. Зло злодействует, но добрый и смелый рано или поздно побеждает!

– Меня вам все равно не одолеть, – проворчал Карачун себе под нос, озираясь по сторонам, куда бы и как удрать. В битву он уже не вмешивался, да и Чур не допустил бы.

Наступил светлый победный вечер. Наконец был отараканен последний руконогий защитник крыльца. Взмахнув луком, принц ринулся к Тыковкину. Но тот, выставив перед собой портфель, как щит, предохраняющий его от ежиных иголок, заюлил:

– Ты погоди, погоди! Ты куда? Я, может, и вообще здесь ни при чем. Почему я? Почему я отвечать за все должен? Это Карачун во всем виноват! Это он меня создал!

Увидев, что принц приостановился, слушая его, Нолик даже с корточек встал и укORIZненно обратился к колдуну.

– Что же это ты, злодей Карачун?.. Зачем меня втянул в такое плохое дело? Подставил ты меня, старик, подставил. Не ожидал от тебя. Нехорошо это с твоей стороны. Подбивал меня на дурные поступки. И про Книгу Машенькиного папочки все мне наврал. Уверил меня, мол, то, что я туда запишу, непременно исполнится. И что написать – подсказал. А сколько бы я ни писал, продержится моя запись две минутки и исчезает. Вот ты какой скверный вран! Тебе, колдуну, и расплачиваться за все надо, раз ты во всем виноват. Вот, Чур, отдаю тебе карачунскую смерть! Держи!

Торопливыми пальцами расстегнул Нолик свой коричневый портфель, вроде бы попытался оттуда нечто достать, но зашестуршилось там что-то, забилось и, минуя Ноликовы руки, из портфеля вырвалась на волю утка.

– Ой, держите ее, в ней карачунская смерть! – завопил Тыковкин, нелепо размахивая руками.

И, как всегда, нельзя было понять, случайно он выпустил утку или нарочно дал ей улететь, чтобы на всякий случай сохранить с Карачуном дружбу. Утка взмыла вверх, но не улетала, делая круг за кругом над тем местом, где стоял Карачун. Все растерялись.

– Улетай, дура! – завопил колдун.

Утка взмахнула крыльями, набирая высоту.

– Эх, где моя стрела?! – с досадой воскликнул принц.

Но лягушка Маша уже протягивала ему спасенную и сохраненную стрелу. И вот, сорвавшись с тетивы, она стремительно ринулась вверх, вдогон. И через мгновение пронзенная ею утка тяжело шлеп-

нулась на землю. Брюхо у нее лопнуло, и из него выпало и покати-лось яйцо.

— Не уйдешь, подлое! — вскочил на ноги притворявшийся мерт-вым Советник и, в секунду догнав яйцо, раздавил его. — Я ваш, я всегда был на вашей стороне, — задумчиво-хрипловатым и шурша-щим голосом объяснил он Ежику и Чуру свой поступок. — Я просто подчинился их приказам и придумывал то, что они хотели. А когда можно — я всей душой за правду! Ой! А он жив! — указывая пальцем на Карачуна, сел с перепугу Мерзин на бордюры асфальтовой дорож-ки перед домом.

— Ты, наверно, на самом деле еще за них! — выскочила вперед Элиза. — Поэтому ты и иголку не сломал. А я вот сломаю. Получай, гадкий Карачун! — И, схватив выпавшую из яйца иголку, отломил у нее кончик. — Я всегда была Машиной подружкой, а вы меня в грязи держали. Подличать велели!

Тут произошли некоторые чудеса. Карачун начал бледнеть, та-ять, уменьшаться и вдруг совсем исчез. Вместо него образовалось маленькое болотце. А со смертью злого колдуна заклятье, которое он наложил на Машу и Ирочку, прекратило свое действие, как он и обещал. Лягушачья кожа упала жалкими ошметками, и две девочки стояли там, где только что скакали лягушки. Стало видно, как осели стены вивария. Затем они рухнули, и все пленники — ежи, барсуки, лисы, котята, щенята — бросились со всех ног прочь, кто куда.

— Маша! Ирочка! Как я за вас рада! Мы снова вместе! Снова три подружки! — разлетелась к ним Элиза.

Но Ирочка сильно охладила ее:

— Встречала я разных девочек, — сухо произнесла она, — но таких подлых — никогда. Шла бы ты лучше к своему жениху Нолику!

— Какой он мне жених! Надутый болван — вот кто он такой! — от-реклась от Тыковкина Элиза.

— Ах ты, гадкая! — вне себя от злости и обиды выкрикнул Нолик со слезами на глазах. — А говорила: «мой золотой»! Говорила, что лучше и умнее меня никого на свете нет. Я тебя княжной Таракан-новой назначил, а ты клялась судьбу мою разделить, во всем мне помогать.

— Конечно, клялась. Так и ты тогда собирався королем стать. А теперь ты кто?.. — презрительно отмахнулась от него Элиза. — Ноль без палочки.

— Да я тебя... — взвыл Тыковкин и внезапно прыгнул с крыльца, сбив с ног свою бывшую невесту. — Я тебя задую!

Он повалил ее на землю и схватил за горло. Беспомощная девоч-ка затрепыхалась в его жестоких руках. Какая ни была Элиза пре-

дательница, но не мог принц Карл допустить, чтобы обижали — да еще в его присутствии! — беззащитных. Метко пущена игла, и — нет Нолика Тыковкина, только юлит и мечется гигантских размеров черно-бурый таракан, норовя найти какую-нибудь щель. Но плотно окружали его враги. Хохлатка боком подступала к нему, примериваясь, как бы его склюнуть. Со страху таракан начал пухнуть, принимая совсем уж не тараканьи — необъятные — размеры. И вдруг — отыквился!.. Теперь перед нашими друзьями лежала толстая, тупая, твердокожая, желтая с черно-коричневым отливом тыква. Рядом блесло золотое кольцо, оброненное Ноликом в момент его превращений.

— Бедный Толик-Нолик, — промолвил, подходя, волшебник Чур, сам уменьшаясь при этом до нормального человеческого роста. — Все ему не впрок пошло: и человеческий облик, и власть... Отыквился. Как когда-то один жестокий римский император. Ведь на Элизу он накинулся от отчаяния. И себя погубил. Впрочем, ничего другого он не заслужил. А кольцо я подберу. — Он наклонился. — Негоже волшебным кольцам без призора валяться. Тем более что кольцо это мое. Его у меня Карачун похитил, а у того — Тыковкин. Ну да ладно, теперь нам другой вопрос решить надо. Что с оставшимися делать — с Элизой и Советником? Да еще со шпионами, которых принц к деревьям пригвоздил... Кому решать? Машеньке?

Он стоял совсем спокойно — их бывший сосед по квартире, в таком своем привычном, мятом сером костюме, из-под пиджака виднелись подтяжки, ворот клетчатой рубашки, как всегда, расстегнут, — и улыбался Маше. И странно так было, что он еще и могучий волшебник Чур, оказавшийся сильнее злого Карачуна. Казалось, что он сейчас скажет: «Что-то ты, Машенька, в парке загулялась. Пора домой. Там, наверно, родители уже беспокоятся. Пойдем, я тебя отведу». Эрнест Яковлевич кивнул ей, и девочка поняла, что он догадался о ее мыслях. Она обернулась к Элизе и Евсейке-советнику, которые застыли, понуриив головы и даже не пытаясь никуда скрыться.

А младшая сестренка тут как тут:

— Конечно, Маше решать. Она справедливая.

Ежик Карл поддержал ее, улыбнувшись. Но Маша спросила сначала о друзьях:

— Ты мне Расскажи прежде, как наши раненые воробышки?

— Не волнуйся! — затараторила Ирочка. — Все в порядке. Убитых нет, а раненым я лазарет в старом дубе устроила. Чирик уверяет, что завтра уже летать сможет. Очень ему хотелось всех тараканов поклевать, чтобы ослы ему славу по нотам пели...

– Хвастунишка он у меня, хоть куд-куда! – закудаhtала Хохлатка, вроде бы осуждающе, но и с гордостью за храброго сынка.

– Ну что ж, Хохлатка, он прав. Маша ведь ему обещала, – сказал Чур. – Я завтра соберу в лесу всех птиц и зверей, которых Карачун с Тыковкиным повыгоняли, и тех, которые разбежались, когда виварий рухнул. Пусть они воробьям величальные песни споют.

– А этих? – Ирочка указала пальцем на Элизу и Советника. – Была бы моя воля, я бы просто их прибила!

Маша отрицательно покачала головой.

– Нет-нет! Злые злых предали и уничтожили, а мы, хорошие, должны по-другому поступать. Надо так придумать, чтоб Добро не уничтожало, а как-нибудь исправляло Зло, делало его если и не Добром, то хотя бы для всех безвредным. Только я не знаю, как это устроить, – добавила она грустно. – Разве что их самих спросить. Пусть, например, Советник скажет, что он хочет сделать, чтобы исправиться.

– Я сразу же в нескольких газетах под разными именами статьи опубликую об обязательной для всех стрижке «под ежик». И, чур, тем самым вину свою искуплю! – заискивающе, но и нахально предложил Мерзин, почти уверенный, что его услугами воспользуются.

– Ни в коем случае! – сурово ответил волшебник. – Обойдешься без чура. Мне совсем не хочется, чтоб всех стригли под одну гребенку. Почему это ты сочиняешь только неприятности для людей? Может, ты и в самом деле неисправим?

– Тогда здесь меня оставьте, – торопливо пожелал Советник, – раз в людском мире теперь негодяйство не в цене. Я туточки поживу, обожду. Авось, еще кому пригожусь. И шпиончиков со мной оставьте. Одна у нас судьба. Может, мы и исправимся...

– А куда вам деваться – исправитесь! – усмехнулся Чур. – Потому что мое задание вам придется выполнить: болото и все мелкие болотца осушить, а на их месте фруктовый сад вырастить. А я через пару лет проверю, как работа у вас идет. Так что не надейся – снова негодяем тебе стать не удастся. Но вот что с Элизой делать?..

– А чего я? Я теперь хорошая, я опять Машиной подружкой буду, – как ни в чем не бывало сказала Элиза. – А вам за это расскажу, где Нолик Книгу Машиного папы спрятал. Я знаю. А вы меня не станете наказывать. Вот.

Чур погрозил ей пальцем:

– Это и я знаю. Да и Карачун уже моей силе не мешает, так что мне достаточно руку протянуть, чтоб ее получить.

Он поднял ладонь вверх, и на нее вдруг легла та самая Книга. Он отдал ее папиной дочке, а в руке у него появился другой предмет.

— Возьми, Машенька, кстати, и свой фартучек-передничек — уже выстиранный и выглаженный. Не удивляйся, это простое волшебство. Ведь добрые дела совершаются легко, ты сама о том ведаешь. Но как нам с этой сквернавкой Элизой поступить — ума не приложу.

— А я как будто придумала, — задумчиво произнесла Маша. — Мне кажется, что Элиза была раньше Прекрасной Еленой, которая Ежика предала. На это и Карачун намекал, говорил, что она до того, как куклой стала, злым служила. А потом облик свой переменила, ко мне в дом попала, подружкой притворилась. Наверно, ей злой колдун помогал. Теперь его нет, и все равно лучше ее снова в куклу превратить, но уже навсегда. Чтоб она не могла никогда ожить. А с куклой Элизой я ведь могла играть, хоть она порой и вредничала.

— Что ж, так и сделаем, — согласился Чур. — Смотри: раз — и она уже кукла целлулоидная, только глазами хлопает... Хочешь — ты бери, а хочешь — я ее себе в карман суну?.. Понаблюдаю за ней, повоспитаваю, а потом как-нибудь, когда к вам в гости приду, верну тебе... А?

— Берите вы, Эрнест Яковлевич, мне пока и посмотреть на нее не хочется, — ответила Маша. — А из тыковкинской тыквы вы можете мне страшилище сделать, с фонариком внутри, вроде тоже как игрушку? С глазами, ртом, носом. Чтоб я никогда не забывала о Тыковкине и о том, что Зло все же и на самом деле на свете бывает.

— И это можно. — Чур сунул под мышку круглую желтую тыкву. — А принц и Ирочка? Ведь они раньше тоже игрушками были... Ты спроси у них, что с ними дальше будет.

— Спроси-спроси, пожалуйста, у нас спроси, — повторила весело слова волшебника раскрасневшаяся Ирочка.

Расцарапанная, веснушчатая, некрасивая, она всегда была любимой сестренкой и самым надежным другом. С нее Маша перевела глаза на ежика Карла и охнула. Ничего ежиного не осталось в нем. Перед ней стоял не колючий Ежик-принц, а прекрасный юноша с зелеными глазами, в зеленом, под цвет глаз, шелковом камзоле, лиловой накидке с серебряными звездами, на боку шпага, через плечо лук и колчан со стрелами, на голове бархатный берет с павлиньим пером — одним словом, настоящий принц! Преображение произошло так мгновенно, что Маша растерялась, не зная, что сказать.



Маша и принц. Рис. Натальи Григорян

Сказал принц:

– Сердце мое и душа полны любви, о моя дорогая невеста. Ты полюбила меня в ежином обличье, вынужденно принятом мною. И своей верной дружбой и любовью спасла меня, не испугавшись злого колдовства и всяческих угроз, не поддавшись на соблазны. Враги разбиты. И теперь я спокойно могу принять мой настоящий образ. Лучше тебя никого нет. Я в этом еще раз убедился, когда ты решала, что делать с побежденными врагами. Мой отец-король тоже всегда говорил: «Побеждай Зло Добром». Но я должен вернуться в свое отечество. Долг зовет меня. А тебе еще расти и учиться. И ты учись и расти. А я тебя буду верно ждать. И ты жди меня, жди своего принца. Придет назначенный судьбой час – и я за тобой приеду. А пока вместо себя я оставляю плюшевого ежика, который тебе так понравился. Когда соскучишься или затоскуешь обо мне, шепни ему, и я в ту же ночь явлюсь к тебе во сне. А уж если моей невесте

опасность какая грозить будет, про это я сам узнаю, сердце сердцу весть пошлет, и тогда я еще быстрее вернусь, быстрее сна.

И он протянул ей плюшевого ежика — точную копию себя прежнего.

А девочка заплакала.

— Ты что, Машенька? Что с тобой, моя радость? Машка, ты что это реवेशь? — заговорили сразу все вместе: и Чур, и принц, и Ирочка.

— Мне так хотелось после победы поплыть с принцем по реке на лодке, и он мне это твердо обещал.

— Но так и будет! — воскликнули Чур и принц. — Сейчас и река, и лодка будут. Это само собой.

— Откуда река? Откуда лодка? — всхлипывая, недоверчиво спросила Маша. — Здесь ничего такого нет.

— А ты перестань плакать и оглянись, — улыбнулся ей ласково дедушка-сосед.

Маша оглянулась. Прямо от места, где прежде стоял виварий, протянулась длинная, голубая, похожая издали на ее ленточку для волос полоса. Это была река. А рядом с берегом покачивалась на легких волнах весельная лодка, такая красивая, будто нарисованная, и ждала пассажиров. Сине-голубая лента реки вливалась прямо в Машин дом, который вдруг стал отчетливо виден, в ее окно. Принц приблизился к ней, поклонился, потом взял свою невесту под руку и повел к лодке.

— А как же Ирочка? — остановилась Маша. — Я не хочу ее оставлять одну, она моя сестренка.

И шагнула назад, к Ирочке, вырвав у принца свою руку. Сестренка в этот момент шепталась о чем-то с Чуром.

— погоди, Маша, — сказала она. — Я, конечно, с тобой поеду. Только опять буду тряпичной игрушкой. Волшебство пока кончается. Это, оказывается, Чур меня оживил, чтобы я могла тебе помочь. Для всех я по-прежнему останусь некрасивой куклой. Но ты-то помни и не забывай, что я твоя сестренка. И учи меня всему, чему сама будешь учиться. Только учись хорошенько, чтобы все правильно мне пересказывать. Мы так с дедушкой Эрнестом Яковлевичем решили. А когда твой принц вернется за тобой, вы и меня возьмете, и тогда я оживу в его стране. И снова стану веселой девочкой, твоей младшей и дорогой сестренкой.

Маша заплакала, но делать нечего — она уже держала в руках свою старую любимую куклу Ирочку. А волшебник Чур ей говорил:

— Не расстраивайся, Машенька. Все хорошо кончилось. Лучше и в сказках не бывает. А теперь тебе надо к маме с папой торопиться.

Волшебное время прошло, и они скоро начнут беспокоиться. Папеты еще и Книгу должна отдать. Да и мне пора домой. Сейчас кольцо свое золотое на палец надену, и... до встречи!

Сказано — сделано. Чур растворился в воздухе, а принц с Машей и куклой поплыли по изумрудно-сапфировой реке. И над тихой рекой в теплом и ясном вечернем воздухе зазвучала песня:

Мы по реке плывем,
Нам хорошо вдвоем.
В этот час
Все для нас:
Свет луны,
Вздых волны.
Нежны его слова...
Кружится голова...
Этот сон,
Светлый сон —
Сон ли он?
Явь ли он?

Так и вплыли они под эти слова и их нежную мелодию в Машину комнату. И девочка увидела, что ничего в ее комнате не изменилось, будто и не пережила она всех своих необычных приключений. И поросенок Хрюша, и зеленый пластмассовый Чиполлино, и толстый Карлсон в коротких штанишках, и Ослик Филя, и высокая кукла Мира, и румяная кукла Настя с беленькими волосами, заплетенными в косички, — все сидели за столом и словно бы ожидали Машиного возвращения, как после недолгого гулянья.

Но тут — пропали и река, и лодка, и прекрасный принц. В руках у Маши остались плюшевый Ежик и кукла Ирочка с набитым тряпками туловищем, одним целым, а другим нарисованным по пластырю глазом. Ну и папина Книга, конечно. А песня продолжалась:

Но тут растаял принц.
Нет никого вокруг.
Снова сижу одна.
Может, позвать подруг?
Только
Мне звать не хочется.
Сердце стучит в груди.
Что же случилось со мной?
Ах, принц, не уходи...

Внезапно открылась дверь, и вошел папа, расстроенный:

– Машута, я тебя уже спрашивал или нет, не помню, не видела ли ты мою Книгу? Все перерыл, нигде нет.

– Вот она, – протянула Маша руку с зажатой в ней Книгой. – Мы ее от Тыковкина спасли. А помогали мне Ирочка, Ежик, который и на самом деле оказался принцем, и дедушка-волшебник Чур...

– Замечательная компания! – рассмеялся папа. – Это очень здорово, и спасибо вам всем. Я очень рад, что Книга нашлась.

Тут в комнату заглянула мама:

– Пора ужинать и чай пить. Я из ягод, которые сегодня Эрнест Яковлевич принес, пирог состряпала. Жду вас на кухне. – И скрылась.

– Пойдем, – сказала Маша. – А в эту Книгу ты запиши мои приключения. Я тебе потом расскажу, какие.

– Новую игру придумала?.. Ах ты моя выдумщица! Но ты же знаешь, что в эту Книгу можно только правду писать. Никакая ложь в ней не держится, – возразил папа.

– А ты попробуй. Сразу после чая, – посоветовала дочка.

И папа попробовал...



Рис. Натальи Григорян



Папа с дочкой Машей

**Маленькие сказки,
или
Сказки для маленьких**



Дружба лучше вражды

Сказка

*Тиллю от деда в день рождения
Москва – Берлин, 9 июня 2017 года*

Тигренок шел по песку, путь был далекий, песок лился волнами, как вода на море. Далеко слева виднелись горы. Куски скальной породы, большие камни иногда попадались по дороге. Но они только затрудняли путь. Идти до родной саванны далеко. Солнце пекло голову и спину. Он знал, что путь приведет его к любимым кустам, зеленой траве и ручейкам. Однако как долог путь! Одна волна песка сменяла другую. Тигренок устал. Да и одиноко было. Никто не мог сказать ему слово поддержки. Хотелось пить, а воды не было: ни озерца, ни ручейка. Только какая-то большая птица, взлетевшая с дальних гор, похожая на орла, летала кругами над ним. Полосатому тигренку стало жутковато. Он вспомнил, как бабушка рассказывала ему об орлах, которые могут молнией упасть на спину зверю, особенно небольшому, и утащить к себе в горное гнездо, где ждут его голодные орлята. А тигренок еще не стал большим тигром, он больше походил на крупного котенка. Он шел через пески, поглядывая на небо.

Спрятаться среди песка невозможно. Не только воды не было, но и спасительной пещерки в больших камнях не находилось. Шуршали по песку маленькие ящерицы и вараны. Шкура тигренка от песка стала совсем желто-песчаной, поэтому орел не мог его разглядеть.

И вдруг он услышал голос за соседним песчаным бугром: «Добрый зверик, помоги мне!» Тигра и вправду был добрым. Он пошел на голос. И увидел пятнистого леопарда своего примерно возраста, у которого лапа застряла в норке, где жил неизвестно кто, может быть, змея. Тигренок подбежал и начал своими лапами расширять норку. Секунда – и леопард был на свободе. Он поглядел вверх, увидел орла, который, снижаясь, делал над ними круги, и сказал тигренку: «Быстро бежим, надо спастись, я знаю, где вода и где можно спрятаться!» Прихрамывая, он побегал вперед, тигренок за ним. И тут перед ними в камнях возникла маленькая пещера. Леопард пригнулся и, обдирая бока, влез в нее. Тигренок за ним. Спросил, ползя следом: «Почему ты меня добрым назвал?» Леопардик повернулся и улыбнулся: «Потому что все должны быть добрыми и смелыми». Маленький тигр грустно посмотрел на него: «А если я не

сумею? Мне очень хочется быть первым и умелым, но я всегда стесняюсь, что у меня не получится». Леопард сел перед ним на хвост, потом встал и сказал: «Пойдем вначале попьем воды, здесь есть вдали маленькое подземное озеро, а то от жары мозги у нас ссохлись и плохо соображают. Потом я буду рассуждать». «Ишь ты! — подумал тигренок. — Будто профессор».

Они попили воды. Леопард сказал: «Не надо хотеть быть первым. Надо быть самим собой. Это и значит быть первым. Потому что другого такого, как ты, на свете нет». Тут зверята услышали шум у входа в их убежище: это орел пытался протиснуть себя и свои крылья и жалобно хрипел: «Мне тоже воды, умираю от жажды. Летать над песчаной пустыней очень тяжело. Даже мои орлиные глаза устали от яркого солнца». Тигренок был очень добрый. Он походил по краю пруда, нашел скорлупу от большого ореха, наполнил ее водой и, поглядывая на острый клюв, поднес скорлупу с водой орлу. Орел окунул клюв в воду, попил и сказал: «Спасибо! Я вел себя плохо. Тигренок оказался лучше меня. Теперь я буду вас защищать».

Они снова вышли на песчаную равнину. Орел взлетел и зорко смотрел по сторонам и вниз. Ни тигренок, ни маленький леопард не заметили страшную песчаную змею, подползавшую к ним. Это была самая ядовитая змея здешних мест. Но зоркие глаза орла увидели ее. Как молния, он упал вниз и ударом клюва убил страшную гадину. «Это будет пища моим орлятам», — сказал он и унес змею в свое орлиное гнездо. А леопард сказал тигренку: «Вот видишь. Ты делал так, как тебе подсказывало твое сердце. Был самим собой. И твоя доброта спасла нас». И зверята потихоньку дошли до зелено-го края саванны, где они жили.



С внуком Тиллем

Плюшки

Рождественская сказка 2017 года

Внукам – Тиллю и Тоше

«**М**не приснился волшебный сон, что есть такие волшебные плюшки, которые сразу вылечат маму, – сказал старший брат Тилль. – Надо нам самим что-то делать, без нас родители не справятся. Мы ведь уже большие. Придется тихо выйти из дома, чтобы не разбудить маму». «А что такое плюшки?» – спросил Тоша. Тилль честно ответил: «Это такие сладкие небольшие булочки с орехами, изюмом и, – Тилль облизнулся, – и корицей!»



Потом он вспомнил рассказ бабушки, что, когда мама была маленькая, она прижималась к бабушке и спрашивала: «Можно я к тебе приплющусь?». Тогда-то она и полюбила плюшки. Тилль улыбнулся во весь рот, на месте двух верхних зубов было пустое пространство. Молочные выпали, а новые почему-то не росли. Бабушка говорила, что надо есть больше творога, из него строятся зубы, и кожуру от яблок. Но Тиллька вредничал и не ел.

Папа уехал на работу, мама лежала больная и спала. «Да, – ответил младший Тоша, – мы большие. Пойдем за плюшками. А я буду сяф». Это означало, что он будет шефом в их предприятии. «Хорошо! – согласился старший – но надо найти Рождественский Домик, он в нашем парке, в самых

густых кустах. И его охраняют разные звери!» «А звери кусачие?» — спросил осторожно сяф.

«Мы должны справиться, мы же сильные, мы спортсмены, а я, когда вырасту, буду капитаном, — сказал Тилль, — но мне одна старушка рассказала, что самое сложное — войти в Рождественскую Избушку. Нужно найти правильные слова, и тогда дверь откроется». Тоша почесал кончик носа: «Если я буду сяфом, я их найду. А какие слова правильные?» Тилль опустил задумчиво голову: «Это мы должны понять. Надо думать». Тоша вспомнил, что говорила бабушка: «Чтобы научиться думать, надо много читать. Я учусь, а ты уже умеешь. Вот и читай. Чтобы мы принесли маме пирог или хотя бы плюшки».

Они одели валенки и теплые куртки и вышли из дому. Сыпал снег, вечер-то был рождественский. Они уже шли по парку. Тилль помотал головой: «В избушке нет пирога, там только плюшки. А их-то нам и нужно». Тоша спросил: «А если их нет?» Тилль махнул рукой: «Должны быть». И вдруг на тропке прямо над ним повисли красные спелые яблоки. И дерево шепнуло: «Съешь мое красное яблочко!» Тилль отмахнулся: «Но оно же с кожурой. Мне мама всегда кожуру счищает». Дерево вздохнуло, зашелестев ветками: «Знай, Тилль, кожура яблок помогает человеческому организму быть здоровым. А у мальчиков вырастают крепкие зубы». «О! — воскликнул Тилль — это здорово, я съем яблоко. А можно я дам откусить моему младшему брату?» Дерево проговорило: «Вы хорошие братья. Просто сорви ему с ветки другое яблоко!» Тилль сорвал, Тоша впился в яблоко всеми зубами. Они оба молча хрустели яблоком, тщательно пережевывая кожицу.

Им показалось, что яблоня тихо засмеялась. И сказала: «Идите в самый глухой угол парка, там среди кустов, в глубоком снегу найдете деревянную избушку, она стоит крепко, у нее из днища растут корни, это мои корни. Эта избушка — моя двоюродная сестра». Тилль и Тоша переглянулись: «Разве так бывает?» Яблоня ответила вопросом на вопрос: «А разве бывает, чтобы яблони разговаривали? А разве бывает, чтобы среди зимы и снега на яблоне зрели и наливались соком румяные яблоки? В жизни все бывает. Идите смело к моей двоюродной сестре, только сумейте найти правильное волшебное слово для входа. В нем должна быть любовь». Яблоня опустила ветки и закрылась от мальчиков.

И по колено проваливаясь в сугробы, братья двинулись в самый глухой угол парка, весь заросший кустами; кусты стояли так густо, что избушки не было видно. Тоша знал, что он сяф, и поэтому пошел сквозь кусты первым. Тиллька придерживал ветки, чтобы они

не хлестнули младшего брата. Снега было по колено, что тоже мешало идти. Кусты внезапно расступились, и мальчики оказались на полянке перед избушкой, словно выросшей из большого тяжелого корня. Дверь была высоко, да и скользили они по влажному снежному насту. Ребята стали утаптывать снег перед избушкой, потом Тилль сообразил, что надо слепить большой ком из снега, чтобы добраться до ручки двери. Ком получился очень большой, они подкатили его к дверце избушки, но залезть на него было невозможно. «Но ты же гимнаст! — воскликнул Тоша, глядя преданно на старшего брата. — Ты просто запрыгни, а потом мне руку протяни!» Так они и сделали. Тилль вспрыгнул на снежный ком, протянул руку Тоше, и вот уже два брата встали перед дверью. Тилль потянул за ручку двери, потом Тоша — дверь не открывалась.

Тилль внимательно посмотрел на дверь. «Тут какая-то записка, — сказал он. — Надо прочитать. Буквы я разбираю». «Читай, — решил Тоша, — надо же понять, что дальше делать». И Тилль прочитал: «Дорогие мальчики, если вы съели яблоки с моей яблони, то должны почувствовать какие-то изменения в себе». Братья переглянулись. «Да, — сказал Тоша, — я больше не буду плакать по пустякам». Тилль провел языком внутри рта и сказал с замиранием в голосе: «Тоша, яблоки были и вправду волшебные. Посмотри, у меня выросли, наконец, зубы». Тоша посмотрел. «Да, — сказал он, — а можно потрогать?» «Нет, лучше не надо. А то они могут исчезнуть. Давай подумаем, каким словом мы откроем дверь. Быть может, это название волшебной страны, например, Лаплюбландия, или Либесланд, или Фройндланд». «Скажи это двери» — предложил Тоша. Тилль сказал, но дверь оставалась закрытой. Тилль задумался, он любил и умел думать. Он думал минут пять, загибал пальцы и сопел от напряжения. Тоша терпеливо ждал, но делать ему было нечего, пока Тилль думал. И он принялся ковырять в носу.

«Эй! — воскликнул Тилль. — Не надо это делать. Баба говорит, что это вредно. Я понял, какие слова надо сказать!..» И он сказал: «Дорогая волшебная яблоня, мы очень благодарны тебе за твои чудесные яблоки!» И вдруг дверь дернулась, двинулась было в одну сторону, потом в другую. А потом плавно поднялась вверх. И, переглядываясь и подталкивая друг друга, мальчики зашли в избушку. Тоша, хотя и был сяф, все же большие надежды возлагал на старшего, он глядел на него и повторял его движения. Тилль подошел к столу, на котором стояла миска, прикрытая махровым полотенцем. Тилль подошел, откинул полотенце и понюхал. В избушке и без того пахло очень вкусно и сладко. А когда полотенце сняли с миски, то запах корицы заполнил всю избушку. Тоша тоже подошел ближе и

втянул в нос воздух. «Вот плюшки для мамы», — сказал Тилль. «Да, для мамы, — повторил Тоша — И я понесу их». И внезапно в этот момент дверь плавно опустилась, и дети оказались замурованными в избушке. Окон не было, и дверь закрылась: дети оказались в ловушке без выхода. Тоша забыл свое обещание, открыл рот и заревел. «Не реви, — сказал Тилль. — Ты же обещал волшебной яблоне». Они посмотрели на дверь, Тилль разбежался, встал как гимнаст на руки и изо всех сил ударил ногами в дверь. Удар был сильный, но бесполезный. Дверь не шелохнулась. Тоша снова скривил рот как кошелек, но не заплакал, а глазами, полными слез, посмотрел на брата, ожидая правильного решения. И решение нашлось. «Раз мы сюда вошли, используя хорошие слова, то и выйти сможем, угадав такие же слова». Тоша закричал: «Правильно! Как там было? Дорогая волшебная яблоня, мы очень благодарны тебе за твои чудесные яблоки!» — Он посмотрел на дверь. «Не действует», — сказал он печально.

«А если просто сказать, произнести наши имена, ведь мы здесь заперты, мы любим друг друга, а это должны быть слова любви. Они и откроют нам ворота. Давай хором». Они взялись за руки и крикнули: «Тилль и Тоша!!! Тоша и Тилль!!!» И дверь поднялась неведомым механизмом, а может, волшебством! Ухватив миску, покрытую толстым махровым полотенцем, мальчики опрометью выскочили из избушки.

Через час они уже были дома. Самое замечательное, что плюшки не остыли, и запах от них окутал всю квартиру. «Ой! — сказала мама, просыпаясь. — Какой чудесный запах! Я, кажется, поправляюсь! Неужели это плюшки?» Мальчики подбежали к маме, начали ее целовать и кричать наперебой: «Да, мамочка! Это тебе плюшки. Поправляйся скорее!»

И мама тут же поправилась!

Сказка внукам от деда

Счастье в руках деда

Патрикеевна

Лисья сказка

Э то была необычная лиса. Родилась она в Сибири, в Иркутске. Поначалу это был маленький задумчивый лисенок, очень любивший играть в камешки, составлять из них разные фигурки. «Прямо как ребенок», — сказала жена таежного охотника, который нашел замерзающего лисенка. Лис и лиса, родители, куда-то пропали. Пришлось доброму охотнику взять лисенка домой. И рос лисенок среди добрых людей, сам стал добрым и умным: слишком много он слушал разговоров умных своих хозяев.

И стал лисенок большой пушистой рыжей лисой. Хитрой и доброй. Жила лиса в избушке на опушке леса, охотник подарил его любимой лиске. Там она хранила припасы, сама ловила мышей, иногда охотник по щедрости своей приносил ей курятинки, когда его жена готовила курник. Еще лиса любила дальние лесные прогулки. Она искала нехоженые тропки, изучала науку леса и его троп. Там она любила разнимать мелких драчунов, читать мораль задирам-волкам, бегать наперегонки с другими лисами и еще танцевать. Когда она танцевала, то физиономия ее удивительно хорошела — не лиса, а красавица.

Охотник приходил все реже и реже. А есть-то хотелось. Лиса пила воду из ручьев, иногда ей удавалось словить мелкую рыбешку. Но мышки и мелкая рыбешка не очень-то насыщали. И как-то она пошла к дому охотника, рассчитывая на помощь. Подошла к изгороди и вдруг увидела, что в огороде, где росла морковь, хозяйничает серый зайчонок. Лиса подкралась и схватила его за загривок:

— Ты зачем морковь ворует? Кто тебе разрешил?

— Никто, — ответил зайчонок и заплакал, болтаясь в лисьих зубах.

— Тебя как зовут? — спросила лиса и немного разжала зубы, чтобы зайчонку не было больно.

— Длинные Уши, — еще громче заплакал зайчонок. — А тебя?

— Патрикеевна, — ответила лиса.

— Не ешь меня, Патрикеевна! — попросил маленький зайчик Длинные Уши.

— А что я буду есть?

— Я тебя научу, только не ешь меня.

Патрикеевна задумалась:

— Ладно, я не трону тебя, но два условия.

– Какие? – уже с надеждой в голосе всхлипнул зайка.

– Во-первых, ты пообещаешь мне никогда не плакать, чтобы ни случилось, а всегда искать выход из любой ситуации. Договорились?

– Договорились, – ответил зайчик Длинные Уши и глазки у него высохли. – А второе условие?

– Научи меня, как себе готовить еду и из чего.

– Проще простого, – ответил зайчик. – Возьмем в сарае пустой мешок, он просто так там валяется. И набьем его морковкой и картошкой. Отнесем к тебе в избушку. Я ее видел. У тебя там, небось, и плита есть?

– Ну конечно, – ответила Патрикеевна.

– Вот и пошли туда.

Они оттащили мешок с овощами в избушку, и заяц научил лису готовить овощной суп и самое вкусное – лисе больше всего понравилось это блюдо – картофельное пюре. Потом они вскопали два огорода, посадили картошку и морковь. А поскольку место, где они жили, было немного волшебное, то урожаи поспевали каждые две недели.

И лиса с зайцем написали плакат и повесили его над дверью избушки:

«ВЕГЕТАРИАНСКАЯ БЕСПЛАТНАЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗВЕРИКОВ!»

Надо ли говорить, что столовая пользовалась большим успехом. А лиса Патрикеевна и зайчик Длинные Уши стали самыми любимыми среди зверей этого леса.

Хороша лиса, но до эпохи вегетарианства



Задумчивый тигренок

Сказка Тиллю

Жил-был в городе Берлине задумчивый мальчик. Он ходил в школу, хоть и не очень охотно, любил своих родителей, брата и бабушку с дедушкой. Он был сильный и добрый, часто уступал другим мальчикам, которые этим пользовались, обижали его, даже иногда смеялись над ним. Он ведь не умел быть жестоким и придумывать обидчикам всякие неприятности. Но от обиды он иногда даже в школе плакал, а уж вечерами у себя дома, когда все спали, он тихо рыдал в подушку. Ему хотелось жить в мире со всеми, но не получалось. И он не знал, как себя вести с другими людьми. Даже мама бывала часто им недовольна, потому что, задумавшись, он забывал в школе тетрадку, в которую записывал домашние задания. Мама говорила ему, что самое главное в жизни — это учиться. Он отвечал, что в жизни самое главное — это жить, что жизнь и есть самое прекрасное в мире.

Но жить было трудно, учителя говорили, что он способный, но невнимательный и вряд ли сможет учиться дальше. Однажды они всей семьей поехали к маминым родителям. И там за ужином он услышал, как его дед говорит с его родителями и говорит, что умрет раньше всех. Потом дед ушел в свой кабинет. Это было в другом городе, в Москве, где жили его дед и бабушка. Мальчик пошел к деду в кабинет и сразу спросил: «Дед, ты что это задумал?» Дед притянул внука к себе: «Что я задумал?» «Ты знаешь что. Помереть ты задумал, вот что!» Дед поцеловал мальчика. «Но, милый, я старше всех, значит, и умру раньше. Так всегда бывает». Тилль прижался к деду: «Ты разве не хочешь меня больше видеть? Ведь мертвые не видят». Но не заплакал, а задумался. «Дед, ты же умный, а ты мне говорил, когда мальчишки меня обижали, что ум — это сила. Вот и стань сильным, отодвинь смерть». Дед поцеловал внука: «Что ж, у меня и в самом деле есть интересная мысль. Знаешь, когда человек умеет задуматься над миром, над своей жизнью, над историей, он может уйти в свои думы и там жить, долго жить, где тебя не обидят, никто не станет приставать, заставляя делать то, чего тебе не хочется. И это время в мечтах и мыслях идет совсем по-другому, чем обычное время. Я буду жить во времени, когда я был молодым, это было веселое время, как мне теперь кажется. И в мыслях мы можем с тобой общаться, не переходя в обычную жизнь. Так что я буду жить, сколь-

ко нам захочется». Тилль кивнул головой: «Это правда?» Дед тоже кивнул: «Конечно, правда». Внук спросил: «Значит, если меня будут обижать, я могу уйти в свои мысли? А если я там стану, в своих мыслях, умным и задумчивым, но не мальчиком, а тигренком. Это возможно?» Дед поцеловал внука: «Конечно. Здорово придумал. Пусть пытаются тебя обидеть, а ты будешь бродить по своим джунглям».

Так и случилось. Тилль по-прежнему ходил в школу, где он много занимался гимнастикой, математикой и чтением. Но любил он читать то, что сам выбрал. Он признался деду, что самое счастливое для него время, когда он может бродить по библиотеке, доставать книгу, листать ее, ставить на место и брать другую. «Значит, у тебя много миров, куда ты можешь уходить», — сказал дед. Но Тилль все же предпочитал джунгли. В школе начинает приставать математичка, что он невнимательно слушает задание. Тилль-мальчик кивал головой, а Тилль-тигренок уже бежал по джунглям, мелькая своей полосатой шкуркой среди ветвей и лиан. Встречавшиеся звери, кто с испугом, кто с почтением, уступали дорогу юному тигру, еще не королю джунглей, но уже королевичу. И его обиженное сердечко успокаивалось, он возвращался в класс, полный сил и внимания.

Он глядел на мальчишек, обижавших раньше его, но глядел снисходительно и немного свысока. Они озадаченно смотрели на мальчика, который только что был тигренком, и не могли понять, какая же случилась с ним перемена. Он получал заслуженную хорошую оценку, мама забирала его и хвалила, что он хорошо сегодня учился. Дома он уже почти не плакал, а в школе совсем перестал плакать, потому что тигрята не плачут.

Он хорошо помнил стихи, которые ему тогда в вечернем разговоре прочитал наизусть дед. Теперь и Тилль их иногда повторял про себя:

Жил тигренок, числясь в нетях,
Это хитрому с руки,
Чтоб забыли: в лапках этих
Подрастают коготки.

Если будут люди трогать,
Мучить или целовать —
Покажи точеный коготь,
Раз и навсегда отвадь.

Пусть летит тебе вдогонку
Восхищенье и хула.

Выходить пора тигренку На серьезные дела.

Он понимал, что он стал серьезнее, что ему нравится думать и не только делать спортивные упражнения, но и книги читать. Он сомневался иногда, что будет победителем в схватке с мальчишками, если их будет много. И не очень верил, когда его хвалила учительница. Но шаг за шагом он убеждался, что если веришь в себя, то все получается. Он каждое утро повторял заклинание, которое вычитал в одной умной книге. Его нужно было все время повторять. Он это и делал и когда бывал мальчиком, и когда бывал тигренком: «Я умный. Я сильный. Я все могу сделать». И он понимал, что на серьезные дела ему, и в самом деле, пора выходить.

Однажды в джунглях задумчивый тигренок шел своей тропой и думал о том, кем бы он хотел стать, когда вырастет. И вдруг он услышал сзади топот. По счастью, тренируя свой ум и слух, он уже научился определять и различать звуки, которыми полны джунгли. Даже не оборачиваясь, он понял, что на него несется, выставив злые клыки, стадо диких кабанов. Также он быстро сообразил, что даже самый сильный взрослый тигр не справится со стадом диких кабанов. Надо было быстро решать, что он в этой ситуации может сделать. Ведь он хотел жить дальше, потому что с дедом они договорились жить долго и встречаться каждый год. И мысль работала быстро, ведь, как говорил дед, ум — это сила. Если не можешь победить физически, победи умом. И Тилль увидел перед собой толстое дерево Тулэ.



А он был тигренком с острыми коготками, которые помогали ему лазить по деревьям. Моментально он оказался на высокой ветке.

Кабаны, как всякие злодеи, ума имели мало. Они мчались напролом, чтобы убить тигренка. И со всей силы мордами врубались в дерево, клыки их завязли в толстой коре дерева, они оказались как бы в ловушке. А тигренок спустился по другой стороне дерева. И побежал в другую сторону. И вдруг оказался в школе, в коридоре, во время перемены. Тилль увидел, что к нему идет компания плохих мальчишек, ровно трое, которые вроде бы уже начинали признавать его, но тут решили взять реванш. Что было делать, и мальчик снова задумался, и ушел в мечты. Он снова был в джунглях у большого дерева. И в момент взлетел на него. А кабаны с разбегу ударились о ствол дерева. Тигренок посмотрел сверху на землю и увидел, что на полу школьного коридора валяются ударившиеся лбами о стену три насмешника. Охая, они стали подниматься, из их глаз текли слезы испуга, боли и обиды.

Мальчик спрыгнул с дерева и встал на полу перед тремя хулиганами. Подбежала учительница: «Что с ними?» Тилль усмехнулся: «Почему-то они с разбега стукнулись лбами о стену. Наверно, умственно недоразвитые». Вечером он по скайпу говорил с дедом. «Ты стараешься?» – спросил внук. «Как видишь, жив и здоров», – ответил дед. А перед сном мальчик снова вспомнил сегодняшние приключения, и понял что вел себя правильно. И ни разу не заплакал. Плакали бывшие обидчики.

Больше его не обижали. Но точеный тигриный коготь он всегда держал наготове. И коготь этот отвалил окончательно насмешников.

Часть III

Нежить, или Выживание на краю подземного мира

Странная повесть, фантазия в духе Босха

МГНОВЕНИЯ ВЕЧНОСТИ

*Междупланетные пространства,
И сонм неисчислимых лет,
И нашей жизни миг короткий —
Мы не живем, нас в мире нет!*

*Напрасны слезы и тревога,
И ужас бледного лица —
Мы только сон минутный Бога,
А снам Господним нет конца!*

Даниил Ратгауз

Россия рухнула в пропасть небытия.

Федор Степун

Мечта выйти в нелюди!

Бонмо Александра Филиппова

Под крышкой гроба

Гроб, в котором я лежал, закрыли крышкой с кистями, потом заколотили гвоздями. Надо мной образовалась преграда, которая будет теперь всегда, пока я не сгнию и не стану пищей червей. А стану ли? И как быть, не видя и не слыша? Собственно, ни видеть, ни слышать я и сейчас не мог, потому что лежал на спине совершенно мертвый. Но как-то стран-

но — я все чувствовал и видел все, но каким-то другим зрением, видел, как под гроб просунули веревки и опустили его в яму. И голоса слышал, но будто не ушами, а другим каким-то слухом. Как я попал сюда? Что со мной? Раз я все понимаю, но понимаю, что я мертв, то значит *есть какая-то жизнь вне жизни?* Что за глупости говорят про меня? Какой-де замечательный ученый и писатель... Столько операций, почти смертельных, перенес, выжил, а умер, мол, случайно, по неловкости... Да, операций было немало. Перед одной из них медсестра сказала мне: *«Мы вас подадим на стол в понедельник»*. Будто я был гусем к Рождественскому столу, а Рождество тогда и впрямь надвигалось. Но это профессиональный сленг. О строчках *«где стол был яств, там гроб стоит»*, они, конечно, не думали, да и не знали, скорее всего. Так что за форма существования во мне? Я так много последнее время рассуждал о нежити, что, скорее всего, сам стал нежитью. Хорошо хоть, что не вурдалаком.

А ведь Главный Мертвец, что лежит в центре Москвы, говорят — настоящий вампир. Хотя каково ему десятки лет там лежать на всеобщее обозрение: поневоле одичаешь. Года четыре назад я ехал в Вильнюс, еще Союз не распался, со мной в купе были два литовских медика, один патологоанатом, другой психолог. Мы разговорились. Они сказали, что их вызвали в Москву посмотреть, что происходит с телом Ленина. *«Ну и что?»* — спросил я. *«Да непонятно»*, — ответили хором они, ногти растут и волосы, а при этом сердце не бьется, легкие не работают, соответственно и желудок давно. *«Все-таки человека, если он человек, — сказал патологоанатом, — надо в земле хоронить»*. Психолог возразил, что в народных мифах полно историй об оживших мертвецах. И мы замолчали. А я вспомнил историю, рассказанную подругой моей первой жены, как первоклашек повезли в Мавзолей «посмотреть дедушку Ленина». Детей предупреждали, чтобы они не шумели, дедушка Ленин этого не любит. Он хоть и мертвенький, но строгий и может серьезно наказать шалунов. Вот дети столпились около стеклянного гроба и вдруг в сплошной тишине раздался пронзительный детский голос: *«Мама, а он кусается?!»* Охранники оторопели, но что сделаешь с малышом?! Кстати, тема идет из древности. Вот пример, который подсказала мне моя образованность: Упырь Лихой — первый известный древнерусский писец, священник XI века, живший в Новгороде. Ленин тоже писал о себе в анкетах на вопрос о профессии: «литератор», то есть писец.

Лежа в гробу, многое вспомнил, вспомнил, почему никуда не уехал и ушел от всякой политики, все было противно, перед глазами стояла сценка, показанная по телевизору, как американский

президент Билл Клинтон хлопает по заднице русского президента Бориса Ельцина, а тот хихикает в ответ. Россия была опущена, но столь же противен был и опустивший Ельцина. Словно сцена в лагерном бараке, где блатные глумятся над слабым. И когда мне в Германии (ездил на месяц по гранту для работы в архивах) предложили на радио «Немецкая волна» после моего выступления попросить политического убежища, что они помогут, я вдруг на секунду заколебался. В России магазины были пусты, а семью надо кормить. Но мне повезло. В комнату, где я беседовал с редактором программы, вошел православный богослов, которого я знал по Москве, он писал о Владимире Соловьеве и в Москве выглядел солидно. А тут он искательно улыбался, заглядывал редактору в глаза и почему-то шептал. И мне шепнул, что предпочел свободу. И невольно своей опущенностью напомнил мне Ельцина, которого Клинтон хлопал по заднице. Нет уж, надо жить там, где родился. Где родился, там и пригодился. Бежать из-за сладкого куска, теряя себя, я не хотел. В России тоже не очень, но все же некая свобода появилась. Можно было писать и печатать, что хочю. А в общественную бурду не лезть. Лучше писать и уйти по возможности в частную жизнь. Приходилось жить в предложенных обстоятельствах. Я не хотел быть среди тех, кого хлопают по заднице, почти насилуя, ни среди тех, кто хлопает. Мы попали после Ленина в выморочный мир, когда вначале страну боялись, как скопище монстров, а потом, когда хватка вождей ослабла, перестали даже уважать.

Я вспомнил (сама мысль бежала), как мы с другом детства Сашкой Косицыным по его приглашению ездили по Ветлуге и обмеряли разваленные во время Советской власти храмы. Советская власть продолжалась, но уже церквями (храмами) было разрешено заниматься. А когда вертикаль духа разрушена, когда с неба ушел сторож, наблюдавший за Россией, то рухнули все скрепы. Вот эпизод из нашего путешествия по Поветлужью. В разрушенной церкви, где был снесен купол, была столярная мастерская. Около верстака на досках сидели здоровые мужики и пили пиво. Казалось, что к доскам прилипли. Увидев нас, слегка зашевелились.

— Вы, ребята, откуда сами?

— Из Москвы.

— Из самой Москвы? А чего здесь делаете?

— Церкви ваши обмеряем. Народное достояние. Может, восстановят когда-нибудь.

Старшой, самый крупный, развел руками:

— Так что, важное здание? Храм? А мы девок в храм таскаем, трахаем их. Это, значит, неправильно? А Бог разве есть?

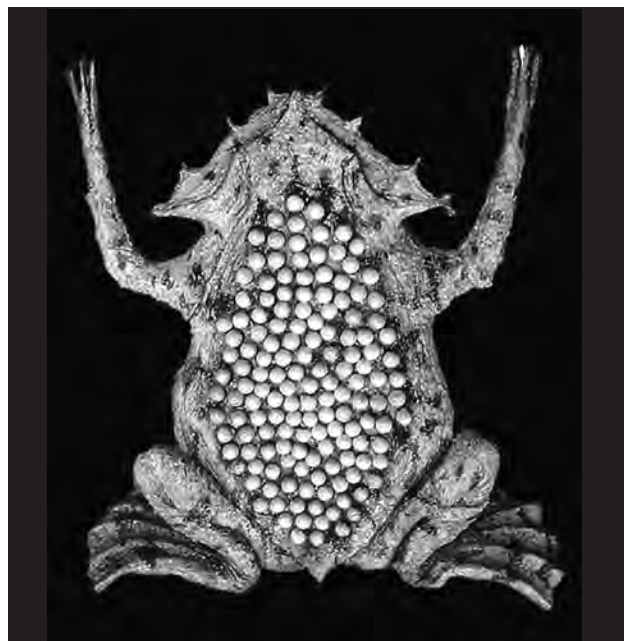
Очень хотелось повернуться, пошевелиться, приподняться... А, может, я жив? — вдруг мелькнула мысль. Но реальность говорила, что я отгулял свое. А над могилой продолжались речи, говорили жене, утешая по-русски, что она, мол, потеряла самое дорогое, что у нее было. Кларина не отвечала. Она тихо, почти без сил сидела у могилы на корточках, вторая моя жена, мое второе я, и, как говорили в старину, *лила безутешные слезы*. Дочка держала ее рукой за плечо, мордочка была искривлена, она кусала губы, но не плакала. Что за кладбище? — думал я. Вдруг то, где лежали дед и бабка, в том самом Тимирязевском парке, где я провел детство. Голова моя всегда была набита стихотворными отрывками. И после смерти они оставались в голове. Как — не понимаю, но оставались. И вот Пушкин зазвучал во всем моем умершем организме: *«Ихоть бесчувственному телу Равно повсюду истлевать, Но ближе к милому пределу Мне все б хотелось почивать»*.

Так где же я? Может, это Тимирязевский парк? Профессорское кладбище? Там я провел первые годы своей жизни. Туда, в профессорскую квартиру, привел свою первую жену. Телок я был. Теперь вспоминая начало нашего романа, понимаю, что она имела и до меня бойфрендов, но была умна и сумела убедить меня, что я у нее первый. Когда я вызвал скорую, чтобы остановить кровотечение у юной девушки, смущенно и тупо объясняя, что это следствие первой брачной ночи, фельдшерница сказала, что такое обильное кровотечение бывает только при выкидыше. Я гневно объяснил, что такого быть не может, что у нас это первая близость. Она передернула плечами, попросила меня выйти из комнаты, что-то сделала там, а когда вышла, то строго-настрого просила меня в течение двух дней не прикасаться к «молодой женщине». Уже спустя годы, после начала моей любви к Кларине, любви совершенно сумасшедшей, я не мог решиться оставить первую жену, пока мой приятель, чья сестра дружила с моей первой, не сообщил мне, что его сестра удивлялась, как я не замечаю измен своей жены, и назвал некоторых персонажей, с которыми у нее были *отношения*. Несколько дней я ходил на ватных ногах. А потом, оставив первой жене квартиру, ушел, снял нам с Клариной комнату и начал искать постоянное жилье. Теперь-то оно постоянное. Интересно, какая сейчас погода?

Вот тогда и стал бормотать частенько строчки Пушкина:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

Но не угадал. Когда я упал и разбил голову о трамвайный рельс, стоял теплый вечер, шел легкий июньский дождь, было полно луж, из канавы доносилось кворканье жаб и кваканье лягушек. Они прыгали и между луж, гладкие зеленые лягушки и серые пупырчатые жабы. Ползали длинные дождевые черви. Словно приоткрылось подземное хранилище, откуда все это и полезло. Совокуплялись совершенно откровенно какие-то желтоватые лягушки.



Жаба пипа

А некий жабоаист в сторонке, под деревом, за трамвайными путями заглатывал этих лягушек одну за другой.



Иероним Босх. Сад земных наслаждений

Пузыри земли. Как у Шекспира в «Макбете»: *Земля пускает также пузыри, Как и вода. Явились на поверхность: И растеклись.* Одна из этих жаб и подвернулась мне под ноги. А теперь я в гробу и непонятно, что из себя представляю, еще живой человек, случайно попавший в деревянный ящик, или уже нежить. Да, если Бога упразднили, то вылезает нежить. Владимир Даль писал, что слово «нежить» происходит из северных территорий нашей страны и означает «все, что не живет человеком, что живет без души и плоти, но в виде человека: домовая, полевая, водяная, леший, русалка, кикимора». Если верить Дально, то в изначальном, старорусском понимании «нежить»

была особым видом духов. Это не пришельцы из другого мира, не мертвецы и не привидения. Согласно старинным поверьям, нежить не живет и не умирает. Из провинциальных воспоминаний не отпускало меня очень долго одно. Оно и сейчас вернулось. Это был рассказ старушки из деревни Афанасьево (что под Александровом, бывшей Александровской слободой, где Иван Грозный придумал свою опричнину), дочери попа. Наш дачный домик (крошечный, вроде домика дядюшки Тыквы) был неподалеку, и мы часто ходили в эту деревню, где стояла разрушенная церковь, а на месте купола как-то криво росла березка, такой очевидный символ победившего язычества. Так вот старушка рассказывала: «Собрались комсомольцы вокруг храма, старший их влез на крест с балалайкой, а оттуда орал похабные частушки, потом били трактором в основу храма, разрушить не смогли, тогда вожак ихний спустился вниз, взял трос, привязал к кресту, а другой конец к трактору, и поехал, потянул трос, крест и купол и обрушились». Старушка помолчала и ухмыльнулась торжественно: «Потом их всех на войне на фуй поубивали». Она назвала их фамилии, а я вспомнил, что эти имена стояли на стеле «Героям Великой Отечественной войны». Потом я проверил, точно, они. Это было так жутко, вроде продолжали жить как герои, а при этом старики их видели как злодеев, «убивцев Бога». Вот еще вариант нежити. Когда Бог исчезает из мироздания, его место занимают бесы и нежить.

Доносились голоса, надо бы прислушаться, чтобы понять, кто я теперь и где я. Говорил женский голос с придыханием, я узнал свою детскую приятельницу Таньку из маленького деревянного домика, соседствовавшего с их пятиэтажным профессорским домом. Я был года на три старше ее и в пятнадцать лет был вроде даже влюблен в нее, но даже поцеловать не решался, а она, рано созревшая девочка, хотела близости; в кустах она тискалась с одноклассниками, но в итоге сошлась с Адиком, парнем из соседнего подъезда, внуком академика, старше ее лет на пять, которого ее молодость не остановила. Думаю теперь, что, наоборот, возбуждала. Она говорила знакомой:

«Надо пройти мимо могилы Адика, его ведь тоже несколько месяцев назад тут похоронили, свернуть направо и по прямой дойти до Пасечной, где кони металлические, а там и трамвай».

Да, про смерть Адика я знал, Танька его за дело притопила, отомстила за все свои унижения. Впрочем, и я тогда, после его гибели, до нее дорвался. Может, мое падение и удар головой о рельс были наказанием за мое поведение, за то, что я вытворял с ней. Но, вообще-то, узнав об изменах первой жены, веру в женскую неприкасаемость я потерял, выделяя из общего ряда только Кларину, мою

ясную. Но нет, с Танькой все же это было случаем, восполнением не случившегося в юности, а главное, чем я жил последний год, — это попытка устроить жилье жене и дочке. И я добился этого! Забросив все свои писательские и научные дела, только квартирой для нас и занимался. Как это удалось? Сам не понимаю, но удалось!

Кларина не пошла со всеми, сидела на поваленном дереве и продолжала плакать. Сашка уже томилась от долгого плача, да еще и не очень понимала, что произошло. Но потом, глядя на безутешную мать, снова начинала всхлипывать.

Мысль по оставшимся, еще не отмершим извилинам, побежала, выстраивая мою жизнь за последние полтора года. Но началось движение мысли все же с того эпизода из сравнительно ранней молодости (мне лет двадцать пять или тридцать), когда с отцом мы пришли на это профессорское кладбище. Потом пробел, поскольку это было очень-очень давно, далее я женился, родился сын, развелся, родилась дочка, семейную квартиру я оставил сыну и первой жене, жить в новом союзе было негде. А как достать квартиру, когда и денег нет, одна зарплата?.. Однако по порядку.

На краю небытия

В соседнем подъезде нашего пятиэтажного профессорского дома жил Андрей, по прозвищу Адик, внук академика Жезлова, внучатого племянника знаменитого революционного матроса, разогнавшего в 1918 году Учредительное собрание по приказу Ленина. В наших учебниках об этом разгоне рассказывалось очень романтично. В какой-то момент Железняк подошел к председателю собрания и спокойно сказал: «Пора расходиться, господа. Караул устал». И все, мол, трусливо разошлись. Но на самом деле было не так: члены русского Учредительного собрания помнили, как долго держалось Французское Учредительное собрание и, конечно, хотели быть не хуже. Но Железняк знал, о чем говорил. И добавил: «Караул уже сутки не был в отхожем месте. Возможности человеческого организма ограничены. Поэтому я разрешаю моим матросам опорожниться на том месте, где они находятся». Надо добавить, что депутаты сидели в зале, а моряки стояли наверху, на хорах. И вот с удовольствием расстегнув свои тяжелые морские клешы, достали внушительные члены, набухшие от долгого терпения, и на головы интеллигенции полились реки злобной мочи. Вот тогда-то Учредительное собрание и побежало. Это

и был истинный переворот, людей погрузили в другую реальность. То, что можно назвать пропастью небытия. И все в той или иной степени стали существовать в мире «материально-телесного низа», если воспользоваться термином Бахтина, только смеха тут не было.

Адик, как его дальний родственник, тоже любил обижать людей, стоя на своем балконе четвертого этажа и стреляя мелкими пулями из купленного ему дедом духового ружья в прохожих. Мальчик с толстым задом, похожий на жабу, стрелял довольно метко, целился в ноги или в попы. Пуля как бы ужаливала, но никто не понимал, откуда этот укус. А потом у себя дома люди вынимали из-под кожи эти мелкие пульки, и не могли соотнести укус и место, где их эта пуля укусила. Перед мальчишками он этим хвалился, а мы в растерянности смотрели на того, кто все это мог себе позволить. Это поражало даже больше, чем подлость, даже преступность его поступка. И хоть жил он в соседнем подъезде наверху, мне казался каким-то подземным гадом. Прозвище «Адик» было неслучайно.

Но, кажется, все же первое реальное столкновение у меня с подземным миром, вернее ожидание ужаса от такого столкновения, случилось, когда мы с отцом тайком хоронили кувшин с прахом его матери, моей бабушки в могиле деда. Первое, что я тогда с очевидностью увидел, — равнодушие начальства к заслугам умерших, если они не включены в некий список. Бабушка перед смертью просила ее похоронить в одной могиле с мужем, но при этом кремировать ее. Это оказалось спасительным решением, как потом мы поняли. С дедом она вернулась в СССР из Аргентины, из Буэнос-Айреса, в 1926 году, где организовала аргентинскую компартию. Но, как всегда бывает, зачинатель дела всегда оттеснялся, выкидывался из дела. Недаром Петр Великий уезжал из России, чтобы вернуться уже другим, новым человеком. Это был необходимый промежуток времени, чтобы стало понятно, что он не такой, как остальные, что он Хозяин Жизни. Словно с того света вернулся, а это мало кому удается. А бабушку бывший уголовник, которого она ввела в ЦК компартии — решительного «человека из народа», по имени Кодовилья, — выжил из партии, интригами добившись поста генерального секретаря. Этот секретарский пост после подъема Сталина на вершину власти стал котироваться, а бабушка потеряла право на партийную жизнь, стала партийной нежитью. Эмигрант-итальянец Кодовилья был человеком из бандитского подземного мира, того мира, на который со времен Бакунина революционеры очень рассчитывали. Вот Кодовилью и возвысили. Человеку вообще-то почти не свойственно чувство благодарности. Особенно, когда она препятствует личной выгоде. И итальянец развернулся, как мог. Даже дворец себе построил на окраине

Буэнос-Айреса с огромным подвальным цоколем, два этажа вниз. И бабушка вернулась в Россию, откуда эмигрировала после революции 1905 года, уговорив на отъезд и своего второго мужа — моего деда, профессора геологии Ла-Платского университета и испаноязычного драматурга и философа, вот список его текстов:

- Noche de Resurrección: Esbozo dramático en 3 actos // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año XI. T. 25. 1917. P. 181–220.
- Sandro Boticelli: Drama en 3 actos de la época di Renacimiento. Griselda: Leyenda dramática en 1 acto de la Edad Media. Noche de Resurrección: Drama en 3 actos de la época moderna. Buenos Aires: Nosotros, 1919. 178 p.
- Victoria Colonna: Poema dramático en tres actos con un prólogo. Buenos Aires: Nosotros, 1922. 115, XI p., 1 l. Portr.
- Halima: Leyenda dramática en un acto // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año XVI. T. 41. 1922. P. 59–71.
- Leyendas dramáticas. Buenos Aires: «Buenos Aires»; Agencia general de librería y publicaciones, 1924. 137, [3] p.
- Lenin. Buenos Aires: J. Samet, 1925. 115 p.

Философия и эстетика

- La moral de Tolstoï // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año VIII. T. 15. 1914. P. 188–199.
- La guerra europea y sus consecuencias // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año IX. T. 18. 1915. P. 17–25.
- La ultima tentacion de Cristo: sobre una pagina de Tolstoï // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año IX. T. 19. 1915. P. 21–26.
- Las ideas religiosas de Tolstoy // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año IX. T. 20. 1915. P. 240–257.
- Sobre algunos dramas de Ibsen // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año X. T. 22. 1916. P. 265–274.
- Amado Nervo como filósofo // Atenea (La Plata, Argentina). Mayo-junio 1919.
- El problema social y la revolución maximalista en Rusia // Revista de filosofía. Año V. T. 9/1. P. 114–135 (= Cuasimodo: Magazine Interamericano. T. 20/13. Sept. 1920. P. 6–18).
- La estética de Croce // Revista de filosofía. Año VII. T. 13/3. 1921. P. 363–393.
- Proletkult // La Antorcha: periódico republicano democrático. 10 feb. 1922.
- La estética de Kant // Valoraciones. Vol. II. La Plata, 1924. P. 62–67.

Сам он, как рассказывал отец, больше прочих любил свою пьесу о древнегреческом слепце прорицателе Тиресии «Tiresias» из цикла «Leyendas dramaticas». Ему казалось, наверное, что он, как Тиресий, понял тайну секса. Зевс и Гера привлекли Тиресия, чтобы рассудить их спор о том, кто получает больше удовольствия от любовного соития — мужчина или женщина. Когда Тиресий ответил, что для женщины удовольствие в девять раз больше, проигравшая спор Гера ослепила его; Зевс же наделил Тиресия вместо зрения способностью прорицать и дал ему жизнь, равную семи поколениям. Деду, как вспоминал отец, казалось, что жизнь его не будет иметь конца. Сто раз мог погибнуть, но все живой. Да и тема покойников вполне была в контексте латиноамериканской литературы. Но мне казалось, что чрезвычайно образованный дед наверняка читал и «Бесплодную землю» (*the waste land*) Элиота, где рассказчик — «слепец Тиресий». Дед был не аргентинцем, а старшим сыном в большой еврейской семье из молдавского села Ферапонтовка. Вначале хедер, а потом он уехал в горную академию саксонского Фрейберга. Он свободно читал не только по-русски и испански, но, конечно же, на идиш и по-немецки (пять лет *Bergakademie in Freiburg*). Дед вообще-то умудрился, родившись в абсолютно глухом молдавском селе, объехать весь мир — начав с Германии, с саксонского города Фрейберг, там четыре года жизни немецкого бурша, он ее полностью принял, по легенде даже участвовал в студенческих дуэлях на рапирах, но диплом получил. Эту горную академию заканчивал когда-то Ломоносов, это давало ориентир и планку приезжавшим из России студентам. Там он выучил и английский.

А по окончании *Bergakademie* он вернулся в Россию на Урал, потом его носило по миру. Дед был женат первым браком на русской женщине из старообрядцев, которую вывез в Аргентину с Урала, а потом обеих жен и своих детей от обоих браков — в Советскую Россию. После его смерти первая жена пыталась зарабатывать, издала учебник испанского языка, когда я подрос, она подарила его мне, а потом легла, не вставала почти месяц, а перед смертью шепнула: «Ухожу к Моисею». Похоже, она была верующей. В Советской России моя бабушка восстановила свой партийный стаж — с 1903 года, что для партийной позиции значительно, но к счастью, не получила ни одного партийного поста, только заведывание кафедрой истории партии в Тимирязевской академии. Дед там же вел кафедру геологии, за современной литературой не следил, из русской литературы читал только Пушкина. Он много ездил в экспедиции (подальше от столицы!), разработал знаменитое тогда Керченское месторождение, за что был выдвинут тремя академиками — Вернад-

было по щиколотку, прыгали всякие земноводные гады, похлопывая хвостами и лапками по ногам, и первого допроса с пристрастием, дед попал в тюремный дурдом, где вдруг замолчал и целый год молчал. Иногда только шептал строчки из Элиота: «*But at my back in a cold blast I hear / The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear*». Ему казалось, что он в подвалах испанской инквизиции, где за лишнее слово вырывали язык. «Это наш немой, — острили охранники, — бормочет что-то как придурочный. Или молчит сутками. Словно неживой. Наша нежить». Но кровь-то из заключенных пили они, дед-то был живой, почему-то храня в памяти свои геологические открытия и свои испаноязычные пьесы, бормоча еле слышно чаще всего монологи из своих пьес, из «Тиресия» и «Кассандры». Его перестали таскать на допросы. Решающую роль в освобождении деда сыграла бабушка. Она вернулась спасти мужа из Испании в 1938 году с Орденом Боевого Красного Знамени, орденом важным по тем временам.

Получила его, пройдясь по краю могилы, иначе эту ситуацию не назовешь. Дело было в Валенсии, которую на тот момент занимали республиканцы, а бабушка работала переводчицей между советскими и испанскими военачальниками. Неожнно началась атака франкистов, республиканцы побежали, бежал и их штаб в полном составе, бросив на произвол судьбы переводчицу, а также все штабные карты и документы. О переводчице никто и не подумал, жизнь тетки ничего не стоила, а вот потеря документов должна была оказаться военным преступлением. Но бабушка все же имела хороший опыт подпольной работы в дореволюционной России. Она сложила в хозяйственную, но элегантную сумку все штабные бумаги, карты, в том числе и контурные, на которых направление задуманного удара виделось яснее, и пошла к своей валенсийской приятельнице, у которой прожила больше недели, — до того момента, когда артиллерия, а затем пулеметы показали, что республиканцы возвращают Валенсию. Тогда моя еврейская бабушка Ида Исааковна (И.И., как называла ее мама) вернулась в штабной дом, в подвал, согрела на электрической конфорке кофе, будто оттуда и не выходила. Сидела и смотрела на многочисленные кротовые норы в полу подвала. Но никого из ползающих в мелких лужах жаб и выползавших из своих норок кротиков она не трогала. Она чувствовала себя, свою сумку с документами, миной, зарядом, заложенным под штаб. То есть из подземелья она как бы была сильнее всех, но, к чему приведет взрыв — к всеобщей гибели или спасению, она еще не понимала. Не окажется ли этот подвал ее могилой?

Но была она хороша собой и витальна чрезвычайно.



Ида Исааковна Бондарева

Услышала, что штабные вернулись и тихо ругаются, не обнаружив ни карт, ни документов, и с каждой минутой понимая все отчетливее, что все документы у франкистов, что ничего хорошего их не ждет. Советская система уже действовала и в Испании. Возможно, среди них и не было сотрудников Органов. Но чекист жил в каждом.

«Este fusilamiento» (это расстрел), — произнес мрачно испанский полковник в республиканской форме. В ответ русский генерал в такой же форме вытащил пистолет и застрелил его, жестко сказав: «Паника ведет к расстрелу». И добавил: «Документы необходимо найти. Франкисты, похоже, их еще не рассекретили. Они

могут быть в любой офицерской, а то и солдатской сумке. Готовим спецоперацию. Жертвы будут, но документы важнее. А тот, кто их здесь оставил, будет судим военным судом». Он говорил, как существо подземного мира, знавшее, что может многих забрать к себе, что каждый должен быть готов к подземному небытию. Но большевики, как всегда говорила бабушка, к смерти относились с презрением, а в потусторонний мир и вовсе не верили. Но к бесцельной смерти тоже не стремились. Было важно, чтобы бумаги попали в нужные руки. И чтобы стало ясно, что нет потерь. Тогда она открыла дверь и вошла. «О, ты уцелела! – воскликнул генерал. – Это хорошо, но сейчас нам не мешай!» Та расстегнула хозяйственную сумку и достала бумаги: «Проверьте, все ли в порядке! Я успела их унести и сохранить». Далее была немая сцена. «Оставившего документы – к расстрелу, а нашу переводчицу – к боевому ордену!» – приказал генерал. Так и получилось. Орден потом бабушке пару раз помогал. Она уехала из Испании до разгрома республиканцев, а потому уцелела. Что она сказала своим военачальникам, не знаю. Но ее отпустили, дали документы для проезда. А она ехала спасать мужа. И орден открывал ей многие двери. Деда выпустили в конце сорокового года. Как началась война, все сыновья ушли на фронт, а бабушка увезла деда в эвакуацию, в Ташкент.

Она для начальства была героиней, хотя и с подпорченной в Аргентине репутацией (донос Кодовильи). И хотя клевету Кодовильи дезавуировали, но положили его бумаги в ее досье. Дед умер в 1946 году, успев подержать на руках внука. То есть меня. А за год до смерти деда начальство Тимирязевской академии решило завести маленькое кладбище для академиков и профессоров внутри Тимирязевского парка (кстати, бывшего Петровского), безо всякого освящения, потому что профессура была партийной и, как правило, атеистической. От трамвайной остановки (напротив музея коневодства, где перед музеем стояли две металлические лошади, на которых мы любили в детстве сидеть) надо было пройти метров четыреста по дороге вдоль парка и свернуть по тропинке налево. За решетчатой оградой было десяток могил. Состав покойников был ограничен, в основном – академики. За деда просил Вернадский. На его могиле поставили памятник из камня, который привезли дедовские студенты-геологи с Кольского полуострова. На памятнике была выбита надпись, где сообщалось, что дед двадцать лет был профессором академии, а с 1916 года членом ВКП(б). Это было очень важно, значит, арест не учтен, значит, прощен.

Деда она при этом держала в ежовых рукавицах, стригла, брила, следила за едой и оттачивала на нем свое мастерство преподавателя

истории партии. Она рассказывала ему эту историю перед каждой лекцией, меняя согласно высшим указаниям даты и факты, особенно те, к которым была непричастна. Она любила остановиться и молча смотреть на него, словно впитывала в себя. «Ида, — говорил тогда дед, у которого от ее взгляда начинала голова кружиться, — перестань так смотреть, ты прямо словно все из меня вынимаешь. Ида, ты энергетический вампир!» Бабушка тогда запевала «Бандьеру росса» и уходила. Умер дед отчасти по ее вине. Она что-то готовила на кухне, он лежал на кровати в своей комнате. И вдруг он тихо позвал ее: «Ида, мне плохо!» Она ответила: «Потерпи пять минут, не капризничай, сейчас приду». Когда она вошла в комнату, он уже не дышал. Она впилась губами в его губы, пытаясь своей колдовской силой вернуть его к жизни. Мама вбежала в комнату и застала эту сцену: губы бабушки плотно прижаты к губам деда, а потом бабушка откинулась. Дед не дышал. И в перепуганном сознании мамы, полудеревенской женщины, возникло убеждение, что бабушка — истинный вампир и высосала у деда его жизнь. И навсегда в это поверила.

Бабушка умерла тридцатью годами позже — в 1977. В 60-е годы по всей стране отмечали какую-то годовщину испанской войны. Тимирязевка тоже включилась в общий процесс, тем более, что у них была реальная участница испанских боев, то есть бабушка, да еще и с орденом Боевого Красного Знамени. Ее посадили, разумеется, в президиум. На лацкане пиджака висел Орден за Испанию. Речи лились о героизме испанских республиканцев и интербригадцев, которые, конечно, победили превосходящего численностью врага. Но прямота некоторых большевиков была удивительна. Надо добавить эпизод о бабушкином простодушии. Что-то знала, а что-то в жизни прошло мимо нее. Домработница как-то жаловалась бабушке на мужа: «Мой-то опять нажрался. Всю ночь вначале блевал, а потом на полу уснул». Бабушка: «А зачем же он так много ест? Вы следите, чтобы он не передал!» — «Да не ест он, а пьет». Бабушка не поняла: «*Чего такого он пьет?*»

Действительно, стальные люди. И бабушка потребовала слова, которое ей было предоставлено. Ожидали торжественно-победительных фраз, но старуха сказала: «Не понимаю, чему вы все радуетесь и ликуете. Ведь мы проиграли войну вчистую. Победил ведь Франко!» Вампиры кто угодно, только не трусы. Могли бы, так ее бы просто живьем закопали. Любимое занятие для борьбы с чужими. Орден помешал. Но из всех торжественных советов ее исключили. Хотя газета «Правда», когда она умерла, дала извещение о смерти члена партии с 1903 г. Это был знак отличия. Но когда отец пришел после ее кремации просить у руководства Академии разре-

шения захоронить прах его матери в могиле мужа, ему отказали наотрез, сказав, что кладбище законсервировано и что такое захоронение — дело подсудное. И местный партийный босс добавил вдруг: «Во время празднования юбилея испанской войны она противопоставила себя коллективу. Поэтому и мы ей навстречу не можем пойти. Вы же бывший военный и коммунист. Летчик, кажется...». Отец вздрогнул и проговорил, сильно побледнев, как бывало, когда он принял какое-то решение, а ему мешали: «Вы и не можете пойти ей навстречу: она умерла». Секретарь парторганизации поморщился от неуместных для него слов и, сурово глядя на отца, напомнил ему, что не в том дело, кто жив, а кто умер, партию это не интересует, член партии должен выполнять решения партбюро, а партбюро постановило это кладбище больше не использовать. «Пусть те, кто удостоился чести лежать на этом кладбище, вкушают покой, и им никто не должен мешать», — секретарь употребил даже неожиданное в его речи словосочетание «вкушать покой». А как можно помешать мертвецам с точки зрения коммунистического материализма и вовсе было неясно. Отец и вправду был членом партии, вступил во время войны, и вправду верил в идеалы, но урна с прахом его матери стояла на кухне в шкафу среди посуды и еды, и выглядело это вполне макабрически. Мать мрачно спросила, не хочет ли отец просто захоронить прах матери, не выполняя невозможного пожелания — в могилу мужа. Но если первая — верующая — жена умирала, веря, что встретится с Моисеем на том свете, то материалистическая бабушка хотела материального воплощения их единства — лежать в одной могиле.

Вечером отец вернулся домой, принеся с собой лопату — инструмент не из его повседневного быта. Мама сразу сказала: «Карл, не сходи с ума! Тебя посадят за нарушение партийного решения, а самое важное — что тебе припаяют осквернение могилы». Отец вдруг взорвался: «Это не осквернение могилы, а исполнение воли моей покойной матери! И я ее волю исполню! Понятно?» Мама, бабушку не любившая, считавшая ее почему-то ведьмой, — и вполне серьезно, — выкрикнула: «Но Вовку не возьмешь ковырять могилу! Да еще ночью! Я не хочу, чтобы она его утащила за собой!» Поразительно, что мама была человеком ученым, генетиком, кандидатом биологических наук! «Не сходи с ума!» — возразил отец, взял урну, лопату и заперся в своем кабинете.

А я лежал на своей узкой тахте и почему-то вспоминал детсадовскую историю, которую мы любили друг другу рассказывать перед сном. Таксиста нанимает на перекрестке девушка в белой шубке, дело зимой и поздно вечером. И говорит: «На Рогожское кладби-

ше, пожалуйста, и подождите там меня минут десять». Ну, поехали, довез, подождал минут пятнадцать. Смотрит: белая шубка к нему от ворот спешит. Опушка нижняя мокрая и колени тоже, и немного в земле испачканы, а глазки от света фар словно сверкают. «А теперь, — говорит, — на Вознесенское, тоже недолго». И вправду не больше двадцати минут она не возвращалась. А шоферу какое-то сомнение в душу запало: чего, мол, она по ночам на кладбище делает? Вот снова от ворот к нему бежит, снова шубка по низу в снегу и немного в земле, глазки сияют, а губки полные, красные. Снова садится: «Чтобы вы не сомневались, вот вам сто рублей как аванс. А меня теперь — на Новодевичье, но там меня подольше подождать придется, не меньше получаса». Доезжают, она выскакивает и за воротами исчезает. Он ждет-пождет, время уже давно за полночь перевалило, часа два ночи, а ее все нет. Жутко ему что-то. Всякие истории про мертвяков вспоминает. И когда, наконец, увидел ее, то даже поначалу обрадовался. А она как-то тяжело идет, будто после сытного обеда. Шубка в снегу и в земле, рот тоже землей измазан, глаза сонные, вроде и впрямь на пиру была. Садится к нему, уговоренную тысячу протягивает: «А теперь снова на тот перекресток, где меня подобрал, там и выйду». Он рулит себе, а потом не выдерживает и спрашивает: «А что вы по ночам на кладбище делаете?» И пошутить решил: «Мертвяков, что ли, едите?» А она вдруг его за отвороты куртки к себе притягивает и произносит громким шепотом: «ДА, ЕМ!!!» Понятное дело очнулся шофер в Кашенко. Тут я ненадолго уснул, чтобы к трем ночи подняться и идти с отцом на кладбище.

* * *

Бабушка, его мать, была для отца камертоном жизни. И вправду она считала, что моя мама ему не пара, особенно после смерти деда, свекра, который маму любил и всегда защищал от жены. Но потом бабушка абсолютно овладела психикой отца. Она была храброй женщиной, и в этом вывороченном наизнанку мире чувствовала себя хозяйкой. Почти барыней. Мама же помнила, что в другом ненормальном облике России ее бабушка, моя прабабушка, была крепостной рабой. И бар не любила. Только любовь могла соединить таких разных людей. А потом начала действовать разность слоев. Партийный чин был своего рода дворянством. Вот одна из маминых записей: «Большой скандал с утра. В этот день я не ездила в Бирюлево. И.И. позавтракала, и я накрыла нам троим. Карл сел за стол, старший мой еще был в школе. Вошла в кухню ИИ и стала

что-то наигранно оживленно говорить, стоит, не уходит. Партийная барыня. И напевает: “Говорят, я простая девчонка / Из далекого предместья Мадрида...”. Все время живет с Испанией, даже на столе ее письменном статуэтка интербригадовца. Да и Карл часто поет: “Я хату покинул, пошел воевать, / чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать!” Хрен они отдали, а не землю. А нас с Вовкой словно нет. Я стала откашливаться. Меня К. спрашивает, что с тобой, ты больна? Да, я больна. Я не соврала, я больна огромной ненавистью к ней за то, что она все время устраивала между нами раздоры. Я ненавижу ее до спазм в мозгу, не могу ее видеть, не могу ее слышать, и К. это знал и знает.

Она стояла за моей спиной и что-то ему показала и тотчас же вышла. Он начал ко мне приставать: “Ты что так маме относишься, ты что безобразничаешь?” Я не выдержала и тоже очень раздраженно крикнула. “Ты мне надоел со своей матерью, когда это кончится!” Тут он встает и через стол раз меня кулаком по лицу, но, к счастью, не достал. Это его разозлило, он встал, хотел обойти стол, кричит: “Я тебя сейчас убью, ты долго еще будешь безобразничать!” Прибежал Вова и схватил его, не пускает ко мне. Он со всей силой, озверев, лезет ко мне с кулаками, а Вова его не пускает. Пришла ИИ, полюбовалась из коридора, как он лезет меня бить, и ушла к себе. Тогда он начал хватать посуду со стола и бросать в меня. Я хочу выйти из кухни, он меня не пускает. Схватил большой осколок зеркала, который лежал на холодильнике и тоже мне в голову. К счастью, ни разу не попал. Сам порезался об него. Увидев кровь на пальцах, он пришел немного в себя, я выбежала из кухни в комнату и стала собираться уходить. Он вошел в комнату и говорит: “Шантажируешь, довела до драки”.

А я ничего ему не говорила, не делала. Она его как всегда настроила, подбила. Перед этим я ей не открыла входную дверь, она шла из кино, а я уже легла в постель, она звонит, я ей крикнула, что дверь открыта, она снова звонит долго и продолжительно. Я встала, открыла и сказала, что есть ключи и можете ими открыть. В другой раз я в трамвае случайно встретилась с ней, и я прошла мимо нее. Это тоже все обсуждалось, и было соответственное сделано внушение. Да еще я плюю ей вслед, когда мы вдвоем. Я ее ненавижу, а она меня, но делает это не своими руками, а через сына, и это еще больше меня злит. Она разбила нашу семью, и это вызывает у меня непрекращающуюся ненависть и презрение». В тот день маме было плохо. Она несколько раз сползала с дивана, ходила в туалет, потом сказала мне: «Надо неотложку вызывать, уже воды отошли. Сумеешь?» К тому моменту и бабушки Иды дома не было. А я был маль-

чик, домашний, книжный, совершенно не понимал, что значит «воды отошли». И в свои тринадцать взрослым себя не чувствовал. Но надо было делать. Я позвонил, мне ответили, что все машины на вызовах, придется часа два подождать. Тут я нервно начал кричать, что я сын, что никого из взрослых нет, что у женщины воды отошли и неужели они не понимают, как это опасно. Очевидно умилившись мальчишескому голосу, который испуганно произносил слова, которых сам не понимал, заведовавшая машинами распорядилась, и через двадцать минут неотложка уже стояла у подъезда. Еще была проблема свести роженицу с третьего этажа. Это больше всего беспокоило молодую врачиху. Санитар с одной стороны, сын — с другой, изо всех сил поддерживали маму почти на весу, довели до машины, там с помощью шофера санитар уложил маму на лежанку внутри перевозки.

Я остался один, что было жутковато с непривычки, но с маминим заданием, которое придавало решимости. Воспитан я был просто: раз надо — значит надо. Надо было пойти до бабушки Луши и рассказать ей, в какой роддом повезли маму. Карманных денег у меня не было, и, странно чувствуя, что взрослею, я пешком дошел до Тимирязевской академии, оттуда по Лиственничной аллее, через Окружную железную дорогу, а затем до домика бабушки Луши в местечке под названием Лихоборы. Название-то было, наверно, смысловое, лихие люди когда-то тут жили, но тогда я в это не вдумывался. «Спасибо, сынок», — сказала бабушка, напоила чаем, и мы вышли вместе, поехали в роддом, чтобы «ты отцу мог сказать, где мама-то лежит». Походили под окнами, новостей у дежурной не было, отправили записку, яблок не взяли, бабушка дала мне мелочь, на эти денежки я и вернулся домой. Интересно, что в первый вечер бабушка Ида даже не поинтересовалась, где мама. Жесткость старого большевика. Они так и друг к другу относились.

Да, это было, но все же — как взрывы, обычно шли нейтральные будни. Два очень сильных женских характера, воевавших за мужчину. А он метался, любя обеих, и мать, и жену.

Я ушел в гостиную, где на гостевом столе готовил уроки, а на маленькой тахте спал, понимая, что сегодняшняя ночь будет непростой. В 11 часов вечера, когда уже стемнело, а я уже дремал в постели, в комнату вошел папа, тронул меня за плечо, включил настольную лампу у моего изголовья, молча показав, что надо вставать, но не шуметь, чтобы не разбудить маму. Но мама уже стояла у входной двери. В руках она держала лопату, которую принес отец. «Я не хочу, чтобы вы этим занимались. Это не просто опасно. Нельзя мертвецов тревожить. Навьи страшны. Пристанут — не убере-

жетесь, не избавитесь. Будут угощать чем-то, так не ешьте». Папа сказал решительно, забирая у нее лопату: «Таня, ты же биолог, ученый! Перестань мутить голову сыну». Я спросил: «А что такое навьи?» Мама посмотрела на папу, мол, не мешай, и ответила: «Это ожившие мертвецы, народный фольклор». Я уже учился в последнем классе, а потому кивнул, что знаю, мол. «Все же у нас в России наука неотделима от суеверий, сказок и мифов». Мама огрызнулась: «А в твоей Аргентине разве в мертвецов не верят? Сам рассказывал». Отец сжал губы: «В нашей семье не верили».

Одну остановку – от нашего *Краснопрофессорского проезда до Пасечной* – мы проехали на трамвае. Трамвайные рельсы шли мимо кустов и остролистной травы. Существовала дворовая легенда, что сын профессора Карнаухова Андрей (по прозвищу Адик) как-то проехал от одной остановки до другой, когда его ноги зажала трамвайная дверь, и он целую остановку перебирал руками. Я верил, хотя руки его не были даже поцарапаны. Мы вышли у факультета (он же музей) коневодства, перед которым стояли две металлических лошади. Сама пасека была в глубине парка на большой поляне. Перешли трамвайную линию, шоссе и шагнули в начало леса. Вечером парк и впрямь напоминал лес: густо и темно от листвы и плотно стоявших деревьев. Но небо было еще светлое, хотя виднелся серп нарождающейся луны.

Мы шли тропкой вдоль лесной дороги, проложенной для машин в Тимирязевский парк, называвшейся, как и остановка, *Пасечной* дорогой; пахло ночной листвой, и странный какой-то запах от малинника, росшего по краю тропинки, почти ягодный, добавлял смертельной сладости. Дорога, если идти дальше, выводила к *Зеленовке*, местным горкам, нашему местному *Крылатскому*, где зимой на лыжах собиралась вся округа. Но в тот момент, по совести говоря, я боялся. Не ночного парка, а того, что нам придется разрывать могилу. Если кто увидит (и кто это может быть?), что нам скажут?! Арестуют? Может, разбойников боялся? Года три назад все тот же Адик, подговорив других мальчишек, решил показать книжному мальчику разбойничье становище в нашем парке. Мы пошли тогда вглубь парка, прошли почему-то никогда не замерзающий «Олений пруд», окруженный березами и американскими кленами, орешником, «совершенно левитанистый», как называл его отец, когда мы гуляли с ним по парку. По утрам там мирно квакали-пели лягушки, было почти уютно. А мальчишки превратили этот путь в нечто странное, по дороге мы видели какие-то красные стрелки («сделанные кровью», говорил Адик). На пне вдруг Адик, всю дорогу державший руки в карманах, углядел

и нам показал распластанную лягушку с вскрытыми внутренностями. Кружились мухи. И мы вышли к дубу с большим дуплом. Перед ним было натоптано и валялись обрывки разодранных в клочья женских тряпок. Адик подошел к дубу привстал на цыпочки, сунул руки в дупло и вдруг заорал дурным голосом, помотав перед нами своими руками, покрытыми чем-то красным. «Кровь! Кровь!» — орал он. И бросился наутек. Мы за ним. Больше таких случаев не было. Потом я со своим старшим приятелем, сыном профессора Николая Николаевича Тимофеева, будущим биологом Кириллом Тимофеевым, ходил даже в теплые зимние дни вглубь парка на Оленье озеро — ловить головастиков и дафний, вода там бывала даже теплой. Дафний Кирилл ловил в сачок, сделанный из капронового чулка его матери. Они очень маленькие, но в его сачке они оставались. Дафниями он кормил своих аквариумных рыбок. Он не одобрял моего общения с Адиком, как помню. «Он же гад, — говорил Кирилл. — Не водись с ним». Но не больше. Он не любил осуждать, все же сын профессора.



Оленье озеро

Дошли с отцом до тропки, поворачивавшей вглубь парка, к кладбищу. Оно было в конце Пасечной улицы, напротив теплиц — в бе-

тонном заборе решетчатые ворота, среди деревьев, в самом парке, почти в лесу. Уже показалась решетчатая ограда, как вдруг отворилась тугая дверца, и с кладбища вышел молодой мужчина, постарше меня, но не очень. Он был высокого роста, с широкими, но согнутыми как у боксера плечами, черноволосый, волосы лежали на голове как кепка с козырьком, с немного перекошенным лицом, какое бывает у детей, переживших менингит, в глазах какой-то красный отсвет, на плече светлая холщовая сумка. Колени запачканы землей. «Почему?» — спросил я себя с тревогой. Явно он был не *из круга*, не из семьи, не из Тимирязевской профессуры. А мужчина протянул навстречу отцу руку: «Здорово, мужики! Может, помочь чего надо?» И добавил: «Меня Эрик зовут». Вынул из кармана горсть семечек: «На, парень, угощайся семками!» Раскрыл мне ладонь и всыпал туда пахнущие подсолнечным маслом семечки. Мамины слова о навях будто вдруг, как в сказке, подтвердились. Я незаметно скинул семечки в траву. Папа, не умея отказывать в рукопожатии, растерянно-интеллигентно пожал протянутую руку, но твердо сказал, отодвигая его плечом с дороги: «Нет, вы нам ничем не можете помочь!» Но мужик не отставал: «А вы не на могилу профессора Кантора? Я вот кореш внучатого племянника академика Лисицына, знаменитого нашего китаиста советского, все по заграницам мотался, вроде папаню вашего на фотографии у кореша рядом с его дядькой видел. Вы очень на него смахиваете».

Посмотрел на нашу лопату и спросил: «А вы чего-то подкопать хотите или пересадить? Могу помочь, я вот академику по просьбе того самого кореша, его внука, с которым в начальной школе учился, пару кустиков подсадил, хотя инструмент не самый для того удобный. Да вы наверно этого друга знаете, с вашего двора, всегда в костюме, в галстук, выбрит и кривомордый такой, с толстым задом, на жабу похож, Адик зовут, тоже из-за границы не вылезает», — и он достал из холщовой сумки огромный складной ножик, нажал какую-то кнопку на нем, и из рукоятки выскочило серьезное лезвие. «Этим и копал, — сказал молодой мужчина. — Хотите, и для вас постараюсь?» Отец возразил: «Нет, мы сами». Мужик кивнул: «Ладно, как хотите. Но я у ограды постою, посмотрю. Если понадобится — позовете». Отец шагнул за ограду, я за ним. В маминой хозяйственной сумке, которую он держал в левой руке, у него была небольшая, металлическая урна с прахом бабушки. Он подошел к камню, выломанному геологами из какого-то распада, пупырчато-му, только лицевая сторона его отшлифована, на которой выбита была надгробная надпись. Потом он пригласил камнереза, который продлил фразу, добавив про бабушку.



Могила М.И. Кантора и И.И. Бондаревой

Отец воткнул лезвие лопаты рядом с могилой и погладил надпись ладонью. Мне показалось, что он плачет. Над маленьким кладбищем склонялись деревья, на некоторых могилах росли кустики. Сумку он опустил на землю рядом с лопатой. Черноволосый парень не уходил, впившись глазами в нашу пару, руку с ножом положил на ограду. Надо было начинать копать могилу, но парень явно мешал отцу. Получалось, что мы «оскверняли могилу» в чьем-то присутствии, причем присутствии человека сомнительного, «если вообще человека», — по-

думал я. Отец подошел к могиле академика Лисицына, новых кустиков там не было, но было несколько свежих лунок, довольно широких, будто что искали в земле, но не нашли и вновь засыпали.

Мы повернулись к парню, который все не уходил. Поймав наш взгляд, он оживленно закивал головой, мол, его работа. И отец сделал несколько шагов к нему. И сказал: «Я, наверно, должен объяснить вам что-то, чтобы вы мне помогли». И, запнувшись, добавил: «Я хочу урну с прахом моей матери захоронить в могиле моего отца, ее мужа. Но я никогда в жизни не раскапывал могил. А у вас вроде такой опыт есть». Парень вдруг очутился рядом с нами, в калитку он не входил, это точно. Отец повел его к могиле деда: «Мне кажется, что надо аккуратно прокопать небольшую ямку, только ни в коем случае не задеть гроб. Положить туда урну, она металлическая. Ей ничего не сделается. И засыпать, чтоб следов раскопки не осталось».

Ситуация была вполне макабрическая. До сих пор, как вспоминаю, прихожу в недоумение и ужас. Словно испуг перед партийным боссом толкнул нас к явному преступнику?оборотню? А может, и вампиру?.. Если верить маминым суевериям... Интеллигентный и партийный человек искал помощи у явного осквернителя могил. Черноволосый парень взял лопату отца, отвалил от могилы пласт земли, потом своим ножом вырыл ямку. «Годится? – спросил он. – Размер урны какой? Вы мне ее покажите. Ее же надо аккуратно уложить». Отец достал из хозяйственной сумки урну и протянул ее парню: «Только осторожнее, моя мать герой испанской войны. К сожалению, орден к урне не удалось прикрепить...». Парень вдруг распрямился: «Понимаю. Мой отец тоже в Испании воевал, в Гранаде. Я вырос с песней “Бандера росса”. А теперь забыл. Все детство при родной матери с разным отребьем скитаюсь, как Ласарильо из Тормеса. Даже женился на любовнице секретаря райкома, как Ласаро на любовнице капеллана, на женщине с тремя детьми. Подкормился малость, а потом ушел к ее партийной подружке. Всегда заказы жратвы получал через распределитель ихний. Даже сына ей сделал». Показав свою образованность бродяги, он взял урну, поднес к уху и потряс. Вдруг отшвырнул ее и вскочил на ноги, вскричав: «Так это и вправду прах?..» И вдруг растворился в сгустившейся темноте парка. Словно под землю исчез. У меня по спине потек холодный пот. «Не бойся, – сказал спокойным, но напряженным тоном отец, – на войне еще и не то бывало. Разные видения. А мы ведь рядом со смертью». Но видением я это до сих пор не считаю. Мы осторожно уложили в ямку урну и засыпали землей. Землю разровняли и присадили травкой. Потом прошли годы, пока вдруг ко мне в память вернулся этот эпизод.

Лет за пять до похорон бабушки я женился на первой моей, было много друзей, мы провожали молодость пьянками и песнями. Отец хмурился, когда к нам в комнату набивались приятели. Ему казалось, что я теряю жизнь в этих гулянках. И на мое тридцатипятилетие написал мне стихи. Он был профессиональный философ, но всю жизнь мечтал быть поэтом. Его стихи заворачивали, мол, не может человек с еврейской фамилией писать русские стихи. Весь стих приводить не буду, вот концовка:

В Начале, точно, было Слово.
В Начале, После и Всегда.
Теперь опять, как и тогда,
Его я повторяю снова:

«Будь Словом, Вова! Плоть — трава,
Оставь слова, слова, слова».

Через год после похорон бабушки умерла от сердечного приступа мама. Всего неделю промаялась. Мама успела застать Сима и не полюбила его: «Карл, он тебе лапшу вешает, а ты уши развесил. Не вздумай приглашать его на наши похороны». Отец отвечал: «Он меня ценит». Спустя два года папа умирал. Он лежал в больнице, к нему приходили друзья и родственники. Пришел, конечно, и тот самый, что помогал нам закапывать урну бабушки, рассказывая, что хорошо знал бабушку. Привел его Адик, чисто бритый, с кривой усмешкой и бегающими глазами: «Надо же хороших людей знакомить, тем паче вы друг друга знаете, я привел и общего друга художника по имени Сим. Он немного мистик и чувствует Моисея Исааковича, отца Карла Моисеевича. Ну, сидите, а я по делам побежал». Это еще при жизни мамы было, которая глядела на Сима с неприязнью. Отец был уже с элементами добродушной синильности, закивал головой, он верил Адик, а Сим так тот вообще все время говорил, какой дед Моисей был гениальный, поскольку пояснил миру, что только когда человек мыслит, он бытийствует (словечек набрался!), мало, кто это понимает, но человечество должно знать своего гения. Адик поддакивал с уверенным видом. Я возразил, что нечто подобное говорил четыреста лет назад француз Декарт. На что Сим простодушно-хитровато сказал, что человечество просто не доросло еще до полноты этих идей, которые сумел сформулировать только Моисей Исаакович. Он говорил, что сам он проницает тонкую пленку вокруг земного мира и создает в своих картинах образы деда и его друзей. Отец кивал, улыбаясь благодарно, и, глядя на

уродцев, изображенных Симом, уверял, что художник имеет право на свое видение мира. А Сим, рисовавший портреты, на которых персонажи выходили уродами, и впрямь уверял, что он выявляет суть своих героев. К тому же Сим родился в их окрестностях, в районе Соломенной Сторожки, а потому почти родственник и свой человек. Сим сказал: «А я вашего отца, Карл Моисеевич, по памяти изобразил, прямо на середине Оленьего пруда, на коряге, как мудрую черепаху Тортиллу, с таким же большим, как у него лбом и глазами будто в очках». Отца похоронили рядом с маминой могилой.

Все это казалось смертельным бредом, но как часто бред оказывается реальностью.

Вернулся я памятью к этому эпизоду, когда понял, что подземный мир всегда рядом. Всякий считающий себя важным хочет овладеть этим миром, чтобы владеть миром живых обывателей. Миллиардеры отстреливают соперников, власть — оппозиционеров, те — людей из властных структур, но все это получает живительные соки из мира подземной братвы. После Октябрьского переворота Федор Степун написал, что Россия провалилась в «преисподнюю небытия». Недаром готовили этот провал *подпольщики*, то есть люди из подземного мира. Но в этом мире небытия, как в дантовском аду, были свои начальники, свое отребье, свой средний слой. Бабушка и дед принадлежали к среднему слою. Я всю жизнь в этом аду прожил маргиналом. Очень хороша была придумка владык русского Аида — коммунальные квартиры. Все наблюдают друг за другом, дружат, но при случае охотно получают комнату соседа, ибо ты в дьявольском пространстве, потому что у Бога на каждого своя келья и никто никому не завидует.

Но и маргинал коммуналки не минует. И я не миновал.

Дом на болоте

Почему-то, уходя из первой семьи, я вспоминал все время яму, в которую братья бросили Иосифа, после чего жизнь его изменилась. Уход в никуда, квартиру я оставил первой жене и сыну, был похож на прыжок в яму без дна, как казалось Иосифу, когда его туда бросили. Ушел я в одном костюме, забрав десяток книг. Да и куда их было девать! Надо сказать, я оставил в прежней квартире огромную библиотеку. Первая жена мне все время говорила, что из-за книг я жизни не вижу, что так и проживу, не узнав из-за книжных строчек, как

выглядит живая жизнь и чем она пахнет. Но, уходя, мне уже было не до книг, а про живую жизнь я и не думал, видя только мою новую возлюбленную. Она и стала моей жизнью. Мой знакомый рассказывал, что его приятель-книжник почти ушел к новой женщине, но, подумав о своей библиотеке, вернулся. Съёмные квартиры в постсоветское время юридически не были обеспечены. Все на личной договоренности. Первая квартира рядом с метро Первомайская, где мы прожили с Клариной почти год, была пустой и однокомнатной клеткой: голые стены, ни стола, ни стульев, ни одного шкафа. Десятый этаж, с балкона виден парк. Хозяйка квартиры, жившая с мужем на другом конце Москвы, получила эту квартиру как очередница (было такое — очередь на жильё). Она сказала моей новой женщине, с которой мы еще не расписались, но ради которой я готов был нырнуть в любую яму, как Иосиф, что квартиру она сдает почти навсегда, что мы можем делать ремонт. И закупать мебель, и жить, сколько захотим. Стены мы сами оклеили обоями, купили стол в комнату и полдюжины стульев. Кухня тоже была обставлена, дешевый кухонный стол и три табуретки. Двухлетняя дочка впервые оказалась с мамой и папой. Для кого это было важнее — для нас или для нее? Для нас, наверно. Но только мы обжились месяц или два, как в конце ноября получили письмо от владелицы квартиры (телефона в квартире не было), что она разводится с мужем, что они не сошлись характерами. И возвращается в свою квартиру и просит нас съехать в течение недели, что ей наплевать, что мы сделали ремонт, это была наша затея, что она не просила. Это был классический бытовой ужас. Уже наступали холодные, почти зимние дни. Найти в течение недели новое жильё было практически невозможно, при том, что, после ремонта, денег у нас не осталось. Говорят: бедны как церковные крысы. Но у крыс хоть подвал есть, а нам даже землянку было не вырыть. И прибили слова дочки, которая доверчивыми глазами посмотрела на маму и спросила: «Мама, где мы зиму-то зимовать будем?» Эти слова, если честно, надрывали мне сердце.

Я бегал, высунув язык, в поисках жилья, но безуспешно. Это была не трагедия, это был ужас, из которого невозможно выбраться. С другом Колей Голубом мы как-то раз поехали даже в Новокосино, где рядом с крематорием вроде бы были свободные кооперативные квартиры. Голуб тоже жил в съёмном жильё, хоть и был мидовец. Но еще без стажа работы и без особых связей. Было жутковато думать, что будешь жить рядом с крематорием. «Ничего, — сказал Голуб с хохляцкой своей усмешкой, — зато недалеко будет нас везти после смерти. Вот и упокоимся навек». В ответ я сказал философским тоном, что, в сущности, мы все живем на краю могилы, поэтому кре-

маторий рядом — не страшно. «Вон Ленин существует уже много лет и не живет при этом. В крематорий его не везут. Уж лучше крематорий, чем такое бытие-небытие». Голуб хмыкнул: «Зато ему обеспечено это вечное бытие». А у меня в мозгу промелькнула еще мысль, которую я так и не высказал: «Думать о вечности, в которой нет Бога и смысла, — тоска, хандра и ужас. Только присутствие высшей силы успокаивает». Но смысла я не видел. И спокойствие не приходило. Помнил строчки отца: «Будь словом, Вова, плоть трава...» Но слова приходили медленно.

Кларина, как и положено женщинам в делах устройства гнезда, оказалась много успешнее. Две линии, которыми она шла, были разумны. Во-первых, она поехала к владелице квартиры, поговорила с ней, добавила пару сотен к договоренной плате за ее квартиру, и та согласилась. Во-вторых, она нашла по объявлению, наклеенному на столбе (в те времена самый общепринятый способ передачи информации), подходящую партнершу для размена материнской квартиры. Партнерша съезжалась с мужем, который жил в коммуналке, Кларина получала его комнату на восьмом этаже кирпичного дома, как строили в сталинские времена. А мужик съезжался с женой в отдельной квартире.

Нас спасли остатки крепостного права. А потом спас дом сталинской планировки, выстроенный при Хрущеве — на болоте для рабочих ракетного завода. Но по порядку. В советское время и перестроечное даже время вступление в брак двух разнополых неженатых субъектов вроде бы поощрялось. Семья — важная единица нормального общества, так нас учили со школьных лет. Но брачующиеся должны были (хоть один из них) иметь прописку в районе, где находился Отдел регистрации жителей.

Мои попытки получить жилье через работу оказались безуспешными. Не по чину просил. Но зато напротив нашей съемной квартиры, на другой стороне улицы, находился ЗАГС, так что Кларина, указав на него, усмехнулась: «Смотри, ты так боялся куда-то ехать, а ЗАГС сам прибежал к нам, никуда ездить не надо». Пошли, узнали, что здесь нам не расписаться, поскольку мы были из разных районов. Но выяснилось, что нужна справка от матери Кларины (заверенная в домоуправлении), мол, она не возражает против этого брака. И тогда нам поставят штампы в паспорта. То есть с некоторыми сложностями оказалось возможным здесь расписаться. Мать Кларины была прописана в этом районе. Мы все куда-то приписаны, это шанс на нормальную жизнь. Мы были из разных районов, и, если бы не ее мать, так и пришлось бы жить не в законе. Но интересно, почему Кларина оказалась в другом районе, чем мать. С тру-

дом она уговорила мать разменять квартиру, в результате размена Кларина получила комнату в коммуналке. Мы еще не были женаты, и это оказалось благом. Если бы мы были семьей, то не имели бы право в дальнейшем на увеличение жилплощади. К моменту подачи заявления в ЗАГС Кларина с дочкой уже была прописана по адресу Бориса Галушкина. Все нормально: мать-одиночка имела право на комнату в коммуналке, а что она вскоре нашла себе мужа — что ж, бывает! Но на свадьбу надо звать друзей. Съемная квартира — это комната в восемнадцать квадратных метров, четыре метра кухня, балкон. Вот и все. Дочку мы сдали теще. Два слова о свадьбе, точнее о русской безразмерности. На этих восемнадцати метрах поместилось почти тридцать человек. И время прошло весело и весьма дружески. Как это возможно? А как в дачный автобус, рассчитанный на двадцать человек, идущий от железнодорожной станции до дачных участков, помещается человек восемьдесят, да еще с мешками, рюкзаками, саженцами и т.п. Не знаю. Очередная русская загадка. Или тайна русской терпеливой души или русского телосложения, когда корпулентные мужики и бабы умудряются ужаться до нужных размеров.

И еще заметка. Пришло две или три моих бывших любовницы, им было до смерти любопытно, на кого я их променял. Жил с ними жил, а теперь они для меня как нежить. Хотя женщины были еще в самом сексапильном возрасте и могли найти себе и спутника жизни. Я жалел их, но это к слову. Зато мы теперь на законных основаниях могли вселяться в комнату в коммунальной квартире. Кларина сказала, что пока эта комната будет моей мастерской, куда я могу уезжать на нужное мне время для работы. А она с дочкой пока поживет в нашей съемной, а там посмотрим.

* * *

Новое жилье я поехал посмотреть, разумеется, один, Кларина оставалась в съемной квартире с двухлетней дочкой. Сказала, что обустроить комнату она придет попозже. Я немного знал этот микрорайон, мой бывший профессорский дом, откуда я ушел, который оставил, располагался не более, чем в двух кварталах от этой восьмизэтажки, куда мы хотели попасть в коммуналку. Давно я заметил, что жизнь водит человека кругами, если он не рвет категорически со своим пространством, меняя столицу на Север или на другую столицу в другой державе. Восьмизэтажный дом был кирпичный, не панельный, и это нас очень устраивало. Трамвайная остановка была перед небольшим разбросом невысоких деревьев, сквозь которые

вела протоптанная тропка к восьмиэтажному дому. Вечером дорожка казалась немного опасной, по тротуару вдоль дома с магазином, стоявшем перпендикулярно к восьмиэтажке, сидели на ступеньках магазина очевидные злостные алкаши с мятыми в порезах лицах. Мой пятиэтажный профессорский тоже был кирпичный. Конечно, этот дом с коммунальными квартирами строился на скорую руку. Только потом мы увидели, что стены кривые, что около стены время от времени образуются провалы в асфальте. Просто дом в 1958 году на скорую руку строили для рабочих и obsługi космического завода, строили еще по сталинским лекалам и кирпичный. Но почва была болотистой, некоторые даже говорили, что просто на болоте, отсюда частое зловоние, которое поднималось вверх по подъезду. От него до моего бывшего пятиэтажного можно было дойти пешком напрямую минут за сорок насквозь через телебашню, ВДНХ, кусты начала Ботанического сада, где когда-то работала моя мама. Потом дворами к Дмитровскому шоссе, там и дом. Можно было и по-другому, часа за полтора длинной дорогой выйти в Тимирязевский парк. Тот самый, который назывался раньше Петровским.

Как говорит путеводитель, начиналась история этого уголка с небольшой пустоши на речке Жабенке (теперь в коллекторе), притоке Лихоборки, принадлежавшей князьям Шуйским, затем Прозоровским, а затем перешедшей в собственность родственников царя Петра Великого – Нарышкиных. Бабка Петра Анна Леонтьевна пожертвовала в 1683 г. десять четвертей земли под строительство храма во имя святых апостолов Петра и Павла, небесных покровителей будущего русского императора. Отсюда и пошло название Петровское. В царствование Анны Иоанновны село досталось в приданое двоюродной племяннице Петра Екатерине Ивановне, выданной замуж за графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Так получилось Петровско-Разумовское. При Разумовском крестьяне построили плотину на реке Жабне¹, и образовался живописный каскад прудов, известных сегодня под названием Академических или Больших Садовых, где был выкопан крепостными за месяц по приказу графа Разумовского к приезду Екатерины Великой пруд в форме буквы

¹Жабенка (Жабина, Жабовка, Жабня) – река на севере Москвы, правый приток Лихоборки. Длина – 6,5 км. Площадь бассейна – около 7 км.

Река брала свое начало из источников в районе Коптевского бульвара и Большого Садового пруда, протекала по сильно заболоченной местности – Жабенскому лугу, ныне занятому полями академии Тимирязева.

В настоящее время протекает в подземном коллекторе, вдоль Большой Академической улицы. Пересекает линию Октябрьской железной дороги и Малое железнодорожное кольцо, после которого река выходит на поверхность в очень короткое открытое русло длиной около 50 метров, далее по коллектору пересекает Дмитровское шоссе и впадает в Лихоборку.

Е. Там мы часто плавали, катались на лодках и именно там, в гроте на берегу пруда Нечаев застрелил студента Иванова, потом помощники привязали камень на шею трупа и утопили. Когда раз от разу пруд чистили, то вытаскивали трупы, облепленные рачками и жабами, водоросли с рачками и пр.

Трамвай от Первомайского метро почти до ВДНХ шел около часа. Был уже вечер, когда я сошел с трамвая и пошел сквозь темные кусты к дому. Я обошел вокруг дома, выстроенного в форме буквы П. Кроме подъездов к жилым квартирам на первом этаже с улицы был вход в большой мебельный магазин, чуть дальше располагалась Прокуратура. Я прошелся вокруг, увидел, что через дорогу был продуктовый магазин, на торце которого виднелась надпись, которую я потом сфотографировал:



Подъезд дома, где на восьмом этаже находилась интересующая меня квартира, был нараспашку. Внизу на подоконнике первого этажа сидело несколько мужиков, что-то пили. Думаю, пиво, поскольку матерные слова были не агрессивны. Перед лифтом куча человеческого говна. Запах их не смущал. Ну и принялись к болотным испарениям. Да и никто из жильцов, видимо, тоже об этой куче не беспокоился. Двери лифта раскрывались, входившие пере-

шагивали кучу и ехали себе наверх. Так и мне пришлось поступить. Хотя чувство неприязни к этому нашему новому жилищу как-то сразу охватило меня. На этаже было четыре квартиры, по две — слева и справа. Около двери в ту квартиру, где была благоприобретенная наша комната, находилась лестница, что вела мимо лифта на чердак.

Я позвонил в квартиру. Впустил меня сосед-пенсионер, латыш, как я уже знал, с коротко стриженными седыми волосами, большим носом, так сказать картофельного типа, небольшими глазами, жесткими чертами лица не то в шрамах, не то в глубоких морщинах, которые появляются от нелегкой жизни. Он приветствовал словами: «Располагайтесь» — и скрылся в своей угловой комнате. Коридор был застелен зеленым линолеумом, счетчики электричества висели над каждой дверью. Я зашел в туалет, потом ванную комнату.

В ванной комнате стояла обшарпанная ванна со сбитой местами эмалью, зеркало было без рамки, с проржавевшими трещинками. Из-за зеркала топорщились тараканьи усы, стада (буквально — стада) тараканов бегали по стенке. Исчезали в невидимые глазу щели. Ремонт потом показал, что стены неровные. В комнате, которая нам досталась, сидела на диване блондинка, миловидная, но плебейского пошиба девица с темно-зелеными глазами суки. Она посмотрела на меня как на кобеля, чувствовалось, что все у нее намокло, когда увидела здорового мужика, интересующегося комнатой, где она жила. Она не знала, что я женат, да еще сюда и с женой въезжаю. Она встала мне навстречу. Заметно было, что груди ее напряглись, а между губ показалась капелька слюны. Простая физиологическая реакция. Ну и тайная надежда, что если я одинокий, то и ее могу оставить здесь, если она понравится.

Но я оказался жесток, от чая отказался, а спросил ее, сколько времени ей надо на сборы, чтобы съехать. Я понимал, что жестоко поступаю, но вариантов не было. Назавтра собиралась приехать Кларина. Она сразу как-то согнулась, глаза стали жалкие, забормотала, что утром уедет к подруге. Стало понятно, что она тоже без жилья. Я покраснел от стыда, хотя вроде нечего было стыдиться, вышел, заглянул к соседу, чтобы представиться: «Мы теперь будем здесь жить, жена, я и дочка». Но он ответил, глядя мимо меня: «Главное, чтобы нам мирно жить. Холодильник у нас общий, на кухне стоит. В холодильнике у меня нижняя полка, соседи заняли верхнюю полку, значит, ваша — средняя. И три шкафчика висят. Люба сейчас свои чашки и тарелки заберет, их немного, она хорошая женщина, вас не беспокоит. Будет этот шкафчик вашим. Ее прежний жилец сюда пустил пожить. Может, и сам с ней жил. Я свечку не держал». Види-

мо, был он и вправду терпимый, не скандальный человек. Я невольно посмотрел на маленькую книжную полку рядом с его койкой и на корешки книг на шкафу. Было много испанских писателей, в том числе классические тексты вроде «Ласарильо из Тормеса», и книги об испанской войне, даже Хемингуэя «По ком звонит колокол». Дед махнул на нее рукой: «Интересная книга, но много неправды. Получается у него, что республиканцы франкистов в сортирах живьем топили. А это лжа». Вообще, как я потом понял, несмотря на лагерь, он хранил в себе все советские установки. Я вернулся в свою уже комнату.

Светловолосая и зеленоглазая Люба сложила небольшой солдатский чемоданчик и рюкзак защитного цвета и сказала: «Все, я готова. Но могу ли я сегодня еще здесь переночевать? До подруги не могу дозвониться». Я кивнул: «Конечно, я сейчас уезжаю. Завтра с женой приедем к вечеру. Не сердитесь, что так получилось. Вы откуда сами?» Она сглотнула слюну: «Из Иванова, город ткачих. К нам мужики за сладким ездят, мы для них десерт. Приехала сама, думала здесь мужа найти. Спать со мной спят, хвалят, но никто не хочет жениться. Словно в болото попала, уже не выбраться. А зачем назад ехать? Все то же самое. Приезжают, трахают, всем нравлюсь, вот и все». И вдруг заплакала, сев на тахту. «Словно кто заколдовал. До вас мужчина в этой комнате жил, говорил, что дом на болоте стоит, что я такая соблазнительная кикимора, что пока дом стоит тут, и мы будем вместе. А жена позвала, он в момент и уехал». От жалости у меня челюсти тревожно свело, но я понимал, что никто на ней не женится. Почему — не знаю. Но так чувствовалось. Я пробормотал: «Вы же знаете, мужчина всегда старается избежать брака. Один вариант — любовь. Полюбите вы, полюбит он — и женитесь». Она вытерла глаза и сказала: «Тахта, стол и кресло не мои. Они здесь так и были. Вы их за так получаете».

И я вернулся в нашу съемную квартиру. Кларина взглянула на меня тревожно: «Ну и что? Очень грязно и противно?» Я кивнул: «Очень. Но ты же у меня ясная и чистая, так что все будет чисто. Не сомневаюсь. Хотя даже для самых ловких женских рук стада тараканов непобедимы». Она поцеловала меня: «Справимся. Против тараканов одно средство — чистота. Вечером поеду смотреть. С дочкой мама посидит». Мы приехали. От Любы не осталось почти никаких следов. Правда, она забыла в столе маленькие маникюрные ножницы. Куда их отвезти, я не знал. С тех пор они почти тридцать лет верно мне служат. И напоминают печальную девушку.

Наша комната была посередине квартиры. Напротив кухни была большая длинная комната соседей, которых мы пока не видели.

Мы поставили в угол пианино, которое теща хранила временно в подвале у соседки (на нем когда-то играла маленькая Кларина), перевезли маленький шкаф, пару книжных полок. Я расставил самые нужные книги, поставил на стол неизменную пишущую машинку «Москва» (мы были так бедны, что я собирал несколько месяцев деньги на ее покупку). Кларина представилась соседу, и он встал из кресла и почти куртуазно склонился перед ней, поднес руку к губам и назвал: «Эрнест Яковлевич Даугул».

Сразу в голове мелькнуло: «Латыш. Евронец!» Жена ответила: «Кларина. А его зовут Кантор».

«По фамилии зовешь? Наши женатые партийцы в Испании тоже друг друга называли по фамилиям, но добавляли слово товарищ: товарищ Петров, товарищ Кантор, товарищ Залка, американский товарищ Джордан. А чтобы так просто – не слыхал». Кларина смутилась: «Так уж у нас сложилось. А потом и пример литературный есть – так жена называла Пушкина». Латыш проявил неожиданную для меня литературную грамотность. «Это из-за которой его убили». Кларина вспыхнула, желая возразить. Но у деда был собственный опыт: «Из-за женщин мужчины всегда погибают. Дай Бог, чтобы вас это миновало». Кларина ответила: «Если от меня зависит, то минует». Эрнест сказал: «Надо верить, тогда получится, но вам еще с соседями надо будет познакомиться. Скоро приедут. Семья – жена, муж и дочка с сыном. Хозяйка она, Инга Леонтьевна, она в учреждении работает, которое квартиры распределяет. Очень на вашу комнату надеялись, не ожидали, что кто-то вдруг на комнату в коммуналке позарится. Надеялись меня отселить и получить всю квартиру». Говорил он это как о чем обыденном, как человек, привыкший, что его как вещь переставляют с места на место. «Теперь может вас попробуют куда-то отселить, найдут двухкомнатную квартиру, так что мы, может, и недолго будем общаться. Она начальница тут, распределяет помещения, откуда нас отправят под землю после некоторого промедления». Он усмехнулся: «Да я это шучу, в Испании командир нашей части, испанец, так шутил. Он по-русски говорил с акцентом, но про смерть любил повторять, что жизнь есть сон и неважно, в каком жилище ты спишь. Главное жилище все равно под землей». И добавил: «Я вот думаю, что отшельники неслучайно в пещерах под землей жили. Ближе к окончательному существованию. У испанцев это сплошь да рядом – всякие подземелья». Зато на окне у него стояло два больших застекленных террариума с большими хвостатыми агамами. Такие маленькие ящеры. «Я их тараканами кормлю, не пропадать же добру. Думаю, отшельники тоже с такой

живностью существовали». Я невольно еще раз оглядел комнату в поисках иконостаса или хотя бы какой-либо иконы. И мое удивление — на шкафу прислоненная к стенке икона по картине Эль Греко, очень плохо исполненная, но глаза у Христа были совсем измученные. «А ведь жена у вас, небось, православной была?» — спросила Кларина, на что дед угрюмо ответил: «Да не знаю я ее веры. Иконостас висел у нее в углу, но знаю, что награбленное и краденное она у себя прятала. Братья ее были знаменитые налетчики, — он помрачнел и бросил, отвернувшись к стенке. — Что-то я с вами разболтался. Идите себе». Голос был раздосадованный.

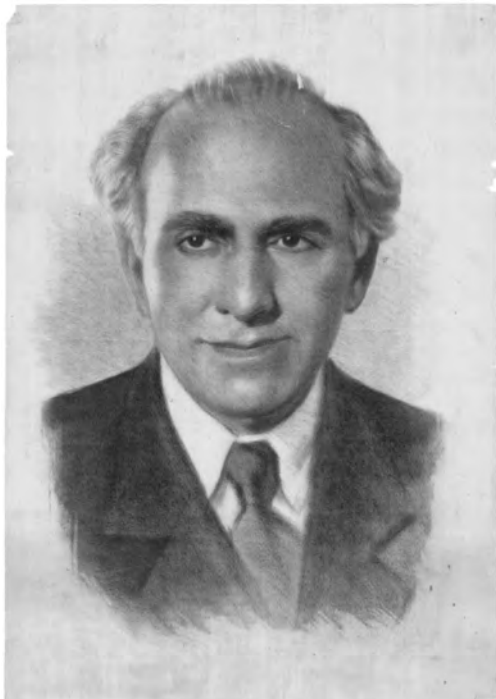
И мы пошли на трамвай. Пока мы смотрели квартиру, на улице лил дождь. Стоял октябрь. Теперь накрапывало немножко, отдельные капли падали на волосы, на шею. С асфальта мы перешли на раскисшую от дождя тропинку, которая вела к остановке. Еще в подъезде я показал Кларине грязь и уже кем-то размазанную кучу говна. Поджав губы, она сказала, посмотрев на меня каким-то боковым взглядом: «Но ты же мужчина, сделай что-нибудь! Комнату я нам достала, отобрав ее у мамы, которая двадцать лет строила кооператив. Хочешь на все готовое?» Ее голос непривычно озлел. Я растерялся и промолчал. Этот тон был не из нашей жизни. Мы перешли трамвайную линию, в растерянности от ее тона я аж споткнулся о рельсу. По счастью, на левую ногу. В трамвае ехали молча. Классическая семейная ссора из ничего. И сразу копилась злые слова, что можем и разойтись, если я тебя раздражаю. Но куда расходуется? К подземному миру, переходу с квартиры на квартиру, без точной вписанности в общепринятость, я не привык, да и Кларина тоже. И я сказал те слова, которые иногда произносил в раздраженном состоянии духа: «Давай лучше разведемся!» Она улыбнулась вдруг нежно и повторила, что всегда повторяла: «Никогда, не дожدهшься!» Ответить на это невозможно. Разве что раздувать скандал из ничего!.. Но, как многие мужчины, он этого не умел, нужна была подпитка со стороны женщины, а ее не было. И все же до подъезда шли молча.

На кухне Кларина налила чай и предложила обсудить мою жизнь в коммунальной комнате, где она предложила устроить мне мастерскую. Сказала, что раз в два дня будет посылать мне еду. Я, разумеется, оттаял.

Утро провел в редакции, которая за меня переживала, но ничем мне с жильем помочь не могла. Все звонки и письма в издательство, от которого зависели наши материальные блага, были без проку: тот, за кого просили, то есть я, — беспартийный и родственников среди начальства нет.

Еще соседи

С помощью друга Коли Голуба, который про себя говорил всегда, что он Голуб с твердым знаком на конце, перевез из подвала соседки прежней Кларининой квартиры ее пианино, на котором она играла, учась в музыкальной школе, два рюкзака книг и пишущую машинку с пачкой бумаги. Мы втащили вдвоем одностворчатый платяной шкаф, установили внутри перекладину для вешалок, развесили на нее из ящичков плащи. Рюкзаки сложил под пианино, но самые нужные книги положил на крышку пианино. Письменный стол поставили перед окном, также три стула, унесенных мною с работы (начальство разрешило), сели за стол и выпили по рюмке «за новоселье». На стенку над тахтой повесил фото деда, с которым как говорили родственники, рифмовалась моя судьба. Дед с даром прорицателя на этом фото выглядел просто книжным мудрецом. Фото было со старинным коричневатым отливом бумаги. Это уже было московское фото, до ареста, точнее, накануне ареста.



Моисей Исаакович Кантор

В углу лежала груда бумаг, какие-то типографские счета, бухгалтерские незаполненные книги, толстая рукопись какого-то отчета. А также карандашный рисунок толстой жабы с короной на голове. Я вспомнил, что у нас в сказках у нас царевна-лягушка, а у немцев — Жаб-королевич, так себя и Адик называл. Внизу в полуподвале принимали макулатуру. Тогда за двадцать кг макулатуры ты получал талон и мог купить специально под этот проект дефицитную книгу — «Королеву Марго» или «Женщину в белом». Поскольку в моей новой комнате оказалось много бухгалтерских и канцелярских книг, от них надо было избавиться. И мы стащили их в полуподвал, получили талоны и тут же купили по книге Коллинза.

Когда я приехал на следующий день к обеду в нашу коммуналку с банкой супа и завернутыми в бумагу котлетами, то уже в прихожей я понял, что, кроме Эрнеста, в квартире появились еще люди. С кухни пахло свежеприготовленной едой, мальчик из комнаты кричал: «Ма, ну скоро?! Пора жрать!» В ответ нежный, но сильный женский голос: «Потерпи, Иржек! Две минуты!» Удивившись чешскому имени, я тихо отпер свою дверь. Разумеется, в коммуналке у каждой двери был свой замок. Вошел, разложил на столе блокноты и бумагу рядом с пишущей машинкой. Потом, стараясь не шуметь (пока еще чужой в этой коммуналке), выполз на кухню — разогреть в кастрюльке суп. Хоть чего-то похавать перед писанием. Разогрев на газовой плите в маленькой кастрюльке и перелив в тарелку суп, я понес ее в свою комнату. На кухне никто из соседей не ел, это было пространство для готовки пищи, но не для еды. Перед дверью соседей я невольно притормозил, услышав голос молодого мужа — уже не мальчика и не юноши, но говорившего отчетливо, будто печатал слова: «Ингуша, не волнуйся, я его закопаю, да так, что он из этой ямы не выберется!» Женский голос был резок: «Ты, Георгий, все только обещаешь!» В ответ с внятной даже сквозь дверь отчетливой усмешкой: «Но ведь всегда делаю». Я прошел к себе. Проглотил суп, но не писалось. Телефон был общий, в коридоре, вышел, позвонил Кларине на службу: «Да, милый, как пишется?» Вздохнув, сумрачно ответил: «Никак не пишется. Не слажу я с этой книгой». В ответ услышал голос Марины Мнишек: «Мы так не договаривались. Я за московского царевича замуж шла, а не за бездельника». И вдруг мне стало стыдно: хотел ведь мастерскую, чтобы работать, об этом и первой жене все время твердил, а та боялась, что баб водить буду. А Кларина полностью и искренно приняла мое стремление, а я чего-то кобенюсь. «Прости, — сказал я, — я, конечно, допишу. И скоро». Сел за стул и лихорадочно начал стучать по клавишам. Вначале текст (я это видел) был никуда не годен, среднего качества черно-

вик, который заслуживал только вычеркивания. Но упорно печатал, вытаскивая из машинки лист за листом. И примерно с шестой страницы стало очевидно, что текст пошел! С разгону я напечатал еще три страницы. Слова еще давались с трудом, но уже давались.

И тут в дверь постучали. Я открыл, в дверях стояла длиннотелая, но длинноногая, с полными бедрами, хотя не очень большой грудью. Глаза были темные, украинского типа, с веснушками вокруг глаз. Губы покрашены, свободная юбка, блузка, поверх блузки цветастый платок: «Ну что, сосед,пустишь, не выгонишь?», — как-то сразу установив форму общения «на ты». При этом женщина привлекательная, знавшая, что она привлекательна. Я кивнул, она вошла: «Если не побрезгуете присесть на тахту, другого места предложить не могу». Она присела, хихикнув: «Тахта не самое плохое место для женщины!» Смутившись, я спросил, чем могу помочь. Она снова ухмыльнулась: «Пока и сама не знаю. Мы были уверены, что здесь одинокая женщина, поэтому и взяли комнату в этой квартире. Одинокую женщину отселить не трудно, а оказалось, что она даже не прописана, просто у хахалы своего подживала. Полная нежить. Так мы непрописанных называем. Мы думали, что найдем ей мужика с отдельной квартирой, а Эрнеста Яковлевича тоже бы уговорили. Уж больно хороша трехкомнатная квартира, да еще и в кирпичном доме. Впрочем, и тебе можем найти неплохую женщину в двушке». Я покачал головой: «Не выйдет. Я женат, дочке два года». Она кивнула: «Да, не рассчитала этого. Понятно. Придется план переделывать. Все равно надо познакомиться. Завтра воскресенье, приглашаю тебя и Эрнеста Яковлевича на воскресный ужин. Приводи жену». «Вряд ли она сможет», — ответил я. «Ну, тогда я для тебя симпатичную подругу приведу. Эрнесту женский пол уже ни к чему. Меня, кстати, Инга зовут». «Владимир, — назвался я. — Чего принести? Вино? Водку? Конфет? Торт?» Она отрицательно покачала головой: «Не утруждайся. У нас все есть. И выпить, и закусить. Разве что цветы хозяйке», — она потрепала меня по плечу и вышла. А я задумался на жилищную тему, о чем раньше не думал специально почти никогда. Просто несло меня мимо этих проблем. Когда я оставлял прежней семье квартиру, в которой вырос, исходил из ощущения и книжного понимания, что с милой рай и в шалаше. Даже в землянке. Оказалось, что шалаш требует усилий, чтобы в нем удержаться. А на этот раз надо было как-то предупредить Кларину, что воскресенье они с дочкой проведут без меня. Но и она волновалась, видимо: эмпатия у нас была сильная. Они с Сашкой дошли до телефона-автомата и позвонили. Я рассказал о визите Инги. Говорил, разумеется, негромко и осторожно. «Да, — сказала Кларина, —

по-хорошему мне бы стоило приехать. Но мама меня подменить не может завтра. Думаю, ты сам поймешь все. И разудишь, как надо!»

Часам к шести я оделся по своей бедности как мог приличнее: джинсы, счел я, всегда джинсы, даже потертые. Да потертые и моднее выглядели, синюю хлопковую рубашку в белую клеточку навпуск тоже я придумал как свой гардероб. Не чиновник все же и не бизнесмен, а профессор и писатель. В руках цветок лилии. Я решил, что так изящнее. У меня было странное чувство, что вхожу в чужой мир, как Одиссей в пространство Аида. Люди не люди, а тени... Почему? Потом только понял, что в глазах не видел огня разума, только искры хитрости. Тут к двери и сосед подошел. Эрнест Яковлевич был в сером сюртуке, светло-синей рубашке, галстук бабочкой, волосы набриолинены. «Чувствуешь себя дураком в такой одежде», — шепнул Эрнест. И мы постучали. Нас усадили за длинный стол, стоявший посередине комнаты. Стол и впрямь ломился от разных яств и выпивки. Георгий в белой рубашке апаш встал с бутылкой популярной тогда водки «Петровская», произнеся очень отчетливо, словно механическим голосом: «Надеюсь, мужчины водку пьют?» И не дожидаясь ответа, разлил жидкость в рюмки. «А закусить вот рыбка, икра, — говорила Инга. — Эрнест Яковлевич, вам ведь можно водку?» Он застенчиво улыбнулся: «Только ее и можно, так мне врач в лагере сказал. У меня там на десятом году язва открылась. А со мной в бараке был профессор-гастроэнтеролог (я немного удивился, что ему известно такое слово), он сказал мне, что мол, когда выйду, лекарств не достану. А вот чистый спирт можно, а еще мед хороший. Натощак сто граммов принять и заесть ложкой меда, все пройдет. Через два месяца и прошло. А его не дождался, чтобы спасибо сказать. Так в лагере и помер, лесоповал не выдержал, а я по слесарному делу выжил. Хорошие слесаря везде нужны». Мы выпили. «Чтобы нам тоже в здоровье пошло!» — сказал Георгий. «А за что вы в лагерь попали, — спросил я, — знакомиться так знакомиться». Он посмотрел на меня странно: «За дело, как наш кум говорил. За испанскую войну. За то, что командиры наши ее просрали. Их расстреляли, а нас по лагерям рассовали. Там, Кантор, и таких, как ты, тоже вроде много было: и профессора, и писатели». «Почему Кантор? — спросила Инга, — он же Владимир». Эрнест пожал плечами: «Так его жена зовет». Георгий сказал: «Главное, чтобы человек был хороший. Приличные люди всюду есть. Среди писателей тоже, хоть и говорят, что блядуны они изрядные», — и захохотал. Инга поправила: «Владимир еще и профессор, а что касается нижнего мужского этажа у него, сейчас посмотрим. Вон звонок в дверь. Это подружка Валька, которую я тебе обещала. Зацени».

Она вышла к входной двери и через две минуты ввела весьма полногрудую женщину лет за тридцать. Лицо белесое, глаза даже без искорок, брови нарисованы, зато ложбинки груди были видны, показывая ее весьма изрядные размеры. «Прошу любить и жаловать, это Валя, моя заместительница, — сказала Инга, рисуя нежно рукой контуры ее фигуры. — А если бы вы, мужики, видели ее бедра, совсем бы ошалели». Валя всем улыбалась. Но фланировала в мою сторону, видимо, получив задание от начальницы. Ее рядом со мной и посадили. «Чего налить? — спросил Георгий, держа в руках бутылку “Петровской”. — Или коньячку?» Она заколебалась на минуту, но закуска все водочная была. «Давай уж водки!» Инга снова встала: «За встречу и за знакомство! Чтобы оно оказалось удачным и длительным». Потянулись чокаться. Приподнимаясь, Валя прижалась своим бедром к моему бедру, почти присела на него. Бедро ее и впрямь оказалось мягким, обильным, но при этом не жидким и не дряблым. Проглотив рюмку, я невольно свободной рукой обхватил под столом ее бедра. Она не противилась.

Мужская подлость удивительна! Любимая Кларина была в этот момент словно вытеснена. Это как бы не было изменой, поскольку Валю же я не любил, просто захотел ее на минуту. Работал какой-то подвальный этаж, желание попасть в пещеру любви, хоть бы она под землей была. Я положил руку на ее бедра, нащупывая пространство между ними. Мягко, но уверенно проникая между раздававшимися под ладонью женскими ногами. «Надо еще выпить, — слегка охрипшим голосом произнесла Валя и протянула рюмку, приказав: — Коньяк сейчас хочу». Эрнест опустил глаза, словно не желая смотреть на эти игры. «Надо бы покурить, — сказал я, приподнимаясь, — только сигареты в моей комнате. Кто со мной?»

Валя, подняла, как в детском саду, руку: «Я!» И мы покинули компанию.

Через минуту мы были уже в моей комнате, в голове шумело. Я продолжал обнимать ее бедра, возбуждение нарастало от предвкушения простонародного секса, ни разу мной не испытанного. Но она вывернулась из руки и сказала: «Сначала покурим. У тебя какие?..» Я пожал плечами: «Обычные. “Ява”». Я снял с пианино пачку сигарет, пепельницу, спички. Мы закурили. «У тебя что, зажигалки нет? Подарю потом». Я кивнул: «Да обойдусь. От зажигалки сигарета не становится лучше». Я почувствовал вдруг, что возбуждение мое ослабевает. Тогда я быстро обнял ее за плечи одной рукой, а другой принялся расстегивать блузку, пока не освободил ее груди. Она смотрела на меня с покорностью овцы. Я склонился, держа груди в руках и целуя соски. Мелькнула мысль, что вдруг от-

кроется дверь и заглянет Инга. Но она с очевидностью предоставляла нам оперативный простор. Я потянул Валу к тахте, на которой, понятное дело, не одно соитие происходило. Она легко поддалась, и вот мы уже сидели, целуясь, и рука моя уже была под ее платьем. Рука уже нащупала мохнатый бугорок и скользнула во влажную щель. И снова странное ощущение, что это как совокупление с тенью, которую я уже завтра не увижу, а то и не узнаю. «Может, простыню расстелем? – спросил я. – Ладно?» Она кивнула, уткнувшись лицом в плечо: «Я бы сама сделала, только не знаю, где у тебя что». Я ткнул в сторону сундука. Она поднялась, открыла крышку, достала простыню и одеяло. И вот уже вполне нагие мы лежали на тахте. «Какие они доступные!» – тупо подумал я, вспомнив первую жену. Валька напоминала своей светлой почти белесой кожей бесцветную полную рыбу из подземной реки. «А у меня две комнаты», – шепнула она.

И вдруг это меня как-то остановило. Словно я проститутка за какие-то блага сплю с бабой. Она же уже шарила у меня между ног, продолжая бормотать: «Я сладкая. Женишься на мне?» И потянулась лицом к моему важнейшему напряженному органу. На этом все и кончилось. Я решительно вылез из постели, отодвинув эту расслабленную уже женщину. И сказал: «Про нас уже, небось, Бог знает что думают! Надо бы вернуться». Но она отчаянно замотала головой: «Инга все знает». Тут меня совсем повело. «Пойдем, лучше другое место поищем. Может, в мастерской у моего приятеля...». Она продолжала лежать, вопросительно глядя на меня. Я быстро натянул трусы и джинсы, рубашку навывпуск: «Одевайся, я пока за стол пойду. Мол, покурили и разошлись...». Инга посмотрела на меня с интересом: «Можно поздравить с успехом?» «Инга, ну ты что!.. – отчетливо-укоризненно воскликнул Георгий. – Совсем смутила соседа!». «Все в порядке, – ответил я, – все довольны». Отворилась дверь, вошла одетая, но немного небрежно Валя. Как бы демонстрируя, что была раздета. Все заулыбались, Инга погладила ее по плечу.

А мне шепнула: «Самая большая обида для бабы, когда ты ее раздел, но не поимел. Другая и прирезала бы за это. Мы не в Европе, на все способны». А я вдруг вспомнил, что рассказывала мне немецкая приятельница, как одна из немок, несколько лет бывшая в разводе, искала себе не мужа, мужчину. В кабаке, в немецком Kneipe, познакомилась с мужиком средних лет, прилично одетым. В итоге она увела его к себе домой. Раздеть-то он ее раздел, а сделать ничего не смог. Она стала насмешничать. И довела его: он кухонным ножом перерезал ей горло и ушел. Потом его поймали. Я вспомнил и поду-

мал, что в Европе нежити тоже хватает. И что нежить — это те, кто погружен в проблемы «материально-телесного низа», а потому, если вспомнить античность, не переживут космический взрыв, после которого спермологос возродит людей духа. Не просто сперма, а именно СПЕРМОЛОГОС. Логос — вот путь к преодолению небытия.

Прыжок из окна

Чрез пару дней Инга перехватила меня на кухне, когда я кипятил чайник. Она присела около моей тумбочки: «Что, не понравилась Валька? Ты не думай, я без обиды. На вкус, на цвет товарища нет. Особенно в делах интимных. Я бы тебе показала класс, но муж за стеной. Поэтому поговорим по делу. О квартире. Ты думал, как отдельную получить. Ты с женой расписался уже после того, как она комнату получила?» Я кивнул. Она усмехнулась: «Не думаю, что вас кто-то научил. Но новичкам везет. Теперь в коммунальной комнате образовалась новая семья, которая имеет право на улучшение жилплощади». Я ответил, что мы подали заявление, как только я сюда прописался, на кооператив от Союза журналистов. Там есть две свободных квартиры, однако на них непробиваемая очередь. Это был первый (добавлю — последний) сравнительно большой гонорар за книгу прозы («Историческая справка»), кажется, 12 тысяч. Как я давно решил, треть моих гонораров сверх бюджетной зарплаты я отдал сыну, остальное на нужды новой семьи. Так что от 12 тысяч гонорара осталось восемь. Как раз первый взнос на трехкомнатный кооператив. Кларина работала, но ее зарплата была примерно равна моей, то есть тысяч семь. Председателем кооператива был отставной генерал, которому мы почему-то понравились, и он пообещал, что очередная трехкомнатная наша. Но, в конечном счете, решал не он, что и сказала мне Инга. И спросила: «Извини, деньги на взятку у тебя есть?» «Генералу?» — удивился я. «При чем здесь генерал? Он просто фигура, а решают другие люди. Так есть или нет?» У меня оставалась заначка в 500 рублей, что я Инге и сказал. Она даже не рассмеялась, просто усмехнулась. «Интересно даже попробовать. Я тебя к нужному человеку попробую без очереди записать. Завтра можешь? То есть народу все равно много будет, сплошная нежить, мы так зовем тех, кто без жилья. Но не месяц же ждать. И не два. На нежить ты не тянешь, глаз смышленный. Пойдешь без очереди». Куда было деваться? Я кивнул — хоть посмотреть, как работает этот

подземный мир. «Ты только костюм одень, в джинсах не ходи». С костюмом было у меня слабовато. Мы с Клариной жили по правилам официального, настоящего, записанного в законах, списанных у какого-нибудь Хаммурапи, с добавлением ленинских лозунгов, которые заменили лозунги Хаммурапи, но мы об этом не знали. И жили по законам нереального, выморочного мира. По которым и во времена Хаммурапи не жили. То есть почти без денег. Ибо люди, если не были рабами, жили всегда так, как жили наши соседи. А мы ходили на работу, что-то писали, что никому из окружающих нас людей было не нужно. Читали никому особо не нужные лекции. Бледная поросль интеллигенции, выросшая случайно в «провале небытия», на кладбищенском пустыре, где в могилах лежали те, кто тоже верил «в высокое и прекрасное», и оказалась среди сытой и полнокровной — с машинами, дачами, квартирами — нежити. Пожалуй, теперь слово я употребил осмысленно. Самое-то интересное, что нежить была почти как люди — и чувства испытывали, и сексом занимались. И деток своих лелеяли. Но слово «нежить» я не сразу употребил по отношению к соседям и другим как бы людям. Был ли нежить встреченный нами с отцом на профессорском кладбище?.. Тогда я об этом не думал. А может, мы все нежить, раз существуем в преисподней небытия? Но всегда хочется думать, что это не к тебе относится. Ведь жили мы в пространстве классической литературы, там тоже много страшного описывалось, но волшебство литературы в том, что она создает все равно другой мир, что описанное тебя не коснется.

Короче, поехал я на следующий день в дом, где распределяли жилищные блага. Особенно я ни на что не рассчитывал, но подленькая мысль: а вдруг, все же по некоему благу иду. Я поднялся на второй этаж, где перед кабинетом, с обитой дерматином дверью, сидело на стульях человек тридцать. Костюмчик, конечно, не блистал изяществом, но все же — костюм. Впрочем, и другие посетители были одеты средне, в мятых костюмах, глаза тревожные, в руках папки с бумагами. У меня — портфель, из которого я достал записку Инги и передал ее выглянувшей из важного кабинета секретарше для начальника. Минут через пять она выглянула, поманила меня рукой и сказала, что через пять минут меня позовут. И тут я понял, что меня окружает нежить — с такой ненавистью посетители на меня посмотрели. Но тут мне потребовалось по малой нужде, и лучше было сходить сейчас по-быстрому, чтобы не ежиться при разговоре с начальником. Дверь в мужской туалет была в конце коридора, и почему-то не закрывалась. Я взял портфель и зашел в нужное помещение, там оказалась всего одна кабинка, писсуара

не было. Чего-то я вдруг сынтеллигентничал и захлопнул за собой дверь. Но, справив нужду, я дернул ручку двери и тут понял, почему она не закрывалась. Открыть ее было изнутри невозможно. Я постучался, ни отзвука, нежить молчала, я был соперник, тогда я крикнул: «Помогите, отоприте кто-нибудь». Некто подошел к двери, подергал за ручку и сказал довольным басом, обращаясь к очереди: «Нет, ему отсюда до вечера не выбраться, пока уборщица не придет». И я понял, что довольный бас прав. Я подошел к окну и посмотрел вниз. Второй этаж, в общем не очень высоко. Асфальт внизу был старый, разбитый, в вымоинах трава. Но открывается ли окно? Я подергал шпингалет. Он открылся, окно распахнулось, я вскарабкался на подоконник, все же спортсменом я не был. Надо было поставить себя в безвыходное положение. И я бросил портфель вниз. Теперь не оставлять же его внизу. И, стараясь не раздумывать долго, я спрыгнул, спружинив на носках, чтобы не отшибить пятки. Отряхнулся, поднял портфель и прошел снова в парадный подъезд. Поднялся на второй этаж, *нежить ошалела*. Кто-то бросился к туалетной двери, но она была заперта. Спрашивать, как я сюда снова через входную дверь вошел, вошел как ни в чем ни бывало, что-то они не решились. «Ну, Володя, ты даешь! Чувствуется, что сын летчика! — сказал неизвестно откуда взявшийся Адик, парень из нашего старого двора. — Помнишь, как я в детском саду тебя защитил?» Он тогда подошел к детсадовскому забору, крутя в руке веревку вроде пращи, в которой был зажат камень. «Вовка, кто тебя здесь обижает?» Вопрос был провокаторский, меня никто не обижал, но на провокацию ответил мой лучший друг Андрей Гафнер, крикнув «Я» и ударив пятерней меня по лицу. Я ответил автоматически. Это был мой первый боксерский удар — кулаком в челюсть. Друг упал, а девчонки закричали: «Оксана Петровна, Кантор Гафнера убил». Никого не убил, конечно, но на два часа меня поставили в угол «в группе». А Адик потом во дворе хвастался: «Когда тебя увели, я их всех побил. Я решил, что отныне всегда буду с тобой в трудные минуты, как черный человек. Это такой человек, который друзьям помогает».

Ни на кого не глядя, я молча вошел в кабинет, сказав сквозь зубы: «От Инги Леонтьевны». Очевидно, так и бабушка военные бумаги генералам передала, никто и спросить не посмел, откуда она взялась и где их прятала. Какая-то сила бабушкиного ведьмовства во мне вдруг проснулась. Как и она, бумаги-то я передал, но военным нужны были карты и планы, а этому бесцветному человеку с белесыми ресницами, похожему на большую моль, нужно было другое — не записка от Инги, а мое приложение к записке. Но, может. Черный

человек поможет... Я вынул из портфеля конверт и тихо пододвинул начальнику. Он даже не взглянул: «Нет, нет, это не мне, этого мне не надо. Положите на верхнюю полку шкафа. Не волнуйтесь, я займусь вашим делом. Инге Ростиславовне от меня горячий привет».

Я вышел, усмехаясь, вспоминая, как в советское еще время мама поехала отдыхать в санаторий по *курсовке* (была такая форма — все заплачено, койку ей дали, но процедуры назначал местный главврач, а он медлил). Тогда мама записалась к нему на прием и протянула конверт, внутрь положив по наивности три рубля, как привыкла давать слесарям. Главврач смахнул конверт в ящик стола и тут же все процедуры выписал. Но наутро с мамой не здоровался. Ему и в голову не могла прийти такая степень наивности. Я шел и думал, что, пока бабушку мы не похоронили, посмертного жилья не дали, вернее, мы не захватили силой, она тоже была *нежить*. Пройдя сквозь ряд пустых и несчастных глаз, я вышел из прихожей при кабинете и спустился вниз. Адика, к моему удивлению я не увидел. Слева от дверей подъезда стоял мент и какой-то старичок указывал ему траекторию моего прыжка. Мент изумленно пыхтел, соображая, как солидный человек мог сигануть из окна солидного учреждения. А старичок говорил: «Нет, не из наших он был, вон и след как от копыта» — «Не черт же!» — «А кто его знает?!»

Я вернулся в свою коммуналку. «Е.. твою мать! — сказала Инга. — Даже не глянул? Не лучший вариант. Подождем. Обожди, тебе Георгий сейчас сто грамм нальет, а я соленый огурчик порежу. В комнату не зову, извини, там дети укладываются. Если на кухне, не обидишься? Здесь и холодильник, добавим, если надо. А ты так прямо из окна и прыгнул?» — «Угу». Георгий плеснул водку в три стакана: «Силен мужик! За это надо выпить. Да ты пей, я сейчас колбаски подрежу». Мы выпили, я занюхал огурцом, а потом и закусил, положив огурец на кусок колбасы. «Я завтра ему позвоню», — сказала Инга.

С этого разговора прошло месяца три. За это время я успел съездить на конференцию в Кембридж (на четыре дня), а потом на две недели, тоже по гранту, в Германию, в тихий баварский университетский городок, куда смог взять с собой Кларину. Это было открытие нового мира, где даже обыватели выглядели людьми достойными. После возвращения из Германии меня как-то вечером остановила в коридоре Инга:

— погоди, Гошу позову. Выпьем. К себе не зовем, дети спят. А скажи, правда, что ты две недели провел в Германии?

На последних словах вышел Георгий с бутылкой виски.

— Европеец не должен пить простую водку, — сказал он.

Достал стаканы, из холодильника лоток со льдом, бросил лед в стаканы, налил виски на три пальца. Мы выпили. Сделав глоток, он спросил:

— А вот нам с Ингой интересно. Если у тебя мало денег, откуда ты их взял на поездку в Германию?

— Да деньги немецкие. Это грант, понимаешь? Просто немецкие ученые хотели со мной пообщаться.

Он посмотрел на меня с сомнением:

— Ну не хочешь говорить — не надо. Дело твое. Все равно я тебя уважаю. Вздрогнем еще?! Инга, да и ты выпей.

— Да, — сказала она, выпив свою порцию. Мы тобой гордимся!

Они пошли в свою комнату, я двинулся к своей. Засунул ключ в скважину замка, как вдруг отворилась входная дверь. Я на секунду замер, чтобы посмотреть, кто идет.

Эрик

Дверь отворилась, и, к моему удивлению, я увидел два знакомых лица. Одно интеллигентное, с немного скошенной на левую сторону физиономией, чисто выбритое. Это был Адик, по мальчишеской легенде ехавший мордой вниз от нашей остановки до Пасечной, натравивший на меня мальчиков из детского сада и пр. Не Сатана, но мелкий бес, являвшийся мне по временам. И как-то он оказывался близок с разными моими знакомцами. И во втором я вдруг узнал ночного гробокопателя — Эрика: густые черные волосы прядями, бледное лицо с не очень русскими чертами. «Вот, — сказал Эрик, — человек с человеком всегда сойдутся. Рано или поздно. Даугул я. Как и мой отец. Ха-ха!» Я удивленно поглядел на него: «Не понял, как вы сюда-то попали?» Адик подошел ко мне, обнял за плечи: «Да что ты, Вовкин, неужели человек к отцу зайти не может?» Посмотрев на него в упор, я буркнул: «Кончай байду нести, какой отец?» Эрик вдруг сдвинул меня рукой от двери: «Я здесь жил, когда тебя и в помине не было. Эрнест Яковлевич — мой отец, ты успел с ним познакомиться? Вот к нему и иду. Не пустой иду», — он расстегнул куртку и вытащил из внутреннего кармана бутылку дешевой водки.

Мой друг Андрей Кистяковский, переводя роман Толкиена «Властелин колец», назвал трусливых и злобных чудовищ-оборотней *волколаки*, сказав, что почерпнул слово из словаря Даля. Из любопытства я посмотрел. Андрей описался, пропустив букву Д. У Даля

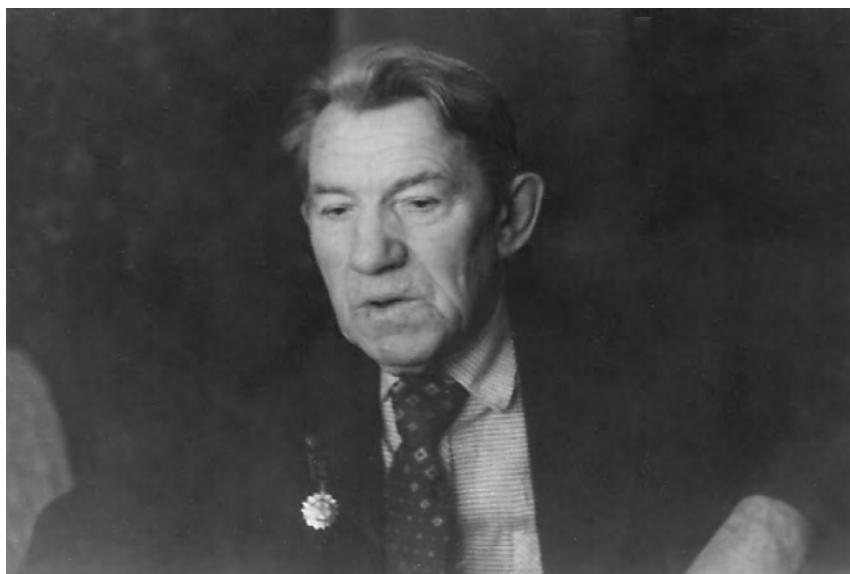
было похожее, но другое слово — *волкодлаки*. В слове волКОДЛАки звучит бандитское «кодла». Я сказал переводчику об этом. Но книга уже была в печати, и исправлять он не стал. Но слово из словаря Даля я запомнил. Эрик словно был иллюстрацией волкодлака, волчья челюсть, мрачные глазки, детство среди бандитов, труслив и зол.

«Здрасьте, Эрнест Яковлевич! Вот сына вашего привел и сосед! — распахнул дверь Адик. — Чтоб не потерялись. А от меня китайский подарочек, я ведь опять был в Китае, думал вас всех позабавить». Он достал из портфеля крупную бутылку зеленого стекла, в которой плавала, извиваясь, змейка, склоняя головку то направо, то налево. «Гадина, но яд уже ушел, только острота осталась». Сам влез в настенный шкаф, достал зеленые стаканы, аккуратно налил туда змеиной водки, три блюдца, три вилки, затем из холодильника пол-литровую банку соленых огурцов, раскляклых — на любителя. «Змей он остроту дружбе придает, так китайцы считают. А может, и не считают, может, я сам придумал, врать не буду. Но хорошо придумал. А?» Эрнест молча проглотил змеиной отравы, заел огурцом: «И откуда ты такой взялся?» «Болтун!» — сказал Эрик. Эрнест Яковлевич поправил: «У нас в Испании таких называли *negro hablador*, “черный болтун” или дурной глаз». Адик хихикнул и присел своей толстой жабьей задницей на стул: «Меня в детстве кто чертиком звал, кто гадукой. А я простой пацан. Только с высшим образованием».

«Хватит болтать, — сказал Эрик, — давай еще по одной змеюке. Ты ведь, отец, как говорил про землю, где мы живем: Москва на болоте стоит, не жнет и не сеет, а хлебушко имеет. Хлебушко для нас другие сеют, *мужики*, — последнее слово он произнес с презрением, тоном блатного, — но ты и в лагере не сеял, кажется... А болота были?...» Эрнест промолчал, а Эрик не отставал: «А соседи как? Я их не видел. Ты, дед, соседскую бабу еще не шупал? Молодая хоть? Дает или дразнится?» Я смутился, Эрик перегнулся через стол, хлопнул меня по плечу: «Чего морщишься? Дед у нас боец был. И лагерь его не утихомирил. Юбки, когда мог, то все задирали». Дед приосанился, хотя мизантропия его не оставляла: «Мне моя старуха изменяла, но я прощал. Да и сам был тоже — спуска, кому надо, не давал. А не расхотелись, потому что семья. Они, нынешние, все поменяли. Флаг трехцветный над Кремлем. Скоро царя поставят. Всюду его славят. Я согласен: не надо было расстреливать. Но забывают, что царь был кровавый. Что девятого января расстрелял рабочих, что на Лене тоже был расстрел. Казаки рубили шашками тех, кто хотел жить получше. А сами были привилегированные, землю имели, по-

сторонних прогоняли, от податей были освобождены. А мы все эти семьдесят лет ругаем, что плохо было. С киркой и лопатой горбились. Какие заводы построили, где ничего не было. Москву построили — две прежних Москвы в ней уместятся. И все было, видите ли, плохо! Вот попадете теперь в капитализм — узнаете!»

Он протянул руку, приоткрыл шкафчик, быстро схватил пару тараканов и забросил их в террариум. Агамы мигом сжамкали насекомых. Дед усмехнулся: «Как учил нас товарищ Сталин, в хорошем хозяйстве все должно в дело идти. Не то, что нынешние, только о своем пузе и радеют. Вот сынок мой мог бы, так давно на меня настулал бы и комнату мою получил».



Сосед

Эрик огромной ладонью хлопнул отца по плечу: «Что-то тебе лагерная выучка на пользу не пошла. То хвалишь Сталина, то нынешнюю власть хаешь. А свояки-то твои ворами в законе были, и никто на них не донес. Даже и при Сталине. Вот ты был враг народа, а они вообще мимо вашей власти прошли. Так что хватит, дед, антиправительственную пропаганду здесь разводить. Мало что ли отбаландил, снова баланды захотел? Мы-то не донесем, не сс...!»

«Ты хуже таракана», — угроюще сказал дед.

«Может быть, а ящерам своим меня все равно не скормишь. Вот ты слесарь высшего разряда, без тебя завод не обойдется. А я зато

инженер, ни хрена не работаю, и получаю поболее твоего. И девки мне всегда с охотой дают, как с твоей Клавкой мы вместе на каток ходили, и я ее шупал, сколько раз она со мной спала, пока после смерти матери к отцу в койку залезла».

«Ну не груби отцу, Эрик, — возразил Адик. — Давайте о детстве вспомним. Помните, вы все меня дуремаром-дурачком дразнили за то, что я всюду с сачком в болотах наших лягушек и головастиков ловил. Как мой дед-академик злился, когда я суп из головастиков себе готовил! Это лучше и слаще всякой девки!»

А я сидел, и странные мысли-видения шевелились в моем мозгу. Я ведь знал неплохо этот двор, этот микрорайон. Рядом с нашим домом стоял одноэтажный деревянный домик на две семьи, в одной из них жила моя первая любовь Танечка, светлоглазая, курносенькая, очень милая, чистила мое пальто, когда я в лужу свалился. А ее милая мама одобрительно улыбалась: «Вот и же женишок у нашей Танюшки». Жили мы все небогато, даже наша профессорская семейка, но все же мне доставались иногда апельсины и зефир, которые я тут же тащил своей подружке, она сидела на лавочке, болтала ножками в ботиночках с калошами и иногда отламывала дольку апельсина и давала мне. Съев апельсин, она закусывала зефиром и бежала в сени своего домика, выносила кружку с водой, набранную из ведра стоявшего на лавке в сенях. И поила меня, как героя-генерала из песни. Один раз только нарушил нашу идиллию Серега, ее брат фабричный, как-то вышедший утром с похмелья и выливший на себя ведро воды, встряхнув и покрутив головой, он обратил внимание и на нас, мелкоту, ей одиннадцать, хотя уже грудки нарисовались, мне было уже четырнадцать, но чувствовал я себя маленьким еще. Он подошел к нам, приподнял Таньку, смачно поцеловал в губы и похлопал ее по оформившейся попе. Потом спросил: «Что, не трахались еще? Пора уже, не дети. Ну, Вовка профессорский внучек, но из бедных, он тебя, небось, даже не полапал как следует. Вон Адик из его дома тебе уже в писю, что надо, засовывал, жезл свой то есть, при тебе мне рассказывал, а ты только хихикала, да и посасывала его потом, сам видел». Я сидел то красный, то белый, то зеленый. Потом вскочил и выскочил за калитку. Танька кричала: «Зачем врешь?!» — и била брата кулачками, побежала за мной, но я уже влетел на свой третий этаж, и дверь ей не открыл. И больше с ней по возможности не общался. Но помнил всю жизнь. До сих пор помню.

Сидя за столом у Эрнеста, после слов Адика о девичьей сладости, я невольно вспомнил эту историю. А Адик словно почувствовал мои мысли и сказал: «Знаешь, эти лягушоночки из простонародья ужасно эротичны, я бы даже сказал — сексуальны. Они так

ножки раскидывают, прямо как у цыпленка-табака. Танюшка, твоя дворовая подружка, которую ты так и не оприходовал, она ножки удивительно сладко раскидывала... Ладно, Вован, не сердись. Ты же ее не брал, так что и обижаться не на что. Хотя нам, из рода королевских жабов, жабов-принцев, все позволено. Сидишь на камешке и все вокруг себя видишь, а лягушонки перед тобой скачут, себя показывают.



А наши профессорские, особенно дочери академиков, те вообще наглые были. Ты вот, Вован, Машку, дочку академика Форматорова, помнишь? Та никого не стеснялась». Помнил я ее смутно, высокая, черноволосая, с накрашенными красными толстыми губами и лоша-

диным хвостом на голове, как было тогда модно. Ноги были толстые. Училась в одном классе с Адиком. Переспала со всеми мальчишками из класса. От одного к другому передавала себя. Ходил рассказ, как ее мать, Анна Фридриховна, застала Адика в постели с дочерью; тот судорожно натягивая трусы одной рукой, другую протянул Машкиной матери, при этом от неожиданности сполз в щель между стеной и кроватью, как таракан, и из щели вежливо пробормотал: «Гутен Морген, Анна Фридриховна! Мы тут с Машей немецким занимаемся». И та вдруг похвалила его: «Хороший мальчик! Другие бог знает, чего хотят от моей девочки, а ты ей в иностранном языке помогаешь! Не то, что эти жабы, другие мальчишки». А Адик, вспоминая эту историю, вдруг хихикнул: «А кто кого трахал – поди разбери. Как вцепится – приходилось ухи крутить, чтобы от себя оторвать!»

Эрик захохотал. «Все пацаны и есть жабы. Скольких этих лягв мы натягивали».

Голова у меня закружилась, хотя давно это было. Но все равно тянуло на рвоту.

Дед нахмурился. «Мы фашистов жабами называли. Жабы они и были нежитью. А ты, Адик, нежить, и женинов в нежить превращаешь. Они, конечно, разные. Но от нас зависит, как мы их видим. Как мы их видим, такими они и становятся».

Вдруг Адик вскочил: «Да ладно, дед! Ведь когда твои друзья-большевики нам доказали, что на небе пусто, пришлось искать что-то в глубинах земли, в ее пещерах, в ее пропастях, в ее слизи. Я смысл существования искал, я думал, что есть Сатана, и даже сатанистом одно время был. Но и Сатаны нет, есть слизь человеческая, живая и неживая».

Он вдруг хлопнул меня по спине: «А чего мы жилье Вована не посмотрели до сих пор? Пошли, пацаны, пошли. Да не дрейфь, хуже нет дрейфить. А ты, дед, захочешь, тоже к нему приходи!»

Но Эрик завалился на диван:

«Я поспать должен».

А мы очутились в моей комнате. Эрнест тоже. Книги, пианино, пишущая машинка и фотопортрет деда, который я перевесил в изголовье моей постели. «Ну вот, – сказал Адик, – вот тебе и великий черепак, твой дед». А далее произошло нечто невероятно жуткое. Портрет словно налился какой-то жизненной силой. Глаза деда засверкали, а руки и плечи разорвали бумагу, и оказался он в моей комнате сидящим за небольшим журнальным столиком. Сим охнул, побледнел и рухнул на пол, на минуту открыл глаза, пробормотал: «Я художник, существо чувствительное». И снова закрыл глаза, и стал белым, как школьный мел.

Адик сказал: «Навсегда ушел. Отправился к месту своего вечного пребывания, устье реки Жабенки в коллектор. Там разложится, и рачки им будут питаться». Он потер шею: «Я, пожалуй, тоже удаюсь. Делишек много, да еще две лягвы не оприходованы. И Сима с собой прихватчу». Он завернул его в газету, как большую покупку, взял подмышку и вышел, хлопнув входной дверью.

«Н-да, — сказал дед Моисей, — чудес на свете много, но прошу учесть, что все же по-прежнему есть тьма и свет, а Сим решил, что все, что не на небе — это тьма. Но даже среди жаб можно найти светлых, которые противостоят тьме. Сим этого не понял. Рисуя меня, он воображал, что соприкасается с темной силой, а, когда я вышел из его полотна, он понял свою ошибку. Но поздно. Я как черепаха Тортилла с золотым ключиком».

«Ключик от чего?» — спросил я, вспомнив Буратино. Все молчали.

Дед сказал: «От квартиры твоей будущей. Только пока он невидим. Ты его расколдуешь. Возвращаюсь на бумагу, а ты теперь дальше сам все должен искать и прояснять. Главное — семью береги!»

«Так ты жив или нет? — не выдержал я. — Ты же только на фото-портрете был...»

«А я, как слепой Тиресий, живу и смотрю внутренним взором. Вижу смысл, это главное. Древние греки ведь говорили, что тот, кто живет духом, не умирает. Потому что дух никогда не умирает».

«А где же нежить?» — крикнул ему я.

«Повсюду, — ответил дед. — А внешних отличий от человека немного».

«Точно, — подтвердил Эрнест Яковлевич, не удивившись явлению моего деда, — да и человек мало осталось. А ты, Владимир, держитесь с Клариной за меня. Помру — комната вам. И выдумывать ничего не надо. А Инга себе найдет жилье, за нее не беспокойся!»

И он выскользнул из комнаты, а фото снова повисло над моим изголовьем.

Инга уходит с семьей из квартиры

А еще через две недели ко мне днем зашла Инга с бутылкой вина в руке: «Посидим немного, ты машинку-то свою отодвинь, освободи уголок, у меня бутылка испанской “Малаги” и итальянский пармезан. Вечером выпьем еще с Георгием, а потом на новоселье. Я тебе пришла признаться, мы же приятели, лучше уж ты через меня узнаешь, чем

от ментов, которые наверняка припрутся с расспросами. Пора из дома нежиться в нормальную жизнь идти. У меня ведь отец генерал был, Георгию до него далеко. Решили из дома уезжать. Ты замечал, что запах канализации все время держится в подъезде? Вплоть до нашего последнего этажа. Поживешь подольше, заметишь. Звонить в РЭУ бессмысленно. Мне месяца хватило, чтобы это понять. Даже аварийка пробить засор не может, ведь дом на болоте выстроен, другого свободного места не нашли. Но что самое, на мой взгляд, жутковатое, что и аварийке не дает развернуться, под нашим домом внутрь уходит еще строение на восемь этажей. Зачем оно было выстроено, сейчас даже генплан не расскажет. Скорее всего, так тогда строили бомбоубежища, рядом ведь космический завод академика Льюльки, а его рабочие на пятьдесят процентов жильцы этого дома. Бомбоубежище приказало долго жить, и, что там, сейчас не знает никто. Понял? Зря ты Вальку тогда не трахнул, сейчас жил бы спокойно в двухкомнатной квартире, а баба она сладкая, заботливая».

— Я женат, — возразил я. — Ты же знаешь!

— Жена не стенка — подвинуть можно, — усмехнулась Инга. — А ей лестно с интеллигентом...

Слушая ее, я думал: где проходит у женщин грань между порядочностью и выгодой? Поразительное дело. Я вспомнил рассказ приятеля о нашей общей знакомой, которая поступила работать в молодежный журнал, переспав с заместителем главного редактора. А выглядела и вела себя как чрезвычайно порядочная. Очень милая и интеллигентная женщина. Где же проходит грань? Назовем ее Еленой Глинской.

— Сам разберусь!

— Понятно. А тебе интересно, где я квартиру сделала? Три автобусных остановки в сторону кольцевой. Нам-то не обязательно около трамвайной остановки, у Георгия машина, а за мной всегда казенную пришлют. Но все же, скажем, тебе легче будет приехать к нам в гости. Квартира у нас большая. Из шести комнат. Две нам с Георгием, детям по комнате, мать к себе беру и еще большая гостиная. Не хотела, чтобы сотрудники знали, сколько у меня денег. Будут болтать, что взятки беру. Ты-то порядочный, рот на замочке всегда... И я всем сказала, что ссуду взяла. Вот уже и звонок. Сейчас работы придут, вещи выносить. Можем тебе с женой оставить трубы для штор. Как привинтили — не помню, теперь не отвинчиваются. Но вам могут пригодиться. Я вообще договорюсь в конторе, чтобы проблем у вас не было, вам сразу комнату присоединят, без хлопот. Так что через неделю можете переезжать. Будете более или менее нормально жить, не все же себя нежитью чувствовать. Конечно, от

болотной пропасти не убежишь, но в ближайшие годы дом вряд ли провалится. Я ведь здесь не случайно собиралась зацепиться. А захочешь, Вальку к тебе пошлю или тебя к ней, лучше с лягушкой в двушке, чем в полуаварийном доме, где клозетом на весь подъезд несет.

— А Эрнест знает?

— Узнает в свое время. Его это не интересует...

Пока говорила, нарезала ломтями пармезан, разлила по стаканам «Малагу». Они выпили, закусили. «За удачу!» Повернулся ключ во входной двери, из прихожей послышались голоса: Георгия и незнакомых рабочих. «Плачу вдвое, — отчетливо выговаривал Георгий, — но упаковать все надо сегодня. А завтра вывести. Мы ночуем на старой квартире пока» Войдя в мою комнату, пояснил мне: «Это бывшая наша двушка, теперь там тетка Инги живет, прямо из ее рук кормится, не наподличает. Да и почва почти гранитная. Теперь прежде, чем строится, надо с диггерами договариваться, чтобы все предусмотреть. Москва ведь вся в провалах. Пока шел, опять запах в подъезде стоит, канализацию, наверно, опять прорвало. С мобильного позвонил в РЭУ, потребовал вызвать аварийку. Сейчас подъедет. Ну ладно... Вижу, вы уже начали, а я виски принес. Доставай стаканы, а вот еще финский сервелат».

Из их комнаты слышалось легкое постукивание молотка и шуршание бумаги и бечевы, шла упаковка вещей. Из-за окна мы слышали, как отвинчивался канализационный люк в асфальте перед домом, потом спустили туда лестницу и начали разворачивать шланг. Я вышел на балкон (балкон был только в моей комнате), посмотрел вниз, там стояла аварийка, открытый люк, из которого время от времени высывалась рука, а молодой парень, сидевший рядом на корточках, протягивал в эту руку то один, то другой гаечный ключ. А голос из люка увещевал парня: «Учиться тебе, Коляня, надо. А то так и будешь всю жизнь ключи подавать». В этот момент, чавкая, гофрированная белая и гибкая труба, слегка извиваясь, принялась засасывать содержимое канализационного люка. Аромат мочи и фекалий ароматизировал двор. Через полчаса труба свернулась в кольцо, процесс вроде был закончен. Шофер с подсобным рабочим слегка сдвинули крышку люка, чтобы дать простор работавшему внизу. Изнутри послышались звуки рвоты. Откинув крышку люка, из глубины вылез в спецовке слесарь, узкоплечий длинный мужик с парой гаечных ключей в руках с зеленым лицом, будто его там тошнило. Он встал вначале на колени, словно готовился к новой рвоте. Ему помог встать на ноги юный парень тоже в спецовке. Слесарь вытер локтем лоб и подозвал еще и шофера: «Мужики, се-

годня у меня лестница из-под ног поехала, думал, рухну в пропасть. Но зацепился х... знает за что — вроде обломок стены, а под ним вонючей воды целое озеро. Дерьмо плавает, некоторые штуки длинные и толстые, на змей похожи. Меня пару раз там вывернуло. Я еле выбрался. Был бы скафандр, может, и полез бы. Говорили же, что под этим домом бомбоубежище построено. Глядишь, чего нашел бы!» Молодой хмыкнул: «Бомбу, что ли, али зенитку? Так на хрена они нам!» Люк завинтили. Машина уехала. Я вспомнил, что Гиляровский называл работавших в таких колодцах работяг — гномами. Если вспомнить скандинавские сказки, я бы назвал их троллями.

— Поэтому и уезжаем, — сказала Инга, вышедшая со мной на балкон. — Слышал, небось, про провалы даже в центре Москвы?

— Ну, там диггеры ползают, только про их находки власть молчит.

Тут открылась дверь в их комнате, оттуда вышли трое работяг, сказавших, что работу закончили, а перевозить вещи приедут завтра с утра. Георгий повел их к двери, мы невольно прислушались. Оттуда послышались крики. «Ну, помогите кто-нибудь! — кричал юный женский голос. — Я дочку к маме не могу вывести, а он разлегся перед дверью и ногами в нее уперся». Дело в том, что на каждом этаже располагались по четыре квартиры, две с одной стороны, две с другой. Там, где были наши квартиры, прихожая была маленькая, поэтому мужик заполнил ее целиком, спиной упершись в нашу дверь, а ногами в соседскую, откуда доносились женские крики.

Мы с Георгием нажали на дверь плечами, что-то поехало. Дверь открылась. На разбитом кафеле лежал пьяный мужичок и ругался: «Вселили эту суку в мою квартиру. А на кой хрен она мне сдалась. Баба моя померла, из-за этого и метры освободились, и месяца не прошло, как мне эту мать-одноночку подселили. А на х...ра она мне!!! Да еще с девчонкой». Георгий пнул его ботинком в бок и сказал своим работягам: «Поднимите его и спустите на один пролет лестницы вниз. Пусть отоспится».

И, повернувшись ко мне: «Вот гаденыш, ни о чем хорошем думать не может. Уже метры жилищные есть, так и их загадит. На самом деле, врет. Бабу свою он уже два года как в гроб вколотил. Его бы выгнать, но куда деть метраж? Вот и подселили молодую женщину с ребенком. Квартира-то не его, а коммунальная! Такой вот расклад. И женщину с ребенком доводит. Чем ему помешали? Такому бы не жить. Я бы, ей-богу, нанял кого, чтоб его прибили, да сидеть из-за такой мрази не хочется. А ведь истинная нежить. Нельзя тронуть. Только ждать, пока сам сдохнет».

Отворилась дверь, которую не давал открыть алкаш, выглянула осторожно маленькая бледная и худенькая женщина. Она предста-

вилась: «Женя!» Такой я ее почему-то и воображал. «Спасибо, – робким голосом сказала она. – А то нам с дочкой даже в магазин не выйти. Боюсь ее оставить одну. Этот ведь он, как плесень, гадко после него даже на кухню заходить. Грязь и запах пьяного мужика. Мне противно. Мой муж такой же запах издавал, я ушла от него, хорошо хоть расписаны не были, и дочурку мою он не заберет. Спасибо вам. Сейчас быстро сбегает в магазин, потом, пока он пьяный валяется, нам что-нибудь сготовлю. И в комнате запремся. А то знаете – жуть, когда он начинает ломиться к нам. Хорошо, что замок прочный».

А я вспомнил, что еще месяц назад за лифтом на лестнице, которая вела на чердак, ночевали бомжи. Один раз, когда Кларина вела Сашку в детский садик, на этой чердачной лестнице спал бомж, а из брюк мимо башмаков текла струйка мочи. Надо было ставить дверь перед лестницей. Я договорился с лифтерами (Кларина подсказала, но сама не пошла к ним, мол, *бабу не послушают*), что они поставят лифтовую дверь, припаяют ушки для замка, а уж замок и ключи – наше дело. Мы попытались собрать хоть по червонцу с соседей, дал Эрнест, Инга, дала бедная соседка Женя, «одноночка», дала семья из отдельной квартиры на другой стороне площадки. Толстая соседка, с трудом носившая свое толстое тело и собачку Жульку, болонку, отказалась: «Зачем? Тридцать лет живем – все ничего было. А вы сразу новые порядки заводите!» Кларина терпеливо объяснила: «Саша маленькая. У чердака часто пьяные спят, под себя делают. Зачем ребенку это видеть?» Хозяйка Жульки возмутилась: «Зачем! Зачем! А чего от нее скрывать?! Это – жизнь. Ничего особенного не происходит. Пусть видит». И денег не дала.

Да, подумал я, это провал – тоже страшный, как и пустоты под землей. Тоже пустота. А нежить там, где пустота. В подвалах, провалах, в головах публики.

Что-то я заунычился. А Георгий взял меня за плечи: «Пойдем допьем». Я возразил: «Может, проводить его?» «Да ты блаженный! – засмеялся Георгий. – Чего ты опасешься? Этот пролежит еще не меньше пары часов, а потом побоится пускать в ход кулаки».

«Ну что, герои? – сказала Инга. – Я пока и закуску кое-какую сотворила. И хватит реагировать на всякую падаль!».

Наутро пришла машина, и их мебель перевезли. Сами они поехали на своих «Жигулях», Гоша за рулем.

«Мы, как устроимся, позвоним тебе, приходи. Тем более, у Гоши через месяц юбилей – 30 лет отмотал уже. Вы же с ним почти ровесники».

Мне было уже за сорок, но говорить об этом я не хотел.

Освоение новой топографии

Пока я вел дипломатию на новой нашей жилплощади, Кларина готовилась к переезду. Вещей у нас немного было, шкаф, детская кроватка, матрас, купленный мной по случаю, широкий и удобный. Вначале он стоял на полу, потом друг детства Косицын приделал к нему четыре ножки. Получилось нечто вроде тахты. Еще подюжины стульев и обеденный стол. До этого по наводке Инги я сходил в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (ДЖПиЖФ г. Москвы) и оформил наше жилье и метраж на имя жены. Там меня уже ждали. Поскольку ничего нового я не просил, более того, по закону мне полагалась вторая комната, как жильцу коммуналки, имевшему право на эту дополнительную площадь, а тут еще и Инга, их коллега, добавила просьбу. Получив бумагу, подтверждавшую наши права на эту дополнительную площадь, я почувствовал себя мужчиной, защитником, добытчиком, рыцарем и т.д.

Кларина оставила дочку с тещей, приехала, тщательно вымыла комнату уехавших соседей, заодно коридор, кухню и мою комнату. Ей не понравился запах прорванной канализации, но вариантов не было. «Будем с этим бороться», — сказала Кларина. Через день приехало в наше новое жилище мое маленькое семейство во главе с тещей. Сашка поначалу робела. Привыкнув к маленькому пространству нашего прежнего жилья, тут она растерялась. Большая кухня, почти комната, большой коридор, которого в предыдущих наших жилищах не было. По коридору надо было еще пройти, чтобы попасть ко мне в комнату. Холодильник, хоть и общий, но большой — не то, что наш маленький «Саратов». Хотя его мы тоже забрали и поставили в мою комнату. Сашка бродила, бродила и вдруг разревелась. Мы бросились к ней. Вышел из своей комнаты и Эрнест Яковлевич: «Что с тобой, киса?» — спросил он. «Я заблудилась, — всхлипнула она. — А откуда вы знаете, что я киса?» Эрнест улыбнулся, наклонился: «Обожди, я тебе конфетку принесу». Ушел, вернулся, вынес ей конфету «Гусиные лапки» (были такие — дешевые, но вкусные). «А их, правда, из лапок гусей делают?» — спросила дочка. — Но гусям же больно. И как они ходят потом?» «Это только название такое, — объяснила теща, а Кларина добавила: Эрнест Яковлевич, заходите к нам — чаю попьем». Он заколебался: «Пойду поищу — чего у меня к чаю есть». Принес пряники и банку яблочного варенья. «Сам варил, не обессудьте».

За столом Эрнест рассказывал нам, что место это неплохое: «с одной стороны парк Сокольники, с другой — Лосиный остров, а через дорогу простор ВДНХ, там погулять с ребенком можно. Запах, конечно, у нас в подъезде не очень-то. Во-первых, на болоте стоим, во-вторых, соседи — люди некультурные, очень некультурные. Спускают в туалет черт знает что. Вот и засоры, вот и запах. И еще учтите, что под землей трубы с нашими мелкими речками проложены, да я и названия позабыл. Но, видимо, подгнили, запах из-под земли идет. А я так понимаю, что там, где гнилость, там и жизнь какая-то должна быть. Не всегда хорошая. Комары у грязной воды — тоже жизнь, но они же кровососы. Да и в воде живут свои вампирчики — водяные. Одно мне странно — наши людские кровососы — толстые и румяные, толстосумы. Они ведь нежитью зовут тех, кому негде и нечем жить. Вот мы с вами для них отчасти нежить. Ленин их правильно расстреливал десятками». Дед был очевидный коммунист. А я думал, как спутались понятия. Абсолютный хаос. Нежить — это ведь не мертвый и не живой. Но все же человек.

Бывают и не богачи и не безгрошовые, бедные, но тоже нежить. Я вспомнил историю десятилетней давности. Сотрудница моей первой жены, искусствовед, хрупкая кудрявая девочка, собралась замуж. Жених, по рассказу первой жены, был мил, высок, широкоплеч, с завитками каштановых волос вокруг лба, голубоглаз, образован, очень неплохо разбирался в западноевропейской живописи. Уже все было готово для свадьбы, с утра загс, потом ресторан, где отец заказал шикарный свадебный пир на двадцать человек. А далее действие разворачивалось с невероятной скоростью и непредсказуемостью поступков. У дверей загса жених сказал невесте и ее родителям, что он раздумал, что еще не нагулялся, а плоть требует полигамности, что кольцо не отдаст, что это подарок его несостоявшейся жены, что это память о ней. Тут подъехало такси, в котором сидела пара его друзей, в эту машину и прыгнул жених, предварительно подойдя к невесте, поцеловал в губы с засосом, а потом облизал длинным языком ее лицо. И машина увезла его. Невеста рыдала, ее успокаивали, повезли домой, подруги поили коньяком, родители валерьянкой. Потом отец невесты, опомнившись от потрясения, поехал в ресторан отменить заказ. Но опоздал: бывший жених с приятелями, пока заказ не был отменен, славно поели и попили, отметив разрыв с невестой и ушли, сказав, что, как и договорено, заплатит отец невесты. Можно его просто назвать негодяем, но ведь тут особый тип нечеловека, который ест, пьет, занимается сексом (невесту он, разумеется, не раз имел). Нежить? Можно и так.

А вдруг он так опустил эту девочку, что и ее превратил в нежить, как и положено вампиру?

А на следующий день мы пошли гулять. Прошлись немного по Лосиному острову мимо Яузы. В мутной воде плескались утки. Сама Яуза текла мутная, зеленоватая, извиваясь, как змея. Потом я довел своих девочек до соседнего с нашим двора, где были качели, а сам схватил такси и поехал на работу. Шоферы у нас порой вдруг начинают рассказывать истории из жизни или делиться геополитическими соображениями. Или мне на таких везет. В тот день я на такси ехал на работу, и на такси же возвращался домой, беспокоясь, как жена и дочка провели время на новом месте. Первый шофер был мордвин, с толстым носом. Сразу начал: «Всю жизнь здесь живу. А в своей столице, в Сызрани, ни разу не был. А надо бы, чтобы корни помнить. А знаешь, что Сокольники — это мордовский парк, так назывался. Здесь сражались просека на просеку. Мордва сильная. Ты знаешь это?» — «Знаю. Жена наполовину эрзя. Эрзя — это воины из мордвы. Но ты ведь мокша?» Я помнил, что у мокши большие надбровные дуги, что они чаще светловолосые, и, кто не знает, принимает за русских. Да они и есть по сути русские. Он посмотрел искоса, вроде я его немного унижил. И сказал сурово: «Мы тоже драться умеем. И потом парк пополам поделили. Половина им, половина нам». Я ответил: «Я знаю, великий адмирал Ушаков — мордвин, да еще патриарх Никон и протопоп Аввакум, великий писатель Шукшин. Слышал про таких?» Он кивнул: «Кое-что», — но стал глядеть на меня дружелюбно. А мне все это было странно, никогда на этом уровне я Сокольники не воспринимал. Лесное пространство, где царь Алексей Михайлович практиковал соколиную охоту, потом парк для народа, куда семейно ходили гулять по дорожкам. А что там были схватки юной разнорациональной шпаны (да еще по национальному принципу), мне и в голову не могло прийти, глядя на семейные прогулки.

Назад меня вез шофер татарин. И снова разговор затеялся своего рода геополитический. Шофер говорил: «Русские говорят, что их завоевали татары. Мы же крестьянствовали по берегам Волги. Мы всегда там жили. Это монголы пришли. И русских завоевали, и нас заодно. Мы же с русскими братья. Но они превратили нас во врагов, сделали как бы нежитью, вурдалаками, а вы и поверили». Мне стало стыдно, потому что о татарском нашествии и я писал, не всегда вспоминая о великих русских родах, имевших татарские корни — Чаадаева, Карамзина и других. Даже знаменитый герой «Что делать?» аскет Рахметов тоже татарского рода. «Да что ты, — сказал я. — Татары столько сделали великого для русской культуры...».

И назвал все эти великие имена. Он вдруг повернулся и поглядел на меня с уважением. «Вы, наверно, учитель истории». «Отчасти», — ответил я смущенно.

У подъезда меня ждали жена с дочкой. Обе выглядели странно, испуганно и нервно. Кларина сказала: «Меня до сих пор трясет. Вот ты сейчас о нежити пишешь, могу добавить в твою копилку». Мы в соседнем дворе гуляли. Дочка села на качели, с другой стороны бревна другая девочка. И вдруг она спрыгнула с качелей, не обращая внимания на дочку, которая сидела с другой стороны бревна, так что Сашка ударилась попой о землю и полетела на землю. Кларина отругала девочку и пошла к женщине, которая, судя по всему, стерегла девочку, сказала ей, что надо бы объяснить ребенку, что так поступать нельзя. Та позвала, девочка не пошла. «Потом отругаю, да не могу ее ругать. Я ей не мать, а тетка. Мать полгода как умерла. Микроинфаркт был, а неотложка вколола реланиум. А расслаблять мозг нельзя в этот момент. Уснула и через четыре дня умерла. Отец девочку сразу бросил. Жила у бабушки. А ту два месяца назад в четыре часа дня — за внучкой в садик шла — убили прямо на улице. Ударили в переносицу. За ноги в кусты оттащили и обобрали всю. Думаю, из-за серег, серьги красивые были. Мне в восемь вечера позвонили из садика, что за девочкой никто не пришел. А бабушку, мою мать, нашли только в десять вечера. Когда у Наташи мать умерла, она не плакала, она все ждет, что мать вернется. А над бабушкой рыдала. “Теперь, — это она мне говорит, — когда ты, тетя, меня ругать будешь, защитишь меня некому”. Отец шестьдесят пять рублей в месяц посылает. Женится на богатой женщине. Там мальчик пяти лет, дача, квартира, машина. Так он дочку прошлым летом пустил на дачу, но за плату. А Наташка тянется к отцу, хочется ей общаться. А он даже грядку свою дочке на даче не позволил разбить. А из жены, Наташиной матери, всю кровь выпил, до инфаркта довел. Вампир хренов. Да и с дочкой — сама видела — в папу-маму играет, хотя и шутейно. Разложит на постели как лягушонку, щекочет в разных местах и хихикает». Сашка тоже слушала, глаза вытаращила.

Кларина ей говорит: «Иди поиграй с Наташей. Только ты поняла, что о маме ничего не надо говорить. Она закивала: “Поняла, я просто поиграю” — сгребла все игрушки и пошла дарить. Вот такая наша дочка, хорошая дочка».

Я пробормотал: «Страшная история. На русский лад».

Уже дома открыл Тургенева, от меня ожидали в журнале статью об «Отцах и детях». Отцы капризничали, а сыновья готовились к новой жизни, входили в новую эпоху.

« — На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.

— А вот на что, — отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, — я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!»

Я как-то странно посмотрел вдруг на знакомый текст. Конечно, Тургенев не метафизик, но многое фиксировал, что не видели более философические авторы. Если принять, что живое существо вселенной пронизывают общие токи и, что случается в одном телесном состоянии, реализуется в другом, то «Антропологический принцип в философии» Чернышевского прав, все живое едино. Я вспомнил, как легко дающих девушек, с «пониженной социальной ответственностью» Адик называл лягушками. А нигилист Базаров в сущности насиловал лягушек, распластывал и ковырялся в них. Но не делали ли люди то же самое друг с другом? Достаточно вспомнить, что творили с женщинами в ГУЛАГе. Как говорил Эрнест Яковлевич: «Охранники с женщинами в лагере *очень безобразничали*. И никто за них заступиться не мог». Он был прав. Поэтому и висит в воздухе ощущение насилия, вампиризма и нежити.

Уложив дочку, мы поговорили о Тургеневе, о необходимости книжных полок, книги лежали стопками на полу. Кларина сказала, что внизу, в мебельном она видела застекленные полки, которые можно поставить одну на другую, и цвет приличный, светлый. Утром отправились в мебельный, купили. Директор сказал, что донести их и поставить как следует поможет их рабочий.

«Эй, Витек, — крикнул он, — помоги. Они тебе заплатят».

Подошел малый в грязной рубаше со странно светлыми глазами и руками в порезах и мозолях (заметил, когда он укладывал на тележку запакованные полки). Так я познакомился с новым персонажем моего повествования. Он легко переносил полки, но ставил их не очень-то аккуратно, разбил пару стекол. Я сунул руку в карман, оказалось, что я не рассчитал, и деньги кончились при покупке полок.

«Не переживай, — сказал он, положив мне руку на плечо, — завтра стекла заменю, тогда и деньги отдашь».

Он ушел, хлопнув входной дверью. На хлопок вышел Эрнест Яковлевич с монтировкой в руках: «Держу у порога своей комнаты на всякий случай. Дверь не запираю. Если тебе понадобится, заходи и бери. Смотри — у порога около шкафа. А сейчас просто не понял, кто это так грубо дверью хлопнул. Вот и вышел». Я поблагодарил деда, но сказал, что не хотел бы этим пользоваться, не в моих правилах.

«А ты что, до сих пор на луне жил?» — спросил Эрнест.

Вспомнив его двенадцатилетний гулаговский опыт, я промолчал, подумав, что не уверен, смогу ли я монтировкой ударить по голове рвущегося в квартиру. Эрнест смог бы, это было ясно. Только с сыном совладать он не мог. Может, чувствовал почему-то вину перед ним за то, что период его взросления он был то на войне, то в лагере. Его жена оказалась сестрой бандитов. Эрик был выше отца, шире в плечах, даже красивый, если не считать появлявшегося временами волчьего бандитского выражения на лице. Он шпынял отца, что он уехал в Испанию, бросив семью, поэтому он может считать себя как бы из испанских детей. «Думаешь, — говорил он, — я таким здоровым вырос на твоём продаттестате? Это пока ты в армии был, хоть что-то шло, а потом вообще ты в лагере отсиживался, пока мы здесь выживали». Кого-то он мне напоминал из прошлой жизни, из какого-то жизненного эпизода, но я не напрягался. Не до того было. Он рассказывал, что мать во время Великой Отечественной войны, когда Москва пухла с голоду, питалась всем свежим, что деньги хранила в наволочках, награбленное. Сам он питался черной икрой, когда Москва голодала, потому и вырос такой здоровый. Своего сына бросил, не общался, сын в свою очередь оставил жену с дочкой. Вообще, взгляд у Эрика был такой, словно он тебя не видит, или видит, но как-то со стороны, взгляд бандита, который так и не стал бандитом. Какая связь между ними была? Родственная — так традиционно принято.

Сын выживает отца с этого света

Эрик всегда приходил к отцу с бутылкой спиртного, весьма сомнительного качества, паленой водкой, *наленкой*, что хуже бормотухи. Эрик был здоровый кабан, но и ему бывало тяжело от этих напитков. Так они подтравливались раз от раза, пока дед не траванулся как следует. Думали, что ослепнет. Несколько дней ничего не ви-

дел, носил даже на глазах повязку. Потом зрение немного вернулся, но работу слесаря с высокоточными инструментами пришлось бросить. Так что сын выступил в роли своего рода нежити, сам не жил, пил, да и отца лишил его жизни. И Эрнест с того момента находился как бы посередке, не жил и не умирал. Читать тоже уже не мог, только телевизор временами смотрел. Сидел на кровати и смотрел, только чай пил с бубликами. А с Эриком все же продолжал спиртное употреблять. Поздними вечерами ходил на «Маленковскую» — станцию электричек неподалеку от нас, на краю Сокольников.

И повторял все время:

— Подыхать пора. Стар стал. Совсем стар. Ночью хотел на станцию идти. Сходил. Да электрички редко ходят.

— Зачем?

— Лечь под нее. Хватит уже. Пожил. Кашель замучил. Совсем плохо сплю. Я ведь в Испании видел Кумскую Сивиллу, а мальчишки ее спрашивали: «Чего ты хочешь, Сивилла?» А она ответила: «Хочу умереть». Вот и я хочу.

Я поразился, как не раз поражался его неожиданной образованности, но не нашелся, что сказать.

А однажды, когда шел в туалет, вдруг остановился, держась за стенку, но все же не устоял, сполз на пол. И наложил в штаны. Лежал на полу и плакал. Услышала его Кларина, выскочила из нашей комнаты, увидела, что произошло, и крикнула меня, а я в этот момент открывал входную дверь:

— Что случилось? Что с Эрнестом Яковлевичем?

— Не задавай вопросов, не время. Помогите.

— Перенесем в его комнату?

— Да, но вначале сними аккуратно с него пижамные штаны и трусы. Отнеси их в ванную. Только не испачкайся. Положи в таз и возвращайся.

Мы перенесли его в его комнату. Кларина нашла детскую пеленку, постелила на кровать, на нее мы и положили деда. Кларина помыла его, вытерла, приговаривая: «Не стесняйтесь. Я не могу вам не помочь. Я на медсестру училась». Он, подчиняясь ее рукам, говорил мне: «Хорошая женщина Клариночка, тебе повезло, Владимир. Береги ее». Потом она выстирала его одежду, повесила на веревку, которую мы сразу по приезде протянули на кухне. Но что-то с ним после того случая произошло.

Он ходил с трудом, шатался, перестал выходить на улицу. Эрик стал приходить к нему почти каждый день. Эрнест говорил сыну: «Помру скоро. Ты посиди со мной, комната тебе достанется!

А тот все же каждый день приносил бутылку. Я как-то сказал ему: «Эрик, отцу бы не надо пить. Как бы опять по глазам не ударило».

Он посмотрел на меня своими пустыми зелеными глазами, отодвинул молча, поскольку шел как раз в комнату отца: «Сто грамм даже полезно». Когда он говорил, то виднелись в боковых полостях рта совершенно волчьи клыки.

Кларина услышала, вспыхнула и крикнула вдогон: «Ты отца так до преждевременной смерти доведешь».

Наверно, не надо было так говорить. Потому что Эрик вдруг задумался, то есть неправильное слово «задумался» по отношению к нему, просто извилины зашевелились, проворачивая мысль, которая возникла от клариных слов. И, конечно, мысль его шла к теме жилья. Отцовские квадратные метры он терять не хотел. Здесь же он не был прописан, поэтому на эту комнату рассчитывать не мог. Но отца он мог уговорить поменять комнату, сделав хитрый обмен. Сюда въезжает кто-то из его друзей или знакомых, дед получает комнату в коммуналке дома, где живет Эрик, а там они быстро меняют однокомнатную, где жил Эрик с женой, и комнату в коммуналке на двухкомнатную в том же районе. Светил ему такой вариант. Кто-то из живших поблизости от него хотел разъехаться (какие-то семейные проблемы), но так, чтобы не отъезжать далеко друг от друга. И вариант Эрика им бы очень подошел.

Видимо, допив бутылку, он вошел в мою комнату-кабинет, плюхнулся на диван, но ничего не говорил, сидел молча, только зеленые глаза крутились как шарики, так он оглядывал комнату. Я сидел перед пишущей машинкой (про компьютер мы тогда только слыхали и острили, что лучше дюжина гусиных перьев, как у Пушкина, чем один компьютер). Я сидел, соответственно, около стола и, повернув голову, смотрел на Эрика. Он начал первым говорить:

— Жена твоя сказала, что отец плох. Умереть скоро может. Со дня на день. Мне надо торопиться. Надо было раньше делать, но все время занят был.

На его языке это означало — непробудно пил.

— Ну ладно. Я предупредил. Пойду поговорю с отцом, а то он как бы раньше времени не помер. Завтра друган придет, с которым меняться будем. Познакомитесь.

Он вышел из моего кабинета. А я в комнату к Кларине.

— Эрик уверен, что отец умрет не сегодня так завтра. Хочет, пока отец жив, в ближайшие дни найти обмен. А пока сидит и сто-

рожит, ждет ангела смерти. На днях его *друган* приедет квартиру посмотреть, чтобы понять, кто соседи.

Мне кажется, Кларина разозлилась не приходу нового соседа, а то, что Эрнест ждет смерти, а Эрик эту смерть караулит.

– Пойди к Эрнесту и скажи, что никакой тяжелой болезни у него нет. Это сосудистый криз, у тебя такой был, да и у меня. Если лежать, то только хуже будет. Надо ходить, ходить гулять. Хочешь, сама скажу, но лучше ты, мужчину он скорее послушает. И дай ему циннаризин.

Я постучался в дверь.

– Ну! – сказал Эрик.

Я вошел. Эрнест Яковлевич лежал, закатив глаза, казалось, что спал, а может, плохо ему было. Не живой и не мертвый. Я спросил:

– Как вы себя чувствуете? Кларина просила вам лекарство передать.

Не открывая глаз, дед ответил еле слышно: «Скажи спасибо Клариночке, но мне ничего уже не надо. *Не живу и не помираю. Уж скорее бы на тот свет, отдохнул бы там*».

Эрик сказал охрипшим от водки голосом: «Не боись, отец. Смерть себя ждать не заставит. Но ты еще поживи, завтра придет Толик, друган мой. Хочу пока перевезти тебя в наш подъезд, там за тобой Лидка, жена моя, присмотрит. И обмоет, если что».

Тогда неожиданно жестким голосом я сказал, повторив слова Кларины, но как бы от себя: «Вы что тут, оба с ума посходили? Ничего особенного у Эрнеста Яковлевича нет, это был обыкновенный гиперкриз. Кларина как медсестра запаса понимает в этом. Она и лекарство прислала. У меня такой был, хуже даже, был десять лет назад микроинсульт, и ничего. С такой болезнью можно еще лет пять, а то и десять прожить».

Реакция у отца и сына была разная. Дед открыл один глаз, потом второй, поводит ими, осматриваясь, потом вытянулся на кровати и вдруг сел. Нашупал ногами тапочки и встал. Подошел к двери и сказал мне:

– Клариночке спасибо! А я пойду на улицу, пройдуся. Подышу свежим воздухом. А то здесь все же запах канализации из подвала прет. Не справилась она. Да наш ЖЭК не шевелится.

Эрик сидел, опустив голову.

– Ну это моих планов не меняет, – он поднялся к двери. – Обожди, отец, вместе выйдем. Я до дому пешком пройдуся.

Друган

Друган Толик появился через пару дней. Это существо было еще крупнее Эрика, одето в драное пальто, от которого пахло немытым телом, а изо рта вонючим перегаром. Сразу вспомнилось, что Баба-яга всегда спрашивала у спрятавшегося путника: «Кто здесь? Чую русский дух». Наверно это пахло немытым телом, в дороге ведь не помоешься, а к тому же если и привычки нет...

Первое, что он сказал:

— Что у вас за яма с боковой стороны дома? Чуть туда не еб...ся. А там еще провода торчат из нее.

— А фуй его знает, — мрачно сказал Эрик. — Вот Вова, твой будущий сосед, наверно, в курсе, что за сука яму вырыла. А я и не видал.

Пришлось объяснить: «Это прокуратура, она на первом этаже, решила сауну себе сделать и все копали, проводку искали».

Из своей комнаты их приветствовал Эрнест Яковлевич. Мне Эрик бросил: «Ну ладно, обожди. Мы вначале к отцу. Толик его жилплощадь тоже хочет осмотреть. А потом с тобой хотим посидеть. Может, Адик подойдет».

Накануне приезжал в гости мой друг Коля Голуб, вернувшийся из Китая, привез оттуда бутылку водки, внутри бутылки плавала змея, мертвая, конечно. Но пикантность была — водка со змеей. Мы ее распили, Коля уехал, а я снова наполнил бутылку со змеей обычной водкой — для понту и для гостей. Вот ее я и понес к Эрнесту Яковлевичу, куда завалился Эрик со своим друганом Толяном. Они удивились змее в бутылке, пили с наслаждением и хвалили китайцев.

Кларины и Сашки дома не было. Дочка тосковала в детском садике, а жена читала лекции студентам. Я с каким-то тяжелым ощущением некоей гадости, которая вот-вот случится со мной, вошел в свою комнату. Убрал со стола пишущую машинку, отпечатанные листки сложил в стопку и спрятал в ящик комода, туда же, не очень разбирая, сложил и блокноты с записями. Наброски всегда делал в блокнотах, тетради напоминали школу, и это почему-то мешало. Но фотографию Кларины, которая стояла обычно слева от машинки, оставил (как оберег). Потом подошел к фотографии деда, который смотрел на меня из-под надбровных дуг, такой мудрый черепах. «Где же твой золотой ключик? — спросил я тихо. — Из Аргентины тебе не видно, что здесь происходит. Мне надо как-то определиться». И вдруг дед оказался за столом и улыбнулся мне. Я снова вздрогнул. «Ты снова слепой Тиресий? И снова живой? Как учили древние греки?» — спросил я, зная ответ.

«Ну конечно!» — рассмеялся он. Потом сказал самым обыкновенным голосом, которым он, наверно, произносил обычно нечто, что близкие должны были усвоить: «Твое право и твоя обязанность защитить жену и дочь. Семью. Посмотри, конечно, на возможного соседа, но решать надо, исходя из твоих приоритетов. Что для тебя в этой ситуации важнее семьи?» Я пожал плечами: «Ничего, конечно!»

Тут дверь открылась и ввалилось два существа. Один был Эрик, с ним косматый и вонючий тролль, я его уже у входа в квартиру видел. Оба уже весьма нетрезвые. Он часто приводил подземных жителей. Этот, с вонючим ртом, в котором зубы были частично повыбиты, сплевывал на пол, долго сморкался в большой сопливый платок. Отрыгивая вчерашнюю попойку, сказал, указывая на фото Кларины:

— Твоя баба? Ничего, сладенькая, наверно.

— Перестань гадости говорить, — вдруг произнес дед.

Эрик посмотрел на меня, на него и вдруг глупо начал хихикать:

— Вов, а это кто с тобой?

— Дед мой.

— А как он сюда попал?!

— Зашел просто!

— Да дверь не хлопала, — улыбнулся длинной уже пьяной улыбкой Эрик. — Он что, просочился? Как змей. Слышь, как деда зовут? Мы ведь с тобой у его могилы познакомились.

И тут я вспомнил, что никак не вспоминалось, откуда еще мне знакомо его лицо. Точно, у могилы деда мы столкнулись когда-то. И опережая деда, я сказал:

— Моисей.

— Из Библии, что ли? Иудей? Да пусть и еврей! А меня зовут Толян, Толик, то есть. Ну и выпьем за дружбу между народами, — друган Эрика вытащил из кармана фляжку с каким-то алкогольным напитком. Говорил он, гнусава.

— Аргентинец он, — мрачно произнес Эрик, вспомнив, видимо, могилу деда. — А это мой кореш Толян. Мой бывший начальник по инженерной части. Уволили его, хороших людей у нас не ценят. Как, Вов, думаешь? Ценят?

— По-разному бывает, — ответил я, думая, что я бы тоже этого питекантропа уволил.

— Да один хрен! — сказал Эрик. — А ты, Вов, принеси нам кусочки. Вместе, небось, жить будешь с Толяном-то. Знакомиться надо получше. В холодильнике что-то есть? Колбаски там, огурчика соленого, рыбки.

Дед молчал. Мужики смотрели на него подозрительно.

— Дед, я сейчас приду, — сказал я.

В холодильнике было полбатона копченой колбасы и сыр. Я пошарил по нашей полке, нашел полпачки сливочного масла, взял буханку черного, нож для хлеба и нож для масла, пару тарелок и вернулся в комнату.

Там уже хозяйничал Эрик. Хоть передвигался он нетвердо, но рюмки нашел. Только я вошел, Толян поднял рюмку и полез ко мне целоваться. Он был огромный и вонючий.

— Отойди, — сказал я, — ты не женщина, чтобы с тобой лизаться. Иди на место!

Он постоял, покачиваясь огромным телом передо мной, примеряясь, а не вмазать ли мне. Но Эрик погрозил ему пальцем, мол, раньше времени натуру не показывай. И тот сел на свое место.

— А ты грубый, но я с твоим дедом выпью. Моисей, давай чокнемся. Ведь пацаны и в старости остаются пацанами. Я прав?

Дед ответил уклончиво:

— Наверно. Но я не пью!

— Какой же ты после этого пацан! А я выпью. Думаешь, я не стою твоего внимания, раз работу потерял. А я скажу, что работают одни суки и пид...сы.

Пока он вливал рюмку в свою гнусную глотку, дед исчез. Никто и не заметил, как и куда. Я тоже не заметил, но знал, куда. Прямо передо мной на стене висел его фотопортрет. Казалось, что он смотрит на меня и качает недовольно головой. Но они тут же о нем забыли. Эрик резал большими кусками колбасу и хлеб. Они открывали свои рты и засовывали туда эти куски. Хотя у Толяна был не рот, а скорее пасть. И рыгал он время от времени, брызгая при этом слюной.

— А помнишь, — прогнусавил Толян, — как мы на работе в начале девяностых бомжатиной закусывали? Там баба была, они с мужем бомжей отлавливали, а баба потом мясо их тушила, чтоб запаха не было, и по пьющим мужикам разносила. А нам все равно, чем закусывать. А на закуску мы ее трахали, а муж ее на атасе стоял. Вот и кореш мой, — он ткнул пальцем в Эрика, — без мяса за выпивку не садился. Привык у мамки вкусно есть. Его дядьки известные на всю округу налетчики были. А у бандитов всегда деньги. Их сестра, жена Эрнеста, отца Эрика, мать его, общак держала.

— Ты бы помолчал! — рыкнул Эрик. — Не твое это дело! И не вздумай про бомжатику отцу сказать! Он таких дел терпеть не может.

Пили они долго, почти час. Потом Толян вдруг поднялся и пошел к двери, почти ничего не видя перед собой.

— Отлить надо. Где у вас заведение?

Я вышел с ним в коридор и ткнул рукой в две двери возле кухни.

— Слева туалет, справа — ванная комната. Смотри не перепутай!

Он пошел, задевая плечами за стенки, рыгая и матерясь. Я смотрел ему в спину, думая, что делать, если он шагнет в другую комнату. Но он все же вошел в туалет. И дальше услышал я вначале мат, похоже, ширинку не мог расстегнуть спьяну, а потом словно поток полился, так мог мочиться жеребец или матрос, который по приказу своего командира мочился на головы членов Учредительного собрания. Одновременно он испускал громко газы. Потом громко начал отплевываться. Вышел в коридор, но было видно, что ему стало худо. Открыл дверь в ванную комнату, склонился над раковиной и послышалось клекотание и звук рвоты («Слава Богу! — вздохнул я, — что не на пол!»).

Я вспомнил рассказ дамы из Третьяковки, как к заместителю директора по науке пришли две тетки из низшего звена obsługi, жившие в коммуналке при музее (общая кухня, общие ванна и туалет) с жалобой друг на друга. Одна кричала, указывая на сослуживицу: «Ты расскажи товарищу заместителю директора, как ты мне в суп нассала!» Вторая отвечала: «А ты скажи товарищу заместителю директора, **за что** я тебе в суп нассала!» Тогда это меня, жившего в отдельной квартире профессорского дома, поразило, что они не стеснялись своих слов и поступка. Разговор двух человекообразных самок. А теперь вдруг стало ясно, что везде такое, а профессорские дома — чудом уцелевшие островки.

И я думал, что с ним я не смогу оставлять Кларину и Машку. Ведь он нигде не работает. Как мне из дому уходить? Кончится все, конечно, грандиозной дракой. Или он меня убьет, или я его.

Раздался звонок в дверь. Я стоял в коридоре, а потому и открыл, но нервно, даже не спрашивая, кто пришел. А пришел Адик Жезлов. Одет он был в хороший парчовый пиджак серого цвета, был чисто выбрит, от него пахло хорошим дезодорантом. Вокруг шеи что-то вроде бирюзового шарфика. И сказал он неожиданное:

— Пришел с Эриком проститься. С тобой, Вова, может, еще и пересечемся, все же из одного профессорского дома. Мой дед мне сказал, что моя инициация затянулась, что дети королей часто водились со всяким отребьем, но потом все же понимали свою роль. Начинаю с небольшого, стал членом городской думы, дед помог, конечно, невысоко, но трамплин неплохой, с него поднимусь выше, буду большую политику делать.

Из ванной вышел Толян, увидел Адика и какая-то гнусная улыбка поплыла по его красной после блевоты физиономии.

— А это что за му...к парчовый?! Ты, гад, не обижайся. Обидишься, му...ком будешь. Прямо поп! Они же в парче ходили, — откуда-то из недр его бессознательного всплыла эта информация.

– Это Адик! Мой старый кореш, – выплыл из моей комнаты, уже тоже весьма отяжелевший от водки Эрик. – Не обижай его! Пойдем лучше выпьем.

Они пошли в мою комнату, а я на кухню, нейтральную территорию, где стоял телефон. Я был очень напуган. Жить в одном помещении с этим чудовищем, пользоваться вместе туалетом, ванной, дышать его испарениями, вдыхать его запах – даже помыслить это – ужас! И я набрал телефон Инги.

Вопрос был один: «Как мне сделать, чтобы обмен не состоялся?»

И ответ был простой: «Найти квартиру для Эрнеста Яковлевича. Как? Я подумаю и позвоню тебе. Да и в гости к нам зашел бы».

Тем временем Толян вместе с Эриком вышли из комнаты и, подерживая друг друга, двинулись к входной двери. Следом двигался Адик. Он вышел на площадку вместе с Толяном. Эрик тяжело вздохнул и, спотыкаясь, вернулся не ко мне, а в комнату к отцу. Он спал на ходу. У отца он и остался ночевать.

Я услышал, как Адик сказал алкашу Толяну:

«Только не иди рядом со мной, ты воняешь. Да вообще мне в другую сторону».

Утром Толяна нашли. На обратном пути он попал в яму перед прокуратурой, оголенные провода были под высоким напряжением. Он и не мучился. А когда падал, наверно, и не заметил, что падает. Слишком пьян был. И все забыли о нем, словно и не жил. Только Эрнест Яковлевич ворчал, что, мол, интересно, кто его туда, в яму, подтолкнул. Эрик на эту тему говорить не хотел.

А через день пришли смотреть комнату Эрнеста мужчина и женщина, муж и жена. С ними был маленький плачущий ребенок. Для нормальной жизни это тоже был не вариант. Я улыбался им, но понимал, что жизнь станет воистину коммунальной – с плачущим ребенком и молодой парой, которая тоже претендует на квартирное пространство. Но через день мне позвонила Инга.

Воры и реабилитированный

Она пригласила меня на вечеринку. Сыну ее исполнилось семь лет. И добавила, что и для меня у нее есть очень важная новость. Уже был конец ноября. Лил противный дождик. Я взял зонтик, сунул в портфель томик Чехова и свою только что вышедшую книгу о соотношении литературы и философии с рассуждениями о большом и малом време-

ни. Пока я ехал, то сам с удовольствием открыл эту свежую книгу, у меня было несколько сигнальных экземпляров, а, как я понял, Инге было лестно, что ее сосед еще и книги пишет. Когда я в самом начале знакомства подарил ей книгу, она спросила:

– Ты сам это написал? Ты что, писатель?

– Ну да, – ответил я. – Но еще и профессор, это книга научная.

– Вон ты какой, оказывается!

Потом она это повторяла, как само собой разумеющееся, что вот какой у нее сосед!.. И даже хвасталась мной своим приятелям. Вот тогда решила приятность для меня сделать, свою сотрудницу Валю мне подложила. Я оказался, по ее понятиям, человеком почти ее уровня. А, может, и выше.

Обыватели любят дружить с учеными и писателями.

Оставив Чехова на обратный путь, я читал свой текст и подчеркивал то, что отвечало сегодняшнему настроению: «Обращаясь к литературе, философ должен требовать от нее этого дыхания большого времени. Иначе невозможен контакт. Тогда нет того, что в старину называлось “стремлением к высокому”, на чем и вырастали великая литература и великая философия. В советское время великими называли А. Фадеева (“Молодая гвардия”), М. Бубеннова (“Белая береза”), С. Бабаевского (“Кавалер Золотой Звезды”), В. Ажаева (“Далеко от Москвы”), за свои книги эти писатели получали премии, о них писала критика. **Писатели, которые, будучи нежитью, считали себя существующими.** О них помнят историки литературы, которым удобно с ними работать. Но в “большом времени” остались Мандельштам, Ахматова, Платонов, Булгаков, Замятин. Кто про них тогда знал? Они не существовали для тогдашнего как бы литературного процесса. Их как бы не было. Но именно они стали, в конечном счете, предметом философского анализа, потому что **философия занимается жизнью и смертью, но не нежитью. Нежить – это не для философов, а для магов.** Пушкин (он всегда и везде), Мандельштам, Ахматова, Платонов, Мих. Булгаков и другие, мной названные и не названные подлинные писатели, были потерпевшими крушение на острове безвременья жители большого времени».

Вот большое время – это и было место, где жили те, кому я хотел следовать.

Гонорара я не получил, книга издавалась по гранту Фонда РГНФ, автору денег не полагалось. Да и зарплату мне на работе не платили, выдали справку, что податель сего имеет право ездить бесплатно в городском транспорте, поскольку уже два месяца не получает зарплату. Я напому тогдашнюю шутку: *Сегодня мы живем хуже, чем*

вчера, но лучше, чем завтра. Я ехал и листал книгу, с каждой минутой все больше сомневаясь, что я выбрал правильный презент. Но уже ехал. Воображал, как будут спрашивать: «Много ли получил за книгу?» – «А нисколько!» – «Так не бывает! Зачем же тогда пишешь?» И что на это отвечать? Тем не менее я доехал до их дома, прошел через двор и подошел к подъезду. Дом был одиннадцатизэтажный. В подъезде кроме домофона – консьержка. И я подумал, как хозяйка жизни без проблем решают свои жилищные проблемы. И даже позавидовал им. Что там – большое время, когда жить приходится в малом, да еще ощущать себя нежитью. Потому что о быте думать не надо, а я думаю. Я отложил свою книгу, взял томик Чехова, но все же решил, что открою его на обратном пути.

Я сказал консьержке, к кому я. Она позвонила по телефону, проверила, потом махнула рукой в сторону лифта. Я поднялся на шестой этаж. Квартира 66. Позвонил. Открыла Инга, стройная, раздумывавшаяся, с подведенными глазами, обнаженными плечами. Квартира была пятикомнатная, и самая большая комната напоминала гостиную из старых книг. В этой гостиной хозяйка и принимала гостей. По комнате были расставлены столы, на них бутылки с вином, водкой, коньяком и виски. На любой вкус и желание. Вдали, на втором или даже третьем плане, увидел Валю, которая мне улыбнулась, но подойти не решилась. Я надписал книгу и протянул ее хозяйке. Инга подняла книгу над головой и громко сказала, что в гости пришел со своей новой книгой *настоящий писатель*. И посадила меня за стол рядом с одной из богатых своих подруг, сказав, что ее зовут Ирена. Та моментально налила мне виски, сказав, что такой мужчина, как я, наверняка предпочитает виски. Уж что там Инга про меня наговорила!.. Конечно, писатель, профессор, за рубеж ездит. Внешний рисунок, наверно, впечатлял.

Я с тревогой оглядывался среди чужих людей, непривычных, казалось, от них даже пахло по-другому. В глаза вступил туман, а дальше все увидел сквозь пушкинские строки:

И что же вижу?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конской топ.

Моя соседка была в черно-белой накидке, типа монашеской, сербристом платье с короткими рукавами, немалым декольте и дорогим ожерельем вокруг шеи, которое, надо сказать, было ей очень к лицу. Но глазки маленькие. Я смотрел на бриллиантовые сережки, дорогое платье, на изящные туфельки, невольно замечая и мужские дорогие полуботинки ее спутника, который чокнулся со мной, и больше внимания на меня не обращал. И носили они все свои дорогие шмотки, как привычное. Но женщина явно начала тянуться к художнику, то есть писателю, то есть ко мне. Однако что-то свинское было в ее движении.



Иероним Босх. Сад земных наслаждений

А я вспомнил, как всего года три назад я стоял в длинной очереди, тянувшейся с улицы в магазин: там были выброшены различные мужские ботинки. Когда я достоялся до прилавка, моего

размера уже не было. Я хотел уйти, но сердобольная продавщица сказала тихо: «Берите любой размер, мужчина. Потом с кем-нибудь поменяетесь». Так я и сделал, но меняться я не умел, и ботинки долго кочевали со мной по разным квартирам. И еще всплыла сценка. В 1991 г. я получил немецкий грант на поездку в Германию. Стипендия была маленькая, но все же мы поехали вместе с Клариной. Жили мы экономно. К концу нашего пребывания стало понятно, что мы можем позволить мелкие покупки. Мы пошли в самый простой немецкий обувной Deichman, где в разделе женской обуви я предложил жене выбирать себе туфли, какие ей понравятся, но все же только одни. На другую пару денег не хватало. Кларина ходила вдоль полок, примеряла то одни, то другие туфли. И вдруг зарыдала и выскочила из магазина. В растерянности я вышел следом, чувствуя себя виноватым непонятно в чем. Она рыдала совершенно по-детски, как может рыдать любимая женщина, знающая, что ее пожалеют. Я прижал ее голову к своему плечу, бормоча:

– Ну что случилось? Успокойся, девочка.

Сквозь всхлипы она проговорила:

– Я не могу. Мне никогда еще не приходилось выбирать.

Туфли, мы, конечно, купили, а потом в последний день она увидела, что куртка, которая ей понравилась, продается со скидкой почти в два раза дешевле. В этой куртке она долго ходила. Я смотрел на наряды богатых гостей Инги и думал, что у них, наверно, не было таких радостей. Соседка нагнулась ко мне и спросила:

– Вы на машине? А какая у вас марка?

Ей и в голову не могло прийти, что профессор писатель, да еще ездящий в Германию, может обходиться без машины. И я нейтрально ответил, чтобы выглядеть на уровне их благосостояния:

– Ничего особенного. Самая обыкновенная. Я обычно на ней по городу езжу.

Соврав так пошло, я почувствовал себя мелкой гадиной.

«А я Ауди люблю, – сказала соседка. – Самая надежная. Вы согласны? Для меня это спасительница. Как-то я ее забыла, ехала в наше подмосковное имение, когда-то там была усадьба предков моего мужа. Мы ее обустроили, три этажа. И вот я без машины доехала на электричке до нашей станции. Пошла через кладбище, так быстрее минут на пятнадцать. Зима, узкая тропинка, все как всегда. Вытаскиваю руку из кармана, за варежку цепляются ключи и вылетают в сугроб. Прямо на могилу. Ступор полнейший. Меньше всего в жизни хочется копаться там. Но в голове засела мысль: домой без них не попаду. Ладно, пофиг, лезу. Мысль крутится. Шуршу в сугробе. И тут идет мужик. А я сижу у могилы, разрываю снег и жа-

лобно так оправдываюсь: “Домой не могу попасть...”. Мужик ошалело посмотрел на меня и вдруг бросился наутек. Тут до меня дошло, что я сказала, что я назвала своим домом могилу, и начала ржать. А мужик, наверно, больше не пойдет через кладбище... Забавно, не правда ли?»

Я промычал, что, мол, да, что у моего немецкого приятеля Ауди, что мне нравится и ее комфортабельность, и ход. А сам думал и был уверен, что деньги у них ворованные, что на зарплату такое себе позволить нельзя, если ты не жена владеющего подземным черным золотом олигарха. В западной литературе я в юности читал другое слово – магнат. Но кто-то из истеблишмента, показывая свою грамотность, пустил древнегреческое словечко «олигарх». Ну а олигарх не вор?..

Подошла Инга: «Это наш классик», – сказала она обо мне приятельнице, приобняв за плечи и прижавшись к спине грудью. Ведь если знакомый, тем более бывший сосед, пишет умное, значит он *ничто*. Но муж Георгий увидел и погрозил ей пальцем. Инга ко мне неплохо относилась, не очень понимая, что я делаю, но явно симпатизируя, по-женски, разумеется. «Хочешь, я тебя сведу с нужным человеком? Это приятель моего покойного отца. Он тоже полковник ФСБ, – сказала она как о чем-то само собой разумеющемся. – Сын подрастет, я его к нему в школу ФСБ отдам. Пусть делу научится».

Мы подошли к обриту наголо мужчине, который сильными пальцами ломал кусок твердого сыра. Я не удержался. Слишком длинный язык:

– А что, следите здесь за кем-то?

Он отмахнулся:

– Вот еще! Всякой перхотью заниматься!..

Не было у меня с моим полудиссидентством таких знакомых, по привычке побаивался их.

Вдруг он наклонился ко мне и по-простецки спросил: «А Инга как-то сказала, что ты Андрея Жезлова знаешь... Это правда?»

Я растерялся и все же спросил: «Адика? Ну да, мы с одного двора. А зачем Вам это?» – оставаясь «на Вы».

– Да хотел понять, свой он или нет! Адик, говоришь? Хорошо. В такое место идет работать, должно быть без проколов.

Мы отошли с Ингой, сели за стол. Она налила две рюмки виски, себе и мне. Снова похлопала меня по плечу. Спросила:

– Ручка есть?

Я полез в боковой карман за шариковой ручкой. Но она протекла, карман был в синей пасте, да и рука тоже. В те времена уже были шариковые ручки, но вот стержни для них опустошались бы-

стро, заряженных новых в продаже не было, вот народные умельцы, видя тягу горожан к цивилизации, и стали под давлением заполнять стержни специальной пастой. Но она текла и пачкала руку и карманы.

– Ой, – воскликнула она, – возьми салфетку и вытри руку, А теперь запиши телефон Лидии Андреевны, она все эти дела оформляет. Только с пустыми руками, как в прошлый раз к этому дядьке, идти нельзя. И учти, к ее зданию переход почему-то отсутствует, смотри зорко, перебегай быстро. Вот глянь на эту картинку. Это шутка, но смысл в ней есть». Она протянула мне картинку. Я усмехнулся, но как-то криво.



– И учти: она поклонница русского фольклора, поэтому не очень удивляйся разным там картинкам у нее. Понял?

– Понял.

Не хотел, но, похоже, выхода не было. Надо было и эту дорогу перейти. Хоть и жутковато. Только дико было все это слышать в обычной московской квартире.

Я вытер руку, мы выпили по рюмке. На нас уже никто не обращал внимания, было много выпито, и гости разбились по интересам на маленькие компании. Но вопрос она задала, сильно понизив голос, почти шепотом.

— А Эрнест сидел по какой статье? Знаешь?

— Кажется, 58-ая, измена Родине.

— Так это хорошо! 58-я уже давно пересматривается, а сейчас решили, что если зэк реабилитирован, восстановлен в правах, то и жилищные условия его должны быть улучшены. Короче, он имеет право на отдельную квартиру.

— Ну и что?

— Ты что, чумовой? Он получает квартиру. А ты его комнату. Вот у вас и отдельная трешка.

Полковник услышал:

— Не тушуйся. Главное — нужные бумаги собрать. А именно: с какого года он прописан в Москве, справки с места работ и где его арестовали. Если в другом городе, то в Москве жилплощадь не получит. Но ты справишься, Владимир Карлович. Инга говорила, да и я вижу, что ты настоящий пацан, правильный.

«Мы живем на поверхности и не подозреваем, сколько под нами подземных дорог и дорожек, речушек и ручейков. И нежить, и власти (тоже по сути нежить), и бандиты, и бюрократическая система. Может, и Девонское море, о котором журналисты пишут время от времени и в которое при небольшом землетрясении может провалиться вся Москва», — думал я, глядя в пол. Когда я рассказал о своих соображениях Кларине, она ответила, что двигаются литосферные плиты, а давно известно, что Москва на болоте стоит, не жнет и не сеет, а хлебушко имеет. Сколько болотных гадов среди нас. А в болото провалиться город не может, только люди, как известно.

Я кивнул полковнику:

— А могу ли я, если что, обратиться к вам за советом? Только я не знаю, как Вас зовут.

— И не надо. Называй Иван Иванович! Это проще запомнить. Да! Только учти, что постановление о реабилитированных действует только в этом году, до конца декабря. Месяц сроку! Торопись! И правильное заклинание произнеси! — засмеялся он.

— Хорошо! Спасибо! — и я начал прощаться, хотя всем и так уже было не до меня. Только Валя мне улыбнулась женской улыбкой и помахала рукой. Я послал в ответ воздушный поцелуй. Нужны были деньги. Они у меня были, небольшая денежная немецкая литературная премия, которую я отдал на хранение старому другу.

Месяц сроку

Следующее утро началось с визита похмельного Эрика. Он даже к отцу не зашел, а попер сразу в мою комнату, спросив только:

— Баба с дитем дома? А то мне с тобой по-мужски поговорить надо! Хочу все же отца отселить к себе поближе. Толян, конечно, нажрался и лапти откинул, а эта пара молодая не захотела. Женщина думала, что ей удастся тебя отселить, а как увидела, что ты с женой и девчонкой, дочкой то есть, поняла, что им не светит. И отвалила. Но я все равно буду варианты искать... Что скажешь? Ты бы тоже поискал подходящих тебе...

Я кивнул:

— Я об этом думал. Но получил предложение, которое и тебя заинтересует. Ведь комнату в коммуналке, где будет Эрнест Яковлевич, и твою однокомнатную ты сможешь только на двушку обменять. А две однокомнатных запросто на трешку поменяешь. Что лучше?

— А где я вторую однокомнатную достану? Какие-то ты, Вова, сказки рассказываешь! Или пургу несешь.

— Послушай, — возразил я, — у меня информация: власти дают отдельные квартиры безвинно репрессированным. Эрнест живет один, и в коммуналке, значит, может претендовать на однокомнатную квартиру. Сделать это надо быстро. Через месяц срок постановления об этой льготе кончается!

— Чего же ты раньше молчал, гад?!

— Слушай, давай не будем попусту скандалить, не нарывайся!.. Сам должен был знать. И не смей на меня голос повышать!

Его черные волосы нависали над его небольшим, но выпуклом лбом, как козырек кепки. И глаза немаленькие, но с каким-то узким разрезом, какой-то линией, словно проходящей посередине зрачка, глаза, которыми он уставился на меня, напомнили мне глаза гадюки. Бандитские глаза, глаза человека, который может запросто зарезать. *Волкодлак*, одно слово! Хотя алкогольная тяжесть немного снимала злость и остроту взгляда. Подумав минуты две, он начал говорить, довольно тяжело, словно что-то ему мешало:

— Вот что, Вова, не очень я верю нашей власти, ты веришь, дело твое. Может, у тебя и получится. Но не тяни, бл..., а то обижусь и рассержусь. Даю тебе месяц сроку, отец плох, боюсь, дольше не протянет. А то я с тобой буду короткий разговор иметь!

— Не пыли, — ответил я в его тональности. — Больше месяца ни у меня, ни у тебя нет. Постановление действует только до конца декабря. Я постараюсь, насколько могу, все документы собрать, но какие-то придется тебе доставать, ты же сын и фамилия у тебя такая же.

— Нет, ты взялся, ты и делай. А я, если очень надо будет, подключусь.

Он смял зубами папиросу и закурил, сказал покровительственно:

— Давай действуй. Надо ведь еще прописку получить. Срок даю два месяца.

— Хорошо. Сегодня 10 декабря. 10 февраля получишь ордер. Но ты хоть доверенность для меня у отца возьми, что имею право выписки из его бумаг просить.

— Сам и проси у отца. Он тебе не откажет. А я домой поеду, обмю все это дело.

— Нет уж! — я взял его за предплечье и повел к Эрнесту Яковлевичу. На мое удивление никаких мышц под пиджаком Эрика, который с виду был бык, буйвол, я не обнаружил, да и упирался он вяло. Мы вошли в комнату к его отцу, тот полусидел на диване, откинувшись на спинку дивана, надев очень сильные очки, рядом лежала маленькая стопка газет, а в руках он держал книгу рассказов Сигизмунда Кржижановского, тогда еще почти неизвестного. Как он нашел его, что в нем увидел, в этом польском, писавшем на русском Кафке или Борхесе? Я откуда-то (из семейных рассказов) знал, что он был сценаристом двух гениальных, отчасти сюрных, комедийных фильмов — «Праздник святого Йоргена» и «Новый Гулливер». Фильмы я смотрел в детстве и помнил их долго, до сих пор помню. К тому моменту, как я увидел Кржижановского в руках Эрнеста, я уже знал про писателя и философа, не печатавшегося при жизни и умершего в 1950 году, а где могила, так и неизвестно до сих пор. Возможно, писателя этого дали Эрнесту инженеры с военного завода, где он работал как слесарь и токарь, был классный мастер. А в советское время инженеры были главными интеллигентами и читателями полузапретных книг Эрнеста, видимо, считали своим, все же бывший зэк, слесарь-мастер экстра-класса. Увидев сына, который вошел в комнату первым, Эрнест Яковлевич сурово спросил: «Чего надо?» — но увидев меня, улыбнулся мне навстречу. Ко мне он хорошо относился: «Видишь, пытаюсь читать. Все тренировать надо, и глаза тоже. Это твоя Клариночка сказала. А тут интересно, письма про Москву, рассказы такие. Он пишет, что у Москвы как у живого существа есть нечто, что втягивает в себя человека».

«Слушай, отец. Оставь ты эту литературу, и так голова пухнет. У нас тут вопрос, ты мог бы написать для соседа доверенность на получение справок с твоих старых работ, до того, как ты попал в лагерь и на свой последний завод. Эту справку заверим без проблем. Вова заверит. Вова узнал, что ты имеешь право на отдельную однокомнатную квартиру как репрессированный. Но только надо собрать все справки о том, что ты в Москве жил до войны, надо все успеть в этом году».

Похожий на Крючкова, игравшего в старости простых советских рабочих, Эрнест Яковлевич пожевал губами и сказал: «Напишу, а ты заверь в домоуправлении». Сел к столу, вырвал листок из блокнота и написал несколько строк. Протянул мне: «Сходишь?»

Я знал, где наш ЖЭК, сто раз туда ходил, оформляя прописку. А с девушками оттуда я был в милых отношениях, принося то шоколадки, то жвачки, которые набирал за мелкие деньги во время случайных выездов в Европу. Поэтому его доверенность они мне заверили быстро. И я пошел по административным отделам тех заводов, где работал Эрнест, и ЖЭКом тех квартир, где он жил до ареста. Надо было доказать, что он был москвичом, когда его арестовали. Я обежал все его работы, чтобы собрать справки, что с 18 года он работал в Москве. Но в 38 году все оборвалось. С завода в тридцать шестом его отправили в Испанию. Там работал на аэродроме. Вернулся в 38-ом. Сразу отвезли в санаторий, не завозя домой. Месяц отдыхал, под конец отдыха приехали за ним в санаторий и арестовали.

Таскаясь по городу, я выпросил у Эрнеста книжку Кржижановского, с рассказами про Москву, и читал ее дорогой. Бежали дни, приближался конец месяца. Наконец, возник решающий пункт. Я поехал в санаторий, из которого кагебешники увезли Эрнеста на Лубянку. Но там мне сказали, что «после ареста данные о гражданине Даугуле были вычеркнуты из всех книг, да и давно это было, еще до войны; обратитесь в соответствующий отдел ФСБ». Уже вместо КГБ стало ФСБ. Все мои друзья (я вообразил их лица) заиздевались бы надо мной, узнав, что я обратился за помощью в органы.

Нужна была, стало быть, справка из органов. В органы идти сил не было, я позвонил Эрику, который мрачно ответил, что никуда не пойдет, что он занят. Судя по голосу, он пил уже не один день. Оставалось два дня до подачи документов. Кларина как настоящая женщина, которая борется за свое гнездо, вначале уговаривала меня, но время шло. Она сняла трубку и позвонила на Лубянку. И объяснила ситуацию, сказав, что стопор у героя войны из-за ареста. Говорила с напором, голос дрожал, нервничала. Оставалось два дня до пода-

чи документов в жилкомиссию. Молодой голос (представился как старший лейтенант) сказал жене, что подготовит документы через неделю. Кларина твердо сказала, что надо завтра. «Хорошо, — ответил голос. — Мы перед ним виноваты. Поможем. Приезжайте завтра».

У моему удивлению, в органах жену встретили вежливо, лейтенант предложил ей стул, потом стакан чаю, предложил посмотреть бумаги, она пожала плечами, сказала, что полностью им доверяет, и в самом деле все бумаги были готовы, уложены в конверт, на котором была соответствующая печать. Приехала Кларина, довольная, прямо-таки гордая. И я позвонил Инге.

События разворачиваются

— Хорошо, — сказала она, — молодец. Я сейчас же позвоню Лидии Андреевне. Завтра еще 30 декабря, она на службе, все бумаги отвезешь ей, да конверт с печатью из органов сверху положишь. И еще, ты извини, но ты говорил, что в поездках ты немного валюты заработал... Ее надо, не говори мне сколько. Но когда бумаги ей отдашь, спросишь, когда зайти за результатом и сколько.

— Так просто и спросить: сколько?

— Так и спросить. Она понимает все. Наверно, тысячи полторы тебе это обойдется. А результат после старого Нового года. Не раньше.

Я положил трубку и сказал Кларине:

— Завтра бумаги, через месяц результат, и полторы штуки баксов. Кларина вздохнула:

— Но у нас только полторы и есть. А если больше попросит?

— Чего делать? Буду по друзьям и знакомым занимать.

— Да они все такие же бароны без гроша, как и мы.

— У всех понемногу!.. Наберем.

Но уверенности не было, сердце билось неровно, я боялся ехать. Не мог придумать, что отвечать, если попросит больше. Просить подождать?

Утром 30 декабря я позвонил по телефону начальнице и поехал к ней, к Лидии Андреевне. Шоссе и впрямь было без светофоров, вернее, светофоры были — метров пятьсот в одну сторону и пятьсот в другую, но до них добираться было тяжело, а нужный дом стоял

прямо перед тобой и манил, а машины неслись в обе стороны без промежутков, не сбавляя ни на секунду скорости, как по автобану. Своего рода злокозненная преграда, как в волшебных сказках. Дорогу я перебежал удачно, подошел к четырехэтажному серому зданию. И пробормотал, сам про себя усмехаясь своей глупости: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом».

Хотя это была еще та избушка: простенькое снаружи здание внутри было необычным. Ее контора находилась на втором этаже. У тяжелых дверей подъезда стоял вохровец. Я поднялся на площадку второго этажа, там цвел мраморный и малахитовый китч, зелень цветов, шикарная цапля, роскошь лестницы немного пугала, словно входил в замок волшебника, какого-то Карабаса-Барабаса, хотя знал, что ждет меня там женщина-чиновница. По местным масштабам немалая начальница.



Я прошел еще пол-этажа и постучал в дверь. Впустила меня Сама. Полная, с укладкой волос, как в советских фильмах, в сером твидовом костюме, полная блондинка в тяжелых очках. Окно плотно зашторено. Но зато электричество горело ярко. И давало странный красноватый отсвет в ее глазах, который был виден сквозь очки. У стены искусственное дерево вроде не то фикуса, не то дуба, вокруг которого обвился сотворенный из полудрагоценных камней трехглавый Змей Горыныч. Я обходил роскошный кабинет, роскошь была вульгарная, но роскошь. Дубовый стол был покрыт, как положено, зеленым сукном. На нем стояло мраморное пресс-папье, малахитовый зеленый письменный прибор, из малахита же была и круглая карандашница. Такой мощный китч. Лидия Андреевна смотрела прищуренными, почти змеиными глазами, но с доброжелательным, я бы сказал, интересом за моим осмотром, как музейный работник за движением любознательного посетителя. «Нравится?» – спросила она. Я кивнул. Указывая на змея, усмехнулась: «А этот меня защищает от случайных гостей». Я тоже вяло улыбнулся. Повторю: в глазах ее горел красный отсвет. Вроде как у рентгеновского аппарата старой конструкции. Рентген я вспомнил неслучайно.



Я сел на край стула, рассказал о своей ситуации, стараясь правильно выбирать слова, никого не ругая и не обвиняя. Выслушав меня, она еще раз усмехнулась, сказала: «Присядь и выкладывай, что там у тебя. О, до органов дошел, молодец! В конце января приходи, подготовлю бумаги, — это патерналистское тыканье как бы облегчало общение. — Сколько, спрашиваешь? Полторы, не меньше. Нормально».

Я ответил утвердительно, стараясь не выказывать своей радости, про себя поражаясь ее рентгеновскому взгляду. Попросила все, что у нас было. Не меньше, но и не больше. Прямо ведьма или инопланетянка. Насквозь видела. Договорились, что в конце января я ей позвоню и спрошу, когда можно прийти, о наших делах ни слова. Я вышел на замороженных ногах, все случилось, как мы хотели, хотя нечистая сила явно руку приложила. Голова дубела. Разве нечистая сила на нашей стороне?

Короче, я ехал на трамвае домой и читал Кржижановского. «У нас, как у нас. Не Геликоны и не Парнасы, а семью кочками из болот и грязей — древнее московское семихолмье; вместо песен цикад — укусы малярийных комаров; вместо девяти Аонид — тринадцать сестер-трясовиц. Аониды учат мерно пульсирующему, в метр и ритм вдетому стиху; трясовицы знают, как пролихорадить и порвать строку, всегда у них трясушущая, нервно роняющая буквы. Заклятия не берут трясовиц. Они живы. И близко: тут. Встречи с ними опасны. Но всего опаснее — с Глядеей. Глядея умеет одно: *глядеть* и учит только одному: *глядеть*. У людей глазницы не пусты, но глаза в них то пусты, то полны, то видят, то не видят, то рвут лучи, то позволяют им срастаться снова; то опускают веки в сон, то раскрывают их в явь. У Глядеи голые глаза: век нет — оторваны. Некий брезгливый иностранец, посетив Москву еще в двадцатые годы прошлого века, потом жаловался: “В Москве я открыл пятую стихию: грязь”».

И конечно, поразительное наблюдение, что Москва стала каменной благодаря *копеечной свечке*. «С упорством, отнюдь не копеечным, она жгла да жгла Москву из года в год, пока та от нее в камень не спряталась». И поразительная работа архетипа: на пепелище ставились дома на скорую руку, *скородома*, готовые вот-вот развалиться, все равно им гореть. Хрущобы, где живет большинство, строились по такому же принципу. Пусть хоть десяток лет простоят. А что же это за большинство? И об этом Кржижановский написал жестко: «Домики, строенные наскоро в расчете на пять-шесть лет, садились, давали трещины и, покривившись набок, с нетерпением ждали пожара, а он все медлил; и жизнь оказывалась выбитой из колеи, недоуменной и растерянной. Но все умершее недожитком,

до своего срока, и в самой смерти еще как-то ворошится. Отсюда основной парадокс Москвы: ни мертвое здесь до конца *не мертво*, ни живое здесь полно не живо: потому что как и жить ему среди мириад смертей, среди чрезвычайно *беспокойных покойников*, которые, хоть и непробудны, но все как-то ворочаются под своими дерновыми одеялами. Москва — это старая сказка о живой и мертвой воде, рассказанная спутавшим все сказочником: мертвой водой окропило живых, живой — мертвых, и никак им не разобраться — кто жив, кто мертв и кому кого хоронить».

ВОТ ОТСЮДА И НАША НЕЖИТЬ. Хотя, наверно, сейчас существует по другому принципу.

И всяческие философические мысли крутились в голове, мысли о мироустройстве. Хорошо было Данте, была опора на христианские конструкции. Говорят сейчас, что где-то в космической дали ученые нашли «Обитель Бога». А ведь похоже на правду.



Но где «Обитель Зла»? На Земле, под Землей? Под Землей могут жить хтонические существа, которые иногда высылают наружу своих посланцев — ядовитых змей, сколопендр, ядовитых жаб, крокодилов и т.д. А в пещерах, которые змеются под землей, затерянных подземных мирах или в страшных джунглях? А бандиты? Где они скрываются? И как соотносятся с ними обычные обыватели в роде

меня? Как нарисовать картину мира? Я вспомнил картинку Ада из поп-журнала последних лет.



Итак в космических пространствах «Обитель Бога», оттуда приходят, возможно, ангелы и святые. А мы? Пока не в Аду? Хотя все жуткие войны — это же явленный на Земле Ад. Нас он пока не коснулся.

А мы живем среди нежити. В пространстве, где все смешалось и спуталось. Ехал и смотрел в окно. Чувствовал, что нездоровая голова рождает нездоровые мысли и, как леший, затягивает в чашобу. Текла Яуза, мутная, зеленоватая, извиваясь, как змея. Вышел на трамвайной остановке. Там стояла старуха, уже пьяненькая, и обращалась к двум женщинам, очевидно матери и дочери: «И желаю вам, милые, чтоб все у вас было хорошо. И чтоб дочка удачно замуж вышла, и чтоб муж был хороший, и чтоб квартира не меньше двух комнат, и детей чтоб тоже двое, мальчик и девочка. Вы не думайте, что я, оттого что всем добра желаю, какая-нибудь святая. Я обыкновенная, но многие думают, что святая. Может, и вправду. Да мне-то это все равно. Хорошо, конечно, чтоб правда так было. Тогда рядом с Богом бы себе местечко вымолила. И делов-то — всем добра желать! А награда большая». Сама маленькая, сутулая, невымытые волосы в две косички. Вроде мелкой Бабы-Яги... Смеяться или добавить к своему списку бредов? А Лидия Андреевна — большая ведьма?

Вокруг ордера

Пошел через деревья к дому. Мела легкая снежная поэмка. Воздух при этом был ноябрьский, промозглый. Европейское Рождество уже прошло, хотя в России пьют и на католически-протестантское и на православное. Я вспомнил, как 24 декабря бушевал в комнате отца Эрик. Я шел и крутил в голове одну мысль: «Думать о вечности, в которой нет Бога и смысла, — тоска, хандра и ужас. Только присутствие высшей силы успокаивает». В подезде, как часто последнее время бывало, стоял запах прорвавшейся канализации. Слышно было, как в подвале текла вода. Дома меня ждали Кларина с Сашкой, Эрнест и наши тараканы. Кларина была в хандре:

«Как надоело жить в выгребной яме! Опять запах по всей квартире! Словно в общественном сортире! Даже если у тебя все сладится, получится, систему не изменишь! В этом дело».

Надо сказать, я малость разозлился, хотя ее настроение понимал, но столько приложил сил, чтобы решить квартирный вопрос, а тут получается, что мотаюсь зря.

«Хорошо, — сказал я, — видимо, мне надо прекратить все свои попытки. Давай жить, как живем, да еще и с соседями!»

Жена почувствовала, что не ко времени перегнула палку. Подошла ко мне, поцеловала: «Ну прости, просто утомительно жить так». Мы поцеловались, мир не нарушился. Она сказала, что еще и Витек заходил и требовал хозяина. Я наскоро рассказал Кларине, что мы вроде укладываемся финансово в требуемую сумму взятки. Самое интересное, что слово «взятка» мы вслух не произносили. Кларина была довольна, что мы справляемся с проблемой сами, без посторонней помощи. Она позвала меня на кухню (с разрешения Эрнеста Яковлевича мы обедали не в своих комнатах, а на кухне), налила тарелку супа. Мы поели, я выпил непременно чашку кофейного растворимого напитка, настоящего кофе мы давно не видели, и я сказал, что иду к Витьку.

Виктор из мебельного (продавал среди прочего ручки к комоду, краденые, за сто рублей штука) всегда говорил, когда его просили о помощи: «Зайду завтра». И не заходил. Так почти каждый день. Голова с залысинами, ворот рубахи расстегнут, виден болтающийся крестик. Худой, даже тощий, непонятно, на чем держатся штаны. Поэтому к нему всегда ходил я сам. Магазин был в торце нашего дома. Увидев меня, он отмахнулся: «Да не принес я. Я дома не ночевал. У Ольги был. Я уж Стасу говорил, чтоб зашел и тебе сказал.

А я дома так и не был. Там ручки лежат, четыре штуки. Здесь шесть, а там четыре. Сегодня домой поеду. А то я к Ольге попал. Знаешь, как любит? Как швейная машинка. Еле выдерживаю. Вон глянь под рубахой засос прямо под грудью».

У него, как у любого мужичка из простонародья, была склонность называть имена, будто собеседник их знает, а имена придавали как бы правдивость рассказу.

Ему принадлежала классическая формула. Как-то он обещал зайти в десять. Уже двенадцать, его все не было. Я спустился в магазин. Мужики в подсобке, где была и мастерская (комната за торговым залом), склонились над столом и играли в карты. Он тоже. Трогаю его за плечо: «Витя, я же тебя жду». Витек недовольно повернул голову: «Сказано в полвторого, значит, в полвторого». Говорить больше было не о чем. Дома эта фраза стала пословицей. Когда кто из работяг опаздывал, то Кларина пожимала плечами: «Полвторого — так полвторого».

Витек — фигура подвальная, морда простодушная и дикая одновременно, Он же, как-то выклянчивая у меня что-то, делился: «Я на зоне немного был. Два года. Недолго, дядька выручил». Дядькой он гордился, настоящий вор в законе: «двенадцать лет отсидел, его блатные уважают как отца родного. В Москву ему нельзя, так он не стал околачиваться где-то на сотом километре. Деньги были. Когда вышел, то дом трехэтажный себе в Калуге поставил, мебель бархатная, серебро. Вниз еще два этажа. Там всякое оружие собрано. Земли 40 соток, ему хватает. Ограда, охрана вооруженная. Собак нет, да к нему и так мало кто сунется. Внизу два пулемета, маленькая гаубица! Да я не брешу, гадом ползучим быть! Ей-ей! Стол всегда накрыт, приходи и ешь, что хочешь, пей, что хочешь. Он меня обещал в завещании упомянуть. Хочешь, я для тебя у него гранату попрошу?» — «Зачем мне граната?» — «А вдруг ты попал, когда ни убежать, ни победить. Тогда кольцо сорвал и себе под ноги. И тебе капец, но и им. Так по-мужески, как настоящий пацан. Так прошу?» — «Пожалуй, обойдусь». — «Да ты не бзди, задаром принесу». — «Нет, не надо». — «Зря! Дело говорю!»

Я накинул теплую куртку, надел кепку (все же поземка), прошел провонявший подъезд, завернул за угол и очутился в мебельном.

«Тебе Витек? — спросил директор, стоявший у кассы. — Он в подсобке».

Я прошел насквозь комнату, заставленную образцами мебели для продажи — диваны, шкафы, столы, стулья и тому подобное. Войдя в подсобку, увидел Витька и трех работяг, сидевших за маленьким столиком в окружении разных частей мебельного гарнитура. Пахло

стружками и мебельным лаком. Физиономии у них уже были алкогольно-красные. Около ноги Витька стояла бутылка жигулевского пива. На полу валялись гвозди и шурупы. Когда я вошел, он как раз поднял ее и припал к горлышку. Я похлопал его по плечу.

– Слушай, тебе жена деньги отдала, а ты обещал наши законные две ручки к дверям. Мы ведь их оплатили.

– Не бзди, – ответил этот субъект. – Сейчас отдам. Я ведь заходил к тебе, деньги забрал.

– Вот именно, поэтому я к тебе и пришел.

Витек встал, подошел к высокой стойке, порывлся в коробке, стоявшей на ней и извлек две ручки. Протянул мне:

– Держи. А что там был в твоей квартире за мужик, черноволосый, волосы как кепка? Вроде му..к или сука. Баба-то у тебя нормальная, а этот мне отхамил. Но я до него доберусь, бля буду! Доберусь и порежу на х...р!

– Это сын нашего соседа, Эрнеста Яковлевича. Только учти, за ним крутые могут быть. Он племянник двух известных налетчиков, их убили менты во время войны.

– Ладно, мое дело. Их уже нет. А дядька мой хозяин, выручит, если что. Ну, ты иди, не мешай, я тут с ребятами, как видишь.

В этот момент кто-то вошел в подсобку и тронул меня а плечо:

– Вован! Ты еще здесь? Меня твоя Кларина послала. А то она тебя потеряла: ушел минут на пятнадцать, а уже час не приходишь. И еще без плаща.

Я давно замечал, что в компании алкоголиков или вообще выпивающих мужиков время закатывается в никуда, часы проходят незаметно. Но кто за мной зашел? Я обернулся: за плечо меня держал мой дворовый знакомец Адик, в хорошем сером демисезонном дорогом пальто, расстегнутом на все пуговицы, под ним был серый дорогой костюм. Пахло от него каким-то заморским питьем. Я сделал вид, что пытаюсь по запаху определить, что они пили.

– Кубинский ром, ничего другого приличного в нашей гребаной столице не найдешь. А то Эрик пьет такое!.. Я с ним раньше тоже это пил, теперь – нет.

Он полуобнял меня за плечи и повел к выходу. Мы вышли на улицу, и неожиданно от странной смеси, висевшей в воздухе, – снежной поземки, мелких луж с запахом мокрого асфальта, выхлопных газов, кубинского рома из нутра Адика, остатков мебельного лака, которым только что дышали, – меня замутило так, что я остановился. Адик понял, что мне не очень, взял под руку, повел к подъезду, заговаривая зубы, отвлекая глупостями от дурноты:

— А ты прежних наших девочек не навещаешь? Помнишь Таньку из домика рядом с нашим? Ты еще с ней дружил, а я трахал. Она уже замужем побывала, но разошлась. Танька тебя вспоминает, я ведь ее иногда по-прежнему потрахиваю. Эти лягушки-простушки очень привязчивы. Ведь лягушки давно уже не царевны.

— А ведь были царевнами, — сказал я тихо.

Адик потряс своим толстым жабым задом и хихикнул:

— Помнишь анекдот? *«Сиди и не квакай!»* — так иногда Иван-царевич напоминал жене о ее прошлом. Народ тоже не видит в лягушках царевен.

Мы подошли к моему подъезду. Там уже опять стояла аварийка. Канализационный люк был открыт, из машины в люк спускался брезентовый толстый рукав, слышалось чавканье отсасываемого дерьма. Погода была мерзопакостная, почему-то промозглая. Меня снова замутило. А Адик вдруг сказал:

— Не пойду я к Эрику, что-то устал от него. Танюшку вспомнил, заговорил о ней и потянуло к ее мягким сисечкам. Хочешь, к тебе ее отправлю, ну не домой, понимаю, жена там, а у меня можете повалиться, она-то с охотой к тебе присосется. Пойдешь? Не сейчас, конечно. Через пару дней или когда решишься.

— Созвонимся, — неопределенным тоном сказал я.

Площадку перед домом, где стояли качели, покрыл снежок. В большой голубятне в углу двора сидели нахохлившиеся голуби. Голубятню в свое время, еще школьником, построил сосед с седьмого этажа, как раз под нашей квартирой. Он был двухметровый, тощий и всегда пьяный. Жил с маленькой женой, достававшей ему до подмышки, и толстой дочкой, ходили к нему алкаши. Как-то он заработал неясно как, но заработал деньги и купил легковушку, «Жигули». Даже остепенился на месяц. С гордой физиономией возил на машине жену и дочку. Потом он разбил машину и запил снова. Время от времени он таскался по квартирам, занимая деньги на опохмел. Вид был страшный, лицо преступника. А потом исчез, мы не знали куда, пока не приехал похоронный автобус. Как выяснилось, его убили монтировкой по пьяному делу. Все это произошло в течение нескольких месяцев с того момента, как мы туда переехали. Жизнь на краю могилы.

В подъезде запах дерма стал насыщенно густым. Я вошел в лифт. В лифте тоже пахло, довольно противно. Я вошел в квартиру, в прихожую. Из двери Эрнеста Яковлевича доносилось ворчание Эрика. Услышав хлопок входной двери, он вышел и, глядя на меня исподлобья немигающими глазами, как дракон из сказки, протянул мне

руку. Я пожал руку и пробормотал, что Адик ушел домой. Эрик отмахнулся приблизил свое лицо к моему:

– Да ср...ть я хотел на Адика. Срок-то проходит... Что с документами? Собрал?

– А ты что делал? Я-то собирал и собрал, а ты хоть пальцем пошевелил? – вдруг выкрикнул я зло.

Мы прошли в мою комнату (я не хотел тревожить Кларину). На улице пару раз громыхнул канализационный люк. Я продолжил:

– Все документы я отдал, в конце января будет ордер, так что в начале февраля сможешь въехать и начать обмен. Трехкомнатная тебе гарантирована: две однокомнатные стоят как раз трехкомнатной.

Он икнул. И потянулся обнять меня. Я похлопал его по спине.

– Сколько тебе это стоит? – вдруг сообразил он.

– Это мое дело. Я это взял на себя, я это выполнил. А ты позови электрика и сними счетчики с каждой двери и поставь общий на всю квартиру.

– После ордера, – мрачно ответил Эрик. – Я не сумасшедший, чтобы что-то делать вперед. А после ордера и счетчики уберу, и в коридоре линолеум сниму, и пол отциклюю.

Он вышел, а я позвонил Инге и рассказал о своем визите к Лидии Андреевне.

«Хорошо, – сказала она, – все будет в порядке. Не сомневайся».

* * *

В январе, в конце двадцатых чисел, я, как мне и было сказано, набрал номер хозяйки мраморной лестницы. «Приходи завтра к трем», – почему-то тихо произнесла она. Но голос был приветливый. Хотя деньги я приготовил, но все время боялся облома. Русский человек настолько чувствует себя беспомощным перед начальством, что старается избегать по возможности общения с ним (если не приперло). Ну а те, кто лезут во власть – о них говорить не буду. Эти уверены в своем праве делать с другими то, что они захотят или то, что нужно. А мы как бы нежить... Вот ведь – не могу понять, как правильно употреблять это слово!

Короче, я поехал к нужному дому и к нужному часу. Я надел костюм, под пиджак свитер, куртка моя была не очень теплой, а снег уже всюду лежал как следует. Да и мело, видно было, как летал за окнами снег. Была странная погода, ветер, снег, но снег мокрый. Конверт с деньгами я положил во внутренний карман пиджака. Никогда еще в жизни я не держал в руках сразу такой суммы. Поэтому старательно делал вид, что просто фланирую по городу. Если честно, то

я побаивался. Было начало девяностых, теперь эти годы называют «лихими». Но поскольку денег у нас не было, мы ничего не боялись. Только в этот раз я чувствовал себя как горе-бизнесмен, которого в любой момент могут прибить, а деньги отобрать. Да еще «контрольный поцелуй в лобик», как мы шутили по-дурацки. А вдруг хозяйка московских жилищ договорилась с какими-либо бандюками, чтобы получить деньги просто так, не давая товар. Но тут же подумал, что вряд ли. А то клиентов лишится.

Я перебежал шоссе в момент маленького просвета в движении. И как и прошлый раз остался цел. Пробормотал: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом» и вошел в дом и поднялся быстро на второй этаж. Она меня уже ждала. Окно все так же было плотно зашторено. А глаза ее все так же светились каким-то красноватым светом, непонятно откуда идущим.

— Принес?

Я кивнул. Она открыла ящик письменного стола. Мне показалось, что трехголовый змей с любопытством смотрит в ее ящик. А потом уставился на меня. Лидия Андреевна достала прозрачную папку, в которой лежал ордер.

— Посмотри сначала. Посмотрел? Покажи теперь, в чем принес. — Я показал толстый конверт. — А теперь подойди к шкафу, открой дверцу верхней полки и положи туда.

— Пересчитывать не будете?

Она приложила палец к губам:

— Тсс!.. Бери ордер и шагай. Только учти, что в квартире самозахват. Кто-то из РЭУ узнал про пустую квартиру и въехал. Но пусть твой сосед предъявит ордер, тот гад тут же испарится. Кажется, армянин из приезжих. Действуй.

Она скосила глаза на шкаф, в который я положил конверт. Но никакого движения в ту сторону не сделала. Мол, абсолютно доверяю.

Пораженный такой широтой души, я улынулся в ответ как мог благодарнее и вдруг заметил за ее спиной на стене картину, изображающую какую-то фольклорную женщину — не то русалку, не то духа дерева.

Правда, вспомнил тут же Пушкина:

Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.

Но это все же была не русалка, но кто-то из древесных волшебниц. Волшебниц, которым подвластен весь низший мир.

«Это Навка», — пояснила хозяйка.



Чем-то неувовимо эта Навка напоминала хозяйку кабинета. Только в молодости. Хотя девушка из дерева скорее всего хапугой не была. Я растерянно вышел, спустился по мраморной лестнице мимо цапель, сел в трамвай и поехал домой, где молча, но с торжеством показал жене ордер.

Она тихо поцеловала меня в щеку. Кажется, мечты об отдельной квартире обретали вполне реальные черты.

«Эрик дома?» – спросил я Кларину.

Я не мог стереть с лица самодовольную улыбку. Все же мама зря за меня боялась. Когда я женился на Кларине и оставил семейную квартиру первой жене и сыну (родители уже давно переехали в кооператив, оставив мне квартиру, полученную еще дедом-профессором), тревожная мама говорила многажды, что я совершаю непростительную ошибку, что у нас в стране человек без своего жилья очень быстро становится никем, почти нежитью. А я выбрался из

коммуналки! Сегодняшний ордер — это событие, подтверждающее мою правоту, что не побоялся уйти в никуда ради любимой женщины. Это вроде золотого ключика, который черепаха Тортилла дала Буратино.

— Эрика нет, — ответила жена. — Ты передохни, пойдем пообедаем, покормлю тебя. Мы с Сашкой уже поели. Прости, тебя не дождалась. Но уж больно она канючила, что есть хочет, все себя по пузу гладила и причитала, что животиночка у нее совсем пустая.

Я согласно кивнул, но вначале зашел в свой кабинет — спрятать ордер в стол. Подошел к стене, посмотрел на фотографию деда. И тут с горечью подумал, что фотографии родителей нет, что ее куда-то засунул младший брат, так фото и пропало. Я посмотрел мельком на фотографию деда, он вроде смотрел не хмуро, как всегда, взгляд просветлел и был ободряющ. И тут я услышал, как открывается входная дверь и услышал голос Эрика. Я словно притягивал этого ведьмака.

Самозахват и его автор

Эрик из коридора сразу прошел к Эрнесту — проведать отца. Я следом, зажав в руке ордер. И сказал в его тональности:

— Наливай! Вот ордер! Дальше твоя работа. Я свою выполнил с опережением графика. Ты все занят был, — съязвил я. — Но теперь уж, будь любезен, действуй.

— А что делать?

— Там какой-то самозахват квартиры. Говорят, мужик из РЭУ. Но у тебя реальный ордер, так что можешь самозахватчика гнать в шею. Сумеешь? — спросил я, вдруг засомневавшись. — Ты же крупный мужик.

Эрик вдруг преобразился, лицо его стало абсолютно бандитским, как бандитов изображают в кино. Он выдохнул:

— Да я ему горло вырву, пусть попробует остаться! Ты не сомневайся!

Он налил три рюмки:

— За удачу! Все отец, скоро перевезу тебя на твою квартиру! А там посмотрим!

— Чего смотреть-то? — сказал Эрнест Яковлевич. — Наконец, поживу себе хозяином. До магазина дойти могу и сварить себе, что надо, тоже могу.

За окном вдруг повалили обильные мягкие снежинки. Совсем рождественские, хотя стоял уже конец января. Окно было приоткрыто. Сквозь окно были видны забелевшие крыши, пахло каким-то радостно-праздничным воздухом. Эрик выпил еще рюмку и, сжав мое плечо, словно пытался найти в этом пожатии поддержку, сказал:

– Ну, я пошел!».

Последний жест вдруг выдал его неуверенность, что мне не понравилось. Но все же он пошел. Эрнест Яковлевич вдруг покачал головой:

«Это от своих дядьев научился на себя понт напускать. А так ничего не может, только нарывается, столько раз по морде получал. Зря ты его отправил. Лучше сам бы сходил. Надежнее было бы».

Но я решил, что и так набегался по этим делам достаточно. И самое главное сделал. А главное, празднично-рождественская погода за окном шептала о необходимости расслабиться и отдохнуть. И с Клариной и Сашкой давно время не проводил.

«Нет, – сказал я. – Пойду лучше с женой и дочкой на улицу. Погуляем».

Мы брели по бульвару, на который уже навалил тающий снег. Неожиданно потеплело, и на асфальте, под которым проходили подземные коммуникации, появились лужи. Сашка бежала впереди, загребая мокрый снег ботиками, иногда останавливалась, наклонялась, лепила снежок, кидала его в родителей и со смехом бежала дальше. Мы улыбались, счастливые и довольные. Больше Сашка не спросит: «Мама, где мы зиму-то зимовать будем?» И все будет хорошо. Бульвар шел за трамвайной линией, между линиями электропередач. Деревьев было немного, но они все же создавали ощущение бульвара. Кстати, квартира, на которую получил ордер Эрнест Яковлевич, находилась с той стороны бульвара. И вдруг оттуда появился Эрик. Огромный, нелепый, с опущенными к земле глазами, он вызвал у меня ощущение постигшей его неудачи. Хотя что могло быть? Все козыри на руках!..

Он подошел, стараясь не глядеть в глаза ни мне, ни Кларине.

Подошла Сашка:

– Ну, вы получили квартиру для дедушки Эрнеста? Ведь папа все бумаги собрал.

Откуда она знала это? Вроде при ней мы об этом не говорили... Но дети наблюдательны. Эрик пожал плечами.

– Там какой-то армяшка. Маленький, щуплый, но задорный. Я ему сказал, что у меня ордер на отца занять эту квартиру, чтоб он съезжал к такой-то матери!.. Он аж съежился. Съедет!..

Но выглядел он не очень уверенно.

— Он что, ничего не сказал? Не может быть!

— Ну сказал... Сказал, что будет консультироваться с кем-то...

— С кем? И хоть как его зовут, ты узнал? Это важно.

— Не понял я ни х...ра. Какой-то Мушегян, вроде Вагэ. Ты с ним сам разбирайся.

— Ты видел в квартире телефон?

— Нет. Ни х...ра там нет!

— Понятно, — сказал я мрачно. — Пойдемте домой, девочки.

* * *

Дальше начался неожиданно криминально-плутовской роман среди вони и болот.

В подъезде как обычно пахло текущей канализацией, вонь проникла на все этажи. В лифте запах был густым, и, сопровождаемые им, мы вошли в квартиру. На пороге нас встретил Эрнест Яковлевич, который взял меня за плечо:

— Погоди, тебе звонила какая-то женщина и плакала. Будет еще звонить.

— Хорошо, но мы сначала пальто снимем и переоденемся. А потом я к вам зайду, и вы расскажете, чего она хотела.

Через десять минут я уже сидел за столом Эрнеста. Он налил мне в большую чашку чаю, сам прихлебывая из своей.

— Она плакала, сморкалась, называла тебя Вовкой, говорила, что ты ее, наверно, не помнишь, что вы были соседями по двору в детстве. А потом вдруг захныкала, что звонит из кабинета лейтенанта милиции, что ее обвиняют в убийстве какого-то Адика, что ты его знаешь... Стой! А это не тот ли Адик, что сюда приходил?

— Возможно, — напряженно ответил я, пытаюсь понять, что за соседка по двору. И при чем здесь Адик. И вдруг холод пошел по спине: я сообразил. Это же Танька, которую Адик назвал прошлый раз «лягушка-простушка». И спросил: — А в каком она отделении милиции не сказала?

— Вроде что-то про улицу Костякова говорила.

Благородная женщина Кларина ни словом не возразила. Только спросила:

— Тебе это нужно?

Я ответил почти цинично:

— Хочу кино до конца досмотреть.

И я уехал, нашел милицию, в отделении после несложных переговоров с представителями закона узнал, где они держат молодую

женщину. С сержантом пухлолицым, с моргунчиком, который сидел у дверей КПЗ, то есть комнаты для заключенных, договорился быстро, дав ему несколько десятков. И вошел в комнату.

Там в углу на стуле сидела взлохмаченная, с бледным побитым лицом, мокрыми мутными глазами шатенка, платье на груди и подол были измяты, она вдруг с восторгом узнавания поглядела на меня. И зашептала:

— Как ты догадался, что это я тебе звонила? Это же я, Танька. Это моя любовь тебя нашла. Я тебя все эти годы любила. С самого детства. И замуж ходила, и Адик меня имел тогда, а я все о тебе думала. И сейчас, когда он меня заставлял, я ему давала, потому что он иногда о тебе рассказывал. Он говорил, что вы приятелями так и остались. Он мне и телефон твой дал. Сказал, что ты меня тоже помнишь. Говорил, что если очень захочу, то могу тебе позвонить и ты меня приласкаешь. А вчера разошелся, влил в меня стакан рома, знал, что под градусом я отзывчивее, и трахал меня прямо при брате моем Борисе, разными способами, а Борис у меня лежит, разбитый от алкоголизма параличом, все видит и понимает, но ходить не может. Адик ему деньги каждый раз дает, чтоб не возникал. Борис меня жалеет, но поделаться ничего не может, — она говорила так откровенно такие жуткие подробности, что спина у меня заглохла. — Адик трахал меня и пил, пил и трахал, и под утро прямо у меня уснул. А с утра поволок меня в Тимирязевский парк, помнишь, там такой Олений пруд есть. Никогда не замерзающий. Вы там с Кириллом Тимофеевым головастики ловили. Ты мне рассказывал, я помню. Так вот туда меня и потащил. Чего ему в голову взбрело, только там поняла.

А я вспомнил, как Адик со своим жабьим подрагивающим задом подучил других ребят со двора и пугал меня в лесу кровью в дупле, а они поддерживали и делали вид, что тоже пугаются.

— Чего? — хрипло спросил я, живо вообразив Тимирязевский парк сейчас.

— Там люди были, а он заставил меня на колени встать и ему мигнет делать. А потом содрал с меня пальто, трусы и ботики и затащил в пруд, там, где мелко, и все приговаривал и все приговаривал, «Ну, лягушонка, сейчас тебя жабий король как следует отымеет. Мы, жабы, обычно в воде трахаемся». На колени прямо в воду раком поставил, сам в воду вошел, брюки снял, на берег бросил, попой к народу повернул и показывал всем, как он меня... да еще вслух комментировал, как он это делает, называя лягушкой. Заставил полягушачьи прыгать. Потом подтянул к пню на берегу, засунул мою голову между корнями, ляжки раздвинул и принялся собравшимся меня показывать и издеваться надо мной. Хоть озеро и не замерза-

ет, но ноги мои в воде замерзли. Тогда — я не знаю, как это я сумела, — я вывернула руки назад, ухватила его за затылок и швырнула головой о пенёк. Потом встала, схватила его за его член, затащила его в воду, а там его голова попала под корягу, и он начал захлебываться. Я же не хотела его топить. Стала кричать и его из-под коряги тащить. А все надо мной смеются и не помогают. Он воду хлебает, кричать не может, а потом перестал дергаться, замер.



Она заплакала.

— Приехали скорая и милиция. Его в простыню и увезли, а меня менты забрали.

Не зная, что сказать, я погладил ее по волосам.

— Я поговорю с лейтенантом. Тебя должны выпустить.

— Не сомневаюсь, лейтенант меня уже щупал, — она смотрела какими-то тоскливыми, опустошенными глазами. Глазами не проститутки, а женщины, попавшей в жизненный капкан. В капкан, который немного разжимался, когда она раздвигала ноги. — Ты не смотри на меня так. На самом деле я тебя всю жизнь хочу. Если не возражаешь, то можем сейчас, прямо здесь. Дай сержанту еще денег, он дверь посторожит.

— Не надо, — сказал я мягко, но тоном, который не допускал возражений. — Ты и так натерпелась.

– Не от тебя же.

– И все-таки. Хоть в твоём сознании, в твоей памяти я тоже существовал в эти твои плохие моменты, значит, виноват.

Она вдруг улыбнулась злой и жалкой улыбкой одновременно:

– Почему плохие? А может, мне это нравилось. Только я все время о тебе думала, поэтому они и не были плохими, или – не совсем плохими. Я воображала, что это ты меня берешь.

Она вдруг схватила мою руку, прижала к губам, а потом к груди.

Должен покаяться, я не устоял. Видимо, и я давно ее хотел, а ее эротический, хотя и грязноватый, рассказ возбудил меня. Разложив ее на полу, я вошел в нее. Это и вправду было чудесно, словно специально для меня приготовленный ужин. Мужчины все же в момент сексуального возбуждения забывают обо всех нравственных нормах. И я был нисколько не лучше остальных, а также хуже хороших.

Когда я встал, она лежала, закрыв глаза, и словно прислушивалась к своему телу, к его переживаниям. Потом улыбнулась, а я сказал глупо:

– Будто Адика помянули...

– Конечно, помянули. А я теперь могу его забыть после тебя.

– Хорошо, – сказал я. – Я пойду, домой пора, а до этого мне в РЭУ надо заглянуть.

– Иди, – она села, одернула платье, чтобы прикрыть голые бедра и колени. – Все же мы полюбили друг друга. Полюбили и простились.

Я вышел, дал моргающему сержанту еще денег и покинул помещение. Мне было совсем не по себе. Повел себя на самом деле не лучше, чем Адик. Даже хуже. Ведь Кларину-то я и в самом деле люблю. Почему время от времени меня несет к чужим кискам? При чем значения я этим связям не придаю, поскольку любви нет. Так ее и у Адика не было. Я похолодел от ужаса и ненависти к себе. Все мы, живущие так, вне любви, просто-напросто нежить. Вот объяснение этого слова. Не кто-то другой, а ты сам. Ведь жизнь все же в любви, а не в сексе. Но стоит ли жить, если ты нежить? Вспомнил вдруг толстовского «Отца Сергия», который не устоял против похотливой девчонки. А потом трудом пытался заглазить свою вину перед Богом. Такие туповатые мысли крутились у меня в голове по дороге к РЭУ.

И все же если не жизнь, то существование продолжалось. И за него надо было бороться. Поскольку тем самым устраивал жизнь жене и дочке. И снова маленькое открытие. Очевидно, у женщин есть какое-то свое особое чутье на мужчину. Особенно на мужчину, только что имевшего женщину. Он притягивает их и волнует. Это я вдруг почувствовал в РЭУ, где работали вроде бы одни женщины.

Я спросил, могу ли я видеть Мушегыана. Мне ответили, что он взял отгул на три дня.

Я повернулся и пошел к выходу, пробормотав: «Жаль!»

– Мужчина! – вдруг окликнула меня милая кучерявая блондинка. – Подождите минуту. Может, Вам телефон его нужен?

– Люся! – крикнула ее товарка. – Ведь нельзя такое делать без разрешения.

– Но если человеку надо его найти!

У меня вертелось на языке, что у Мушегыана нет телефона, но я благоразумно промолчал, ожидая номер. И я номер получил.

– Спасибо, – улыбнулся я ей ласкающе-смущенной улыбкой, которая, как я знал, нравится женщинам.

Надо было идти домой. Настроение было подавленное, как всегда бывало еще в прошлом браке, когда возвращался от другой женщины сексуально опустошенным. Было еще опасение, что жена поймет, что произошло, поскольку ощущал себя пропитанным этим чужим запахом. И старый отработанный прием – заговорить зубы. А рассказать на сей раз было что. И Адик, и телефон Мушегыана...

Так я и сделал, начав свою речь прямо в коридоре:

– Все-таки я не зря съездил. Ты помнишь Адика, он, конечно, был негодяй, но теперь он мертв. Эта женщина, что мне звонила, подруга моего детства, девочка с нашего двора. Он завел ее в лес, ну, в Тимирязевский парк, на берег Оленьего озера, там изнасиловал жестоко, а она его за это утопила. Точнее, не утопила, а толкнула его в озеро, где он зацепился за корягу и захлебнулся. А ее в милицию забрали.

– Прямо детектив какой-то. И ты, конечно, поверил! Это она все тебе успела рассказать в милиции? Долго рассказывала?..

– Кларина, ты что, злишься или ревнуешь?

– Нет, слушаю тебя. Ты должен как-то семье этого Адика помочь?

Неожиданно на наши голоса, шаркая тапками, вышел из своей комнаты Эрнест Яковлевич и погрозил мне пальцем:

– Правильно, вначале надо Клариночке все рассказать. Ну и мне тоже, все же я тебе дал наводку на ту ю женщину.

– Да история не очень приятная. Вы же вспомнили сами этого Адика. Утоп он в озере в Тимирязевском парке.

– Ну ладно, – сказал спокойно старик, – знать, судьба ему была такая – в воде смерть принять.

И он спокойно вернулся в свою комнату.

Кларина сказала: «В этом возрасте такие известия можно только до галстука допускать. Но он прав, пойдем в твой кабинет. Там поговорим, а то шумим слишком. Сашка уже спит».

Эрнест, конечно, разрядил обстановку. Да и как-то так получилось, что все, что у меня случилось с Танькой, ушло в дальнюю область памяти. Было, но очень давно, не упомнишь. Сейчас главное — наша с Клариной и Сашкой квартира. Я сел за свой письменный стол, включил настольную лампу, зная, что Кларина все равно выключит верхний свет, она не любила ярких ламп. Кларина села на диван и спросила:

— А еще какие новости, кроме сексуальной смерти этого подонка Адика?

— Почему подонка?

— Потому. Ты и сам знаешь. Я его никогда не любила. Это ведь он тебя в Тимирязевском лесу кровью запугивал? Я твой рассказ помню. Помню, что думала, попадись он мне тогда, я бы его собственноручно прибила. Чего ты с ним опять стал общаться — не понимаю. Но зло рано или поздно получает свою плату — смерть.

— Ты жестокая женщина.

— Нет, справедливая. Я не еврейка, тем более не иудейка, но все же — око за око, это правильно, так и надо. Но что с нашей квартирой, с этим армянином? Или ты только своей подругой детства интересовался? Понимаю, ее обидели. Но, наверно, не случайно он именно ее стал на этом озерце насиловать! Ладно, ладно. Не красней. У тебя тоже рыло в пуху, ну, не в этом случае, так в других. Но я тебя люблю, я твоя жена и не могу на тебя сердиться. Все равно ты мой. У нас семья. Я не хочу ее разрушить.

Я перевел дыхание, но не подал виду, что ждал неприятного разговора. И сразу перешел к телефону Мушегяна. Рассказал, что в РЭУ мне дали его телефон, но пока я не звонил, поскольку, как знаю, в квартире, которую он захватил, телефона нет. Пока не звонил, хочу-де зайти для начала в прокуратору, благо, что она на первом этаже нашего дома. Зайду завтра с утра.

Переговоры

Ик 10 часам утра я уже был у дежурного, заместителя прокурора, который меня принял. Вспоминая сейчас этот разговор, не знаю, чему больше поражаться, своей ли неопытностью или его цинизму. Заместитель сидел за столом, застеленным зеленым сукном, у него было хрящеватое лицо, а также совершенно явный паралич лицевого нерва, перекосивший его рот. Но плечи широкие, лицо чистое,

волосы каштановые и промытые, лежали прядями на голове. Глаза глядели добродушно, и я ему доверился. И рассказал, что мой сосед, бывший репрессированный, получил по новому закону право на отдельную жилплощадь, и получил ордер на однокомнатную квартиру, но не может туда переехать, поскольку там живет мужик, самозахватом взявший это жилье и не желающий съезжать.

— Это правда? — улыбнулся заместитель половиной кривого рта.

— Ну разумеется.

— И кто это может доказать?

— Ордер! — ответил я торжествующе.

— Чтобы начать дело, — почти ласково сказал мне криворотый, — этого явно недостаточно. Должны быть бумаги не только от обвинителя, но и от ответчика. Пусть даст бумагу, что он незаконно проживает на этой жилплощади и заверит свою подпись, ну хотя бы в РЭУ.

Я подумал, что это явная издевка. Но почему? Может, он чего-то не понял...

— Кто же в здравом уме сам на себя напишет донос? — воскликнул я.

— Это не донос, а констатация факта. Мы должны это иметь, — возразил прокурорский работник. — Тогда дадим ход делу. А уж как вы достанете эту бумагу, это ваше дело.

— Но это же невозможно!

— Раз невозможно, то и говорить не о чем. Будьте здоровы!

Я вышел, изрядно униженный, чувствуя свою полную беспомощность. Поднялся на свой восьмой этаж. Жены и дочери дома не было. Эрнест Яковлевич, знавший, куда я ходил, вышел в коридор и вопросительно посмотрел на меня. Ему тоже было не сладко. Эрик, не сумев справиться с захватчиком Мушегяном, запил и к отцу не приходил. Меня ему больше упрекнуть было не в чем, а сам он ничего не умел делать, только пить да смотреть злобно. А отец его уже сложил вещи, комната была заставлена узлами и чемоданами. Только постель он не тронул. Надо же было где-то спать. А мы тем временем сняли электросчетчики у каждой двери, оставив только общий, сказав Эрнесту, чтобы он не волновался, что мы будем платить за все электричество.

Его вопросительный взгляд был поэтому понятен. Но вместо рассказа об унижительном визите, я сказал, что возьму телефон к себе в комнату (он был на длинном шнуре), мол, надо позвонить. Я сел за стол, поставил рядом телефон, так чувствовал себя официальнее, и набрал номер Мушегяна. Я вспомнил полковника ФСБ на вечере у Иры и решил, что в это-то и надо сыграть. Трубку снял мужчина.

– Вагэ Абгарович? – официальным тоном спросил я.

– Нет. Это его сын, Гурген.

Голос и вправду был молодой. Я сказал еще строже:

– Позовите, пожалуйста, отца, у нас к нему серьезный разговор. Его делом заинтересовалось ФСБ.

– Каким делом? – с акцентом выкрикнул юноша. – Я ничего не знаю. За что его? Я сейчас сестру позову! Она здесь давно живет, а он только приехал. Нарине! – крикнул он.

Раздался женский голос:

– Здравствуйте, с кем я говорю? Я дочка Вагэ Абгаровича! А вы кто?

Я очень сухо ответил:

– С вами говорит полковник ФСБ. Меня зовут Владислав Степанович. У нас есть вопросы к вашему отцу.

– Не поняла, – почти с визгом ответила она. – А у полковника есть фамилия?

– Да, да, извините, не представился полностью, хотя надобности в этом особой не вижу. Но пожалуйста: Сырокомля Владислав Степанович. Но вернемся к вашему отцу.

– А что к нему возвращаться? Что он сделал плохого? Он очень хороший человек, чтоб вы знали!

– Возможно, вы правы, но он занимает незаконно чужую квартиру. Как сотрудник РЭУ, он узнал, что есть пустующая квартира и преступно захватил ее. Тем временем, ее получил по закону бывший заключенный ГУЛАГа. Мы виноваты перед этими людьми и теперь искупаем вину, стараемся решать их нужды.

Я сидел, чувствуя себя немного идиотом.

А она продолжала кричать:

– Вам бы лучше разобраться с тем, что творится в РЭУ! Там такие ужасные дела делаются. Их всех можно сразу в тюрьму! А мой отец в этом всем не замешан. Мамой клянусь! Вы бы разобрались как следует, прежде, чем на невинного человека нападать! – кричала она пронзительно.

Надо было продолжать игру в полковника, поэтому я выслушал молча, рассчитывая, что мое молчание заставит ее отвянуть. Она и вправду замолчала. Тогда я сказал очень спокойно:

– Меня не интересуют мелкие жулики. Это дело милиции, можете туда написать. У меня конкретная задача – защитить человека, перед которым наши органы были виноваты. Передайте вашему отцу, чтобы он собирал вещи и покинул квартиру на Маломосковской. Скажите, что звонил полковник ФСБ Сырокомля.

Она шумно вздохнула:

– А вы не могли бы дать ваш телефон, чтобы отец мог с вами связаться?

Этого я категорически не хотел, не домашний же ей давать! И вообще надо быть осторожнее, чтобы они не смогли определить мой номер. И я ответил жестко:

– Мы своих телефонов не даем. Я все вам сказал.

Откинулся на спинку кресла и облегченно закурил. Хотя ничего не решилось.

Еще оставалась одна идея – милиция.

Но прежде надо было обзвонить друзей. Меня распирала ярость и желание как-то вырваться из заколдованного круга. А без друзей это не сделать. Я придумал, что мы придем к Мушегяну – человек пять – как спецназ. И выкинем его к чертовой матери. Кого звать, кого можно назвать близким другом, что не испугается не очень законных действий? Все уже выросли, в казаки-разбойники давно не играют. И все же три-четыре имени я вспомнил: друг детства Сашка Косицын, архитектор и альпинист, крепкий и здоровый, мы с ним церкви обмеряли в Поветлужье; Женька Трофимов, одноклассник, давший нам с Клариной свою пустую однокомнатную квартиру, первое наше убежище; конечно, Коля Голуб, военный, полковник, де еще и мидовец-китаист; Кирилл Тимофеев, который опекал меня в детстве, а теперь профессор на биофаке МГУ; ну и Эрик, как лицо заинтересованное. И я обзвонил всех, рассказав ситуацию. Все согласились, а Коля Голуб добавил, хмыкнув:

– Я в форме приду. Пуская дрожат.

Теперь – милиция. Туда я и отправился.

Лейтенант смотрел на меня подозрительно:

– Зачем вам наряд милиции?

– Видите ли, в подведомственном вам районе произошло нечто вроде преступления – самозахват жилплощади. Ордер на квартиру получил заслуженный пенсионер, герой испанской войны, а въехать не может, потому что там незаконно живет другой человек.

Он посмотрел на меня напряженно и еще более подозрительно:

– Что ты несешь! Какой еще испанской войны? Что-то я такой войны не знаю. Хватит мне лапшу на уши вешать! Ты думай, что болтаешь!

Я почувствовал, что побледнел от злости:

– Во-первых, прошу мне не тыкать, во-вторых, историю нашей армии и нашей страны надо бы знать!

Он вскочил:

– Ты сюда пришел – меня учить?! Я с тобой и разговаривать не буду! Иди, пока я тебя в обезьянник не посадил.

Воздух загустил от ненависти. Он сел, раскрыл папку и сделал вид, что занят, а мне сказал грубо:

– Не видишь, что ли? Работаю я. Иди отсюда.

Я тоже вспыхнул.

– Тогда я сам с друзьями его выкину!

Он сладко улыбнулся, переходя «на вы»:

– Тогда мы вас арестуем, поскольку вы нарушите неприкосновенность жилища. Это называется насильственным вторжением в чужую квартиру.

Я вышел, хлопнув дверью.

Решающий звонок и последующее

Через несколько дней я поехал в Дом творчества Переделкино (Перельгино, как у Булгакова), хотелось спокойных пару недель для писания. Я совсем немногих знал, и это меня устраивало. Завтрак, обед, ужин, двухчасовая прогулка между писательских дач. И ни с кем не обсуждать свои проблемы. Поскольку ничего кроме сплетен из этого бы не получилось. Но поговорить бы стоило. Через пару дней я случайно услышал, что телефон на первом этаже между дверями имеет прямой выход в Москву. И на третий день я позвонил, будто звоню с Лубянки.

– Мне надо поговорить с гражданином Мушегяном Вагэ Абгаровичем.

– Это я. Что вам от меня нужно? – сказал несколько встревоженный голос.

Я ответил сухо вато:

– Думаю, ваша дочь передавала вам о моем звонке. С вами говорит полковник ФСБ Сырокомля Владислав Степанович. Вы захватили чужую жилплощадь. Теперь должны ее освободить. Иначе мы вас вообще из Москвы выселим.

Голос зазвучал еще тревожнее, даже с ноткой истерики:

– Я в Москве уже сорок семь лет! Кто может меня выселить?!

Тут в моем голосе проснулись неожиданно совершенно ледяные интонации, какие, наверно, звучали в подвалах Лубянки:

– Вы, кажется, не очень понимаете. ФСБ может все.

Голос испугался:

– И что я должен делать?

Ответ мой был по-военному четок:

— Сегодня среда, у вас три дня, чтобы собрать вещи и покинуть квартиру. В субботу она должна быть пуста. Если вы или ваши вещи останутся, то в субботу я пошлю спецназ, и он вас выкинет вместе с вещами. А я подготовлю бумаги о вашем выселении из Москвы. Понятно?

— Понял, — пробормотал Мушегян.

Через день я вернулся домой, как раз раздался телефонный звонок ведьмы из жилотдела, Лидии Андреевны. Она начала со слов:

— Ну ты хват! Где полковника ФСБ надыбал? Мне тут Мушегян звонил, плакался, что ФСБ ему велело убираться из квартиры. Я сказала, что у соседа Эрнеста Даугула, то есть у тебя, важные покровители, чтобы он слушался и съезжал. Обещал. Ну ты хват! Прямо Змей Горыныч!

Тут я вдруг понял, что она находилась в прямом контакте с этим *самозахватом*. Но что ж, у нее свой интерес. Я позвонил Инге. Она, надо сказать, обрадовалась:

— Ну вот видишь, все и разрешилось. Раз Лидия Андреевна сказала, что он съедет, значит, съедет. Так что в выходные можешь Эрнеста перевозить. И квартира твоя!

Склочничать я не стал, не стал говорить о двойной игре жилотдела, сказал:

— Спасибо тебе, без тебя ничего бы не было.

— Какие дела! Мы же свои! Перевезешь, позвони, отметим!

Я пошел к соседу, где среди разобранных досок шкафов, стопок книг, перевязанных веревками корзин с упакованной посудой стоял стол, два стула, на одном сидел *волкодлак* Эрик, угрюмо глядя на меня. Эрнест Яковлевич лежал на диване. Эрик почти прорычал:

— Видишь, как отец живет! Почти в разлухе! Чего стоят твои слова! Типичный говнюк! Порезал бы тебя в прежние времена!

Чувствуя усталость, но и решимость после победы, я взял его за плечо и так сжал, что он побелел от боли:

— Ты что несешь, скотина?! Заказывай машину на субботу! Квартира к субботе освободится. И можешь уже обмен искать — две однокомнатные на трехкомнатную. В трехкомнатной троим легче, чем тебе с женой в однокомнатной. И за отцом твоим присмотр будет. Жена-то присмотрит?

— Куда она денется? А то брошу ее на фуй!

* * *

Короче, в субботу Эрик перевез отца в новую квартиру. Потом долго у нас не появлялся. Мы сделали ремонт в его комнате, по-

клеили обои, поставили книжные полки. Из редакции я забрал еще один списанный письменный стол, огромный, тяжелый, три выдвижных ящика с каждой стороны. А старый отнес в комнату моей ясной Кларины. Я все ждал известия, что Эрнест и жена его сына поменялись, съехались и устраивают новоселье в трехкомнатной квартире. Но длилось молчание, а потом к нам вдруг стал заходить Эрнест Яковлевич, зайдет, пройдет в свою бывшую комнату, ныне мой кабинет, сядет на стул и сидит и молчит. На стене я повесил еще одно фото, победное: как дед с бабушкой, получив в Москве квартиру, поехали отдыхать, кажется, это был Форос, бабка тогда была в силе и при сильных мира сего. А потом она уехала в Испанию, чуть не погибла, деда посадили. Судьба пошла по нисходящей, но она удержалась, витальность была потрясающая, вот уж кого нежитью нельзя было назвать. Кусочек этой жизненности, похоже, она и мне передала.



Хотя и могла не понять советского быта и могла спросить у домработницы, в ответ на ее слова, что муж ее нажрался, как свинья: «Зачем же он так много ест?» Бабушка стояла моего ученого деда, простодушно жила вне мира, куда вернулась. Да, она была другой зверек, не из этих джунглей.

Я тихо расспрашивал Эрнеста, когда они с Лидой, женой Эрика, будут съезжаться. Обычно он отмалчивался, мычал что-то не очень внятное, а в последний раз вдруг заговорил.

– Да не любит Эрик Лидку, – сумрачно ответил старик-сосед, точнее, бывший сосед, – и никогда не любил. Женился на ней, она партийную должность какую-то занимала, квартиру сделала. Эрик ведь без жилья тогда был, его жилье, где он с матерью и дядьями жил; после того, как их арестовали и постреляли, мать умерла, а квартиру опечатали и определили в собственность государства. Вот он и шатался по Москве, на заводе инженером работал, там в подсобке ночевал, иногда то у буфетчицы харчился, то у уборщицы ночевал, у нее там комнатка была. А мужик он видный. Вот Лидка на него и клюнула.

– Да-а, – протянул я. – То есть делать общую трехкомнатную он не хочет? Понятно.

– Понятно? Вот так-то. Я-то сразу не понял. Поверил, что он обо мне старается. Ты не знаешь, а он совсем оборзел, водку жрет почем зря. Баб водит, одну за другой, к Лидке даже не заходит. Разыгрался, как молодой жеребец. И трахает их прямо в комнате, где я сплю. Я устаю от него. Помереть легче. Жалею, что уговорил вас искать мне квартиру, лучше бы я здесь оставался. Клариночка за мной ухаживала, а там я никому не нужен. Дожил бы здесь до смерти, и вы бы без труда эту комнату получили. А так я знаю, сколько ты сил и денег на эту квартиру потратил. А для кого?.. Не для себя, да и не для меня. Для бездельников этих, для моего алкаша и его блядей. Конечно, вы с Клариночкой теперь в отдельной живете. Это вам по заслугам, каждому по делам его. Не сердись за мои слова, ты же понимаешь, что сыну я отказать не мог. Теперь хоть уснуть и не проснуться, ничего другого не хочу.

– Да что вы, Эрнест Яковлевич! – возразил я, хотя понимал, что все так, и ничего не поделаешь.

– Чаю хотите? Я сейчас принесу чашки. Или на кухню пройдем? У нас хороший кекс есть. Пойдемте. Я чайник включу.

Я немного хвастался. У нас появился электрический чайник. Раньше мы ставили кипятить воду для чая в чайнике, который стоял на газовой плите. Эрнест прошел следом за мной на кухню, но садиться не стал:

– Не хочу. Домой поплетусь. Хотя не знаю, смогу ли прилечь. Или Эрик очередную шлюшку на моей постели обрабатывает. Одна на его койке отдыхает, а другую он на моей постели имеет. Противно потом на эти простыни ложиться.

Он повернулся и двинулся к входной двери.

– Я вас провожу немножко. Не возражаете?

Он молча кивнул. Мы вышли, дошли до шоссе. Он махнул рукой:

– Ты иди к себе. Сам дойду.

Через месяц он умер. Эрик был пьян и не позвонил, поэтому на похороны мы не попали. Но о девятом дне сообщил и позвал. И вот на девятый день смерти Эрнеста Яковлевича мы пришли в его однокомнатную квартиру. Мы с Клариной зашли не больше, чем на часок. Гостей не было. Только бывшая подруга отца, то есть Эрнеста Яковлевича, по имени Светка. Эрик в синей нижней рубашке, небритый, в помочах (в подтяжках) сидит на неубранной постели. Дверь нам открыла Тонька, подзаборная любовница Эрика, с которой он при отце трахался, чем и довел его до смерти. Она тоже в затрапезе, очевидно, что без бюстгальтера, волосенки жидкие, коротко стриженные, глаза ласково-фальшивые, как у приبلудной суки (хотя у собаки благодарность еще в глазах), платье замусоленное, коричневое, видно, что тело толстое, старое и потасканное. Ее мы уже как-то видели, с Эриком к отцу приходила. Тогда я и не понял, кто она. Она присела рядом с Эриком, обняла его за плечи, прижавшись грудью к его плечу. Очень не аппетитно. Вдруг вошло нечто новое, молодая гладкая сучка. Тоже коричневое платье. Эрик приветствовал ее взмахом руки, указав на постель рядом с собой. Тонька посмотрела на нее царапающим взглядом, но молчала. На столе две бутылки, одна почти пустая. Эрик подвинул к себе рюмки, начал разливать. Он громко обращался к нам притулившимся пока в углу:

— Молодцы, что пришли. Раздевайтесь, садитесь. Давай выпьем. Отца помянем. Он справный был раньше. Фото? Покажу. Это я сам снимал. Сегодня Тонькин муж приходил. Собаку привел. И сел здесь. Сидит и не уходит. Я с ним драться не могу, позвал Мишку-соседа, он его за шкирман и выкинул.

Тонька (плаксиво):

— А когда домой шел, его еще трое побили. Так он теперь на нас жалуется. А нам на что!

Она гордо смотрел на молодую шалаву, та молчала, глядя в скатерть. Эрик, как турецкий шах или петух, не реагировал на молчаливую борьбу любовниц, но сказал Тоньке:

— Замолчи! Тебя не спрашивают. Я не хотел просто, чтоб он здесь сидел. Я имею право сам по себе выпить? Имею. Моего отца поминуют все же. Лидка не пришла отца проводить. А я с ней двадцать лет прожил. Мне обидно.

Да, вспомнил я, ведь Лидка — это его последняя жена, которую он тут же оставил, как только я выбил для отца однокомнатную квартиру, и Эрик к отцу переселился, чтоб на свободе пить и гулять.

Тонька выкрикнула:

— А ты бы не женился на партийной проститутке! Она тебя от жены и сына увела, хорошую квартиру обещала, а сама только по партийным постелям шастала, да и тебя только в постели использовала».

Бывшая подруга Эрнеста Яковлевича, выпивая рюмку, усмехнулась:

— Вот так и лаются все время. А я племянницу замуж выдала.

Эрик с хамской ухмылкой: «Сдача п... в эксплуатацию, как мы, инженеры, говорим. Муж раскупорит, потом и мы попользуемся! Ха-ха!»

Подруга хлопнула его по губам: «Вот поганый язык. Так бы и отрезала!»

Эрик в ответ ухмыляется длинной усмешкой: «А забыла, как мы вместе на каток ходили и я тебя шупал, а сколько раз ты со мной спала, пока после смерти матери к отцу в койку не залезла».

Бывшая подруга Эрнеста, нервно: «Замолчи ты, козел!»

Эрик: «Что было, то было! Да я и с молодой доцентом-бабой, в институте преподавала, трахался, не чета вам. Чистая была такая. Галиной звали, даже кандидат наук. Своему профессору не давала, а мне — пожалуйста. И вроде мужик ничего, издаля его видел. Я думаю, бабам, что погрязнее, хочется. Да ты, Владимир, нормальный, не чистый и не грязный, нормальный, тебя многие хотят. Вон все наши шалавы, только мигни им...»

Мне стало тоскливо.

— А хочешь, и тебе даст, я ее заинтересовал, что есть богатый профессор с трехкомнатной квартирой, а с женой почти в разводе. Договоримся — зайдет. Хочет свою ракушку, все бабы слизистые, как улитки, поэтому и раковины ищут. Как скажешь!

Тонька тем временем читала молодой шалаве мораль:

— Ты что же за моего мужика ухватилась? У него жена есть, о себе уж умолчу.

— Ну и молчи, что ему со старой дыркой возиться?

— А ты сколько хренов наменяла?

— Сколько-нисколько! Все мои!

— Хрен на хрен менять — только время терять.

Это был ужас! Их много, это большинство!

Воистину прямо по Босху, подумал я: «Сад земных наслаждений». Жить не хочется!

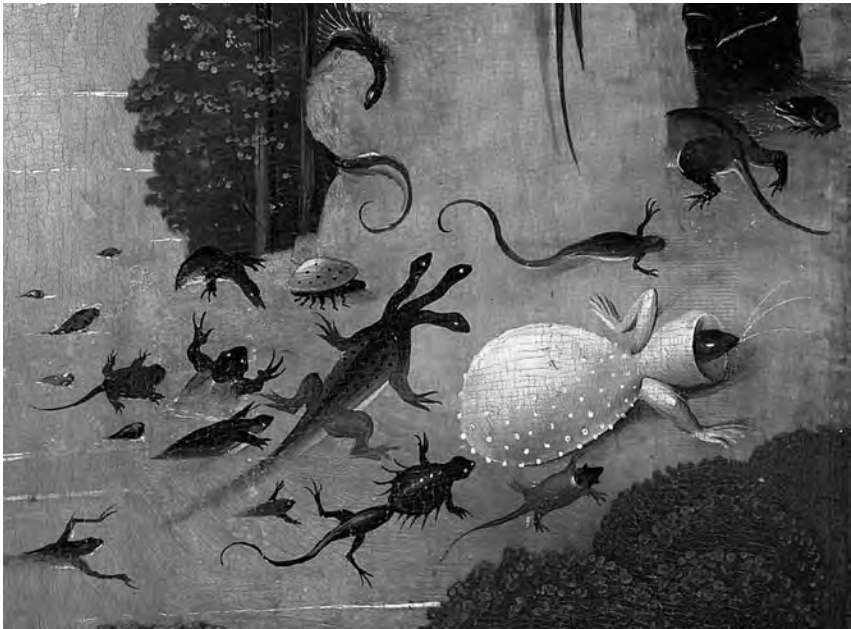
Кларина твердо взяла меня за руку и повела к двери. Мы почти бежали.

Эрика через полгода убили в пьяной драке.

Говорили, что убил мужик из мебельного, вроде бы Витек. Убийца тут же, как говорили, уехал в Калугу к своему дядьке, тамошнему пахану.

* * *

Я лежал в гробу, но при этом понимал, что я не мертвый, хотя и не живой. Никакого света и никакого покоя, похоже, я не заслужил. Во всяком случае никто туда (в свет или покой) меня не влек и даже не звал. Я переживал тот смертный сон, которого боялся Гамлет, и странные, страшные, безобразные сновидения копошились в моем мозгу. Я почему-то пошел на похороны Эрика. Выпил, тяжело было на душе. Жизнь казалась диким сном. Потом, пошатываясь, двинулся домой. Это я помнил. Недавние дождевые лужи, прыгающие по ним лягушки и жабы, и еще какие-то чудища.



Иероним Босх. Сад земных наслаждений

Испугавшись, я отпрянул, затем падение, удар головой об рельс, двухчасовое лежание на асфальте под дождем (кто-то все же отодвинул мою голову в сторону от рельса), потом приезд неотложки, грубые руки, заталкивавшие меня в салон санитарной машины, лежание в голем виде на столе в реанимации, врачи, что-то совавшие в мою рану на голове, переставший показывать работу сердца монитор, потому что прекратилась эта самая работа.

Это я помнил и понимал, что тогда-то и наступил этот странный конец моего активного существования на Земле. Впереди, я это знал, меня ждала бесконечность времени, и это было страшно представить. Страшно было и то, что я отчетливо сознавал, как такие же безобразные сновидения будут преследовать меня бесконечно. Ужас перед этой бесконечностью сковывал все возможные движения мысли. И ведь самое пугающее было то, что эти сновидения как бы цепляли факты моей реальной жизни, но так дополняли и переиначивали их, что я сам впадал в шок. Возможно, то, что мелькало в мое голове как возможность сон превращал в реальность, фантастическую, но реальность. Мыслимо ли заниматься сексом в милицеской КПЗ? Но шальная мысль об этом, скорее всего, тогда, в жизни, пока я был жив, проскочила в голове, а посмертный сон подал этот секс как то, что было в реальности. Сны менялись, поражая своей правдоподобностью, своим диким реализмом, даже натурализмом. И я не мог остановить их. А впереди были столетия этого бреда, а то и тысячелетия, а то и миллиарды лет. Если, конечно, правда, что существует другое или другие измерения, где существуют разные сознания и души и даже такое неполноценное сознание, как у меня.

Вдруг я увидел, что к Земле летит страшная планета X, которая должна уничтожить все живое на моей планете, а Я единственный, кто может спасти свой дом, свою планету, и вот я оказываюсь на этой планете X, а планетой правит Лидия Андреевна, так что с ней надо либо договориться, либо лишить ее управления этим летящим космическим снарядом. И вот я звоню по космическому телефону Инге, а она мне что-то советует, но я ее не слушаю, потому что вижу Кларину и Сашку, примостившихся на краю Земли, и задача моя одна — провести планету X так, чтобы она их не задела. Ведь Любовь все же движет Солнце и светила. А уж тем более планеты!.. Но сделать резкий крюк планетой в сторону мне не удастся, и тут я понимаю, что есть только один шанс — повиснуть, ухватившись руками за край планеты X, а ногами оттолкнуться от Земли. Что я и сделал. Толчок был столь силен, что я сорвался и очутился в космическом пространстве, вокруг меня носился мусор разбитых комет, астероидов и обломки, крошево планет. Была вокруг космическая ночь, синевато светилась Земля, от которой меня унесло. Я (вот бред-то!) искал жилище Бога, ведь раз есть **планета-дьявол X**, то и святое что-то должно быть. Но мне, видимо, не дано было увидеть Место Высшего Блага (то, что в старину великий Августин Блаженный называл Град Божий), наверно, не заслужил.

Заслужить прощение и доступ в этот Град я мог лишь одним способом — написать не одну, а две, три, четыре книги с высшей точки

зрения. Но руки зажаты деревянной коробкой, пальцы окостенели, даже непонятно, сумеют ли они хотя бы по клавишам компьютера стучать. А над могилой причитала Кларина, ее слова впитывала не умершая еще часть моего Я. Она говорила сквозь слезы, точнее всхлипывала:

«Милый, ты же не мог жить без писания. Ну и живи дальше. И пиши. Ищи свой смысл. Ведь ты сам говорил, что жизнь словом продолжается. Вот и продолжай ее. Мы с тобой будем, будем помогать, насколько сможем».

И тут я вспомнил слова деда: «Человек, живущий духом, не может умереть до конца». Что он имел в виду, сейчас было неважно. Но я почувствовал, что сердце вдруг забилось, плечи распрямились, и ящик затрещал, я попытался сесть — и сел, сбрасывая с себя комья земли. Увидел побледневшее от счастья лицо Кларины, высохшие глаза Сашки — и встал. А вечером я уже сидел в своем кабинете, горел экран компьютера, рядом стояла чашка чая, и я стучал по клавишам.

Москва—Берлин, 2016—январь 2017

Часть IV

ПРИЛОЖЕНИЕ

Три статьи о прозе Владимира Кантора

Морок и явь

О прозе Владимира Кантора

Когда читаешь сочинения Владимира Кантора, прежде всего останавливает внимание способ художественного видения мира. Сам автор назвал композицию романа «Крепость» до его сокращения «барочной». Стили барокко свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, стремление к совмещению реальности и иллюзии... Может, так и о любом современном произведении можно сказать: чем постмодернизм не барокко? Но здесь совсем иное. Вся творческая жизнь писателя — попытка выбраться из барочного лабиринта, обрести некую «идею», которая станет опорой, «травой-белосом», и выведет из коварной трясины сомнений и неуверенности не только в себе, но во всем, что вокруг.

Думаю, он эту идею нашел. Идею Чистоты.

У Кантора тема чистоты/грязи разрастается в настоящий лейтмотив. Вплоть до рассказа «Ногти», герой которого превращает чистоту в фанатичный культ. Грязные ногти становятся для него знаком дичания человека. И он доводит идею борьбы с рудиментами дикости до логичного финала, о котором печально рассказывает его жена: «Я к нему побежала и обо что-то запнулась. — Она... стала вытирать глаза рукой, но не заплакала. — А под ногой кончик его большого пальца с правой руки. Он сам себе все кончики пальцев обрубил, чтоб с ногтями покончить».

Внешняя неопрятность, по Кантору, — знак замутнения духовных основ. Сказка «Чур» написана об этом. Почему тараканы могут захватить и поработить человечество? Потому что переполнена помойка, потому что люди швыряют из окон всякую дрянь, которая плотным слоем устилает двор. Пока таково отношение к Дому, угроза утраты человеческого Лица вполне реальна.

Если же герой нравственно опускается, то прежде всего он перестает заботиться о своем внешнем виде. Так грязь наполняет жизнь

Левы Помадова в «Крокодиле». И уже трудно понять, грязна душа его или тело, — так все это тесно связано.

Другая идея — европейство. Это и есть настоящая чистота.

Везде — в русской культуре и истории, в повседневности, в сюжетах-сказках — Кантор отыскивает корни русского европейства. Для него этот поиск равнозначен борьбе с разгильдяйством. В XIX веке он выбирает своих героев — русских дворян с европейским мышлением. Западничество Кантора порой даже какое-то слишком старинное, но это кажущееся впечатление. Кантору важно показать, что речь идет отнюдь не о слепом подражании европейским образцам. Европейство для него — это особый концепт, согласно которому и самой Европе до европейства еще далеко. Это некая квинт-эссенция культуры — в лучшем и высшем понимании этого слова. И не только русский европеец стоит у начала длительной эволюции, но и немецкий, французский, испанский...

Третье — философствование — отзвук вольтеррианской традиции. Повесть или рассказ превращаются в развернутое доказательство философской идеи, а обыденный сюжет поднимается до высокой аллегории в духе средневековых мистерий. Чаще всего философская идея «спрятана» в явной или реминисцентной культурной отсылке. Лорелея, Данте, Борис и Глеб, Лермонтов, Бальзак, Горе-Злочастие и т. д. Иногда даже кажется, что прием этот слишком настойчиво переходит из одного текста в другой, что его искусственность чересчур заметна.

За суммой идей и приемов сквозит главное.

Герои спорят, говорят, пытаются уйти от быта к бытию. Автор честен — им это не удастся, и вот они движутся от бытия к быту.

Мир одних и тех же лиц, одних и тех же героев, с неизменными именами и фамилиями; они старые знакомцы, но судьбы их гнутся, оказываются текучими, неуловимыми, условность вторгается в жизнеописание и заслоняет их. Отчего же умер Лева Помадов? Герои «Крепости» пьют за «покойного Левку Помадова» и рассказывают о нем анекдоты. Съел ли его крокодил (так завершается роман «Крокодил»)? Был ли он зарезан хирургами во время диагностической операции (как мы узнаем в «Записках из полумертвого дома»)? Это не так важно.

У человека два дома. Значит ли это, что он счастливее тех, у кого дом один? Нет, он глубоко несчастен — у него нет ни одного из этих домов. У бабушки Насти уютно, тепло, сытно, просто — но скучно. У бабушки Лиды духовно, напряженно, «идейно» — но холодно и слишком нервно. Раздваивается ойкумена — раздваивается и душа.

Стать писателем легче, чем оказаться в числе *издаваемых* авторов. Критика видела в Канторе «симптоматичного» писателя. Его хвалили за стиль и «плотное» повествование. Говорили, что он мастер «неангажированной» прозы. На самом деле любое творение ангажировано. Другое дело — кем, как и зачем. И что вообще называть «ангажементам». По-моему, речь идет о «заказе» — он может быть имманентным.

В «Святочном рассказе» есть такие слова отца героя, Бори: «Я думаю, Боря сам до конца не понимает, что у него написано». Вот так и Кантор. Когда читаешь интервью с ним, нельзя не почувствовать разочарования, как и от кратких авторезюме к его книгам. Он говорит о «Крокодиле»: «В 1986-м я написал роман “Крокодил”, как просыпается вдруг в обычной жизни доисторическое чудовище, способное пожрать людей, а люди, даже беседуя с ним, не видят его откровенной сути. Противостоять этому постоянно присутствующему в любой современной жизни допотопному людодеру — и есть задача любой самосознающей личности, которая всегда должна помнить, что надежды на успех мало, но это не должно мешать жить нормальной и достойной жизнью».

Однако прописалось в его романе совсем другое. Крокодил — никак не «автономное зло», он часть и порождение самого героя, его мистер Хайд, иной лик черта из кошмара Ивана Федоровича, хотя М. Ремизова и отказывает Крокодилу в глубине и «тонкости» мышления: «...карамазовские бездны вызывают к жизни иронического философа-парадоксалиста, помадовские *ямки* — довольно ограниченного Крокодила»⁵. Дело не в том, что черт Ивана далек от характеристики «философ-парадоксалист», а Крокодил совсем не производит впечатления «ограниченного» существа. Дело в том, что «сказалось» у Кантора образом Крокодила больше, чем он сам, судя по его оценке, предполагал сказать. Еще позже, в повести «Поезд Кельн — Москва», автор заметит: «...писательство — это болезнь, причем такая, излечиться от которой больной не в состоянии, да и не хочет, и единственная радость — это выплескивать свои беды и неприятности на бумагу, тем самым находя хоть какое-то облегчение, патологическое удовольствие и психическую разрядку»⁶. Итак, писать о своем.

Чем больше погружаешься в мир произведений Кантора, тем отчетливее осознаешь *универсальность* этого мира. Не типичность, нет (как спорили о типичности Достоевский с Гончаровым). Именно универсальность, матричность.

Действительно, читателю повести «Два дома», например, точно известно, что «второму я» автора, Борису Кузьмину, десять лет ис-

полнилось в 1955-м, он «ровесник Победы», что действие в это время и разворачивается. Но у меня не осталось ощущения сопричастности той – советской – жизни именно 1955 года. Мои десять лет были двадцать лет спустя, когда оттепелью и не пахло, но все в моем детстве было так же – крашенные половицы в доме бабушки, голые полы и стены, «обшитые» книжными полками, которые и были единственной «значительной» мебелью, в родительском доме... Так же садились у бабушки за стол и ели селедку, макая хлеб в подсолнечное масло, разве только в разговорах звучали другие имена и другие названия...

Скажу сразу: я с некоторым подозрением отношусь к шестидесятникам. Может быть, именно потому, что они слишком громко кричали во время перестройки о своем профетизме: мы предчувствовали, мы призывали, мы боролись и страдали тогда, когда нельзя было поднять головы, мы сопротивлялись... Что ж так кричать-то теперь? Вот все, к чему вы призывали, на что надеялись, и произошло. Так это и есть тот демократический рай, которого вы чаяли? Или свою заслугу вы видите в том, что вели «подрывную работу»? Ради чего? Опять, что ли, «наше дело разрушить, а строить другие будут»? Наверное, шестидесятник шестидесятнику рознь. Шестидесятые годы в книгах Кантора открылись мне с совершенно иной стороны. Я увидела наконец шестидесятника, который не стремился влезть в шестидесятническое домино и якобинский колпак. То есть мне стало понятно, что такое неангажированность в чистом виде. Сам писатель сказал об этом так: «Уже позднее, в 1992 году, в Германии, Лев Зиновьевич Копелев, прочитавший оба моих сборника – “Два дома” и “Историческая справка”, – сказал мне: “Мне понравилось. Но для меня странно одно. Вы пишете так, как будто советской власти не существует. Мы видели смысл нашего писания в борьбе. А вы?.. Вы словно вне политики”. Но я и в самом деле жил вне политики. Советская власть была данность, но не была она уже проблемой нашей внутренней жизни. Да если вдуматься: мне было абсолютно плевать, что Бальзак был легитимистом, а Стендаль – поклонником Наполеона. Были тексты о жизни, понимание человека и превратностей его судьбы. Что же вечно? Человек и его душа. Ориентация не на сегодняшнее, а на классику, на вечное. А материал? Материал, разумеется, сегодняшний»⁷. Борис Кузьмин жил не проблемой политического строя, а проблемой надполитического духовного созидания.

«Книжный» мальчик Боря читает «взрослые», серьезные книжки, потому что отец любит читать, а так хочется на него походить. Человек входит в жизнь – не просто быть сыном известного ученого,

внуком знаменитого партработника. На Борисе изначально лежит тяжким бременем ответственность. Он несвободен. Он должен всем доказывать, что он «достойный сын». И рождается протест. Хочется уйти от книжного мира в мир настоящий, мир парней, которые не читают книг, но ведут себя, как заправские «романные бандиты», лихо сплевывают сквозь зубы, называют девчонок «чуваами» и пускаются в отчаянные драки.

Мир Бориса многократно отражается в творчестве Кантора. Например, герой «Крепости» Петя Востриков, которого мы знаем как ровесника Бориса, по рефлексии, «книжности», вполне соотносим с героем-протагонистом. А мир взрослого Бориса, окруженного такими людьми, как Илья Тимашев, Саша Паладин, соотносится с миром его отца — Григория Михайловича Кузьмина. Возраст «компаний» предательски неустойчив: вот они — друзья отца, и, значит, это пятидесятые, а вот они — друзья Бориса, и мы в начале 80-х. Такая «преемственность», расплывчатость хронотопа художественного мира несет особую нагрузку: мир «книжных» людей, интеллигентов, вневременный, вернее, для него несущественна категория политического времени. Именно поэтому эхом звучат в повестях и романах истории самого старшего поколения — не только бабушки Лиды или ее двойника — Розы Моисеевны, но и их родителей. И там кипели человеческие страсти, поиск счастья, попытки самоутверждения, а главное — вечные искания той окончательной Идеи, которая оправдывает жизнь и осветит ее Высшим Смыслом.

Можно понять, почему известный педагог С. Соловейчик высоко оценил книгу «Два дома». Проза Кантора педагогична в лучшем смысле этого слова. На мой взгляд, «юноше, обдумывающему житье», мучающемуся собственной взрослостью и инфантильностью одновременно и не знающему, как себя реализовать, стоит прочитать «Победителя крыс» Кантора.

Это книга инициации, и дотошный сторонник мифоритуального подхода легко выявил бы в «Победителе крыс» классическую схему «вхождения» во взрослую жизнь. Видимо, книжка с оглядкой на эту древнюю схему и создавалась — прямо по инструкциям «Морфологии волшебной сказки» В.Я. Проппа. Но не это важно. Сквозь прозрачность вымышленной экстремальной истории просвечивает все тот же мир детства Бориса. Нет, не потому, что больной мальчик то просыпается на сундуке в комнате бабушки Насти, то снова проваливается в свой бредовый кошмар, в страну крыс. А потому, что он в этом бреду переживает свое детство со стороны — и с некоторой высоты. Необходимая площадка для выхода *за*, то есть для трансцендентности.

И вся эта сказка — никакая не сказка, а документ начала 80-х. Неслучайно потом в романе «Крепость» ряд эпизодов будет происходить в Деревяшке — небольшом кафе-забегаловке. Конечно, той самой, где собирались Настоящие Коты в «Победителе крыс». Борис должен победить самого себя — обрести высшую цель. Понять, что крысы — это не насилие извне, а собственная трусость и грязь души. Поэтому все продвижение по странной стране-городу в этой книге — не что иное, как метафора интроспекции. Кантор всегда помнит фразу Достоевского: «В поэзии нужна страсть, *ваша идея* и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего и не значит»⁹ (курсив Достоевского. — М.З.).

«Победитель крыс» — история перехода от детства к юности. Эта та же история, что и в повести «Я другой», только переведенная на язык условности.

И мы движемся дальше и дальше — то ли по творчеству, то ли по жизни, то ли по судьбе, ставшей Книгой. Кажется, что это у самого писателя, а не его героя, не складывались отношения с сыном, который хамил, тратил жизнь попусту и в упор не видел в отце никакого авторитета или примера для подражания, — обидно и горько это сознавать тому, кто сам относился к своему отцу с трепетом и пиететом. Можно представить себе и маленькую дочку Машу, которая для героя «Поезда Кельн—Москва» становится выразительным ответом на вопрос: зачем жить в России? — и для которой написан «Чур». И редакция центрального философского журнала в «Крокодиле» и других текстах (как замечает М. Ремизова, «сильно смахивающего на “Вопросы философии”»¹⁰), где и в самом деле работает Владимир Кантор. И вся жизнь — в книгах. Но это только самая внешняя линия. У любого читателя «Записок из полумертвого дома» не возникнет сомнений, что эту повесть писал человек, попавший «по Скорой» в обычную палату обычной больницы. Однако и эта повесть, как и предшествующий ей автобиографический «Поезд Кельн—Москва», не имеет отношения к какой бы то ни было разновидности мемуаров.

Ближайшим к «Крокодилу» можно считать сборник новелл «Мутное время». Это сны, записанные в разное время. Мистический компонент «Крокодила» становится ясным — люди видят во снах модели идей: в поезд герой вошел в свое время, а выпрыгнул на ходу и попал в прошлый век. Сам он себя, правда, «вполне крепким мужичком» называет, но встреча с «настоящими мужиками» заканчивается плачевно: «Вилами его коли! Ви-илами!» Тема мужика Мареев из знаменитого рассказа Достоевского выворачива-

ется наизнанку: «Вот тебе и мужик Марей... Вот тебе и народ-богоносец! Бежать надо, бежать, а то догонят!»

Интеллигенция и народ — для Кантора вопрос не просто важный, он кровный, родовой. «Два дома» — это повесть о том, как пытается человек совместить и примирить в себе оба эти начала: простонародное, «хлебное», и культурное, «нехлебное». Сколько раз герои Кантора сталкиваются с «народом» — людьми, не мучающимися «мирами и идеями». Столкновения эти в текстах Кантора всегда почти печальны и конфликтны. Ни одна Матрена солженицынская не мелькает на его страницах (если не считать родной бабушки Бориса — Насти, и то вряд ли можно говорить об идеализации или возвышении этого образа) — все больше страшные, уродливые в своей тупости люди. Такова жуткая семипудовая баба в «Мутном времени» — ужасный символ «почвы»: «Рот похабный, сальный, вечно жует что-то, глазки узкие, заплывшие, и вонючая, как протухшее мясо».

...Когда две эпохи скрестились во времени и пространстве, когда было подписано соглашение в Беловежской пуще, когда вошли в оборот странные обозначения дней недели с эпитетом «черный», Владимир Кантор написал повесть «Поезд Кельн—Москва».

Это переходный текст. Дорожная повесть, свои «Москва—Петушки», свой «Тарантас», а может, свое «Сентиментальное путешествие». Здесь не так важен архетип, как сам статус текста — переходность.

Герой движется с запада на восток (общее в «дорожном» русском тексте). От «столицы» (цивилизации) к «провинции» (захолустью). От Европы к Азии. Из Германии в Россию. С этого света на тот (не случайно, когда проводники требуют денег за провоз багажа, герой размышляет: «Чтобы переплыть Стикс, ты должен уплатить Харону, только тогда попадешь в Аид»). И вот герой во власти мелких бесов. Все действие происходит в замкнутом пространстве купе и вагона. Круг лиц ограничен — просто попутчики. Сюжет исчерпывается одной интригой: сосед героя боится, что у него отнимут деньги, заработанные чтением лекций в Германии. Но главное в любом дорожном тексте не сюжет и внешние приключения, а разговоры. И эти разговоры, разумеется, о пути России. Собеседника Иннокентия зовут Тарас Башмачкин: «...глухая тоска, самовлюбленность и мировая скорбь по-прежнему мерцали в его глазах — прямо как вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. И в каждой фразе его виделась мне смесь воспетого нашими патриотами героического Тараса и уязвленного, униженного и слабого Башмачкина»¹⁴. Легендарная шинель преобразуется в трусы, в шве которых зашиты дензнаки — старые десятирублевки с профилем Ленина. И вся гоголевская боль

за «брата» улетучивается. Не зря Иннокентий называет попутчика «бабским мужиком».

Тарас много говорит о беспределе, ставшем нормой жизни в России. Иннокентий тоже вступает в разговор. Может быть, вся повесть — повод произнести то заветное, до чего сам додумался и что так тебе дорого. Таким «стержнем» становится «пушкинская речь» Иннокентия в «тургеневском» споре с Тарасом. Собственно, тургеневского здесь немного — разве что сама идея включения в общий сюжет развернутого разговора на остросовременные темы. «Пушкинская речь» — это тщательно аргументированное утверждение об ущербности русского мужского начала и «идеальной реальности» женского. В общем-то, это краткий пересказ одной из позиций знаменитой речи о Пушкине Достоевского. Но характерно размышление героя перед тем, как он заговорил: «Пока я молчал, думая, что ему ответить, я вспомнил, как сам и первая моя жена бредили пушкинским временем все семидесятые годы, да и в начале восьмидесятых, до самой “перестройки”. Бывало, за бутылкой водки на чьей-нибудь кухне все воображали, что не просто пьянствуем, а как лихие гусары под песни Окуджавы приобщаемся к свободе»¹⁵. Это тоже переход через границу — теперь временную. И тут-то и становится ясно, что никакого особого перерождения не происходит. Что русская жизнь была всегда примерно одинакова. И что если когда-то на кухнях воображали себя гусарами пушкинских времен, то не иначе как сквозь призму песен Окуджавы, то есть пушкинская эпоха представляла собой некий сколок себя самой, опосредованный «образ», идеализированный «золотой век» благородства и не-жестокости. Где же он, третий путь этой страны? Автор полагает, что навсегда затерялся этот путь среди нецивилизованного пространства убогих домиков и отрезанных от всего мира мужиков и баб.

Понятие «крепость» в одноименном романе¹⁶ многозначно. Собственно, об этом и написано эссе центрального героя — Ильи Тимашева. Ему странно, что слово «крепость» означает прежде всего не защиту, а несвободу. Это роман о том, как человек пытается создать свой дом, сохранить его, приспособиться к нему, уйти из дома, обрести новый дом.

«Крепость» — это роман об утрате крепости. Но и об обретении тоже. «Бедный ты мой, бедный! Я тебя никому не дам в обиду! Я буду твоей крепостью, твоим бастионом», — шепчет шестнадцатилетняя Лиза своему избраннику Пете. И ничего удивительного, что она отдает ему свое (карамзинское) определение «бедный», как и неудивительно, что она жаждет его ласк и любви больше, чем он — ее. Все

изменилось в точном соответствии с идеей об «идеальной реальности»: лишь женщина может любить страстно и самоотверженно, мужчина должен быть скрыт за нею, как за каменной стеной, или, лучше сказать, спрятать за ней свои неуверенность и малодушие.

«Записки из полумертвого дома» продолжают ту же тему. Только Дом спасает в бедах и болезнях. Как когда-то в «Победителе крыс» Борис должен был выздороветь сам во время тяжелого бреда, так и много лет спустя он должен сам одолеть свою болезнь. В странном, вывороченном наизнанку мире больницы (кому ж из нас, оказавшемуся в стенах госпитальной палаты, не казалось, что все происходящее – страшный сон?) Борис Кузьмин пытается найти опору, зацепиться за жизнь. Судьба явно в нерешительности: а жить ли этому человеку? Больница – вовсе не место спасения, наоборот, надо спастись от больницы. Странная отсылка к «делу врачей», врачей-вредителей, прямо говорящих пациентам о полной власти над их телами и, следовательно, жизнями. И врач – «палатный», страшная больничная сказка о его оборотничестве и превращении в трехглавого дракона, который в «обычной» жизни предстает в виде трех разных человек, никогда не появляющихся в одной точке пространства вместе.

Больница рождественских дней и ночей начала двадцать первого века вдруг напоминает эпоху столетней давности, которую Кантор вслед за Федором Степуном определил как «артистическую». Жизнь перестала быть собственно жизнью, а стала Драмой, которую можно смотреть со стороны. Вплоть до того, что и на смерть можно взирать весьма хладнокровно – в духе уайльдовского эстетизма. Это просто более-менее эффектный эпизод Действия. Актерство как тип сознания – это естественная реакция на пошатнувшиеся основы жизни, вариант адаптации. Степун говорит о многодушии артистизма – это сравнимо с «жизнями» в компьютерной игре. «Жизней» много, и, если тебя «убили», ты можешь взять еще одну «жизнь» и продолжить борьбу. Так и артистизм. Степун выдвигает идею сублимации как самосохранения – почти по Фрейдю – и переводит эту идею на язык рецептов для «не-творческих» личностей. Артистизм превращается в спасение для любого человека, даже весьма далекого от какого бы то ни было творческого действия. В. Кантор показывает, к чему вело артистичное мировоззрение в историческом масштабе. Эпоха репрессий воспринималась как гигантская мистерия, где жертва до самого последнего мгновения ощущала себя лишь исполняющей роль в спектакле.

В «Записках из полумертвого дома» театрализация современной эпохи оказывается очевидной. Больничная палата напоминает сце-

ническую площадку, где все — актеры и зрители, причем эти статусы никак не разведены. Степун говорил о революции как «демонической игре». И вот еле живой герой с трудом выбирается ночью из палаты в длинный коридор, чтобы добраться до туалета, и становится свидетелем настоящего театрального действия — прямо в духе античной трагедии. Три медсестры — Парки (Гарпии?) — ведут разговор, как будто плетут нить: «Тогда судьбу нам вопросить самое время! — Она затянулась и выпустила клуб дыма. Облик ее вдруг изменился, волосы пришли в беспорядок, щеки то бледнели, то краснели, грудь стала вздыматься под халатом... — Про остальных не скажу, не чувствую, кто из них. Но смерть будет там. Уж раз Толька Тать решил жертву принести, то не без того... так Богу болезни угодно, чтоб на каждую палату одна жертва была. Тогда остальным Христос поможет... Тот, кто себя до болезни довел, не несчастный, а грешник. Как преступник. А за грехи надо платить... грешники попадают туда, — заговорила вдруг гекзаметром Сибиλλα, — где бледные обитают Болезни, печальная Старость, Страх, и советник дурного всего — Голод, и насильственная Смерть, и Страданье, единокровный со Смертью тягостный Сон»¹⁷. И явится герою Ванька Флинт с перерезанным горлом, и узнает бедный писатель-философ, что он не в больнице, а в людоедской пещере. Все похоже на дурной сон — на хороший спектакль? По сюжету повести герой оказался спасен Любовью, Женщиной-Воительницей. Дом-крепость защищает его от пространства Смерти («сама жизнь есть Todeskeim, то есть источник смерти. Ich bin des Todes, du bist des Todes, и мы все вместе обречены смерти»¹⁸). Но ощущение фарса, мистерии передано так точно, что финал кажется условно-случайным. Судьба Глеба, который две недели назад поступил в палату с легким недомоганием, а вывезен был оттуда на Тот (Tod) Свет, провоцирует и судьбу его условного брата — Бориса, который тоже должен стать добровольной жертвой. Это не произошло — пока. Но колесо Рока уже начало свое неостановимое вращение.

Для прозы Кантора характерны поспешные, скомканные финалы, ему важно мгновенно все развязать. Иногда кажется, что развязки его повестей и новелл — уступка жанру. Каждый текст должен чем-нибудь завершиться, и автор быстро это завершение сочиняет. Когда-то Пушкин жаловался, что не может совладать с жанром романа. Его незавершенная проза — это самые начала текстов, где едва просматривается завязка. Может быть, он бросил свою прозу незавершенной, поскольку ему самому все уже было ясно. У Кантора механизм спешного финала больше похож на нежелание автора вообще что-либо исчерпывать. Сюжет ока-

зывается открытым, провоцирующим. Особенно очевидно это в «Русском европейце».

Владимир Кантор так объясняет композицию книги «Русский европеец как явление культуры»: «...хотелось что-то вроде “Арабесок” Тоголя создать, чтобы было понятно, что я пишу об одном». Это «одно» — «культурная составляющая» человека, истории, страны, нации, вообще человечества. Писатель видит образец такой составляющей в неуничтожимой европейской доминанте — цивилизованности. В книге собраны идеи людей, не согласившихся со шпенглеровской моделью «заката Европы», отстаивавших «базовые ценности европейско-христианских принципов жизни». Автор пишет развернутое заключение о дальнейшей «европеизации Европы», об обоюдной важности включения России в европейское общество. Залогом возможности развития личностной культуры он видит русскую поэзию, которая стала «второй церковью, по сути, заменив сервильное, государственное православие с его казенной верой».

Но финал «Русского европейца» удивительным образом ставит все новые проблемы, в книге не решенные. Почему не был услышан «трезвый голос русских европейцев»? Можно ли всех эмигрантов эпохи революции считать «русскими европейцами» — исходя из сложного идеологического наполнения этого понятия? Если пережитая эпоха тоталитаризма — повод с гордостью утверждать, «что ни один народ Европы не вылезал из такой черной дыры, как Россия», то какого цвета дыра, в которой Россия находится сейчас? Кантор говорит об антихристианских тенденциях и в России, и в Европе как о поводе задуматься об общем пути к исправлению ошибок. Но как же разрешить старый и глубокий мировоззренческий конфликт между индивидуалистическим католичеством и соборным православием? Вопросы можно задавать и дальше, я не нахожу на них ответов. Я вижу лишь, что автору чрезвычайно важно показать модель очищения русской жизни от метафизической грязи. Модель эта представляет собой идею личностного прозрения. Об этом его художественная проза, об этом и его философские книги. Такое тесное переплетение художественных и публицистических идей неслучайно. Владимир Кантор ищет разные способы выразить то, что кажется ему крайне важным. Неангажированность прозы обрачивается мощным внутренним императивом. Кантор рассуждает, что писательство — это болезнь: и рад бы не писать, да не получается. Но на самом деле эволюция его творчества показывает, что он чувствует ответственность — донести то, что ему одному открыто. Назвать это пустой претензией нельзя — откройте книги писателя,

и вы ощутите, как захватывает вас это барочное сплетение «высокодуховной беседы» и самой что ни на есть «сермяжной правды» жизни, как необыкновенно отражаются друг в друге непримиримые сферы... Флобер говорил, что любая тема может стать предметом искусства — и ладан, и моча. В творчестве Кантора происходит ассимиляция грубого и жестокого мира Высшей Идеей. Автор иногда предупреждает, предрекает, даже пугает. Но чувствуется, что сам писатель совершенно не ощущает конечности жизни, возможности какого-то вселенского коллапса. Его герои едут в переполненных троллейбусах, напиваются до бесчувствия, совершают подлости, предают близких людей — но это все и есть Жизнь. Герои Кантора подвержены рефлексии — высшему и мучительному дару, делающему человека человеком. Они мучаются Смыслом Жизни. Как в дантовых терцинах. Как в пушкинских бессонницах. Как в журнале Печорина. В общем, как всегда. И эта мучительная работа духа оказывается выше Отпущенных Сроков. Это светлое начало — даже самых трагических произведений — наверное, идеологически разрушает барочность, меняет тональность. Граница между мороком и явью стерта, но морок дан человеку для того, чтобы найти ключи и обрести свою крепость въяве.

Марина Загидуллина
(доктор филологических наук, профессор)
«Октябрь», 2004, № 11

«Кушай яблочко, мой свет...»

Владимир Кантор. Наливное яблоко. Повествования /
Владимир Кантор. – М.: Летний сад, 2012. – 430 с. Тираж 1500 экз.

*Я кончил книгу и поставил точку,
Но рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку.*

Арсений Тарковский

Перед современной русской литературой сейчас стоит довольно жесткий вопрос: кто он, герой нашего времени? Герои квазилитературы (Сорокина, Пелевина) не могут на него ответить, потому что созданы исключительно в коммерческих целях, а не для того, чтобы читатель думал и задумывался. Философ и писатель Владимир Кантор предлагает свой ответ на этот вопрос.

Новая книга Владимира Кантора «Наливное яблоко» представляет собой сборник рассказов и повестей, многие из которых уже были опубликованы ранее и печатаются не в первый раз. Но прелесть сборника и состоит в том, чтобы произведения, звучавшие по отдельности как партии для разных музыкальных инструментов, под одной обложкой слились в единую и слаженную симфонию.

Особенность сборника как формы заключается еще в том, что его можно читать по-разному: можно – с начала, можно с конца, а можно – и с середины. Но, в конечном счете, как ни читай, – все равно четко прослеживается эволюция души героев: какими они были и какими стали с годами.

При чтении рассказов и повестей Владимира Кантора не может не возникнуть соблазн анализировать реминисценции и аллюзии, скрытые и прямые, которые тонкими нитями пронизывают ткань текстов. Искушенному читателю не составит труда обнаружить влияние Уильяма Шекспира, Оноре де Бальзака, Франца Кафки,

А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и др. Интертекстуальность прозы Владимира Кантора позволяет при анализе обращаться к различным произведениям русской литературы, а не только к тем, которые упоминаются прямо или косвенно.

Структура сборника «Наливное яблоко» следующая: двадцать произведений (семнадцать рассказов и три повести), четыре части, которые не только пронумерованы, но имеют заглавия, соответствующие периодам в жизни человека, мужчины: «Книжный мальчик», «Подросток», «Взрослый» и «Старик». Если три последние – это только стадии взросления, то название первой части может быть бессознательной (или сознательной?) отсылкой к роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина», в котором впервые в русской литературе появляется словосочетание «книжный мальчик». Так автор называет сына Карениных Сережу: «Отец всегда говорил с ним – так чувствовал Сережа, – как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притвориться этим самым *книжным мальчиком*» (курсив мой. – Т. М.). Правда, писатели подразумевают разные значения этого словосочетания: у Толстого «книжный мальчик» – это мальчик из книг, у Кантора же – мальчик, погруженный в книги. Однако сложная судьба, душевные терзания героев этой части сборника «Наливное яблоко» невольно заставляют задуматься о целесообразности их сопоставления с юным Карениным. Да и мать героя, который доминирует в первой части, зовут Анна. Это тоже может быть частью большой, но очень аккуратной и уважительной игры, которую затевает автор на площадке русской классической литературы.

Нарратив всей книги «Наливное яблоко» последовательный. На макроуровне – уровне книги – соблюдается прямая хронология: от детства через юность и зрелость к старости. На уровне отдельной части хронология уже нарушается: рассказы, повествующие о разных годах жизни мальчика Бори Кузьмина, идут вперемешку. И, наконец, на микроуровне можно заметить различные формы нарратива, как с прямой хронологией («Наливное яблоко», «Немецкий язык», etc.), так и с нарушенной («Сто долларов», «Смерть пенсионера», etc.).

Автор сам обозначает жанр своего произведения: *рассказ*, *повесть* или же *маленькая повесть* (как в случае со «Ста долларами» – повестью, состоящей из пяти глав, которая до этого была напечатана в 2011 году в журнале «Звезда»).

Некоторые рассказы содержат подзаголовки, указывающие на циклизацию. Например, рассказ «Знакомая девочка, или Как сверкают пятки», помимо указания жанра, носит еще отсылку к циклу:

«Из цикла “Детское-недетское”», а рассказ «Фазанова» — «Из цикла “Столкновения”». К такому приему некогда прибегнул В.А. Жуковский, поставив под стихотворением «Невыразимое» краткое обозначение его вырванности из контекста — «Отрывок», — чтобы заинтересовать читателя, завлечь, заинтриговать. Но в случае Владимира Кантора этот прием необходим, чтобы показать, что герои — живые, что у них есть прошлое. А если вспомнить Н.В. Гоголя, человек и персонаж, у которого есть прошлое, обречен на будущее. Читатель, которому может прийти в голову такая мысль, будет прав — в том, что идея интриги все же присутствует. Но он будет и не прав, потому что некоторые циклы были напечатаны ранее.

Проза Владимира Кантора — это мир, в котором можно укрыться от реальности, спрятаться от окружающего мира, найти ответ на мучающий вопрос. Это тот мир, в котором есть свои сложности, но мир этот *правильный*, в нем работают законы, которые зачастую не работают в реальности, — законы совести и справедливости.

Отличительной чертой прозы Владимира Кантора является тонкий и болезненный психологизм в сочетании с минималистичным натурализмом.

В сборнике, впервые в формате книги, напечатан рассказ «Няня», который до этого был опубликован в последнем номере журнала «Знамя» за 2009 год. В нем говорится о конфликте социальных слоев, об их вечной непримиримости и полном взаимонепонимании. Это «история про деревенскую тетку», которая должна была, став няней, «рассказывать народные сказки, прибаутки и песенки» маленькому сыну из типичной интеллигентской семьи, которой нужна была няня, чтобы «у них появились не только дни и ночи для библиотеки и работы, но и свободные вечера, даже свободные ночи, которые <...> могли просиживать у друзей за выпивкой, анекдотами, разговорами, играми в буриме и т.д.». У читателя по ходу прочтения возникает несколько вопросов. Почему крестьянка из Белоруссии, прошедшая войну, мать двоих детей, не может стать Ариной Родионовной маленькому Тимке? Потому что тяжелое прошлое и не менее нелегкое настоящее выхолостили из нее все человеческое, в том числе и какую бы то ни было культуру? И второй вопрос: почему родители достаточно долго терпели возле своего сына и себя довольно странное существо? Нет, конечно, «баба Доня» более подходящий вариант для ребенка, нежели сомнительная особа из Александра с бумагой об освобождении, но все-таки? Автор не дает ответа на эти вопросы, предлагая читателю найти на них ответ самому. Рассказ «Няня» стал первой публикацией прозы автора в журнале «Знамя». Также стоит отметить, что рассказ переведен на немецкий язык.

Проблемы, которые затрагивает в своих произведениях автор, кажутся читателю невероятно знакомыми — срабатывает принцип остаточной памяти: проблема мучительного взросления — мостик сразу перебрасывается к «Подростку» Достоевского; проблема вражды между братьями — мостик к «Братьям Карамазовым» того же Достоевского.

Маленькая повесть «Сто долларов» также впервые печатается в сборнике. До этого она вышла в четвертом номере журнала «Звезда» за 2011 год. Брат зачастую (по крайней мере, в прозе Владимира Кантора, да и в жизни тоже) это не кровный родственник, а совершенно посторонний человек, который оказывается роднее и ближе. То братство, о котором мечтал Достоевский в «Братьях Карамазовых», оказывается возможным с кем угодно, но не с собственным братом.

Сквозной линией всех произведений Владимира Кантора является судьба советского (потом и российского) интеллигента.

Почти во всех произведениях Владимира Кантора живут одни и те же персонажи. В одном рассказе уделяется внимание лишь одному, другой герой лишь упоминается. Зато в другом рассказе или повести упомянутый вскользь персонаж становится полноценным действующим лицом. Это довольно странно в рамках разных произведений, но вполне объяснимо.

Наверное, так бывает, когда автор задумал глобальную вещь, эпопею в духе Л.Н. Толстого, в которой разворачивается несколько сюжетных линий и действует несколько разных семей одного круга на фоне исторических событий. Но пока этот замысел не реализован, автор отдает на читательский суд лишь фрагменты своего будущего полотна. Автор уже не первый раз пытается объединить мозаичные осколки своего мегатекста в подобие гармоничной мозаики. Такой попыткой была вышедшая в 2010 году книга «Смерть пенсионера», включающая в себя автобиографическую повесть «Два дома», роман «Крокодил» и рассказ «Смерть пенсионера». Такой попыткой стало и сегодняшнее «Наливное яблоко». Организовывая сборники по принципу хронологии (от детства к старости), выводя на первый план то одного, то другого героя, автор пытается заставить свою мозаику заиграть яркими цветами, сделать ее объемной (для этого и даются взгляды разных героев). Но она не играет, или играет, но недостаточно ярко — видны лакуны, ощутимо отсутствие выдоха.

Заключительный рассказ «Смерть пенсионера» можно считать тем самым выдохом, но это выдох лишь в рамках одной сюжетной линии, остальные — висят в воздухе, остановившиеся на вдохе. Рассказ представляет наибольший интерес для анализа не только за

счет своей концентрированной интертекстуальности, но и за счет многослойности тем, поднятых в нем, причем социальная тема далеко не самая важная.

Странно, что рассказ, главное действующее лицо которого уже дважды фигурировало в более ранних произведениях («Соседи» и «Фазанова»), не содержит пометки «Из цикла “Столкновения”», как эти произведения. Ничего не поделаешь – воля автора.

Нарратив рассказа «Смерть пенсионера» двойственен: с одной стороны, порядок действий в нем прямой: читатель наблюдает за героем с момента его пробуждения до его смерти, с другой – в повествование включаются воспоминания, прошлые разговоры и события.

«Смерть пенсионера» – это продолжение одновременно двух тем русской литературы – темы «лишнего человека» и темы «маленького человека».

Удачно, что рассказ «Смерть пенсионера» помещен в сборник «Наливное яблоко»: ведь именно яблоко стало причиной смерти Грегора Замзы – героя рассказа «Превращение» Франца Кафки, на который в тексте есть прямая аллюзия: «Он лежал на спине и чувствовал себя Грегором Замзой, неожиданно превратившимся в насекомое-паразита. “Ungeziefer”, – вспомнил он немецкое слово. Неужели пенсионеры сродни паразитам?».

Никто не защищен от того, что однажды он может проснуться насекомым. Также никто не защищен от того, что однажды он может проснуться пенсионером. Не фактически, не по достижении пенсионного возраста, а по состоянию души.

Герой рассказа (или маленькой повести) «Смерть пенсионера» Павел Вениаминович Галахов (интересно, а какое отношение он имеет к Глебу Марковичу Галахову – герою повести «Сто долларов»? Кто он ему? Дядя? Однофамилец?), уже знакомый читателю по рассказам из цикла «Столкновения», не хочет верить, что его любимая женщина умерла, он верит, что она уехала в Америку, потому что так проще, ему так удобнее – так менее больно. Это упрямство, детское, чистое, несгибаемое. Веря, что от тебя уехали, веря, что границы между душами только пространственные, подсознательно, сам того не осознавая, он дает себе надежду – она уехала не навсегда. Она не вернется, но она *может* вернуться. Он верит в это так неистово, что заражает и читателя.

Отталкиваясь только от названия, читатель может вспомнить ряд произведений, названия которых начинаются похожим образом: «Смерть Поэта» М.Ю. Лермонтова, «Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого, «Смерть чиновника» А.П. Чехова, «Смерть Тарелки-

на» А.В. Сухово-Кобылина. Уже из названия понятно, что читатель видит полюбившегося (а может быть, и нет) героя в последний раз.

Почему писатель убивает своего героя? Потому что надоел? Потому что сказал о нем все, что хотел сказать? Или потому что он вышел из-под контроля? У Владимира Набокова в романе «Прозрачные вещи» есть интересное обращение автора к своему герою: «А, вот и нужный мне персонаж. Привет, персонаж! Не слышит». Вот такой, не слышащий своего автора, персонаж — Павел Вениаминович Галахов.

Герой не слышит своего автора, который пытается говорить с ним языком его друга Лени Гаврилова: «Старичок, мы должны держаться. Жизнь ведь продолжается. <...> Нас еще рано в утиль-сырье. Слышал про Давида Дубровского, из ваших, из гуманитариев? Ему семьдесят четыре, а жене двадцать четыре, они уже ребенка сделали. И мы, старичок, должны держаться. Главное — не раскисать!»

Галахов не может держаться — он резко отпускает себя и тем самым словно перерезает державшую его нить. Он «ушел из университета на пенсию. Не стало сил говорить с кафедры, вчерашний любимец совсем потерял контакт с аудиторией. Неинтересно стало готовиться. Да и сил не было в переполненном метро ехать к первой паре <...> А тут еще дождь, значит, — раскрывать зонт и минут двадцать по лужам до здания универа, когда в голове еще туман от недосмотренного сна <...>». Резкая, на полном скаку, остановка лошади опасна и для всадника, и для самой лошади. И Галахов, будучи одновременно и всадником, и лошадью (недаром в рассказе приводится сцена просмотра ночью вестернов), сходит с дистанции.

Правильный мир прозы Владимира Кантора в рассказе «Смерть пенсионера» меняет полярность: смещаются полюса. Женщина берет в свои руки, под свой контроль сложившуюся ситуацию, пытается решить непосильную задачу. Женщине снова приходится быть воительницей и завоевывать для «своего счастья» уют: «Работать при этом ей приходилось много. Она преподавала в двух областных вузах, переводила с английского за деньги какие-то научно-популярные книги, да еще в НИИ имела полставки. И все равно денег хватало от зарплаты до зарплаты. <...> Даша бегала по всем этим работам, хотя ее мучило давление и, что хуже, какие-то женские неполадки. Иногда головы поднять не могла, но вставала и говорила: “Пока человек ходит, он должен работать. Мне же деньги за это платят. Откуда мы их еще возьмем”. А «мужчина по имени Золушка» не может преподавать, да и вообще жить. После выхода на пенсию, он постепенно начинает угасать, таять как свечка. Но пока была жива Даша, по сути, его третья жена, он еще мог существовать (именно

существовать, а не жить). Но после смерти Даши он окончательно потерял смысл своей собственной жизни, который до конца и сам не знал. Смысл потерян, новый — не найден. Жить больше незачем. Да и не хочется. Депрессия перерастает в апатию — и полное абстрагирование от окружающего мира — больше не за что уцепиться. Существование превратилось в доживание. И этот процесс необратим. Человеку становится неинтересно жить — и ничто не в силах остановить начавшийся процесс угасания, катализатором которого являются отношение государства к пенсионерам и смерть любимой. Той самой любимой, вспоминая ночи с которой, когда-то «он морщился от гадкого самоощущения, что он обманщик, что вовсе не нужна ему эта девочка, что произошло это так, а она вроде бы влюбилась, хоть и говорила, что *все понимает*» (курсив автора. — Т. М.). Однако, спустя прожитые вместе годы, оказалось, что нужна. Как воздух.

То, что государству не нужны ни пенсионеры вообще, ни умный и талантливый Галахов в частности (а чем он, собственно, лучше других?), понятно — достаточно сопоставить пенсию среднестатистического российского пенсионера и прожиточный минимум. Но дело не в этом: Галахов перестает быть нужным самому себе. Причем до такой степени, что позволяет себе малодушие: «Зачем мои книги о толерантности, о наднациональной идее России, когда в Москве и Питере убивают таджикских девочек, убийц оправдывают, в крайнем случае дают срок как за мелкое хулиганство, а молодые скинхеды кричат об уничтожении всех нерусских». Он не может ответить себе, зачем он прожил жизнь, — все обесцветилось. Даже книги. И не только свои.

Смерть, конечно, не строитель. А что строитель? И почему интеллигент, философ, который в конце собственной жизни потерял ее смысл, может говорить другим, как нужно жить. «Своего слова, которое требовало бы развития, у него не было. Были точные наблюдения, угадывающий анализ, из этого системы не построишь». А нынешняя Система жестока. Ей нужно Слово. Ей не нужны «книжные мальчишки». И уж тем более ей не нужны выросшие «книжные мальчишки», сомневающиеся в себе. Они — лишние, лишние в том мире, где правят неблагодарные, но, к счастью, начитанные карьеристы.

Когда в ненужность выросших «книжных мальчишек» верит общество, это норма. Но когда в нее начинают верить сами интеллигенты, это уже патология. Это и есть тот самый показатель уровня зараженности окружающего мира, который и старается показать автор своим произведением.

Героев прозы Владимира Кантора нельзя назвать героями нашего времени. Это узкая прослойка (была и осталась до сих пор) общества, живущая в своем мире и конструирующая свой собственный мир, выход из которого чрезвычайно опасен, поскольку законы этого мира не работают в мире реальном, где властвует Система, контакт с которой (тот же выход на пенсию) может обернуться гибелью. У Владимира Кантора в барочном романе «Крепость» есть глава «Существо с Альдебарана». Интеллигенты в современном мире продолжают быть такими внеземными существами — у них нет иммунитета на Систему, потому и погибают в одиночестве.

Рассказ «Смерть пенсионера» печатается не впервые. Сборник «Наливное яблоко» — наиболее удачная аранжировка для него.

Новая книга прозы Владимира Кантора «Наливное яблоко» представляет интерес для читателей не только за счет своего содержания, но и за счет своей структуры: уже знакомые ранее произведения подсвечиваются другими — и вместе звучат иным образом, нежели по отдельности.

К сожалению, в тексте есть опечатки, довольно досадные. Но их замечаешь только при повторном, более внимательном и скрупулезном прочтении, так как при первом — ты захвачен содержанием книги, а не формой. Видимо, корректор и верстальщик тоже были захвачены сюжетом. Также в книге не хватает аппарата сносок. Например, в рассказах «Немецкий язык» и «Ногти» встречаются афоризмы и разговорные фразы на немецком языке, но на них отсутствуют сноски с переводом. Безусловно, книга рассчитана на подготовленного и образованного читателя, но все же немецкий язык не английский — его, даже на базовом уровне, знают далеко не все. Но эти погрешности не мешают чтению, потому что сюжет захватывает, и читатель уже не обращает внимания на подобные мелочи.

Также стоит отметить тот факт, что книга не перегружена: восприятию ее содержания не мешают многочисленные отзывы в письмах, как, например, в предыдущем сборнике «Смерть пенсионера», вышедшем в 2010 году. Отзывы на одноименный рассказ, которые по объему занимают столько же страниц печатного текста, сколько и сам рассказ, не дают читателям воспринимать рассказ объективно. Исключительно положительные впечатления как бы навязывают потенциальному читателю книги свою точку зрения. В этом просматривается определенное недоверие к читателю, несмотря на то, что в подобной подборке, в принципе, ничего зазорного нет. Но формат книги не рассчитан на них. Форма отзывов — это та форма интерактивной коммуникации, которая работает только в опре-

деленных условиях. Было бы более удачно, если бы отзывы были размещены на сайте автора (если бы он у него был). Платформа Интернет — это динамичная платформа, она постоянно находится в движении. Или же второй вариант — в следующем за журнальной публикацией произведения выпуске журнала. Журнал — это также динамичная платформа за счет своей периодичности. Книга же статичный объект. При синтезе разнофактурных элементов, создается конфликт платформ: то, что предназначено для одной платформы, не работает в условиях другой. Именно в этом и заключается наибольшая удача новой книги Владимира Кантора, в которой этот конфликт был избегнут. А три коротких отзыва, помещенные на обложку, в которых рассматриваются общие особенности всего творчества автора, привычны современному читателю и не отвлекают его от основного содержания.

Проза Владимира Кантора многозначна и многослойна. «Наливное яблоко» — прекрасный объект для препарирования, как читателями, так и литературоведами — каждый найдет в ней что-то свое, близкое только ему.

Татьяна Мицук

«...И бездны мрачной на краю...»

Непредвзятая версия Владимира Кантора

Попытки извлечь нечто положительное из досадной краткости земного существования человека сопровождают всю историю русской литературы, как уже не раз провозглашалось, неотъемлемой части русской философии. Н.Ф. Федоров, обобщая многочисленные попытки такого рода, пытался построить этику «кафолизма», в которой живое объявляло войну мертвому, а человек был привязан к процессу, в конце которого неминуемо произойдет воскрешение всех живших на земле людей. Другими словами, развернул Апокалипсис на 180 градусов, запечатлев себя в истории в виде старца с огненным взором, вопрошающего: «Что ты сделал для дела воскрешения отцов?» Федорова совсем не интересовал быт, он раздавал свою небольшую зарплату библиотекаря всем желающим, спал, подложив под голову книгу. Но перед Федоровым трепетали. В том числе Лев Толстой.

Что же сейчас? Владимир Кантор в недавней повести «Нежить» обращается к вопросу о противостоянии жизни и смерти в ракурсе, противоположном федоровскому. Но только видимым. Его тема — связи быта с бытием в самом широком онтолого-этическом смысле. Если у Федорова жизнь суть высокое служение делу грядущего воскрешения и ценность жизни зависит от того, что сделано на этом пути, то у Кантора человек похож на утопающего в болоте, который как бы говорит нам: «Дайте мне сначала выбраться из этой засасывающей трясины. Вот выберусь, и тогда обсудим все и любые глобальные вопросы.

Я ведь не отказываюсь! Но что делать, если грязь забивается мне в горло, трудно дышать и почти невозможно говорить».

Однако барахтаясь в липкой тине «мерзостей быта», этот человек продолжает анализировать ситуацию: как правильно распорядиться временем, отпущенным земным сроком, есть ли во всем этом хоть

какой-нибудь смысл, существует ли высший разум и управляет ли он судьбой? Этот комплекс «вековечных», по словам Достоевского, вопросов породил и порождает известное богатство тем и сюжетов мировой литературы. Дополнить их чем-то существенным нелегко. Казалось бы, все уже сказано, но, словно бездонное чрево с неуклонно возрастающим аппетитом, литература проглатывает все новые и новые произведения, и интерес к ним не ослабевает. Сократ иронизировал по поводу страха смерти, что боящийся своего конца упивается отсутствующей у него мудростью, ведь жизнь и смерть — вещи несовместимые, если есть одно, нет другого. Отсюда уже сделан известный набор выводов: о существующем уже сейчас бессмертии, о базаровской версии удобрения для лопуха плюс немалое количество иных вариантов. Новой фабулу повести «Нежить» Владимира Кантора не назовешь, она произрастает на утоптанной почве самого истощенного огорода мировой литературы. И все же тема эта возрождается, блещет яркими красками, когда писатель находит аспект, который попадет в центр сокровенных ожиданий читателя. На этом пути Кантор предлагает следующую версию: «выживание на краю подземного мира», известной линии фронта между смертным телом и бессмертной душой, существующими, по мнению Рене Декарта, в разных измерениях. Однако не только соприкасающимися, но, по Кантору, жестко конфликтующими. О каком подземном мире идет речь, говорят эпитафии, дающие три его измерения: мистическое переживание внутреннего мира как «сна Бога» (Даниил Ратгауз), констатация окружающей действительности как «пропасти небытия» (Федор Степун) и объяснение возникновения этого ада тем, что слишком многие, вместо того чтобы выйти в люди, «вышли в нелюди» (Александр Филиппов).

Если попытаться определить жанр этого произведения, то в памяти всплывают дневники и мемуары, к которым примешаны выдумка, разного рода критические или панегирические добавки. Например, многочисленные «воспоминания» жен великих людей о своих почивших супругах. С другой стороны, это проза с героем-повествователем, основанная на личных воспоминаниях, однако в роли протагониста выступает не конкретный исторический автор, а его герой, как бы ни был на него похож — другое лицо. Как говаривал в таких случаях Достоевский, «я им своей рожи не показывал», и героя повести с автором путать нельзя: М. М. Бахтин и Вольф Шмид такого не простят. Разного рода совпадения на уровне событийно-фабульном или формат повествования от первого лица ничего не доказывают. В нарратологическом аспекте перед нами вариант повествующего о самом себе рассказчика, укорененного в

действию; а беря за основу схему М. М. Бахтина — случай, когда герой выходит из-под контроля и начинает управлять своим автором. В название повести вынесено слово «нежить», которое затем объясняется по словарю Даля: оно происходит из северных территорий нашей страны и означает «все, что не живет человеком, что живет без души и плоти, но в виде человека: домового, полевой, водяной, леший, русалка, кикимора». Таким образом, речь идет о бездушии многих из тех, кто составляет современное общество. Конгломерат событий повести выглядит как ничем не объяснимый хаос, некий историко-биографический винегрет.

Однако в настоящем художественном полотне не бывает ничего случайного. Даже в том случае, когда рисуется картина жизни человека после его смерти, в вечности, при отсутствии времени и множественности измерений пространства, когда все события, потеряв ось времени, оказываются выдернутыми из своих мест и совмещены друг с другом. На течение времени прямо влияет качество видения мира, поддаваясь модусу наблюдателя, время замедляет или убыстряет свой бег. Корень темпоральности — в точке отсчета, именно той, о которой поведал миру А. Эйнштейн в теории относительности. Не пытаясь придать этой мысли более изысканную форму, почти что в толстовской традиции «опрошения», Кантор демонстрирует убыстрение течения времени в компании пьющих мужиков: «... время закатывается в никуда, часы проходят незаметно».

Онтологическая память Вселенной фиксирует все события и факты, каждое движение духа и плоти и великого множества точек отсчета, ничего не пропуская и не отсеивая. Произведение выглядит как случайный набор микрорассказов: истории-притчи о брошенной невесте, о войне в Испании, о ремонте канализации, геополитические коллизии, столкновения с государством, «самым холодным из чудовищ», по выражению Кафки, эротические похождения и пр. — все они нанизываются на ось вечности, присутствуя, выглядя одновременными или, лучше, всевременными. Происходившее сохраняется в вечном «сейчас». Включая и недлинную нить в этом пучке объемной пряжи — жизнь человека как событие и процесс, ее системообразующий фактор. Канторовский сюжет подсказывает, как в своей онтологической одновременности будет выглядеть жизнь человека в условиях, когда она завершается, сменяясь по оси времени в вечность. Разумеется, при отсутствии времени сюжет невозможен, поэтому Владимир Кантор извиняется перед нами оговоркой: дескать, хаос «по Босху». Хаос в изложении есть, но извиняться за него не нужно, он суть метафора времени в категориях вечности; только винегретным перемешиванием собы-

тий, лет, мест язык литературы дает возможность добиться передачи идеи таинственной и непостижимой одновременности.

Формируя феномен вечности в одновременности всех событий, Кантор рифмует события частных жизней с крупными историческими свершениями, именно в таком виде, в каком — по его представлению — они хранятся в памяти мироздания, в своей натуральной правде. Возьмем способ, каким разогнали Учредительное собрание революционные матросы, обрушившие на головы интеллигенции реки зловонной мочи: тем самым была открыта новая страница в истории страны, когда интеллигенцию, создателя всего лучшего, что есть в национальном ресурсе, начали топить в мочу и дерьме. Страница до сих пор не закрытая, намекает автор. Потомки железняков продолжают стрелять с балкона по ногам спешащих на работу граждан маленькими пульками из пневматического ружья, надеясь причинить боль и нарушить планы граждан. Называй их «подземными гадами» или не называй, от их мелких пулек и больших пуль ничто не спасает. Тем более не спасает, когда они обладают и более опасными для жизни и здоровья вещами, например твердой позицией в бюрократическом аппарате. Вырисовывается во всем своем ужасе апофеоз трагедии Отечества: комсомольцы, разрушавшие храм и затем погибшие на войне, воспринимаются жителями села как наказанные Богом, исполнителями воли которого самым неожиданным образом оказываются германские фашисты.

С точки зрения повествовательного формата творение Кантора — дневник, письменное обращение к себе самому. Без заботы о том, что эллипс будет не так понят. Коммуникативное короткое замыкание, не сжигающее пробки, потому что адресат и адресант разделены пространственно-временной преградой: повествование идет из вечности, а воспринимается во времени. Автор определяет свое произведение как повесть, и мы должны относиться к этому с уважением, ведь «Мертвые души» Н. В. Гоголя тоже, разумеется, не поэма. Текст Кантора — это исповедь, в одном ряду с такими же нелюбимыми отчетами о достижениях и ошибках, какие нам оставили Блаженный Августин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой... Достоевский в «Бесах» указал на важность адресата исповеди: его герой Ставрогин попробовал написать исповедь для общественности, но Тихон, назвав его «бедным юношей», порекомендовал исповедоваться перед Богом. У Кантора исповедание протагониста происходит перед Богом и перед общественностью, как у Гоголя и Толстого. Это исповедь философа и филолога, в которой откровенные повествования о приземленных эротических приключениях чередуются с рассуждениями о трагических страницах истории

страны и библиографическими списками трудов деда, профессора геологии Ла-Платского университета. Потрясающая по драматизму история семьи Канторов, мечущихся между Аргентиной и Уралом, это не просто еще один случай эмиграции первой волны, но пример того, как русская интеллигентная семья сумела найти себе достойное применение в условиях, когда спрос на умных, образованных и ответственных людей устремился к нулю. Тут и получение статуса в Коммунистической партии, дающей право на профессию, с тайной радостью, что никаких «ответственных постов» не предлагают и, значит, можно оставаться собой, не лгать и не подличать. И мемуар о бабушке-переводчице и ее героических буднях в пору гражданской войны в Испании между республиканцами и франкистами, ее героической попытке спасти мужа. История ходит кругами: Тимирязевский парк, где в 1870 году революционной группой В.С. Нечаева «Народная расправа» был зверски убит студент Иванов и где век спустя по просьбе В.И. Вернадского проводятся похороны деда Владимира Кантора, которого не успели расстрелять большевики, дети «Интернационалки».

В повести Кантора показана трагедия интеллигенции 1990-х годов, зажатой «между молохом и наковальней», как шутил один из коллег канторовского протагониста – брошенный на произвол судьбы государством, заключенный в необходимость существования среди «людей с пониженным чувством социальной ответственности» обоих полов и всех возрастов. Повесть наполнена болью за судьбу высокообразованного человека, который безбедной жизни за границей предпочитает нищенскую зарплату дома, издевательства типа «шибко умный» и общественное презрение. Вопреки логике и подчиняясь зову сердца, он остается в стране, обреченный выслушивать реплики типа: «Самые умные уехали, остались одни дураки и бездари». Морально опустившийся «православный богослов», «выбирающий свободу» от своей родины, вызывает у Кантора омерзение, помогающее сделать правильный выбор. Как говорил один неглупый человек, окружающие так или иначе подскажут, как поступить в трудном случае. Не стоит село без праведника, но это праведничество оплачивается слезами и кровью, страданиями родных и близких, об этом нельзя забыть, говорит Кантор. Социальная среда, сложившаяся в 1990-е годы, сформировала для интеллигенции социальную нишу, точно выраженную автором: «Писать и печатать что хочу. А в общественную бурду не лезть». В то время как именно «общественная бурда» целенаправленно и методично загоняет интеллигенцию в угол «частной жизни» — унижая и уничтожая тем самым лучшее, что есть в стране, ее важнейший духовно-интел-

лектуальный ресурс, людей, обладающих волей к действию, направленному на благо страны. А позиции в государственном аппарате постепенно заполняют люди, большей частью сосредоточенные на обретении личного комфорта.

Униженный морально, загнанный в маргинальную зону, материально необеспеченный, герой повести Кантора практически в одиночку пытается защищать свою родину, реализуя присущий ему высокий уровень ответственности, в то время как страна предлагает ему грязную коммунальную квартиру, необходимость отдавать последние деньги на взятки, заставляя унижаться перед теми, кому наплевать на страну в целом и на каждого из ее граждан в отдельности. Некоторым покажется, что это сугубо личные мемуары одного из жителей России, на период жизненной зрелости которых пришелся 1990 год. Это и так, и не так. В сущности, ничего особо ценного, кроме осмысленного и развитого долгими годами экзистенциального опыта, у человечества и нет. И потому точка видения мира не имеет количественных характеристик. Другими словами, тысяча таких точек видения не больше, чем одна. В этом заключается большая ложь демократии, которую отвергал Достоевский в «Дневнике писателя», устами своего героя презрительно называл ее «арифметикой» и безоговорочно отрицал приемлемость каких бы то ни было социально-политических решений ценой «одной слезинки ребенка». Личное событие одного человека, пусть касающееся только его одного, но идущее вразрез с нравственными законами мироздания, важнее перемещений политиков по поверхности земного шара, что составляет основу наших «новостей». Об этом хорошо написал Лев Толстой в повести «Люцерн». Общий итог 1990-х сформулирован в повести Кантора так: «Бледная поросль интеллигенции, выросшая случайно в “провале небытия”, на кладбищенском пустыре, где в могилах лежали те, кто тоже верил “в высокое и прекрасное”, и оказалась среди сытой и полнокровной – с машинами, дачами, квартирами – нежити».

Повесть Кантора содержит достаточно полный реестр стандартных ситуаций в жизни интеллигента 1990-х годов. Здесь и активная журнально-публикационная деятельность в условиях «появившейся свободы», и оставшиеся с брежневских времен кухонные посиделки с обильными алкогольными возлияниями, и жесткие бодрания с чиновничье-государственной номенклатурой, и неистовая, на уровне «последнего боя» борьба за свой угол с ней же, и зарубежные гранты под известным девизом «Заграница нам поможет», и различного рода ямы морально-психологического, экономического и строительно-наплевательского толка. Характерная смесь призем-

ленно-бытовых вопросов на уровне выдающегося по своей вонючести соседа, который хорошо бы не наблевал в ванной, глобальных вопросов историографии войны в Испании в конце 1930-х и экзистенциальных проблем бытия: судьбы России, идущей и спотыкающейся на своем «самобытном» пути между Западом и Востоком.

Идеология главного героя повести — вещь самая простая и укладывается в одну фразу: делаю, что могу, а там будь, что будет. Каждым своим поступком он как бы говорит: я не встаю на котурны, не пытаюсь заигрывать с государством, как Адик, живу как частный человек, пытаюсь в жизни сделать побольше правильного и хорошего, не рисуясь и не пытаюсь выглядеть святым. Разумеется, он совершает поступки, которые сам же и оценивает как недостойные. Эпиграфом к стилю поведения главного героя повести можно было бы принять ответ Пушкина обывателю: «Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Такого же рода у канторовского протагониста и вера. Согласно классику, атеистов на свете вообще нет, у каждого человека есть религия, ведь «Бытие есть, а небытия нет». Некоторые люди называют свою религию безбожием, оставаясь глубоко верующими по сути, другие под маркой той или иной конфессии впадают в чистой воды сатанизм. Мысль протагониста раскачивается на тех же интеллектуальных качелях, которые мучили Чаадаева, св. Тихона Задонского, Достоевского, Толстого, многих других церковных и нецерковных мыслителей и подвижников, — без веры жить невозможно и немислимо, а признаков богооставленности кругом в избытке, и тогда слезы: «Господи, помоги моему неверию». Сознанием интеллигента управляет совесть, отсутствующая у «нежити», всегда готовой пресмыкаться перед начальством. Логика окружающей героя толпы представителей вида гомо сапиенс существует в рамках принципа «все позволено»: если меня всюду контролируют и ограничивают, я отвечаю на это тем, что не буду себе ни в чем отказывать. Возникает множество вариантов того, как строить жизнь, наплевав на ближнего своего, — от депутата Адика до люмпен-пролетария Толяна.

Повесть Кантора — это одновременно философская и филологическая повесть, чему никак не мешает грустная, порой саркастическая ирония, с которой в ней говорится о происходящем. Так, к примеру, перемещение тела тяжелобольного на операционный стол сравнивается с подачей на празднестве нетерпеливо ожидающим его участникам рождественского гуся. Тут, конечно, вспоминается Гоголь, ирония, свидетельствующая об умении человека смотреть на себя со стороны, отстраняться от своего «я». Антитщеславие, возведенное в ранг поэтического приема.

Адресность набора филологических аллюзий может быть обозначена или не обозначена, как, например, в явных или скрытых отсылках к роману «Мастер и Маргарита», написанному автором на грани смерти: «Он посмотрел на меня своими пустыми зелеными глазами, <...> в боковых полостях рта совершенно волчьих клыки». Или вот чиновница, в глазах которой горит «красный отсвет» — своего рода напоминание визита буфетчика в «нехорошую квартиру» на Садовой. Впечатления те же: в борьбе с нечистой силой героиня обращается к ней же за помощью. Тут и Чернышевский, трактовавший вскрытую героем «Отцов и детей» лягушку как акт изнасилования, не обойден. Протагонист канторовской повести замечает: «Если принять, что живое существо вселенной пронизывают общие токи и что случается в одном телесном состоянии, реализуется в другом, то “Антропологический принцип в философии” Чернышевского прав, все живое едино». Повторяя мысль, заложенную Достоевским в «поэму» Дмитрия Карамазова, герой-философ Кантора говорит: «Может, мне не дано увидеть Место Высшего Блага (то, что в старину великий Августин Блаженный называл Град Божий) <...>. Но туда нет пути большинству. Это дорога для одиночек».

Повесть Кантора — произведение «для немногих», если вспомнить одноименный сборник В.А. Жуковского. Это преднамеренный недостаток, если судить по меркам массовой культуры, где ценятся «успешные» поделки, разошедшиеся большими тиражами. Все это — литературный ширпотреб, уровень которого строго соответствует катастрофически падающему уровню гуманитарного образования наших соотечественников. Но не достоинство ли, как и в случае Кантора, учитывая высокую нравственную планку, поставленную им для своей аудитории. Прочсть и понять этот текст — значит пройти экзамен на человечность. Не смог понять — иди доучиваться, если есть в голове нечто, что может быть развито. А массовость — вещь, к сожалению, несовместимая с настоящим искусством. Пушкин, которого как поэта при жизни ценили лишь несколько друзей, а толпа увлекалась Ф.В. Булгариным, уговаривал себя: «Ты сам свой высший суд». Но потом, после его смерти, как шутил Ю.Н. Тынянов, четыре сотни поэтов писали вроде как Пушкин или даже «несколько лучше, чем Пушкин».

Итак, основная философская тема повести — ад, заметный только тем, кто выпадает из адского контекста, трактуемого всевозможными подонками «раем». Авторская фантазия формирует метафору уже не только по Босху, но и по Сальвадору Дали: множество совокупающих лягушек и некто, заглатывающий их одну за другой. Привлекая «Евгения Онегина» (26–27 строфы V главы) в качестве

адекватного описания того кошмара, в который погрузилась страна, Кантор обращается к практически отсутствующему читателю, его уже почти нет, он остался лишь кое-где в виде реликтовых образований. В XIX веке считалось правилом знать наизусть весь пушкинский роман в стихах, в советскую эпоху — читать и перечитывать, сегодня же — едва осилить в школе «Письмо Татьяны»: «Я Вас люблю, с кровать не встану». Конечно, мысль о том, что жизнь на Земле суть «явленный на Земле Ад», мелькала в сознании стольких достойных людей, что одно только перечисление заняло бы слишком много времени и места. Каждая эпоха поставляла мыслителям переизбыток оснований для этой идеи, набор адских условий земного бытия модифицировался со временем, но одно оставалось неизменным — их достаточность. Погружение в ад, по Кантору, — не в котлы с кипящей смолой и не на огромные сковородки; отсутствуют и железные крючья, которыми интересовались персонажи «Братьев Карамазовых», пытаясь установить адрес фирмы-производителя оных. Ад в «Нежити» представлен в виде набора социальных прерогатив, в жестоко травмирующем отдельную личность общении с согражданами: бытовом, служебном, официальном и неофициальном, случайном или предписанном тропинкой судьбы. Время от времени мелькает мысль, что вся эта адская суэта, наполненная нечистыми эмоциями, грязными и пустыми значениями, в каком-то отношении страшнее ГУЛАГа, во всяком случае того, что описан в «Одном дне Ивана Денисовича», где люди все-таки существуют благодаря надежде на возвращение к жизни. У Кантора же, кроме могилы, никаких перспектив, да и после нее вокруг хладного тела все то же: ложь, лицемерие, равнодушие, прикрытое фиговым листком сочувственных слов. Так один из героев Достоевского требовал от окружающих признать, что дружба нужна лишь «ради помоев», то есть сочувственное внимание к человеку нужно лишь для того, чтоб вывалить на собеседника весь тот хлам, который скопился на душе, и тем самым освободиться от него. Такого рода общение напоминает работу мусоропровода, с формальными признаками «диалога». Пишу это слово в кавычках, так как самого диалога тут и в помине нет, ибо не каждый разговор двух людей — диалог. Эта модель в повести Кантора обретает новый уровень, получает яркие краски, показывает, как она работает в случае, когда собеседник — и не друг, а так, необязательный приятель или просто собутыльник, исправно выполняющий свою адскую функцию. Еще больший ужас вызывает ситуация, когда невозможно различить, где палач, а где жертва. Оба с одинаковым усердием поливают друг друга своими интеллектуальными испражнениями, заставляя автора-повествователя проци-

тировать С.Д. Кржижановского, открывшего в Москве «пятую стихию — грязь». Измученный бытовой и нравственной мертвечиной, протагонист Кантора находится в растерянности: «мертвой водой окропило живых, живой — мертвых, и никак им не разобраться — кто жив, кто мертв и кому кого хоронить». Традиционное «между жизнью и смертью» меняется здесь на положение между адом и небытием, с вопросом, что лучше: быть в аду или не быть вообще — вопрос самоубийцы с отложенным исполнением приговора.

Читатель устроен таким образом, что в процессе освоения художественного мира его сознание напряженно отыскивает положительного героя, на которого хорошо бы опереться, «поболеть за него», пересчитать на его шкале ценностей плюсы и минусы остальных персонажей. Однако повесть Кантора такой роскоши не предоставляет. С обезоруживающей откровенностью автор рисует плюсы и минусы своего героя, и ужасающая нравственная пропасть, в которую он поминутно падает, не дает нам комфортного условия считать его «положительным героем», и это парадоксальным образом вовсе не мешает нам глубоко и искренне сочувствовать его несчастьям и бедам. С другой стороны, остальные персонажи даны в его оценках, и мы видим, как и у них без всякого предписанного правила поминутно меняется нравственный статус, от скверного до очень скверного или до весьма хорошего. Разумеется, есть и inferнальные чудовища, такие как молодой политик Адик, с удовольствием и совершенно сознательно отдающийся увлекательному промыслу — деланию гадостей окружающим, или Толян, злой по наитию, лишь вследствие неизбывного бескультурья (его «поход» в туалет явно навеивает воспоминание о разгоне Учредительного собрания, о котором выше говорилось). Адик — это классический пример черта, исправно осуществляющего свою функцию — убивать, мучить, мешать, тормозить доброе дело и портить все и вся, что есть перед глазами. «Мелкий бес», рядом с которым в роли подручного стоит Даугул с внешностью профессионального палача плюс «мелкий гаденыш» Сим, «вроде шакала при большом волке». Отсюда может выйти мысль: не получив нормального образования, человек, хочет или не хочет, обращается в Толяна, канторовскую параллель булгаковскому Шарикову, однако если он получит образование, не стоит слишком рано радоваться, нет никакой гарантии, что он не дойдет до состояния Адика. Для рождения ответственного человеческого существа с нормальным нравственным статусом нужно еще что-то, помимо образования, говорит нам Кантор. И это приобретается способом, который нормальным жителям ада недоступен. Ад непреодолим извне, но лишь изнутри, однако только теми, у кого это «внутри» есть.

Канторовский «черт», прозванный окружающими «гадюкой», суть «простой пацан с высшим образованием». Заставляя вспомнить черта из «Братьев Карамазовых» Достоевского, джентльмена в клетчатых панталонах, он имеет от него то отличие, что мера уважения к окружающим у него на порядок ниже. Все-таки черт Достоевского, да и булгаковские черти, поддерживали общение с окружающими в режиме диалога, «с уважением» воспринимая реплики собеседника. Следует заметить, что эпизод повести, посвященный питию «змеиной водки», — безусловная удача Кантора как художника слова: перед нами вырисовывается настоящий апофеоз ада, реализованного в диалоге между чертями, делящимися своим немалым опытом. От перемазывания грязью всех известных им женщин они переходят к вопросам онтологии, и там реализуется схема, по своему безобразию превосходящая даже классический сатанизм: «...когда твои друзья-большевики нам доказали, что на небе пусто, пришлось искать что-то в глубинах земли, в ее пещерах, в ее пропастях, в ее слизи. Я смысл существования искал, я думал, что есть Сатана, и даже сатанистом одно время был. Но и Сатаны нет, есть слизь человеческая, живая и неживая». Не зря Михаил Булгаков усадил в один окоп в противостоянии большевикам Христа и Воланда, сделав последнего евангелистом. По Кантору, моральный беспредел советской закваски добился такого выдающегося результата, при котором нищенское «по ту сторону добра и зла» выглядит цитаделью нравственности.

По «Нежити» можно составить исчерпывающий список мероприятий, требуемых условиями жизни в «аду»: дача взятки, покупка краденого, эксплуатация ближнего, унижение младшего по должности, манипулирование законами, рейдерский захват чужих помещений, проституция в великом множестве вариантов, включая покупку таким образом служебной должности, и др. Основное действие протекает, что символично, в «полуаварийном» доме на краю «болотной пропасти», с угрозой вот-вот провалиться в бездну. Во дворе дома находится люк, из которого вылезает рабочий «с зеленым лицом» и, содрогаясь от отвращения, рассказывает, что там «пропасть», и, когда под его ногами «поехала лестница», он смог зацепиться за обломок стены и тем самым уберечься от падения «в озеро вонючей воды», по которому плавают в виде толстых змей экскременты. Вопрос о прохудившейся городской канализации здесь прямо смыкается с вопросом о разрушении нравственной системы, причем этические нечистоты заливают человеческое сообщество, издавая при этом едва ли не более невыносимую нравственную вонь. Эротические похождения главного героя повести проходят по

стопам «Отца Сергия» Л.Н. Толстого. В них много литературности, однако и здесь подтверждается мысль Бахтина о невозможности любви к себе: возлюбить можно только другого, а потом уже, отталкиваясь от этого чувства, кое-что перенести и на себя. Протагонисту Кантора недостает нравственной тупости, чтобы упиваться сладострастием в объятиях подsunутой ему женщины. И наоборот, не хватает этической разборчивости, чтобы не упиваться им же в камере предварительного заключения с подругой детства.

Повествователь Кантора показан в постоянном столкновении с нечистой и в переживании этих столкновений, подобно персонажам «Мастера и Маргариты» чувствует ужас и осознает свою слабость в столкновении с «волкодаками», на стороне которых все преимущества ада: волчья челюсть, мрачные глазки, детство среди бандитов, трусость и злоба, фантастическое умение приспособливаться. Нарушение нравственных законов, отражающих физические законы мироздания, закономерно приводит к вторжению феноменов инобытия в наш мир. «Великий черепах», дед героя-повествователя, разорвав бумагу, выходит из рамок своего портрета и садится за журнальный столик: «Сим охнул, побледнел и рухнул на пол, на минуту открыл глаза, пробормотал: “Я художник, существо чувствительное”. И снова закрыл глаза, и стал белым, как школьный мел». Полномочный представитель ада, как ему и положено, ничему не удивляется, сосредотачиваясь на процессах, которые происходят с телом умершего после его похорон. Однако «тот, кто живет духом, не умирает. Потому что дух никогда не умирает», и здесь снова проводится черта между «живыми» и «нежитью», главная аксиологическая ценность канторовского повествования: проблема в том, что «отличий от человека немного». И тем и другим приходится жить в аду, а на чьей стороне преимущество — легко догадаться. Присутствует в этой среде и мистический напиток, замаскированный под бутылку китайской водки с заспиртованной в ней гадюкой, «змеиная отравка», которая, разумеется, не приносит никакого вреда полномочным представителям ада. В.И. Ленин в Мавзолее трактован как упырь, только ждущий своего часа. Хотя упырем Ленин, конечно, не был, перед смертью спохватившись и учредив новую экономическую политику, фактически возвращающую страну к рынку. Настоящими упырями были известные персоны, вцепившиеся в этот период во власть. А Ленин — «литератор или писец» — всего лишь «кремлевский мечтатель», но до чего может довести страну практическая активность такого мечтателя, описал Достоевский в «Бесах», а потом подтвердила история. Используя расхожий штамп: «опять наступили на те же грабли». Для таких политиков путь Рос-

сии — поле, усеянное граблями, по которому непременно нужно ходить только с завязанными глазами.

Пошлость наползает на канторовского протагониста со всех сторон, подобно нечистой силе, атакующей философа Хому Брута в гоголевском «Вие». Начиная с погребальных речей и кончая разнообразными эротическими намерениями, и чем острее сопротивление пошлости, тем больше она ранит того, кто ей противостоит. Совершенно неуязвим для пошлости тот, «кому жить хорошо», и повествователь «Нежити» ненавидит таких не из зависти, несовместимой со статусом существа, одной ногой стоящего в вечности, но из соображений опытного терапевта, являющегося противником наличия глистов в организме пациента. «Россия захрапит под стеганым одеялом мещанства», — предупреждал Замятин. И не только захрапит, но и захрипит предсмертным хрипом, предупреждает Кантор.

О грядущей победе мещанства в XX веке писал А.И. Герцен. Ф.М. Достоевский в те же 1860-е начал работу над своим романом о герое-одиночке, попытавшемся справиться с «рутиной» — «самодержавной толпой сплоченной посредственности», «верной свой физиологии», по выражению Герцена. Личность, противостоящая «паюсной икре» мещанства, и есть герой Кантора. Как и Герцен, он уповает на развитие самосознания и высокий уровень образования, однако мало на Земле государств, которые бы предпочли в лице своих граждан людей, обладающих самостоятельным видением и оценкой происходящего, а не «паюсную икру» убежденных соглашателей. Европейский мещанин, прекрасно социально обеспеченный, живет, как бройлерный цыпленок на мясокомбинате. И умерщвлен он будет тихо и комфортно, в полном согласии с медицинской страховкой, подобной конвейеру по ощипыванию кур. Кантор задает риторический вопрос: почему у нас обыватель выглядит непристойно, а у них — достойно? Это то самое «достойно», от которого как черт от ладана шарахался Герцен и саркастически описывал в своих «Островитянах» Е. Замятин, из-за которого схватился за топор Раскольников. Но с другой стороны липкой паутины «достойной жизни» маячит С.Г. Нечаев, «дети» которого будут жечь библиотеки и увлеченно расстреливать образованных людей. Повесть Кантора — о трагедии, о духовном «обмелении» страны, выражаясь герценовским словом. Для поправки нужно вырастить четыре-пять поколений полноценно образованных людей, не обремененных тем или иным видом фанатизма.

Вскрывая корни зла и недоброй мистики, пронизывающие реальность нашей отчизны, Кантор формирует концепцию, похожую

на пресловутую «луковку», описанную Достоевским в «Братьях Карамазовых». Правда, там ангел-хранитель протягивает в виде «веревочки» единственное доброе дело, чтобы спасти грешника, вытянуть его из ада. У Кантора, напротив, ад протягивает свои нечистые щупальца в мир, захватывая души и обращая людей в своих слуг, которые исправно осуществляют функцию чертей по отношению к ближним своим, не дожидаясь загробного мира, прямо здесь, не отходя от кассы, как говорят в народе: «Миллиардеры отстреливают соперников, власть — оппозиционеров, те — людей из властных структур, но все это получает живительные соки из мира подземной братвы. После Октябрьского переворота Федор Степун написал, что Россия провалилась в „преисподнюю небытия». Недаром готовили этот провал подпольщики, то есть люди из подземного мира. Но в этом мире небытия, как в дантовском аду, были свои начальники, свое отребье, свой средний слой». Для порядочного человека, попавшего в эту ситуацию, важно найти правильное место для жизни. Бродский призывал жить «в глухой провинции у моря». Туда же устремился Чехов, чувствуя приближение смерти. Л.Н. Толстой до моря не добрался, однако бежал куда глаза глядят и, будь чуточку крепче физически, наверное, добрался бы и до моря. Приписав своих бабушку и деда к среднему слою жителей ада, равноудаленного от палачей и их жертв, Кантор свидетельствует: «Я всю жизнь в этом аду прожил маргиналом», — присоединив свое мнение к классикам мировой литературы.

Повествование у Кантора движется стремительно, с калейдоскопической быстротой меняются декорации и окружающие героя люди. По мере движения сюжета читатель подспудно начинает понимать: каждое мгновение жизни — лишь кадр длинной киноленты, на которую всю целиком можно будет глянуть, когда жизнь будет окончена, когда не будет возможности в нее что-нибудь добавить. В пространстве бытия открываются законы, которые могут быть видны, если расположиться между временем и вечностью, а это удастся лишь умирающему или же поэту и философу в полете мысли. А для философа, стоящего на пороге смерти, это грозная очевидность: «...жизнь водит человека кругами, если он не рвет категорически со своим пространством». Повторения одного и того же в новом или просто ином качестве выглядят иногда как историкографическая зубрежка или хождение по лабиринту, в котором ты отказываешься от принципа движения по одной стене. Философские выводы делаются Кантором попутно с рассказом о бытовых мытарствах с поиском квартиры, указывая на главный принцип существования творческой натуры: безостановочный анализ

увиденного и сосредоточенный поиск смысла. В этом движении к истине основное направление мыслей главного героя — ухватить значение место-времени, осознать фрагмент истории в его смысловой целостности. Кто же будет, ища квартиру, сосредотачиваться на вопросе о том, что на месте, где расположен дом, была пустошь, принадлежавшая князьям Шуйским, затем Прозоровским, а затем перешедшая в собственность родственников Петра Великого — Нарышкиных? А затем бабка Петра, Анна Леонтьевна, пожертвовала в 1683 году десять четвертей земли под строительство храма во имя Святых апостолов Петра и Павла, небесных покровителей будущего русского императора, от чего и произошло название «Петровское», и т.д. Историко-краеведческие размышления героя-философа повести Кантора лишь подчеркивают один из важнейших вопросов: почему широта государственного пространства сочетается в нашей стране с катастрофической узостью пространства для личной индивидуальности? Огромная по размерам страна состоит из микроскопических участков, объемов и площадей, на которых, мешая друг другу, теснятся люди. С одной стороны, «широка страна моя родная», а с другой — хрущевки с комнатами по 5,5 кв. м, свадебный стол на тридцать человек в комнате около 18 кв. м, двадцатиместный автобус, в котором едут с саженцами пятьдесят дачников и проч. Коммунальная квартира, ячейка «русского Аида», создавала идеальные условия для бытового палачества, и если, отдав душу дьяволу, в качестве гонорара получаешь от него отдельное жилье, то протестант обязан получить все прелести ада в полном объеме, «маргинал коммуналки не минует». Отсюда и национальная добродетель: набить в ограниченное пространство максимальное количество людей. Кантор называет это русской безразмерностью. Заметим, что в литературе ад не раз описывался как весьма тесное место, и в этом смысле автор следует глубокой традиции, фиксируя особенности «терпеливой души или русского телосложения, когда корпулентные мужики и бабы умудряются ужаться до нужных размеров».

Центральный вопрос, который мучает автора и его героя-протагониста, — это вопрос о смысле, цели и содержании истории человечества и жизни частного человека. Тот же самый, который, согласно замечанию Д.С. Лихачева, лежит в основании всей русской литературы, начиная с «Повести временных лет» и кончая нашими днями. Конечно, речь идет именно о русской литературе как таковой, а не о подделках и подделках, предназначенных для увеличения количества доходов тех или иных персон. В повести сформулирована ситуация: в мире бал правит Сатана с известным набором тезисов: «ни одно доброе дело не остается безнаказанным», «чем ты лучше, тем

тебе хуже» и проч. Отсюда два варианта: ты сам «нежить», раз судьба засунула тебя в ад, или, по христианскому канону, Бог дает человеку испытания по мере его сил, и если испытания страшно тяжелы — это лишь основание для гордости, можно считать себя избранным Богом. С другой стороны, «нежить» — используем презрительную реплику Ф.М. Достоевского — те, «которым жить хорошо». Подходя с разных сторон к определению слова «нежить», автор вырисовывает перед нами следующее: это то, что живет только во времени, не оставляя следа в вечности, то есть существо-маска, личность без внутреннего лица, ложь о бытии, если использовать парадигму П.А. Флоренского. То, что не имеет вселенского смысла, но лишь имитирует его. «Черт — обезьяна Бога», следовательно, ад и должен состоять из ненастоящего, лживого бытия. Когда брат Достоевского Михаил горестно констатировал, что ведь разгадать тайну человека невозможно, Федор Михайлович возразил ему: сам процесс разгадывания этой тайны, без прямой связи с результатом, оправдывает бытие. Кантор соглашается: «Логос — вот путь к преодолению небытия».

В повести Кантора звучит пронзительная боль за страну, президента которой хлопает по заднице Билл Клинтон; авторская ассоциация: «сцена в лагерном бараке, где блатные глумятся над слабым». Россия по своей воле, бескровно отказалась от коммунизма, предложив свою дружбу всему миру, как будто выполняя завет Достоевского, верящего, что страна даст человечеству уникальный продукт, всеединство, основанное на братстве. Однако если во время боя один из боксеров начнет искать примирения, он непременно будет жестоко избит; очередной русский миф оказался дорогой в никуда. Герой повести «Нежить» — неизбывный романтик. Если Достоевский писал о том, как может быть «силен один человек», то Кантор подтверждает необходимость «одиноким силы» — способности и умения идти против толпы: «...пророк Моисей пошел один против своего племени, наперекор, пока убедил в своей правоте. Один поднялся на гору Синай, с толпой Бог не хотел говорить. Разум не может быть коллективным».

Сюжетобразующая связь, многократно срабатывающая в повествовании Кантора: от судьбы страны к судьбе интеллигента, от своей судьбы — к судьбе страны. Обе темы навевают тяжелые размышления, заставляя вспомнить выбор, перед которым стоит зэк в «Одном дне Ивана Денисовича» А.И. Солженицына: «Я не хотел быть ни среди тех, кого хлопают по заднице, почти насилуя, ни среди тех, кто хлопает». И тут же переключается на мысль о выходе из ада: «Мы попали после Ленина в выморочный мир, когда вначале

страну боялись, как скопище монстров, а потом, когда хватка вождей ослабела, перестали даже уважать». Реальное, практическое соединение своей жизни с судьбой своей страны — это удастся очень немногим, чаще всего на уровне мифа после ухода человека из нашего мира и, к сожалению, очень редко — при жизни. В этом заключена главная мысль автора. Герой Кантора говорит: «...проект “Россия”, пока в ней не исчез дух, должен продолжаться».

Константин Баршт
«Звезда» 2018, № 4

Об авторе

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, ординарный профессор философского факультета Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы Экономики (НИУ-ВШЭ), заведующий Международной лабораторией русско-европейского интеллектуального диалога, главный редактор журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог», член Союза российских писателей, прозаик, стипендиат фонда Генриха Белля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных литературных премий, трижды номинированный на премию Русского Букера, историк русской культуры, автор более семисот (700) опубликованных работ. Дважды лауреат премии «Золотая вышка» (НИУ-ВШЭ) за достижения в науке (2009 и 2013 гг., Москва). Лауреат первой премии в номинации «За лучшее философское эссе» в Первом Международном литературном Тютчевском конкурсе (2013). По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005) парижским журналом «Le nouvel observateur (hors serie)», вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности, как «законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева». Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, чешский, польский, сербский, эстонский языки.

Основные опубликованные сочинения ВЛАДИМИРА КАНТОРА

Проза

- Два дома.** Повести. — М.: Советский писатель, 1985.
- Крокодил.** Роман // Нева. 1990. № 4.
- Историческая справка.** Повести и рассказы. — М.: Советский писатель, 1990.
- Победитель крыс.** Роман-сказка. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.
- Поезд «Кельн—Москва».** Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.
- Мутное время.** Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.
- Крепость.** Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996. №№ 6, 7.
- Чур.** Роман-сказка. — М.: Московский Философский Фонд, 1998.
- Соседи.** Повесть // Октябрь. 1998. № 10.
- Два дома и окрестности.** Повесть и рассказы. — М.: Московский философский Фонд, 2000.
- Рождественская история, или Записки из полумертвого дома.** Повесть // Октябрь. 2002. № 9.
- Крокодил.** Роман. — М.: Московский философский Фонд, 2002.
- Записки из полумертвого дома.** Повести, рассказы, радиопьеса. — М.: Прогресс-Традиция, 2003.
- Крепость.** Роман (*сокращенный вариант*). — М.: РОССПЭН, 2004. (Серия «Письмена времени»).
- Krokodyl.** Roman. *Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzeńska.* — Warszawa: Dialog. 2007.
- Гид.** Немного сказочная повесть // Звезда. 2007. № 6.
- Соседи.** Арабески. — М.: Время, 2008.
- Смерть пенсионера** // Звезда. 2008. № 10.
- Krokodill.** Romaan. *Vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa.* Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 2009 / 3-5.
- Смерть пенсионера.** Повесть, роман, рассказ. — М.: Летний сад, 2010.
- Няня.** Рассказ // Знамя. 2010. № 12.
- Сто долларов.** Маленькая повесть // Звезда. 2011. № 4.
- Крепость.** Роман. Второе издание (восстановленное). — М.: Летний сад, 2015. — 592 с.

Запах мысли. Повесть. Журнал «Слово-Word». New-York, № 84. 2014.
http://promegalit.ru/public/10815_vladimir_kantor_zapakh_mysli_povest.html

EXISTUJE BYTOST ODPORNĚŠI NEŽ ČLOVĚK? (Tři novely). Přeložila i posleslovijje Alena Moravkova. Izdatel :Rybka Publisher, Praha, 2014, 157 straníc. Obložka: Vincent van Gogh, Starik.

Владимир Кантор, Владимир Кормер. Посланный в мир (Н.Г. Чернышевский). Киносценарий // Волга – XXI век. Саратов. 2015. № 3–4. С. 135–164.

Нежить. Повесть // Нева. 2017. №8.

IL COCCODRILLO. Romanzo. Per la tradizione Emilia Magnanini. Venezia-Mestre: *Amos Edizioni*. 2018.

Чур. Роман-сказка // Волга – XXI век. Саратов. № 11–12, 2017, №1–2, 2018.

На краю небытия. Философические повести и эссе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 352 с.

Похороны деда Антона. Новелла // Нева. 2018. № 11.

Выживание. Новелла // Нева. 2019. № 4.

Не пускайте зло в свой дом. Новелла // Нева. 2019. № 8.

Монографии

Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба. – М.: Искусство, 1978.

«Братья Карамазовы» Ф. Достоевского. – М.: Художественная литература, 1983.

«Средь бурь гражданских и тревоги...» Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. – М.: Художественная литература, 1988.

В поисках личности. Опыт русской классики. – М.: Московский Философский Фонд, 1994 (Серия «Россия и Запад»).

«...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Исторические очерки. – М.: РОССПЭН, 1997.

Russija je evropska zemlja. Mukotrpan put ka civilizaciji. *Prevela s ruskog Mirjana Grbić.* (Biblioteka XX vek). Beograd. 2001.

Феномен русского европейца. Культурфилософские очерки. – М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.

Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). – М.: РОССПЭН. 2001.

Русская классика, или Бытие России. – М.: РОССПЭН, 2005. (Серия «Российские пропилеи»)

- Willkür oder Freiheit?** Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie. Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. – *ibidem*-Verlag, Stuttgart 2006.
- Между произволом и свободой.** К вопросу о русской ментальности. – М.: РОССПЭН, 2007. (Серия «Россия в поисках себя...»)
- Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса.** – М.: РОССПЭН, 2008. (Серия «Российские пропилеи»)
- Das Westlertum und der Weg Russlands.** Zur Entwicklung der russischen Literatur und Philosophie. Ediert von Dagmar Herrmann. *ibidem*-Verlag Stuttgart. 2010.
- «**Судить Божью тварь**». Пророческий пафос Достоевского. Очерки. – М.: РОССПЭН, 2010. (Серия «Российские пропилеи»).
- «**Крушение кумиров**», или **Одоление соблазнов (становление философского пространства в России)**. – М.: РОССПЭН, 2011. (Серия «Российские пропилеи»)
- Посреди времен.** Карта моей памяти. М.–СПб. Центр гуманитарных инициатив. 2015. – 304 с. – («Письмена времени»).
- Карта моей памяти.** Путешествия во времени и пространстве. Книга эссе. – М.–СПб. Центр гуманитарных инициатив. 2016. – 304 с. – («Письмена времени»).
- «**Срубленное дерево жизни**». Судьба Николая Чернышевского. – М.–СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2016. (Серия «Российские Пропилеи»)
- Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном тексте / В. К. Кантор.** – М.–СПб. ЦГИ Принт, 2017. – 832 с.. – (Серия «Российские Пропилеи»)
- Демифологизация Русской культуры.** Философические эссе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 400 с. – (Серия «Российские Пропилеи»)

Сборники

- Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века.** Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. – М.: Искусство, 1982. – (Серия «История эстетики в памятниках и документах»)
- А.И. Герцен. Эстетика. Критика. Проблемы культуры.** Составление, вступительная статья и комментарии В.К. Кантора. – М.: Искусство, 1987. – (Серия «История эстетики в памятниках и документах»)
- К.Д. Кавелин. Наш умственный строй.** Статьи по философии русской истории и культуры. Составление, вступительная статья

- В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой — М.: Правда, 1989. — (Серия «Из истории отечественной философской мысли»)
- Метаморфозы артистизма.** Составление, первая статья. — М.: РИК, 1997.
- Ф.А. Степун. Сочинения.** Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). — М.: РОССПЭН, 2000.
- Simon L. Frank** Licht in der Finsternis. Versuch einer christlichen Ethik und Sozialphilosophie. Einleitung und Kommentar von Vladimir Kantor. — Verlag Karl Alber. Freiburg/München. 2008.
- Юрий Михайлович Лотман.** Сборник. Составление, вступительная статья В.К. Кантора (Серия «Философия России второй половины XX века»). — М.: РОССПЭН, 2009.
- Федор Августович Степун.** Жизнь и творчество. Избранные сочинения. Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (Серия «Социальная мысль России»). — М.: Астрель, 2009.
- Федор Августович Степун.** Большевизм и христианская экзистенция. Избранные сочинения. Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (в печати).
- Александр Иванович Герцен.** Избранные труды. Составление, предисловие, комментарии В.К. Кантора. (Серия «Библиотека общественной мысли»). — М.: РОССПЭН, 2010.
- Петр Бернгардович Струве.** Сборник. Составление, вступительная статья О.А. Жуковой и В.К. Кантора (Серия «Философия России первой половины XX века»). — М.: РОССПЭН. 2012.
- Федор Августович Степун.** Сборник. Составление, вступительная статья В.К. Кантора. — (Серия «Философия России первой половины XX века»). — М.: РОССПЭН, 2012.
- Петр Бернгардович Струве.** Сборник / Составление, вступительная статья О.А. Жуковой и В.К. Кантора. — (Серия «Философия России первой половины XX века»). — М.: РОССПЭН. 2012.
- Федор Степун. Письма** / Составление, археографическая работа, комментарии, вступительные статьи к тому и всем разделам В.К. Кантора. — (Серия «Российские Пропилеи») — М.: РОССПЭН, 2013.
- Федор Степун. Большевизм и христианская экзистенция.** Избранные сочинения. Составление, комментарии и послесловие В.К. Кантора. (Серия «Письмена времени»). М.—СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017.

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

Что значит быть писателем.....	5
--------------------------------	---

Часть I РУССКАЯ ЖЕНЩИНА. МАМА

НОВЕЛЛЫ

Похороны деда Антона. Новелла	17
Выживание. Новелла	39
Не пускайте зло в свой дом. Новелла.....	69
Необходимость «планки», или Преодоление современности (слово об отце)	89
Два дома. Повесть.....	103

РАССКАЗЫ

Наливное яблоко. Рассказ.....	189
Няня. Рассказ.....	198
Святочный рассказ	208
Самостоятельный. Сказочка.....	217
Немецкий язык.....	222

Часть II СКАЗКИ

Чур. Роман-сказка.....	257
Маленькие сказки, или Сказки для маленьких.....	371
Дружба лучше вражды. Сказка	372
Плюшки. Рождественская сказка 2017 года.....	374
Патрикеевна. Лисья сказка.....	378
Задумчивый тигренок. Сказка Тиллю	380

Часть III

Нежить, или Выживание на краю подземного мира. Странная повесть, фантазия в духе Босха	387
---	-----

Часть IV

ПРИЛОЖЕНИЕ

Три статьи о прозе Владимира Кантора

Морок и явь. О прозе Владимира Кантора	503
«Кушай яблочко, мой свет...»	515
«...И бездны мрачной на краю...». Непредвзятая версия Владимира Кантора	524
Об авторе	541
Основные опубликованные сочинения ВЛАДИМИРА КАНТОРА	542
Проза	542
Монографии	543
Сборники	544

Владимир Кантор

**ШУМ ВРЕМЕНИ,
или
БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ**

Книга прозы

Серийное оформление, обложка: П.П. Ефремов

Макет: Л.В. Лобанова

Корректор: Н.А. Степина



По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
e-mail: unikniga@yandex.ru. Руководитель центра Соснов П.В.

Комплектование библиотек, оптовая продажа в России и странах СНГ
ООО «Университетская книга-СПб».
«Университетская книга-СПб» предлагает книготорговым организациям,
библиотекам и простым читателям широкий ассортимент книг по всему
спектру гуманитарных наук – философии, филологии, лингвистики,
истории, социологии и политологии. Продукцию ведущих гуманитарных
научных издательств Санкт-Петербурга и России вы можете
приобрести у нас по издательским ценам.

Контакты:
в Санкт-Петербурге
Тел. (812) 640-08-71, e-mail: uknigal@westcall.net

Подписано к печати 10.03.2018. Формат 60x90 1/16.
Заказ № 1740. Усл. печ. л. 34.
Тираж 500 экз.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета
в Публичном акционерном обществе «Т8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.
Тел.: 8 (495) 221-89-80



В очередной раз поражаюсь событийной густоте жизни твоей прозы. Ты создал новый жанр в литературе, биографическая исповедь. Или исповедальная биография.

Это требует минимального расстояния до читателя.

Но такие люди есть, их не немного, но они есть.

Твой текст для немногих, как и вся настоящая литература.

Сказать, что это приятное чтение, нельзя.

Наверное, в блокаду кусок хлеба был таким же блюдом как твой текст, о гастрономических аспектах говорить не приходится.

Это такое слово насущное, как насущный хлеб, для выживания души.

"Пенициллин". Я подумал еще, что не может быть,

чтобы вся эта информация о жизни человека исчезала,

когда наступает минус время, она сворачивается в единое целое и хранится в мировой памяти.

У Набокова есть Ульtima Туле об этом.

Константин Баршт

Если время действия в произведениях В. Кантора меняется, то место, кажется, остается одним и тем же.

Москвичи коренные и «пришлые», с окраин и «центровые», образованные и нет, — они живут в московских квартирках и бараках, служат в редакциях, ездят в трамвае и выпивают у станции метро.

Москва непарадная и неофициальная, но настоящая и теперь почти утраченная, зафиксирована, как у Булгакова, в своем реальном и фантастическом обличе.

Москва реальная имеет свои вполне узнаваемые очертания:

Тимирязевский парк и ВДНХ, Сокольники и Пречистенка, а фантастическая, вневременная прорастает сквозь мысли, ощущения героев, рождает «нечто», посылает «знаки».

И этот пласт прозы В. Кантора обнажает метафизическое одиночество человека в многоголосном, многонаселенном московском пространстве.

Елена Андрущенко

В «Нежити» Кантора мысль героя обретает самостоятельный статус, двигаясь по линиям его жизни и терпеливо разматывая клубки воспоминаний в поисках их сути.

Повествование ломается и переходит в сугубо бытовые пласты, свертываясь в историю о том, как разведенный и оставивший первой семье профессорскую квартиру герой добывал жильё для возлюбленной Клары и малолетней дочки.

Немыслимыми правдами и неправдами, о которых лучше самому прочесть в этой замысловатой истории московского нежития, герою удается победить кошмары подземного мира и, как в сказке, выйти живым и преобразенным из тяжких испытаний.

Собственно, вся затейливая история сия направлена, мне кажется, на преодоление названия: «Нежить». Не жить?

Нет, жить и рагадывать шум времени!

Ибо, может быть, лишь в этом и состоит смысл нашего всеобщего пребывания «на краю небытия».

Алла Большакова

Прочитала прекрасную повесть («Нежить») - впечатление потрясающее! Это очень серьезная метафизическая, философская вещь ("вещь в себе"). Так у нас сейчас никто не пишет.

Светлана Василенко

